

*Приложение к газете  
«День литературы»*

**Главный редактор:**

Владимир  
БОНДАРЕНКО

**Выпускающий редактор:**

Валентина  
ЕРОФЕЕВА

**Редакционный совет:**

Николай ИВАНОВ,  
Сергей КУНЯЕВ,  
Александр  
ЛЕОНИДОВ,  
Вячеслав ЛЮТЫЙ,  
Михаил К. ПОПОВ  
Станислав  
ПАРФЁНЦЕВ  
Захар ПРИЛЕПИН  
Андрей ТИМОФЕЕВ

*Гендиректор  
Валентина Ерофеева*

**Адрес редакции:**  
119146, г. Москва,  
Комсомольский  
проспект, 13

**Телефон:**  
8-916-015-80-69

**Email:**  
denlitera@yandex.ru

**Сайт:**  
denlit.ru

*АНО Газета русских  
писателей «День  
литературы».  
Свидетельство  
о госрегистрации  
от 23.06.2017 г.  
№ 1177700010311*

**ДЕНЬ  
ЛИТЕРАТУРЫ**

*Журнал русских писателей*

**№ 1 (7), 2019**

## СОДЕРЖАНИЕ

*Об авторе.....3*

### РОМАН

МУСКАТ И ЛАДАН. *Рыночный эпос.....4*

### РАССКАЗ

«ПЛЕЩУТ ХОЛОДНЫЕ ВОЛНЫ...»,  
или ГДЕ-ТО В СЕРЕДИНЕ ДЕВЯНОСТЫХ.....134

### ПОВЕСТИ

КЕРЕНСКИЙ БУЛЬВАР.....154

ПОСЛЕ НОЛЯ.....223

ВОЛКИ ИЗ ПЕПЛА.....269

НОМЕР С ВИДОМ НА ГРОЗУ.....320

### СТАТЬИ

«РУССКИЙ» MARSCH: КАББАЛА ДЛЯ БЫДЛА.....347

ИДЕИ ТРЕБУЮТ НОСИТЕЛЕЙ!.....352



### ОБ АВТОРЕ

*Александр Леонидович Филиппов (Леонидов) родился в Уфе в 1974 году, в семье инженера-конструктора и преподавателя мединститута Леонида и Галины Филипповых. В 1991 году окончил школу и поступил на исторический факультет Башкирского университета. После института — два года воинской службы (продлившейся позже — в рядах казачества).*

*Член Союза писателей России. Штатный главный консультант отдела обеспечения деятельности Государственного собрания — Курултая (регионального парламента) Республики Башкортостан.*

*Его журналистская и литературная деятельность началась в республиканской газете «Истоки» в 1994 году. Здесь была опубликована его первая повесть «Объятия Богомола», навеянная университетской профильной кафедрой истории Древнего мира.*

*Опубликовал 8 книг, несколько сотен статей, очерков, интервью в печатных СМИ. С 1999 по 2002 год — корреспондент газеты «Известия». С 2005 года — редактор газеты «Предприниматель Башкортостана».*

*Член редколлегии, постоянный автор и колумнист многопрофильного общероссийского издания «День литературы».*

## МУСКАТ И ЛАДАН

*Рыночный эпос*

*...Рожден sub Julio, хоть в поздний год,  
Я в Риме жил под Августовой сенью,  
Когда еще кумиры чтит народ...*

Вергилий —

«Божественная комедия» Данте

## 1.

— «Дом Ржи», «Дом Ржи»... Что, съели? Думали, навеки погребли фермера картофельного Егора Сеченя? А я вот вылез... В городское начальство вылез... Так то вот... А вы думали — я навсегда канул? А я вот хозяин... Целого «Дома Ржи» хозяин...

Новоиспечённое «городское начальство» без особого энтузиазма убеждало себя перед зеркалом. Оттянуло пальцем правое нижнее веко, изучая жёлтеющий слоновой костью белок глаза... Нечего собой любоваться! Надо гостей принимать!

На торжественное открытие «Дома Ржи» Егорушка Сечень закупил воздушных шариков, установил в центральном зале нового торгового центра негра с шоколадным фонтаном, нанял нескольких девушек легкого поведения — чтобы стояли в национальных костюмах с кокошниками. Он напечатал шикарные пригласительные билеты и наприглашал всю Куву. Он, свихнувшись на новом статусе большого хозяина, действительно и искренне верил, будто у людей других дел нет, кроме как к нему на презентации ходить...

Егор явно переоценил себя. Ряды наполовину пустовали... Вскоре он уже не метался — стоял отупело, металась только его покладистая сожительница Лианка, почитавшая его как живого Бога, ни черта не понимавшая в его делах, но свято верившая в их необходимость. Она и командовала парадом: девушками, джаз-бандом, который упорно называла «джаз-бандой», негром и белыми официантами...

Шарики болтались на ветру, шоколад фонтанировал, девушки в кокошниках качались в жестах футбольных черлидеров, — а пришли в основном всякие отставники и бомжи. Бомжей привлекла ржаная настойка, которая была пропущена по разряду «лекарственных средств» и потому была существенно дешевле остального бухла. Соперничество по цене «Ржихе» Егора Сеченя могла составить только настойка боярышника в аптеках Кувы. Но бомжи, как люди тертые, хорошо знали, что с настойки боярышника сильно поднимается сердечный ритм, и копыта откинуть недолго. «Ржиха» же была одновременно и качественным спиртным без аптечных аритмий и прочих прибабыхов, но стоила как пресловутая «Боярышняя»...

Сечень, чего греха таить, рассчитывал на этот эффект, на медные

деньги десоциализированного элемента. Но только ведь не в день открытия! Обидно! Ждал мэра и всяких глав, директоров и председателей, а явились шоколад хлебать из-под фонтана всякие окурки общества...

Час сменял час, день клонился к вечеру, а Егор все острее ощущал свою покинутость. Острое чувство обмана, роковой ошибки больно кололо его в пропитую печень. Из VIP-персон местного «бомонда» явился только старый спекулянт и давний деловой партнёр Соломон Привин: мрачный, с заострившимися чертами хищного лица, почему-то с георгиевской ленточкой на лацкане дорогого зеленого клубного пиджака.

— Празднуешь? — спросил он, сверкнув семитскими выпуклыми белками глаз оттенка слоновой кости.

— Не без этого... — уже устало вздохнул Сечень.

— Выпьем?

Егор налил Залмону в пластиковый стаканчик тягучий жидкий шоколад.

— Да ну тебя... — отмахнулся Привин и извлек из кармана плоскую фляжку с российским гербом. — Давай коньячку... Ополосни стаканчик-то от этого дерьма...

Выпили какого-то чая со спиртом, и Сечень обиделся на Привина за его жадность. «Я-то вам ничего не пожалел...».

Только теперь он услышал, как пронзительно воет за большими окнами «Дома Ржи» осенний ветер со снежной проседью в прядях...

Водитель «фирмы» Игорёк Ровянов в приличном костюме, который купил ему Сечень, и в цветастом галстуке, который он подбирал себе сам, подошел поинтересоваться: открывать ли банкетную залу?

Егор превратил в банкетную залу будущий зал презентаций, где планировались лекции для народа о пользе ржи и роли ржи в истории русского народа. Столы ломились сказочными деликатесами, но больше половины мест оказались пустыми за неявкой приглашенных...

Кое-кто все же был. Олег Пепперсон, так называемый «посол живого журнала» в Куве, тусовщик, заправлявший бандой блоггеров местного масштаба. Главный редактор «Вечерней Кувы» Степлеров. Глава государственного унитарного предприятия «КуваСпирт» Бочкарёв, надеявшийся сбывать часть своего спирта сюда, алкашам, повернутым на ржи... Кто-то ещё... И ещё кто-то...

Ровянов метался. Официанты метались. Лианушка металась. И только туповатый негр оставался возле своего экзотического фонтанчика, напоминавшего теперь на весь свет злому Егору бурлящее дерьмо...

— От так... — бормотал Сечень, с обиды быстро пьяневший. — От так...

Лиана, делившая с ним удачу и тоску последних лет, подскочила к нему, как угодливая собачонка. Накладывала в узорчатый фарфор его прибора какие-то ананасовые и оливковые салаты. Умоляла не пить — мол, «и вообще обещал бросить»...

Сечень её послал — с грубостью, свойственной тому, кем он, собственно стал за минувшие годы: деревенщиной, неудачником и бобылем. От такого неожиданного афронта она сама стала пить, причем в горькую.

— Ты, Егорушка, это... — слюняво шептал в ухо как бы пьяный Залмон, — того... продай мне этот центр! Я его всё равно хоть из-под земли достану... Деньги это бумага... Тебя пока прошу — продай... Не пойдет у тебя здесь дело...

— Почему же, хотелось бы узнать?

— Калибр у тебя не тот, Егорушка... В центре развернуться, с таким ампиром, не твое это... Ты ведь вон и в долгах ещё весь, знаю я, шепнули добрые

люди... Много долгов наделал... А продал бы мне «Дом Ржи» — и зажил бы с чистой душой...

— Вижу я, Соломон Пинхусович, куда вы клоните, — скалился Сечень. — К правящей партии под подол ручонки запускаете... Она наверху семинары вести будет, а вы на цокольном этаже водочкой торговать, близко к мозгу-то, а георгиевский вы наш кавалер...

— А тебе что? Сам партию полапать думаешь? Калибр не тот, Егорушка, попку порвешь себе на таком шпагате... Ты бы послушал меня, старого волка, я бы тебе деньги хорошие заплатил...

— А мне и так заплатят! — храбрился Егор, закидывая рюмочку за рюмочкой, несмотря на отчаянные и умоляющие взгляды своей Лианы. — Мне все платят. Всегда. Все мне должны. А я — никому..

— Ну-ну... Тогда держись... Лицензию на торговлю спиртным пробить — не так легко, как тебе кажется, молодой человек...

Видимо, именно с этими словами в пьяном мозгу Залмона оформился план — как удушить до полной покорности Егора — и он заметно повеселел, стал приставать, чтобы к столу пригласили девочек с презентации.

Ровянов сбежал. Пригласил. Стало заметно оживленнее — старые драные грифы, полуотцы города (ибо отцы побрезговали хлеб-солью фермера) заблестели глазенками маслянисто.

Ровянов продолжал стараться. Двух самых красивых девушек подвел к хозяину и Залмону, уплетавшему ветчину с каперсами. Одна, черненькая, тонконосая, оказалась Катей, а другая, блондинка, с прямыми длинными волосами — почему-то Линдой. Сечень подумал, что она с Прибалтики, а более опытный Залмон — что девчонка просто на работе ходит под псевдонимом...

Егор, как радушный хозяин, подождал — какую из девушек приобнимет гость. Залмон остановил свое липкое внимание на Линде. Сечень, преувеличивая степень своего опьянения, стал клеиться к Кате, называя её то Катенькой, то Катюшей, и бодрясь от полного отсутствия ожидавшегося отпора.

Почему-то в волнах приятного полузабытого возбуждения немолодой уже «юноша» думал, что Привин-сволочь, и что нужно как-нибудь всучить этой Кате пятитысячную бумажку — желательно засунув её в декольте псевдонародного костюма, между грудями...

С одной стороны, думал он, поступок офигительно благородный, ибо ни за что и просто так дарится половина учительской зарплаты. С другой — как-то нелепо это все, дико, покупает он её, что ли? А ну как она обидится и за полазунство в декольте пощечину влепит? То-то будет завершение вечерочка и начинавшегося-то не ахти как...

Залмон увивался вокруг Линды, верещал, как школьник в бархатных сумерках выпускного:

— Линдочка, ты не торопись... И о транспорте нечего беспокоиться... Уедешь нормально, такси вызовем... Вот, на такси тебе, чтобы не беспокоиться...

Он сунул туда, куда хотел сунуться Сечень, пятисотрублёвую бумажку. Линда стерпела, приняла и улыбнулась. Егор снова подумал о том, что Привин — сволочь, и как обидно: он, Егор, даже пятитысячную засунуть не может, а у скотины Залмона все выходит органично с «красненькой» купюрой...

От обиды Сечень оттолкнул Катю, оттолкнул сунувшуюся вроде бы со-

жительницу Лиану, вылез к джаз-банде на эстрадное возвышение. Заявил видавшим виды музыкантам, что желает устроить песенный конкурс, который судить будут девушки, и затанул немыслимую для джазовых инструментов причиталку:

*...Плюс к тому помереть повезло —  
Те, кто выжил, в плену передохли...<sup>1</sup>*

Как лабухи справились с аккомпанементом — знает только их музыкальный бог.

Сечень же очень старался.

При этом он не только пел, но ещё и плакал. С пьяных глаз ему казалось, что повезло не ему вовсе, хоть песня и от первого лица, кому-то другому повезло.

Например, незабвенному покойному «кузену» с поэтической бесталанной склонностью, Толе-Тунеядцу.. Поэту Верхоглядову, может быть, повезло... И хотя Сечень поет, что он умер, — умер вовсе не он, он как раз в плену передыхает, с коньяками, корнишонами, сырно-ананасными канапе и неутолимой тоской в сердце...

Допев, Сечень пошел спускаться и запнулся. Упал с позором, так что гости невольно заржали, но смолкли, когда он поднялся. Почин его подхватил, как ни странно, Залмон, и, словно помолодев, выскочил крутым перцем к микрофону, отчебучил что-то из сомнительного шансона Лепса<sup>2</sup>, на которого, кстати, был весьма похож и внешне.

Пел ещё и Степлеров, но это был уже совсем жуткий постмодерн: «изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно» — туристическую костровую песню, под звуки джаз-банды, джазовый вариант. Все покойные барды в могилах завертелись волчками...

Песенное творчество не принесло облегчения комплексующему Егору. От его нытья акции его только упали у девушек, зато выросли акции Залмона. Катя ушла к Привину под левую руку (правая занята была Линдой), а возле неудачника и алкаша Сеченя осталась только верная Лианушка, которой — ну в самом деле — куда уж от него идти?

Сечень опять взялся пить — даже уже не помнил, из какой бутылки. Лиана стала мешать, и напрасно, потому что намешавший до того разных вин Егор отыгрался на ней за все унижения сезона.

— Ты кто такая?! — взвизгнул он по-бабьи, совсем не страшно, но очень обидно. — Жена ты мне, что ли? Навязалась на мою голову! Пошла вон отсюда!

И смачно, всей пятернёй (кстати, с чувством глубокого удовлетворения) оттолкнул от себя опостылевшую сожительницу. Не рассчитал — толкнул сильно. Она упала, продолжая открытую им череду падений. Вскочила, зарыдала и выбежала.

Егора тогда это не очень беспокоило: бабьи слезы — вода. Тем более, что Лиана к тому времени совсем уже была ему не нужна, и мысли как-нибудь избавиться от неё давно бурлили под его черепной крышкой...

<sup>1</sup> Сечень поет романс «Исповедь убитого», популярный в 90-е годы XX века на стихи А.Кутилова, погибшего в Омске в 1985 году при неизвестных обстоятельствах.

<sup>2</sup> Григорий Викторович Лепс (Лепсверидзе), шансонье, российский певец грузинского происхождения, композитор, продюсер, был популярен на эстраде РФ в те годы, о которых пишет автор.

Поэтому, не расстроившись, а даже наоборот, повеселев от избавления, словно пролетарий, сбросивший гнет хрестоматийной буржуазии, Егор взялся пьянствовать дальше.

Возникла корреспондентка бизнес-журнала, некая Маша, составила конкуренцию Кате и Линде, назойливо вилась с двусмысленными вопросами, так что Залмон начал нашептывать на ухо Егору:

— Смотри, как старается... Надо бы продолжить, в сауну её свозить, что ли, поближе поинтервьюировать...

— Я вам, Соломон Пинхусович, ключ дам от своего кабинета... — уколол Сечень язвительно. — Пользуйтесь, на время презентации... Сёдня моя ночь, мои правила...

Сказал с пьяных глаз — и вдруг, словно бы поседел в минуту, — покрылся испариной от мысли, что вся жизнь, минувшая, пролетевшая, — была не его! Не Егорова, не Сеченева! Сегодня его правила — а вчера? Год назад? Десять лет назад?

Зачертил, зачертил иней воспоминаний... Все было — и ничего не было... А теперь всё есть... Всё есть... А поздно уже, всё поздно, ничего не в радость — зарубцевалась душа...

В отчаянии всюду опоздавшего безобразника Сечень увлек корреспондентку Машу к столам, попал рукой в плато-ассорти, во все эти волованы с красной икрой и креветками в сливочном соусе... Чертыхнулся, вытер руку об атласную скатерть, судорожными жестами паралитика налил себе и Маше вино «Мускат» в продолговатые бокалы из золотистой, матовой, словно морозцем схваченной, бутылки.

Маша улыбалась, кокетливо, средним пальцем, поправляла узкие тонкие очки на переносице, поигрывала блокнотом в умелой руке развратницы — и, видимо, ждала чего-то нормального от совершенно ненормального человека.

Сечень, словно опасаясь, что Маша уйдет, преградил ей путь к бегству сырной тарелкой, где пластами залегли элитные французские и германские сыры с виноградинами и орешками кешью. Перекрикивал музыку, что-то сумбурное бормотал вместо тостов — про исторический факультет, негодаев во власти, кредиты и подъем сельского хозяйства. Несуразные истории, слезливые, похожие на искреннюю горячую исповедь человека, страдающего шизофазией, вызвали у Маши вполне ожидаемую реакцию:

— Вы так путано рассказываете... Я не смогу сразу все это записать в интервью... С этим материалом мне нужно переспать, как говорится...

Сечень разочаровался в журналистке, как будто и вправду хотел от неё интервью, покрутил перед носом своей пятитысячной бумажкой, которую все не знал, куда деть:

— Вот напишешь, тогда дам... А счас ни-и-ет! Ты сперва напиши, как из талантливых людей таких вот как я делают, и какой в этом вред для страны...

Потеряв интерес к Маше, поперхнувшейся сыром в меду, и даже не хлопав ей, закашлявшейся, по изящной спинке, Сечень отвалил баркасом от стола. И — сбаражировал к Залмону, вовсю окучивавшему Линду, уже потерявшую от духоты свой кокошник, и, похоже, голову вместе с ним.

Сечень, мстящий бесхитростному чужому счастью, развернул большую панораму своей духовной муки, начав эпической трелью:

— Вот, все вы думаете, что я говно...

Но Залмон как-то вырулил вбок, и вытащил туда Линду, не став дослуши-



вать сулившую долгое продолжение интермедию. Этим он подтвердил мысль Егора, кем именно его считают в кувинском бомонде. Что, впрочем, никогда не было тайной за семью печатями.

Музыка пошла более разухабисто: действо приобретало вид корпоратива в Содоме или Гоморре.

Душивший за горлышко бутылку «Муската» Сечень с ужасом видел, что вокруг уже танцы, причем далеко не обычные танцы. Вот меж столов с расстираненной закуской, запачканных пятнами соусов, начали мелькать странные пары.

Сечень видел девушку, стягивающую с себя блузку и прижимающуюся грудью к какому-то мужчине. Кто эти люди и откуда они взялись на его провальной презентации, Сечень не знал. Потом они удалились куда-то по направлению к туалету.

— Ну, ладно... — бормотал Сечень, утрачивающий представление о реальном и нереальном, — мало ли что бывает, ну, приспичило...

Потом к Сеченю подбежала Катя, с которой он познакомился взамен Линды, уступленной без долгих торгов Залмону.

И, словно старому знакомому, возбужденно так, хихикая, открылась:

— Представляешь, я сейчас с нашим Пепперсоном, блоггером всея Кувы, под столом валялась! Мы сначала танцевали, потом он под юбку ко мне полез и все такое. Ну а потом мы под стол свалились. Вот народ-то визжал! А мне понравилось...

— Ты думаешь, девочка, я сейчас в состоянии это повторить?! — мрачно поинтересовался Сечень.

Катя посмотрела на него более осмысленным взглядом и, кажется, слегка протрезвела.

— Езжай-ка домой, Катюша! — вдруг въехал, как водитель в столб, в роль отца Егор. — Я тебе в папы гожусь... Обидят тебя тут, чуёт мое сердце... Жалко мне тебя...

— Ты не думай, я не такая... Я за себя постоять могу... — подмигнула Катя.

Сечень отодвинул её с пути; непонятно куда, но шел он с упорной настойчивостью. Вышел в фойе к негру с шоколадным фонтаном, запутался в каких-то карнавальных бирюльках, напомнимших новый год...

Тут он встретил Игорьку Ровянова с бутылкой шампанского. Игорька штормило. Он попытался всучить шефу эту самую обмусляканную бутылку, из которой почему-то разило клопами в спирту. Залепетал в ухо обнадеживающе:

— Шеф! Тут сегодня страшно — такие нескромные женщины у вас тут...

Забрал свой «шампусик» у Сеченя, и привязался к Кате. Однако она отказалась пить, явно имея в виду расчеты на хозяина, а не на его шоферу.

Игорек посмотрел на Катю разочарованно и пошел искать другую жертву, но не рассчитал траекторию и плюхнулся по дороге в шоколадный фонтан. Со скандалом его оттуда вытаскивали охранники...

Сбоку шелестели диалоги — словно из плохой пьесы:

— Это чё ещё! Мы счас с другом выбегали в вестибюль: народ толпится, охает. А я, когда все это увидел, просто заржал. Ну, лежит она на полу. Тело. Без признаков жизни...

— А тебе жалко ее не стало?

— Да нет. Она такие смешные звуки периодически издавала, как морские котики в брачный период.

— И что, все прям такие трезвые стояли и показывали на нее пальцем?

— Не! Каким пальцем, я и сам поддал... Ну, смешные звуки просто... Вообще-то на таких тусах драки часто случаются. Но чтоб такое — это в первый раз...

Сечения напрягло и напугало это «в первый раз». Диалоги плелись от официантов, и Егорушка подумал, что натворил что-то недозволительное, окончательно выводящее его из respectableного ряда. По неопытности перегнул палку, сделал из партийного проекта про «Народ Ржи» какой-то бордель вперемешку с вытрезвителем... Когда? Как получилось? Кто позволил? И почему, почему так?

Он стал звать Лиану, но потом вспомнил, что выгнал её за глупую ревность к Кате, которую тоже выгнал за собственные глупые фантазии насчет собственного же возраста.

«Всех выгнать? — металась мысль Егора. — Или, наоборот — пусть все всё делают, что хотят... Дом Ржи есть дом свободы...».

Он пил и пил «Мускат» из горлышка. «Мускат» пах юностью, морем, Крымом. Папиным сервантом пах «Мускат» и мамиными застольями, и родней пах «Мускат», которой больше нет... Никого нет — только посреди серой пустой плоскости куча ржи, на вершине — он, Сечень, которого все считают... ну, может, и не все... Эта Катя — она казалось, совсем не прочь была...

Сечень с наклоном вперед, упреждающим позорное падение, прошел обратно в банкетную залу. Там все было в разгаре — совсем непристойно и очень весело.

Нашел свою Катю. Она танцевала с какой-то яростью и самозабвением, и в состоянии явно критическом.

Ей трудно уже было держать равновесие, мужчины же вокруг нее, почувствовав легкую добычу, вились, ощупывая все привлекательные части... И все невзначай — дескать, такие уж танцевальные «па»...

— Не поехала домой, сучка... — расстроился Сечень, и без всякой связи довесил: — А ведь я ей в отцы гожусь...

Теперь ему уже не хотелось Катю. Ему почему-то остро захотелось Линду, ту, светленькую, скромницу по виду, которую сразу захватил себе Залмон — а какое он имел право? Это Егорова презентация, и это Егор девушек для экскорта презентации приглашал... И не Привин их оплачивает! Кто оплачивает, — всплыла в голове инородная мудрость, — тот девушку и танцует...

...Он нашел их за полураскрытой дверью своего кабинета, и некоторое время пытался вспомнить — когда и зачем отдал Привину ключ? Линда стояла. Вначале спяну Сеченю показалось, что сладострастно, но потом он понял, что это сдавленные ладонью крики...

Залмон насиловал девушку! Он завалил её через стол, срывал одежду, и зажимал ладонью рот, чтобы не орала, а она змеей извивалась и кусала его в мякоть руки до крови, пыталась звать на помощь...

Сечень вошел. «Она мне тоже в дочери годится». Угрожающе поднял бутылку «Муската», из которой потекли остатки вина прямо за манжету, и далее, до раструба брюк, как будто он обписался.

— Соломон, это не дело...

— Пошел вон, Егор! Я тебе не мешал!

— Это не дело, Соломон! В моем кабинете! Это же Дом Ржи, а рожь — тотемное растение русского народа...

— Что ты несешь?!

— Пошел вон!

— Сам пошел вон! В очередь, сукин сын, в очередь!

Мало понимая, что и зачем делает, Сечень ударил «Мускатом» Залмона по его курчавой голове. Залмон ослабел и ополз на пол без сознания.

Рыдающая Линда, севшая не в свои сани (причем сразу, когда нанималась на презентацию), — хлюпая носом, собрала обрывки своего платья и выбежала в неизвестном направлении. Сечень присел рядом с Залмоном, пощупал ему пульс и убедился, что это животное живо.

— Ты, Соломон Пинхусович, тут пока посиди... — ласково посоветовал Егор. — А я к гостям пойду, чует мое сердце, не один ты такой педераст сегодня...

...А потом было утро. Помоечное утро. Утро барачного типа — серое, шинельное, драповое — застало Егора лицом в тарелке, помятым и деформированным, посреди объедков и подернутых дрябью, полувыветрившихся воздушных шариков. Презентация была завершена уже точно и бесповоротно.

В ходе презентации он нагрубил главному блоггеру Кувы, и выгнал его вон. Залмон признался, что будет отбирать «Дом Ржи». Гостей было мало и ушли они недовольные — ещё одно печальное следствие незадачливого торжества...

Пришел Игорь Ровянов и стал как-то по-детски теребить за рукав, словно украл много, и намерен теперь канючить о прощении:

— Егор... Это... Тут такое... Егор... Надо бы... Пойдем мы, а?

— Чего? — отмахнулся похмельный, взъерошенный и опухший, как воробей после драки, Сечень. — Знаю я! Пепперсона мы выгнали, теперь во всех блогах Урала про нас гадости напишут... И пусть пишут! Они нам не указ... И покупателям нашим... Наш покупатель...

Егор хотел сказать — «бомж», но даже с пьяных глаз не осмелился торить себе такую дорожку в грядущее.

Он придвинул к себе блюдо с заветренной телятиной под соусом из маргариток, по краям украшенное крабами, сжимавшими в клешнях небольшие бутоны роз. Стал похмельно чавкать. Ровянов мялся, не зная, как продолжить.

— Нет, это... Егор, там... Ну, короче, беда, прямо не знаю, как сказать...

— Привину я в морду дал? Так за дело... Ты мне этим не тычь... Надо будет — и тебе дам...

— Егор, нет, тут не в Привине заморочка... Привин ушел...

— И правильно сделал! Тут ему не бордель и не ночлежка... Такси заказал ему?

— Его водитель увез... Но я не про это... Господи, как сказать-то, не знаю... Короче, крепись, не умею я разносолы разговаривать, Лиана твоя, это...

— Плакала? Знаю. За дело. Лезет не в свое...

— Нет, Егор. Газом она удавилась ночью. Вместе с дочкой...

## 2.

Как оно всё случилось? Не это вот, а вообще?

Жизнь — как и когда она прошла?

И на что ушла?!

Лиана — которая теперь в гробу — жила на разъезде возле трассы. Муж их с дочкой давно бросил, и Лиана пыталась вязать носки, продавать их водителям. Она была ещё довольно молода, и мужики, отказываясь покупать носки, предложили ей иной, более подходящий трассе заработок.

Она водила в дом дальнбойщиков и просто шоферюг, всех, кто захочет,

отдавалась за небольшие деньги, чтобы как-то выжить, а ещё угощала, поила на дорожку самогомом, и — если хорошо приласкают, пожалеют, уважат — даже денег не брала. Вроде как любовь получалась вместо проституции...

Через продажную постель появился в её жизни и Егор Сечень. Спали они поутру на высокой деревенской кровати, а дочка семи лет вдруг подошла к голому Егору и положила руку на плечо:

— Дядя... Ты маму не обижай...

Глянул Сечень на ребенка — сердце сжалось, и больше уже не отпускало. Так и стал Егор в доме вроде капитана дальнего плавания — являлся между «рейсами», привозил денег Лиане, а её дочурке Лене — игрушки и сладости. Получилось в итоге все равно плохо: Лиана сильно влюбилась в Егора, а ему была почти безразлична. Но — мы в ответе за тех, кого приручили, и Сечень уже не мог «соскочить» с иглы этого разъезда, забытого и Богом, и людьми, уйти навсегда с этого островка безнадежности, в котором — так уж получилось — заменила его задница собою Солнце...

Лиана проституцию бросила, хотя Егор особенно и не настаивал на каких-то жертвах, ждала его, как дорогого гостя, кормила самым лучшим, что могла достать и приготовить, прижималась к нему, как котенок, мурлыкала:

— Какой ты ласковый у меня! До тебя меня и Лианой не звал никто... Все Лианка да Лианка...

Иногда Егор напивался пьян, но не бузил, не громил и не крушил, как все окружные мужики в пьяном виде, а наоборот, плакал и рассказывал Лиане свои хитрости. Она как-то ловко умудрялась всегда его выгородить, доказать ему, что он совершенно прав, и что иначе никак нельзя было поступить.

«Она меня жалеет! — думал Сечень, уезжая. — Меня! Она! Она, у которой вместо дома сарай, у которой дочь как сирота при живой матери, она, об которую дальнобойщики окурки бычковали, которая живет в безысходной дыре... Господи, сколько же в нашей женщине жалости, ничем не вычерпашь... Бьют её, калечат, душат, а чуть прогляни солнечный луч — она уже и с улыбкой, и с сочувствием...»

Егор оставлял Лиане деньги. Немного, но по их жизни — целый капитал. Вначале Лиана мирилась, потом — когда втянулась в свою горькую любовь окончательно — стала вдруг чудить, и деньги не брала ни под каким видом. Забери да забери, и все тут...

Сечень и уговаривал её, и ругал — все без толку. Тогда он стал давать деньги Лене, а Лиане привозил два больших баула с продуктами. Выяснилось, что холодильника нет, а в погребе духота, и ничего не хранится, и вообще неизвестно — зачем этот погреб отрыли...

Прошел, наверное, год или полтора, прежде чем Сечень, точивший, как вода камень, глупое Лианино упорство, научил её принимать денежные купюры — сперва якобы просто на хранение. Да и то только потому, что Лиана поверила в подобие семьи у них с Сеченем, чего, конечно, не было и быть не могло, ибо — в точности по известной поговорке — он давал палец вовсе не с целью дать откусить себе руку...

Сечень купил по объявлению подержанный холодильник. Дрянь, дешевка, «сэконд хэнд» — но когда его выгружали, все срамное население разъезда сбежалось смотреть. Бабы-пропойцы, мужики, кто без руки, кто без ноги, стояли и смотрели, как грузчики вносят холодильник в колченогий дом на свайках вместо фундамента.

— Ишь, Лианка-то ухажера отхватила... Повезло... Бл... свое счастье не пробл...ет!

Встал холодильник в красном углу, как икона нового времени, и Егор набивал его периодически продуктами, половину которых Лиана ему же и скармливала. Привез Сечень каких-то шмоток, комбайн кухонный, пылесос «Ямаха» — убогие разьезда только успевали на Лианкино счастье в низенькие окна пялиться...

Но особо поразил их размах сеченьского всемогущества, когда привез он несколько упаковок монтажной пены и стал заливать этой пеной щели да дыры трухлявой избушки на курьих ножках. Не только дети — даже взрослые на разьезде отметились, ткнули пальцем в чудо-пену, а потом с матом долго соскребали её с рук.

«Ну и чё мне с ней теперь делать? — думал порой Сечень, перелистывая старую книгу про горилл. — Завел себе бабу, как кошку, вроде, — и дома ни к чему, и выгнать жалко...»

Одну функцию Лиана все же в его жизни выполняла: она была словно бы индульгенция за все его проделки, корм для совести: мол, не для себя ведь живу, вон, женщину спас, девочку ращу... Гоша Ровянов при деле, на «Газели» ездит, лук возит, вешаться передумал, только пьёт сильно...

Жизнь вокруг мшисто вросшего в землю Лианиного домика была безысходной при любой модели поведения. Деревня, загазованная близкой трассой, провонявшая маслами дальнобойных рейсов «через себя», — нивелировала в нечто серо-бесформенное: и труд, и лень, и народную смекалку.

Поутру Сечень пил у окна из глиняной крынки парное козье молоко (потому что коровы у Лианы не было) — давился этой гадостью и мысленно пытался определиться, на чьей он стороне в споре алкашей за карликовым палисадничком.

— Не пей метилового спирта! — поучал Сеня Валенок Борьку Ржавкина. — Так ты вконец испортишь свой ТАМАЛЬ...

Борька Ржавкин, один раз получивший «в репу» за то, что приставал к Лиане, принадлежал к категории «рукастых» мужиков. Он все время что-то пилил, строгал, буравил, чинил и свинчивал. Бурная деятельность Ржавкина была столь же бесспорной, сколь и бесплодной. Борька работал, работал — но домовитость вырождалась в какие-то карстовые провалы, именуемые в семье Ржавкиных «роком».

— Ваш рок, — ругался с Ржавкиной матерью Сечень, — имеет сорок градусов крепости... Вот и весь ваш рок...

Горожанин, типа банковского клерка «Россельхозбанка» Жени Махачина, быстро вывел бы рекомендацию: нужно Борьке бросить пить и дела пойдут на лад. Но Сечень бывал в деревне дольше, чем Махачин, и кое-что тут уже понимал: сказать «брось пить» — легко, сделать — куда труднее.

Казалось бы, сколько прибылей: без водки у Ржавкиных не сгорел бы трижды дом — один раз с их папаней, курившим в постели, и там же навечно с сигаркой уснувшим. Без водки Борькин брат не перевернулся бы на снегоходе зимой, поломав спьяну на ровном месте все руки-ноги. Без водки сам Борька не раздолбал бы об столб с трудом купленные «жигули» — и т.д., и т.п.

Однако была у этой бухгалтерии благ и обратная сторона. И Сечень, в отличие от воображаемого советчика Махачина из Кувы, прекрасно её понимал.

Без водки Ржавкины не выдержали бы каторжного труда по 12 часов в сутки, без выходных, и на ферме, и на артельном поле, и на своем огороде, и в собственном хлеву. Без водки Ржавкиным нечем было бы заполнить об-

разующийся в сельской жизни досуг — зимой так просто резиново-протяжный. Без водки не сложилось бы понимания с начальством, и с самими собой тоже — ибо ответ на вопрос «для чего мы живем?» семейство Ржавкиных могло только обойти, но не дать.

Для чего они живут? Чтобы работать? А работают тогда для чего? Круг зловеще замыкался, ибо Ржавкиным нечем было себя занять, они не знали ничего в мире, а знающие что-то в мире давно бы померли, если бы оказались на их месте. Поэтому Ржавкины не знали ничего не по невежеству — хотя оно тоже было. Они не знали ничего по охранительной причине — чтобы выживать. Водка давала Ржавкиным продержаться от рассвета до рассвета, а на самом деле от заката до заката, потому что слово «рассвет» в их жизни звучало бы как издевательство.

Ржавкины все время работали. И все время ничего не имели. И можно было поверхностно предположить, что они ничего не имеют из-за пьянства. Но если копнуть вглубь — то обнаружишь, как Егор Сечень, — что пьянка лишь удобный повод объяснять самим себе — почему из каторжного труда не вырисовывается ничего, кроме каторги? Мол, мы же пьем — и все пропиваем. На самом деле Ржавкины пропивали меньше, чем им казалось. По большому счету им и нечего было пропивать. Просто они врили себе, что «много пропивают», — ведь им хотелось ощущать себя хотя бы временными владельцами этого самого «МНОГОГО».

Водка для Ржавкиных была одновременно и живой водой, поднимавшей из мертвой усталости в поля и хлевы, и сократовской цикутой, уносившей их в лучший мир, как отца семейства, приправившего свою чашу цикуты курением.

Борька Ржавкин (он и теперь нес на плече двуручную пилу, с которой очень ловко управлялся один, хотя это технически невозможно) был в Лианной деревне полюсом труда. Сенька Валенок был полюсом противоположным — он считался «просвещенным», потому что много читал. Но и просвещение было для Сеньки такой же «не по сеньке шапкой», какой был для Борьки упорный крестьянский труд. В сухом (без водки) остатке ни труд ничего не давал, ни просвещение. Они квитались между собой, как лень с нищетой. Обширные познания Арсения Валенка были, естественно, совершенно бессистемными. Читал Сеня муть вроде трудов Карлоса Кастанеды (откуда и явился упреком знаменитый на всю деревню «тамаль»), летом налегал на Бердяева (зелененькая корочка, «Истоки и смысл русского коммунизма», куда же в деревне без неё!). Долгими зимними вечерами Арсений «мотал электронерию» на счетчике, как ругалась его бабка, сторонница трудовиков — с помощью профессора Зеньковского, писавшего о русских старообрядцах, и доктора Жариновой, издававшей в Вологде монографии об узорах на русской прялке.

Бесконечный и бессмысленный поток «тамалей», а также рекомендаций по предотвращению их «порчи» заменял Сене Валенку водку. Сеня так пылал просвещенностью, что даже не приставал к Лиане в годину её «разноса»: отчасти за неимением продуктов сельского труда, вносимых в обмен на блудные услуги, но более из опасения за тамаль и прочие его отростки в виде астральных свастик. В этом смысле Борька Ржавкин был гораздо brutальнее и мужественнее, ибо не раз зажимал томно охавшую Лиану до появления Егора, и даже пытался это делать после явления Сеченя. Если бы не алкоголизм, сделавший Бориса слабым и часто падающим, возможно, битва с Его-

ром приняла бы паритетный характер, хотя никаких чувств к Лиане Боря не испытывал, и, хуже всего, честил её гнусными словесами именно тогда, когда справлял с ней нужду.

По этой причине Егор недолюбливал Ржавкина, и тяготел к партии «просвещенных». Однако ум не сердце: здраво и холодно рассудив за стаканом козьего молока, Сечень пришел к выводу, что обе ветви бездуховного развития тупиковы, и обе производят в конце каких-то калик неходячих. Как ни разнились между собой Ржавкин и Валенок — на них красовались два совершенно одинаковых, когда-то черных, но порыжевших на солнце, стеганых ватника. И это, надо думать, было единственным внятно выраженным результатом двух сельских альтернатив...

— Хоть учись — ватник, хоть трудись — ватник... — благодушно поделился он с полюбовницей своими социологическими наблюдениями. И неожиданно нарвался на финским ножом выброшенный укол самолюбию:

— Конечно... Не всем же так повезет воровать, как тебе, Егорушка... Кое-кто ведь и делать должен то, что ты воруеть...

Вот те на! «С моих рук кушает — и мне же в нос тычет» — вскипело на душе Егора, но по большому счету он был согласен с внезапным прозрением «плечевой». Именно в тот момент, хоть это и покажется странным, он решил купить ей корову (выместив обиду мыслью, что она сама как корова разъелась): воровство дело фартовое, фарт — дело преходящее, что с ней будет, если у него ручонки пообрубят? Спирт метиловый будет пить или предпочтет хранить тамаль в неприкосновенности?

### 3.

...Он, Сечень Егор Артурович, родился в середине 70-х годов прошлого (уже) века, шумного и трубного, хвастливого и могущественного XX столетия от рождества Христова. И не сразу стал фермером. И вообще к деревне первую часть жизни никакого отношения не имел.

Это уж потом...

А так... Семья была городской, интеллигентской, с традициями. Сейчас странно вспоминать, но... Вот, к примеру, сестра матери Егора была даже замужем за настоящим академиком, правда, малой, медицинской академии наук, — тем самым, что проворонил отравление Черненко, но остановил «тамерланову чуму»...

Был дядя Миша знаменитым и трескучим, как все номенклатурщики, входил на памяти Егора в высокие советские сферы, но племянника из провинциальной Кувы не стеснялся, признавал. В детстве качал, играя в «поехали-поехали-в-лес-за-орехами» (особенно удавалось ему драматичное «...в ямку бух!»), позже присылал какие-то подарки, преимущественно импортные и потому очень престижные для тусклых «хрущоб» трубодымной Кувы.

Родство с академиком, врачами и инженерами не спасло Сеченя: в школе он учился плохо, перебиваясь с двойки на тройки, тяготел к гуманитарным наукам, пережил период романтической влюбленности в историю, которой, однако, иногда изменял с биологией...

Распад СССР в 1991 году застал Егора студентом первого курса исторического факультета Кувинского государственного (а других тогда и не было) университета — с дырой в кармане, кучей прожектов и памфлетов в третьей папке под мышкой, с пафосом речей — колебавшихся то «за порядок», то «против коммуны», но всегда почему-то складно и убедительно. За это его даже обласкали на встрече одноклассников недружеским шаржем:

*...Пару лет тому назад  
Ты свои блатные речи  
Посылал со страхом в зад,  
Не давая даже течи  
Политических тирад!  
А теперь что вижу — срам!  
Ты пускаешься вразнос,  
Ты — воинствующий хам,  
Прекрати речей понос...*

И много ещё далее в том же цветастом, чисто советском духе, обожавшем черно-белый пафос, обличительство, «твердо занятые позиции» и «принципиальные взгляды».

Но 1991 год навсегда разделил жизни всех в ойкумене на «до» и «после» себя.

Умер отец, навсегда оставшись в смеющихся восьмидесятих. Мать повесилась в 1994 году — Сечень вынул её окоченевший труп из петли, вырвал в квартире из стен все гвозди и крюки, и попытался навсегда похоронить в душе этот ужас, забетонировав его искусственным забвением. Он решил для себя, что таким путем не пойдет: мать повесилась, потому что её сократили на работе (конечно, это стало лишь последней каплей, но и поводом тоже). А Егора никто ниоткуда не сокращал — его куда и не успели взять.

Он, конечно, надеялся, что ещё возьмут.

Но зря.

Поэтому вешаться было не с чего: ноль разочарований.

Время стало совсем другим, воздух стал мутным, как студень.

Вскоре стало ясно, что никто уже не желает разоблачать демагогов, которые, однако, в ответ потеряли всякий вкус к вычурной витиеватой демагогии. Коммуняки не оценили речи Егорушки «за порядок», а демократы — его же параллельные речи «против тоталитаризма».

Вообще вместе с советским флагом как-то незаметно и быстро слиняло все: никто уже ничего больше не оценивал ни по достоинству, ни ещё каким-то образом. Начался пир мародёров. Тварь пожирала тварь, гадина — гадину. Словно доисторические иностранцевии в зарослях ископаемых риний, визжали, кусались и терзали падаль, огрызаясь на товарок, приватизаторы, большие и малые.

Егор Сечень отрывался от разъедающего времени, как раненый путник от стаи голодных волков. По хрусткому насту отмороженной эпохи он бежал, следя валенками и кровью, проваливался в мерзлые капканы всеобщего равнодушия, вырываясь из ям, отбрасывая по дороге все, что мешало убежать: сперва черные, кожаные, дядею Мишей дарёные папки со своими проектерскими рукописями. Потом на снег полетели дипломы и сертификаты, почетные и непочетные грамоты, планы, «твердые принципы», профессия, род занятий и т.п.

Бег был метафизическим, неизбывным. К середине 90-х годов уходящего века Егорушка Сечень почти без ужаса смотрел в уже импортном (но ещё не плоском) телевизоре, как задает гопака на сцене пьяный президент Ельцин аккуратно между двумя инфарктами. И понимал: все, чем он занимался профессионально, равно как и на досуге доселе — обществу непотребно и даже, в каком-то смысле, наказуемо...

Забыть бы, но... Как у классика:



*И опять зачертит иней.  
И опять завертит мной —  
прошлогоднее унынье  
и дела зимы иной...<sup>3</sup>*

И далее — в постоянном комплекте с прошлогодним уныньем:

*...Белым снегом осыпал ветер северный  
Семь надежд твоих, обманутых надежд...<sup>4</sup>*

Вот встаёт, как вчера, перед глазами — страшный, мертвоглазый, плясово-скелетный 1996 год...

Шабаш, похожий на все прочие, был в двухъярусной роскошной квартире предпринимателя Гурия Парфенонова, набравшего кредитов, которые он не собирался отдавать. Потом, вспоминал Сечень, Гурий за это сядет в тюрьму, и будет там на хорошем счету у начальства как бывший электрик. Он починит в тюрьме всю электропроводку и станет за это получать даже своеобразные «увольнительные»...

Но пока 60-летний Парфенонов был на коне и собирал вокруг себя юных искателей наживы, вроде Сеченя. Его нашел Сережа Каравайко, пожилой ребенок с явными следами вырождения на лице и во всей внешности, которого Сечень звал «трюфельной свиньёй» за особенный талант: находить подпольных миллионеров. «Окучить» их Каравайко не мог — слишком уж яркую картину дегенерации являл своей гнусавой, картавой и очень глупой речью. Но находил. Сечень иногда пользовался его находками, начинал ввинчиваться в доверие у Сережиных самородков, презентуя им замысловатые проекты и ожидая взамен некоторого материального «вспоможествления».

По уже наработанной схеме развел Каравайко на выбалтывание очередной находки: Парфенонова. Снаружи Гурий Платонович был доктором физико-математических наук, директором маленького НИИ прикладной механики, серо и нище умиравшего на некогда выделенной половине этажа авиационного института Кувы. Но изнутри, в бедняцком кабинете Парфенонова-механика таилось некое «активное активами» ООО «КурайЛТД». Об этом мало кто знал, но Сережа Каравайко пористым уродливым носом своим недаром приучен был разнюхивать скрытые реалии!

Началась одна из многих эпопей Сеченя и его друзей, из которых «иных уж нет, а те далече», классическая для 90-х годов трагикомедия охоты молодых проходимцев на старого казнокрада.

Парфенонов улыбался — и охотно шел навстречу. Ему подарили два билета на Льва Лещенко, украденные у другого проходимца, спонсора концерта столичной звезды, — мол, из уважения, вам с супругой... Парфенонов в ответ обещал помочь.

Ему сделали место в партийном списке либерально-демократической рабочей партии, договорившись с её руководством перед выборами. Это было трудно, почти невозможно, — но это было сделано. Парфенонов в ответ обещал помочь.

Ему носили, добывая своими способами, магазинные чеки на крупные

<sup>3</sup> Леонидов цитирует известное стихотворение Б.Пастернака «Никого не будет в доме...», написанное в 1931 году.

<sup>4</sup> Автор подверстывает под Пастернака гораздо менее известные стихи В.Асмолова «Катя-Катерина», написанные уже в 90-х годах.

суммы для бухгалтерии института прикладной механики. Натуральные, подлинные, с «мокрыми» печатями магазинов на обратной стороне. Парфенонов в ответ обещал помочь...

Через некоторое время он «помог»: вдруг взял и оплатил командировку Сереже Каварайко в Москву, в центральный офис ЛДРП! Сечень грыз ноготь так сильно, что чуть не вырвал его! Такая прорва деньжищ — самолет, гостиница — зачем идиоту Каравайко?! Да там только морду с пористым, губчатым носом алкоголика в пятом поколении увидят — от ворот развернут! Почему не мне? Не мне почему?! Деньги нужны, чтобы жить, а не чтобы в Москву раскатывать, в отелях какашки несмытые оставлять (именно такой конфуз приключился в итоге с Сережей, и свара с горничными стала единственным итогом его поездки с проживанием в «люксе» на улице Огарева)!

Поняв, что Парфенонов уже начал траты — причем совсем не туда, куда следует по всем законам божеским и человеческим, — Сечень стал настойчивее, грубее к этому увальню-механику, который в момент размышлений очень колоритно рычал и чиркал линии в блокноте: словно бы скрипели жернова в его голове с натугой!

И Сечень получил. Сперва он получил чай в кабинете директора ООО «КурайЛТД» — который подали два старичка-механика, приживалки при Парфенонове бог знает с каких времен. Потом он получил приглашение домой к Гурию Платоновичу на вечернее время, после работы. Уже приготовил некогда подаренный чиновным дядей Михаилом Сульпиным роскошный кейс-«дипломат» для получения черной наливки...

А попал в гулбан, в кружок легкомысленных девушек в яркой боевой косметической раскраске!

Гремела цветомузыка, казалось, что сами стены элитного дома содрогаются. Парфенонов — старый, пузатый, жирный, весь лоснящийся от пота — плясал под заводные ритмы популярной в 90-е шведской группы «Я-кида».

*I saw you dancing  
And I'll never be the same again for sure  
I saw you dancing  
Say Yaki-Da my love.<sup>5</sup>*

Рвал ночь мощный кассетник, тянувший не резину, а пленку. И был Парфенонов. Он ещё был — но в судьбе Сеченя он постепенно исчезал, как призрак, как мираж. Он скакал. Скакал со шрамом на квадратном подбородке громилы. Прыгал в неловких танцевальных «па» — а его белая рубашка серыми пятнистыми кругами пошла расползаться из-под мышек. Он разжигал дискотечный азарт с большим, громоздким мобильным телефоном (по моде 90-х), прыгавшем на его поясе, через который, как зыбкая квашня, свисал живот...

Парфенонов отрывался по полной. Он не думал о вскоре предстоящей ему тюрьме за разворованные кредиты, он думал о блестящем будущем, о покупке железнодорожной ветки, о депутатстве в местном законодательном собрании.

Он был нетрезв, этот глупый и решительный старик, неказистый в своей

<sup>5</sup> Реально бытовавшая в 90-е годы песня, шведской группы «Я-кида». Слово «Я-кида» — это шведский непереводимый тост, что-то вроде русского «Ну, будем!». В песне звучат строки о любви к танцующей женщине, увидев которую, нельзя уже быть прежним, и остается только сказать «я-кида» своей любви...

потной полноте, и думал о политических гешефтах, которые ему принесет недавно созданная им организация молодёжи «Дело Ленина».

«Дело Ленина» стало некрологом для всех планов Сеченя относительно Парфенонова. Она тяжелым чугунным бюстом вождя мирового пролетариата раздавила нежные мечты урвать у миллионера крупный куш. Правда, сперва, когда Парфенонов предложил Сеченю подумать о создании политической организации, — Сечень радостно откликнулся — мол, подавай сюда финансирование, толстозадый мешок, и будет тебе молодежная политическая тусовка.

Основания были. Егор ведь неглупый парень, он не стал бы — без оснований-то! Как-то раз в своем занюханном институте прикладной механики тугодум Гурий Платонович слушал рассказ Сеченя про гранты в комитете по делам молодёжи кувинской мэрии. И вдруг пыхтящее выдал:

— Сколько, говоришь, там бюджет в твоём комитете? Миллионов семьсот? А я как кину два миллиарда, всех и перешибу...

«Давай. Перешибай», — обрадовался Егорушка. Он уже видел себя в офисной обстановке заплаченного Парфеноновым молодёжного крыла неизвестно чего. Видел речевки, пленумы, отчеты и очковтирательство для спонсора в лучшем виде...

Но Парфенонов был просто болтун (не без этого), и вообще все видел иначе. Он предложил назвать организацию «Дело Ленина», что уже повергло Сеченя в уныние. Затем он предложил собрать человек сто студентов и всякой прочей молодежи, собрать с каждого по тыщонке рублей — «вот тебе уже и 100 тысяч рублей, на первое время!».

«Это что же получается?! — мысленно негодовал обманутый Сечень — Это значит, я должен бесплатно собрать сотню молодых идиотов?! Мало того, я должен убедить каждого из них заплатить мне по тысяче! И под что?! Под «дело Ленина»?!».

Последний из риторических вопросов произносился особенно трагическим внутренним тоном, потому что в 90-е никто не собирался в тусовки, кроме как для разврата, никто никому просто так деньги не сдавал, и уж, конечно, менее всего в 90-е могло увлечь молодёжь «дело Ленина»...

Сечень ещё по привычке держался возле Парфенонова, словно ординарец при генерале, но уже искренне недоумевал про себя: «Зачем я здесь?!».

Рядом обретались старики-приживалки Парфенонова, которые были «как всегда, милы» в потертых пиджачках и каких-то канадских значках на лацканах. Старики-приживалки толклись возле Парфенонова в надежде, что он их угостит. А вот Сечень — неужели, думал он, я здесь, чтобы покушать, как эти «кленовые» бывшие научные сотрудники?

Парфенонов же, перед посадкой совсем впавший в детство, искренне умилялся своей затее, и выплясывал в кругу развязанных девах, явно легкого поведения. Именно им — у которых слово «проституция» было прямо-таки на лбу написано (а ещё — на мини-юбках и капроновых чулках со стрелками) — пляшущий Парфенонов с рычащим медвежьим акцентом приговаривал:

— А знаете ли вы, что такое «Дело Ленина»?

— Хватит болтать! — отвечали ему девки, растопыривая «по-крутому» маникюрные пальчики. — Хватит глупостей! Давай, танцуй, толстый! Покажи класс!!!

*I saw you dancing...*

Сечень понял, что если немедленно не уйдет — то свихнется. И он ушел навсегда, и не навещал потом Парфенонова в тюрьме, отделившись от «кленовых» стариков с канадскими значками на пиджаках. Он постарался забыть Парфенонова, его предприятие ООО «КурайЛТД», как жуткий эпизод в своих поисках выживания.

Потом много было и таких вот Парфеноновых, и таких вот разочарований... Так и докатилось до десятых годов XXI века, до «Дня ржи» — хотя у Сеченя вся жизнь один сплошной «день ржи», и каждый из этих дней начинается призывами «проявить себя», «оправдать доверие» — а заканчивается бессмертным предложением собрать по сто рублей с рыла под «дело Ленина»...

...20 октября 1997 года Сечень и его университетский друг, Иван Акселератенко, запомнили на всю жизнь.

Ныне Иван, владеющий почему-то паромной переправой между Ейском и «Ахтутском» (как он называл Ахтарск) и десятилетия спустя за штурвалом буксира вглядываясь в черноморское побережье из-под козырька капитанской фуражки, вспоминает ту дождливую осень, хлюпающую слякоть кувинских улиц и их визит к депутату Губцову в здание Законодательного собрания Края.

Да и Егор не забыл. Как такое забудешь? В 90-е грань между делами, самыми обыденными, и бандитизмом была настолько тонкой, что и теперь вызывает дрожь у тех, кто пережил и не свихнулся...

Казалось бы, чего проще? Депутат Губцов провел от возглавляемого им «Союза ветеранов войны в Афганистане» по договору ряд работ по облагораживанию мемориального кладбища Кувы. В договоре была обозначена сумма, которую управляющая компания должна перечислить господину Губцову. Все чин по чину, подписи сторон, печати сторон. Одна только деталь во всей восхитительной прозрачности: дату договора надо было проставить ручкой, как и реквизиты с подписями сторон, а её проставить забыли...

Управляющая кладбищенская компания в чине «ООО», с добрым именем «Ритуал-плюс», была очередной, ...ннадцатой ставкой в казино жизни аспирантов Сеченя и Акселератенко. Они чего-то там рассчитывали получить — и в ответ выполняли нестандартные поручения директора (впоследствии все равно их обманувшего). Например, вот такое: поехать к Губцову, в его кабинет в Госсобрании, и проставить забытую дату.

Казалось бы, какое значение может иметь дата?

По дороге, в автобусе (ходили по Куве тогда ещё желтые венгерские «Икарусы» со скрипучей резиновой гармошкой, разделявшей два салона), Акселератенко первый додумался спросить:

— Слушай, Яго, а какого числа у нас был указ о деноминации рубля?

— Ой, блин! — испугался именуемый тогда Яго Егор, потому что сразу понял, чем пахнет.

14 октября 1997 года безумное правительство РФ объявило, что заменяет старые деньги, именуемые рублями, на новые, которые тоже именуется рублями. Но один новый рубль будет стоить 1000 старых рублей. Из этого вытекало, что договор на несколько миллионов рублей 13 октября 1997 года в тысячу раз дешевле, чем договор 15 октября того же года.

Написано, например, что «РитуалПлюс» задолжал жуликам-афганцам пятьдесят миллионов рублей. А каких — не сказано! И если он задолжал пятьдесят миллионов до 14 октября, а поставит 15 октября — он накрутит себе 1000% одной рукописной циферкой...

Автобус скрипел через всю Куву очень долго. Пока он скрипел — аспиранты заводили сами себя: цифра забыта явно не случайно, цифру явно нарочно забыли проставить!

В результате до Заксобрания, серого, облицованного гранитной плиткой и несуразно-величественного здания, они добрались в совершеннейшем возбуждении.

И даже то, что Губцов по звонку снизу, с вахты, — тут же соизволил их принять, выписав пропуска, — мало их успокоило.

Они вошли в кабинет депутата, увешанный вымпелами, разными милитаристскими плакатами и прочими атрибутами показухи. Губцов встал из-за большого стола и крепко пожал им руки.

— А, ребята! Ну, рад, рад... С чем пожаловали?

Он сидел за столом, в теплом уютном кабинете, в одной рубашке с закатанными рукавами. Рубашка была белой, и расстегнута несколько больше, чем полагается на госслужбе.

— Дмитрий Николаевич, — начал Акселератенко дрожащим тембром, — тут вот договор, дату проставить забыли...

— А, этот? — косым взглядом смерил бумажку Губцов. — Ну так сами проставьте, чего там ездить ради такого?

— Дмитрий Николаевич, нужно обязательно, чтобы вашей рукой было проставлено! Такой порядок — иначе потом в суде опротестовать могут после графической экспертизы...

— В суде? — изумился Губцов. — После экспертизы? Чего вы такое мелете? Дата есть дата, на суть дела она не влияет...

— Очень даже влияет!

Конечно, Губцову было бы проще поставить дату в договор и покончить с делом. Но был 1997 год, гнусный, кровавый, лживый, подлый. Губцов, как и все, боялся. Он не «догонял», как в народе говорят, чего к нему пристали с какой-то датой, и подозревал подвох, подставу. Словом, электрическими искрами сыпавшая на него тревожность ребят давала зеркальное отражение.

— Нормальный договор, оставьте, я покажу юристу и в бухгалтерии... потом... сейчас много работы...

— Дмитрий Николаевич, мы не уйдем, пока вы при нас, своей рукой не проставите число, месяц прописью и год цифрами в этот договор! — тихо, но твердо сказал Сечень. Его руки дрожали.

Губцов видел дрожащие руки Егора — и сам начинал бояться. Непонимание легко конвертировалось в страх в 1997 году. Началась безумная беседа — из десятков реплик с обеих сторон, — в которой каждая сторона повторяла на разные лады одно и то же, но во все обостряющейся, взвинчивающейся атмосфере.

— Я не буду ставить дату! Я не понимаю, почему вам именно сегодня нужно поставить эту дату!

— А мы не понимаем, почему вы именно сегодня отказываетесь ставить дату!

Когда диалог зашел в тупик, Губцов стал испытывать настоящий страх. Он задумал маневр: как бы беззаботно, не показывая тревоги, встать из-за своего стола, отойти к двери кабинета — а там выскочить в коридор Заксобрания: в конце концов там, в коридоре — свидетели, клерки, другие депутаты, а чуть пониже — охрана режимного объекта...

Но маневр Губцова был разгадан аспирантами — искателями поживы.

И как только он попытался проскользнуть к двери из кабинета — Акселератенко ухватил его за плечи и прижал к книжному шкафу. Губцов что-то промычал, и рванул сильнее (а он был здоровый кабан, бывший афганец, как-никак)!

— Яго, держи его! — заорал Иван, и Егор навалился с другой стороны. Победила молодость и численное превосходство: руку депутату Губцову заломили за спину, повалили его на красную ковровую дорожку, мордой в ворс, и прижали к полу.

Рожа депутата стала красной от натуги и ярости, он нервно крутился под коленом Акселератенко, но Сечень прижал ему ноги. В борьбе депутатский стол получил сильный толчок, с него посыпались всякие бирюльки — сувениры и предметы письменного прибора.

В яростной борьбе упал набок стул, на спинку которого Губцов повесил свой пиджак. Рубашка на Губцове мигом пропятилась темными пятнами пота, потом с хрустом треснула по шву, обнажая дебелий бок депутата...

Акселератенко словно обезумел. Придавив голову Губцова коленом, он ухватил длинной рукой настольную лампу и мигом обмотал её шнуром горло депутата. Тот хрипел, потел все больше, судорожно вырывался.

— Поставь дату, сука! — с запредельной решимостью сказал Иван.

— Не поставлю! Зачем вам это нужно?!

— Деноминация 14 октября прошла! Хочешь в тысячу раз больше взять?!

По идее, это нужно было сказать сразу, как вошли. Но ведь аспиранты битый час это обсуждали в автобусе, и потому попросту забыли, что не все участвовали в их разговоре.

Заваленный Губцов, в лопнувшей сорочке, красный, как перед апоплексическим ударом, с крупными градинами пота на лбу, — вдруг стал хохотать под коленом Акселератенко:

— Так вы думали? Ха-ха-ха! Вы решили? Ха-ха! Что я из-за деноминации? Чтобы в тысячу раз?..

— А вы бы что решили? — спросил Иван, отодвигая колено от шеи к лопаткам, дабы жертве легче было говорить.

— Нет, правда? Вы думали — деноминация? Тысяча рублей станет рублем! Ха-ха-ха... А я понять не могу — чего вы на меня наезжаете?! Давайте сюда, я поставлю дату!

Егор подсунул Губцову ручку, контракт и папочку для жесткости. Акселератенко немного ослабил хватку — и депутат быстро поставил дату ДО деноминации. Спрятав понадежнее контракт в папку, аспиранты отпустили депутата.

Он встал, отряхнулся, и грустно сказал:

— Сорочку, гады, мне порвали! Морду намяли! По-человечески объяснить разучились! Ну, разве вы не суки?!

Иван и Егор стояли в линию, пристыженные.

— Чего стоим? Я вам сказал, что у меня много работы?! Или вам опять особое приглашение на выход нужно?

Ребята поклонились и задом вышли в коридор Заксобраний, по которому сновали ни о чем не подозревавшие клерки с бумагами.

— Счас позвонит на пост и нас задержат... — грустно сказал Акселератенко.

— Нет, — покачал головой Сечень. — Не позвонит. Стыдно такие вещи рассказывать. Понимаешь? У него же имидж — ветеран, афганец, мужик, типа, воин. А тут его прямо по месту работы мордой в палас, и не рыпайся... Не позвонит, помани мое слово...

Депутат Губцов умер от сердечного приступа в 2010 году. О том, как его заваливали и рвали ему рубашку, он никогда никому так и не рассказал. Сегодня, — подумал Егор, — о том происшествии знают только двое, сам Сечень и живущий в Ейске Акселератенко... Но даже их двойного свидетельства, — если бы им вздумалось свидетельствовать неизвестно зачем, — было бы недостаточно, чтобы кто-то им поверил. Такой абсурд! Вошли с бумагами к депутату, устроили погром в кабинете, сорочку порвали, мордой в ковер натыкали, чуть шнуром от лампочки не удушили... И ушли, главное, без последствий... Разве так бывает?

Бывает, если 1997 год. Такой уж год был. Сложный год, страшный...

Случись Ивану Акселератенко чуть сильнее затянуть петлю из электрического провода на толстой бычьей шее Губцова — и что бы вышло? Политическое убийство, скандал на всю Россию!

А главное — просто из-за нелепости, из-за даты, которую в каком-то дурацком кладбищенском договоре забыли проставить, ну разве не шарман?! Трудно поверить, что такое было...

Продав большую часть исторической библиотеки быстро «терявшим кондицию» и превращавшимся в бомжей букинистам возле знаменитой на всю Куву проходной арки книжного магазина, Сечень выручил немного быстро-тающих и расплывающихся в воде, как акварели, ельцинских дензнаков. Начинаясь новый этап трагикомедии выживания — ростовщический.

Сечень разместил всюду, где подешевле брали за печать, — объявления, что дает деньги под проценты. Отбою от клиентов не было. Механизм Егор выбрал самый простой — хотя занудный и хлопотный: шел с потенциальным клиентом в магазин бытовой техники, где оформлял на паспорт клиента, например, холодильник за «миллион» рублей (тогдашними дешевыми деньгами) в рассрочку, в кредит. Выплаты по кредиту были теперь проблемой заемщика, а Сечень забирал к себе холодильник.

Расставшись с 400 «тысячами» рублей, Егорушка выставлял на реализацию товар с некоторой скидкой, но уже без всяких рассрочек. Таким образом, он и получал свою лихву. Дела шли бурно, но плохо. Товар продать было тяжело, с каждой СВЧ или ещё кассетным гробом-«видаком» приходилось попотеть изрядно.

Когда это надоело Сеченю до смерти, и выродилось в полубезумные планы открыть за счет олигархов политическую партию или хотя бы молодёжное при ней крыло — в жизни Егорушки появилась семья проходимцев Оливковых.

Обычно проходимцы одиноки. Но Оливковы были в этом смысле нетипичны. Их было четверо — папа, мама, сын и дочь, причем все авантюристы, что оптом, что в розницу. Жили Оливковы обманом, как телята молоком. Они обманывали и всей семьёй, и отдельно друг от друга, то находя себе коллективную жертву на стороне, то иногда даже пощипывая кошельки друг друга.

Поскольку с платной партией, или хотя бы «молодёжным крылом» никак не клеилось (Сечень опустил уже ставки до «буду издавать вам партийную газету», но и на это богатеи не клевали) — проходимцы Оливковы зашли в проходной двор егориной судьбы как раз вовремя.

Именно они и выгребли подчистую все ельцинские фантики из закров малой родины Егора Сеченя, буквально всё, что было заработано непосильным и тяжелым трудом бегунка-спекулянта.

Взамен Сечень получил официально (прямо-таки через нотариуса, ка-

завшегося бандитом, но оказавшегося честным парнем) залог: крестьянско-фермерское хозяйство. Нужно ли говорить, что долг семейство Оливковых не вернуло, ни в положенный срок, ни вообще никогда? Нужно ли объяснять, что фермерское хозяйство, вымороченное по залогу (и то только потому, что бритый наголо и в шрамах нотариус оказался почему-то молодцом), имело минимальный из допускаемых законом земельный участок (отрежь сотку — и разрешение на фермерскую деятельность было бы аннулировано)? Нужно ли, наконец, объяснять, что все фермерское поле было засеяно не картофелем, как в документах значилось, а никому не нужной сурепкой? И цвела и колосилась там эта сурепка с неистовой силой (а кроме неё там всё плодоносить отказывалось)...

Но и это досталось Егору не просто так. Все это досталось ему после долгой череды досудебных, судебных и послесудебных разборок, из рук уже не папы Оливкова, а его сына и дочери, потому что проходимец-папа смылся, переведя стрелки на детей. Дети же не смылись, понадеявшись, что нотариус окажется сволочью (они обманулись его внешностью), — но паче чаяния нотариус оказался ангелом светлым, и добил своими показаниями шаткие позиции детей семьи Оливковых...

После этих выматывающих тяжб за поле сорной сурепки Сечень долго болел и душой и телом. Денег у него уже не было, Оливковы тут постарались на славу, залог же по кредиту никто брать не хотел. Так, поневоле в жизни потомственного горожанина потомственно-благородных профессий начался новый этап: фермерство! Вот уж не ждал, не гадал — даже когда в 1996 году к диплому «профессионального историка и преподавателя истории» не выдали положенного нагрудного ромба! Подозревал, что без ромба с сомнительным дипломом дело пойдет плохо, но чтобы настолько...

Но тут уже появился «Россельхозбанк», грозивший всем аграриям помочь, по самые помидоры, льготами и прочей поддержкой «начинаний». Выбор у Сеченя был небогат: он сидел снова без копейки, с гектарами сурепки, и единственное, что (кроме городской квартиры в Куве) у него оставалось, — голова.

Она варила. Варила не то чтобы хорошо — варево получалось тощим и вонючим, в духе гнусного десятилетия 90-х годов. Но в итоге Сечень сварил то, что было...

Клерк в «Россельхозбанке», Женя Махачин, шустрый жулик времен первоначального накопления, юноша с большим будущим «в клеточку», был не умен, но жаден. Потом это качество привело его из банка в ритейлеры, но пока он перебирал только бумажки. Он сделал калькуляцию...

Залог — как ни смешон был фактически — юридически оформлялся безупречно: с товарными и весовыми накладными, со справками о пользе продукции и с заверенной калькуляцией.

Сечень тогда впервые провернул то, чему позавидовали бы даже Оливковы (по крайней мере, менее опытные дети этого семейства): получил вполне себе недурной кредит. Кстати, Евгений Махачин, как это было в те годы принято, отнюдь в накладе не остался...

#### 4.

Понятно уже из названия поселка, что хорошей жизни в Сиплодоново не было от века — ни когда ставили это убожество первые переселенцы из центральной России, ни в текущем году.

«Что же нужно было такого сделать, чтобы заслужить имя «Сиплого



Дна?» — иногда задумывался Егор Сечень между своих жалких, ничтожных коммерческих авантур, позволявших вынырнуть из канализационного потока пореформенной жизни на краткий миг. А зачем? Только чтобы вновь окунуться в зловонное течение буквально через пару дней...

После изрядного праздnodумного размышления Егор выдумал, что «сиплое дно» — это, наверное, приют опустившихся сифилитиков, которые, как известно, сипят голосом, и живут на самом общественном дне. Эту версию происхождения имени своего поселка он не проверял (да и зачем?), но иногда односельчанам о ней рассказывал. Односельчанам гипотеза не нравилась — а Сечень на ней и не настаивал.

Прошрое Сиплодоново было таким же малоинтересным, как и его настоящее. Разве что только будущее его было интересным. Но не в том смысле, чтобы в нем случилось что-то выдающееся, ибо такое предположить сложнее, чем прилет инопланетян.

Нет, будущее было интересно только своим полным отсутствием — ведь природа, как любил говаривать Сечень, не терпит пустоты. А тут — полнейшая пустота перспектив, как такое может быть с теоретической точки зрения?

Сиплодоново — это заизвесткованная, и потому белесая кувинская степь. В сушь, которая по здешним климатам часто бывает великой, — прогулки по этой степи пробуждают память об исписанной мелом школьной доске, промахнутой сухой тряпкой. В солнечные дни сиплодонцы, как один, похожи на мельников после смены.

Лучше было в Сиплодоново, когда земля подсыреет, и жесткие травы, сплетенные с бурым будыльём, источают прелый запах грибной осени в любой сезон. Хорошо терпеть их росистые колкости, пробираясь напрямки, поперек проселков. Хорошо дышать молочным и медвяным туманом, который здешние пчелы в сырой день оставляют ветру, не утаскивают в ульи и борти...

Но на всем лежала печать... нет, не проклятья, громко сказано, а какой-то недоделанности, что ли. Словно бы Сиплодоново у Бога лежало на верстаке мироздания, как заготовка, да так и упало, недоработанное, в небритую косарями травяную непутёвую запутанность...

Ведь, к примеру, — как можно в деревне без своей рыбы? А рыбачить, между тем, негде, рыба в селпо привозная, что по всем сельским меркам стыд и позор...

Грибов многих видов тут отродясь бывало помногу, но их местные не собирали, не умели отличать полезные от поганок, а как селу без грибных закусок стоять, не покосившись?

Ведь, если подумать, и ягод же, особенно ежевики, тоже много рожала земля, щедрая не только на пресловутую сурепку, но к ягодам относились, как к сорняку...

В целом же земли в Сиплодоново были плохими, бедными, росла на них нормально только картошка, да и то только до прихода в эти края страшного бича фитофторы — картофельной черной гнили. От фитофторы прогнило в её черно-меченый, крапистый год всё — и картофель, и помидоры, и перцы, и баклажаны, и даже — кто из чудаков сажал — гречиха с земляникой.

Мужики ходили между своими грядами, как сомнамбулы, то поднимая какие-то коряги, то зачем-то переставляя заборы, и не знали, как жить дальше. Всякий овощ сдох.

Не сдох от «черной гнили» только Сечень, потому что уже несколько лет ничего на своем участке не сажал.

Приезжали из Минсельхоза шарлатаны, баламутили воду, проводили профилактические работы и беседы, и в итоге объявили, что черной гнили больше не будет, не пройти ей.

Сечень сполна получил по страховке. Для аграриев, которые считались париями общества, — в стране вообще были льготные условия по многим видам услуг, в том числе и страховали их особо, не придираясь к мелочам...

Так зло или добро для липового фермера Сеченя «черная гниль»? Бедой её считать или подарком судьбы? Сечень и сам не знал...

...Да и сколько не вспоминай о жизни у чёрного вертикального омута зеркала в «Доме Ржи», который теперь твой, — всё равно вспоминается одна только склизкая и вонючая гадость... Неужели всё так и было? И с тобой?! Не с тем, другим, который вместо тебя прожил жизнь, а ты-то и не начинал? А вот именно с тобой?

Вспоминалось, как однажды он поехал в обыденный рейс, в дальнее село, где умер фермер-картофелевод. Жена, старуха, крайне непрактичная и немного тронутая умом (поживи-ка в дальней деревне), предлагала взять оптом урожай картофеля из сарая.

Пока взяли образцы с разных сторон кучи, пока шли через холодные сени на кухню старухи — Сечень подменил корнеплоды на гнилые, из своих, заранее припасенных.

Разрезали дольками — поглядеть качество товара. Везде — черная гниль. Старуха завывала, заметалась — ей и в голову не пришло, что Сечень — иллюзионист со стажем.

— Да не может быть! Да не может быть! Хорошая картошка была-то... Хорошая...

— Я вам врать не буду, — мрачно хмурился Сечень, которому вся эта история тоже не нравилось. Но что делать — хочешь жить, хочешь дочитать старую книгу про горилл, — умей вертеться... Подлое воображение подсказало Егору, как будет тяжело зимой обобранной старухе, как она будет страдать — ведь этот урожай от покойного мужа — последнее, что у неё есть. Сеченю было тяжело. Но он знал и другое — потому что ему было почти сорок лет и он много повидал: если и можно с кого взять — то только с непрактичных нищих. Богатые потому и богаты, что их не объедешь на козе...

— Я вам врать не буду. Вместе картошку из кучи брали?

— Вместе, сынок...

— Вместе разрезали?

— Ой, вместе...

— Гнилая?

— Ох, гнилая, проклятая, вся как есть гнилая... А как же... Ещё позавчера варила — нормальная была...

— Черная гниль, бабушка... Это такая сволочь... Внезапно проявляется... Весь район мучается... У меня и у самого урожай пропал — потому вот к вам приехал...

— Ты сходи, ещё возьми, с середины-то... Может, она хоть по части нормальная осталась?

Сечень пожал плечами, поражаясь беспечности бабки. Сходил — уже один, тут и ловкости рук не нужно, чтобы подменить корнеплоды. Принес ещё из своих запасов, демонстративно при старухе разрезал...

— Ох, гнилая совсем... Ох, пропадать буду...

— Ладно, бабушка, поехал я, — грустно сказал Сечень, и повернувшись, нарочито медленно двинулся ко входу. Он играл беспронизышно. Если старуха не окликнет — он вернется и сам предложит купить «гниль» по бросовой цене. Если окликнет — ещё лучше, цену ещё ниже сбить получится...

Она окликнула:

— Сынок... Может, хоть... за сколько-нибудь возьмешь?! Ведь пропадают совсем...

Сечень мог выторговать кучу «гнили» совсем задарма. Но он был человеком совестливым, и в итоге дал бабке два рубля за килограмм. Как он выразился, «только из уважения к ней, и чтобы выручить».

— Мы, бабушка, селяне оба, мы должны помогать друг другу... Возьму, может, какой дурак городской у меня и купит, не вскрывая...

— Ох, спасибо, сынок, ох, храни тебя Господь!

Когда картофель покойного фермера погрузили в грузовую «Газель», зафрахтованную под этот случай, когда поехали обратно в Кувы — Сечень мучился мыслью о своей погибшей душе.

— Станет бабка за меня Богу молиться — Господь все видит, сильно на меня разозлится...

Дорога с края районного до прожорливой Кувы долгая. Сечень думал долго, гулял желваками. Шоферу Гоше Ровянову, давно уже замешанному в делишки Сеченя, было не по себе — хозяин (или «хуняин», как звал его Гоша в нос от вечной простуды) казался сумасшедшим.

— Ты пойми, Господи! — беззвучно, как рыба, открывая рот, объяснял тот незримо собеседнику. — Ты и меня пойми! Ну взял бы я у неё по её цене... А в Куве сейчас на каждом углу — дешевая египетская картошка... Мне сколько наценивать — рупь?! Рассчитываешься с этим вот, — он почему-то с ненавистью глянул на Ровянова, — и все, зря считай в район прокатился, бабку выручил... А бензин? А санитарным дать? А в отдел? А...

Сечень загибал пальцы, объясняя Богу, почему никак не мог не надуть несчастную старуху, оставшуюся без кормильца. По всем его расчетам получалось, что прикувинская картошка, мелкая и неровная, в холодной земле росшая, перебить импорт не может. Вот если «химичить» — тогда другое дело, а если всем по-честному заплатить — прибыли никакой не будет!

В таких буднях проходила жизнь Егора Сеченя, потому он её и ненавидел. За всю свою жизнь он никаким полезным трудом не занимался — хотя от природы и не был бездельным трутнем. Жизнь с самого 1991 года учила Сеченя, что от работы происходит единственный эффект: конидохнут. Жизнь трудящихся и производящих какую-то байду людей проходила ежедневно перед глазами Егора, и это была жалкая, искореженная, словно по ней десять вагонов пустили поперек, исковерканная жизнь. Люди за копейку давились, и за копейку грызли самых своих близких. Отцы стояли над дочерьми, нагулявшими им внуков невесты от кого, и замеряли — не много ли воды тратится на омовение? Как-никак, везде счетчики... Матери слали детей на каторжные работы, и занудно требовали «уважить с полочки»... Племянники топором убивали теток, которые не давали им на пиво...

По природе Сечень не был паразитом общества; таким его сделала жизнь, судьба, ведь и по ней, — всхлипывал Сечень, — тоже прогнали вагоны порожняком, осями по кумполу...

...В 2009 году Сечень, как «справный мужик», даже попал в репортаж газеты правящей партии. «Единая Россия», выполненная на хорошей бумаге в голубых тонах, взялась описывать сельский труд. Мужиков-работяг, совсем

уж жалких и испитых, в репортаж не брали: слишком они позорили страну. Иссохшие, в замурзанных землёй черных бушлатах, с прожильчатым от вечной пьянки лицом, с убогой домашней обстановкой, покупавшие в сельпо только водку, соль, спички и хлеб, — они были неинтересны «думающим о селе» депутатам разных уровней.

Газетчики наловчились подлавливать под видом «справных сельских хозяев» разных жуков и воришек села, тех, кто научился где-то что-то тырить, и на тыренном строить приусадебные достатки. Эти были покруглее, меньше пахли брагой и дешевой водкой, говорили охотнее и не так односложно, как деревенские рабочие муравьи. Они держали много коров, свиней, птицы, запахивали какие-то мифические «клины»... И бодростью своей вороватой очень нравились «думающим о народе» начальникам газеты «Единая Россия».

На одной полосе с Сеченом, «настоящим русским мужиком», на котором, якобы, «все держится», оказался Митька Хряк, ворюга с мамлеевского агрохолдинга. Мамлеевский агрохолдинг завел для каких-то своих шашней с дешевыми кредитами в «Россельхозбанке» московский олигарх, который на хозяйстве и не бывал ни разу. Его задача была простой: изобразить видимость аграрного производства.

Митька Хряк был всего лишь сторожем. Но — ночным. И при складе с комбикормом. Митька тырил корма не то что мешками — телегами. На этой дармовщинке развел Митька личный хлев, курятник, овчарню, и даже коз доил на радость этнотуристам. Митька, конечно, молчал, что без ворованных кормов вся эта живность вмиг стала бы на холодной кувинской земле нерентабельной, и сжирала бы больше денег, чем давала.

Митька любил порассуждать. Он долго рассказывал гостям из столичной краевой Кувы, как нужно на селе «работать за троих», ночей не досыпать, куска не доедать.

— Я, господа, такой! — хвастался Митька Хряк под щелчки фотокамер. — Я встану в пять утра, сперва скотине корму задам, а потом уже только сам сяду завтракать...

Митька не врал. Он действительно в тот день встал в пять утра, но только с глубокого похмелья. Мучаясь, он вышел в хлев, обильно проблевался в коровью кормушку (животные с любопытством потянули морды к курящим теплом митькиной души харчам), а потом пошел будить жену, чтобы рассолу налила...

— ...А в колхозное время развратили крестьянина! — входил вечером Митька в раж, уже поправленный косушкой водочки и раскрасневшийся от распирающей грудную клетку правоты. — Работать на земле надо! Работать, а не пьянствовать, и не ждать от государства подачек... У меня вот всё своё! Сам на ноги встал! Дом дочери справил! Машину «рено» купил — когда стадо бычков собственных продал по осени! Вот как надо на земле работать! Земля — кормилица наша, всех прокормит, кто не лодырь и не пропойца...

Журналисты «Единой России» всё это восторженно записывали, видя в этих словах мудрость и соль земли.

Егор их такими излияниями не баловал. Он не прочь был «засветиться» в партийном официозе, тем более, что и для дел его торговых это было нехудо, но соловьем не разливался.

— Сечень... — сказал интервьюер, обрусевший прибалт, постоянно искавший правоты в сельском кулаке, и изрядно надоевший этим чиновному читателю «ЕР». — Какая интересная фамилия... Это вы сечете, или вас секут?

— Когда как, — огрызнулся Егор, — по-разному бывает..

«Крепкий мужик, разлаписто стоящий на земле, — написал об этом ответе прибалт позже, вернувшись в Куву. — Он не тратит слов на ветер, и не хвастается своими делами. Он — настоящий Хозяин, тот, на ком земля держится, на ком село стоит...».

«А может и правда? — воровски спрашивала гордыня у Сеченя. — Ты же справный мужик... На тебе земля держится?». Но выползавшая слева совесть уныло бубнила: «Чего на тебе держаться-то может, дурак, когда ты сам присоска? Налипала...».

— Поднимается ли село? — интересовался обожающий кулачество как класс хитроумный прибалт.

— Куда ему подниматься... — курил свой вонючий табак Сечень. — Оно на земле стоит, выше не прыгнешь, ниже земли падать некуда...

Прибалт подумал, что это народный афоризм и записал в свой блокнот.

— Много зарабатываете?

— Бывает, что и много...

— Значит, поднимается страна с колен?

— Не пишите так... Люди засмеют...

— Но ведь растет же уровень жизни у всех, у каждого, разве нет? Вот вы — лично вы, персонально, — как живете?

— Хреново я живу...

— Ну... — прибалт растерялся и перестал записывать. — Это... все потому, что вы черный пессимист...

Позже в газете этот эпизод бравурно переродился: «Много ещё проблем у крепкого хозяина Егора Сеченя, много ещё предстоит поработать депутатам, чтобы помочь ему преодолеть административные барьеры...».

Егор, в другой раз, ради интересов дела, чтобы потом по кабинетам высоким ходить да на проживу себе кланчить, может быть, и получше бы корреспондента приветил...

## 5.

В Куву, в подвале жилого дома, отгородил себе Сечень часть бывшего бомбоубежища сталинских времен. Отгородил, и оборудовал там дощаные лари и полки для многообразных овощей. Овощи он скупал, где придется, а потом выдавал их за экологически чистый фермерский продукт из Сиплодоново и сдавал на продажу в магазины сети «Гурман», где продукты в несколько раз дороже обычного.

«Гурман» вам грязнобокую картоху не возьмет: надо её перед сдачей хорошенько отмыть, превратить в «отборную», упаковать в красивые пластиковые сеточки, придать товарный вид. Сечень «создал рабочие места» — как писала про него газета правящей партии, — нанял двух старух-беделог, которые в корыте мыли разносортную картошку и паковали.

И вот, с утра пораньше, зайдя посмотреть на их работу, Сечень увидел, что руки у них красные, как гусиные лапки. Следовательно — вода в корыте холодней холодного.

— Чего это, матери, руки студите? — сыграл он доброго хозяина. — Я же вам давал электрический чайник, чтобы подливать горячей воды...

Старухи начали мяться, говорить какую-то ерунду, но врать они не умели, и Сечень вскоре выяснил: электрочайник они по какой-то глупости своей сожгли, а говорить не стали, опасаясь, что он стоимость чайника из зара-

ботка вычтет... Так и мыли, дуры, в ледяной воде, потому что чайник денег стоит, а здоровье бесплатное...

Худо стало Сеченю от этой мелочи. Молча поднялся он к себе в квартиру на второй этаж, взял там старый электрочайник и принес старухам. Поставил перед ними с видом оскорбленной невинности:

— Чего вы выдумываете? Когда я с вас чего вычитал? Или я нелюдь, по-вашему? Или я не русский человек? Почему вы ко мне так относитесь?! Понимаю, работа тяжелая, грязная, плачу мало — дык не могу же я вам больше платить! Я что, думаете, от жестокости тут вас держу?! Или я силком вас сюда загнал, выйти не даю?

— Ты что, ты что, сынок! — наперебой загомонили старухи-мойщицы. — Никак не в обиде, к пенсии приварок хороший... Мы до тебя в кондукторшах ходили, в трамвае ездили, там тяжело было... А тут работа в радость, расстраивать тебя не хотели...

«...Какой ты сын отечества, — вспомнилось тогда Егору впервые за день, — ты просто сукин сын»...

Егор не зверствовал. Да, он мало платил, но со всем своим карманным «Овощеторгом» он и зарабатывал тоже немного. «Старухам чего, — уговаривал он себя, — им крутиться не нужно: помыли, упаковали, денежку получили, а деньги с неба не сыплются... Мне их ещё нарыть надо, договора заключить...».

В расстроенных чувствах Сечень и поехал в Сиплодоново, встречать прессу и красоваться в качестве «опоры государства» и «хозяина-кормильца». Потому и интервью вышло поганое. Но прибалт молодец, все подправил в розовых тонах, при этом — вот ведь мастер! — даже и не наврав, не исказив грубо смысл сказанного. К примеру, говорит Егор, что хреново живет, — так ведь газета не пишет, что он сказал «хорошо живу». Нет, пишет, что страдает мужичок, сын отечества, от административных барьеров и чиновничьего эгоизма.

«Может, и правда? — спрашивал себя Сечень. — Оттого и страдаю? Может, если бы получше власть о селе заботилась, и я бы с толком жил, пользу бы приносил?».

Он был слишком умен — даром, что не смог устроиться по своему базовому университетскому образованию, — и понимал, что занимается самообманом. Его бизнес, — если можно так назвать постыдную помесь его вымогательства и побирушничества, — действительно, страдал малыми оборотами. Но если бы чиновники, прочитав про него в газете (на что, кстати, он очень надеялся), вместо зада повернулись бы к нему передом — он нанес бы больше вреда обществу, только и всего.

Так он берет помалу — потому что много не дают. А дай волю и потачку — возьмет много. Получается, чем хуже к нему чиновники относятся, тем он, Егор Сечень, безвреднее.

А как так получилось? Ведь был, был когда-то веселый и развитой парень, Егорушка Сечень, душа компании, весельчак и эрудит, и тоже мечтал всем добро делать, имя свое хорошими делами прославить...

Так и вышло. Вначале спасал себя от нищеты — а это только воровством достижимо в той стране, в которой он оказался после Университета. Потом — втянулся в хищения и кровопийство поглубже, потому что Игорек Ровянов бухал без зарплаты, а он ему платил, и старухам в подвале больше нравилось, чем в трамвайном депо, и всем, всем, всем...

Сечень никогда не пиршествовал напоказ. Он ходил, как и положено фер-

меру, роль которого старательно игралась, в черном бушлате и шерстяной шапочке. Его деньги лежали в карманах бушлата большими пачками — но не потому, что их было много, а потому что они были мелки по номиналу, к тому же грязны и замызганы.

Сечень выжимал деньги из проклятой жизни, как слезы из камня, давил остервенело, порой (как со старухой-фермершей) переходя всякую грань человечности. Но, если задуматься над гробом, — для чего?!

Надо было остановиться тогда, ещё тогда — и не ему одному, а всем... Словно в бреду Сечень повторял у зеркала, глядя в собственные странные глаза: — Безмен торговый... Торговый безмен...

Это ручные весы, маленький, уже почерневший от времени и товара предмет, который всегда был у Сеченя с собой.

Первый раз он встретился с безменом в 1980 году, когда нечаянно украл этот прибор у соседки. Соседка, старая дура, бывшая замужем почему-то за негроидным мужиком (в 1980 году в Кувейте это была огромная редкость!), выложила возле гаража кипу макулатуры, сверху — безмен, и ушла. Скорее всего, думал после Сечень, она забыла дома ключи от гаража, и вернулась за ними.

Но в этот час маленький Егор гулял рядом и, увидев незнакомый предмет, совершенно основательно посчитал его выброшенным: гараж закрыт, рядом никого, куча какого-то мусора, в мусоре — приборчик...

Сечень схватил безмен и убежал к себе домой. Кто-то (Егор так и не узнал, кто) видел это и настучал соседке. Соседка, жена редкостного негроида, явилась разбираться к родителям Егора, и ему влетело за кражу. Кражу, которой он на самом деле не совершал — ведь он видел и верил, что странный прибор выбросили!

Зачем нужны безмены — Егор узнал только много позже, когда начал воровать уже по-настоящему. Крючок, на него вешаешь мешок с грузом, и планочка на шкале, прикрепленная к пружине, показывает вес. Самые простые и самые удобные, к тому же самые неточные весы на свете!

Для того, кто торгует взвес и в россыпь, — вещь незаменимая...

Нынешний свой безмен Сечень покупал в хозмаге, поразившись скромной его стоимости, и использовал чуть ли не каждый день. Безмен кормил Егора, безменом измерялось все его крестьянско-фермерское хозяйство, такое прибыльное — если ничего не делать всерьёз...

Память, ошупываемая в поисках чего-то светлого или хотя бы сухого, без гнилой склизы разложения, — предательски выставила его снова, как несколько лет назад, у обочины трассы на выезде из Бобирова, где колеса его «Нивы» залепило желтой и красной листвой мокрой осени, а он отошел от машины и полюбовался на неё. Лучшее всего его бывшая машинка смотрелась почему-то снаружи. Внутри — как-то курно прожелтел верхний белый пористый «кожезаменитель». И не только: его пятнали дырки, проткнутые в разное время разными досками и брусками — машине достался хозяйин-чудак, имея под рукой «Газель» с водителем, он почему-то много деревяшек возил в салоне легкового автомобиля. Деревяшки рвали порой обивку, но зато внутри всегда пахло еловой смолой и деревянным пронохом, как на пилораме...

Ещё внутри были трещины на панели приборов, на крышке бардачка, скрипели изношенные и продавленные кресла, местами на их чехлах красовались прогары от курева...

Внутри можно было понять, что машина далеко не новая. Снаружи

она смотрелась почти как новая. Этот парадокс заставил Сеченя задуматься о всей современной ему жизни, сверкающей снаружи, убогой и удушливой с нутра...

Нынче Сечень вышел на «охоту». Он открыл сзади дверь багажника, стал доставать яркие коробочки с мягким сыром, вскрывать их и безжалостно вытряхивать содержимое на полиэтилен. Постепенно из нескольких коробочек получилась бесформенная кучка рассольного сыра. Она на пленке в багажнике производила видимость домашнего крестьянского продукта...

Сечень брался с разных концов за полиэтилен, ухватывая его наподобие дорожного узла, и нес белый аппетитный груз на капот «Нивы», чтобы здесь расстелить товар лицом: вот деревня Бобирово, славящаяся хозяйственными мужиками, вот продукт, а вот и продавец.

Едут вечером дачники с коттеджей, с садовых участков, с пикников, захочется им вкусить натурального деревенского продукта — добро пожаловать, милости просим...

Бобирово уже лет двадцать как жило с трассы. Трасса оживленная, богатых по ней елозит туда-сюда полным-полно. Житель Бобирово — если уж не совсем пропойца — выставлял перед дорогой табурет, ставил на него банку с белой бумагой внутри (знак — продают парное молоко), выкладывал тыквы, горки картофеля, овощи, зелень, иногда и мясо даже...

И все были довольны. Какой-нибудь депутат или банкир, приехавший в Куву к жене с банкой свежего молока; дояр, награвший депутата на цене, и Сечень, иногда примазывавшийся к этой странной, блеклой, призрачной жизни невинного обмана.

Где стоят сто бобировцев — отчего бы не встать и сто первому горожанину? А что у него «пищевкусовые продукты» (идиотское выражение, не находите?) на самом деле из магазина — кому какое дело? Он не продукты продает, он продает иллюзию экологической чистоты и природной непосредственности. Она дорого стоит, сам бы он такую фигну покупать не стал, но если у кого в бесценной иномарке много денег — отчего бы ни поддержать фермера?

И Сечень даже место постоянное завел — где его и находили постоянные клиенты из садовых и коттеджных поселков в воскресные вечера. Это был живописный уголок под раскидистой рябиной, по осени словно бы пятнавшей кровавыми каплями серый уральский небосвод. Егор раз за разом подъезжал сюда, аккуратно парковался, открывал багажник, подпирая кривоватой палкой его крышку (фабричные упоры давно уже в «Ниве» отказали), неспешно, по-крестьянски фасовал товар. Из синтетических сеток высыпал крупную египетскую кормовую картошку в пластиковые ведра веселой деревенской расцветки. Из хорошо упакованных иностранных молочных продуктов «делал» на пленке или клеенке родные, свежавываленные...

После разных экспериментов Егор остановился на слабосоленых мягких сырах. Их любили брать чуть ли не горстью проезжавшие сановные автолюбители, короли трассы, да и сам Сечень их любил. Для полноты доверия он обычно подпирал бедром переднее крыло своей «Нивы», пил чай из термоса, от которого шел уютный пар и заедал с пленки собственным товаром: не химия, не яд, сам ем и вам желаю — как бы говорило его честное лицо...

Обычно Сечень брал в багажник «Нивы» не крупную партию брынзы «Парижская буренка» — французское слабосоленое объединение, или похожий на «буренку» комбинированный рассольный продукт «Сиртаки», созданный некогда для заправки знаменитого греческого салата. Иногда он смешивал



на полиэтилене «буренку» с «сиртаки», иногда нет. Иногда добавлял на капот-прилавок несколько банок маринованных грибов — иногда не добавлял. Как уж карта ляжет...

Сыры Егор брал на оптовой базе, подешевле, те, у которых подходил срок годности, и которые никто, кроме Сеченя, брать не хотел. Поэтому на оптовой базе Сеченя любили, привечали, делали скидки. Но Сечень все равно много не брал: подозрительный мужик, всюду видящий подвох, часто теряющий большую выгоду из-за подозрений, он боялся прогореть, и торговал помалу.

Однако его тревоги были напрасны. Люди через одного сворачивали с трассы к импровизированному фермерскому прилавку, и никто даже не спрашивал бумаг — которые у Сеченя, конечно же, лежали наготове — насчет того, что он имеет собственное зарегистрированное фермерское хозяйство.

Сечень бодро расторгивался, пятнал жирными сырными руками купюры среднего достоинства, рассовывая их по карманам, балагурил и нравился своей «сельской косточкой» деревенского хитрована богачам. Обычно он начинал с 400 рублей за килограмм брынзы, которая в магазине лежала за 200 рублей кило. Когда ему надоедало торговать, он доверительно общал последним покупателям:

— Скину вам, устал я тут, замерз! Домой хочу! По пятьсот рубликов кило отдам, да и ладно...

И очень правдоподобно шмыгал как бы простуженным и как бы сизым носом, мялся и переминался, выражая все страдания российской деревни за несколько веков разом.

Он не знал, как называть домашний крестьянский мягкий соленый сыр, и сам придумал название: «сычужатина». Оно было нелепым, но казалось очень кондовым и народным, и клиенты на него клевали, как и на всё остальное.

Обнаглев, Сечень предлагал им попробовать «аналоги» его фермерского продукта — купить магазинную брынзу из Франции или Греции.

— Непременно сравните... Похоже, но не то, совсем не то... Сами почувствуете...

И это тоже работало. К нему на импровизированную точку под рябину уже несколько раз подкатывали расфуфыренные мажоры, заискивающие улыбались, и говорили:

— Да, да... Точно, братан, купил я в супермаркете «Сиртаки», сравнил... Похоже, но разве со свежачком сравнить?! Теперь вот сразу к тебе — у тебя подороже, зато какой вкус! Пальчики оближешь!

Мятые сторублевки и пятисотрублевки, раскладываемые потом на рифленой резине пустевшего дна багажника, пахли брынзой, осенью и дождями. Сечень имел две, три, четыре тысячи наvara с такого рейда, мог бы и больше, если бы дольше стоял и больше товару брал.

Но он не хотел. Ему все это обрыдло, надоело, стало ненавистно и омерзительно. Ему тошно было со свинцово-тусклого Бобирова, живущего, чтобы есть, и кушающего, чтобы жить. И от лжи, просачивающейся всюду в таком расторгаше. И от презрения богачей к его «Ниве», к его якобы «экологически-чистому» товару, на самом деле больше похожему на табличку нищего в переходе, и к нему самому...

Сечень иногда думал под своей рябиной, что обманывает обманщиков, и что их самодовольное превосходство над ним — гораздо больший обман, чем его мелкие фермерские хитрости с египетской картошкой...

Но в тот день он решил быть упертым, и, распродав всю «сычужатину», поехал из-под рябины не домой, а дальше вдоль трассы.

Осень была сырой и теплой, туманной, расхлябистой — самой что ни на есть грибной. По лесам шатались деревенские бабки и собирали грибы в огромном изобилии. Потом бабки выставляли ведра с грибами на продажу. И был тут один осенний сеченевский зазор, в который, словно в шелку копилки, падали у Сеченя пахнувшие опятами и подберезовиками рубли: бабки побаивались трассы...

Бабки к трассе не выходили. Они продавали свои грибы таким, как Сечень, у себя ближе к дому, выставляя ведра с опятами перед воротами. И продавали они опята по 150 рублей ведро. Ведро было маленьким, но Сечень знал, что за 250 легко загонит его на трассе, тем более под вечер, которого бабки особенно боялись.

Сечень играл роль грибника так же органично и непринужденно, как и роль сыровара. Он высыпал бабкины грибы на брезент, чистил какой-нибудь гриб маленьким грибным ножиком, в штормовке и резиновых сапогах, с сучковатой палочкой под мышкой. Палочка, помоченная росой снизу, попачканная землёй, неопровержимо доказывала во всей этой позе, что Сечень именно ей подцеплял прелую листву, выискивая очередной гриб...

Егор знал, что делает. Не успел он расстелить брезент, рассыпать товарец из лесу — как тут же один за другим стали парковаться возле него алкаши, готовившие отчет женам о проведенных в лесу выходных. Эти — на отличных авто, снаряженные в лес, словно спецназ, с иголки, опухшие от пьянки, денег не жалели и не торговались. Они не хотели являться домой с пустыми лукошками. И Сечень дарил им «отмаз», на глазок понижая или повышая цену гриба — в соответствии с тем, кого видел перед собой...

## 6.

Старый Егорушкин знакомый, Евгений Махачин, ныне уже не банковский клерк, а директор по снабжению сети «Гурман», при важных разговорах с поставщиками всегда выставлял на стол бутылку «Хэнесси». Это была одна и та же бутылка, потому что Махачин её никогда не открывал, а поставщики, не желая портить отношения, тоже не тянули к ней ручонки...

Махачин нервно курил. И говорил тоже нервно. Его раздирало между жадностью и страхом.

— Ялтинский лук нужен! Все магазины сети завалили меня заявками... Мода, сам понимаешь, мода... Эти чокнутые богачи — им вынь да положь... А где я им среди зимы возьму ялтинский лук?

Взять ялтинский лук среди зимы было действительно негде. Он в принципе не мог доехать до Кувы даже и летом, потому что ялтинский лук растет только в Крыму, и только западнее Алупки, в Пушкино и Малом Маяке, в Алуште и Запрудном. Его от природы мало. К тому же он плохо хранится. Очень плохо. Купишь его — а он по дороге сгниет.

Поэтому он очень дорогой — этот сладкий фиолетовый уникальный, с приплюснутой репкой, лук. Сечень прекрасно понимал, что имеет в виду Махачин: без слов Махачин говорил: «Егорушка, привези ялтинский лук по своей накладной, а я не спрошу тебя, откуда ты его взял... И если не будет скандала, то не спрошу никогда. А если будет скандал — я не причем, это ты меня обманул...».

— Жень, сколько дашь за партию ялтинского лука?

— Два счетчика, — осклабился Махачин облегченно. У них с Сеченем была

своя система расчетов, мало понятная постороннему уху. — Два счетчика, плюс десятку с пути...

— Ну, у меня немного выросло в этом году, — врал Егор, уже представляя, на что подталкивает его Махачин. — Именно фиолетового лука... Сажал на пробу... Завезти?

— Завози, Егор, завози, я уж тебе зеленый коридор сделаю... Очень нужно... Ты же знаешь этот народ, денежный, то им ничего не нужно, а то где-то вычитают в модных таблоидах, и как рванут искать...

По накладной КФХ «Сечень Е.А.» продавало партию ялтинского лука. Ценой лук бил рекорды по всем овощам, и был, конечно, никаким не ялтинским.

Обычно, когда овощеводы подделывают ялтинский фиолетовый лук, по тупости и непрофессионализму он у них горчит и пачкает пальцы фиолетовой краской. Сечень был давно в овощном бизнесе, и потому работал чисто.

Он закупил на оптовой базе партию сплюснутых луковиц сорта «веселка», похожего на голландский гибрид «брусвик», но гораздо более дешевый. Затем в своем подвале он велел замочить луковицы, но не в чернилах, как у дураков, а в нормальном анилиновом пищевом красителе. Чтобы лук стал сладким, как настоящий ялтинский, в раствор добавлялся сироп. В итоге отличить подделку Сеченя от настоящего «ялтинца» на глаз не смог бы даже профессионал. И цвет тот же, луковица такая же приплюснутая.

Только сам Сечень знал ахиллесову пяту подделки: настоящий ялтинский лук, если резать его на дольки, очень сочный, а сеченьский — куда как суше. Но в Куве, бурно раскупавшей «настоящий» ялтинский лук, ни один человек, кроме Сеченя, про такие тонкости не догадывался.

А потом...

Потом Женя Махачин пошел вверх, в гору, влился в круг местного управления правящей партии, все реже занимался продуктами и все больше политикой, потому что политика выгоднее торговли. Если, конечно, её саму не считать торговлей...

В ней — главное не победа, а участие. Например, участие в реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», которое никто не хотел брать, а Женя Махачин охотно взял на себя. Он уже имел опыт работы с Сеченем, и не без оснований полагал, что Егорушка что-нибудь придумает на основании серо-бесполезных и тоскливых госпрограммных предложений.

— Егор, с этим можно что-нибудь сделать? Пригодится тебе для чего-нибудь?

Сечень лениво наискосок просматривал бумажку, потом помечал карандашом, извлеченным из-за уха:

— Это, это, и это... За содействие — отдам 100 тысяч...

Трудно было понять по лицу Махачина, понимает ли он, во что влезает, или действительно верит, что помогает фермеру с семенами и удобрениями? Никого не волновала эта дилемма, и самого Махачина, похоже, не волновала.

В 2007 году (а после и в 2008) Сечень с легкой руки Махачина снова очутился в «Россельхозбанке». Комната и даже мебель были теми же, что и в первый раз, но кресло Махачина занимал теперь уже другой человек. Он — как заранее было оговорено — получил на руки визитную карточку Махачина и выдал без лишних слов бланки кредитных договоров.

«О предоставлении денежных средств» — значилось в фирменной шап-

ке. Бумага была дорогой, ароматизированной, бежевого цвета, с большим зеленым колосом сбоку. «Сама как купюра!» — одобрительно подумал о бумаге Сечень.

Теперь он понял, почему так настойчиво нудел Махачин, требуя перед походом в банке «одеться поприличнее». Сечень отнесся к просьбе как последний скряга, в буквальном смысле слова — «спустя рукава». Он достал в своем родовом гнезде из гардероба (полировка ручной работы, изображающая стилизованные красные знамена) свой старый университетский костюм в мелкую коричневую клеточку, удлинил рукава и брючины, и только. В черную жилетку он не влез уже, да и пиджак студента не застегивался на пузе, Сеченя порядочно расперло с 1992 года, когда он пробовал жрать вареные ремни из натуральной кожи. Поэтому костюм сидел на Егоре, как на корове седло. Махачин ничего не сказал, но дал понять свое недовольство взглядом искося.

Но банковскому служащему не было нужды до одеваний клиента, главным для него ориентиром служила махачинская визитка.

На роскошной бумаге бланка в разделе «сумма» уже значилось много нолей и цифр прописью. Сумма немного не дотягивала до 4 миллионов рублей. Если быть точнее — она составляла 3,8 миллиона рублей. Как такое забудешь?

Молчаливый клерк с постным лицом, словно бы сошедшим со средневековой германской миниатюры,пил кофе из изящной чашечки.

Одновременно он болтал с кем-то по телефону и умудрялся при этом (зажимая иногда черную трубку плечом) освобождающейся левой рукой показывать Егорушке — где какую закорючку в безукоризненных, как телеграфные провода, графах бланка поместить.

Сеченю было страшно в этом холодно-казенном, мертвенно-европеидном офисе, затертом до полного тождества с миллионами таких же еврокомнат. Ему было страшно уже тогда в этом месте бумаг и оргтехники, строгой угловатой офисной мебели — как в прозекторской.

Он оформлял кредит — то есть, если понимать вещи по-старому и по-умному, — вешал себе четырёхмиллионный (сколько это пудов? — метнулся разум) камень не шею...

Кредит был — как ему ещё раз объяснил средневекового вида клерк (правда, одетый по всем правилам банковского дресс-кода, что особенно дисгармонировало с его внешностью католического хрониста) — целевым.

Это значит: хотя тебе и перечисляют деньги, но на самом деле это не деньги. На них можно купить только семена или удобрения. Или-или. А больше — ничего. По сути, кредит давали даже не Сеченю, а продавцу семян и удобрений, Сечень же был почтальоном, переносившим деньги из банка в сомнительную контору «КуваПлодАгроМаш»...

Егору не нужны были ни семена, ни удобрения. Зачем ему такая сомнительная маста в 2007, а потом и 2008 годах в зоне рискованного земледелия?

Но заносчивый клерк, глядя на фермера через скулу, свысока, подчеркивал снова и снова: подтверждающие документы необходимы, только на растениеводство, на кирпич, сразу говорю, нельзя, и на шифер тоже...

Неожиданное многоточие в снобизме безупречного, как модельный манекен в бутике, клерка поставил визгливый сигнал микроволновки. Клерк сразу потерял царственный вид, стушевался, и скула, через которую он смотрел, — порозовела. В стерильном офисе запахло постыдным для банкиров домашним хавчиком...

Сечень понял, что этот несчастный, со средневековым профилем, с европейским гардеробом, — пронес в офис банку, в которой мамин суп! Это было так нелепо и пахло во всех смыслах неуставщиной, что Сечень еле сдержался, чтобы не рассмеяться.

— Давайте так, — сразу предложил клерк, потеряв всю свою спесь. — Я не буду угощать вас маминым борщом, а вы за это сохраните данную тему строго между нами...

Оба засмеялись.

— И это... — клерк смотрел гораздо дружелюбнее на человека в пиджаке не по размеру. — Насчет «только растениеводства» — я объяснил вам наши требования, но не ограничиваю ваших возможностей...

## 7.

Мог и не говорить. Сечень работал давно и все без слов понял правильно. А потому поехал после банка домой, сел на пуфик в большой прихожей, снял трубку с телефона, красовавшегося на узорчатой итальянской полочке с узенькими (только для денег и драгоценностей) ящичками, мигавшими благородной бронзой круглых ручек.

Телефон был массивный, старинный, из толстого тяжелого пластика-винила. Это была тщательно оберегаемая семейная реликвия — доставшаяся от покойного отца «вертушка». Белый продолговатый корпус, тяжелая трубка, дисковый набор цифр, а посреди диска — медный герб СССР. Аппарат государственной и партийной связи минувшей эпохи, музейный экспонат! Ещё бы и подставку под него найти соответствующую, тумбообразную, а не это европейское изящество для будуаров!

Зажужжал вослед поворотам ущемленный пальцем диск набора. На другом конце провода с очень высоким качеством звука (в современных аппаратах, поновее, поудобнее, — такого чистого звучания не добьёшься — всегда говаривал друзьям Сечень) вежливо отозвались:

— Алло! Юридическая фирма «Регистр». Слушаю вас...

— А у вас фирму можно зарегистрировать?

— Это наш основной профиль. В течение недели, за срочность доплата пятьдесят процентов... Можно в течение трех дней...

— Очень хорошо! А в налоговой тоже вы регистрируете?

— Молодой человек, все стадии регистрации, даже открытие банковского счета в указанном вами банке... Естественно, после предоплаты...

— А печать для юрлица у вас заказать можно?

— Естественно, у нас лучшие специалисты в Куве, они сделают печать в точности по вашему эскизу или предоставят свои варианты на выбор, если пожелаете...

— Значит, — расцвел благодушием голос Сеченя, — вас-то мне и надо! Подскажите ваш адрес!

Записал адрес (близко к дому, надо же!), положил увесистую трубку, ещё помнившую громовые крики госплановских завсекторов. Открыл в итальянской ореховой «подтелефоннице» второй ящик сверху, где лежали у него всякие счета-фактуры и накладные по КФХ.

Вот, конечно же, тут, где ей ещё быть! Накладная отгрузки мочевины с ООО «КуваПлодАгроМаш»... Нет, бумага слишком серая, экономят, сволочи... Ещё другая была, побелее бланком...

Нет, ну вот какие же все-таки паразиты! Весь кувинский край у них в данниках, все за самым разным «сельхоздерьмом» приезжают на их базу. И не то

чтобы они обязаны это делать — есть поставщики и повежливее «КувыПлодАгроМаша», — однако негласно, неписано до всех довели ещё в 1993 году: если ты кувинец, и нуждаешься в семенах и удобрениях, вали туда. Хочешь — или не хочешь, но иди, отоваривайся в строго оговоренном месте. Иначе огребешь. Чего огребешь — не уточнялось, но селяне понимали без лишних слов...

Но зато — даже человек далекий от агропрома в Куве и окрестностях знал марку, и ни у кого, никогда, никоим образом не возникло бы вопроса: а почему фермер купил мочевины в «КуваПлодАгроМаше»? Естественно, а где же ещё?!

Теперь Сеченю нужно было хорошее, яркое, детальное изображение печати этой «Маши», которая «и хороша, и наша». Нет, не подумайте, что он опустил до подделки платежных документов, — не в этот раз! Речь шла о многомиллионной сумме, и солидные люди, премиумы газеты «Единая Россия», так глупо не подставляются!

Всё, буквально всё, было в рамках закона.

В фирму «Регистр» — благо, что на соседней улице от его «Огарев-штрассе», Сечень пошел пешком, в мягких, потертых, разношенных туфлях, потому что страдал в то время мозолями на ногах. Туфли выпадали из зрительного ряда преуспевающего человека: Егор был в «гангстерском» двубортном полосатом серо-стальном костюме из кашемира с «льняным эффектом», придававшим ткани блеск и лоск. Пиджак был хорошего кроя, с простым и четким силуэтом. Брюки — жесткого контура. Сорочка черная, галстук атласный, молочно-белый, узел небрежно расслаблен, верхняя перламутровая пуговка легкомысленно расстегнута...

Как хорошо идти под пирамидальными тополями, так похожими издали на кипарисы, в мнущую асфальт жару, золотящую все вокруг солнечными витаминами бодрости!

В фирме «Регистр» мерно работал кондиционер, было прохладно и пахло мебельной кожей с кофейной примесью. Прием вела «офис-менеджер» с белым бейджиком, на котором буквами для слепых (совершенно гигантскими) написали: «Маша Ясенева». Девушка была в майке, рекламирующей компьютерную систему документооборота «Гарант». Реклама, признал Сечень, оказалась весьма доходчивой, особенно в районе выпуклостей фигуры.

— Здравствуйте, чем могу быть полезна?

— Здравствуйте, Маша! — улыбнулся Сечень прокуренными запущенными зубами, выдававшими во всем его великолепном сегодняшнем облике сельское происхождение. — Хочу назвать в вашу честь новую фирму!

— Очень приятно! — глазом не повела на сомнительные любезности ряженого колхозника Маша. — Я дам вам форму, заполните все параметры: какое бы вы хотели видеть название у своей будущей фирмы, будет ли офис, или только юрадрес, на кого регистрировать право собственности, каков дизайн бланка и печати...

Она говорила что-то ещё, занудно-казенное, а Сечень в хорошем настроении думал, как она сказочно молода. Она не студентка, нет, много для неё будет, она сбежавшая с уроков старшеклассница! Вот дошли, зверьё, детей уже на работу ставить стали...

— Машенька, фирма в вашу честь, поэтому будет называться «КуваПлодАгроМаш», нужна мне в форме ООО, учредителем будет вот он (Сечень вынул из барсетки взятый в краткосрочную аренду у родни паспорт недавно умершего соседа), и банковский счет тоже нужен будет...

Маша Ясенева наманикюренными пальчиками пробила что-то в компьютере, и сообщила, что фирма «КуваПлод АгроМаш» уже существует в природе.

— Значит, не один я ваш поклонник, — галантно расшаркался Сечень. — Но, думаю, это невелика беда! Ведь речь идет не о зарегистрированном товарном знаке, так ведь, Машуль? Если есть у нас магазин «Надежда» — это не значит, что нигде в Куве нельзя больше открывать магазин «Надежда»...

— Я вас поняла! — кивнула девчонка тонким точеным подбородком. — Значит, «КуваПлодАгроМаш», и тоже ООО?

— Да. Только ИНН будет другое. Насколько я понимаю, по закону этого достаточно? Вы же рекламируете «Гарант», так что поправьте, если ошибаюсь...

— Я всего лишь приемщица заказов, — поскромничала Маша, но таким тоном, что было видно: она не только приемщица. — Однако я тут пять месяцев, и могу сказать из практики: вы не ошибаетесь, и вы не первый с такой схемой...

— Как?! — расплылся в радушии сиропом Сечень. — Неужели есть ещё ПлодМаши?

— ПлодМашей нет, в основном заказывают клоны нефтяных и газовых компаний. Ну, вы понимаете!

— Понимаю, понимаю... Жажда ничто, имидж всё... Иметь дело с представителем ЗАО «Газпром» всегда солиднее, чем иметь дело с ЗАО «Пропан-БаллонПропажа»...

Они посмеялись. Зубки у Маши были жемчужные, белые с голубым легким оттенком, маленькие и острые. «Наверное, это дитя больно кусается», — подумалось Егору.

— И печать мне у вас нужно будет заказать, — добавил Сечень. — Я по телефону спрашивал... Можно?

— По вашему эскизу?

— Да, по моему. Можно?

— У нас вы все можете заказать, — сказали губы Маши. А её черные глаза добавили без слов: — «Включая меня».

— И ещё вопрос, — кокетничал Егор. — Машенька, почему вы школу прогуливаете?

— А вы не бойтесь за меня, дяденька, — игриво нагнулась к нему девочка, придвинувшись баннером «Гаранта». — Все, что вам нужно, я уже умею... — От неё тонко пахло нарциссами. «Сгинь, наваждение!» — подумал Сечень, но чувствуя, что напрягается...

...Не верьте беззаботным балагурам, которые регистрируют себе фирмы с доплатой за скорость! Не верьте даже очевидной их гедонистической перевозбужденности, когда они очень остро, будто стеклом по коже, тешат свою физиологию! Словом — «не верьте пехоте, когда она brave песни поет»<sup>6</sup>. За этой бравадой, за этим кобелиным напуском — страх, всегда страх... И чем веселее человек в двубортном костюме, с молочно-белым галстуком, чем активнее изучает он девушек масляным взглядом, тем — на самом деле — его жестче плющит изнутри.

Сечень узнал, почему такие, как он, — часто меняют костюмы. Не потому, что они транжиры и моты.

А потому что...

<sup>6</sup> Использована строка из песни Булата Окуджавы «О пехоте», 1989 г.

...Нет, они и жидко обдeldываются иногда, это тоже, но это крайний случай. А чаще вот так...

...Он лежал и думал, что же такое случилось, и почему его кашемир мокнет в зловонной луже, подтекающей из мусорных контейнеров популярного у кувинцев ресторана «КУВА-лда». Почему он лежит в этой задней обшарпанной подворотне на улице Огарёва, куда не досвечивают неоновые рекламы и огоньки развешенных по деревьям разноцветных гирлянд иллюминации? Почему чистенькое личико жизнелюба — обшарпано о неровный асфальт?

Вот он стоял; а вот уже лежит. И нет никакой логической связи между тем и этим, никакой причинности, как говорили в университете Кувы — «детерминизма»... А ведь должно же было хоть что-то произойти — однако ничего вспомнить он не мог.

И тогда он стал вставать, и понял, что плоская бутылка с коньяком «Ной» в кармане разбилась на множество осколков, что эти осколки порвали шелковый пижонский подклад гангстерского пиджака и частично впились ему в бок, как зубы зеленого змия...

Встал он с трудом и, пошатываясь, пошел, грязный и вонючий, со смешанным запахом свекольных помоев и коньяка домой, приводить себя в порядок. Какой напрасный труд! Кто и что в новом времени мог привести в порядок?!

Сечень заплатил добавку за скорость операции — не столько ради нужды, сколько ради производства впечатления на Ясенева. Но, увы, все напрасно! Когда он через три дня явился — заказ ему выдал уже какой-то крючковатый юноша в очках с большими диоптриями с надписью «Донат Закусин» на белом бейджике. У этого огромными были не только буквы имени, но и глаза за огромными линзами. Он выглядел умно и нелепо, и Сечень стеснялся звать его по бейджику, не понимая искренне, имя это у менеджера или обидная обзывалка?

— А вот Маша Ясенева тут...

— Она в другую смену, — сказал юноша Закусин необычайным для его сутулой фигуры оперным басом. — Вам она лично нужна?

Егору показалось, что он обиделся. Он, наверное, ревнует, как иначе: они тут за одним прилавком ягодицами трутся не первый день, видимо, есть за что...

— Нет, лично мне она не нужна, я у ней заказ оформлял.

— Ваш заказ у меня. Сейчас его принесут. Пока не желаете ли кофе?

«А Маша мне, чертовка, кофе не предлагала! — думал Сечень. — Ворует, наверное...».

Может быть, Донат Закусин выглядел, как облезлый гриф, но в профессионализме ему отказать трудно. Он тут же все нашёл и выдал в положенном виде: устав фирмы, свидетельство о государственной регистрации с копией, свидетельство о постановке в статслужбу, печать — точную копию с печати большой краевой тѣзки. Потом тихим голосом, близко, дохнув уже не нарциссами, а немного луком, добавил доверительно:

— Фирма «Регистр» гарантирует вам конфиденциальность операции, все ваши личные данные стерты в нашей базе... Нам тоже легче — меньше налогов платить...

Сечень одобрительно хихикнул.

Когда у тебя в руках печать официально зарегистрированной фирмы «КуваПлодАгроМаш» и печать столь же официального КФХ «Сечень» — не-



трудно сделать бумаги, по которым КФХ покупает у «АгроМаши» хреновую тучу «семян, минеральных удобрений и средств защиты растений».

Если же налоговая будет иметь какие-то претензии к «АгроМаше» с другим, чем у большой близняшки ИНН, — добро пожаловать на тот свет, беседовать с покойным хозяином. Что он делал, куда он девал деньги, почему не заплатил с них налоги — Сечень откуда может знать? Сечень купил себе то, что ему для хозяйства нужно, и разошлись, как в море корабли...

Но это все — вряд ли. Кому и зачем, если нет хорошо оплаченного заказа, так глубоко копать? На поверхности прекрасная картинка: «сельхоздерьмо» закуплено на всю сумму кредита, подтверждающие документы выданы прекрасно знакомой банку фирмой, а выглядывать под лупой мелкие циферки ИНН, и сличать их с ИНН большой «АгроМаши» никто не будет. Это предельно маловероятно — кто и когда на память знает цифры ИНН, чтобы заподозрить подвох?

Но даже если... Закон не нарушен, ибо нет такого закона, чтобы покупать только у той «АгроМаши». Сколько есть «АгроМашей» с разными ИНН — у всех все имеют право покупать все, что в уставе обозначено, ибо зачем иначе регистрировать фирмы?

Все прошло без сучка, без задоринки. Наличка лежала у Егора в кармане, и документы о покупке сельхозбарахла тоже лежали там же.

Отчет созрел.

Созрел и Егор для финальной стадии операции: в полном согласии с правилами реализации национального проекта «Развитие АПК» обратился к чиновнику, сидевшему за скучной дверью с нечитаемой табличкой: «Комитет агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации Кувинского края». Обратился по всей форме: с заявлением на получение государственных субсидий за пользование банковскими кредитами.

Государство обязалось возмещать фермерам проценты по кредитам — тут уж деваться некуда, все документы налицо.

И вот — в полном соответствии с госпрограммой — на расчетный счет его КФХ побежали денежки из федерального и краевого бюджетов по трем кредитам на общую сумму более 300 тысяч рублей. Негусто по сравнению с большими делами, вершившимися параллельно в России, но тоже хлеб! Нелегкий, крестьянский, фермерский хлеб, добываемый малой толикой в поте лица.

## 8.

— ...Я не знаю, как жить дальше, — говорит лучшая часть тебя.

Не знаешь — а живешь. И, как выясняется позже, все-таки знаешь, только признаваться себе не хочешь. Дешевые рестораны с Женей Махачиным превратились в дешевые форумы на периферии «партийных проектов» правящей партии. Дешевые залы в дешевых ДК на окраине Кувы, дешевые фуршеты и дешевая аудитория. «Мы поднимем сельское хозяйство фермерской инициативой»... Давайте, дерзайте...

Но оказывается — что фермерская инициатива — это ты сам. Потому что у тебя в кармане вырезанная за 500 рублей в подвальчике умельцами печать КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства) и картофельное поле в Сиплоново, доставшееся случайно, за долги, когда пытался заниматься ростовщичеством в городе, и регистрация в уполномоченных органах...

И вот, у тебя есть эта дешевая печать, и кое-как, по-любительски, скле-

енный под «ксерокс» бланк КФХ, и у тебя есть приятель, Женя Махачин, любитель фальшивого ялтинского лука. И когда это совмещается в одном фокусе — получается интересный фокус-покус...

— Я в Горсовет теперь избираюсь... — говорит Женя Махачин, потягивая херес из конической рюмки с гранеными звездами.

— И что?

— У меня две деревни в округе. Нужно им показать, что я поднял сельское хозяйство. Двадцать пять процентов избирателей, которых вместе с огородами включили в городскую черту... Я — если сельское хозяйство подниму — пройду, точно тебе говорю...

— А мне что сделать? — спрашивает Сечень, обглаживая американский окорочок. — Печать тебе поставить, что ты картофелевод?

— Идеи нужны! Понимаешь, партийный проект, сельское хозяйство, инвестиции, инновации...

«Инвестиции, инновации» — в том году они были волшебными словами. Их все повторяли, и верили в их магическую силу открывать все двери. Махачин не отличался оригинальностью мышления, и думал открыть двери в Горсовет несчастной Кувы такими же отмычками, как и у всех.

Сечень, как специалист по селу, разъяснил авторитетно, причавкивая импортным сыром:

— Женя, ты пойми, у нас сельское хозяйство нерентабельно. Холодно очень, заморозки ранние... Что ни возьми — завозить будет дешевле...

— А скотоводство?

— Скотина ест то, что растет. А растет у нас плохо. Биопродуктивность любой травы — низкая...

— Что же тогда делать?! — Махачин набычился, казалось, он сейчас начнет материться, или наоборот — плакать...

— Возьми экзотикой, — посоветовал Сечень.

— Это как?

— Трюфели...

— Что? — Махачин поднял бровь, запыхтел, как услужливая собака, готовая услышать «апорт!».

— Трюфели. Поскольку селу хана, то спасти его можно только экзотикой. Ну мы, типа, разведем с тобой трюфеля в промышленных масштабах... А каждый трюфель, гадина, стоит тысячу рублей... Тысячу рублей за штуку! А мы — типа, в промышленных масштабах их... Вообрази — по всему миру наши деревушки экспортируют трюфели, во все рестораны мира — по тысяче рублей за штуку... И бабло селяне в карман ватников гребут! Когда твоя деревенщина такое услышит — слюнками подавится и за тебя проголосует...

— Слушай... — растерянно спросил Махачин, потирая переносицу, — ведь эти самые трюфеля... Они, поди, неспроста такие дорогие? Они, поди, растут-то плохо...

— Конечно! А как же иначе?

— Тогда как мы с тобой их разведем?!

— Естественно, никак. Ты купишь — за свой счет, Женя, на мой не рассчитывай! — купишь пяток трюфелей и сфотографируешься с ними на фоне моей сельхозтехники... В Сиплодоново, ты знаешь... Ну, интервью там дашь — типа, дорогие селяне, будут вам инвестиции, за счет инноваций, запускаем мы в массовое производство грибы трюфеля, все сельское хозяйство с них поднимем, счета ваши колхозные и хлебальники ваши перекошенные от пьянки — ими заполним в окоём...

— И чё?

— И ничё... Потом-то выборы пройдут, пыль уляжется... Трюфеля помрут своей смертью... Надобно только решить, как их вернее порешить: объявить погибшими от неожиданных заморозков на почве или слопанными всяким червем-вредителем... Ну, в интернете посмотри там, чего эти трюфеля больше боятся...

Подняв взгляд на Махачина, Сечень поперхнулся и осекся. Глаза Махачина сияли светлой радостью, словно он узрел нисходящих к нему апостолов.

— Ты... — сказал Махачин, и протянул к Сеченю скрюченные пальцы, словно бы хотел удушить в благодарность за добрый совет.

— Что я? — невольно отодвинулся Егор.

— Ты посмотришь... в интернете... Вся моя ставка на тебя будет... Тут тебе и инвестиции и инновации! Какая схема, боже мой, какая схема! И инвестиции, и инновации, и национальный проект «Село», и реальный сектор производства и...

— Ну, Жень... — взял себя в руки Сечень. — Это денег будет стоить... Мне ведь тоже инвестиции нужны, на одних инновациях долго не протянешь...

— Будут тебе деньги, мой маленький земляной гений! — причмокнул Махачин с любовью, словно «голубой». — Будут! Завтра же будут! Грант тут есть в Министерстве образования, грант! Фермерам за научно-просветительскую работу на земле! Ты его и получишь... Завтра же поедем в МинОбр, оденемся поприличнее, но по-колхозному, чтобы видели, кто ты есть... Будем разговор разговаривать! Трюфеля! Под Кувой! На селе! Итить твою за ногу! Это же и наука, считай, разводить, и образование — других, типа, обучишь, и инновации, а под инновации — инвестиции...

...Сумма гранта была скромной — 200 тысяч рублей. Это объясняло, почему её не сперли игроки покрупнее Махачина и его «маленького земляного гения».

— Грант предоставил Российский гуманитарный научный фонд, — объяснял в тесном кабинетике шустроглазый Ахмет Барлыбаев, друг Махачина. — Распределяется через нас, через Министерство образования...

— Мы понимаем все сложности... — частил Махачин, торопясь влезть поглубже в тему. — Мы будем благодарны, и мы покроем издержки, накладные расходы...

Барлыбаев и ухом не повел. Гипнотически сверлил взглядом Сеченя, целдил через губу с некоторой чиновной заносчивостью:

— Если министерство одобрит исследования по трюфелям, то с вами мы подпишем договорчик... Договорчик обязательно нужен... У вас же юридическое лицо?

— Да, — кивнул Сечень, подумав, что раньше ценились честные лица, а теперь — юридические.

— Очень хорошо... Договорчик составим и подпишем. Это будет, как вы понимаете, договор на выполнение научно-исследовательских работ. И на счет вам деньги сбросим. Но по итогам нужны будут отчеты об исследовательских работах... Справитесь?

— Я помогу! — снова возник Махачин, лезущий из кожи для ускорения процесса.

— Опять же хорошо. Но тут такое дело... У нас же теперь гласность, демократизация... И министерству нужно... На форуме выступите?

— С чем?

— С трюфелями. Мол, так и так, можно и нужно, и возможно... и у меня получилось... Другие опять в подвалах разводят, а я вот на трюфели замахнулся...

Сечень выступил. А чего не выступить, если за плечами высшее гуманитарное образование, на черта оно ещё нужно, если не выступать на форумах? Эту речь, заласканную аплодисментами, он повторял потом на съезде партийного актива правящей партии, на оперативном совещании краевого правительства, в Минсельхозе, в Общественной палате, в Народном Фронте, в обществе изобретателей и рационализаторов, и ещё где-то, где — уже не помнил.

Говорят, у победы много отцов. В случае с трюфелями, — выскочившими из больного сознания Егора по пьяни, случайно, — победы не было и тени, а отцов уже набежала рота. Идея — в буквальном смысле выкопать миллионы рублей из земли — пришлась всем по душе. Реализм этой идеи никто не обсуждал, все вели себя так, будто у Сеченя в Сиплодоново уже колосились тучные нивы трюфелей и речь идет о свершившемся факте...

Сечень понимал, чего от него хотят. Ему было противно до тошноты, но он, как старый арлекин, преодолевая боль в груди, играл свою клоунскую до конца.

— Что такое трюфели, товарищи? — (или господа — в зависимости от аудитории) вопрошал Сечень, и хитро, по-хрущевски, улыбался. — Трюфель, это сельскохозяйственная культура, которая вытащит нашу бедную ниву к финансовому процветанию!

Сечень не врал. Трюфели (в количестве трех штук, ездивших с ним по форумам, по трибунам в пакете и купленных в супермаркете) уже вытащили его бедную ниву к процветанию. Мало того, что довольно быстро он получил 200 тысяч на счет от Барлыбаева, он уже и из департамента сельского хозяйства и продовольствия успел вытащить 300 тысяч госсубсидий.

Обрастая дорожками, теперь не только с Женей Махачиным, но и с Ахмедом Барлыбаевым он ходил по чиновным кабинетам, представлял собой же подписанный и своей же печатью заверенный документ о производстве и переработке «особой, инновационной сельхозпродукции» для получения субсидий.

Обговаривая на улице — куда выходили покурить — проценты «откатов», Сечень быстро решал дело в свою пользу, и к гранту шел грант, словно барашек к ярочке. Департаменту было уже легче «решать вопрос», так как он ссылаясь на решение Министерства образования — следовательно, для любой проверки выделение госсубсидий фермеру выглядело бы обоснованным. Мол, он не только инновационно производит, но ещё вон и других фермеров учит, опытный участок открыл для учебы...

Поэтому потом и в числе «пострадавших от засухи» Сечень тоже был в первом ряду. Своего человека как обделить? Солнце в тот год сожгло сразу несколько районов Кувинского края.

Власти, как водится, объявили о чрезвычайном положении в связи с засухой. У многих посевы от жары гибли на корню, многим об урожае мечтать не приходилось.

Из краевого бюджета были выделены немалые деньги, как писали, «в качестве субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным производителям, пострадавшим от засухи».

Конечно, для крестьян незнакомых была создана рабочая группа для об-

следования урона. Но таким, как Сечень, своим и знаменитым, предложили самостоятельно оценить площади посевов засохших культур и сразу предоставить комиссии заполненные бланки.

Сечень при этом ещё и приписал себе пару десятков гектаров...

Да и рабочая группа выезжать на места для проверки вроде бы не собиралась... Так в итоге краевое правительство и перечислило Сеченю новое вспомоществование...

На этот раз образцовый фермер получил от государства более 780 тысяч рублей...

Дело становилось серьёзным, а ответственность нависала дамокловым мечом. На следующий год Сечень решил подстраховаться: трюфеля у него появились не только на бумаге. Точнее, не только на бумаге появились вовсе не трюфеля, но это уже была броня крепче печати, вырезанной умельцем за 500 рублей в подвальчике...

Для плантации трюфелей нужна дубовая или буковая роща с молодыми дубами или буками, не старше 30 лет. У Егора не было ни молодых, ни старых, ни дубов, ни буков, он выкручивался подручными средствами.

В вымиравшем Сиплодоново на местах осевших в прах и превратившихся в холмики изб вырос размашистый, криволесный березняк. Сечень прирезал его к своему полю, легко сговорившись с местными властями, и вскоре начал ковыряться то здесь, то там, со штыковой лопатой, рассаживая нечто, отдаленно напоминавшее гриб...

Естественно, в березовом криволесье, выросшем на мусорных кучах прежнего заброшенного жилья, трюфель никогда не стал бы размножаться. Зато тут хорошо должен был размножаться помойник — клубеньковый базидиальный гриб, по научному называемый склеродермой.

Склеродерма — несъедобная, вонючая тварь, имеющая округлые и продолговатые желтоватые клубеньки. Её плотные, внутри черноватые грибы со светлыми прожилками неприятно пахнут и привлекают мошкар. Помойный гриб растет именно в таких вот местах старых лесистых свалок, и ничем не полезен, кроме одного: он очень похож на трюфель, и для несведущего человека может сойти за трюфель.

Буквально за пару лет склеродерма отлично занялась на участке Сеченя, и расплзлась по всему березняку, через каждый метр давая метастазы своей грибницы.

Когда этого дерьма стал полон лес, Сечень стал продавать трюфеля. Продавал он, конечно же, не склеродерму — кому она с какого перепугу нужна? — а самые настоящие трюфели, которые перед этим скрытно покупал на специализированной базе деликатесов.

Покупали, правда, неохотно, потому что — надо понимать — цены у Сеченя не были, да и не могли быть ниже, чем на трюфели со спецбазы. Но иногда покупали, и эти сделки подробно освещались в прессе, к счастью Жени Махачина и всех его покровителей.

К Сеченю стали возить делегации. Он показывал свою березовую плантацию, терпеливо объяснял, что трюфели ищут со специально обученным поросенком (поросенок был под рукой, ни черта не обученный, зато такой убедительный), а если что — можно определить место трюфеля под прелой листвой по роящейся над ним мошкаре.

А мошкара вилась. Помойный гриб идеально приманивал её, и зрелище получалось более чем убедительное.

— В основном трюфели растут в дубовых и буковых рощах Южной Фран-

ции и Северной Италии, — просвещал партактив Сечень. — В России можно вырастить только вот такой трюфель, так называемый летний трюфель... Вопреки распространенному заблуждению, трюфели всё-таки можно культивировать...

Ночами он не спал, ему было страшно. Он ворочался, превращая простыню в гармошку, в плисовую ткань, скрежетал зубами, без всякой цели ходил в туалет или в прихожую, забывая в губах неприкуренную сигарету...

Обман, сперва придуманный, как единственное средство выжить, — размножался делением, умножался в степени, приносил большой доход, и было совершенно непонятно — как из него выйти...

Наивный скажет — возьми да выйди... Легко говорить! Сечень не знал, понятия не имел, что делать, если прекратить рискованную игру. Опять торговать ложной домашней брынзой с капота своей «нивушки»? А это что, не опасно?!

Не выйти уже из игры, не выпрыгнуть. Целая этажерка над головой — полочки с забронзовевшими фигурками: Махачин, люди из министерства, люди из партии — все сидят на фермерских трюфелях, втирают очки друг другу и московскому начальству, развивают Сеченем фермерство и малый бизнес, два в одном из числа политических приоритетов патерналистской к людям нефтегазовой власти...

## 9.

Пара голодных мальчишек — детей сельских алкашей — забрались ночью в березовую рощу, где росли якобы трюфели, нарыли себе склеродермы, нажрались у костерка надречного, отравились так, что оказались в облезлой райбольнице.

Больница так называлась не потому, что райской была — куда ей, клизме тресканной, а потому, что осталась одна на весь район.

Проклиная все на свете, потный от страха, что экспертиза вскрыет подмену трюфеля на склеродерму, Сечень на своей «ниве» таскался к пацанам в палату, возил мандарины, а потом долго и убедительно, по-университетски, внушал инспектору по делам несовершеннолетних, замученной женщине молодых лет с немытыми волосами, простить этот казус воришкам.

В перевернутом мире преступником был не Сечень, обманывавший весь свет (при том, что свет рад был обмануться), а те, кто невольно раскрыли его обман. У дела был неожиданный разворот. Инспекторша (которую Сечень уже где-то видел, где, не мог вспомнить) в погонах капитана полиции увидела в Егоре рыцаря благородства и стала намекать на интимные отношения. Её так вдохновило заступничество Сеченя за воров его имущества, что она посчитала его последним мужчиной, достойным этого слова.

— Я очень бы хотела родить сына, такого, как вы... Не поможете?!

— В каком смысле?! — обалдел Сечень, опираясь на голубой капот своей «Нивушки».

— Ну как... — она кокетливо улыбнулась, и показалась в тот момент даже красивой. — Как это бывает... Вы не подумайте, я потом ничем вас донимать и попрекать не буду... Женщина в наше время рождает для себя, и должна это понимать... Но мне за тридцать, а у нас в районе и родить не от кого, пьянь одна...

Сечень, затравленно озираясь по сторонам, вспомнил университетский студенческий кодекс чести: если женщина предлагает себя, мужчина не может оскорбить её отказом. Предлагая себя, женщина идет на очень серь-

ёзную жертву, и потому долг мужчины (у студентов 90-х годов было, по крайней мере, так) — отозваться, хочется или не хочется...

Сечень давно уже не студент, почти забыл тропу в свою «альма-матер» и потому решил отделаться от симпатизантки крынкой свежего деревенского молока.

Пошел к задней дверце, достал из багажника «Нивы» (подставив палку, чтобы дверца не падала) горшочек, перетянутый поверху пленкой на резинке.

Инспекторша с удовольствием выпила молока, потом записала на автобусном билете (визиток у них в райотделе отродясь не водилось) — «Илона Дрожина» и свой номер мобильного и попросила позвонить. Она улыбалась довольно, как кошка, выхлебавшая хозяйское молоко (в известном смысле так оно и было), — ей казалось, что Сечень своей дурацкой крынкой в народном стиле сделал ей и комплимент и ангажемент.

В ту ночь Егор спал в своем деревенском доме в Сиплодоново, который редко почитал вниманием. Редкую ночь не дотягивал он до городской квартиры, а тут совсем вымотался, издергался — мальчишки отравились, воруют его дрянь, и грех на душу, и страх на стол...

Возникла мысль достать из того же багажника, так же подперев его крышку клюкой, канистру с бензином, облить этот проклятый дом, и сарай, и разваливающуюся теплицу, и весь березняк с фальшивыми трюфелями — поджечь все к ядрене фене.

Это ведь выход — думал Егор. Выход. Махачин, министерство, партия, отчеты, передовицы, награды и грамоты почетные... Была образцовая трюфельная ферма, да сгорела, мразь! Награды-то обратно отбирать не будут, на все воля Божья, сгорела, и хрен с ней, кому надо — на ней уже в депутатике избрался...

Но ферма — по старой привычке афериста — была Сеченем застрахована. Приедет страховой комиссар, начнет рыскать, носом рыть — те ли трюфеля сгорели, или помойная склеродерма вместо них, нет ли бензиновых дорожек на путях огненной волны...

Дом был стар и скрипуч. Сечень сделал к нему новый пристрой из канадского кленового бруса, заказал прямо в готовом, только разобранном виде, на бизнес-форуме в Куве. Привезли, собрали — европейский такой пристрой, пахучий, смолянистый, и чистенький. Ещё Сечень вырыл зачем-то два подвала. Один подвал был выложен голубым зеркальным сверкающим кафелем, там были потолки из белого пластика, чистота неопиcуемая, стиральная машина стояла, корзины для неведомо какого белья, бак для замачивания — словом, прачечная, хоть на пол ложись, не замараешься...

Второй подвал был в паутине по углам, с грубыми неошкуренными досками полок, с кучей всяких овощей (в городе мало ему их!), каких-то маринов и солений, варений, большая часть банок вообще неизвестно откуда взялась. Крышки ржавые, годы на ярлычках — старинные. Такое чувство, что в этом подвале банки сами размножались делением, как проклятая склеродерма под березовым пологом.

У этого подвала был серый, цементный пол под «стяжку», кирпичные стены, и в нем, прислонившись к чему-нибудь, можно было выпачкать одежду едкой подвальной пылью.

Хорошим, чистым и красивым подвалом с прачечным оборудованием Сечень вообще никогда не пользовался. Так, деньги выкинул на ветер, не более того, гостей свести, показать, что живешь как в Тироле...

Плохим и тесным, грязноватым подвалом, под потолком которого, хранящим отпечатки досок опалубки залитого бетона, мигала слабоватая одинокая лампочка без плафона и тем более абажура, — Сечень иногда пользовался.

Здесь он собирался делать домашние вина. О былом увлечении свидетельствовали с виду термометр и гигрометр в едином окладе на стене, большие бутылки для «бормотухи», разные трубочки и змеевики, то стеклянные, то резиновые, но равно воняющие фруктовой гнилью.

Зачем Сеченю нужно было домашнее вино — не знал никто, включая его самого. Наиболее вероятная версия, которую он сам себе высказывал, — в том, что Егору нравилось побулькивание некоего как бы живого существа, ворочавшегося в забродивших фруктах, пузырьки, выходявшие через водяные фильтры из трубочек. Нравилось и нравилось, а потом разонравилось, хотя немного домашнего вина он все же произвел, оно стояло тут же, в бутылках поменьше, чем производственные, некоторые бутылки были с ручками и оплетены лозой на итальянский манер.

Вино не давало дохода, было затеей, как в народе сельском говорят, — «геморройной» и убыточной. Поэтому практик победил в Егоре романтика, и самогонный аппарат в разобранном виде был развешан на крючьях по кирпичным стенам, украшая их чем-то баронетским, замковым, средневековым в своих завитках.

В грязный подвал переместилось гораздо более доходное детище Егора Сеченя: пылепроизводительный станок. Побывал Сечень как-то вместе с Махачиным в «Доме благородных вин», роскошном заведении в самом историческом центре Кувы. В этом большом винном магазине для снобов Егор обратил внимание, что самые дорогие экспонаты (а там не принято было говорить — «товары», но только с музейным придыханием — «экспонаты») лежат не в корзинах с сыром, а в корзинах с пылью.

Странно, правда? Пыль в подарок к бутылке стоит дороже, чем круг хорошего сыра в подарок к бутылке?

Дело в том, что старое вино — просто не может не быть укутано добрым старым войлоком из пыли, ведь оно же хранилось как бы десятилетиями, и как бы в подвалах винодела! Бутылка, которая пролежит в подвале двадцать лет, — будет мохнатой от пыли, это и Сечень, с детства лазавший по подвалам, хорошо понимал.

Ну, раз так надо, раз так положено...

Лишних слов между Сеченем и хозяином «Дома благородных напитков» никогда не произносилось. Сечень, согласно договора, составленного по всем правилам, брал на хранение дорогие марки вина. Новенькие бутылки были чистенькими. Но у Егора они волшебным образом быстро обрастали пыльной и паутиной бахромой, что должно было вселить в сноба-покупателя священный трепет за их старину.

Сечень делал это с новёхонькими бутылками за сутки. Он сам придумал пыледелательный станок, на котором протирал сукно и ветошь в полную труху. Паутинку же для декора отделки поставляла многочисленная, процветающая в Сиплодоново генерация пауков. В Сиплодоново вообще никто, кроме пауков, не процветал. Одним из пауков считал себя Сечень...

В подвале он выпивал — по жестяной кружке своего собственного домашнего вина, утирался и занюхивал рукавом своего черного, изящного по сельским меркам, ватника, по спиральной лесенке поднимался на уровень земли, в сам дом.



Дом пах старым деревом, старой кожей, старой полиролью, затхлой сельской печной уютностью. По штукатурке бежали трещины, словно и тут пауки ткали свой узор, весело шумел пылающий в АГВ синий огонек, нагревающий дом до желательной температуры.

Когда он гудел в вытяжке — стены просыхали от вечной сырости полузаброшенного жилья, многочисленные книги, сосланные сюда из городской квартиры, коробились корешками.

Весной, когда вход долго не отпирался, Сечень проходил через покосившиеся двустворчатые межкомнатные двери, крытые глянцевой белой краской, и под ногами его хрустели иссохшие мертвые пчелы, бог весь как попадавшие в зимовье.

Большие, толстые, сверху разошедшиеся, снизу подгнивающие доски половиц, словно шоколадной глазурью залитые некогда и навсегда толстым слоем бурой краски, задумчиво скрипели на своих разболтавшихся лагах.

Книги, картонные паспарту с известных картин, развешанные по стенам поварешки и прихватки — нехитрый крестьянский быт мало изменился с тех пор, когда сюда вселился за долги прежнего владельца новый хозяин.

На большом столе возле углового окна, раскрывавшегося, как фолиант, на две стороны света, была брошена выгоревшая на солнце клеенка, и вечно поверх неё лежали какие-то топинамбуры, корни хрена, морковки, зелено-бурые помидорки-недоросли. Казалось, некий художник-реалист разложил тут для зарисовки натюрморта, да так и забыл свой реквизит на Егоровом столе...

Неоднократно Сечень собирал в поганое ведро все эти топинамбуры, хрены, душицы, зверобой в пучках, выбрасывал — но быт снова и снова водворял крестьянские натюрморты на стол под застекленным углом, созданным явно не для сортировки свеклы, а для чаепития с видом на цветущие яблони под стрекот цикад.

На этот раз перед Сеченем предстала почему-то совокупность здоровенных, переросших в баклаги семенных, желтых от внутренней натуги огурцов и пакетиков огородных семян.

Сечень подвинул все это хозяйство на угол стола (один огурец упал и мерзко раскроился, словно слизняк) и, глядя в темный сад за угловым окном, медленно, чмокаяще допивал свою кружку вина.

Сечень не любил тут спать. Хата — не замок, полноценных привидений в ней не бывает, но всякие скрипы и всхлипы старого дома тоже не особенно весело слушать в кровати. Тем более, когда бельё неизбежно сыровато, потому что им редко пользуются, и постоянной температуры в доме не поддерживают.

Надо было позвать сюда с собой эту молодую инспекторшу по делам несовершеннолетних, заняться с ней совершеннолетними делами — сердито думал Егор. Заодно всю эту дрянь (он окинул взором семена и огурцы на столе) было бы кому подарить. Выбрасывать жалко, а ей, наверное, нужно...

Что за бред? Зачем капитану полиции в отделе по делам несовершеннолетних, занятому кражами с огородов силами рук алкашского приплода, — огурцы, перезрелые на семена? Где ей сажать эту дрянь?

— Наверное, есть где, — сам себе сказал Сечень. — Наверное, у неё, как и у всех тут, приусадебный участок, и она кверху раком на выходных выставляет свои трико на грядках... Зря я не спросил, есть ли у неё приусадебный участок... Тогда бы точно подарил ей эти «бобочки» — из них добрая рассада проклюнется...

А потом Сечень спал, один, в полусырой кровати, и снились ему другие времена и другие люди. 1984 год снился, жирно да масляно. Рожи снились, лоснящиеся от казенного довольствия, а главное — самодовольства. Вопросы снились — какие сейчас и задать-то не додумаются, не то что ответить.

И снилась большая поляна, обрамленная золотой осенью, и бабушка, что-то объясняющая отцу про грибы. Бабушка в синем плаще с алюминиевыми пуговицами и в платочке, а отец — в грубых штанах, в мощных ботинках, в свитере ромбиком, с непокрытой головой, ибо — тепло. Теплая осень, пряная, парная, с дождями по ночам, с туманом поутру, со спиногреем в полдень, грибная осень...

Где-то тут шастают и дед, и мать, и кузен — старше на пять лет, умерший от сердечного приступа, после того, как власти Кувы снесли зачем-то его торговый павильончик, обошедшийся ему в цену квартиры...

Но пока кузена интересуют не дела торговые, а опять и свинухи. Много на поляне людей, Сечень чувствует их, даже тех, кого не видит, и готовят они дело неслыханное: набиты уже и ведра, и тазы, вынимается из багажников брезентовый тент и заполняется грибами. Так заполняется, что багажники уже всклень, будто рюмка алкаша, наливающего «с горкой»...

А машины — те, которых уже нет: «запорожец» с ушами, белый, тесный, и ещё какой-то дедовский армейский джип с коробом вроде кареты: самодельной кабиной над джипом...

И бабушка что-то объясняет, и отец грибным ножичком зачищает зачем-то палку, делает маленький колышек...

Сечень проснулся в слезах, с болью в прокуренных дрянным табаком легких. Никого уже, кто снился ему, не было в живых. Ни бабушки, ни отца, ни деда, ни старшего двоюродного брата, ни матери. Все, все ушли, а Егора взять с собой забыли, и он остался тут один, с брезентом в багажнике, но без грибов.

Не росли больше грибы в лесах Кувы, только гнусная склеродерма несъедобная, ни на что, кроме обмана правящей партии, не годная...

Слезы текли по его скулам, обветренным на жизненных поворотах, и он повторял, словно безумный, впад в детство:

— Зачем? Зачем вы меня тут одного оставили?!

## 10.

Вот и настал тот день, когда Женя Махачин попрощался со своим мягким, удобным, кожаным, но обшарпанным креслом директора по закупкам ведущей сети продуктовых магазинов Кувы. Много сделав для этой марки и многое же у неё украв, Махачин в полосатом галстуке политика и с золотыми запонками все ещё коммерсанта переходил на постоянной основе в исполком регионального отделения правящей партии.

— Ну и на кого же ты меня оставляешь? — по-дружески, в шутку, но с долей реальной обиды спросил его Егор Сечень.

Обижаться было на что. Егор как раз привез на терминал красную чечевицу. Точнее сказать, это была не совсем чечевица. Ещё точнее — совсем не чечевица.

Егор купил две тонны колотого гороха, который используется только для солдатской каши, вымочил его в пищевом пасхальном красителе. Затем Егор снова его подсушил, отчего колотый горох приобрел вид, неотличимый от красной чечевицы.

А красная чечевица — редкая крупа, она стоит 300 рублей килограмм. А колотый горох — 30 рублей килограмм. Плюс, конечно, сколько-то ушло на транспортные расходы, на вымачивание и просушивание, на краситель, бабкам, которые все это проворачивали, Сечень, как он сам выражался, «прибавил к пенсии»...

И вот как раз — когда идет приемка красной чечевицы, дорогой крупы, — Махачин вздумал наострить лыжи в сторону высокогорий политического Олимпа...

— На кого я тебя оставляю? — криво ухмыльнулся Махачин и потерял привычный полосатый галстук политического демагога. — Да вот на кого...

В небольшой, уютный, заваленный всякой рекламной дрянью кабинет директора по закупкам вошел молодой человек неопределенной внешности, похожий на полицейского фоторобота.

— Рекомендую! Моя смена, Роберт Лажанов! Представляешь, фамилия такая, Лажанов! Идеальная для директора продмага! Роберт Лажанов привез баклажанов! — Махачин смеялся, уже густо, по-парламентски, а не прежним дробным хохотком удачливого барыги. — Лажанов привез баклажанов!

— Самое главное, — покойники осклабился Роберт-сменщик, — чтобы Лажанов привез баклажанов, а не облажался...

— Молодец! — похлопал Махачин сменщика по сиреновому пиджаку. — Понимает!

— Надеюсь, моя фамилия будет ассоциироваться с баклажанами, а не с лажей... — развил удачную мысль Роберт-заменитель.

— Так вот, Баклажанов, перед тобой — наш партийный активист... ты, кстати, анкету в партию написал?!

— Угу...

— Ну, ладно... Наш партийный давний активист, соль земли, так сказать, фермер Егор Сечень из Сиплодоново! Он для нашей магазинщины надежный проверенный поставщик, так что ты с ним работай, делай ему скидки хорошие! Нужно поднимать село и кормить кувинцев отечественными продуктами, ты же понимаешь!

По кисло-сладкой, как фастфудовский соус, внешности Роберта Лажанова было видно, что меньше всего на свете его волнуют подъем села и отечественность питания кувинцев.

«У меня с ним будут проблемы... — тяжело, потно думал Сечень с недобрым чувством, оглядывая клоуна в сиреновом пиджаке, в модельных ботинках под «крокодилову кожу». — Надо же, как некстати... И угораздило меня сегодня эту чечевицу привезти, не мог в другой день сподобиться...».

Махачин же, радостно балагурия, достал свою бутылку «Хэнесси», которую несколько лет выставлял на стол к поставщикам, и наконец свинтил ей золотистую головку.

— Не с собой же в партийный сейф тащить... — пояснил он свою неэкономность скорее себе, чем другим. — Давай, Баклажанов, разливай, только помни, за что Кутозову глаз выбили... Ровно разливай!

Под выпивку, под ветчинный закусончик Сечень пододвинул было товарные накладные к Махачину. Но тот и слышать ничего не хотел из своего овощного прошлого, и перекинул вопрос сменщику.

— Роберт, вот здесь и здесь подпиши, человеку ещё в деревню возвращаться...

— Я знаю, Евгений Антонович, знаю... Потом приму по накладным, и все подпишу... Что у вас тут?

— Красная чечевица... — покраснел Сечень как бы от выпитого виски. И снова подумал — провалиться бы тебе на этом месте, принесла нелегкая в такой день...

— Фасованная? — изломил бровь Лажанов.

— Нет, весовая...

— Зря, нужно фасовать. Крупа дорогая, особая... Без фасовки за крашенный горох могут принять... А если красиво оформить...

«Ах ты, пропади, сгинь, нечистая сила — внутренне ярился Сечень, но сохранял внешне натужную улыбку. — Наплачусь я ещё с ним...».

— Картофель ещё нужен, — продолжал Роберт. — Есть у вас?

— Есть, — кивнул Сечень, который всегда утвердительно отвечал на вопросы покупателей: ему нетрудно, а им приятно...

— Ну, думаю, сработаемся! — пожал руку Егору Лажанов. Рука была холодной и скользкой, как тунец в рыбном отделе за стенкой...

— Ну вот, друзья мои, — кивал нервным подбородком Махачин. — Оставляю вас на хозяйстве, держитесь друг друга, и все у вас будет хорошо... И про меня не забывайте... Пригожусь... Ну, посидели на дорожку, пора и честь знать! Ты, Роберт, осваивайся на троне, тут теперь ты хозяин... А ты, Сечень, пойдем со мной, проводишь, покурим...

Они вышли на заднее крыльцо магазинной дирекции, где бок о бок стояли припаркованными махачинский «БМВ», лажановская «тойота» и сечневская «Нива».

Егор по привычке достал свои дешевые сигареты, но Махачин мягко, потечески, остановил в полете его руку с «палочкой здоровья».

— Все эту дрянь куришь? — сказал проникновенно-осуждающе, словно отец, застукавший онанирующего подростка. — На вот тебе сигариллу, подыми хоть по-человечески...

Они задымили, пряный аромат тропиков смешивался с холодным зимним ветром.

— Так все на своем «кабриолете» ездешь? — продолжал Махачин в том же тоне. — Эх, Егор, и куда ты только деньги деваешь?! Везде стрижешь купоны — а ведь погляди только: у тебя и машина хреновая, и сигареты хреновые... Чё нормальный транспорт не купишь?

— Дык, ведь, Евгений Антонович, в деревне живу... — вошел в роль мужика при добром барине Сечень. — И этой-то иззавидовались алкаши... Возьму иномарку — всю мне гвоздем исцарапают...

— Н-да... — сказал Махачин, глубоко затягиваясь. — Ну, судьба у тебя значит, такая... Поближе к навозу... Но ты не бойсь — держись меня, вытяну!

— А как же! Конечно!

— Я тебя вот что вывел сказать... Ты это... Пойми, многое теперь изменится... Раньше я торговлей заведовал, и я тебе деньги платил...

«Вот гаденыш», — пронеслось в голове у Егора, вспомнившего пухлые конверты, передаваемые в бездонный карман Махачину, а вовсе не Махачиним.

— Да. Я тебе деньги платил. Теперь я политик, а политики, они платить непривычные... Жду от тебя, добро попомнишь, раскошелишься... А я тоже тебя не подведу — с этим вот, — Махачин презрительно махнул пятернёй в сторону двери, за которой «осваивался» Лажанов, — все нормально у тебя будет. Мой человек! Будем и дальше эту сеть разводить, чать, федеральная, не оскудеет! Если что у тебя с ним будет не в понятиках — мне звони. А насчет моих дел — тут особый будет фронт, понимаешь?

Сечень кивнул. Махачин, какой-то распушившийся волосами и одеждой, как помойный голубь, прыгнул в прогретое нутро «бумера» к водителю и умчался навстречу новой жизни...

...Через пару дней за плохую машину укорил Сеченя уже Соломон Пинхусович Привин, по кличке Залмон, хозяин «Дома благородных напитков», а в прошлом — торговавший курами-гриль на вокзале уголовник.

Залмон тяготился проклятым криминальным прошлым, и старался тянуться во фронт аристократической респектабельности. Он покупал у Сеченя пыль для бутылок, но с таким видом, будто покупает платину для алмазной монополии.

У Привина была одна странная привычка: деньги он отдавал Сеченю не пачкой, как все нормальные евреи и просто люди, а почему-то свернутыми в рулончик, перехваченный сберкассовской резинкой. Получался цилиндр из купюр, причем Залмон (теперь иначе как на Соломон Пинхусович не отзывавшийся) норовил скрутить в этот цилиндрик мелкие, в основном сторублевые купюры.

«Как туалетная бумага, честное слово!» — про себя ругался Сечень, пряча рулончик денег на резинке в боковой карман своей дубленки.

— Не пересчитаешь? — издевательски спрашивал Привин. Он потому, наверное, и сворачивал деньги нетрадиционно, чтобы их труднее было пересчитать: сними резинку, они и разлетятся по ветру...

— Я вам доверяю, Соломон Пинхусович! — с чувством (причем плохим) ответил Егор.

— Вот, — нравоучительствовал Залмон, — потому что ты не пересчитываешь денег, ты и едешь на таком драндулете... Денежка счет любит... Копеечка к копейке...

«Далась им моя «Нива»!» — злился Сечень, а на поверхности очень даже мило улыбался, и снова ссылался на деревенский быт, на колдырей по соседству, для которых и «Нива» — клад с острова сокровищ, и которые точно обдерут рашпилем любую иномарку деревенского соседа.

— Станный народ, — входя в роль, щебетал Сечень. — Эти колдыри, говорю... Если кто чужой в деревню придет — это пожалуйста, хоть на «мерсе»... А вот если свой, сосед, в люди выбился — пустят «красного петуха»...

— Да! — соглашался Залмон, жизненный опыт которого, тесно связанный с курами-гриль из магазинной просрочки, учил его тому же. — Мы, *русские*, никак не можем вытравить из себя отвратительное чувство зависти к чужому успеху...

«Например, к успеху Соломона Пинхусовича Привина, — злорадно думал Сечень. — Действительно, из нас, *русских*, — как такое вытравишь...».

Если Залмон сворачивал деньги в рулончик, и не мог иначе, — у Сеченя тоже была не менее странная привычка. Деньги, вырученные в буквальном смысле, за *продажу пыли* — он отвозил зачем-то эпизодической сожительнице Лиане, вызывая у неё неизменный восторг:

— Ух ты! Какой плотный!

Она мяла в руках похожий на туалетную бумагу цилиндрик сторублевков, потом несла его в буфетную антресоль, единственное место в её убогом жилище, закрывавшееся с незапамятных времен (буфет был, кажется, ещё бабушкин или прабабушкин) на нелепый, кривоватый, медно-желтый ключ.

На других, незакрывающихся отсеках буфета у Лианы стояли маринады, банки с вареньем, разные осенние огородные заготовки. В закрывающемся «сейфе», вышибить мебельный замок в котором любой бы смог с одного-

двух ударов, подобно банкам с огурцами и крыжовенным джемом в рядок выстраивались рулончики сеченевских денег.

Сечения злило, когда Лиана их тратила (вот, мол, чужое-то легко расфуфырить). И его злило, когда она их не тратила (вот, мол, дура, стараюсь, горбачусь — ради чего?!).

Его все бесило — и то, как он сам живет, и то, как живут другие. В частности, злила его до судорог в желваках Лианина тупая покорность судьбе, неспособность сделать шаг-другой, даже когда этого требует инстинкт самосохранения.

— Самогон гони! На селе с самогоном всегда с деньгами будешь...

— Гнала уж... — улыбалась она застенчиво и с тайной на устах, которой на самом деле не было.

— И что? Покупателей нет?!

— Есть... Пьяни всегда полно шатается... Участковый пришел, сказал, если буду ещё гнать — в тюрьму посадит... Нельзя, мол, закон...

— И ты что?

— На чердак аппарат самогонный-то сложила... Участковый сказал...

— А зарплату тебе тоже участковый будет платить?! — злился Сечень на незнакомого полиция. — Жить-то как?! Если тебе участковый скажет с балкона прыгнуть — тоже прыгнешь?!

Образ не прошел, не подействовал — в деревне нет балконов...

— Так что же делать? В тюрьму садиться?

— Нет, конечно! По-тихому гнать, чтобы он не видел... Мало ли сволочей? У него своя работа, у тебя своя...

— А закон как же? Или обманул он, что ли?

— Ни хрена он не обманул. Плевать на закон. Законом сыт не будешь...

Сечень ненавидел себя за такие речи — но не знал, куда от них уйти. Он жил в мире, в котором за работу не платили, а платили за всякое безобразие, смысла в такой жизни он не понимал, но всегда старался не сдохнуть, выиграть время — авось, поймет потом...

— А ты что читаешь? — лезла Лиана ласково, через плечо заглядывая в книгу.

— Про жизнь горилл... — отвечал Сечень рассеянно.

— Про жизнь горилл?! Наверное, похоже на людскую?

— Нет. Не похоже.

А что ещё он мог сказать? Пуститься в рассказы о прочитанном — о джунглях экваториальной Африки, о склонах угасших вулканов, о молодых свежих и хрустких побегах бамбука? О диком сельдерее — лакомстве этих несчастных горилл, которых люди почти перебили, наивно рассчитывая жить в этих местах лучше их прежних обитателей...

— Сходи-ка в сельпо, водки купи, раз самогон гнать разучилась! — грубо командовал Сечень, чтобы отвязалась, и милостиво разрешал оставить сдачу с крупной купюры себе...

Нужно ли говорить, что сдача удалялась (и бумажками, и кружочками медяков) — в тот же ларец с сокровищами, запиравшийся на единственный в доме исправный замочек?

— Зачем ей самогон гнать? — рычал про себя Егор. — Такого дурака себе нашла... Надо отнять у неё все деньги, все равно пользоваться не умеет, дура... Хоть бы девчонку свою одела в городе, а то ходит в школу, как пашенка...

И Егор предавался злобно-мстительным планам вскрытия бабушкиного буфета, конфискации оттуда всех материальных ценностей.

Правда, дальше злобного изъятия мысли не шли. Отнять у Лианы что-нибудь (в силу её редкой дурасти) — легче, чем кал за баней найти. Но куда потом девать это изъятное?

Сечень не знал.

Его потребности скукожились до каких-то тюремных пайков, будто бы он сам себя за что-то наказывал. А может, и вправду наказывал? Был человек, были у него мечты, планы, думал всем людям добро нести... Человек остался с кучей картошки, без мечты и без будущего, вошь на хищниках вроде Махачина...

## 11.

Хорошая машина начинается с гаража — по крайней мере, в районе Сиплодоново. Понимая, что упреки в качестве автотранспорта становятся слишком уж настойчивыми, скаредный Егорушка достал несколько перехваченных резинками пачек денег и стал присматриваться в Куве — к автомобилям немецким, японским, к чешской «Шкоде»...

Но, в самом деле, что будет, если припарковать такое сверкающее чудо техники возле темной от времени, покосившейся калитки Лианиного палисадника?

И сбоку от подслеповатого Лианиного домика Сечень развернул стройку: большой, просторный гараж из керамзитных блоков, со стогообразным деревянным чердаком — вторым этажом для хозяйственных нужд. В сущности, гараж оказался больше Лианиного жилья!

На всё у Егора была хитрая скидка. Блоки и дерево для гаража он покупал у хозяев заброшенных дачных участков — подешёвке. Перевозил тоже подешёвке, задействовав семейство Ржавкиных. В яме гаражного фундамента возились Сема Валенок и люди с гоголевскими фамилиями — Корепанов, Фарафонов, Ремянкин, местные жители разных лет, одинаковой пропитости. Пришел и Виль, брат Лианы, но этот не работал (хозяйская родня, как-никак!), а думал, что нальют «с устатку», и отирался возле сеструхи добровольным контролером.

На предложения подсобить грязный, замызганный, в пятнах побелки и олифы Виль отвечал с аристократической чопорностью:

— Что вы, соседюшки, я же могу одежду испачкать!

Виль потому и не работал, что рабочей одежды не имел, а единственную, которую имел, — называл «выходной».

Другие сельчане имели гардероб побогаче.

Все они работали не за деньги — отрабатывали долги. Сечень давно уже понял деревенскую психологию: нужно не нанимать, а загонять на работу. Вот, к примеру, пригласи дядьку Корепанова, ветерана чеченской войны, работать по найму — он заломит баснословную сумму: мол, «мы себя не на помойке нашли» и «мои услуги стоят дорого». Малые суммы кажутся для инфантильного сознания деревенщины пошлыми: не имея в кармане ни копейки, деревенщина, растленная телевизором и рыночными мечтами, не станет горбатиться за алтын. Зато деревенщину легко обмануть, наобещав «миллион» — и она костыми ляжет на работах, а потом будет только глупо улыбаться и смаргивать, когда услышит, что «обстоятельства изменились» и платить «миллионщик» более не намерен...

Поэтому Сечень не нанимал дядьку Корепанова, а одалживал ему. Сумма пустяшная, скажем рублей 500, — но ведь под запись! Корепанов деньги в тот же день пропил, и только похмелье осталось от них, а должок-то висит...

И начинались прятки-догонялки: Сечень преследовал дядьку Корепанова, а тот, из-за 500 рублей, как ребенок — прятался от Егора, убегал, ловился, мялся, виновато опускал глаза, просит подождать: раз, другой, третий...

Подержав в должниках дядьку Корепанова подольше, Сечень в итоге говорил ему примерно так:

— И не стыдно тебе?!

— Очень стыдно... — признавался по-детски простодушный Корепанов.

— Но нету денег... погоди, Егор Артурович, дай подняться, отдам...

— Нету денег, — говорил Егор, словно бы навстречу шел, — иди тогда к нам с Лианкой на двор, помоги по-соседски в работе! Или ты и это не в состоянии?!

Дядька Корепанов очень радовался, что, как он думал, «выкрутился». Он вкалывал самозабвенно, рассуждая, что руки — они бесплатные, подумаешь, соседу помочь, а он долг спишет и стыдить перестанет!

Фарафонов, мужик тощий, как жердь, но двужильный, взял однажды у Сеченя молочный сепаратор попользоваться. Сепаратор был очень плох, и Сечень его давно не включал — для таких вот случаев. Фарафонов начал сепарировать молоко, от черного шнура пошел вонючий едкий дым, и сепаратор Сеченя сгорел. Фарафонов извинился, и обещал оплатить.

— Ну давай, плати, чего тянуть? — предложил Егор.

— Дык, Артурыч, пока туда-сюда... Молоко, творог... Ветеринар... Подожди пока...

— А чего это я должен ждать, если ты мой сепаратор сжег? Этому сепаратору сносу не было, я не знаю, что такого сделать нужно было, чтобы такое с ним учудить!

— Артурыч, мля буду! Я тебе... Как сосед...

— Давай-ка, сосед, помоги с гаражом. Приходи к Лианке на двор, лопату прихвати, да и поможешь!

Хуже всего было Ремянкину: из всех он был самый бедный, и долгов на нем больше остальных. Ремянкин на разъезде жил вахтовым методом, по полгода. Потом он уезжал в Куву, где нанимался в какой-нибудь магазин черноробным болваном-охранником. Стоял там столбом по полгода, скапливал небольшую сумму, и возвращался в деревенский дом, жить, пока сумма не кончится, праздно, ибо больше всего на свете Ремянкин любил праздность.

Но — как гласит народная мудрость — больше всего приходится работать, чтобы совсем не работать. Ремянкин понял это, когда за долги попал на рабскую галеру к придиричивому Сеченю...

Сема Валенок погорел на книгах. Он составлял Сеченю список книг, которые хотел бы прочитать, — и Сечень привозил их ему из города. Денег у Семы не было (а когда были — отбирала мать, в высшей степени недовольная досугом сына). Сема запутывался в священной книжной кабале — и тоже только руками мог отдать долг...

Из Сеченя вышел бы хороший прораб. Он умудрялся бывать всюду и со всеми — как-то одновременно контролируя и Ржавкиных с их телегой, и Корепанова с лопатой, и Сему Валенка, норовящего устроить перекур без табака, но с новой книжкой «Эразм Роттердамский. Философские трактаты». Нет, не на того напал Валенок — Эразм оставался лежать нечитанным, а стены гаража стремительно поднимались из сорной площадки запущенного двора.



— Хорошо работают! — качал головой Егорушка у перекошенного окна в домике Лианы. — Как бы я хотел сейчас быть с ними...

— Ну так иди да будь! — недоумевала простодушная Лиана.

— Нет, Лианочка, нельзя. Я ведь теперь финансист...

— И что, боишься «лопатник» из штанов выронить, пока с лопатой возиться будешь? — хихикала глупая баба.

— Не в этом дело, заечка! Оперные певцы обязаны беречь свой голос, а финансисты внешность. Вообрази, явлюсь я в банк, хотя бы и «Россельхоз», — а у меня ручки грубые, в мозолях, ногти грязные или ломаные? Или ещё хуже — морда лица красная, обгоревшая, нос шелушится! Тут уж что на себя ни одевай — эффект падения будет...

Размышляя на эти темы, Сечень вовсе не лукавил. Он действительно мечтал класть кирпич, копать землю, делать несложные, будоражащие плоть и кровь, силовые движения. Но жизнь силком держала его в вынужденном тунеядстве, и выхода оттуда не нашупывалось.

В деревне Сечень одевался, как все деревенские: резиновые галоши на босу ногу, холщовые штаны, вымазанные в краске и побелке (зато им «сносу нет»), майка и каскетка с логотипами правящей партии (не от большой любви к партии, а потому что бесплатно дали, а Егор ещё выцыганил несколько комплектов, опять же, чтобы «сносу не было»). Но одежда снимается, а кожа — нет. А в Куве ему приходилось торговать, в том числе, и кожей, лицом, гибкостью рук...

Настоящий хозяин не бывает без кровопийства. По давней традиции Лиана готовила обеды на всё сомнище работяг. За счет Сеченя, конечно, потому что своего счета не имела. Егор постоянно дышал ей матерным жаром в ушко:

— Ну чего ты им макароны «Марфа» купила, они вон все желтые от яичного желтка! Не додумалась весовые, мамлеевские взять, которые серые?

— Хлеб потоньше режь, этой ораве разве можно ломтями? Они и нас так съедят...

— Кетчуп им привез один раз и на всех: вот в этой пластиковой канистре. Другого им не давай!

А кетчуп, признаться, был редкой дрянью, уксусом, который разбодяжили томатным колером! Но Сечень тоже ел с ним, упорно доказывая, мол, «ничего такого», и нечего ручонки к «Краснодарскому соусу» тянуть!

— Это чего! — рассусоливал Сечень за общим столом — Это вы ещё горя-то не знаете! Вот в 90-е годы мы с покойным (на самом деле просто уехавшим в Ейск, но Сечень любил прихвастнуть) Ванькой Акселератенко, природный такой хохол был, торговали чаем... Такой был паршивый чай, такой паршивый — ни цвету от него, ни запаху... Ну, тогда дела плохи были в Куве, брали люди и такой, если подешевле... Потом только Ванька — царствие ему Небесное (бедный человек водил паром в Ейске, и не знал, как его поминают на родине)! — разузнал, в чем дело! Оказывается, в Средней Азии есть такие чайные отвалы возле чайханы любой: туда выбрасывают использованную чайную заварку... Предприимчивые люди стали эти чайные отвалы лопатой да в мешок, сушили, фасовали и нам на продажу, вот как было! А вы от такого кетчупа хорошего морду воротите! — нравоучительно заканчивал Сечень, с годами все более тяготеющий к морализаторству.

Видимо, среда сказочно-бестолковых духовных карликов, в которой он жил, подталкивала его к такому поведению. Это же словами не передашь — это нужно было видеть, какими площадками вместо человеческих глаз гляде-

ли на него господа Карепанов, Фарафонов, Ремянкин, страдающие от «рока» (живущего в бутылке «Пшеничной») Ржавкины, да и просвещенный Сема Валенок тоже. Будто бы он им с каждой дешевой сентенцией открывал новый мир, Индии да Америки...

На долгах, на вымороченном от разоренных стройматериале, на прибавках Сечень быстро рос гараж, и на редкость складный.

Внизу — просторный зев, с полками для запчастей по стенам, бетонированный пол. Лесенка наверх — а там большая светлая комната, уютно пахнущая пустотой и деревом, окно в полстены, есть где развернуться и столяру, и механику, и слесарю, коли бы они нашлись...

Но откуда было им взяться в краю непуганых алкоголиков, на разъезде возле Сиплодоново?

Поначалу Сечень часто взбегал сюда по гулким металлическим ступеням, прикидывал, планировал. Потом стало не до этого: дела в Куве совсем засасывали...

## 12.

Махачин распорядился временем и деньгами Егора, как своими собственными. Он вызывал к себе и «нарезал задачи» — твое место «б» во втором ряду палаток на «Ржаном дне», с тебя — мангал, шашлыки для народных гуляний, большой самовар и тому подобная ерунда...

Никому не интересно было, где Сечень должен взять сороковедерный электросамовар, шашлычные причиндалы, и продавщицу «на точку». Как же — «Ржаной день»! Проект народных гуляний для кувинцев, призванный привлечь внимание к проблемам агропрома! Партийный приоритет! Господа избиратели, бла-бла-бла, обожритесь по льготному тарифу, бла-бла-бла, поддержите местного производителя!

А этот самый «местный производитель» должен оплачивать гулянку, выставлять изобильные дары земли в специальную юрту, навечеренную для большого начальства, поить и кормить избалованных и капризных горожан... Потому что «Ржаной день», ядрена мать, мы — народ ржи, особый русский путь среди народов риса, пшеницы, маиса и кукурузы...

Знаете ли вы, господа зажавшиеся кувинцы, что рожь кроме нашей страны выращивают только в Польше, да и то совсем чуть-чуть?! Рожь — наша судьба, наша гордость, наша слава, кушайте ржаные хлебцы, ржаные сухарики, с сеченевским шашлыком это очень завлекательно!

Слушая такие речи, произносимые с казенной бодростью, Сечень пугался теней своего прошлого. Ведь все это он уже слышал, слышал, и давно это было, и кончилось одновременно ничем и страшно.

Ничем — потому что без последствий, а страшно — потому что это ничто поглотила всю его жизнь, все те немногие десятилетия, что вообще-то отведывались небесной канцелярией для радости...

Ведь все это было, с этого начиналось, и к этому же пришло по замкнутой заколдованной петле. «Как сейчас помню» — бредил мозг Сеченья...

И, как воронка, втягивал в свои колодцы чёрных воспоминания...

Как будто снова гремит литаврами центральная площадь перед домом правительства региона, и грохочут помпезные музыки, юрты и шатры трепещут крыльями на вихрях зимнего непогожистого дня с мелкой снежно-льдиистой крупкой, режущей лицо. С крыш многоэтажных ампирных зданий свиваются вихри, скручиваются по асфальту, кое-где ещё голому, поземками...

Ветренная погода. Ну, не отменять же давно запланированный партией «День ржи»! Партия дунула, плюнула — и убогая «клиентела» разных Махачиных, мелкие жулики-подрядчики, словно в сказке, раскатали скатерть-самобранку завлекух и скоморошин...

А Егорово место — «б», и палатку ему дали, не заставили покупать, как других бедолаг из сферы малого бизнеса. Это — особый, дружеский жест Махачина, раскрутившего на палатку пивную фирму «Херст». Спасибо, конечно, но теперь вся кухня Сеченя оказалась под огромными логотипами «Херст», и к ним все время подходили алкаши за пивом...

Остальное Егор покупал сам. И двух барашков на шашлык, и сороковедерный самовар в обанкротившейся рабочей столовой (это было редкое везение, таких самоваров, как сказали Егору, больше не делают), и всякие медовые коврижки к чаю, и тетку из сельпо, Марью Давыдовну, ушлую бабу с торговой жилкой, и кухонного рабочего, сиплодонского алкаша Марата.

Так возник целый табор — тетка Марья, Марат, шофер Герка Ровянов, мобилизованный вместе с «Газелью», для ржаного дня отмытой изнутри кузова: теперь там почти не воняло луком...

Все это полунищее войнство суетилось, крутилось вокруг мангальной оси, нанизывало, подливало, зазывало, кряхтело и всячески изображало радость «местных производителей» по поводу заботы о них правящей партии.

Убытки у Сеченя начались сразу, потому что все выделенные на мероприятие деньги сразу же и сперли. Наверное, даже не Махачин, а уровнем повыше... Но, хоть бюджет до копейки и сперли, «местные производители» должны были организовать все «на уровне»: чтобы цены — символические, улыбки — радушные, обслуживание — на уровне...

Утро началось с непростительного прокола. Махачин предупредил Егора, что главному партийному гостю «Дня ржи» из самой столицы нужно будет подать лучший шашлык бесплатно. Даже скачал из интернета и распечатал фото этого главного гостя. Получилось размыто и грязно, но узнаваемо: эдакая улыбчивая будка с ломаным носом спортсмена, такого узнаешь из тысячи...

Пока вскрылось, что идиотина Ровянов взял только один вид кетчупа для шашлыков; пока Сечень проорался на Ровянова и зачем-то на остальных, пока — в силу недоверия к «детине-идиотине» сам запрыгнул в «Газель» и понесся набирать, как он это называл, «сочков-кетчупков», — нелегкая принесла к номеру «б» главного столичного командировочного.

Он являл собой вечность образа правящих партий. Мало того, что его увесистая ряшка излучала доброжелательную самоуверенность, как на плакатах членов Политбюро Егорового детства; мало того, что была его фотография, он, к тому же, был одет в шапку-пирожок из нерпы (вечный опознавательный знак партбосса) и шевиотовое однобортное пальто! Ну что ещё нужно надеть на себя, чтобы дуры, вроде Марьи Давыдовны, видели: идет большое начальство?! Не транспарант же кумачовый на голову ему прикрепить!

Но и на старуху бывает проруха. Марья Давыдовна, оставшись без Сеченя за старшую, очень приветливо приняла гостя. Она улыбалась и хихикала в ответ на его сальные банальности, призванные укрепить её веру в родное правительство. Она с церемонным поклоном поднесла гостю горячий, паривший на зимней свежести чай — пока Марат подавал на пластиковой тарелке хорошо прожаренный шашлык.

Но она — стоеросовая чурка — взяла с гостя деньги! Не должна была, но

взяла! Насчитала ему, как любому горожанину, символическую цену, и потребовала с улыбкой сорок шесть рублей!

— Так дешево?! — удивился гость из Москвы, аппетитно почавкивая баранкой.

— Все для людей! — отрапортовала Марья Давыдовна партийный лозунг.  
— Работаем для людей!

Гость съел немного шашлыка, похвалил, расплатился и пошел дальше по рядам в прекрасном настроении. Он, кажется, даже насвистывал государственный гимн...

Узнав об этом происшествии, Сечень пришел в неподдельный ужас. Дело в том, что он всегда подозревал в Махачине мелкого пришибея. В «День ржи» подозрения всесторонне оправдались: Женя крутился вокруг начальства, как щенок вокруг хозяина не вертится, и если бы можно было ползать на пупе — непременно бы прополз для своих боссов. Подчеркнутая пришибленная униженность Махачина давала понять: обидчикам своего начальства он спуска не даст! А тут такой прокол... Господи, какой прокол! Взять деньги с того, кого сто раз предупреждали не тревожить...

День разворачивался, народные песни и пляски бились неистово раненой птицей, горожане все прибывали полакомиться на дармовщинку. Сечень угрюмо ждал расплаты. Горячий чай в пластиковом стаканчике грел ладони, но не руку. Задумав подкрепиться, Сечень кинул было шашлыка, но «обделался» кетчупом. Весь перед серого пуховика фермера оказался в подобной крови красной жиже!

Проклиная себя, а пуще — глупую Марью Давыдовну, Сечень стал оттираться салфетками, в итоге красное и зыбкое убрать удалось, а темное и влажное осталось, и отлично смотрелось на сером фоне. Отлично не в смысле стильности, а в смысле видимости. Егор был окончательно опозорен.

Расплата пришла ближе к обеду, из юрты, в которой пьянствовало московское начальство. Чуть пошатываясь от целого букета коньяков, с мутным взглядом приближался к Сеченю Женя Махачин.

Сечень в грязном пуховике ждал его уныло и обреченно. Снова стали роиться мысли о смерти — и казалось, что смерть — самое лучшее, что может выйти в его никчемной жизни.

— Сам догадался?! — спросил Махачин визгливо и размахивая руками.

— Марья Давыдовна... Я за кетчупом...

— Да вижу я, что за кетчупом! — оскалился Женя, указуя всей ладонью на грязное пятно. — Обжора!

— Я ей сказал... Я, Евгений Антонович, правда, сказал ей...

— Ну, вместе и славу поделите тогда! — махнул рукой Махачин. — Молодец! Вот что значит — мыслящая личность... А я тоже хорош — бесплатно дай, бесплатно дай... Он уже там два тоста поднял за тебя, главный гость! Очень ему понравилась дешевизна местных продуктов питания! Ты хитрый, брат, ты от земли всё видишь... А я забронзовел маленько... Глупость тебе сказал... Там, в юрте, знаешь, какими хренами покрыли тех, кто бесплатно угощал?! Говорят, запугиваете малый бизнес, против партии его настраиваете... Мол, вот палатка номер «6» — другое дело: всем всё на общих основаниях... Кто, говорит, курировал палатку номер «6»? Я, говорю, куратор! Мне даже руку пожали собственной персоной...

— Вот ведь как бывает! — философски покивал головой Сечень.

— Ну ладно, болтать некогда, скоро они из юрты выйдут, по объектам поедem... Ты, короче, молодец, не подвел! Потом поговорим! Я побежал...

Так миновала неожиданно одна гроза — но пришла другая. Точнее, пришли. Пришли все халявшики и обжоры города славного — евразийского города Кувы — «поддержать местных производителей», и поддержали их, ободрив по символическим ценам, как липку!

Баранина два раза заканчивалась. Нашпаренный Гера Ровянов уносился за новой порцией сырья, а забившийся в угол пивной палатки Сечень с крестьянской скаредностью подсчитывал голимые убытки.

К четырем часам дня «День ржи» наказал его на 60 тысяч рублей. К шести часам сумма ушла за 70. Дальше Сечень бросил считать и попросил Марата сбежать за «пузырем» приличной водки.

Марат убежал. Но водку взял неприличную, сивушную дешевку, и большую её часть выпил сам. Сечень давился холодной вонючей белой жидкостью, и закусывал жареным мясом с бараньего ребрышка...

Не прошло и полгода, как Женя Махачин, поигрывая телефонным проводом правительственной связи в своём кабинете, спросил у вызванного «на ковёр» «маленького земляного друга»:

— Помнишь «День ржи» в Куве? Ты ещё тогда отличился всем на удивление, брат!

— Как забыть! Шумное было веселье! Славно погулявши!

— Ну! — улыбался Махачин в свои, зачем-то отпущенные, усы. — По герою и награда! Тебя запомнили там! — Женя со значением ткнул пальцем в потолок. — И теперь есть мнение... Такое, значимое... Открыть в нашем городе «Дом Ржи». Под эти цели отводят цокольное фойе нашего партийного «Центра общественно-значимых инициатив». Каково?

— Что, и бюджет выделяют? — поинтересовался Сечень уныло.

По тому, как забегали глазенки усатого теперь Махачина, по нервной реакции этого беловоротничкового мошенника, Егор сразу понял, что бюджет выделяют, и значительный. Но, как явствует из вороватой вертлявости Жени, бюджет до исполнителя всяко не дойдет. Это уж дело решенное и приговоренное.

Конечно, напрямую Махачин этого не сказал, да и не требовалось. Он постарался подчеркнуть другие, положительные стороны проекта:

— Ты чё... Бесплатно тебе отдают под частную торговлю фойе крутого здания в центре Кувы! Ты понимаешь, сколько бы за это отдали арендной платы торгошаи?! Понимаешь?! А ты спрашиваешь... Нет, ты посмотри на него — он ещё думает! Да я бы на твоём месте обеими руками бы хватался и держал, что есть дури...

— Схвачусь, Евгений Антонович, — пообещал с улыбкой Сечень. — Чего-чего, а дури нам не занимать...

Так и родился «Дом Ржи» в городе Куве — социально-значимый и народно-оздоровительный комплекс торговли и услуг...

### 13.

Большому кораблю — большое плавание: для обмена опытом в области патриотической гастрономии партия отправила Сеченя в столицу, на съезд фермеров-инноваторов, призванный опытом с мест вдохнуть новую жизнь в бездыханное сельское хозяйство.

Огромный город, подземные лабиринты метро — как давно этого не было в жизни Егора! Москва была другой, совсем другой, безнадежно другой... Совсем не тот смеющийся вальяжный город детства, а город нервный, сумасшедший, бешеный, пропитанный вытяжками страха и алчности.

Сечень на съезде фермеров-инноваторов выступил с темой трюфелеводства, набрал кучу брошюр по пропаганде отечественных производителей и национального питания, и даже выпил в буфете бывшего Госплана с довольно симпатичными коллегами средней полосы Нечерноземья.

Потом Сечень сходил в зоологический музей и зачем-то в музей палеонтологии. Хотел пойти ещё в политехнический музей, но подумал, что будет перебор, и нужно навестить столичную родню, не виданную многие годы.

Урча, стальной червь метро потащил его на улицу Вавилова, к академическому кварталу, где почти ничего не изменилось со времен детских его визитов — только грязнее и как-то неуютнее стало в ветшающих дворах.

Номера квартиры своей тетки он не помнил — но зато прекрасно помнил её местоположение, и, ориентируясь по зрительной памяти, добрался до оббитой кожей на круглых заклепках двери. Дверь та же самая, надо же, за столько-то лет и не поменяли!

Потом Сечень понял, почему: в этом дворе академической элитной сотки время отрукавилось от основного потока, заилилось, застоялось... В подъезде оно почти совсем остановило свой бег. А в квартире покойного дяди Миши — встало намертво...

В этом доме шли только часы — настенные, напольные, на каминной полке, — тикали себе, а время не шло. Старческая опрятность, характерный, даже не старушечий, а «старушачий» запах — ретро-духи, чернослив, полироль, выпечка...

Мебель была старой, очень старой, ещё советской — из ценного дерева, натуральная, массивная, настоящая, не то что поделки под евроремонт, больше похожие на театральную бутафорию...

Тетка, старуха, доживала последние дни в тишине и упорядоченном перестуке часовых механизмов. Приняла племянника из Кувы ласково, радостно — видимо, мало к ней кто заходил...

А племянник пошел в столице тетку навестить — чтобы узнать, как её здоровье и много ли наследников на элитную столичную недвижимость в виде квартиры в старом академическом доме улучшенной планировки. Здоровье у тетки оказалось вполне сносным, и количество наследников не оставляло Егору шансов заполучить сокровище даже при самом лучшем для него исходе (если тетка откинет каблуки старомодных туфелек).

Но выяснилось кое-что другое, тоже немаловажное.

Сечень остановился в гостиной у большого портрета покойного дядьки Михаила, академика всех академий и корифея всех коринфов. Портрет был хорош только величиной. Сечень прикинул и так и эдак — даже если подмазать где нужно штрихами — дядька не сойдет за популярную персону, и продать холст не светит. Кому нужен покойный дядька Сеченя?

Однажды Сечень уже продал никому не нужный чугунный бюст всесоюзного старосты Калинина богатому вьетнамцу. Вьетнамец торговал вонючим бальзамом «Звездочка», якобы помогавшим сразу от всех болезней. Секрет сделки был прост: Калинин в воображении художника со своей козлиной бородкой и лукавым прищуром запросто сошел за Хо Ши Мина, тем более, что топорность чугунного литья мешала опознавать мелкие детали.

Поэтому, если бы дядька Михаил хотя бы отдаленно напоминал Солженицына или Сахарова, — Сечень нашел бы куда пристроить его портрет. Но все это пустые домыслы пустого досуга — ведь тетка не отдаст холста с покойным мужем, да и толку от холста — хоть бы отдала — кот заплакал...

«Вот значит, дядя, ты какой... При жизни был поменьше и покривее... — думал Егор, словно Дон Жуан перед статуей командора. — Монографии писал, на конгрессах трындел, думал, небось, что делом занимаешься... Люди, думал, на тебя заморожено смотрят — какой ты молодец! Ан видишь, как повернуло — ни тебя, ни конгрессов, ни людей, ни книг. Так-то, дядя... А я ведь тоже хотел, как ты... Университет окончил, книги хотел писать... А видишь, чем живу — гнилую картоху за свежую выдаю, и тем сыт бываю...».

Академик медицины Сульпин смотрел с холста заносчиво и важно. Его полосатый костюм с большими лацканами сейчас приняли бы за пижаму, наверное. Дядя возвышался с «ромбом»: ишь, как подчеркивал, что медицинститут окончил!

Да, смеялся, смеялся доктор Сульпин, у которого было всё, над племяшем, у которого нет ничего.

И на левой его руке, на безымянном пальце блестел в лучах минувшего солнца, светила прошлых дней, в лучах былого лета — большой драгоценный камень на матёром азиатском перстне.

«Духовность, духовность, а сам-то вон как прикинулся... — сердился Сечень на покойного дядю, за костюм, за ромб, но главным образом — за вызывающий перстень. — С вас, сволочей, все началось, нами закончилось... Черная гниль по жизни пошла, весь урожай на корню...».

Связи между блистательной научной карьерой покойника и собственным фермерским прозябанием Сечень найти не мог, но от того дулся только сильнее. Почему-то ему стало казаться, что дядя слопал всю удачу рода, и потому Сечень вот тут..

А что «тут»? Солидный партийный прихвостень, имеет авторитет в Куве, в столицу к тетке ездит за казенный счет... Многие жизнь бы отдали, чтобы как Сечень подняться, а он сам — жизнь бы отдал, чтобы так не подниматься.

А как надо?

Иногда ему казалось — все просто поздно пришло. Если бы тот же парламент ворвался в судьбу вместе с лопоухим коррупционером Махачиным лет десять-пятнадцать назад — все иначе бы звучало и воспринималось на вкус. А сейчас... Сороковник, сороковник, некуда бежать, и зачем уже что нужно? Седина в бороду, бороду бреет, как госслужащие, — и никакого беса потому в ребро...

Может и правда — была бы другая жизнь, курганы бы копал, книги писал, на симпозиумах бухал бы с академиками... Только зачем?

Когда тебе сороковник, злишься и на деньги, и когда их нет. Каждой ситуации — злость подыщется. Богат — неправильно богат, а не богат — так кричи караул, беден...

Сечень вспоминал об университетских годах, как о раннем детстве — смутно, ярко и бестолково, без всякого сюжета. «Интересно, — думал он, — а был ли у меня талант к науке или нет? Теперь уж никогда не узнаю, так в могилу тайну и унесу... Опростился вон по-толстовски, не по-детски, фермер, земляная кость...».

Никогда не думал он быть фермером, землеробом, и тем более сельским жителем. Сельским он и не стал — он, скорее, житель своего автомобиля «Нива», такого же траченного жизнью между Кувой и Сиплодоново, как и его обладатель.

Ферма в Сиплодоново упала к нему в руки случайно, а стала судьбой... Земля оказалась кормилицей. Не в том смысле, который вековеч-

но вкладывали в это, а в другом, дурном, спекулянтском, зловонном, — но кормилицей...

А теперь вот как жить? Не «на что?» — вопрос — а как и зачем... Дочитать про горилл да и в яму...

«Ерунда какая-то в голову лезет...» — мысленно отмахнулся Сечень от вьетнамских аллюзий переделки всех портретов и бюстов в Хо Ши Мина. И поинтересовался у тетки, зевая:

— Какой хороший портрет... Прямо как живой... А что это за перстень у него вместо обручального кольца?

— Оно и есть, — улыбнулась тетка, сразу став похожей на печеное яблоко. — Обычно он кольцо это камнем в ладонь носил, вот и получалось, что оно на обручальное похоже... Все говорили — какой хороший семьянин... А он просто бриллиант «светить» не хотел — в советское время неудобно было... Жили мы, что и говорить, тогда богато, а камень этот дяде твоему в Туркмении подарили! Он жизнь спас одному большому начальнику, и тот подарил...

— Бриллиант? — сразу взмок Сечень, чувствуя, как мурашки бегут по спине. — Такой величины?

— Именно такой! Чистой воды был камень, имя имел: «Красный Восток». Сейчас-то так только пиво называют... С голубиное яйцо камушек, очень его твой дядя любил. Вроде, и не стоило носить — а носил, повернув в ладонь, камнем вовнутрь...

— А... можно посмотреть?! Он, наверное, в шкатулке с дядиными орденами лежит?

— Какой там... — старуха поджала упрямые и вредные губы. — С пальца не снимался... Так с бриллиантом и похоронили мы твоего дядю, мужа-то моего, да ему, видимо, того и хотелось... Врос перстень в палец, не отрезать же...

— Счас бы отрезали... — сглотнул слюну Сечень.

— Сейчас-то да... Сейчас, глядишь, и костюма приличного в гроб не положат, аппликацию из тряпок делают... Вот в наше время — мы Мишеньку в гроб в самом лучшем его костюме клали, так принято было... Хороший был костюм, кримпленовый, черный, с отливом, с искрой... А какой Миша в нем лежал красивый... Я своим сестрам и племянницам сказала: хоронить только в моем, нечего липовые платья покупать, не по-людски это...

Потом они пили чай с чабрецом, из старого советского фарфора Ломоносовского завода, которому цены нет, как мысленно отметил Сечень, и говорили ещё о чем-то, а Егор все никак не мог забыть этот алмаз с голубиное яйцо в перстне, закопанном с давно умершим человеком.

Теперь Сечень почему-то злился уже не на дядю, а на тётю.

Слушая её выбелено-правильные и стерильно-хрестоматийные поучения через поджатую губу, он понял, что именно эта старая ведьма и погубила дядю.

Хотя, если задуматься...

Не то, чтобы без ведьмы дядя стал бы бессмертным...

И не то, чтобы Егору было жаль покойника — помер, и хрен с ним, пожил свое! Так пожил, как Сеченю с его Парфеноново-Махачиными и не снилось...

Но старуха была занудна, словно на голову капала кислота: точила череп своими вопросами и рассказами, своим академическим снобизмом, отрицанием прошлого, настоящего и будущего.

Если слушать вдову дяди Миши Сульпина, то получалось — все люди на



протяжении всей истории были сущими дураками. Тем людям, которые родились до вдовы, — это отчасти прощалось, но тем людям, которые имели несчастье родиться после, — доставалось особенно крепко: их уж вдова доктора Сульпина не щадила, мстила им в самых изощренных, всегда парламентских, и оттого хуже матерных, выражениях за то, что не пришли с ней посоветоваться.

«Зачем я к ней приперся?! — думал мрачно Егор, отпивая душистый чай через тончайший фарфоровый лепесток причудливой чашки-цветка с серпом и молотом на донышке. — Чего меня к ней понесло? Она мертвая, совсем мертвая, то, что она жива, — это ошибка... И я такой же мертвый, только совсем в другом месте, зачем я к ней приперся, что может мертвая сказать другому мертвому, причем из иной эпохи?!».

Сечень смотрел на старую мебель, пропахшую фиалками и полиролью, на изящные жестяные баночки из-под чая за стеклом кухонных полочек «рококо». В советское время такие баночки, жанрово раскрашенные индийской экзотикой, было не принято выкидывать, их хранили, как удобную и редкую тару, и старуха-тетка тоже хранила их, причем до этого самого, текущего нынче, 2012 года. Это и неудивительно, ведь время для неё давно и окончательно остановилось, она жила вне времени, на пенсию, начисленную в стране, которой больше нет, за заслуги, которых никто больше не признает.

#### 14.

Возвратившись с семинара из Москвы, Сечень энергично взялся за дело. «Дом Ржи» обещал многое, но начал с разорения КФХ «Сечень Е.А.». Вначале много денег Егора съела автономная входная группа. Сечень хотел, чтобы войти в «Дом Ржи» можно было бы не только через фойе постоянно пустовавшего здания ЦОЗИ, но и с напрямую с улицы. Стену долбили, колонны ставили, освещение тянули — деньги высасывало из сейфа Сеченя, как пылесосом.

Не успели закончить с входной группой, вогнавшей крестьянско-фермерское липовое хозяйство в разор, как потребовалось первосортное торговое оборудование. И переборки для секций. И разная оргтехника. И отдельно оборудованный кабинет бухгалтерии. И...

Через полгода возни с «Домом Ржи» Сечень стал отчетливо чувствовать, что скоро сам сядет на ржаные сухари. Поскольку он постоянно был на этой сумасшедшей «великой стройке» — он окончательно забросил все дела по другим направлениям.

«Дом Ржи» поднимался из пустот бессмысленно-огромного и никчемного фойе, обретал плоть и вид, становился осязаемой реальностью.

Но по мере его роста сохло и ужималось все остальное, прежде питавшее своими корешками жалкую сеченьскую жизнь...

Затхлая провинциальная жизнь Кувы и кувинцев небогата на разнообразие проявлений. Егор, скрепя сердце, дал в газету объявление о продаже «КФХ Сечень Е.А.» — и буквально через пару дней откликнулся — кто бы вы думали? — незабвенный Оскар Оливков, сын в семействе проходимцев, некогда продавших ферму Сеченю...

За минувшие годы Оскар заматерел, на яйцеголовом челе появились какие-то сомнительные шрамики (не за долги ли разбили бровь?), — но, в сущности, был прежним бесстыдным представителем бесславного рода Оливковых. Никакой совестливости по событиям «зимы иной» он не изъясил,

видимо, в его понимании «истек срок давности» по старому «кидалову». Оскар ездил теперь на дорогом автомобиле, был одет в шикарный костюм от «Гуччи», но шелковый пестрый галстук выдавал в нем все того же узколобого торгаша без вкуса, страдающего наследственной болезнью Оливковых — «торгогализмом»...

— Я теперь работаю один, — душевно поведал Оскар Сеченю, — разделился с родителями... Сестре свой надел выписали... А мне свой...

Егор смотрел на Оскара со смесью страха и отвращения, как на доисторическую гадину, вылезшую со страниц геологической энциклопедии прямиком в мир. По предыдущему опыту ещё 90-х лихих годов он знал, что слушать Оливковых бесполезно — то, что они говорят, может быть и правдой и ложью с вероятностью пятьдесят на пятьдесят. Когда тебе кажется, что кто-то из Оливковых врет, — он, как на грех, излагает чистую правду. И наоборот, когда кажется, что Оливковы честны с тобой, — они вдруг переключаются на ложь.

Чтобы избавиться от негодая, Сечень сразу заломил цену в семь миллионов рублей. Оливков не согласился, конечно, но не ушел, а начал занудно торговаться. Постепенно цену сбросили до пяти миллионов, и Сечень почувствовал, что Оскар уже заранее знает, куда сбегать несчастную ферму, причем дороже обговоренного.

В итоге сошлись на четырех с половиной миллионах, посчитав, что это будет справедливо. Некогда прилетевшая от Оливковых ферма вернулась в руки одного из прежних хозяев. И неожиданно быстро. Оказалось, что у Оскара все поставлено на поток, и спекулятивные манипуляции регистрируются у знакомых деловиков в момент.

Сечень до последнего думал, что Оливков расплатится фальшивыми деньгами. Но, настояв на банковском переводе, получил денежки через банк, чистыми. Круг замкнулся: Сечень снова был с деньгами, а Оливковы — с фермой, некогда служившей им залогом.

Оскар оказался парнем хватким и незамедлительно раздул уже затухавший огонь трюфельной авантюры. Но Егор с облегчением вздохнул — слава Богу, теперь все проблемы за подлог уже на Оскаре, и можно шагнуть в новую жизнь с чистой совестью...

«Дом Ржи» снова рванулся вперед по части отделки. Сломал денежки за ферму и снова забуксовал: ремонт все ещё висел в незавершенке, рабочие канючили денег за труд и за стройматериалы, воровали кафель и гипсокартон, настаивали на кормежке за счет заказчика...

Сечень сдал городскую квартиру на год вперед, переехал жить в гниловатый Лианин дом, словно заправский муж, и теперь каждое утро подкреплялся её деревенскими завтраками, изготовленными без мастерства, но с любовью. Услуги по продаже пыли тоже были проданы Залмону — Соломону Привину на год вперед. Дело осложнялось тем, что в удобном подвале, где Сечень раньше делал пыль, теперь крутился шакалом Оскар Оливков. Пылевое оборудование перебралось к Лиане в гараж, на второй, деревянный этаж, где по обшитым белой доской-«вагонкой» стенам висел девственный столярный и слесарный инструмент, а на подоконнике большого окна на южную сторону росли в горшках на солнцепеке декоративные томаты и перцы.

Но «Дом Ржи» отчасти уже мог и сам себя тянуть. К Егору явился-не запылится папаша Оливков, не иначе как по наводке своего сынули, теперь

«работающего» отдельно, хотя слово «работа» в отношении семьи Оливковых звучало кощунственно.

— ...Вот, Егор Артурович, хочу у вас административные помещения снять в вашем «Доме Ржи»... Вам они пока без надобности, торговые залы дотираете до кондиции, а я бы там свою фирмочку... и деньги заплатил бы вам превосходные... И заработал бы сам — место бойкое, самый деловой центр Кувы... Повезло вам отхватить такой куш...

— Да, повезло... — мрачно отвечал Сечень, отнюдь не похожий на везунчика: в перемазанной спецовке работавший наравне со строителями для контроля и экономии, с кругами под глазами от недосыпания, с нервным тиком в руке. И зачем-то добавил: — Везет тому, не лениво кому..

Папа Оливковых с очень подходящим ему именем Орест попытался заключить договор с последующими помесечными платежами, но Егор не поддался на его траченное молью времени обаяние. Орест не обиделся, попытался расплатиться акциями своей фирмы, затем векселями, затем наличкой. Егор был суров: только предоплата и только через банк. Орест Оливков не был тем человеком, с которым он пошел бы в разведку. По правде сказать, с Орестом Оливковым не стоило бы ходить даже в булочную: не спер бы мелочи, так в хлеб бы плюнул...

Но на условиях предоплаты настоящими деньгами (Сечень не сомневался, что у Оливковых полно и других денег — отнюдь не настоящих) — Егор готов был работать даже с Орестом. Выбор был небогат: «Дом Ржи» не мог заработать недоделанным, а не заработав — он не мог быть доделан!

Так Оливковы снова вернулись в стремительно нищающую жизнь Егора Сеченя. Орест обосновался в административном блоке будущего кувинского и всеуральского «Дома Ржи», бойко там чем-то спекулировал, к нему снова шли то Оскар, то Катя, то Надежда Михайловна Оливковы, каждый раз заставляя Егора в неудобной позе: то за размешиванием раствора, то за просеиванием песка, то за бодяженьем красок.

Среди многих незнакомых людей, ломившихся в кабинет с шикарной секретаршей папы-Оливкова, Егор с удивлением обнаружил Соломона Пинхусовича Привина — того самого, которому продал пыль для «старых» винных бутылок на год вперед.

По правде сказать, Егор струхнул сперва, думая, что с пылью вышел какой-нибудь конфуз, и Привин приехал разбираться. А Залмон числился в крутых, его побаивались даже в уголовной среде, и Егор менее всего хотел бы перейти ему дорогу.

Но Привин приставать с «правами потребителя» не стал, наоборот — как-то по-отечески похлопал Егора по плечу замызганного строительного ватника и покивал массивным семитским подбородком:

— А я смотрю, Егор, у тебя разносторонние интересы...

— Вам нужно ещё пыли? — с надеждой поинтересовался Сечень.

— Нет, я к Оресту! Переезжать, брат, хочу поближе в центр и помещение побольше... Чтобы место было и для сигарного клуба и для ломберной... У него неплохое предложение, как ты считаешь?

— Я в его предложения не лезу... — отстранился Сечень. И ещё подумал про себя: «счас этот черт обманет Залмона, а я ещё и в виноватых останусь, что рядом стоял...».

Залмон прошел в кабинет к Оливкову, и через минут сорок вышел оттуда в приподнятом настроении, покуривая сигару и что-то мурлыкая под нос. Прощальной процедурой он Сеченя не удостоил, посчитав, видимо, что и

так слишком много уделил внимания «мужику с разносторонними интересами» при входе.

— Какой тесный мир, сил нет... — рассердился Сечень, активнее орудуя лопатой в корыте со строительными смесями. И долго придавался мечтам отъезда из Кувы куда-нибудь далеко, где его никто бы не знал, и он никого не знал.

\* \* \*

Терпение и труд позволили досрочно досшибать все шишки на тернистом пути открытия «Дома Ржи». С окончанием ремонта Сечень вышел посмотреть, как расположить вывеску заведения, и пока прикидывал блуждающими взглядами по фасаду — явился Залмон.

Меньше всего в этот радостный миг запуска торгового специализированного центра мечтал увидеть Соломона Пинхусовича Егор. Но пришла беда — отворил ворота. Сечень по возможности радушно поздоровался с Привинным, и продолжил свои расчеты.

Привин стал рядом с Сеченем и стал зачем-то обезьянничать: так же, как Егор, складывал пальцы, примеряясь к фасаду, так же смотрел из-под ладони козырьком, чтобы солнце не слепило...

«Совсем свихнулся старый жид...» — зло подумал Сечень, не зная, как реагировать на такое издевательство. Вообразите — вы заняты важным и торжественным делом, к вам подходит старый криминальный еврей, и начинает выдрючиваться, передразнивая ваши жесты... Ну, не абсурд ли?!

— Что это вы делаете, Соломон Пинхусович? — спросил Егор через некоторое время с максимально елейным привкусом в голосе.

— Вывеску обдумываю... — хмуро отозвался Залмон. — Где и как вешать...

— Спасибо, Соломон Пинхусович, но я уж как-нибудь сам, наверное... Я очень ценю ваши советы, вы жизнь знаете, однако вывеску я...

— Ты ремонт сделал, и вали... — грубо обрубил Привин. — Свою вывеску я сам определяю. Это тебе не плитуса затирать, тут творческий подход нужен, кре-а-ти-ив...

— А позвольте узнать, Соломон Пинхусович, с чего это вы будете вашу многоуважаемую вывеску вешать на мой торговый центр? Я выстроил тут все, у меня целевая путевка от правящей партии, тут будут торговать только ржаными продуктами...

— Знаю, — твякнул Привин. — Ржаной водкой, ржаными настойками... Неплохо пойдет! Я уже акт согласования подписал...

— И с кем же вы подписали? — спросил Сечень уже тревожно, чувствуя недоброе.

— С хозяином твоим, Егор! С Орестом! Орест мне тут все продал, кроме тебя, но, если хочешь — идем в штат, и для тебя дело найдется...

Егор вспомнил, что в машине, на местной радиоволне несколько раз слышал рекламное объявление о продаже торгового центра в «деловом сердце» Кувы. Но ему тогда и в голову не приходило, что речь идет о ЕГО, сеченевском, торговом центре...

— Соломон Пинхусович, — сладенько процедил Егор, — а вы Оресту Оликову уже, наверное, и деньги перечислили?

— Аванс, — сердился лишним вопросам старый гриф Залмон. — 60 процентов... Сорок потом, в рассрочку... Тебе наши с Орестом дела зачем?

Сечень смотрел воловьим тусклым взглядом на мясистый нос Залмона, на перхоть, спавшую на пальто с проволочно-жесткой овчины курчавых,

черных, слегка тронутых сединой и маразмом волос. И впервые в жизни, глядя, как начинает нервничать Привин, чувствовал какое-то смутное, но сердечное симпатизирование по адресу семейства Оликовых...

Обыграть Залмона — это высший класс! Егор бы так не смог! Какое самообладание, какая выдержка! Залмон, старый куриный вор, почувствовал бы малейший привкус фальши — но Орест Оликов играл в открытую. Фальши не было ни грамма...

Дело было не в шикарно подделанных документах на права собственности, бумажка есть бумажка, полиграфисты в подвале за несколько денежных купюр изготовят вам любую бумажку. Оликов брал не этим. Он брал натурой, фактурой: он водил Залмона по торговым залам, поил кофе в кабинете директора, причем в течение многих дней. Он крутил по радио рекламу (если её слышал Егор — то, конечно, и старый жмот Привин ей наслаждался)...

— Дело в том... — хмыкнул Сечень, с трудом сдерживая ликующее торжество. — В том, Соломон Пинхусович, что это не торговый центр Ореста. Это мой торговый центр...

— Что? — крупные, бараньи черты лица Залмона исказились, словно у него резко заболел зуб. — Как?

— Орест Оликов, видимо, продал вам *мой* торговый центр...

— Но бумаги... — бормотал совсем ошеломлённый Привин.

— Подделка. Цветной принтер.

— Ты даже не смотрел...

— Мне и не нужно, — Сечень умолчал, что по нужде и сам печатал на цветном принтере любой потребный документ. — «Дом Ржи» — партийный проект, и он выдан мне как именное оружие. Тут уж можете мне верить...

— А Оликов? Оликовы?

— Оликов был моим временным арендатором.

— Аренд... Аренд... атором?!

— Да. Как я понимаю, он воспользовался этим, чтобы организовать вам многократные увеселительные прогулки по местам будущей трудовой и предпринимательской славы?

— Он, он... Это что, шутка?! Егорушка, со мной так шутить не нужно, у меня сердце слабое... А память злая...

— Рад бы вам утешить, да нечем... Вы бы прошли в офис, глядишь, если повезло, Орест ещё там досиживает... Хотя...

Сечень не договорил: с мальчишеской прытью старый еврей унесся на поиски «хозяина» в давно уже прохладное гнездышко...

## 15.

И какой-то странный, межеумочный итог: «Дом Ржи» открыт, презентация провалилась, сожительница с падчерицей удавились... Страшен этот Дом, тронутый тленом европейского комфорта, привнесённого в деревенскую нищую простоту дельцом Сеченем. Страшен, холоден и пуст, как итог пустой и никчёмной жизни — ни людям во благо, ни себе на радость...

Капитан милиции с томным именем Илона, которую Сечень не так давно поил парным молоком в благодарность за нескромные предложения, грифом над трупами вилась, конечно, тут же, потому что погибла несовершеннолетняя, и это был самый что ни на есть профиль для Илоны. Как-никак отдел по делам несовершеннолетних... Если в дело впутан ребенок — обязательно появится именно она... Если будет её дежурство... Но было её дежурство...

Она кивнула Егору и слегка покраснела. Острым бабьим чутьём прокуренной и многократно брошенной стервы поняла, что место поближе к справному телу освободилось, и стала совать свой острый носик во все обстоятельства.

А дознаватель был свойский мужик, видел, в каком состоянии Сечень, налил фермеру граненый стакан водки «Пшеничной». Где уж в таких обстоятельствах разбирать — пшеничная ли она или ржаная, не до патриотизма...

В доме все ещё очень сильно пахло газом, несмотря на распахнутые окна-двери. Лиана с дочерью лежали на постели, умиротворенные, скончавшиеся во сне. Легкая по-своему смерть. Хотелось верить, что это случайность. Только при случайности не открывают сразу четыре конфорки без огня и спичек...

— С чего она так? Есть предположения?

— Пила она последнее время много... — развел руками Сечень. Снова присосался к краешку граненого друга, опустошил до донышка, стал искать в банке склизкий огурец на закуску. — Много пила, я говорил ей, а она... Трудно понять...

— Вы ругались? Дрались?

— Нет, товарищ капитан, как можно? Я же понимаю, на женщину руку поднять, последнее дело...

— На лице у неё гематома в районе носа...

— Упала она... Вечер у нас был, презентация, наклюкалась Лианочка моя, и вот... Упала, а потом и давилась...

— Дочь ваша?

— Не. Приблудная. С дочерью взял. Да и не взял даже, а как бы точнее сказать...

— Понятно. Если бы родная дочь была — без слез бы не обошлись, а?

— Выплакал я все слезы, капитан, давно выплакал... В 90-е ещё годы выплакал, с кредитом наперед... Ты вот что... — Сечень достал из кармана мятую пятитысячную бумажку, которую так и не отдал ни Кате, ни Линде в «Доме Ржи». Выложил на клеенчатый стол перед дознавателем, посмотрел просящими, слезящимися, красными, в прожилках, грустными глазами сенбернара: — Капитан, ты это... Сведущ в таких делах, наверное, жмуrow каждую смену достаёшь... Чего мне делать-то теперь, подскажи, помоги... Надо — добавлю, чтобы все по-человечески было...

Капитан печально вздохнул, аккуратно прибрал оранжевую купюру в нагрудный карман, сложив её пополам в служебное удостоверение.

— Ну, если просишь... Подешевле хочешь, или с помпой?

— С помпой. Я человек не бедный.

— Я заметил. Тогда вот что я тебе посоветую, фермер. Не связывайся ты с ритуальными этими агентствами, и тем более деревенскими алкашами, которые за выпивку могилки роют. Здесь у нас рядом реставрируют Заборовскую женскую обитель — нам, православным, самое то там лежать в песочке... И похоронят по нашему исконному обряду, и уход за могилкой будет, ну и там это... поминовение... Ты к сестрам-заборовчанкам обратись, вклад в монастырь сделай, и решишь дело по совести... Если что и было у вас — монахини замолят...

— У тебя замолили, да, капитан? — участливо спросил Сечень, догадываясь кое о чем.

— Не знаю. Но молили. Не в себе она была, не самоубийца она... Жена-то моя... Мне должны были квартиру дать, и не дали, и другому очередь

передали, — а она достала из сейфа карабин и всю башку себе разнесла... На съемной квартире, представляешь? То-то хозяину подарочек, за шкурничество его и спекуляцию... Оттирал потом мозги от стен, от потолка, и все при детях, представляешь... сестрам отдал... не самоубийца она... заморочило её просто...

— «Жизнь человека яко трава, дни его яко цвет сельный...» — припомнил вдруг к месту Егор.

— Наследники есть у неё? — вяло поинтересовался дознаватель, канув в омут своих воспоминаний.

— Есть. Нет. Не знаю. Брат был, алкаш. Живой или нет — не знаю...

— Узнать бы. У неё столько добра вон в доме, с иголки, и в серванте 213 тысяч рублей разными купюрами... Вся здешняя округа с обитателями столько не стоит.. Мы описали, запечатали — для наследника... Был бы ты с ней расписан — был бы наследником ты... А так извини — будем брата-алкаша искать...

— Это я ей всё... — зачем-то полез объяснять Сечень. — У неё самой чего? Ничего... Я все покупал... и вот деньги ей давал на хозяйство, а она, вишь, не тратила, складывала... вечно, наверное, думала жить...

— Нет, фермер, скажу со всей уверенностью, — обстоятельства таковы, что вечно она жить точно не думала. Ты зачем мне вашу бухгалтерию рассказываешь? Опротестовать хочешь?

— Ничего я не хочу... Отдал, пусть сама распоряжается, как знает — хоть брату-алкашу... У меня и без ейного наследства всего много...

— Гараж во дворе тоже ты построил?

— А кто же? Я, конечно...

— То-то я смотрю, не по уму все у бабы... Домик-то гнилой, от новой техники проводка уже дымила... А гараж как коттедж, двухэтажный, из блоков, с иголки...

— Там наверху я мастерскую хотел сделать. Даже верстак поставил, киянки всякие повесил... Но мне мастерничать-то когда? Мне мастерничать некогда...

И пошел разорять шкапулку — с крестьянской простотой думая, что мертвяку ведь всякие побрякушки женские, которые он дарил, золотые да каратные, ни к чему больше, а Илоне подойдут в самый раз, под цвет голубых погон и острых глаз...

Результат был неожиданным. Капитан милиции Илона Дрожина поняла вымороченную ювелирку совершенно по-своему и с немыслимой для церемонных прежних лет паскудной обыденностью уже на следующий день перебралась к Сеченю в его дом в Сиплодоново.

Приехала с утра поговорить, вроде как о деле. Говорила долго, и в основном не по делу. Потом осталась завтракать. Потом Сечень повел её показывать своё хозяйство — а там было что показать: дом был изначально большой, но Егор в лучшие времена удвоил его площадь, забабав из кленового канадского бруса шикарный пристрой с европейской коттеджной отделкой... Опять же, два подвала, теплицы...

Потом Илона осталась обедать. После обеда Сечень стал встревоженно ходить вокруг неё, словно зверь, собирающийся загрызть жертву, а она не возражала. Потом они долго и как-то скучно обладали друг другом, причем полицейский китель остался на Илоне, и это придавало соитию особую пикантность: после бурного акта взмокшим лбом прижаться к ребристому погону...

Потом Илона осталась уже и ужинать. Потом она на работу стала уезжать от Сеченя. На обед ей Егор выдавал суммы, которые она раньше проедала в неделю, да ещё напополам со старенькой мамой. Мама тоже оставалась где-то за кадром, и очень радовалась, что дочка хорошо пристроилась.

«Теперь она забеременеет, и я получу себе Лиану номер два, ещё одну проблему лет на десять...» — в фатальной обреченности думал Егор, комплектуя овощной фургон на кувинский рынок.

16.

Лиану похоронили, как и принято, на третий день. Брат, алкаш, наследник и прочая, прочая, прочая... с колхозным именем Виль (сокращенно — Владимир Ильич Ленин — Егор сразу вспомнил про Парфенонова и его «Дело Ленина») нашелся удивительно быстро. Он, оказывается, далеко и не уходил, но при хахале к сеструхе заглядывать не отваживался. Теперь же очумелыми глазами осматривал с неба упавшие богатства, крутил пальцем уголок акта описи.

— А чё микроволновка её тоже? И пылесос? И телек плазменный?!

Егор с презрением думал про Вилия, что смерть придет к нему гораздо раньше, чем покупатель за последней пропиваемой вещью. Сумма в 213 тысяч рублей купюрами разного достоинства, в секции серванта с ключом (ключ выдали, бумажную ленту с печатью позволили сорвать), привела его и вовсе в ступор.

— Это я чо ж теперь? Капяталист?!

— Капяталист! — хмыкнул Сечень и, плюнув под ноги дураку, размахистым шагом ушел к своей «Ниве», чтобы навсегда уехать отсюда — от серванта с ключом, от двухэтажного гаража с мастерской наверху, от всего этого унылого и беспощадного воспоминания о потухшем и серо-холодном очаге, не ставшем семейным...

«Газель», пропахшая репчатым луком вперемешку с его же зелеными перьями, увезла в себе два гроба в Заборовскую женскую обитель. Здесь и упокоил Сечень свою женщину, прибившуюся, как бродячая кошка, скучную, глупую и надоевшую при жизни. Виль поразил его тем, что не дал на похороны ни копейки, попрекнув ещё, что «сам ты богатый, и сам её довёл...».

— Хорошо начинаешь! — ухмыльнулся Сечень. — Я к тебе корреспондента партийной газеты пришлю! Ты ему интервью дай, как тяжелым сельским трудом богатство на горбе нарастает...

На тихом монастырском кладбище, утонувшем в прямом разнотравье, в стрекоте насекомых успокоились Лиана и её дочка. О самоубийстве Сечень монахиням ничего не рассказал, поведал о несчастном случае. Он и сам уже был почти убежден в несчастном случае, и даже рассказывал об этом Игорьку Ровянову, пока тот выписывал кренделя баранкой микроавтобуса:

— Это все водка, пьянка проклятая! Я тебе, Игорь, всегда говорил — не пей ты этой дряни... Ну разве только ржаной настойки можно, рожь она силу дарит! А вообще не пей — вот Лианушка напилась до чертиков, газ забыла закрыть... И чего бы ей умирать — в шкафу 312 тысяч лежат, а дураки говорят — удавилась... Сперва бы потратила, как ты думаешь?

— Ну, известное дело, в могилу с собой не унесешь! — поддакивал Ровянов. Сумма из рассказа в рассказ увеличивалась как-то незаметно для Егора — после шли уже байки и о 400 и о 500 «тыщах», скормленных зачем-то алкашу Вилию.

Монахини Заборовской обители посмотрели на третью одежду, трачен-



ную физиономию Егора и предложили ему место кладбищенского сторожа, соблазняя покоем и тишиной на лоне природы. Егор обещал подумать...

Но пока он был весь в миру. Илона жила в его шикарном — по деревенским меркам — дышавшем светом и свежестью брусовом пристрое, охотно оперируя там всеми бытовыми удобствами, а в особенности — крупным, в полстены, плоским плазменным телевизором. А в Куве у Сеченя параллельно появилась журналистка Маша.

Она зацепилась за интимные разговоры во время презентации, где представляла «Экономическую газету», и теперь уже представляла больше не газету, а саму себя — молодую, ладную, немного взбаломшную и решительную.

Она пришла к Сеченю в его офис, в «Дом Ржи», ещё пахнувший пролитым бухлом скандальной презентации, чтобы взять интервью — взяла же в итоге за закрытыми дверями кое-что другое...

Итог вполне предсказуем: Маша поселилась у Сеченя в его городской квартире. Там тоже был большой телевизор, а ещё там была мраморная ванна на бронзовых ножках, огромный мохнатый ковер, стоящий бешеных денег, и мебель-рококо с позолотой. Много и другого — по мелочи. Сеченя же, по большей части, в этой квартире не было, что тоже, согласитесь, плюс: всклянь «упакованная хата» без занудства владельца...

Как Ясенева поселилась — в чопорном брежневском академизме обстановки начался вполне предсказуемый бардак, на который таращились во все пенсне золоченые стекла книжных шкафов и великолепного серванта...

Например, Маша, к величайшему изумлению Сеченя, сожрала имевшиеся в серванте мускатные орехи! С 70-х годов там лежал этот пластиковый сувенирный набор: махонькие прозрачные коробочки с белыми крышечками, а в каждой коробочке — бумажная упаковка: «Кардамон», «Корица», «Мускатный Орех», «Кориандр», «Имбирь», «Гвоздика»... Картон упаковок тщательно, по-советски, отпечатан яркими красками и наивными по шрифту добродушными буквами. Сечень в детстве играл этими коробочками много раз — доставал, вовлекал в битвы оловянных солдатиков, нюхал утонченные и такие разные ароматы, приоткрыв белые крышечки...

Он берег эти коробочки, непрактичные в силу их размеров и экзотичности, сугубо сувенирные — как раритет далекой эпохи, в которой был по-детски счастлив. Он ловил таинственные запахи мускатного ореха, но ему и в голову бы не пришло съесть этот — за десятилетия ставший каменным — орешек. Да и куда его добавлять в качестве пряности — Сечень не знал. В его любимой книге «20 тысяч лье под водой» Жюль Верна герои, высадившись на остров в южных морях, находят там райскую птицу, не вяжущую лыка именно потому, что «употребивши» мускатный орех в чрезмерных количествах. «Но как птица может употребить такой твердый орех? — думал Сечень. — Не иначе, как в свежем виде он куда мягче...».

И вот — спустя десятилетия бережного хранения этих мускатных орешков, напоминающих бабушку, маму, папу, домашние застолья минувшей жизни — какая-то Ясенева нагло достала сувенирную полочку с пряностями, засыпала мускаты в Егорушкину кофемолку и растерла их в порошок.

Порошок она разболтала в кефире, остатки этого кефира, имевшего гадкий коричневатый цвет, Сечень застал на столе вместе с мятой упаковкой любимой своей детской игрушки.

Сомнений не было: глядя в мутные глаза «заторчавшей» Ясеновой, Сечень впервые убедился, что Жюль Верн не врал, и из мускатного ореха мож-

но приготовить наркотик. Из его домашних, в советской наивной упаковке, мускатных орехов, которыми мальчик Егорка играл в начале 80-х годов, сделали наркотический препарат!

Это было дикое и немыслимое для Сеченя совмещение несовместимого, какое-то тектоническое смещение смысловых пластов — как если бы из иконы сделали разделочную доску на мясо...

— Ты что наделала, Маша? Ты меня слышишь? — спросил Сечень свистяще, с упаковкой от мускатных орехов в пальцах, как будто все ещё не верил в случившееся.

Она была под кайфом — как птица у Жюль Верна. Глаза шальные, взгляд расфокусирован, движения плавные и нелепые:

— Ты сердишься? — глупая наркоманская улыбка.

— Это мой сервант... Моей бабушки ещё, не говоря про мать... Это был сувенир, оставшийся от моего детства... Ты что себе позволяешь?!

Сечень говорил это тихо и надсаженным голосом. Нет, он не сердился. На метафизику не сердятся. Поколение, которое умудряется сделать наркотик из советского, такого безобидного, кухонного мускатного ореха — сделает себе наркотик и из ладана. Это метафизическое паскудство, которое в Маше помещается, но отнюдь не в ней заключается, — опоганить всё, даже то, что кажется немыслимым для опоганивания.

— Маша, тебе нужно лечиться... Твое поколение выросло во время, которое абсолютно ядовито!

— Так ты сердишься на меня? За орешки? — её блуждающий взгляд сделался с поволокой. — А так?

Она скинула шёлковый халатик и осталась в тончайшем черном кружевном белье, почти ничего не скрывавшем.

— Я молю повелителя о прощении...

И с королевским достоинством опустила перед ним на колени, и стала расстегивать брюки, играя тонкими пальчиками со швом, соединяющим штанины.

— Милый, это не те орешки, о которых стоит беспокоиться... Главные-то я не съела... пока...

— Больше не лезь в сервант, пожалуйста... — смягчился Сечень. — Если тебе что-то нужно, я куплю... Они мне были дороги как память...

— Надеюсь, *эти* (рука уверенно скользит по шву) тебе дороги ещё не только как память?!

«Это новая жизнь, — сказал себе Сечень, чтобы не увлекаться раздумьями в неподходящей обстановке. — Метафизика торга как образа жизни: из конопки вместо конопляного масла выделяют дурь, из мака вместо булочек с маком (которые ешь «со вкусом») — опий... Сортир из колыбели, содом из церкви, наркотик из мускатного ореха, зверь из человека... Трансформация в духе времени... Их, таких выроdkов, — целое поколение, и уже не одно...».

Размазав Машенькину вину в коллективной необъятной ответственности, Сечень успокоился и смирился.

В той комнате, где Сечень обычно рассыпал картофан, теперь разместился будуар, серый запах полевой пыли улетучился и запахло дешевым, но стильным дамским парфюмом.

Маша была очень горячей, подвижной, она — как пылкая живая ртуть в руках, и она приглашала Егора в его мраморную ванну при ароматических свечах, в пену с лепестками роз, что было по-своему красиво и завлекательно.

Груды у Маши были маленькие, острые, с пронзительно-темными шоколадными сосками, а груди у Илоны — наоборот, крупные, тугие, с сосками расплывчато-розовыми. Эта разница при едином «знаменателе совершенства» льстила Егору, хотя в целом он досадовал:

— Когда, — говорил он похмельному и небритому зеркалу, — я был молод, красив и подтянут, меня никто не любил... А теперь я старый, пегий от седин, лысеющий, с пузом набекрень, — однако бабы как с ума посходили... Теперь-то мне зачем уж, раньше надо было...

Это как во взрослом возрасте найти видеокассету с мультиком, который очень хотел, но не смог посмотреть в детстве. Проклятые стервы производили в организме Сеченя полное обезвоживание, чреватое уже в его возрасте серьёзными проблемами со здоровьем. Они жили в его домах, тратили его деньги — причем Маша по-городскому, бесстыдно, а Илона с оглядкой и спросом, без лишних роскошеств, что сразу выдавало в ней деревенщину.

— На тебе! — жаловался Егор верному Игорьку Ровянову. — На старости лет... Совместили бордель с дурдомом, как снотворное со слабительным...

Маша была злой и в постели и в работе. Она не путалась под ногами, как Лиана, покойница, а была в яблочко, не просто хотела помочь, а действительно помогала.

Сечень буквально любовался ей, когда она — журналистка с подвешенным языком — вела мастер-классы в презентационной зале «Дома Ржи».

В тонкой рекламой майке с надписью «Дом Ржи» через всю грудь (грудь её выпирала двумя фигушками, весьма аппетитно), в каскетке с лозунгом «Ржаной квас — целит нас», она тараторила, словно американский проповедник, и буквально зажигала, рвала аудиторию.

Хихикала с теми, кто интересовался ей, как женщиной, и была очень серьёзна, даже академична (в этот момент одевала свои тонкие очки в золотой оправе) — когда интересовались её продуктом.

— От ведь... — по-стариковски ворчал Сечень, — какую-то херню мы с партийцами удумали... А ведь прокатило...

Что, казалось бы, может быть глупее, чем торговать продуктами из ржи?

Однако, если с умом и тактом, если задорно и бойко, если подпустить эротизма ведущей...

Сечень думал, что все будет просто: пыльные стенды для делегаций из партии, и небольшой задний вход, откуда алкашам станут продавать ржаные водки, что и составит львиную часть дохода. Однако с артистизмом «Маши из газеты» все стало сложнее...

...Вокруг неё, полуколышом — внимающие. Маша отчебучивает под шорох аппетитных слайдов:

— Квас ржаной — дух заводной! Квас выручит вас при любом раскладе! Обратите внимание, что всегда можно достать на природе из походной сумки банку с заготовкой для окрошки, залить её содержимое нашим особым квасом, и окрошка, дар лета, готова!

Маша переключила слайд и перед гостями презентации предстала глиняная ендова, такая, что и правда — пальчики оближешь. Маша фотки делала сама: она и фотокорреспондентом некогда тоже работала...

— Но это ещё не всё! — ворковала Ясенева с такими ужимками, будто сейчас начнет раздеваться под музыку. — Свиные рёбрышки!

И шли на пластиковом экране некие мясные деликатесы, которые, оказывается, можно и нужно заливать полутора стаканами ржаного кваса, добавляя соль, черный перец и красный молотый, чеснок (Маша сыпала и

ещё вкусными названиями специй, которых мало кто в Куве и видал-то), — потом все это держать на дне эмалированной посуды, потом на 20 минут в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. А затем, «смазав мясистую часть вытопившимся жиром», — запекать на решетке — «сетице», которую враги народа называют плохим американским словом «барбекю», но мы — патриоты, и понимаем, что так обзывать маринованное в ржаном квасе мясе не стоит. Потому что мы — народ ржи!

— ...Ах, хороша чертовка! — сказал как-то Махачин, теперь инспектирующий кулинарные проекты правящей партии. — Скажи, ты её трахаешь?

— Конечно нет! — неправдоподобно соврал Егор. — Она же мне в дочери годится...

И покраснел: то ли оттого, что врал партии с партбилетом под сердцем, то ли от понимания, что насчет возраста — совсем не соврал...

— А я бы её трахал... — мечтательно разоткровенничался Махачин (он на партийных должностях как-то потолстел и вообще стал добрее). Но дальше этих слов дело не пошло.

Маша была молода, красива и энергична, Сечень даже стал к ней испытывать некую смутную симпатию, преодолевая обиду за то, что она, без спросу, используя его тактичное джентльменское молчание, нахально поселилась у него жить. Но недолго цвели лепестки чувств на голых камнях пореформенной реальности.

После презентации Егор заглянул в опустевшую залу похвалить Машину, и застал её посреди квасного расторгаша, пересчитывающей выручку (потому что на презентации сразу продавались партии розницы и мелкого опта). Маша бойко тасовала деньги, как карты — тузы к тузам, валеты к валетам; возвышалась стопочка рубиновых пятисотрублевых бумажек, гнило-зеленых тысячерублевок и несколько оранжевых, как кальсоны в мечтах Кисы Воробьянинова, пятитысячных купюр. Последние достались от одного ресторатора, который после жарких убеждений Маши купил набор решеток для мяса «сетица», сочтя, как патриот, что они чем-то отличаются от обильно имеющихся у него барбекю.

— Ну, как я? — поинтересовалась Маша у Сеченя, не поднимая головы и продолжая считать.

— Артистка театра и кино! — улыбнулся Егор. — Отличный почин! Давай, я куплю нам дорогого вина и мы с тобой...

Он почти автоматически протянул руку, чтобы взять оранжевую бумажку со стола — но был мгновенно и жестко, словно курица ястребом, перехвачен тонкой наманикюренной ручкой:

— Моё! — прорычала Маша вдруг изменившимся, почти мужским голосом и яростно пылавшие её глаза, ставшие черными омутами, буквально дыру прожгли в Сечене.

Тот растерянно отпустил деньги, отдернул руку, как от горячего чайника, и изучающе, словно натуралист, посмотрел на редкую гадину, вылезшую из постсоветских скал на открытое место...

Тварь была на свету недолго. Маша опомнилась, первая реакция сменилась продуманной. Она тоже отдернула руку, прикрывавшую, как птенцов, купюры на столе, и взгляд стал светлее, осмысленнее.

— Возьми, конечно... — улыбнулась она, но улыбка всё ещё оставалась деланной, искусственной. — Вот, — и сама пододвинула оранжевый пятак сожителю. — Купи, отметим, босс!

— Ты это... — пробормотал Сечень, отворачиваясь и уходя. — Правда... Ты же сама это... Барбекю эти продала, залежавшиеся... Я из своих куплю... Ты себе возьми...

Маша поняла, что просчиталась, невыгодно раскрылась, прикусила нижнюю нежную губу. Но было уже поздно. Самка скорпиона уже показалась при свете дня, и была «срисована» цепким взглядом бывшего советского подписчика журнала «Юный натуралист»...

Он в итоге купил на вечер водку вместо вина. Маша ждала с матч-реваншем. Она приняла душ, надела довольно откровенный халатик, распустила свои роскошные, ещё мокрые волосы, чтобы загладить дневное нападение на хозяина её перспектив.

И водку пить спокойно стала, словно не обнаружила подмены.

— Эх, Маша, Маша... — по-стариковски вздохнул Сечень, ополовинивая стопку с голубым якорем на хрустальном борту. — Прости ты меня...

— За что, Егор?

— Да за всё... Тебе бы в твои годы о принце мечтать, букетов ждать — а ты вон квасом торгуешь, спишь с пузатым колхозником...

— Колхозники, — сказала Маша и посмотрела одним из журналистских, умных взглядов, — таких книг не читают...

У неё в руках была затасканная Сеченем многострадальная книга про жизнь горилл в экваториальной Африке. Та самая книжка, в которой закладка перемещалась необычайно медленно, та самая, дочитав которую, Сечень собирался умирать...

— Да я ведь и тоже... почти и не читаю... — смутился Егор, словно его поймали на нехорошем деле. Он мусолил эту старую книжку, порой таскал её с собой, чтобы «заполнить чтением паузы», как он говорил, но читал буквально несколько строк за присест. Одна-две фразы английского отважного путешественника в переводе на «рус. яз.», наверное, покойного уже Эльхи Перламуттера (значившегося в выходных данных) — и Сечень откладывал книгу, затопленный воспоминаниями, думами, несостоявшимся прошлым и причудливым гербарием обманувших мечтаний.

Он был в том возрасте, в котором оба его деда вернулись с войны, обвешанные орденами и медалями. Он был в том возрасте, в котором его отец сконструировал особые горные понтонно-мостовые секции и успел сдать их приемной комиссии в ныне отторгнутом от России Али-Байрам-Лы...

В этом возрасте его знаменитый дядя, Михаил Денисович Сульпин, стал академиком медицинской академии наук и обладал двумя десятками авторских свидетельств на какие-то немыслимые и непроизносимые открытия в области человеческой слизи. И даже Толя-Туняец, кузен, то есть брат двоюродный (потому что «сетица» — не барбекю!) — позор семьи, головная боль участкового, — в этом возрасте уже выпустил свою книгу совершенно безумных, но безусловно авторских стихов...

В Егоре текла их кровь — тех, кто воевал, открывал, сочинял, конструировал, порою ругательно ругал советскую власть и поднимался до высот гражданской позиции. Но Егору выпало жить в другие годы. 23 года, 23 года — душешемящей пустоты, полного эмоционального отупения всех окружающих, утраты миром любознательности, всякого любопытства. 23 года одержимой игры в циферки...

Тысяча на расход — две на приход... До хорошей машины работать пять лет, до квартиры, особенно если в приличном районе, — лучше не считать, чтобы не сойти с ума... Бинго! Двести тысяч! Триста тысяч! С вас 150 тысяч

смежникам... Не забудьте, битте-дритте, полтос в конверт покровителю... Вам пятьсот тысяч кредит... Вы его сдаете за 600 тысяч налево, а возвращаете кредитору 530 тысяч... По накладной 200, по жизни — 400... С черного хода приготовьте на вынос 40%... В налоговую инспекцию представьте отчет на 863 тысячи... А эти, 265, не включайте, я их не проводил, Марья Ипатьевна... Вы должны пять миллионов, Егор Артурович, по векселям... Сумма ваших активов измеряется цифрой...

23 года ушли на эти бесконечные перестановки цифр в дебетах и кредитах. Бухгалтерская каторга. Оголтелое стяжательство — не благ даже, ибо блага таким игрокам скучны и непонятны, а нолей...

И вот теперь Сечень сидит с непонятно откуда заведшейся в квартире женщиной. Он сидит в родовой, инженерской, конструкторской элитной квартире, изуродованной евроремонтом, с босыми ногами на мохнатом ковре, и понимает со всей отчетливостью приползающей дряхлости, что этих лет словно бы и не было.

Ноли бегали в его жизни взад и вперед, составив в итоге некую временную комбинацию позитива, однако Сечень уже знал, как переменчива удача, если имеешь дела с нолями. А потом — какой смысл в этой игре? Что после неё остается? Даже книга Толи-Тунеядца до сих пор на полках у многочисленной родни, потому что с дарственной надписью от автора. А Сечень что подпишет? Оранжевую купюру, которую ему не захотела отдавать шипящая дикая кошка с черным взглядом, готовая полоснуть когтями?

— Надо было «Мускат» купить... — невинно посетовал Егор на бутылку, обременявшую стильный стеклянный стол на хrome изящных опор. — Чего я тебя, малолетку, спиртом давлую? А «Мускат» — вино моей юности, вино большой семьи, которой уже почти не осталось...

— Никогда не пробовала... — белозубо улыбнулась Маша, по виду распутная, но внутренне холодная, даже в распутстве блюдущая себя, как в офисной работе.

— «Муската» не пробовала? — удивился Сечень. — А впрочем, по тебе и видно... «Мускат» — вино певучее, с него мои покойнички пели, бывало... Много песен хороших было, для застолья, ваше поколение их уже не знает...

— А ты спой... — кокетливо предложила Ясенева. — Я и узнаю.

— Чё я тебе, клоун, петь? — вне всякой «логики профессий» обиделся Сечень.

— А родственничкам своим пел!

— Так то — родственничкам. А ты мне кто?

Глаза Маши расширились, как от хлесткого удара, и она вдруг, как-то скособочившись, разом утратив весь флёр заигрывающей куртизанки, заплакала.

— Черт! — сжал прокуренные зубы Егор. — Вначале селятся тут, потом плачут тут... «Мускат» не дают пить! — почему-то, совсем уж несправедливо довесил он. — Что тебе нужно ещё, а? Чтобы я ушел? Ты пришла, а я ушел... Не моя это хата... Батина, ему в конструкторском бюро давали, улучшенной планировки, за его разработки в области крепежа и испытательных стендов... Я сам-то только на дом в деревне заработал, он мой, его могу спустить... Нужно тебе? Дом в Сиплодоново?! А?

Хотя предложение явно было истерическим, риторическим и нелепым из всего, что болтал под пьяную лавочку Сечень в жизни, — краешком мысли он подумал, что в доме в Сиплодоново живет полицейская Илона,

которой интересно обладать в мундире, особенно её парадном белом... И, следовательно, дома в Сиплодоново он тоже предложить не может...

— Сечень, ты просто кусок говна! — сквозь рыдания выдавила Ясенева.

— Ну спасибо тебе! — обрадовался Егор (главным образом, что сошли со скользкой тропинки разговоров про ферму в Сиплодоново). — Всегда это подозревал за собой, а тут мне компетентный человек подтвердил! Иди ещё в газету свою напиши...

— Я ведь знаю, Сечень, чего ты на меня взъелся! — верещала сорвавшаяся с катушек Маша. — Из-за руки моей, из-за того, что пятачку тебе не сразу отдала, да? Угадала? Ты ещё весь в лице переменялся, прямо как огурец стал — как же... в твоём любимом детище... тебе не дали деньги помазать... Там же всё твоё! Каждый рублик на каждом столе твой! И каждая дура в кепке с рекламой кваса — тоже там твоя...

— Слушай, давай не будем... Я прекрасно понимаю, как много ты вложила души в эту презентацию и что не нужно мне было хватать *твои* деньги. Спасибо за все, за то, что ты делаешь, это очень важно...

Теперь холодным внутри стал Сечень. Снаружи — открытый и дружелюбный, а внутри — как раньше Маша — казенно-собранный.

— А ты знаешь, через что мне пришлось пройти? — перебила Маша, и её плач перешел в крик. — Знаешь?! Я ведь не дочка заслуженного конструктора, и не племянница академика! Я из цыганских дворов! Я там всё видела: и как убивают видела, и как насилюют видела... Ты знаешь, сколько я ногтей сломала, когда крышку этого гроба изнутри ковыряла?! А ты меня на жадности подловил, на том, что обокрасть тебя хотела...

— Я вовсе не говорил, что ты хотела обо...

— Говорил! Или думал! Да хоть бы и обокрасть! — Маша сама не заметила, как соскользнула на тему, о которой после придется жалеть. — Да! Обокрасть! У тебя же этих бумажек — счёту нет, они к тебе липнут, неизвестно за что! Ты бы ведь даже и не заметил — одной больше, одной меньше... Ты же их не по счету, а толщиной стопки меряешь, я же видела... А я... А ты знаешь, где я работала до газеты? В салоне регистрации липовых фирм! Менеджером! С бандитами — первая моя запись в трудовой...

— Очень хорошо, — отстранялся подальше на спинку кресла Егор от брызжущей слюной фурии. — Я очень уважаю всех, кто в чистом офисе работает за столом...

— Столом?! — взвизгнула Маша и, махнув рукой, уронила бутылку на ковер, но даже не заметила, как булькает водка, впитываемая ворсом. — А ты знаешь, сколько раз меня нагибали там — прямо на этих офисных столах, которые ты уважаешь?! У тебя были связи семьи. А у меня только половые связи... Других не заслужила... У меня ничего не было — ни работы, ни денег, ничего... Я не знала, как жить... А всем нужно улыбаться и играть такую успешную, такую беззаботную и всем довольную... Потому что иначе выгонят.. Ты вот первый и выгонишь — за бумажку оранжевую, за то, что украла у тебя... Да, украла, на черный день отложила твою бумажку, твою, прямо в трусы затолкала, как стриптизерша...

— Ну хватит! — заорал Сечень басом, потому что его происходившее доставало с обеда, и пришло время прорваться плотине гнева. — Хватит истерик!

Он ударил кулаком по стеклянному столу из «Икеи», расколол хрупкую столешницу, зазмеились трещина, с тыльной стороны ладони закапала кровь.

— А я... А я... — уже на спад пошли конвульсии рыданий у Ясеновой.

— Я все девяностые тоже, между прочим, не в пионерлагере «Артек» возатил... — рычал Сечень. — И убивали меня, и насиловали не меньше твоего...

Зеркально вышел покрасоваться зверь. Если днем из Маши выскочила дикая кошка, сверкавшая хищными глазами и способная полоснуть когтями из-под бархатной лапки, то теперь из расщелин сеченовского нутра показался увалень медведь-людоед.

Этот медведь был страшен, хотя и грузен, и косолап, и мешковат. В нем не было грации пантеры, но зато в нем выпирала масса и мощь плотоядного гиганта.

Маша сникла, сжалась по-кошачьи в комочек в своем кресле и хлюпала затихающим плачем. Её ураган сошел в морозящий дождик.

Пещерный медведь постоял, озирая подвластные ему окрестности, поворчал затихающе — и ушел обратно в Сеченя, в свое неудобное, полное костями прошлого ущелье.

На ковре — белом, самом дорогом из всей своей продуктовой линейки, лохматом, как сенбернар, было сыро от водки и крови, от шикарного ворса теперь пахло спиртом и кошмарами.

Шуршащий колючей нецензурщиной, Сечень пошел в ванную искать пластырь, чинить руку. Маша Ясенева доплакала свое быстро, видя, что зрителей нет, утерла глаза и стала одеваться.

Егор не задерживал. Он подумал — как хорошо, если она сейчас навсегда уйдет, пусть даже она и украла пять тысяч в трусы, наплевать на эти трусы, зато её больше не станет, и он будет снова один, во множестве этих стен советской улучшенной планировки, видевших другую жизнь и стыдящихся этой.

Маша оделась и ушла в ночь, хлопнув дверью.

Сечень тупо поднял бутылку, в которой ещё оставалось немного водки, как раз на стопарь, почему-то захотел закусить шашлыком, которого не было, и выпил.

Колючее шерстяное тепло побежало по венам и артериями хозяина «Дома Ржи», раззуделись плечи и локотки. Ударило в голову, и без того давно стукнутую. Теперь Сечень ясно видел, что Маша, сбросив халат перед обиженным одеванием, выбросила заодно из трусиков ещё и оранжевую бумажку. На, мол, подлец, ничего твоего мне не нужно... Не то, чтобы Сеченю очень нужна была эта бумажка — он был прижимист, но забывчив на деньги. Иначе говоря, он скаречничал, когда помнил про деньги, но забывал порой напроць о довольно крупных суммах.

Сечень мог (вполне в его стиле) — носить в кармане пиджака грязные бахилы, чтобы не покупать в больнице новые за 5 рублей, но при этом из вино-водочного отдела он запросто (и не раз) уходил, позабыв сдачу в 300, 600 или 500 рублей.

Сечень жмотил только то, о чем помнил, а помнил он мало о чем. Сознание его было сумрачным, мутным, рассыпчатым, с эпизодическими воспоминаниями, к тому же поврежденное алкоголем, но в основном — 90-ми годами. Теми самыми годами, про которые прихвастнулось, что его там насиловали, хотя кому он сдался, насиловать его, — его лишь убивали, и ничего больше.

Бормоча что-то вроде «копеечка рубль бережет», Егор нагнулся за пяти тысячной купюрой, подобрал её, разгладил, понюхал (эротично вспо-



нив, где она лежала) и определил на край треснувшего столика для интимных трапез.

Через минут двадцать Маша Ясенева вернулась, улыбчивая и скромная. Она промокла под дождем, пока бегала в винный отдел местного «Ашана», прочно прозванного туземцами «Ашотом».

Она принесла своему господину вино «Мускат». Купленное, подчеркнем особо, на её собственные деньги...

## 17.

— ...И эта тоже хороша! — ярился Егор, по-алкашиному выписывая забавные кренделя растопыренными пальцами обеих рук. — «Сотрудник отдела по борьбе с несовершеннолетними» (понятно, что произносил он это, кривляясь и кукаясь). Надо же! Всю баню мне провоняла беспризорными, ловит их, как котов, по подвалам, а потом всех блох сюда тащит...

Гнать, гнать в шею! И Махачин ему советовал — мол, смотри, Егор, доведут тебя эти бабы до компиляции... «Но я ведь джентльмен! Я же студент Кувинской государственной «альма матер»... У нас, кувинских студентов последнего советского набора, не принято было спрашивать у женщин — зачем они нам отдаваться решили... Раз отдаются — значит, есть причина!».

Странно, но за студенческую честь Сечень, давно уже все остальное забывший и потерявший, держался жадно, как утопающий за обломок. И чем больше пил — тем больше держался. В другом себя сдержать не мог — а тут...

Ему очень льстило заниматься самообманом, в силу которого выходило, что он не только колхозник и алкаш, а ещё и студент-историк, и даже дипломированный, можно сказать, и даже латынь они там учили и он читал по латыни инкунабулу<sup>7</sup>... Эту... черт её дери... Ну ту, которая...

Эволюция Егорушкиного алкоголизма протекала от опта к рознице. В начале он пил с кураторами, партийными бонзами, не последними людьми даже в кругу у губернатора, пил виски и текилу. Потом начал пить с поставщиками, оптовиками «Дома Ржи»: коньяки, джинны. После снизошел уже к своему основному покупателю, бравшему в розницу бухло, доставляемое оптовиками, — ржаную водку, ржаную настойку «Оздоровительную», ржанные компрессы «Тянем-потянем» и маленькие флакончики ржанных косметических лосьонов «После бритья», обычно до собственного бритья, которое после отменялось из-за трясущихся рук.

Начались хорошо знакомые семьям алкоголиков игры в прятки: Маша Ясенева в Куве, а капитан полиции Илона в Сиплодоново прятали от Егора все спиртосодержащие жидкости — на антресоли, в подвал, где бабье царство прачечной, в никому не нужное фортепьяно из прошлой жизни (занимавшее полстены в Куве бессмысленно и беззвучно) и другие такие же лабазы женской смекалки.

Егор обычно находил тайники, снова уверяясь в том, как женщины глупы по своей природе, но когда не находил — просто покупал на первом попавшемся углу первое попавшееся пойло, ведь денег у него куры не клевали, отчасти от количества денег, отчасти из-за отсутствия в Сиплодоново давно перерезанных, как помещики, кур.

Резко возросла роль Игорька Ровянова. Теперь уже возил хозяина только он, общими усилиями Сеченя отвадили от баранки. В трезвом виде он счи-

<sup>7</sup> Инкунабула (< лат. *incipiabilia* — колыбель, раннее детство, начало) — книга, напечатанная с наборных печатных форм в начальном периоде книгопечатания. Условно до 1 января 1501 г. Внешне похожа на рукописную книгу.

тал это безобразием, но в пьяном — это ему льстило (я с водителем ездю, как дядя-академик... жизнь удалась, тра-та-та!). А поскольку Сечень все чаще был именно в пьяном виде, к тому же именно в этом виде руль был ему опасен — мера предосторожности работала.

Но не нужно думать, будто Сечень только и делал, что деградировал. В плане курения он развивался прямо в обратном смысле — перешел с дешевых вонючих пахитосок на настоящие сигары, которыми любил дымить своей челяди в лицо. При этом выдавал ещё кулацкие прибаутки, типа:

— Да я вас всех куплю!

На что Маша, острая на язычок (в газету она по-прежнему писала, и даже больше прежнего), однажды парировала:

— Ну, купишь, а кому потом продавать будешь? Не купит нас никто — останешься с нами на шее...

Как большинство алкоголиков, Егор разлюбил ванну и полюбил свою баню в деревне. Стыдно признаться, но в ванне он боялся утонуть, уснув, потому что пару раз нечто близкое к этому «варианту омега» уже получалось. Спасало только то, что при погружении массивной тумбы его тела на глубину, по закону Архимеда, вода выталкивалась, бежала по роскошной плитке «Керама Мараззи» в коридор и своим журчанием по кедровому паркету поднимала тревогу.

Пока ручеек денег не кончался — такого рода ручейки не слишком беспокоили близких Сеченя. Пытливый ум Ясеновой не мог смириться только с одной загадкой: чего такого хочет разнюхать Егорушка, регулярно занюхивая огурцом свои здравицы. Что можно вынюхать у огурца?!

Остальные поведенческие загадки зоопсихологии «слетевшего с катушек» человека отошли в сторону, и там скромно пожухли в тени, уступив рампу внимания более насущным заботам.

Но, как уже понятно из контекста, при таком образе жизни денежный ручеек Сеченя тоже стал пересыхать, фирма помаленьку превращалась в «убытошную». Нескладухи в grossбухах пугали только трезвого Сеченя, то есть редкий, вымирающий подвид этого обитателя кувинской фауны. Нетрезвый Сечень находил в слове «убытошная» какую-то карамельную сладость и часто употреблял его, к месту и не к месту, иногда по делу, иногда и всуе. То ли он, как все алкаши, хотел вызвать к себе жалость, то ли испытать преданность своих женщин (а её испытывать не нужно — заранее известно, что её нет и в помине), но Сечень наслаждался «убытошностью» отнюдь не безнадежного предприятия сладострастно, и словно бы торопился спустить последние резервы.

Чем хуже шли дела (как раз подоспели основные платежи по росписям кредитора Оливкова-младшего, а там был дамоклов меч в пять миллионов!) — тем больше казалось Егору, что он — именно и только студент исторического факультета Кувинского государственного университета, «юный, свиной» — как говорят учителя грамматики, то есть подающий надежды, начитанный, интересный молодой человек с ярким, безусловно, и, наверное, научным (а может и политическим?!) будущим...

Двадцать три мертвых постсоветских года выпали из памяти хозяина «Дома Ржи», как и сам «Дом Ржи», вытянувший некогда все жилы. Игорь Ровянов, постоянно находился «при процессе». Все чаще с ужасом выслушивал он вместо ответов на дельные и важные коммерческие темы пространные тирады о неизбежном торжестве социал-демократии, необходимости прижать олигархов, и вообще — «знает ли он (то есть Игорь), что ключ от

расшифровки доарийской пиктографии Хараппы и Мохенджо-Даро<sup>8</sup> практически уже у меня (то есть Егора Сеченя) в кармане?».

Бурная радость за исследователей пиктографии Хараппы и Мохенджо-Даро (по темноте своей Игорёк думал, что это нечто «даром» доставшееся некоей Хараппе) не могла вытеснить тревожной мысли о будущем, о несходящихся балансах и о нерасходящихся с официальным отчетом «черных бухгалтериях».

— Тут бы вот со складами разобраться надо, Егор... — робко встревал Ровянов, улучив, как ему казалось момент.

— Заходи, чай пить будем! — широким жестом приглашал его в предбанник образцовой сиплодоновской бани Сечень, и Ровянов понимал, что опять начнется нечто невообразимое, словно в театре абсурда, в котором Игорь никогда не был, но репертуар благодаря шефу хорошо себе представлял.

Баня у Егора была царская, белого теса, построенная в лучшие времена на большую компанию. Одиноким Егор терялся в ней, словно подросток в шапке великана. Не каждому под силу сложить самостоятельно хорошую кирпичную русскую печь! Даже в деревне грамотных и добросовестных мастеров осталось нынче совсем немного.

Но Сечень в свое время нашел мастера, и цена на кладку кирпичной печи у того оказалась божеской.

Егор отверг все эти обыденные профанации — поставить, как часто делают, дешевую металлическую печь-каменку, от которой только воздух греется, а духа банного никакого нет, жар один!

В большом предбаннике Егор сумел добиться от ханыг-строителей самой что ни на есть приятной обстановки, дарующей приятный отдых после парилки. Здесь было где спокойно раздеться, не думая о том, как снять брюки, не намочивши их.

Посреди предбанника стоял стол, на нем — обычный деревенский самовар, по углам — немного растительного декора, а также массивные крепкие деревянные предметы мебелировки. К ним, изначально, так сказать, рачительным, добавилось уже фантазерство хозяйничавшей тут последнее время полицейской со сладким именем шампуня — «Илона».

Появилась мебель на изогнутых ножках, полки замысловатой конструкции, с художественной резьбой по дереву. От матери из деревни Илона привезла старомодные цветастые скатерти ручной работы.

Можно было (Ровянов пробовал!) целый час, не скучая, сидеть у выносной топки, декорированной стеклянным окошком. Там царил алый танец магии огня. Над этим «как бы камином» тянулись полки, отделанные металлом, а на них Илона выставила прозрачные стильные чашки.

Помимо обычных банных предметов — без скамьи, стола, вешалки, деревянного комода — Сечень притащил сюда небольшой холодильник и пове-

<sup>8</sup> Хараппа - древнеиндийский город, один из главных центров хараппской цивилизации (3 тыс. — 17—16 вв. до н. э.). Расположен близ старого русла реки Рави, в округе Сахивал в Пакистане (территория современного Пенджаба). Мохенджо-Даро (буквально «холм мертвецов») — город цивилизации долины Инда, возникший около 2600 года до н. э. Расположен в Пакистане, в провинции Синд. Является крупнейшим древним городом долины Инда и одним из первых городов в истории Южной Азии, современным цивилизации Древнего Египта и Междуречья. Города — хранят многие доселе неразгаданные тайны. В годы учебы в БГУ А. Леонидова входили в круг его научных интересов, в частности он занимался расшифровкой строки пиктографии в своей курсовой работе 1994 года.

сил на стену плоский телевизор, вечно показывавший какую-то муру, потому что антенны в Сиплодоново плохо ловили сигнал.

Когда появился телевизор — хоть он и не показывал интересных каналов ни хрена, — не удалось обойтись без раскидистого дивана перед экраном. На нем всегда в беспорядке валялись либо покрывало для мебели, либо полотенца...

Вот из такого-то рая «типа шамбо»<sup>9</sup>, то есть для сельской местности, Ровянов и попятился в тот памятный вечер, не соглашаясь пить предложенный чай. Во-первых, все равно бестолку, раз у Сеченя губа засвистела, о складах на сегодня можно забыть. А во-вторых, Игорь увидел здешнюю хозяйку, Илону Дрожину, в легкомысленной тунике, открывавшей излишне много для молодой женщины, включая полицейский жетон на шее с группой крови и прочими идентификациями сотрудника.

«Ну их нафиг! Кто бы кого ни приревновал — мне полюбэ хуже будет...» — решил Ровянов, и ретировался.

## 18.

Он летел в ночи на своей «Газели», выдавшей виды, глотавшей фургоном все, от мешков ржанных отрубей до большого партийного начальства. Летел, пропарывая бархат сельской ночи острыми пиками фарного света, и не знал, что предстоящее приключение хуже предыдущего, и что лучше ему бы было остаться пить чай в королевской бане шефа, чем топиться в Куву затемно...

— Он? — спросил у Соломона Пинхусовича Привина по кличке Залмон стареющий молодчик, ветеран мелкого криминала, прозванный за рыбы глаза и неприятные ниточные усики «Налимом». Если бы этого «Налима» увидел Егор Сечень, то конечно бы вспомнил его: годы потеряли громилу, как монету, но чеканный профиль остался, и фикса, сверкавшая при угрозах, была все на том же месте. Что и неудивительно: разве у взрослого детины новый зуб вырастет?

Это был тот самый Налим, с которым когда-то давно, ещё до эпохи ржаной торговли, познакомился у трассы торговавший чужими грибами Егор. Именно ему Сечень собирался выбить глаз тонкой своей тросточкой заправского грибника, поскольку кроме глаза, такой палочкой ничего повредить человеку категорически невозможно.

Егоровы планы тогда не состоялись, а повторять их никто не взялся. Облик Налима пока покалечил только стоматолог, навязав уродливую фиксу. Живы-здоровы были и другие давние «знакомцы» Сеченя: и квадратно-челюстной азиат, похожий на калмыка, втиснутого в квадрат злым фотошопом, и пламенеющий рыжей шевелюрой веснушчатый «второгодник» — который и побелев от старости будет, наверное, казаться школьником-переростком, таковы уж особенности лица...

Правда, с кличкой рыжему повезло: подельники звали его Голдой — в честь рыжего цвета золота, в их кругах именуемого «рыжьём». А вот отфотошопленного природой калмыка звали Углом, потому что даже людям с низким интеллектом бросалась в глаза его угловатость...

Налим, Голда и Угол были когда-то в 90-е годы в большом уважении среди подонков общества, но им не повезло с киллерами, и вместо того, чтобы,

<sup>9</sup> Шамбо — наименование деревенской уборной самого простейшего типа — когда имеется автономная яма или емкость, в которую собираются канализационные стоки.

как все им подобные, улечься на кладбище побригадно, под красивыми надгробиями, они остались жить в «нулевые» годы. А тут им уже никто не был рад. Их дешевые страшилки никого уже не пугали (ибо появилось кое-что пострашнее и посистемнее), их профессиональные навыки низкого разряда никого не интересовали. И если бы их теперь убили (хотя и этого уже никому не было нужно) — денег на шикарный гранитный обелиск у них уже бы не нашлось...

«Бригада» Налима, мелкая, шакаля, потерявшая привычную среду обитания вместе с исчезновением полулегальных ларьков-фургончиков (они трясли киоскеров, порой весьма успешно), — «легла» под вовремя перестроившегося и респектного нынче Залмона. Залмон одним из первых сменил кастет на калькулятор, финку на выкидную печать фирмы, ствол на партбилет электорально-перспективной партии, и это в некотором смысле сохранило «бригаде» Налима никому не нужную её жизнь. Банда работала на Привина уже тогда, когда её, с подтекавшим кровью багажником, — застал Сечень у обочины кувинской трассы.

Как теплое тропическое болото уберегло от развития и совершенствования мезозойских гадов, доживших до наших дней в своем первобытном виде, так и покровительство Привина не дало Налиму и его теням подняться над очень узким собственным лбом. Яркие кутилы, хорошо памятные первым кооперативным ресторанам Кувы, — только нищали, но не преображались никоим образом. Рестораны о них забыли, «гонораров» Привина едва хватало на самый скромный обиход, но «верность профессии» и крайне неразвитые мозги мешали ребятам поменять образ жизни.

Теперь эти мастодонты перестроечного дикополья, бессистемного рэкет-наезда делали уже совсем не то и не там, что в начале 90-х, однако линейка их методов несколько не изменилась.

Если бы их увидел Егор Сечень, в его обличье студента КГУ, — он не преминул бы заметить, что это ещё одна разновидность обманутых реформами, из бесчисленных мириад тех, у кого в 90-е по усам текло, да в рот не попало. Но Егор Сечень их не видел, со всей жалкостью их положения пережитков «операции «Кооперация»», а держал их цепко, как когтями, в поле своего зрения Привин-Залмон, чуждый широким обобщениям узкий практик разбоя...

Он и дал утвердительный ответ на односложный вопрос раздувавшего жабры в последних житейских конвульсиях Налима. Тогда Налим вышел вперед, почти на самую трассу, очень узкую, двухколейную в этом месте, — и принял из рук Угла странный предмет, похожий на компактный автомобильный огнетушитель. Правда, был этот баллон черным, с желтыми предостерегающими наклейками...

Прямо в лобовое стекло «Газели», обреченной Залмоном жертвы этой ночной охоты, полетела из пульверизатора черная студнеобразная мерзость, разом, словно рулон рубероида, затянувшая Ровянову все лобовое стекло, лишив его обзора...

Ровянов ничего не понял, решил, что внезапно ослеп и начал яростно выворачивать руль, одновременно до упора выжимая тормоз. Микроавтобус занесло, развернуло со скрежетом, и он улетел в придорожный кювет, страшно грохнувшись там о бруствер сточной канавы.

Игорь Ровянов ударился головой о руль, свет померк у него в глазах, и он больше уже ничего не чувствовал.

Полужидкая гадость из пульверизатора на открытом воздухе быстро твер-

дела и превращалась на глазах в черную полиэтиленовую пленку: это была классическая подлянка в стиле Залмона, которого ещё в 1989 году величали «химиком». Силикоидный раствор для заливки — летит, как помой из ведра, а долетев — ложится, как гудрон, пластом...

Пока Ровянов «отдыхал» в обмороке, а из покореженного кузова высыпались с инерционными паузами пластиковые овощные ящики, — Угол и Голда отодрали застывшую пленку силикоида, мигом лишив аварию причины, и превратив Ровянова в дурака, на ровном месте слетевшего в канаву ни с того, ни с сего. Мелким крошечком осыпалось кокнутое во многих местах лобовое стекло. Часть его осколков вмонтировалось в силикоидную пленку и была стянута вместе с ней. Остальные, мерца в свете фонариков, падали звездами на кресло пассажира и бритый по-солдатски затылок Игорька.

То, что пассажирское кресло оказалось пустым, очень огорчило Привина. Не такого результата он ждал, не мелкой подлянки своему врагу приготовил в виде холодного блюда «Мечь», а крупные мослы больших неприятностей. Привин знал, что Сечень ночевать в деревне не любит, почти никогда там не остается, и было естественно считать, что и в этот раз он полетит в городскую кровать, к журналистке и конфетке Маше, вместе со своим водителем.

Про Машу Привин знал, а про Илону — нет. Ему это простительно — ведь он уже стал стареть, да к тому же был кувинцем, а не сиплодоновцем. Сама того не зная, короткой и распашистой туникой, а главным образом — полицейским опознавательным медальоном, аппетитно смотревшимся в ложбинке между грудями, капитан Дрожина спасла Сеченя от недружественного приема в голом поле...

Налим, поблескивая под световыми лезвиями фонариков своим особородливым вставным зубом, не поленился, слазил в салон «Газели», но в потрохах «овощно-показательного» фургончика нашел только несколько луковиц и картофелин. Он их собрал, неизвестно зачем, и принес Привину, надо думать, в знак своей преданности.

Привин грязно выматерился (а чисто он никогда не матерился) и вышвырнул дурацкие находки Налима подальше в полевые будылья.

— Нет его? — спросил Привин, хотя и так все видел своими глазами.

— Нет, только водила его, Игорь который...

— Ну чё, поздравляю, ушлепки... Оставили Куву без овощей, разбили этот драндулет, которому и так место на свалке...

— Неужели без овощей? — удивился Голда, чью голову можно было назвать золотой только в самом прямом смысле, цветовом. В его детском, по сути, сознании, испорченном, но не дополненным криминалом, никак не совмещались объемы потребления города-миллионника и Егорушкиного фургона.

— Он пошутил, — сказал Налим. И дополнил, подчеркивая свое интеллектуальное превосходство: — А ты, идиот, не понял?

— А чё теперь? — осклабился Угол, и щелки его глаз совсем заплыли в квадрате морды.

— А теперь посмотри, живой ли этот терпила?

Угол полез щупать Ровянову пульс, и вскоре порадовал гуманным сообщением:

— Живой, нас переживет... Дышит там... Отрубился, об руль долбанулся, но это пройдет...

— Думаешь, нас не видел?

— Не... Ваше никак... Ну чё он мог зырить? Он, рамсую так, и не понял, что случилось... Очнется — начнет догонять ситуёвину..

Залмон решил, что нет худа без добра, и что он достанет Сеченья другим способом. Уже без этой троицы дебилов, топором деланной. Достал из кармана твидового клубного пиджака изящный маленький фотоаппарат и сделал со вспышкой несколько фотографий «Газели» с разных ракурсов. А потом скомандовал «отбой», и в сыром гниловатом тумане сиплодонской ночи странная банда, учинившая бессмысленное дорожное хулиганство, растворилась...

## 19.

Словно косточка в мякоти экзотического фрукта, провалился Сечень в подушках необъятного дивана в предбаннике. Красный, как вареный рак, распаренный и одышливый, он держал в руках большую чашку бульона и отфыркивался, сдувая березовый листок, ностальгически прилипший над верхней губой.

Капитан Дрожина в неглиже лежала рядом, доведенная до истомы, и рассуждала чисто по-ментовски:

— Вот был бы ты, Гор, полковником, была бы я под полковником... А так капитан, по-прежнему...

Мрачный Сечень пялился в экран телевизора с музыкальными клипами, уклончиво, но настойчиво рекламирующими половые сношения, и был снедаем совестью. Так всегда с ним бывало, но, к сожалению, не до, а только после бурного соития. Похоть сходила со сцены, и совесть занимала её место, и начинала бубнить, что жизнь Егора — грязь, и сам он — окурочек этой грязной жизни.

— Господи, как же у тебя хорошо! — ворковала-стонала Илона, закинув руки за голову и сладко потягиваясь. — После нашего отдела, после этих серых стен, этих сейфов облезлых, компьютеров допотопных, этих ориентировок и протоколов... Как будто я умерла, отлетела от нашего РОВД, и в раю...

— Умерла не ты, а твоя душа, — назидательно поджав губы, сказал Сечень, — подавшаяся соблазнам плоти и погрязшая в блуде... И я не сумел соблюсти твоей чистоты...

Хотя Егор говорил очень серьёзным голосом, но Дрожина приняла его слова за шутку, и захохотала. Смеялась она грубовато, по-деревенски, а когда закидывала голову — видно было, что с боков у неё не хватает пары зубов, чем она явно проигрывала Маше Ясеновой. Хотя и та блудница вавилонская — думал Егор сурово, не понимая всей комичности своих суждений.

— Ну ты как чё скажешь, прям хоть падай...

— Ты и упала, в бездну порока. В старину таких называли падшими женщинами.

— Так дело за тобой. Хочешь — повенчаемся!

Сечень смолчал и углубился в свой бульон. Венчаться с Дрожиной он не хотел, а говорить ей об этом было бы невежливо, и против правил студента КГУ.

— В райотделе у нас, — пожаловалась Илона, — все время какая-то грязь, нищета, люди с темной стороны жизни... Наверное, это ирония судьбы, что ад называют *рай*-отделом... А у тебя хорошо, Гор, очень хорошо... И печка в бане настоящая, кирпичная. Она, поди, на все Сиплодоново одна?

— Одна, — кивнул Сечень. — Мужики все больше железные ставят, из бо-

чек, дешево, и дров меньше, греется быстрее... А кирпичная — у неё же совсем дух другой, мягкое тепло, не жгучее... Почувствовала?

— Ой, не говори, лежала бы на полке да лежала... Чуть не уснула там... У нас с мамой тоже баня, с железной печкой, но там какой спать — там дух на второй минуте вышибает...

— А тут, у меня?

— Тут парная дышит вместе... Лежишь, дышишь, а она под тебя подстраивается...

— Все равно, — впадал в ультрамонтанство<sup>10</sup> очистившийся от похоти излиянием скверны Егор, — это всё ублажение плоти, а о душе никто не думает. Думаешь вот ты о душе?

— А она есть?

— Вот видишь, какие у тебя вопросы, — обиделся «ультрамон» Сечень, потому что Илона в открытую потешалась над его порывом к очищению.

— Не обижайся, Гор, но я у себя за день такого насмотрюсь, что в душу уже не веришь... Сегодня дело завела: несовершеннолетний пасынок избил мачеху за отказ вступить с ним в половую связь... Так утверждает сама мачеха... А пасынок в ходе допроса показал, что избил мачеху за дела, связанные с зоофилией в отсутствие его отца, находящегося с телятами на дальнем выгоне по командировке агрохолдинга «Луч». Такие вот у них лучи в темном царстве — лучше, думаю, его совсем не освещать, чем на такое наткаться...

— Это очень прискорбно, — согласился Сечень, принимая викторианскую позу. — Но это никак не оправдывает нашего разврата и блудного срама... Вообще не вижу связи...

— Связь такая, что там, у земли, чавкающий головоногий мрак, понимаешь? Там удушливый, стянутый лютой нуждой и нехватками, гнойный вой, ставший нормой жизни... А у тебя тут баня, как у Ельцина, и хозяин этой бани — нормальный, приятный мужик, не из таких, которые двух слов связать не могут, дебилов...

Сеченю такая оценка польстила. Она была неожиданно лестной — после Машкиного «куска говна», но, по его мнению, совершенно незаслуженной. Он давно уже ничего хорошего в себе не видел, за исключением, может быть, намерения прочитать старую книгу о жизни горилл, которую давным-давно в руки не брал. Так что и тут пролетала сказочная птица «лихих 90-х» — «обломинго».

Даже если бы Сечень упорно читал по 10 страниц в день, как это водится у порядочных людей (давно попавших в красную книгу), — что это изменило бы? В сущности, книга — только сомнительное средство числить себя ещё человеком, а не рыночным электоралопитеком. Чтением старой книги с пергаментно-желтыми страницами и старинным тисненым переплетом — не сбить преступной похоти с упомянутого пасынка, равно как и преступного сладострастия упомянутой мачехи. В остальном же Сечень — по мелочи форсящий электоралопитек постсоветского пространства, самый заурядный, и гадкий, с воспаленной задницей души-павиана.

И из того, что Сечень построил хорошую баню, — тоже ничего положительного не следует. Потому что, во-первых, строил не Сечень, а старый, уже покойный печник Ахнаф и ханыги-шабашники. Сечень только бумажки и бутылки им раздавал. А во-вторых, и самое главное, — это хорошая баня,

<sup>10</sup> Ультрамонтанство (от выражения *итал. papa ultramontano* — «папа из-за гор» (Альп) <лат. *ultra* — «далее», «за пределами» + лат. *montis* — «горы») — наиболее ортодоксальное, наиболее последовательное направления клерикализма.



с настоящей, а не железной банной печью, в которой так приятно мыться, — ничего не отмывает в жизни вокруг и внутри своих обывателей. Она открывает поры кожи, но внутри человека мрак, и вокруг него мрак безумия...

— У меня дядя был... — вдруг раскрылся Егор, отставив на пряно пахнущий мокрым тесом массивный стол свою чашку. — Ты знаешь?

— У всех дяди были... — отмахнулся Дрожина. — У меня тоже дядя был, даже три их было... Двое совсем никакие, а один очень хорошо готовил шашлыки... Спились, правда, все трое без нюансов...

— Мой дядя был большой человек... Из столицы... Михаил Сульпин, не слыхала?

Она молчала. Откуда ей знать? Она не вспомнила бы даже тех, кого лечил доктор Сульпин, потому что мертвое двадцатилетие стирало всякую память и всякий интерес выше гениталий...

— Он приезжал к нам в гости, в 1985 году. Сказал, что приехал лепить пельмени... Странно, правда? Тогда была такая традиция — родня садилась лепить пельмени, и общалась... Зачем это академику Сульпину — я понять не мог... А он попрощаться приехал, за пельмешками, он вскоре умер, как и Черненко, которого он пытался спасти, но тот все равно умер. Я думаю, что тут не было никакого заговора — Черненко был очень старый, и законсервировать его навечно было все равно невозможно... Но дядя очень переживал, что этот самый Черненко склеил ласты... И дядя мне тогда сказал: Егор, приближаются времена, когда каждому, кто хочет выжить, придется сойти с ума. А всякому, кто не хочет сойти с ума, — придется умереть. И вот я смотрю на тебя, как ты голая лежишь без стыда, — и думаю, дядя был прав...

— А тебе неприятно?

— Причем тут это? Я тебе не про это, я так, пример привел... Мы живем как сумасшедшие, и это делаем мы все, кто живет. А очень многие умерли. Когда я вспоминаю о тех, кто умер, — мне кажется, что в их жизнях была логика, разум, последовательность, смыслы. Все то, чего у нас совсем нет. До такой степени совсем, что мы даже отсутствия не замечаем.

— По-моему, твой дядя сам перед смертью свихнулся. Объясни мне, как человеку с образованием следователя, — какая связь между каким-то старым пердуном Черненко и всеобщим безумием? Кстати, кто такой этот его Черненко? Главный психиатр был, что ли?

— Понимаешь, Илона, в современном языке нет слова, чтобы обозначить должность товарища Черненко. Близко по смыслу будет «император Рима, базилевс, глава мира и веры».

— Это, пардон, из какой эпохи? — засмеялась Дрожина. — Сколько же лет было твоему дяде?!

— Эпоха, в которой я родился, но которая для меня загадочнее индейских и египетских пирамид... Связи между Черненко и всеобщим безумием я тоже не понимаю. Дядя был гений, возможно, он дальше нас видел... А потом, Илона, сумасшедшие чаще всего не понимают, что они сумасшедшие, им-то самым как раз кажется, что они совершенно нормальны... Возможно, это про нас с тобой, про...

Сечень хотел сказать «Машу Ясеневу», но посчитал, что это излишняя для бани детализация.

— ...про твой райотдел и про Сиплодоново, и про Куву... Только по косвенным признакам мы догадываемся, что мы все свихнулись, но свихнулись все, а догадываются об этом далеко не все...

— Ну, понятно, ты догадываешься, ты же выше остальных... — иронизировала уязвленная Дрожина.

— Ну, сама говоришь, баню я лучше, чем у других, построил, может и в чём другом кумеаю получше... Дядя Миша приехал лепить пельмени, мы забили им весь морозильник «Эра», и все были выпачканы в муке, так смешно... — Сечень засмеялся, и Дрожина потянула на себя тигровый плед: не потому, что ей стало стыдно наготы, а потому что её пробил озноб: последний нормальный мужик в их краях явно сходит с ума...

— ...Было так смешно... У дяди Миши нос был в муке, как у клоуна, белое такое пятнышко... А у папы моего в муке были брови, они стали как будто седые — он ведь не дожил до седин... Один только день и был седым, когда мы всей семьёй лепили те советские пельмешки...

Из мутного глаза Егорушки вытекла одинокая слезинка и побежала как-то криво, вопреки законам тяготения, через скулу.

— А мама, её тоже больше нет... Мама испачкала подбородок, и у неё стала такая белая бородка, знаешь, как будто клинышком... Мама была доцентом в КГУ, и дядя Миша сказал тогда, вот, мол, теперь ты настоящий приват-доцент, потому что они все носили бородки клинышком...

Вторая слезинка покинула порт приписки в другом ошалевшем глазу, протирающим взглядом реальность до дыры, пытающимся через неё, как через дырку в декорациях, разглядеть то, что за кулисами...

Совсем уж без всякой связи, просто по короткому замыканию в мозгах, Сечень стал цитировать стихи Стивенсона.

«Боже! — подумала Илона Дрожина, и хоть она была капитаном полиции — даже ей стало страшно. — У него же опухоль в голове...»

*— Пришел король шотландский, безжалостный к врагам.  
Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам.  
На поле битвы грозном, на поле роковом,  
Лежал живой на мертвом и мертвый на живом...*

— А я слышала, — Илона явно стремилась сменить тему и подыграть своему высокоинтеллектуальному «мужчине мечты», — что пикты были каннибалами...

— Очень может быть, — легко согласился Сечень. Он был когда-то студентом истфака КГУ, но это было очень давно, и он ничего не помнил про пиктов. Вообще ничего. Он вспоминал другое. Ещё задолго до мелового периода аудиторий «альма матер»...

— ...Это было летом 1985 года, — продолжал Егор с таким видом, словно открыл великую тайну. — Это было очень жаркое, очень солнечное лето... Все были такие смешные, и все улыбались, и одевались как дети, и были как дети... Даже преступники тогда были детьми... Их смешные кражи сегодня вы в райотделе даже и расследовать бы не стали... И люди были любознательны, как дети. Им все было интересно: космос, море, недра, живое, каменное, хотя они и были дурачки. Да! — вдруг заорал Сечень так, что ложки звякнули на столе предбанника. — Дурачки! Им все было интересно, но они ничего не знали... А мы теперь все знаем, но нам ничего не интересно... Черненко уже умер, и дядя приехал... теперь я понимаю, что он тоже приехал умирать, он хотел повидать нас всех на прощание... У него знаешь, что было?

— Что?

— Не поверишь! Талоны на такси. Я такие видел впервые — их давали в

Академиях наук, там так и было написано — «талон на одну поездку на такси», ими можно было расплачиваться с таксистами вместо денег... И дядя ночью заказал по телефону такси, а потом позвал меня встречать рассвет на нашу Сараидель. Он пообещал, что я увижу что-то необыкновенное, уникальное, немислимое. Именно в тот рассвет — такое бывает один раз в жизни, да и то не в каждой жизни...

— Чего может быть необыкновенного на этой говнотечке Сараидели? — подозрительно усмехнулась Илона.

— А ты знаешь, что она протекает как раз между Европой и Азией? И что на одном её берегу край Европы, а на другом — уже Азия?

— В школе проходили...

— В школе они проходили... — хмыкнул Сечень. — Это же чудо, это вторые Босфор и Дарданеллы! Мы приехали на желтой «Волге» — тогда все такси были желтыми «Волгами» — на Аллабадский камень, где конный памятник Аллабаду Алаю. Представляешь местность?

— Нас в школе возили на экскурсию. Говорят, лучшая в нашем крае обзорная площадка...

— Только теперь там нечего смотреть. А тогда, летом 1985 года, в утро, когда земля пропотела лихорадочной росой и началось воспаление корней, — там, под копытами коня Аллабада, были виды! Слева — главный христианский храм Кувы, справа — соборная мечеть. И ещё видно идол Ленина — тогдашнего господствующего культа... Все конфессии под бронзой копыт коня Аллабада! Под ногами, невыразимо низко, течет Сараидель, Желтая река, так низко, что люди на барже «Карасакал» казались мне муравьями. Они сустились, эти муравьи, потому что перед этим рассветом они посадили «Карасакала» на мель, и малый буксир не мог его стащить. Дальше, там на восток, — Азия, Азия, Азия, степи, леса, снова проплешины степей... Оттуда должно было прийти Солнце. И дядя Миша мне сказал тогда: «Смотри внимательно, Егорка, и слушай, ничего не пропусти»...

— И ты что-то увидел? — потянулась Илона, пытаясь изобразить беспечность.

— Вот это восход! — изумленно сказал я дяде, и он ответил мне: «Да, Егорка, вот это восход!». К нам шло азиатское солнце, и в лучах его короны плясали серые туманы безумия с искорками-сумасшедшинками. Эти серые туманы поднимались, как волна-цунами, вместе с Солнцем, но они были больше Солнца. Они катились с азиатского берега стеной из причудливых гримас. У них был фронт — накатывавшийся на нас, но у них не было флангов, они шли, перечеркивая планету, из края в край... У волны была невообразимая высота, много больше, чем у камня Аллабада, а ведь в наших местах это высшая точка обзора. Когда волна серых туманов была уже близко — воды в Сараидели вспучило, как вспучивает океан лунным притяжением в приливы, и баржа «Карасакал» сама собой снялась с мели. Люди-муравьишки на ней заматались, забегали, видимо, испугались, хотя этого видеть я не мог... Волна серой туманности нашла на Сараидель, и воды реки зарыбились, словно бы заболели оспой... Серый туман шел стеной по воде, аки посуху, и дошел до нас, до аллабадского камня, ударил, как ударяет прибой у моря — в лицо, в корпус, почти что сбив с ног. Потом серый туман поглотил нас. Внутри него не было ничего физического. Это был... Ты не поверишь, но это был дымно-плотный хохот сумасшедшего фигляра! Как будто мы с дядей попали в рот к гигантскому клоуну в момент, когда тот надрывает животики от смеха...

— И что сказал твой мудрый дядя? Назвал имя этого клоуна? Кто это был — Бог, дьявол? — Илона пыталась шутить, но стала одеваться. Ей сделалось совсем не по себе в одной комнате с душевнобольным, пусть даже и очень уютной, богато обставленной комнате.

— Дядя сказал, что по его замерам где-то в Черной Пустыне, а это сердце Гоби, — родилось Великое Безумие. Он говорил, что Великое Безумие — это бешено размножающиеся души саранчи, не обремененные плотью. И вот эта бесплотная саранча идет тучами из Черной Гоби, пожирая все на своем пути, как и положено саранче, но только не все, что растет, а все, что духовно. Ведь это же не просто саранча, а духи саранчи, её призраки без тел. Летом 1985 года, вместе с рассветом Солнца, Великое Безумие прошло всю Азию и прямо по нашему мосту, как воды потопа, хлынуло в пределы Европы...

— И ты это видел? Сам? Лично?

— Не только видел. Я это чувствовал. Это сначала совсем не страшно. Ну, толкнула тебя слегка какая-то ментальная волна, прошла сквозь тебя, и изменила спектр цветов мира вокруг тебя... Ты не знаешь, Илона, но краски и цвета вокруг нас сегодня гораздо тусклее, чем были до 1985 года. Это легко проверить, я сравнивал цветные фотографии до и после «перестройки». Хочешь, покажу тебе эти снимки?

— Нет! — передернула плечами Дрожина, уже втиснувшая стройные бедра в тесные джинсы и боровшаяся с ремнем, утягивающим талию на последнюю дырочку. Её обнаженные, округлые груди покачивались в такт процессу.

— Тогда поверишь на слово... — легко согласился Сечень. — Вначале это совсем не страшно. Жертв и разрушений у этого цунами нет, хотя его гребень выше всех водяных цунами. Просто мир немного тусклее и серее, когда погружаешься в волну, и мысли начинают бежать иначе. Духи саранчи их жрут. Поэтому мысли или кончаются в голове, или наоборот, стягиваются в такой защитный пучок предельной концентрации, чтобы отбиваться, как ты волосы стягивала, помнишь, в «конский хвост»...

— А ты сказал, что тебе это кажется пыткой — так стягивать волосы на затылке...

— Да, я так сказал. Но это неважно. Мысли, которые не дают себя пожрать Великому Безумию, — собираются в такой вот пучок и отбивают атаку за атакой окружающих саранчиных призраков. Потом — на это иногда требуется несколько лет — у защищающихся мыслей наступает спазм, они уже не могут расступиться, привычка прятаться и отбиваться становится их второй натурой... Тем более, что живут они в мире, где большинство голов духи саранчи обглодали до спинного мозга...

Илона натянула пуловер через голову, скрыв, наконец, все свои прелести, и положила тяжелую руку на колено Егору.

— Допустим, Гор, все это так. Это очень странно, очень невероятно, я тоже жила тогда, но ничего такого не помню, а ведь волна должна была пройти и через меня...

— Так девочка моя, ты и Черненко не помнишь, это тебе ни о чем не говорит?

— Я согласна, допустим, что это именно так. В Черной Гоби, где дождей не бывает порой до ста лет подряд (Дрожина снова блеснула своей эрудицией, помогло чтение журнала «Гео» на ночных дежурствах), — зародились полчища бесплотной саранчи. Они питаются умом. Странно, но ладно. Они

пошли на Запад, перешли по мосту — кстати, почему по мосту? — нашу Сарайдель, помогли барже «Карасакал» слезть с мели — кстати, странный поступок для саранчи... Но она же, ты говоришь, ментальная... Стена шла от края до края земли и, как ты говоришь, выше камня Аллабада, а я там была, это хреновая высота, голова кружится... Теперь объясни мне, пожалуйста, — и прости мой тон допроса, это профессиональное, — каким образом мог твой Черненко, померший от дряхлости в 1985 году, помешать волне, которая выше камня Аллабада, пройти в Европу? Ведь, согласись, в любой фантастике должна же быть какая-то смычка контактов?

— В фантастике — да, — грустно улыбнулся Сечень. — А в жизни необязательно. Нет никакой смычки, понимаешь? Просто доподлинно известно, что вот, извольте, был жив этот развалина-Черненко, и этот факт странным образом сдерживал Великое Безумие... Я не знаю, как. Может быть, дядя Миша знал, он же все это вычислил... Но он давно умер. Он выбрал между безумием и смертью — смерть.

— А дядя не говорил тебе, каким образом?

— Он сказал очень странные слова. Я их запомнил, потому что они были очень странными, не из нашего мира. Он сказал — «Удерживающий взят от среды». Только через много лет я узнал, что это — евангельский язык, и что в христианстве принято считать: мир не сворачивается, как молоко, в простоквашу, потому что есть особый стержень, сдерживающий процессы свертывания... Если этот стержень вынуть из мира — начнется коллапс всех процессов и вселенная свернется в рулон...

— А этот твой Черненко — он *что*, был великий гений? Святой? Гениальный ученый? Сказочный силач или экстрасенс? Как он мог быть Удерживающим, если просто помер от старости, когда времечко подкатило?

— В том-то и штука, что ни святым, ни ученым, ни гением, ни чудотворцем он не был. Хуже скажу: согласно истории, он был наивный и беспомощный обалдуй. Может быть, не он сам был Удерживающим, а нечто, на чем он сидел, что ли? Он умер, его сняли — пружинка выстрелила, предохранитель отлетел, пошла цепная реакция распада...

— Ты сам веришь в то, что говоришь?

— Нет.

— Ну хоть это, слава Богу! Между прочим, Гор, твоя фирма потому и становится «убыточной», что ты вместо счетов-фактур роешься в таких вот воспоминаниях... Может быть, тот рассвет тебе просто приснился? Ты был ребенком, впечатлительным, ранимым... Я же инспектор отдела по делам несовершеннолетних, я прекрасно вижу, каким мальчиком ты был... Приехал дядя, вся семья обнималась и шутила, ты был счастлив, был на пике блаженства, и тебе приснился сон? Бывают такие сны, которые запоминаются ярче яви...

— Я думал об этом... — кивнул Сечень. Он закутался, как сосиска в тесто, в огромную мохеровую простыню, в красных и синих клетках, торчала из свертка только встревоженная голова, рогом торчал седой чуб — словом, картина дурдома была налицо во всей красе.

— Есть и ещё варианты, учитывая психологию ребенка. Ты был ребенком, Гор, ты что-то увидел, и неправильно истолковал. Или дядя на Аллабадском Камне рассказал тебе притчу, сказку, легенду, аллегория, — а ты по-детски все воспринял буквально, и по-детски же вообразил... Ты не работаешь с детьми, не представляешь силу их воображения... У меня в отделе одна девочка общается с летающим кабаном, ворует для него комбикорм у Дмит-

рия Хряка... На допросах я ей не поверила, и она пообещала принести доказательство. Вообрази, Гор, приходит она ко мне с зажатым кулачком и говорит: вот, небесный кабан дал мне немного щетинки...

Я открываю ей ладонь, в ладони пусто, а она говорит: «Вот, видите, теперь не будете спорить?». И я понимаю, что эта девочка видит на пустой ладони щетину летающего кабана, действительно видит, понимаешь? Для неё это не уловка, а её мир, в котором все реально!

— Я это знаю! — раздражался кутающийся Егор. — Я думал об этом. Может быть, я все это придумал или перетолковал из чего-то другого... Дяди Миши нет в живых, уже не переспросишь... Но вот только, если я все выдумал, — скажи, почему мы тогда так живем?

— Как живем? Паримся в бане, достойной банкиров и депутатов? Хлещем водочку с чаем, и лимбургский сыр сервелатом закусываем? Сечень, твою мать, почему ты все время ноешь, у тебя же больше, чем у всех, вон у всех вокруг...

— Я не это имел в виду. Я имел в виду — как мы живем вообще. Ну, вот так...

— Как так?

— А вот так...

Судьба послала Егору весьма подходящий ответ. В маленькое окошечко большого предбанника окровавленной рукой, оставляя кетчупово-бурые разводы на стекле, постучался Игорь Ровянов. Вид его разбитого, словно бы разбуравленного лица был страшен. Он закрыл собой дискуссию и ситуационно, и по существу...

## 20.

Евгений Махачин заседал-заседал, заседал-заседал, сближал позиции и совмещал мнения, так что в итоге оказался под капельницей в правительственной больнице на «улице Ст. Халтурина», как гласили домовые эмалированные таблички, причем местные жители иначе как «улица Стакана Халтурина» много лет уже не говорили.

По иронии судьбы именно на «улице Стакана Халтурина», Махачина, синего торчка, выводили из запоя лучшие специалисты. Там ему и сказали, что работать на износ по партийным проектам больше нельзя, и что желательно взять отпуск, да и в связи с глубокой интоксикацией организма желательно поменять питание.

— Рыбный суп бы очень подошел... Куриная лапшичка, овсяная кашка... Вы смотрите, на перченое, острое и с уксусом, все эти разносолы закусовые, больше не налегайте, Евгений Антонович...

Путем алкогольных сублимаций, ассоциаций Евгений Махачин, давно уже живший вместо ума «аппаратным интуитивизмом», додумался до своеобразного плана: ехать к «единственному другу» Егору Сеченю (Егор стал «единственным» после пьяных прозрений в классическом стиле алкоголиков — «все меня продали», et cetera, et cetera), — и там кушать рыбный супчик, то есть уху.

Неважно, что в Сиплодоново нет рыбной ловли, — это все частности для корчащегося под капельницей синюшного торчка. Друг Егор обязательно сделает уху, самую лучшую уху на свете, и на лоне сельской простоты, чистоты и нравственности Евгений Антонович Махачин сможет наслаждаться здоровой пищей... Друг Егор попарит в бане, говорят, у него хорошая баня, покатает на лошадке (инфантильность этого пункта программы объясняется тем, что он был рожден во глубине абстинентного синдрома), объяснит

текущие проблемы агропрома (этот пункт рожден уже почти поправившимся, и снова заговорившим на аппаратном языке чиновником), и разведет большой костер, почему-то из сложенных домиком сосновых брёвен, чтобы и на той стороне Сарайдели пламя все увидели...

Махачин то с одной стороны, то с другой своего Олимпа слышал, что у друга Егора (после запоя с рваньём рубахи и «все мени продали-и...» ставшего единственным) дела идут так себе.

Этот непонятный «переход в мусульманство» — когда член правящей партии и её записной инноватор аморально разлагается между двух баб, словно бы гарем себе завести вздумал. И эта бесконечная пьянка, на которую жаловались не раз посылаемые в Сиплодоново «обменноопытники» партийных аграрных семинаров...

В последние месяцы они делились на две категории. Большая часть делегации по обмену опытом уезжала из Кувы опухшей и очень довольной, обещая приезжать за опытом почаще. Но почти в каждой делегации находился один-два «человека-паука», которых не устраивал прием Сеченя на его образцовой ферме, и непонятны были его лекции по практическому трюфелеводству в виде бесконечных тостов.

Махачин не раз думал, что нужно что-то делать с Егором, — но поскольку сам выпивал рекордно, сочувствовал «единственному другу», и все поползновения против него клал под сукно.

Неожиданно у Махачина нашелся союзник в деле «выручания» друга Егора — Соломон Пинхусович Привин. Как бандита 90-х, как Залмона, Махачин Привина совершенно не знал, а знал исключительно в конечном имидже — как социально-ответственного предпринимателя, тонко разбирающегося в винах, и носящего в белых жестких манжетах бриллиантовые запонки (что, согласитесь, само по себе о многом говорит).

А с Привиным вышла вот такая история. После скандала на презентации «Дома Ржи» Соломон Пинхусович напруг все свои лоббистские возможности, чтобы отобрать у обидчика Сеченя кормилицу: лицензию на торговлю спиртными напитками. И все вроде бы легко удавалось, но в определенный момент упиралось в тупик. Раз торкнулся Привин, два — и понял, что у Егора есть рука наверху. Разведал — пожал эту руку: Евгений Антонович Махачин, начинал вместе с Сеченем, многим ему обязан, и так далее...

Перешибить обух партийного бонзы Махачина, очень влиятельного при назначении административных кадров, плеткой перековавшегося уголовного Залмона нельзя. Да и не хотелось этого осторожничавшему Привину, знающему, что такое война авторитетов, не понаслышке.

Но как тогда быть? Простить выскочку Сеченя?

Прощать Привин не умел. Это не по его части.

И Соломон Пинхусович сделал ход конем. Он пришел на прием в кабинет к демократичному и открытому Махачину, принес несколько фотографий разбитой «Газели» КФХ «Сечень» и посетовал:

— ...Евгений Антонович, пропадает совсем наш общий давний товарищ и партнер... Совсем пропадает...

— Кто это? — приподнял бровь Махачин, разглядывая фотографии аварии Ровянова под Сиплодоново.

— Егор Сечень... Такой хороший мужик... Помочь бы надо... Вон уже на машине чуть не до смерти разбился, пьяный был, так ведь потеряем...

— Егора? Ни за что! Справный, крепкий мужик, соль земли кувинской! — возмутился Махачин.

— Пьянка и не таких губила... — сложил губы хоботком юродствующий Привин.

— Так что же делать...

— Убирать причину, Евгений Антонович! Он когда таким стал? С какого момента?

В принципе, Махачин знал, с какого момента Сечень стал сильно пить. Хронологически это совпало с открытия «Дома Ржи». Поэтому Махачин сам шагнул в ловушку, расставленную коварным Залмоном.

— В «Доме Ржи» он, сердешный, запил...

— А почему, Евгений Антонович? А потому, что сам «Дом Ржи» — идея прекрасная, но вот лицензия на торговлю спиртным и партию там позорит, и нашего дорогого Егора губит. Сами знаете — что везешь, то и грызешь... Превратил свой торговый центр в спиртоводочный магазин, вот и понеслась коза в рай...

— Там не только... — защищал друга Махачин. — Там у них презентации очень интересные проходят! Девочка одна ведет, студенточка, очень интересная... Рестораторы и гастрономы толпами за ней ходят... Но и алкаши, конечно, ржаная водка, то да сё...

— И я о том же, уважаемый Евгений Антонович! Нужно спасти Егора! Нужно у него лицензию на торговлю ликероводочной продукцией отбирать, и поскорее, а то потеряем парня. А ведь хороший парень, Евгений Антонович!

Махачин отчасти согласился с логикой Привина, однако его сдерживало то, что пару раз он уже отбивал аппаратные атаки на водочную торговлю в партийном «Доме Ржи». Торговать дешевой водкой — все равно, что денежки печатать, это тинктура, философский камень, превращающий свинец в золото. За лицензии идет бешеная борьба, и без прикрытия уровня Махачина и выше — никому водкой торговать не позволят. А тут вдруг..

Но если, с другой стороны, золото стал парень отливать обратно в свинец, есть над чем задуматься, Привин в чем-то и прав...

Махачин не обещал Привину помочь с отбором заветной лицензии-кормилицы, но задумался. Семена сомнений были посеяны в его душе, и сам того не ведая, Сечень потерял однозначность позиции у самого главного союзника по жизни. Неудача с организацией аварии — как ни странно, помогла Залмону и серьёзно продвинула его в планах удушить обидчика.

Добил Кормилицу, как ни странно, сам Егорушка, причем не со зла, а от усердия, разбив себе лоб, как тот дурак, которого поставили на молитву. После капельниц и прочей реабилитации Махачин оставил дела и поехал, как и мечтал, на пикник в Сиплодоново.

Большой чиновник и его свита обедала встретила со стороны хозяина «фазенды» самый теплый прием. Сколько бы ни пропивал мозги Сечень, но мысль о Махачине, как о центральной оси системы выживания, неустанно сидела у него в черепе. Он запомнился суетным, поддатым мужичком-сахарником, который с деревенской посконной лукавинкой слащаво крутился вокруг бар, не зная, как их лучше усадить, уложить и ублажить. Узнав про уху и куриную лапшичку, Сечень возопил в хохломском стиле, что:

— Лучшая уха из петуха! — и незамедлительно приступил к разведению кострового очага во дворе, чтобы «супчик вышел с дымком». Приготовление и метания Егорушки произвели на «делегацию» отдыхающих партийцев неизгладимое впечатление.



К обеду, — когда черный огромный казан кипел и бурлил, подкидывая листочки благородного лавра и черные капли индийского перца, словно героев на руках благодарной толпы, — были доставлены несколько крапнистых шук средних размеров, явно не сиплодонских, потому что в Сиплодонно ловить даже пескарей негде. Натюрморт дополнили два ощипанных и готовых к вареву петуха, но эти уже были местные.

То же самое касалось морковки, картофеля и зеленого молодого дикого чесночка — по прозванию черемша. Сечень многословно убеждал качавшегося в гамаке Махачина, что чеснок непременно в такой ухе должен быть диким.

Вначале бурно варился в казане, на костре, с дымком, петушиный бульон. Когда он зазолотился, как положено, жирком, Сечень безжалостно вытаскивал куски тушек, а черемшу, острую, как бритва, но на вкус, а не на ощупь, и петрушку с базиликом, не нарезая, набросал в котел.

Потом в бой пошли уже нарезанные картофанчик и моркошка. Пятнадцать минут все это клокотало на живом огне и источало неопишумейшие ароматы, взбивавшие аппетит, как крем взбивают венчиком.

В момент «Х» Сечень суетливо подбежал к будущей ухе с разделочной доской — и вот уже порционно нарезанные шурята полетели в черный казаний зев. Оставался главный писк убожения городского начальства: к восторгу и аплодисментам чиновников, под благосклонным взглядом Махачина из гамака, Егорушка притащил бутылку водки и березовое, сухое до звона в волокнах, полено.

Почему-то в этот миг ему вспомнилась рыдающая Маша Ясенева, которая говорила, что нужно всегда выглядеть счастливой, что бы ни было на душе, всегда улыбаться тем, от кого зависишь... Сечень сам себя чувствовал Машей, причем не в лучший её период, в пресловутом салоне, где полно укромно стоящих офисных столов...

«А Махачин?» — вспомнил Егор, и ему полегчало. Тогда-то, на Дне Ржи, Махачин мелким бесом вился вокруг москвича в нерповом «пирожке» и с румяными щеками? Тоже Маша, тоже Ясенева, менеджер салона «Регистр» для темных дельцов города Кувы...

Писк сезона настал. По замыслу бывалого Егора кульминацией подготовки «ухи из петуха» должно было стать вливание водки прямо в суп, с одновременным поджиганием ухи при помощи горящего полена. Это была уже не кухня, а шоу, погружавшее гостей в мир показушного этно-туризма, шоу «из жизни благоденствующих селян».

Трудно сказать, чего там Сечень сделал не так — то ли водки вылил много, то ли полено раскочегарил слишком сильно, то ли просто судьба — но вместе с супом загорелся заодно и ватник Егора...

Пока он орал и носился по двору; пока с целью потушить его чиновники из Кувы опрокинули казан с ухой-петухой на угли, подняв дым и шипенье, как в бане по черному; пока его заливали водой из деревянной шайки, самого превращая в мокрую курицу, — Евгений Махачин вспоминал о словах Привина и думал о пропадании через водку «единственного друга» Егора Сеченя...

И когда через несколько дней Привин вновь пробил через сделавшего большую карьеру Барлыбаева лишение «Дома Ржи» лицензии на торговлю спиртным, — а тот позвонил Махачину, узнать «не против ли Женя будет», — Махачин, подумав, согласился.

— Он спивается! — объяснил Махачин старому подельнику. — Он нам

бомжом не нужен подзаборным... Надо его подальше от водки, поближе к бумагам... Парень он грамотный и с головой, я его к себе помощником депутата заберу...

21.

Деревенская мама Валя деревенской девки с совсем не деревенским именем Илона — старела, всё чаще болела и хуже смотрела за скотом. Дочь-милиционер, а потом полицейская, и в прежние годы не была ей помощницей, потому что уходила рано, а возвращалась поздно, такая уж работа. Мать одна возилась с коровой, двумя хряками, шестью овцами и десятком гусей. По мере старения и боления матери из дома стали постепенно исчезать «пейзанские живности».

За корову мать боролась упорнее всего. Но из-за ревматического скрючивания пальцев доила все хуже, с перебоями, корова стала болеть, как говорят на селе — «гореть молоком», помучившись — околела.

Встал вопрос — продать мясо коровы, которая околела. Вообще-то это незаконно, однако убытки такие мать бы не пережила, и капитан Дрожина (сама ведь, как не стыдно, сотрудник правоохранительных органов) договорилась в отделе с машиной, «рафиком», — загрузить куски разрубленной коровёнки и отвезти в Куву, «своему мужику», то есть Егору Сеченю. Илона очень верила в коммерческие способности своего нечаянного друга, и одновременно побаивалась, что он пошлет её с такой глупой, мелкой и нелепой просьбой: сбыть мясо околевшей коровы в обход ветстанции.

Поэтому с чисто женской логикой она решила не ставить «своего мужика» в известность, а нагрянуть к нему уже с товаром, под тем соусом, что «Горушка, ну не обратно же переть эту чертову говядину... А у тебя целый торговый центр под рукой...».

Взяв в две руки два чемодана с авангардом мясной нелегалыщины — мясом с лопатки и филея, — Илона решительно направилась по ступеням «Дома Ржи» к офисной двери хозяина. Поскольку по статусу секретарша Сеченю ещё не полагалась, как, например, Махачину, — проход к телу вождя Ржи был прямой, а дверь открыта.

За дверью сидел в кожаном кресле Егорушка, закинув голову и смежив глаза, выложив руки далеко на стол, а что-то щебетавшая Маша Ясенева разминала ему со всей возможной нежностью плечи и шею...

Илона первым делом выронила из рук тяжелые старые чемоданы, один из них открылся, мясо вывалилось и завоняло сладковатым душком убойны, запекшейся крови. Сечень собрался в кресле и открыл глаза. Маша в упор смотрела на Илону. Илона на Машу.

— Э-э, я не поняла! — с чисто сельской грубоватостью начала Илона (а она отпросилась со службы, была при погонах, при наручниках, при табельном оружии в кобуре — это придавало сил). — Ты кто такая, овца? Тебе чего от Егора Артуровича нужно? Ну-ка, ручонки свои убери, быстро!

Маша может быть и городская девчонка, и может быть Илона ей годится в молодые матери — из числа тех, кто рано рожают. Но Маша прошла салон «Регистр» и прочие подворотни цыганских дворов окраины, и если «ментовка» думала взять эту хрупочку на «слабо», то не на ту напала...

— Ордер сперва предъяви, лошадь! — рявкнула Маша ангельским голоском, категорически не вязавшимся со словами. — Тебе чё тут надо? Не видишь, руководители заведения совещаются? Выйди и постучись...

Такое заявление, как ни странно, успокоило капитана Дрожину. Она по-

няла ситуацию так: молодая секретутка втирается к боссу в доверие и ещё кое-куда, следовательно, все не так опасно: чисто производственный роман, если вообще роман, а не баловство с легким флиртом...

— Егор, — строго спросила Илона, входя в роль супруги, на которую её никто не звал, — кто эта девка? Почему она так со мной разговаривает?

— Егор, — не осталась в долгу Маша, тоже облюбовавшая для себя без спроса ту же роль, — откуда эта золотопогонница и почему она так с тобой разговаривает?

Поскольку обе подселенки смотрели в упор на Сеченя, он счел нужным доказать, наконец, что он не тряпка, а настоящий мужик, и строго ответил сразу обеим:

— Вы меня в свои дела, пожалуйста, не втягивайте!

Конкурентки быстро сообразили, что от мужика ответа не дожدهшься, и перешли к диалогу в стиле «кто ты такая? — а ты кто такая?» с возрастающей эмоциональностью и редкостной бессодержательностью.

— Чтобы я тебя, овца, близко возле этого мужчины не видела! Я тебе космы-то повыдергаю! — лезла на рожон Илона.

— Ты из какого собеса вылезла, пенсионерка! — напирала Маша. — Счас позвоню в дом престарелых, что они свою бабушку на прогулке потеряли...

«Как они обе мне надоели! — думал Сечень тоскливо, глядя на баб из-под ладони, как из-под козырька. — Хоть бы они уже ушли обе, и жилплощадь мне освободили... Я же джентльмен, сам выгнать не могу, все же как-никак вы имеете дело со студентом истфака КГУ, девочки!».

Но дело приняло очень скверный оборот. Никто из женщин Егора уходить не желал. Они были не из обидчивых — Егор для обоих был не столько мужчиной, сколько «средством передвижения» из ада во что-то более чистилищное. Поэтому вместо удаления дамы пошли на сближение. Маша чем-то кинула в Дрожину, а та была как бы «при исполнении» (про мясо она уже забыла, оно так и валялось на входе перед журнальным столиком с шахматной набивкой) и схватилась за кобуру.

Поскольку Дрожиной не выдавали дефицитную дубинку, у неё было два орудия боя: наручники (при желании послужат кастетом) и табельный «макарыч»: штука увесистая, зарядить студентке рукояткой по голове — мало не покажется...

Безусловно, в планах Илоны было драться, проучить девку, а не стрелять. Но Маша об этом не знала. Тем более в тех обоссанных дворах, где она росла, — оружием не играют, а достав — всегда применяют...

— Прекратите немедленно этот балаган! — заорал было Сечень, но было уже поздно.

Дикая кошка прыгнула на золотопогонную волчицу, схватила руку с пистолетом и стала выкручивать. Та, сама испугавшись такой прыти малолетки, пыхтела, не уступая, и в какой-то момент жуткого армреслинга пистолет нечаянно выстрелил...

Маша отпустила соперницу, посмотрела на неё иным лицом, совсем детским, изумленно и жалостно. Из уголка губ побежала темная венозная кровь. Маша оказалась простреленной, причем безнадежно, в самом сплетении жизненно важных органов. Пистолет, теперь уже никому не нужный, упал на ламинат. Маша медленно оседала, пытаясь рукой удержаться за стулья возле приставного стола директора (они все попадали), — но глаза уже были стеклянные, мёртвые...

Илона — блондинка — побелела лицом так, что её светлые волосы каза-

лись темно-желтыми на его фоне. Она отшатнулась, в каком-то полуприседе отскочила к стене, прижалась там, словно хотела влезть между кирпичей кладки, и затихла, истерически всхлипывая. Говорить она не могла — да и нечего было говорить. Маша лежала мертвая, и это было очевидно даже без проверки пульса. Но Сечень все же подошел, проверил пульс, а потом в досаде на двух дур кулаком разнес столешницу приставного столика.

— Ну чё? Доигрались?!

Илона молчала. А Маша умолкла навсегда.

На крики и звук выстрела прибежал кое-кто из персонала «Дома Ржи».

— Давайте, — абсолютно спокойно сказал землисто-бледный Егор, — зовните. Вызывайте кого следует. Чего теперь уж делать — не в ковре же труп выносить... Дуры чертовы...

Но сделанного не воротишь...

Следователь следственного отдела Красноновьянского района города Кувы возглавил группу. На убийство, совершенное коллегой, выехали быстро. Медэксперт ходил вокруг Маши и фиксировал телесные повреждения на трупе.

Эксперт-криминалист вел фотографирование, следователь изымал следы, достал машинку для дактилоскопирования всех участников нелепой драмы.

Чуть позже приехал и зам. руководителя следственного отдела прокуратуры, чтобы мешаться и путаться у всех под ногами с ненужными советами, топтались в «Доме Ржи» и оперативники уголовного розыска, точного количества которых Сечень в шоке так и не запомнил.

— Ну и дела... — развел руками следователь, Марат Валиевич, как он просил его называть. — Что же это такое... А? Товарищ капитан, как вы тут, каким боком?

Илона молчала, стучала зубами о стакан с зеленоватой водой из графина, и вообще производила впечатление невменяемой.

Сечень достал из сейфа его единственное достояние — початую бутылку ржаной водки, два граненых стакана, налил себе и следователю.

Марат Валиевич вежливо извинился — мол, не могу, при исполнении.

— Это понятно. Тогда другое дело.

Сечень из шкафов образцов продукции достал ржаную настойку на спирту, и предложил, как альтернативу:

— Это не бухло, лекарство... Народная медицина... Минздрав рекомендует...

С Минздравом следователь спорить не стал и выпил. Приложились и медэксперт, и криминалист, а милицейским операм не дали, выгнали их в коридор, потому что они и так «весь воздух выдышали».

— Как дело-то было? — участливо спросил у Егора Марат Валиевич.

— Значится, так... — Сечень налил себе стакан, хлопнул его одним махом, налил второй, но отставил. — Я был в центре событий. Тебе, майор, как надо, по правде или по совести?

Марат Валиевич удивился. Подумав, предложил сперва рассказать по правде, «а там видно будет».

— Ну, коротко говоря, две дуры. Сцепились. Эта хотела ту рукояткой пистолета, как томагавком, по голове тюкнуть. Та не дала, стала руку выкручивать... Боролись вот тут, посредине...

— А вы что делали в это время?

— Вскочил разнять, но не успел, пока орал на них, чтобы унялись, — уже

все и вышло. Они же друг у друга пистолет дергали — видно, и предохранитель стянули, и курок надавили... Этот, то есть, спусковой крючок... — поправился Сечень, вспомнив, что курком называется совсем другая часть старых, кремневых ружей.

— А вы?

— А я хотел... Не успел...

— Понятно. Так все было?

Следователь пристально взглянул в безумные глаза Илоны. Она застучала зубами, прикусывая язычок:

— Т-т-т-так...

— Чего делили-то? — грустно улыбнулся Марат Валиевич.

— Е-его...

— Вы, Егор Артурович, оказывается, популярны у дам...

— Остаточное. Я раньше красивым был и молодым, а теперь, соответственно...

— Понимаю, понимаю. А что, Егор Артурович, в вашем понимании «по совести»? — вспомнил майор про второй заявленный вариант.

— А то... — снова удивил всех Сечень. — Оформляй, майор, жмура на меня. Только чисто, чтобы в суде не придрались к деталям. Ильку судить не за что — нечаянно она, сам видел, не имела то есть преступных намерений... Машка цепкая была, зараза, как репей, руки сильные — оттого и предохранитель полз, когда они этим перетягиванием каната занимались...

Сечень выпил свой второй стакан. Все вокруг подавленно молчали. Илона в каком-то психопатическом обожании уставилась на Егора.

— Ну как же так? — расстроился майор. — Что вы такое говорите, господин Сечень? Как я могу на вас труп оформить, если вы не убивали? За дачу ложных показаний знаете что положено?

— Знаю. Потому и рассказал тебе сперва все, как было, майор. Где белыми нитками выйдет — подмажь тушью. Денег маленько есть у меня — где нужно будет, скажи. Я же открыто, по-честному, как и должно быть...

— Я тогда не понимаю, чего вы от следствия хотите?

— Чего тут понимать, тоже мне, теорема Бернулли... Баба — она человек всегда глупый, её пожалеть нужно... Она сперва дел наделает, потом думает... Ну куда её в тюрьму, она же там помрет... Там эти, зечки, они же ментов не любят сильно, начнут бесчеловечные опыты...

— Так кто все же стрелял? — совсем растерялся Марат Валиевич.

— Я-я... — торопливо выдавила Илона, встав в ответ на путь благородства.

— Ну оформляй-то на меня... — снова попросил Сечень. На это торжище сбежались не только криминалист и медэскперт, но и полиция из коридора в дверной проем головы позасовывали. Их уже никто не выгонял — не до того было...

— Так и написать — «она в тюрьме помрет»? — с издевкой, скрывавшей растерянность, спросил следователь.

— Ну, тебе виднее, гражданин начальник, как надо тебе, так и пиши, чтобы гладко вышло.

— А вы, значит, в тюрьме не помрете?

— Я-то... — Сечень задумался, покачал головой, как будто отрицая, но подтвердил: — И я помру. Но меня чё-то не жалко...

— А её жалко?

— А кто её ищщо, кроме меня, пожалеет? Начальство, думаешь?

— А вот как быть с таким оборотом, — колебался Марат Валиевич, за всю

свою практику ещё не встречавший эдаких нелепых ситуаций, — она, если доказана будет картина дела, пойдет по статье убийство по неосторожности, получит год и отсидит на «красной зоне», где бывшие сотрудники чалятся... А вы, Егор Артурович, при вашей стрельбе из её табельного пистолета, пойдете уже по статье умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, это совсем другая мера возмездия...

— Вышка? — с надеждой поинтересовался Сечень.

— Нет счас вышки! — рассердился следователь этому абсурду. — Пятнадцать лет, и в черной зоне, не для сотрудников МВД, а с закоренелыми отбросами общества...

— Пятнадцать лет я не протяну с отбросами... — понимающе покивал Сечень. — Здоровье, товарищ майор, уже не то, понимаете?

— Да я-то понимаю, а вот вы...

— Ну, сколько уж отсижу, все мои, а там дальше по случаю смерти мне скидка выйдет... — загибал пальцы Егор с крестьянской расчетливостью. — А бабу жалко, майор, ты пойми, ей ещё рожать надо... А мне чо? Мне что на ферме в навозе чалиться, что здесь по подсобкам, что на зоне, какая уж разница? Ты войди в положение, меня оформи, её отпусти, только уж чтобы все гладко сшито было... Ты мужик опытный, сразу видать, лучше меня фабулу напишешь, а я подпишу...

Марат Валиевич утер пот со лба, сам притянул к себе лекарство на спирту и вымахнул с таких дел ажник полстакана.

— Я за содействие следствию, вам Егор Артурович, благодарен... Но не до такой же степени... Вы меня на служебное преступление не толкайте...

В этот момент Илона Дрожина вышла из ступора, как-то затряслась, завyla по-волчьи и вдруг стремительно бросилась на пол, обняла ноги Сеченя и стала целовать ему колени:

— Егорушка... Любимый мой... Егорушка...

Сечень смущенно отпихивал свихнувшуюся сожительницу, глупо извиняющимся лицом улыбался, бормотал:

— Вот, можете видеть, дура какая... Тебя, дуру, законопатят счас на три года, ты помрёшь там, а все мужики одни на уме...

Медэксперт и криминалист, проникаясь сочувствием, взяли Илону под руки и отвели в сторону. Там она продолжала плакать и бормотать нечто бессвязное:

— Я стреляла, я... Не виноват он, товарищ майор... Он же сейчас себя оговаривает, зачем? Зачем?

— Волос долгий, ум короткий! — вспомнил Сечень мужицкую присказку и, отмахнувшись от Илоны, дружески закивал следователю: — Давай, давай, майор, сделай доброе дело, бабу пожалеть нужно, а мне все равно, где помирать, видно срок уж пришел, сколько веревочке не виться...

— Скажите, чисто теоретически, — влез интеллигентный медэксперт, необычайно живо переживающий эту коллизию, — а если бы убила не эта, а та, вы бы тоже...

— Счас что уж об этом говорить? — развел руками с земляной мудростью Сечень. — Какая убила, такая и убила, на все воля Божья, а которые живы, тем жить нужно...

Сколько не умничал Сечень, но с приездом замуководителя следственного отдела прокуратуры положение его стало безнадежным. Сухарь и чванливый карьерист, замуководителя тут же свернул дискуссию и приказал оформлять все как есть, а не по планам Егора. Илону увезли в наручниках,

хотя в этом вряд ли был смысл, но зам настоял: он думал, что из этого дела можно кое-что выжать по служебной лестнице.

Так в жизни Егора Сеченя самоликвидировались женщины, которые в ней сперва самозародились. По идее, облегчение пришло не тем путем, на который Егор рассчитывал, — но в любом случае, хоть и через лужу крови, он остался один. Если это можно считать облегчением...

Сечень гонял Ровянова по справочным бюро и паспортным столам, и даже нашел в итоге мать Маши Ясеновой до похорон бедной девчонки. Выяснилось, что мать родила Машу по молодости, от шальной школьной любви, отчего Маша и получилась красивой, но совершенно житейски бесперспективной. Папаша Ясеновой тут же сбежал в неизвестном направлении, и говорят, уже умер от цирроза печени далеко на нефтегазовых северах. Мать, старшеклассница, сбросила дочку на руки бабушке, и тоже сбежала.

Много лет мать и дочь не виделись, и ничего не знали друг о друге. Пропитая и прокуренная шалава, мать Маши сказала Ровянову, что на похороны приедет, если поминки будут. Словом, почти открыто призналась, что приедет пожрать и выпить на халяву.

А бабушка Маши была хорошим человеком, бывшей заведующий лабораторией на химическом факультете КГУ, и она бы приехала на похороны без всякой закуски с выпивкой, но приехать она не могла, поскольку лежала прикованная к кровати, умирая от рака в Кувинской краевой больнице. Ровянов не стал рассказывать бабушке, что Маша погибла и как Маша погибла. Чего доброго, бабулька ещё бы окрысилась на Егора Артуровича, а Ровянов был ему по-собачьи предан, и как мог — оберегал, рычал и лаял на привязи автомобильного «ремня безопасности». Игорёк подарил бабушке фотографию Маши с Егором, под пальмами, Маша с радостной улыбкой обнимала Егора, и вообще была полна всяческого довольства.

— Они любят друг друга и уехали в Куала-Лумпур! — наврал Ровянов. — Вы теперь Машу долго не увидите, там связь плохая...

Бабушка, которой жить оставалось пару недель, заплакала. От счастья.

## 22.

Трагедия в «Доме Ржи» была подробно описана злобным блоггером Пепперсоном, но в целом кувинские СМИ её проигнорировали. Таких историй было — пруд пруди, их размещали колонкой петитом в разделе криминальной хроники на последних страницах. Однако для сотрудников «Дома» событие стало очищающим — они подтянулись, собрались, стали строже к себе и к работе. Ещё больше поседевший и одрябший Сечень вдруг бросил пить — хотя в это никто не верил. Злые языки говорили, что упырь уморил двух баб, и теперь доволен, больше не нуждается в антидепрессантах. Но вряд ли они были справедливы: конечно, общество двух непонятно как поселившихся возле него женщин угнетало Егора, но смерти он никому, кроме себя, не желал.

Пить он бросил, побрился, подстригся, купил себе кремовый костюм, атласную сорочку с жемчужными пуговками, канареечного цвета «Хонду» — будто бы жених на выданье. Переживает человек — кивали сердобольные, которых, впрочем, к 2013 году в Куве осталось очень мало. Эпоха высосала из людей пылесосом не только деньги из карманов, но и все лучшие чувства. В душной атмосфере зависти, хищности, цинизма Сеченю не с кем было поделиться мыслями, и он не делился. Что на самом деле он думал, иссиня-

бритый, в кремовом костюме тонкой шерсти с присадкой шелковой искры, застегивая по утрам жемчужинки в петельки, — никто так и не узнал.

Нежданно, словно гром среди ясного неба, — у «Дома Ржи» с мотивировкой «за многочисленные нарушения» (в частности, продажу водки под видом лечебной настойки) отобрали лицензию на спиртное. И Махачин не стал препятствовать, памятуя, что «лучшая уха — из петуха», а явившемуся с соплями Сеченю предложил место своего депутатского помощника.

— Засиделся ты там над пропастью во ржи, Егор, — бубнил Евгений Антонович, отводя вороватые глаза. — Надо менять образ жизни, да и некрасиво это, когда партийный проект, патриотизм и все такое — и на водке стоит, на пьянке... У тебя же есть там ассортимент, квас, сухарики ржаные, рассолы зерновые, лечебные отруби...

Вернувшись от Махачина, не глядя на сотрудников, ходивших тихо и по стеночкам, как в склепе, Егор достал обмундирование коучера: кепку с рекламой ржи, майку с рекламой ржи, кухонный передник для домохозяев с рекламой ржи... Разложил их перед собой, и почему-то вдруг стал рвано, по-мужски, плакать. Это был даже не плач, а какой-то чахоточный кашель вперемишку с поперхнувшимся рыганием, но при всем безобразии проявления он был искренним.

Короче, балагурить на тему ржи перед рестораторами и гастрономами Егор не смог. Пригласил студентку с факультета менеджмента коммерческой академии, она провела презентацию из рук вон плохо, без всякого огонька, и, как на грех, — перед московской партийной делегацией, изучающей опыт проектирования патриотической гастрономии.

Студентка красила волосы в синий цвет, у неё были стильные синие брови и ресницы, и гетры в полоску, как у Пеппи-длинного чулка. Она предложила Егору переспать с ней для укрепления корпоративного духа, но Егор отбросил предрассудки студента КГУ последнего советского призыва. Он вдруг понял — над гробом Маши, — что он давно не студент, а старый потасканный кобель, в репьях и лишаях жизни. Он переадресовал бойкую деваху Игорю Ровянову, которого, словно булгаковский гетман, ввел перед катастрофой в свой кабинет.

— Пора тебе Игорь, расти! Принимай тут все дела! «Дом Ржи» — перспективнейшее начинание, ты с него в министры выйти можешь...

Ровянов очень старался, но в первый же месяц вышел не в министры, а в «минуса»: с уходом алкашей, толпившихся на отпуском заднем дворе ржаной секты, получаемая прибыль неизбежно сошла на нет, а разные расходы — стали неподъемной гирей. К тому же, воспользовавшись неопытностью вчерашнего скромного водителя, девушка с синими волосами стала им крутить, и всю выручку с презентаций забирала себе...

Учитывая сокращение прихода, канареечная «Хонда» и кремовый костюм стали последними «европейскими» приобретениями заслуженного «ватника» кувинского отделения правящей партии Егора Сеченя. Сельская пронырливая лизоблюдская скаредность быстро вернулась к нему, словно никуда и не уходила.

Быстро росло кладбище при Заборовской женской обители, и к пахучим травам его тишины все чаще приезжал помолчать Сечень. У могилки Лианы с дочкой — расчистив бурьяны — долго уговаривал Бога, что дочка Лианина не от него, Егора, как будто Бог об этом не знал.

У могилки Маши разговаривал на более абстрактные темы, чувствуя отцовский стыд и снова доказывая Богу, что не отец он Маше, и не было меж



ними кровосмешения. Хотя, дело ясное, негоже, конечно, проникать в интимные места девушки вдвое моложе тебя, если ты не гинеколог, и он, Егор, очень хорошо это понимает, Господи.

Почему-то лез на память под стрекот кузнечиков в горчично-желтом травном одеянии никчемный разговор на сверкающей полировкой и хромом городской кухне Егора:

— А ты знаешь, что такое чахохбили?

— Нет... — отвечала Маша в футболке на голое тело, устанавливая температуру в мини-баре, как настоящая хозяйка здешнего жилья.

— Это такая курица с вином... Грузинское блюдо, которое очень любили в совдепе. Я помню, в нашем дворе по пятницам каждая кухня пахла чахохбили... Не помнишь? Может, у вас с бабушкой оно просто называлось по-другому, и ты его готовить умеешь?

— Не умею.

— А хочешь, научу?

— А зачем?

Ни к чему было вспоминать это всеми забытое чахохбили на кладбище, тем более что весь разговор пах каким-то упреком и непрощеной «из вредности» старой обидой. Но он упорно лез из памяти — наверное, потому, что Егор подсознательно пытался занять позицию папочки — заботливого, учащего, рассказывающего, советующего, а Маше этого совсем не нужно было. Маша воспринимала его как сверстника, и это, если подумать, большой, но не радостный комплимент...

...А Илону на радость малолетней шпане Сиплодоново увезли по этапу куда-то в Сыктывкар, потому что женской красной зоны ближе не нашлось, и её место зияло в райотделе полиции вакантной дырой.

— То, что женщины от природы глупы, — делал своеобразный вывод Сечень, — не их вина, а их беда...

Ближе к августу он был оформлен помощником депутата Заксобрания и приглашен к столу в банкетом зале для депутатов заботливым Махачиным.

За чашкой прекрасного кофе с морковными буккенами Махачин вывел (сам того не ведая) «единственного друга» Егора на финишную прямую в его бессмысленной и беспощадной жизни.

— Твое дело — благотворительность! — подбадривал он Сеченя, с удовольствием бескорыстного благодетеля глядя на гладкий подбородок и кремовый костюм с шелковой искрой, подмигивающей из сукна тончайшей выделки. — Депутат должен быть прославлен добрыми делами, а то больше не изберут...

«Как хорошо, — в то же самое время думал Махачин, — не успели мы у него эту ржаную водку отобрать — сразу стал на человека похож! Умны эти евреи, чего и говорить, прав оказался Привин!».

— Часовню на кладбище Заборовской обители поставить... — мечтательно и скромно, как только что вышедший из запоя и оттого скромный алкаш, предложил Сечень.

— Часовню? Хм! — Махачин достал из своего кейса какой-то справочник, сверился с количеством православных в своем избирательном округе, убедился, что их больше, чем мусульман, и много больше всех других конфессий. И закивал улыбочиво: — Да вот хотя бы часовню! Очень хорошо! Мы с неё буклет сделаем «Вы верите Махачину, Махачин верит в Бога!». Как ты считаешь?

Разговор окончился подарком свежеиспеченному партийному функци-

онеру большого круглого значка на лацкан — с улыбающимся медведем, логотипом правящей партии, и размашистой надписью «Спешите делать добрые дела» по окружности. Махачин посмотрел на свои оглушительно-дорогие часы и заторопился на пленарное заседание фракции.

Сечень остался за столом один, с чашкой великолепного, пропитанного Бразилией кофе и недоеденным морковным буккеном. Он обдумывал, с чего начать строительство небольшой часовни возле кладбища...

23.

«На беду мы с ней встретились! — думал потом Сечень не раз. — Ох, на беду!».

Галя, или, официальнее говоря — «сестра Галина» — монахиня заборовской обители, заведовавшая приютом бедноты на бывшей сиплодоновской льняной фабрике, пришла в его жизнь случайно, вечером, по дороге.

Сечень ехал куда-то, глядь — на обочине шествует монахиня в полном облачении. Остановился, предложил подвести — дорога, мол, здесь плохая, мать, я эти места знаю, обидят, не по сану вам одной тут разгуливать... Давайте подвезу куда нужно...

— А вы крещеный? — спросила Галя.

Сечень достал нательный крестик из-под своего фермерского бушлата, предъявил.

— Ну, коли крещеный, если обидите — душу погубите...

И села к нему в «Ниву».

Она, конечно, была красива, спору нет. Но мало ли на свете красивых? Не в этом дело. Слишком пусто жил последнее десятилетие Сечень, слишком громкое эхо откликалось в душе от этой пустоты. Собственно, он ведь и не жил, а умирал, только очень долго, от книжки к книжке, как сам для себя постановил. Ничего уже быть не может — решил для себя, и точка. А чего может быть, ежели желаете оспорить? Приплыли, приехали, коротай свой век, да и на боковую...

Не было у Сеченя радости ни от его плутовства, ни от его благотворительности. И то, и другое шли натужно, от ума, а не от сердца. А тут глянул на Галю — и решил: вот оно, случилось, новое...

Слова он ей не сказал, довез до приюта, отогнал бомжей, постоянно в этом месте побиравшихся, пригрозив им:

— Счас горе узнаете! — Как будто бы бомжи до него горя не видели. Нашел, чем удивить... Но сам удивился, потому что потерял покой (да и не было у него покоя — мертвечина была), и стал наезжать в приют.

Сестра его ждала. То ли оттого, что глянулся он ей тоже, то ли просто потому, что больше ей помочь было некому. Здесь — за мощной стальной дверью, чтобы ночью не вломились алкаши и бомжи, — жили три девушки из обители, и готовили они примерно к часу дня обед человек на 60 местных доходяг. В основном суп, но когда повезет — ещё и второе с компотом.

Доходяги пожрать очень любили. Но платить не хотели, да и не могли, и сестры-заборовчанки искали продукты у добрых людей. А добрых людей мало осталось на свете.

Так и вышло у Сеченя словно само собой:

— Сестра Галина, дозвоьте помощь оказать Христа ради... Вот, примите 700 рублей на окормление бедствующих...

— Храни тебя Господь! — сказала она, и потупила взор, большие зеленые

маниящие глаза. Вся в черном, только лицо из-под плата видно, но то не лицо, а лик иконописный!

«Сволочь ты, Егор! — корил он себя. — Ничего, не запачкав, от себя не отпустишь... Сколько женщин вокруг, а тебе монахиню нужно... Ну не гад ли ты? Дать бы тебе по шее, да некому...».

А совесть отвечала — как можно? Не лезу, не пристаю, непристойных предложений не делаю. Ну, кормят они бомжоту эту, я им на супчик даю, дело богоугодное, чего не так? А как о женщине, я о ней вовсе и не думаю! Монахиня — и слава Богу, я же просто меценат обители, помогаю ей по хозяйству, за такое и в царствии Небесном скидка выйти должна...

Если на уже забытом в компьютерный век старом, черненковском листе ватмана нарисовать две кривые, одна из которых идет вверх, а другая ниспадает вниз, образуя неровную крестовину, — рисунок даст представление о доходах и расходах Сеченя в душном и тоскливом 2013 году. Махачин не мог нарадоваться на покладистого помощника, превратно думая, что Егор старается ради босса. Планчик был примерно такой: деньги с хозяйства Сеченя, а слава благодетеля — Махачину. Но Евгений Антонович даже представить себе не мог, с каким фанатизмом бросится Егор в эту работу!

Вместо разовых показушных «трехрублевых» акций — Сечень, словно ему «башню снесло», стал вдруг строить церковные здания, кормить толпы бомжей супом и кашами, закупать пачки учебников для православных воскресных школ, заливать бензином цистерну в приюте для наркозависимых. Он в считанные недели выстроил деревенский дом, в котором засел после отделочных работ центр помощи женщине в трудной ситуации — монахи уговаривали бедных беременных не делать абортов.

Не раз и не два Махачин добродушно уговаривал Егора иметь чувство меры, и «вообще фотографиями мы в этом месяце уже обеспечены». Но Сечень (как думал Евгений Антонович — из бесконечной преданности ему, Махачину) — вновь и вновь бросался на помощь тем, кто приходил к монахиням с бедой...

«Себя не бережет парень! — одобрительно, но с возрастающей тревогой думал депутат. — Все свои деньги перегнал в мой имидж...».

Махачин и подумать не мог (а если бы ему рассказали — не поверил), что вовсе не ради его имиджа и буклетных фотографий на три месяца вперед упирается в упряжи Егор, а ради никому не известной, молодой и миловидной монахини Галины, разливавшей бесплатный суп всем прибредавшим к монастырским кованым воротам осколкам империи.

«Сечень — первейший охальник и паскудник в наших краях, — сказал бы Евгений Антонович, случись у него с кем такой разговор. — Ради бабы он не то, что «хонду» не отдаст — бутылку портвейна не купит! Я же знаю! Нет, быть такого не может, какая-то монахиня и наш Егор... Чтобы «хонду» за встречу с бабой отдать — никогда... Они, бабы-то, к нашему Егорушке сами липнут, он не знает, как от них отбиться... Да и потом — даже если припекло мужика, чего не бывает в этом проклятом половом вопросе, — все равно все должно решаться быстро! Какой же охальник будет за девкой ходить больше полугода, с такими тратами, и без всякого результата, даже толком не поговорив — о том, что ему потребно...».

В этих рассуждениях (которых, впрочем, не было) выдавшего жизнь и хорошо знавшего постсоветских людей Махачина — крылось бы много правды, много верных наблюдений в области психологии. Однако жизнь всегда сложнее правил.

Нельзя отрицать, что Сечень оказался в жизни (почти без всякой вины со своей стороны) охальником и козлоногим сатиром. Однако вслед за паскудностью жизни к нему прокралось и отвращение к её паскудности. Его вытошнило блудом, как курильщика, скудившего пачку разом, рвёт с табака зеленым гноем навыворот. Внутри Сеченя, умельца и хвата, лишь чуток не дотянувшего до уровня Куршавелей, всегда сидел маленький мальчик, напуганный в 1985 году серым туманом на камне Аллабата.

Этот мальчик рос искаженно, словно бы внутри бочки (а бочкой стало элементарное выживание в бойне 90-х годов), он рос уродливо, криво, но он рос. Он ненавидел все, что наступило после 1985 года, когда, как он был уверен — краски стали тусклыми, а цвета — стертыми. Он постоянно был готов показывать фотографии с этими красками и цветами, которых никто не спрашивал, и потому он никому их не показывал, но всегда готовился показать, держал и в городской квартире, и в деревенском доме фермера.

Внезапное, нелепейшее, но бетонно-монолитное чувство к молодой монашке стало завершением роста напуганного мальчика, и вобрало в себя десятилетия невысказанного и неосознанного, истертого в труху внутри отчаянно бившегося с бесплотной саранчой-мыслежоркой мозга.

Одержимая, преступная, плотская любовь к сестре Галине — была, возможно, вывернутая наизнанку varejka Егоровой суицидальности. Того его острого желания расправиться с ненавистным миром через себя. Жажде самоубийства или выхода под пулю, под нож свойственно было расти в нем, как ни странно, не вместе с неудачами, а вместе с жизненными успехами.

Но и тут есть объяснение, и довольно простое. Пока Егор бился рыбой об лед, продавая магазинный творог под видом домашнего и чужую говядину под видом своей с капота машины-развалюхи, ему просто некогда было возвращаться к проклятым вопросам о смыслах. По мере того, как у Сеченя появлялись деньги, возможности, связи и досуг, по мере того, как неотступная нищенка-смерть образца пореформенных 90-х годов отступала от него, — думы о смыслах проникали из подсознания в сознание, разворачивались там, словно пружины из колючей проволоки, терзали серое вещество головного мозга и головными болями давили на глаза.

Все это кипучее и переварившееся по нескольку раз в черепной кастрюле, не находившее себе выхода — однажды должно было взорваться эмоциональным фейерверком, искристым фонтаном безумных чувств. Оно и взорвалось.

Получилось очень скверно — как если бы во время детского утренника, в самый пик общения с ростовыми куклами, — за портьерой взорвалась бы емкость с вонючей брагой...

Ну, в самом деле, как это выглядит. С одной стороны юная девственница, в черных одеждах, из-под монашеского плата выглядывает только овал лица, решила посвятить себя Богу и постриглась в монахини. С другой — ошпаренный с обоих боков кобель, который и сам понимает, что без всяких гипофизов переродился из человека в собаку, который ловок в поиске блох и пропитания на помойке, но робок при всяком блике чистоты, не заглядывавшей в его жизнь на пустыре...

Поскольку возможная жизнь стала для Сеченя отвратительной и невыносимой — он перенес на невозможное свою мечту об иной жизни. Получилось, чтобы Сеченя привлекла ситуация, она должна принадлежать к ряду того, «чего не может быть».

Возник пат. С одной стороны, Сечень прилип к монахине, как банный

лист или что похуже. С другой — он не мог ей ничего сказать о своих чувствах, понимая, что в таком случае паскудство его жизни выйдет на высший уровень и побьёт прежние немалые рекорды. А главное — ничего, кроме паскудства, в жизни опять не останется.

Из бывшего развратника вылутился мальчик 197\*-какого-то года рождения, навряд ли во всей полноте представляющий себе половой контакт и пребывающий в сугубо-платонических мечтах, лишь изредка отягощаемых смутным зовом плоти, до конца ещё непонятной мальчику.

Сечень просто-напросто вернулся в 1985 год, отбросив все, что было после, потому что не хотел вспоминать; не хотел — да и забыл ненароком, вдруг выйдя из мутных вод пореформенной канализации на тот самый берег, с которого некогда отплывал...

Плохо и сам понимая эти психологические хитросплетения, Егорушка оказался в ситуации, когда видеть монахиню просто так нельзя, некрасиво, а видеть её, если принес жертвоприношение, — всегда пожалуйста, потому что у неё работа такая, жертвоприношения принимать, она на такое игуменьей благословлена...

Если бы Сечень угораздило влюбиться в парикмахершу таким странным образом — он ходил бы стричься каждый день. Но стрижка куда дешевле даров на бедность, тем более Сечень старался поразить воображение монашки, притянуть её к себе открытой и баснословной щедростью, ибо больше нечем было подманывать.

Итог был много хуже алкоголизма, по крайней мере, затратнее. Довольный халявой шеф, Махачин, — слишком слабое утешение за ситуацию, в которой мигом было спущено все, вырванное из клыков собачьей пореформенной жизни за многие годы упорной грызни...

«Странно как-то получается! — думал Сечень. — Для бомжей в приюте я привожу настоящие овощи... А для придирчивых покупателей замачиваю овощи в холодной воде, с антибиотиками, чтобы весили больше и хранились дольше... Как все вывернулось и перевернулось в нашем мире!».

## 24.

В последние два-три года Сечень заслужил репутацию очень везучего и умного человека, и потому у него был открыт солидный кредит среди деловых кругов Кувы. Те, кто одалживали крупные суммы Егору, — думали, что старый пёс провернется и вынырнет с прибылями, и не знали, конечно, что всё безнадежно изменилось, и что Сечень занимает для покрытия более ранних займов. Постепенно все имущество Егора оказалось заложенным и перезаложенным, а некоторое — пользуясь блестящей репутацией — он заложил разным, друг о друге не догадывавшимся займодавцам.

Как-то очень быстро, в считанные месяцы, у Сеченя не осталось ничего в плюсе — зато катастрофически нарастала минусовая часть общего баланса.

Лебединой песней стала афера с голштинскими коровами, которую, опираясь на куратора агропроектов краевого правительства Махачина, ещё сумел проверить теряющий все бразды Сечень.

Схема была неплохая. Край закупал особо дорогой молочный скот, причем сразу и для крупного агрохолдинга «Емелевский» и для мелких ферм простых фермеров. Эти черно-белые коровки голштинской породы должны были улучшить показатели Кувы по молоку, хотя бы в отчетности, и поднять пресловутое сельское хозяйство, никак не желавшее вставать, несмотря на все побудки.

С помощью Махачина удалось добиться, чтобы «голштинок» «Емелевский» совхоз покупал не напрямую, а по той же самой цене — но у Сеченя.

— А в чем смысл? — поинтересовался Махачин в личной беседе со своим записным мужиком.

Сечень рассказал анекдот про еврея, который покупает яйца по рублю, варит, и продает тоже по рублю. А на вопрос о смысле операции возмущенно восклицает: «А бульон?». Махачин от души посмеялся, и за смехом (а также более важными делами) забыл, что схему свою Сечень вовсе не раскрыл.

В теории схема была очень хороша. Сечень покупал голштинских коров у краевого правительства, как бы на развод. Далее продавал этих коров «емелям», как звали работников популярного в прожорливой Куве совхоза-гиганта. Между покупкой и продажей Сечень страховал коров на крупную сумму, а заодно покупал подешевке уже присмотренный заранее скотомогильник с останками крупного рогатого скота...

Такой вот бульон сварился в предприимчивой голове фермера: перепродав коров, отбить свои деньги, а страховую компанию заставить выплатить деньги за приключившийся мор с предъявлением останков животных...

В общем-то, схема была ничуть не хуже прежних сеченевских «бизнесов», и доказывала, что несмотря на безумную любовь к монахине и помешательство на моральной теме, мужик ещё способен крутить кульбиты на бизнес-поприще.

Но капризная фортуна уже отвернулась от азартного сиплодонского игрока в ватнике. Коровы, правда, были закуплены, и даже деньги на это нашлись (в Сеченя ещё верили), они были застрахованы по всем правилам сельхозстрахования. Они заступили в арендованные у пайщиков полуразвалившиеся хлевы бывшего Сиплодоновского колхоза «Клин Ильича», по бытовому ныне прозвищу «Бородка».

Все шло по плану, но бумажная волокита делала свое дело. Пока протянули неделю с оформлением покупки, пока на неделю затянули отправку, пока четыре дня бился Сечень за наилучшие условия в страховой компании, пока коровки прибыли, пока то да сё — незаметно вступила в свои права золотая осень.

Казалось бы, ну вступила себе и вступила, какое дело до этого Сеченю? Ни в договоре покупки, ни в договоре страхования про времена года ничего не сказано было, так что наплевать на всякие осени-зимы...

А тут «емели»-дураки стали зачем-то тянуть... Злого умысла на «кидок» у них не было, но видимо, где-то они обсчитались с выручкой или ждали крупной полочки с рынков. В общем, ещё неделя...

Сечень нервничал. Кредиторы давали ему последние отсрочки по раньше выданным деньгам, он собирался платить долги со страховой суммы, — а дело затягивалось.

Словом, коровки, племенная живность из самой Германии, томились в загонах бывшего «Клина Ильича», а не в хорошо оборудованных стойлах «Емелинского». А там в стенах дыры, и крышу наполовину снесло ветрами истории, и вместо полов гнилая щербина...

Будь дело летом, как рассчитывал Сечень, — все бы вышло, как по маслу. Но — все забыли про сезон, а однажды поутру вдруг выпал очень-очень ранний снег...

Сечень спал, выпив перебродившего яблочного сидра, когда застучала в ставню заполошная тетка Марья, та самая Марья Давыдовна, которая

работала у него ещё на Дне Ржи в Куве продавщицей шашлыка, да так и прицепилась к КФХ «Сечень», обедая его за свои услуги то с той, то с другой стороны.

— Чего тебе, тетка Марья? — высунулся опухший щетинистый Егор, в уже грязном и потасканном кремовом костюме из очень дорогой ткани. — Чего стряслось?

— Егор! Коровы! Коровы, Егор...

— Чего коровы?

— Кашляют оне, Егор! Прямо пидемия какая-то! Представляешь, ночью как шибануло, все лужи примерзли, а оне же Европа, не привычные...

— Спокойно! — первым делом сказал себе Сечень. — Голштинки застрахованы!

А вторым делом сказал себе: если они околеют — зачем тогда покупал их и страховал, чтобы по полям разойтись с судьбой?!

Мобилизовали весь возможный народ, Марат, уже имевший опыт кухонного рабочего на Дне Ржи, был за бригадира и очень гордился своей ролью, чувствовал себя полководцем, отдавая наполеоновские приказания. Хлевы бывшей «Бородки Ильича» попытались обогреть и утеплить, но чего там топить — улицу не протопишь!

День, другой хрустящие под ногами хрусталем лужи — и голштинки началидохнуть. А которые не дошли — смотрели тяжело, кровавыми глазами и надрывно чихали, кашляли — наши коровы так не умеют... Капризная европейская скотина слегла на уральской холодрыни, самые стойкие выжили — но «емели» их брать уже отказались, потому что кондиция не та...

В итоге у Егора оказалось под рукой два скотомогильника, причем оплачивался только один из двух. Даже по полям выйти не удалось — расходы и в этом случае превысили доходы.

Раздав самых живучих коров по дворам соседей, как бы в аренду, Егор собрал кое-какие секретные сбережения, положил в карман уже не шикарного кремового пиджака паспорт, и исчез.

Кредиторы звонили к нему домой, на мобильный тоже звонили, но он уже трубку брать отказывался. Дело с голштинскими коровами, такое простое в теории, вывернулось совсем худым боком. Время, потраченное на племенной скот, казалось Егору роковым — слишком долго возился, мог бы что-то другое предпринять, а тут — уже платежи, платежи, одни платежи перекрывают другие платежи, того и гляди привлекут в суд.

Тих и пуст был кувинский железнодорожный вокзал в полночь, когда Егор Сечень взял в кассе билет в боковое купе, где всего две полки. Приглушенные ночью, кричали маневровые локомотивы, ходили женщины в униформе РЖД, тускло горели технические лампы.

Сечень ехал в Москву, и перед отправкой высунул голову из окна, вдыхал запах мазута и холода, смотрел на бесконечные товарняки, зудящие металлом, когда их тревожили сортировщики.

Вторым в это маленькое боковое купе сел неожиданно старый знакомый Егора. Он был и сам по себе очень старым, и трудно понять, что несло его в такую ночь в такую даль. Университетский преподаватель Сеченя уже в студенческие годы Егора был в возрасте. Звали его Расфар Мухлисович Тохтагулов...

«Какой дурной знак!» — подумал Сечень, вяло здороваясь с подслеповато уставившимся на него стариком в подванивающей обтерханной одежде. Дело в том, что последний раз Расфара Мухлисовича Сечень видел не в КГУ, а

позже, через год после диплома, работая пару месяцев в редакции заводской многотиражки...

А там так было. Бывший доцент бывшей кафедры бывшего научного коммунизма Кувинского Госуниверситета Расфар Тохтагулов очень хотел покушать. Желание, однако, не совмещалось с финансовыми возможностями, которых, прямо скажем, не было.

Не было даже тут — в довольно скромной столовой полуразорившегося авиастроительного завода, на окраине Кувы, где ценники, вроде бы, не старались кусаться. Однако в положении Расфара Мухлисовича и беззубые десны ценников щипали до синяков...

Перемещаясь с обильно-царапаным, легкомысленно-розовым пластиковым подносом вдоль полок раздатки, Тохтагулов клал пищу не столько на поднос, сколько — ловким движением карманника — в свой красивый, с советских времен доставшийся преподавательский кейс-«дипломат». Приоткрывая, словно пасть крокодила, кожаную крышку шикарного чемоданчика, Тохтагулов ловко (как ему казалось) сталкивал внутрь, к уже никому не нужным бумагам, котлетки разных видов и пирожки с солидной начинкой. Расчет был прост: дойдя до кассы с дородной продавщицей в грязно-белом чепце, он оплатит только стакан компота и шанежку, а пирожки и котлетки пронесет с собой безвозмездно...

Но бывший доцент бывшей кафедры явно недооценил бдительность рабочих в своей рабочей столовой. Вопреки всем его радужным ожиданиям пронести котлетки неоплаченными в «дипломате», он был схвачен уже на раздатке могучими пролетарскими руками, не дойдя до кассы.

— Котлеты тыришь?! — возопил рабочий авиазавода с обвислыми усами и очень честными блеклыми глазами. — Ах ты, гад! Раскрывай чумадан!

Другой рабочий — в синей спецовке, с бородкой клинышком, схватил Тохтагулова за другую руку. Все было кончено для бывшего доцента бывшей кафедры, и он мысленно распрощался со свободой: если за что и сажали в ельцинской России, то только за *мелкие* кражи, и чем мельче была кража, тем солиднее могли впасть срок...

И в этот страшный миг, на грани жизни и смерти, Тохтагулова посетил ангел красноречия:

— Товарищи! — закричал он сгрудившимся рабочим, уцепившись за это слово, словно за амулет. — Товарищи! Да, я брал котлеты! Я кандидат философских наук! Я очень хочу есть! Вот, у меня с собой диплом, — он вырвал руку у вислоусого, и зачем-то достал из кармана свой потертый кандидатский диплом. — Вот, смотрите, я кандидат философских наук! Я преподавал научный коммунизм! А теперь мне нечего есть! Вспомните, как мы жили, товарищи! Вспомните полёт Гагарина! Полет Гагарина! А теперь ничего этого нет — я не могу купить себе котлету! Но я кандидат философских наук! Вот мой диплом! Смотрите все, это документ, чтоб вы знали! Я защищался в Москве, в столице нашей Родины! Я защитил кандидатскую диссертацию в стране, где состоялся полет Гагарина!

Трудно сказать, какую связь в воспаленном голодом и позором мозгу доцента имел полет Гагарина и его научные достижения по отношению к банальнейшей краже котлет с ленты раздатки. Но почему-то Тохтагулову казалось, что это самый верный символ спасения, и что беду может отвести только гагаринская улыбка.

— Вы помните страну, в которой мы жили?! — истерично кричал Тохтагулов. — Помните улыбку Гагарина?..



На рабочих авиастроительного завода эти заклинания, вопреки всякому здравому смыслу, произвели неожиданно умиротворяющее действие.

— Я — помню! — сказал рабочий с вислыми усами, и отпустил руку доцента. А рабочий с бородкой ничего не сказал, но другую руку тоже отпустил...

У кого-то из рабочих (они тоже отнюдь не жировали в эти проклятые 90-е) на глазах блеснули слезы. Кто-то в конце очереди предложил скинуться на котлетки «академику», с пролетарской наивностью не понимая разницы между академиком и кандидатом наук.

Вислоусый (он в этой карательной операции был за главного) — уже принял решение, но для порядка очень тщательно изучил диплом Тохтагулова. Потом признал, что диплом настоящий, хотя трудно поверить, что он много в своей жизни вертел в руках кандидатских дипломов. Впрочем — даже если он каждый день сверял документы кандидатов — странность все равно не оставляла поля боя: где и кем записано, что обладатель диплома кандидата наук имеет право воровать в рабочей столовой котлеты?!

Но это было записано в сердцах тех, кто, едва сводя концы с концами, все ещё помнил о гагаринской улыбке. И это позволило Тохтагулову выскользнуть под общее молчаливое одобрение, с котлетами, так и оставшимися в «дипломате», позорно бросив на транспортирной ленте свой поднос с компотом и шанежкой...

Сечень сидел в углу — замороженно и потрясенно глядя на того, кому когда-то трусил сдавать зачет, и понимал, как изменилась жизнь.

Теперь, в пору банкротства, видеть Тохтагулова спутником в Москву Сеченю было очень печально — как забыть ту шанежку с компотом?

Час шел за часом, поезд несся через Россию, через всю её сказочную неохватность, через пиршество огней в городах и редкие огоньки в полях да перелесках. Глядя, как ловко выкладывает Расфар Мухлисович курицу-гриль из фольги, Сечень подумал, что ничего с собой не взял, и сглотнул слюну. Словно бы в наказание за свидетельствование того давнего позора, Тохтагулов теперь будет кушать перед голодным Егором...

— Так все-таки кто вы, молодой человек? — поинтересовался старик, почти ничего уже не видевший, особенно в ночное время суток. — Я пытаюсь вас вспомнить, но никак не могу, простите... Вы мой студент?

— Безусловно, Расфар Мухлисович, я ваш студент, 1992 года, Егор Сечень...

— Ах, не помню, — всплеснул доцент высохшими пятнистыми старческим пигментом ладошками. — Так давно было! 1992 год! Это что же вам преподавал, уже ведь не научный коммунизм, наверное?

— Вы преподавали историю политических учений. Так это тогда называлось.

Честно сказать, Тохтагулов был преподавателем малограмотным, скучным и блеклым. Лекции читал, не отрываясь от бумажки, к тому же пересаливал с антикоммунизмом, слишком уж очевидно опасаясь своего прошлого в новое время. Это потом он Гагарина станет вспоминать, когда совсем припрет. А в 1992 году он ещё надеялся вписаться в новую идеологию и колебнуться с генеральной линией, ему не впервой было...

— Не помню, — как китайский болванчик кивал совершенно седой овчиной жестко курчавящихся волос Расфар Мухлисович.

«Это он специально, чтобы курицей со мной не делиться!» — рассердился внутренне Сечень. Хоть зубов у Тохтагулова сильно не хватало — ел он

очень аппетитно, и у Сеченя, совсем загнанного коровьей эпопеей, заныло, заурчало в пустом желудке.

— 1992 год! — рассуждал доцент. — Очень давно... Ну и как, молодой человек, помогли вам в жизни ваши знания?

— Как и вам, — дипломатично сказал Сечень, умолчав, что котлет пока ещё в столовках не воровал, а в остальном — так же сильно знания помогли, как и Расфару.

Сечень встал с купейной полки, повесил на крючок свой пиджак, пощупал перед зеркалом жемчужные пуговицы сорочки с дочерна засалившимся воротником: они, судя по цене рубашки, сами по себе порядочно стоят, хоть жемчуг и считается недорогим из драгоценных камней, однако...

Вспомнилось, про поговорку — «у кого щи жидковаты, у кого жемчуг мелковат». Ну, по крайней мере, решил Сечень, у меня пока жемчуг мелковат...

«Какого черта, нужно идти в вагон-ресторан!» — решил Егор, и тут вдруг Тохтагулов догадался пригласить его отведать курицы. Обстановка сразу как-то заметно потеплела, оно и к лучшему: столько ехать вдвоем, с глазу на глаз, не хотелось бы букой смотреть!

— А вы, юноша, с какой целью в столицу? Деловая командировка? — прищурился Тохтагулов, и все его лицо, как пересохший или выжатый лимон, сбежалось кислыми морщинками.

— Да, можно и так сказать. У меня свое дело. Я сам себя командировал — изыскивать финансовые резервы. Проблемы в бизнесе.

Зауважав за слова «дело» и «бизнес», Тохтагулов напряг остатки своей памяти, и вдруг хлопнул себя по лбу. Сечень думал, что он комара убил, но оказывается, Тохтагулова осенило:

— Вспомнил! Сечень! Конечно! Вы же выступали с докладом о ключе к пиктографии Хараппы и Мохенджо-Даро! Как я мог забыть?! Все старость, проклятая старость!

— А вы были на моем докладе? — забыв сразу про все, оживился Сечень. — Но это же было на совсем другой кафедре, на кафедре древнего мира...

— Но университет-то наш! — поправил Расфар с важным видом, снова входя в роль преподавателя. — Тогда ведь не так было, как сейчас, когда специалист по правой ноздре ничего не знает про левую ноздрю... Тогда, если интересный доклад — все шли, преподаватели, студенты... А у вас был необычайно, необычайно интересный доклад... А почему я вас забыл, юноша, — потому что вы теперь совсем иначе выглядите!

Да, Сечень выглядит иначе, чего уж и спорить. Тогда он был подтянутым, складным, гибким, тонконосым красавцем-аристократом. Пиджак с брюками в мелкую клетку, а жилетка атласная, черная, как сегодняшняя ночь, и непременно галстук. Тогда он ещё носил широкие ромбические галстуки, оставшиеся в изобилии от покойного отца, с огромными узлами... А рубашки были — как сейчас помнит Егор — с большими-пребольшими воротниками... Привлекательный шатен с тонкими музыкальными пальцами, прононсом в произношении слов и неистребимым снобизмом уточненного интеллектуала. И сегодня — в купеческой рубаше с аляпистыми жемчужными пуговицами, толстый, корявый, с заскорузлыми руками фермера, пегий от ключев седины, с ряхой, на которой отпечатались муки и попойки... Конечно, Тохтагулов не узнал! Ты и сам бы себя не узнал, если бы из 1992 года посмотрел на себя сегодня!

— Зрение у меня очень плохое стало, — пожаловался Тохтагулов, словно бы догадавшись о мыслях Сеченя (хотя угадать их весьма нетрудно в той

ситуации). — Это тоже накладывает, знаете... Я вот и поехал, дочка направила, по глазным делам, к московским окулистам... Катаракта, знаете, лучше малярии, но и только! — мелким дряблым смешком рассмеялся доцент.

— У нас в Куве тоже очень хорошие глазники, — зачем-то встрял Сечень. — Моя тетка, сама доктор медицинских наук, а глаза лечить к нам в Кувинский глазной центр ездила...

— Все так, все так... — суетливо закивал головой Расфар Мухлисович, и по его беспокойному ерзанию Егор понял, что совершил большую бестактность. Старик, конечно, опробовал уже кувинских окулистов, и они не помогли, и теперь он надеется... словом, это сродни надежде на чудо и хватанию утопающего за соломинку..

«Зачем я начал про глазной центр, про тетку? — укорил себя Сечень. — Кто за язык тянул? Ну едет себе старик и едет, зачем я к нему с советами пристаю, тем более в деле, в котором совершенно не разбираюсь?».

— А у вас, значит, дела торговые? — поспешил сменить тему Расфар Мухлисович.

— Они самые. Менее интересны, чем доклад о пиктографии, но куда деваться, выживать надо...

— Надо, ох надо... — вздохнул Тохтагулов так горько, что Егор понял: со времен воровства котлет в рабочей столовой дело выживания у Расфара продвинулось не очень сильно.

— А у вас был замечательный доклад! — со склеротической непоследовательностью вдруг метнулся в былое Тохтагулов. Причем, как и многие выживающие из ума престарелые лекторы, он события двадцатилетней давности явно помнил лучше, чем вчерашний свой день.

— Вот когда вы изображение рогов в керамическом своде трактовали как «боги», а не как обычно «скот», надпись сразу же наполнилась смыслом!

— Я дал только один из вариантов перевода! — смущенно потупился Сечень.

— Но остальные варианты совершенно бессмысленные! — погрозил зачем-то пальцем Тохтагулов. — А в вашем переводе я сразу почувствовал логику текста. Если при чтении знаков мы устойчиво получаем смысл — это верный знак расшифровки знаков!

— А что вы скажете о линейной «бэ»? — возбудился Сечень, словно перед ним танцевала обнаженная Маша Ясенева (а может, и сильнее). — Вот, я вам сейчас нарисую! — он уже вырывал из-под куриных объедков фольгу и что-то царапал ногтем на тончайшем металле, очевидно эту самую линейную «бэ».

Все неудобство и все двусмысленности разом были сняты. Натянутый и бестолковый разговор двух бесконечно далеких друг другу людей, запертых в тесное пространство бокового купе, кончился. Ему на смену пришел журчаще-рокошущий. Курицу доедали не глядя, по-братски. Восторг с обеих сторон зашкаливал.

— За это нужно выпить! — предложил вдруг словно бы помолодевший Тохтагулов.

— Как? — вскричал подающий надежды студент КГУ Сечень. — Прямотаки выпить? Коньяка? Шампанского?

— Можно, конечно, и коньяка, однако же в копеечку влетит... — замешкался Тохтагулов, явно не вошедший в дружбу с деньгами за минувшие годы.

— Об этом не беспокойтесь, Расфар Мухлисович, это даже не вопрос, не проблема, это мы сейчас...

Сечень метнулся к своему пиджаку, извлек из внутреннего кармана пока ещё весьма объемный «лопатник» с крупными купюрами и помчался в вагон-ресторан. Вместе с девушкой-официанткой явилось «обслуживание в номерах» — на узкий тяжелый откидной столик в купе выставили отличный армянский коньяк, вазу с виноградом, блюдо с сырно-корнишонным канапе на шпажках, мясную тарелку — колбасы, ветчины, зельц...

Зашипел в одноразовых пластиковых стаканах «Нарзан» на запивь, потек «Арагат» пять звезд в одноразовые прозрачные рюмашки...

Тохтагулов отлично тостовал, и вообще — был в своем блюдечке, как в старые добрые времена, когда преподаватель вуза приравнялся к полубогу.

...К утру старику стало плохо. Он явно на халяву перебрал и спиртного и закусок. «Стрела» прибыла на столичный Казанский вокзал, пассажиры, явно уставшие в этой консервной банке, поторопились выйти. Остались только Тохтагулов, Сечень да взволнованные проводницы.

Оказалось, что Расфара Мухлисовича на вокзале в Москве никто не ждал. Оказалось, этот ветхо-пергаментный старец думал сесть тут на автобус и проехать куда-то к черту на кулички, где его обещали разместить на койке в общежитии ЦНИБ...

— Хороша дочка! — ругался про себя Егор. — Да она же его просто сплывала от себя! Ишь ты, «глаза лечить»! Сразу мне не понравилось это — из Кувы глаза лечить ехать, все равно что из Тулы — самовары искать...

Несмотря на усталость, потный, похмельный, особенно несвежий в это утро Сечень помогал вызывать скорую и грузить старика. Хотел дать врачу и медсестре по 500 рублей, чтобы пожалели беднягу, пятисотрублевков не нашел в кармане, и в итоге выдал каждому по тысяче. Но что такое тысяча рублей для Москвы? Врач и медсестра только фыркнули и обещали «не бросать бедного».

— Расфар Мухлисович, вот пять тысяч одной бумажкой, вы держите при себе, только получше спрячьте, чтобы не выпало и не сперли...

— Спасибо, голубчик! — пожимал руку Егору доцент с каталки «скорой помощи». Из его выцветшего голубого глаза скатилась одинокая слеза. — А то у меня только на автобус было, а вдруг пересадка...

«Полно, — думал Сечень, — а есть ли это самое общежитие ЦНИБ, и койка в нем, и не миф ли вообще все это предприятие по излечению глаз?». Но доцента Тохтагулова, не лишнего любопытства проходимца прошлых идеологизированных лет, уже уносил бело-красный фургончик с равнобедренным крестом. Доцент исчез в смоге утренней Москвы, как будто никогда его и не было, как будто Сеченю вся эта ночная попойка с линейными «бэ» пиктографии доарийской Индии приснилась...

## 25.

...Непроглядно-темной была эта октябрьская ночь на старом, уже закрытом для новых похорон, академическом кладбище и непроглядно-темно было в душе Сеченя, сошедшего с электрички с лопатой, штык которой небрежно был закутан в мешковину.

Позади была совсем плохая тетка Аврора, едва узнавшая его, грязного, как бомж, после бегства и суток в душном закутке поезде. Позади была ночевка на скорую руку, на софе, не вмещавшей ног, под старым дядиным пледом...

Беспомощно шуршала листва под его ногами, когда по заранее разведан-

ной тропке шел он к мраморному изваянию своего великого дяди, доктора Михаила Сульпина. И насекомых перезвон отдавался в ушных перепонках, и шум ветра в раздеваемых осенью тополях...

Сечень остановился у гранитного памятника, на котором, безнадежно продавив могилу, из каменного параллелепипеда вырастал, обретая знакомые с детства черты, доктор Сульпин. Кладбищенский скульптор попытался изобразить доктора одухотворенным, но недостаток профессионализма породил истукана, похожего на вавилонских божеств, памятных Егору с университетских времен.

Егор заглянул в гранитные пустые глазницы того, кому давно завидовал:

— Ну, дядя, вот и я... Пришел тебя провести... Говорят, ты кое-что унес с собой от прошлой эпохи...

Как Дон Жуан стоял некогда у ног Каменного Гостя, так и Сечень стоял у отсутствующих (скрытых прямоугольником основания) ног доктора Сульпина. Две судьбы, две истории, две эпохи столкнулись в черном бархате этой ночи, в этом истошном кашле цикад на пряно-увядающих кладбищенских будылях.

Сечень взялся копать. Постепенно углубляясь в зев могилы, ночью, словно бы уже под землёй, он чувствовал, что сходит с ума. Казалось, что земля под заступом бесконечна, что до гроба никогда не добраться...

Но терпение и труд все перетрут: Сечень углубился в почву на рост человека, и лопата его стала царапать по сгнившим доскам некогда лакированного, некогда шикарного советского академического гроба.

В планы Егора не входило раскапывать всю могилу и поднимать весь этот ящик научного тщеславия. Крышка почти совсем сгнила — Сечень легко пробил её штыком заступа и хрустнул нечаянно сталью лопаты в пыльных иссохших костях родственника...

Руки навеки успокоившегося здесь доктора Сульпина были, как и много лет назад, скрещены на груди. Плоть почти истлела за годы реформ, вместо пальцев были только махрящиеся остаточным пергаментом кожи узловатые костяшки.

Сечень очень боялся быть обманутым. Но никто и не думал его обманывать. На левой руке доктора Сульпина, точнее, на том, что от неё осталось, было толстое, с виду обручальное кольцо. Натянув с некоторым опозданием респиратор, чтобы не вдохнуть трупных испарений (надо было раньше, но безумие ситуации помешало), Сечень руками в резиновых перчатках больницы санитарки потянул за широкий золотой обод. Палец развалился, весь труп, уже перекушенный ударом лопаты, стал распадаться. В перчатке, во вспотевшей под резиной до хлюпающей водянистости руке у Егора Сечень осталось кольцо. Не обручальное, как думало большинство, некогда прощавшееся с доктором Сульпиным, а роскошно-азиатское, с алмазом «Красный Восток», размером — не уступающим голуBINому яйцу.

Сечень был студентом, ростовщиком и фермером. По правде сказать, он был и студентом хреновым, и фермером хреновым. И ростовщиком — не лучше. Даже, наверное, хуже. Но если бы он был хорошим историком или хорошим крестьянином — это все равно не помогло бы ему в оценке бриллианта.

Сечень понимал только одно: по нынешним ценам дядин загробный подарок стоит никак не меньше миллиона рублей. Может быть, полтора, или два — камень очень редкий и крупный, именной, внесенный в каталоги юве-

лирной оценки. Но никак не меньше «ляма». Такая добыча — хорошая награда за всего одну ночь тяжелого и неприятного труда.

Пробив в стенке ямы земляные ступеньки, Сечень вылез из могильного колодца неправильной формы, который он не столько выкопал, сколько пробурил, точно рассчитав скрещение рук покойного.

Ему показалось, что гранитное изваяние дяди качнулось, надвинулось угрожающе на кладбищенского мародера. Но это было всего лишь неврозом: памятник дяди действительно покачнулся, но только лишь по причине деформации основания.

Торопливо отряхнув грязь с одежды, зачехлив свою лопату, Сечень побежал прочь с места преступления. Он даже не бежал, а скакал вприпрыжку, западая на одну ногу, как в детстве, на школьном дворе в Куве. Тогда казалось — ещё немного, ещё посильнее прыжок — и ты полетишь, сумеешь совсем оторваться от земли.

Отскакав по-детски подальше, и поняв, что не взлетит, Сечень остановил себя. Он стал прозревать, что сходит с ума. И что если вспоминать дальше школу, детскую энциклопедию с цветными картинками, «царь-гору» на высоком сугробе с беззаботными одноклассниками — он окажется в «дурке»...

— Ничего, ничего... — бормотал Сечень, сжимая в грязных руках пульсирующую болью голову, раскалывавшуюся словно гнилая тыква. — Все правильно. Зачем ему этот алмаз?! Зачем — ему-то, там в земле... Тут, на земле, этот алмаз поможет многим, очень многим... Он спасет не одну жизнь — потому что время такое, что жизни надо спасать... А там, в могиле... Он лежит там с 1988 года, и никакого толку... А тут на земле... А там под землёй...

Умом Сечень понимал, что осквернил могилу, и что это нехорошо, но это искупается заботой о живых людях, которым он теперь очень и очень поможет. Сердцем он чувствовал, что «положил душу за други своя» — по-евангельски, не жизнь, не живот — а именно *душу*, то есть совершил преступление, погубляющее душу, но «за други своя», не пожалел своей души ради помощи другим людям...

## 26.

Обратно он ехал в полувагоне — половину вагона занимали обычные купе, а другую половину — дорожное кафе. Оно давно не работало, но его пространство в угловатом стиле технодерна представляло узникам поезда место для прогулок.

Ночью, на каком-то техническом километре, когда весь поезд спал, — его попытались ограбить. В темноте было плохо видно лица — но намерения проступали хорошо. Сечень ударил перстнем в рожу ближайшему злоумышленнику, и рассек ему лоб — теперь уже своим алмазом.

Изначальное назначение перстней, для которого их придумали люди в древности, — быть кастетом. Все остальные смыслы и символы выросли уже потом. Сечень возблагодарил судьбу, что вез перстень покойного дяди самым естественным образом — на пальце. Камень, ценой не меньше миллиона, плюс золотая массивная оправа из старого качественного золота — сами понимаете, Егор очень боялся кражи. Обдумывал разные варианты: зашить в трусы, повесить на шею (а вдруг веревка оборвется?!), но остановился на дядином способе. Надел кольцо на палец, повернул камень в ладонь, и обнаружил себя женатым: по крайней мере, вид толстого старинного обручального кольца внутренняя дужка перстня обеспечивала идеально. В голо-

ву полезли всякие дурацкие мысли — вот, мол, обручился с дядей, а он мужик, родственник, и к тому же покойник, предел содома...

Но вагонные грабители всю дурь выбили прямым ударом в нос. Заливаясь кровью, какой-то легкомысленно-светлой, Сечень быстрым движением перевернул перстень на пальце и врезал в ответ со всей дури...

Враг был повержен. Не будем приукрашивать Егора — мол, с одного удара в лоб повалил бугая, дело было не совсем так. Острые, как лезвие, грани бриллианта рвано распорили кожу над бровями, хлынуло много крови, заливая глаза, и враг подумал, что ослеп, отчего запаниковал.

Двое его подельников подхватили его за руки и убежали. Они выскочили на неведомом километре, когда техническая пауза уже закончилась, и поезд трогался. Сечень за ними не погнался — он боялся отстать от состава, да и вообще — зачем? Украсть-то они все равно ничего не украли.

Но сломали нос.

Пытаясь его подручными средствами вправить, Егор отвлекал себя мыслями о том, что из бриллиантов получают лучшие на свете кастеты, оттого, видимо, древние люди и ценили это самое твердое в мире вещество, легко режущее стекло, как бумагу.

Вид у Сеченя был, как у жертвы кораблекрушения: некогда дорогая одежда баловня судьбы стала совсем грязной, заношенной. А теперь ещё сорочка с жемчужным рядом и лацканы пиджака заляпала кровь. Егор походил на удачливого дельца, пару недель проводшего робинзоном на необитаемом острове.

Встревоженная возней за тонкими перегородками проводница вышла посмотреть, что творится, и, увидев Сеченя — всплеснула руками, побежала за аптечкой к себе в закуток, где хранится бельё и чайные подстаканники.

Она была немолода и некрасива, эта проводница, но лечебное дело знала очень хорошо, как будто прежде работала медсестрой. А может — кто его знает, — в столичных поездах так часто дерутся, что дело привычное?

С марлевыми затычками в ноздрях, бело-кровавыми бивнями, Сечень сидел, задрал голову к желтеющему от времени некогда белоснежному пластику потолка, и что-то бормотал несуразное, про Москву, Куву, профсоюзы, недостаточно защищающие трудящихся и спекулирующие марками.

— У вас пуговка оторвалась! — сказала проводница, поднимая с пола купе жемчужинку, сжатую в стальной чашечке, снабженной ушком для нитки.

— Оставьте себе, — задушевно попросил Сечень. — Это натуральный жемчуг. Спасибо за вашу помощь...

Была поздняя-поздняя ночь, когда состав пришел к третьему пути Кувинского вокзала, под медным куполом застрявшего между Европой и Азией...

В гулкое пепельное утро вышел, стуча каблуками модельных туфель крокодиловой кожи, одинокий, как Адам, Егор Сечень, и адамово яблоко его пониже подбородка гуляло, словно бы в беззвучных рыданиях.

Его мысли и чувства давно приземленно затупились — иначе он бы не выжил. Они притупились тогда, когда рано потерявшая мужа, а потом и смысл своего служения, сокращенная по месту работы мать повесилась на заре, и он сам, лично, вынимал из петли её окоченевшее тело. Они притупились тогда, когда он выдирает в доме все крючки, все гвозди и винты в стенах, яростно и безумно, чтобы не было соблазна уйти за матерью.

Они притупились тогда, когда, при Егоре Гайдаре, он от голода варил

старые советские ремни натуральной кожи, и пытался жевать то, что в итоге вываривалось, как тугую мясоподобную жвачку...

Он выживал — и это заменяло смысл. Вопрос «как выжить?» выдавил, — как из трамвайного битка выдавливают лишнего пассажира, — вопрос «за чем выживать?». Более того, долго он обманывал себя, что эти вопросы — синонимы.

Но сильное эмоциональное потрясение на кладбище у дяди выбило клином клин, и жуткий липкий страх заполнил все полости Егорушкиного тела.

А все тетка, старая дура. Она даже и не поняла, что сдвинула плиту на саркофаге его души. Просто, как это принято у советских правильных тёток, — спросила, поддерживая разговор за душистым чаем с чабрецом:

— А ты, Егор, теперь где служишь?

Для неё это только вежливость, проявление родственных чувств. Ну, а как она должна была спросить — если всю жизнь спрашивала только так? «Где служишь?».

А Егора всего перевернуло и передернуло, словно бы сердечную мышцу свело судорогой в холодной воде.

— Я, тетенька, нигде не служу... — глупо улыбнулся он, отставив чашку с замысловатыми фарфоровыми вензелями. — Я вольноотпущенник...

Тетка посмотрела мутными старческими глазами, и поджала губы. Она не хотела обидеть, но все же у неё вырвалось само собой, потому что она любила поучать всех ещё в молодости, а к пенсии это только усилилось:

— А ты знаешь, что в Риме вольноотпущенниками были те, кто даже уже для рабских работ и то не годился...

...Все колена их большой семьи всегда служили. Которые орлы и соколы — служили в армии, в инженерии, в науке. Которые никчемными рождались, позором семьи, — все же цеплялись за подмостки императорских театров или презренное поэтическое поприще. Хоть так! Даже традиционно приводимый в пример Толя-тунеядец все же писал стихи. Большого от него никто не добился, но и он пытался быть полезным.

— А я? — спрашивал себя Сечень. — Если Толя, писавший стихи, был общепризнанным тунеядцем — я-то тогда кто?!

И пришло тоскливое, как агониальный вой, осознание: всю свою жизнь он только жрал и лгал, лгал и жрал, и «ничего кроме»...

А жизнь коротка. Ох, как ошибаются те, кто думают, что у них впереди много лет! Ох, как они заблуждаются! Уже взошла над Егорушкой мертвая планета Луна, и её некротические лучи посеребрили ему голову лунными зайчиками седины. И низкопробной прозой пошлых лет заполнился сад жизни, как выедающими глаза удушливыми газами, так, что задыхаясь, приходится шараться, хватаясь за стволы бесплодных диких яблонь.

Изумленно оглядывался он назад, на путь, короткий, словно миг: что он делал, с чем подошел к окончательному расчету? Не нужно ведь было бы давать человеку жить полвека на свете, чтобы насладиться банной парной — это минутное дело... «Тёлок» сношать — это же зоофилия, мерзостная пред Господом, даже если «тёлки» в человеческом облике...

Кузен, незадачливый двоюродный урод, Толя-тунеядец, которым с детства привыкли стыдить по формуле «вот будешь как наш Толя», — оказался вдруг где-то высоко над головой, в облаках, над удушливыми парами хлорного эгоцентризма жалких, ничтожных комбинаций, умножавших нули на нули...

Потому что Толя пытался служить! Да, пытался. В памяти всплыли засмеянные до дыр бездарные строки:



*Могучий Кремль, святилище Москвы,  
Константинополя я ловлю дыхание,  
Лиши меня хоть ног, хоть головы,  
Но только не лишай меня вниманья!*

А вы, что вы сделали? Вы заменили «пля» на «бля», и получилась матерная частушка про Константина Черненко, пробивавшая на «ха-ха» современников эпохи цензуры и политической полиции...

Хорошо смеется тот, кто смеется последним! Вот теперь, в 2013 году, посмейся, ушлепок, над своим хулиганистым «Константина, бля...»! Чего не смеешься?!

Нет, конечно, Толя бездарность, и в армию его не взяли за дискоординацию двигательных функций, и стихи он писал дурацкие, кто спорит... Но он же пытался. А ты — нет. И в армии, ты, кстати, тоже не служил, и уже не по здоровью, как Богом обиженный инвалид Толя, а просто шмыгнув в кусты, прикрывшись военной кафедрой КГУ.

Как там писал Толя дальше? Кажется...

*Я — часть твоей вселенской микоризы<sup>11</sup>.  
За тыщу верст проклюнулся тобой,  
Ты смеешь всё, не зная укоризны,  
Не смеешь лишь сказать, что я не твой!*

«Самое большое счастье человека, — запоздало думал Сечень, — счастье служения. Самый несчастный человек — тот, который всю жизнь лелеял свои болячки, нянчал свои травмы, дул на свои царапины, превращая любую свою занозу в земную ось и вселенскую скорбь. Тому, кто служит, некогда болеть. Думать о своей боли некогда — и это лучшее обезболивающее...».

Но Кремль был мертв уже многие годы, и его кладка стала простым камнем, перестала говорить со своими отражениями за тысячи верст, и Константинополь больше не дышал. Осколки империи, потерявшие смысл жизни, яростно бегали за нолями, бесплодно сношались с контрацептивами, и пытались утешить себя бабским, пидорским утешением — роскошью...

«Наверное, мне просто некому стало служить... — думал Сечень, впервые осознав себя японским ронином. — Моя страна сказала мне — «иди отдохни», но отдыхают после трудов, а отдых без труда — тягучая маета и онанизм мозга!».

...На привокзальную остановку подошел новенький трамвай Усть-катавского вагоностроительного завода и расхристаный Егор прыгнул ему на подножку. В вагоне почти никого не было в этот ранний час. Из пустого вокзала в пустом трамвае Сечень ехал в пустую квартиру.

## 27.

Слухи о том, что у Сеченя дела снова пошли на поправку и у него опять появились деньги, каким-то сверхъестественным образом распространились среди его партнеров и кредиторов. Как ни таился Егор — полтора миллиона, как шило, пропороли мешок. Все знали только, что Сечень нанял бригаду, поставил над ней алкаша Марата, вырубил весь березняк на своем поле и нажег какое-то количество березовых углей для шашлычных. Дело верное,

<sup>11</sup> Микориза — (от греч. *mykes* — гриб и *rhiza* — корень), грибокорень, взаимовыгодное сожительство (симбиоз) мицелия гриба с корнем высшего растения.

но низкорентабельное, всерьёз Сеченя оно бы не выручило, так, подспорье по скудости.

А тут вдруг Сечень лесопилку открывает — не с березовых же углей, право слово!

На лесопилке вскоре заработали ханыги, присланные из числа нуждающихся Заборовской обители: монастырь обещал помочь крепким бомжам с трудоустройством — и помог через Егора, больше не через кого оказалось.

Потом Сечень открыл мастерскую по изготовлению банных ароматизаторов, хвойных и фруктовых, в маленьких пузырьках, специально заказанных стеклодувам в Куве, и забрал ещё какое-то количество бомжей, снизив «суповую» нагрузку на Заборовский монастырь.

Дело было благородное, в восторге ходили все: мать-игуменья, сестра Галина, депутат Махачин, кредиторы Сеченя (ибо нищим он им ничего не смог бы отдать). Одна беда: как и предполагал Сечень, и лесопилка, и «ароматическая палата» вскоре показали свою убыточность. Конечно, часть расходов на трудовых бомжей они сами покрывали, но Сеченю постоянно приходилось «пока», как он легкомысленно говорил, доплачивать из своего кармана.

Чтобы исправить положение, подключив кое-кого (того же Мишку Хряка) на паях, Сечень запустил в Сиплодоново линию по производству мармелада из березового сока, малинового сока и ещё какой-то местной дряни, обычно гнившей без употребления, кажется, крыжовника.

Под это дело был переделан и обшит тесом старый пошивочный цех колхоза «Клин Ильича», и над руинами, где когда-то возвышался красный флаг, затрепетала на ветру реклама.

Эко-мармелад, хоть и был жидковат в желейном состоянии (особенно который из березы), — получил известность и славу среди гурманов Кувы. О нем писали правительственная и партийная газеты, как о предпринимательском прорыве в депрессивном сельском углу, щелкали фотокамерами борзописцы и клацал абзацами докладов Евгений Махачин.

В итоге и мармелад оказался убыточным — и повис (вместе с трудоустроенными бомжами) ещё одним хомутом на шее Сеченя. Егор сделал грустный вывод, что кроме водки убыточно в их крае вообще все, и только «Дом Ржи» обрадовал, выйдя, наконец, с квасами и сухариками на нулевой баланс. И Ровянов подрос за это время, как руководитель, и синевласка с тургеневско-бунинским именем Ася тоже кое-чему научилась, организуя презентации.

Используя унаследованный от колхоза «Ленинская борода» (извините, «Клин») огромный стальной чан, ранее употреблявшийся для варки спецкормов давно порезанного в этих местах скота (из крупного рогатого остался только чёрт — говорили местные остряки), Сечень взялся готовить дубильные вещества. Он съездил куда-то (никому не говорил, куда), где делали гранатовый сок, и под соусом вывоза мусора набрал там контейнерами кожуру гранатового плода. Из этой кожуры он извлек немало пользы, посредством старого чана, и даже прибыль выручил, что в последнее время было редко.

Но наблюдательная тетка Марья, та самая ядрёная Марья Давыдовна, зорко подметила: другой стал наш «хувявин», «раньше все к себе греб, а теперь как подменили: распыляет от себя...».

Главной проблемой микропредприятий, щедро сеемых на скудную почву Сиплодоново Егором, — был избыток персонала. Разгони Егор две трети

рабочих, или хотя бы половину, — прибыль сразу же вылезла бы наружу. Но штаты вместо сокращения раздувались, словно КФХ «Сечень» заболел кадровой водянкой, пухли папки в отсеке личных дел сотрудников...

А иначе Сечень не мог. Его же не деньги интересовали, и даже не благосклонность Махачина (наивно убежденного в обратном). Его интересовала возможность быть с Галиной, разговаривать, вести совместные дела, а Галина вела прием убогих, а убогих стягивалось, как ворон на падаль, — откуда только приносило...

Она вновь и вновь молила своего единственного благодетеля, Сеченя, помочь «ещё вот с этим и вон с той», мол, очень работать хотят, да негде, и Сечень, скрепя душу, открывал ещё одну вакансию на лесопилке, в «палате ароматов», на дубильной линии. А когда, по старой памяти, открывал вакансии и в «Доме Ржи», вызывая скулящее, напуганное, собачье отчаяние в глазах Ровянова и тихую ярость, написанную на лице ярким маркером у его синеволосой Аси.

Людей в деревне не обманешь. Они все видят. Они видят, что Сечень явно надорвался, что полтора миллиона (суммы они в точности не знали, но примерно оценили её масштабы по расходам Егора), каким-то образом возникшие после поездки Сеченя в Москву, растаяли, да и немудрено: в такой прорве бедствующих и алчущих чего только не растает!

Поскольку прожженная тумбообразная бабища, Марья Давыдовна, прочно связала свое благополучие с делом Сеченя, она стала острым бабьим односторонним умом искать причину, пробоину в голове «хувявина». Чего было долго искать, когда Сечень под всяким предлогом буквально осаждал сестру Галину, то втюхивая ей какой-то тёс для трапезной, то мешки пшенной крупы для приюта, то пакеты с дубильными веществами, вообще неизвестно зачем — видимо, из нераспроданного.

Так от Марьи Давыдовны через сельпо поползли слухи, в деревне распространяющиеся со скоростью степного пожара: делать то нечего, кроме как языками чесать...

И монашки не лучше: давай охать и вздыхать с ужимками, то так, то эдак — надо, мол, отшить кобеля этого, повадился, а как, мол, отошьёшь, когда все монастырское хозяйство теперь на нем... Ну, отвадим, отгоним — а куда убогих нам потом девать? Оне же вот и идут и идут, и идут и идут — что, мол, мы можем поделать?

Вначале Галина от таких разговоров вспыхивала маковым цветом, прятала лицо в плат и убегала. Потом стала делать вид, что её эти разговоры не касаются. Но яд всеобщей убежденности, что Галя — та ниточка, на которой висят гроздьями обреченные, со всеми их бессмертными душами, — порождала в сестре мрачную, холодную, зловещую решимость. Для себя она от мира ничего не искала — ну так не о себе же и речь...

...Развязка нагнаивающейся давно фабулы наступила на 50-летию Евгения Антоновича Махачина. Сечень вообще три дня готовил этот юбилей в одном из лучших ресторанов Кувы, безвылазно окунувшись в орграбиту помощника депутата. А Галину туда пригласили благодарить Махачина в числе благодетельствованных, ибо формально-то именно Махачин дал Заборовской обители все то, что оплатил Егорушка Сечень.

Она привезла резной крест и редкой красоты икону в подарок юбиляру, из монастырских мастерских, и скромно села в хвосте «П»-образного стола.

А Сечень был совсем в другом месте дуги, у самого Махачина справа, и выслушивал похвалы, перемешанные с упреками:

— Так-то, Егор, нормально все, и банкет хорошо подготовил, вижу, и с благотворительностью... Но перебарщивать-то не надо! Я уже, знаешь, устал, брат, о твоих долгах слышать, то слева, то справа — тому протянул с платежом, у того перезанял за старое... Давай, как-то с этим надо кончать...

— Так дело ведь, Евгений Антонович! — виновато разводил руками Сечень. — Дубильное там, аромное, лесопильное, с рожью новая линия...

— Эт я понимаю, не дурак! — кивал Махачин существенно выросшим с первой их встречи двойным подбородком. — Тут тебе честь и хвала, и мой имидж не забываешь, молодец... Я не к тому, чтобы ты сворачивался... Вот проведем юбилей, ты заезжай ко мне, надо будет раз и навсегда с этими хомутами твоими расстаться! Я о тебе думаю, ты не считай себя забытым! У тебя денег несть, а у государства их не счесть! Мы, как-никак, великая углеводородная держава! Так что...

Махачин стал говорить тише и серьезнее, менее развязано, о деле. Он составил некий «план Маршалла» районного значения по ликвидации разом всех долгов КФХ «Сечень». Для этого Махачин, грохнув гирей на весы всё свое влияние, добился сделки века (если, конечно, смотреть в районном масштабе, потому что сделка для столицы прямо скажем, пустяковая).

Но не для крестьянско-фермерского хозяйства.

Махачин говорил складно и по-бухгалтерски точно. Речь шла о том, чтобы взять у «Россельхозбанка» 100 миллионов рублей под 8% годовых и тут же отдать их под 15%.

Для этого нужно было только представить документы, что деньги пойдут на проведение сезонных работ, закупку материалов, минеральных удобрений и так далее. Получить под эти документы их к себе на счет. Перевести со своего счета на счет должника, указанный Махачиным. И положить в карман разницу в процентах!

Конечно, Махачин не забыл и себя, и в первую очередь себя. Понятно, что должник, берущий на себя ношу в 100 миллионов, явно чем-то очень обязан Махачину. Но в игре остается 15 миллионов, из которых 8 съест процент «Россельхозбанка» (да и то не сразу, а в течение года), семь же миллионов останутся добычей смельчака!

— Ну как, Егор, берешься?

— Очень бы хорошо было, коли удалось...

— А ты что думал, твой друг Махачин веники вяжет на досуге или лапти плетет? Дело верное, с гарантиями, с залогом — не дрейфь. Работаем и мы, Егорушка, не только вы, на ниве своей золотой...

Между тем действие, срежиссированное Егором, уже началось. Под торжественные звуки гимновых песнопений бойкие официанты в красных жилетках и очень красных галстуках-бабочках стали активно рекомендовать гостям удивительно аппетитные холодные острые закуски. Они поставили рыбу, и соленую и холодного копчения, сняли блестящие металлические колпаки, скрывавшие соленые и маринованные грибы, на больших самаркандских блюдах внесли овощи (огурцы, помидоры и кое-что поэкзотичнее).

Желающие тут же подкрепились закусками помягче острых — той же рыбой, но уже в масле. В ход пошли сардины, заливная или фаршированная рыба, разные рыбные и мясные салаты. Гости, попеременно тостуя славного юбиляра, кивали в рюмки огромными бутылками «виски» на подставках-качелях, закусывали со стола ростбифом, бужениной, заливным языком и севрюжатиной под хреном.

Холодных закусок и пирожков Сечень припас столько, что их, вопреки обыкновению, хватило до конца банкета. Как радушный распорядитель пира, он метался от гостя к гостю, от одного конца стола к другому, от входа на кухню, от вина к десертам, не ведая ни усталости, ни сомнений.

Поспокойнее стало разве что после первого горячего. Ресторан устал работать челюстями и вилками, все, кто хотел, уже пришли и освоились, музыкальная программа шла своим чередом.

— Очень хорошо, что у тебя все без пауз! — чавкая с удовольствием, хвалил Махачин. — Но я боюсь, гости обожрут, так все вкусно, и запомнят мой юбилей через понос...

— Понос не запор, Евгений Антонович, — подхалимничал Егор. — Запертых дверей для вас не останется...

Он мог, когда нужно было, сыграть респектабельного человека. Он вообще, хоть его и считали образцово-показательным «мужиком» для показов правящей партии, был не мужиком, и не чиновником, не предпринимателем и не финансистом — а больше всего актером. Мгновенные перевоплощения, моментальные переходы образа не раз в страшные 90-е годы спасали его жизнь.

Конечно, на юбилей своего высокого покровителя он явился не в ватнике. Он посетил отличного парикмахера, сделавшего ему гладкую укладку и модную прическу, он был очень тщательно выбрит и благоухал парфюмом, а не обычными своими сельскими амбарными «амбре». Это был уже не «сеятель и хранитель» из сказов казенных партийных гусяров, а именно помощник очень влиятельного депутата, и никто иной.

Сечень был в черном приталенном смокинге с отливом, гладком на ощупь, ладно скроенном, с атласными отворотами. Сорочка идеальна бела и совершенно нова, не застирана до махры, как обычные рубашки Егора, а галстук — тонкокрылая «бабочка», двухцветная, в точности под тон костюма и сорочки.

Узкие, мерцающие бликами штиблеты на высоком и звучном каблуке четочника сливались цветом с брюками, но иногда — при резком быстром движении, между ними полоской мелькали белые носки. Они гармонировали с белыми манжетами на самых настоящих, классических запонках!

Если бы кто-то вздумал провести опрос среди обжирających гостей юбилей — на кого похож сегодня Сечень, то большая часть бы ответила, что на конференсье в хорошем заведении, а оставшиеся наверняка ассоциировали бы его с лощеным банкиром, словно сошедшим с плакатов советской пропаганды.

Бедная монахиня, попавшая со своей благодарственной речью от коллектива совсем не в свою тарелку, сестра Галина, смотрела на Сеченя почти все время. В чужой и неприятной среде махачинского юбилея он был знакомым, привычным, родным, к нему, если что, так легко было бы обратиться за любой помощью. Ну и — не будем скидывать со счетов — Галина была по-женски восхищена преображением давно знакомого затрапезного во всех смыслах фермера.

Она увидела нового Егора, более похожего на Егора в «ноль-первой», панорамной аудитории КГУ, амфитеатром сбегавшей к трибуне, чем на Егора, торгующего крашеным луком якобы со своего огорода в якобы своем Сиплодоново...

Как и любой женщине ей льстило, что этот блестящий лорд (сейчас он был около того) так много и долго ходил вокруг неё, запинаясь и робея до

пунцового детского румянца. От такой лести нельзя застраховать женское сердце никакими обетами и постригами...

Ужасная судьба — заключенная в растущих долгах монастыря перед Сеченем, с растущей же уверенностью, что он однажды непременно придет за ней, как за платой за все благодеяния, — перестала казаться такой страшной, как раньше. Галина не была опытна в мужчинах, но не нужно никакого опыта, чтобы понять: Егор сам её боится, и наверное, даже сильнее, чем она его. Объяснить это невозможно — в это никто не поверит, и тем не менее это факт, потому что жизнь вообще сложнее логики...

Первое горячее — лагман, тающий на языке, — гости умяли быстро. Начался, как и было запланировано, первый перерыв с выходом из-за стола.

Официанты освежили стол новыми видами закусок из натурального мяса или фаршированной рыбы.

Танцы, отдых и курение были раскассированы Сеченем по разным помещениям.

Все пошли размяться — и Галина пошла. В сделанном под сруб курительном зале она заметила Сеченя, нервно глотавшего сигарету за сигаретой, и невольно залюбовалась им. Человек, который везде успевает, человек, который всем помогает, оказывается, ещё и одевается с большим вкусом! И потом — ведь бесспорно, что он влюблен, влюблен как мальчишка и почему-то (вот что самое непостижимое) — в неё, Галю...

— Ты сегодня такой красивый, Егор! — улыбнулась она, подходя к Сеченю. — Как жених на свадьбе!

Он поперхнулся, выронил от неожиданности свою сигаретку, открыл рот, как дурачок, раскраснелся по-детски.

— Я... Это... ну, как администратор... должен...

— Сегодня, — сказала она, внутренне холодея, — мы с тобой поедем туда, куда ты захочешь...

Теперь уже у Егора выпала и зажигалка. Глаза округлились и стали совсем беспомощными, как в детском саду. Всякая другая реакция оттолкнула бы Галю, но именно эта — была симпатична.

Потом все снова сели за стол. Говорили тосты — и Сечень, и сестра Галина от всего коллектива монашек, и представитель банка, который выдаст Егору большой кредит, и представитель табачной сети, который возьмет у Егора этот большой кредит. Все славил мудрость и влияние господина Махачина, патриота, державника и глубокого политического мыслителя, которому народ (сам того не зная) оказал доверие, избрав депутатом. Но это, — наперебой говорили тостующие (и особенно представитель табачной компании), — не предел роста, а только веха на главном пути, такого ещё, в сущности, молодого юбиляра.

— Я, правда, тебе нравлюсь? — спросила шепотом Галина, когда Сечень с бутылкой в льняной салфетке подошел к ней налить бокал кагора.

— Очень... — снова засмутился Сечень, впад в детство окончательно. Он был такой трогательно-беспомощный, что Галя, ещё утром показавшаяся себе несчастной, проданной в рабство, — теперь жалела не себя, а его.

— Зачем ты так, Егорушка? — обворожительно улыбнулась она. — Посмотри, сколько здесь молодых кобылок в ярких платьях...

— На кобылках пусть... ковбои скачут... А мне ты нужна... — прохрипел Сечень, словно ему пробили трахею, и совсем неприлично — до пурпура — покраснел от собственной наглости.

Второе горячее: адана-кебаб в лаваше — пролетело незаметно, тем более,

что Сечень думал совсем не о нем. Во время второй танцевально-курительной паузы стол уже накрывали к десерту.

Официанты ставили десертные тарелки и чистые ножи к ним, чашки для кофе с чайными ложками на блюдцах. Украшением стола стал огромный партийный торт, массой около десяти килограммов, сделанный по заказу, и традиционный ржаной каравай, специально привезенный Ровяновым из «Дома Ржи», испеченный словно бы в деревенской русской печи, как это делали наши бабушки. Торт тоже стилизованно изображал Россию: контуры изображения страны на карте, трехцветная глазурь национального флага, шоколадные кремни в местах, где им положено быть, сахарный шпиль адмиралтейства, цукатами выложенные магистрали...

Этот торт, символически венчавший юбиляра со страной, по замыслу сценариста Махачин должен был резать и раздавать сам. Очень символично, как и в жизни: тебе сахарный шпиль, тебе цукаты коммуникаций, тебе шоколад недвижимости...

Но все же самый красивый кусок торта, с московским кремлем, Махачину на тарелку положил Сечень. Пока он это делал под всеобщие аплодисменты, красные, как омары, официанты подали на стол конфеты и фрукты. Закуски тоже обновили в третий раз, ведь люди пить не перестали — не перестали, следовательно, и закусывать: ставили чистые плоские маленькие тарелки с вилками, новую партию холодных закусок из мяса, тонко нарезанные дольки лимона с сахарной пудрой. Заветренные аналоги убирали: только свежесть!

Словно обреченные, Сечень и Галя сходились все ближе, но им обоим было невыносимо тошно. Сечень страдал не меньше монахини, чувствуя, что зашел-таки в паскудстве на новый небывалый рекорд, когда посягнул уже на божью любовь после всех ранее наделанных зловонных гадостей.

Вся деятельность Егора за последний год была ловушкой, и он теперь прекрасно это понял. Он подстраивал все так, чтобы Галин отказ стал бы уже очевидной подлостью и черной неблагодарностью, а многочисленные убогие (для возящейся с ними монашки они отнюдь не безразличны) — превращены им попросту в заложников.

Но ошибся бы тот, кто предположил, что Сечень строил ловушку сознательно, заранее предвкушая торжество. Это был как раз тот случай, когда «глаза боятся, а руки делают» — то есть личность-слуга привычно сплела силки, а личность-господин наивно отвернулась, делая вид, что совсем не причем...

## 28.

...В квартире Сеченя совсем уж отчетливо запахло тленом. Егор поторопился выкинуть с серванта фотографию, где он улыбался с Машей в обнимку, повалил Галину на огромный полосатый диван с шелковой обивкой и, целуя, стал раздевать.

Она лежала, потрясенная и парализованная страхом, как лань в когтях зверя, на все согласная и в то же время мертвая, неподвижная, словно восковая фигура. Руки и ноги её стали ледяными, а лицо — белым, как полотно.

Егор это почувствовал. Он и сам был холодный от напряжения, от дикости всего происходящего, но до последнего врал себе, что не спровоцировал ничего, все, мол, само собой так сложилось.

Но какая радость — если под тобой манекен. В одежде он или без одежды, он из мертвого пластика...

Сечень сделал последнюю попытку обелить себя. Поскольку единственным своим достоинством он считал чтение старинных книг, он многословно стал рассказывать купленной в лавке милосердия жертве, что он — хороший, на самом деле, и сейчас читает книгу о жизни горилл в экваториальной Африке.

Сердце пронзило тревогой: она не поверит, подумает, что он приукрашивает свою личность. Как ошпаренный, Егор вскочил с дивана и побежал к секретеру, выхватил книгу с убедительным доказательством в ней: закладкой!

Конечно, сбивчиво и путано, но при этом с парадоксальным красноречием объяснял он — в целом-то он по жизни дерьмо, а не человек, и тут крыть нечем. Но книгу 1967 года выпуска о жизни горилл в экваториальной Африке читает действительно он, а не кто-то другой! Это совершеннейший факт, и пусть он невероятен в контексте жизненных обстоятельств Сеченя, однако Галина может его проверить, он перескажет любую из прочитанных глав...

Смысл этих бурных речей совсем не доходил до бедной монахини, исполняющей скорбный для неё долг, — но общее содержание она уловила. Перед ней был человек, её палач и по сути её насильник (только очень хитрый насильник, предварительно очень надежно стреноживший жертву), — и он сильно страдает и пытается доказать фактом чтения какой-то книги, что в душе он лучше, чем на практике.

Цель этих доказательств — когда жертва уже со всем смирилась — была непонятна Гале. Сечень казался ей адвокатом, который после судебного процесса, когда приговор уже оглашен, заливается соловьем с речами в пользу подзащитного.

Особый, метафизический морализм чтения книги британского натуралиста 60-х годов про жизнь горилл экваториальной Африки — был понятен только причудливому сознанию Егора. Он ко многим уже приставал с этим доказательством своей человечности, но люди (что неудивительно) — только плечами пожимали. Чего и кому он хотел доказать чтением желтых страниц, тем более в области популярной зоологии, — знал только сам Сечень, и словами он это знание выразить не мог.

Почему-то у него засело занозой в мозгу (и с годами заноза нагнаивалась) что он, как читатель книги про горилл, полностью противоположен себе же во всех остальных проявлениях. Причем противоположен в странной двухцветной гамме — свет и тьма, черное и белое...

Галя присела на краешек дивана, взяла книгу в руки, полистала её. Обычное советское издание с рисунками и глянцевыми черно-белыми фотографиями на вклейках, сделанными, видимо, тем самым «Х.Г.Томпсоном», который непостижимыми уму путями сеял «разумное, доброе, вечное» в монопольном режиме у сиплодонского фермера в душе...

Ох, как удивился бы этот неведомый британский Х.Г.Томпсон, если бы узнал, что чтение его зоологической книжки о давнем путешествии призвано превратить акт насилия в акт нежной любви!

Галя улыбнулась этой мысли. Сечень по-своему истолковал её улыбку — он решил, что в полной мере доказал факт чтения, и снова набросился на свою любимую, заваливая по-медвежьи.

Обнажаясь под его руками, она становилась все более бледной и холодной. Она не отторгала его — но и навстречу не двигалась, она вообще не ше-



велилась. В темной и большой комнате на их телах причудливо играли отсветы неоновой рекламы с улицы...

Новый мир, после Третьего Рима, убивший мать Егора, убивший все чувства и мечты Егора, убивший все, чем жил Егор, Новый мир, который превратил монашку в товар, доступный благотворителям обители, — и здесь не отпускал их. Он мертвенными огнями плясал на их коже, как будто переливающаяся татуировка, требуя продавать и покупать, опрокинутый в безлунную ночь с крыши торгового центра во все окна напротив...

«Нет ничего страшнее нашего... — вдруг подумал Егор, и его срамной орган опал, ослабел, застеснявшись своей предательской активности. — Что война? На войне есть враги, но есть ведь и свои... А у нас — когда все враги, и ты всем враг... Ей враг... Единственному дорогому на всем свете человеку, последнему дорогому на целой планете человеку — лютый враг... Я выдавил из неё то, после чего монашки вешаются или топят... Я, я, никто другой — потому что эта реклама много лет подмигивает мне в это окно, и она совсем ослепила мою душу... Даже странно — как это я ещё не бросил читать свою книгу о жизни горилл в экваториальной Африке? Впрочем, ведь и эта ложь! Да, ложь! — истерически думал Сечень, и холодный пот прошиб его, как прошибает он дезертиров у расстрельной стены. — Я читаю книгу о жизни горилл в экваториальной Африке? Да? Читаю?! И сколько же страниц я прочел за последний месяц, а? Чего ты молчишь, потаскуха-душа, которую варварские отношения поразили сифилисом тонких тканей, сколько страниц, я спрашиваю, о жизни горилл в экваториальной Африке за последний месяц?!».

Сечень понял, что мир гнуснейших сексуальных извращений подкрался к нему инкогнито, под маской приличий. Вначале он сношался с «телками» и «кобылками» под видом девушек и женщин, и это была зоофилия, и он недавно это осознал. Теперь же он от зоофилии перешел к некрофилии, он ласкает на своем диване, в доме отца своего, холодный неподвижный труп женщины, чья душа отлетела далеко от места страшного акта, гнуснейшего из развратов...

— Давай никогда не будем этого делать! — вдруг сказал Егор, резко сев и обратно одеваясь.

— А можно? — с детской наивностью спросила она.

— Нужно.

— А ты сможешь? Выдержишь?

— Все-таки ты так и не поверила, что я читал Томпсона! Ты, наверное, думаешь, что я просто вытащил старую книгу из полки и всем вру! Но это не так, не так... Я действительно читал эту книгу, и до середины дочитал, и вот эта закладка — она не просто так мной сунута, она отделяет прочитанные страницы от непрочитанных.

— Ты больной человек... — сказала она, садясь рядом и ласково ероша его волосы.

— А если я бы тебя взял — был бы здоровым?

— Нет, тогда бы ты был просто больным. Без приставки «человек»...

## 29.

Почему-то очень запали ему во взгляд, как соринка, эти зеленоватые и бурые помидоры, созревающие на потрескавшемся подоконнике, в лучах щедрого солнца бабьего лета.

Вышел — а в глазах так и стоят томатные плоды, сорванные давно с

куста, а все ещё пыжащиеся созреть, краснеющие между рамами с облупившейся краской, словно бы и сам Сечень и все вокруг него были такими же помидорами...

Тяжело ему было смотреть на этих мужиков, которых привела с собой Галина. Недобрые были мужики, нехорошие, не побираться пришли — свое взять. А почему у него именно своё брать решили — про то никто не ведаёт, так уж карта легла, что на их пути в никуда он подвернулся на перроне предпоследней станции нежелезной дороги жизни...

— Возьми, хозяин! Не пожалеешь! Мы люди тертые, бывалые, во всем годны... Можем по железу работать, по дереву... охранниками были... Или скажешь, к примеру, землю пахать — вспашем...

— Некуда мне вас брать, братаны... — грустно улыбнулся Егор, отирая руки жухлой травой. — Много вас слишком, мужики... На пилораме вдвое больше нужного работает, и ещё вчетверо ждут, когда кто себе палец отмахнет, чтобы тут же на то место запрыгнуть... Нет работы...

— У тебя да нет? — шерились мужики гнилыми зубами, неопрятными влажными ртами каторжников. — У Сеченя да нет? У кого же есть тогда? Ты один тут на всю округу хозяин, один с деньгами...

— Не один я хозяин, не один я с деньгами... Один я принимаю на работу — это верно, но некуда пока, братаны...

— Ну, а как бы вот, к примеру, огород тебе вспахать? — лез щербатый, центровой, видно, у этой обтрепанной публики с инициативой.

— Не надо мне огород копать... Четверо вон уже копают за бутылку... Да и то из доброты: нахрен он мне, огород этот, так, баловство, а тут бутылку отдай...

— Бутылку, стало быть, пожалел? — прищурился Бывалый и в прищуре этом выглянули разом и Махно, и Разин, и Пугачев с Салаватом Юлаевым. Жутковато стало Сеченю, но откуда взять работу, если он и так уже человекам пятнадцати её просто за свой счет придумал?

— Дело не в бутылке, — примирительно сказал Сечень. — Работают люди. Не нужно больше людей...

— Тебе, сволочь, людей не нужно? Хочешь, чтобы людей не было?! — всхлипнул вдруг мужичонко в рваной кепке явно с чужой головы, на размер больше его черепушки.

Обидеться бы, да не обидно мужичонко сказал. Так плаксиво, что вот-вот разревется, платком слезы впору утирать, а не обижаться.

— Нет у меня работы, — уперся Сечень. — Идите откуда пришли...

— Нелюдь ты... — осклабился так, что стали видны нечеловеческие клыки центровой у мужиков. — На пилораму грузчиками возьми...

— Есть там грузчики!

— Дом подмалевать-подкрасить?

— Красили уже. Нечего там делать. Не нужно...

— Так просто помоги. Дай людям хоть немного, жизни же нет никакой...

— Мужики! — рассердился Сечень. — Я вам кто? У меня что, станок печатный? Деньги печатаю?

— Несправедливо, Сечень! Других на работу брал, знаем, и хуже нас брал, а нас шанса не даешь...

— Те прежде пришли. Мне вам что — конкурсы тут устраивать, тендеры проводить?!

— А хоть бы и конкурсы! Лучше нашего с лесопилкой никто не справится, дай задание, проверь...

На Сеченя смотрели глаза. Глаза были одновременно молящие, пустые и ненавидящие. И мольбы была бездна и ненависти, и равнодушия, хотя, вроде бы, так и не бывает — а вот вышло.

— Я, мужики, вам ещё раз говорю: идите, откуда пришли. Мир не без добрых людей. Помогут и вам. А у меня нечем вас кормить. И так уже развел богадельню — не успеваю карманы выворачивать...

— Сволочь ты... Поверни жить чуток инком — ты бы тут стоял, а я бы на твоём месте...

— Очень может быть. Но сейчас нет у меня работы.

— Егор! — жалобно подняла на Сеченя глаза Галина. — Но в монастыре тоже ничего не осталось... Люди прибывают, им ночевать больше негде, я их места новеньким отдала, и супа на них больше не хватит...

— А меня спросить не подумала? — рассердился на монахиню Сечень.

— Думала, на пилораму... Там же двое... Ты сам говорил, покалечило их... А этим — правда, правда, совсем некуда идти...

Сечень мог бы, наверное, и в этот раз уступить неугомонной монашке, где десять тунеядцев сидят за столом, там и тринадцать уместятся. Но он пошел уже на принцип, уже уперся. В конце концов — кто тут хозяин? На чьи деньги открыта эта проклятая, убыточная пилорама, от которой вместо прибыли одни налоговые взыскания?

Он христианин, он хотел помочь монастырю, хотел помочь этим сирым и убогим, что сволачиваются к монастырю, но есть же предел и его возможностям! Он и так уже на себя почти ничего не тратит — все деньги из личного кармана на этих бомжей спускает, а их все больше и больше.

Как голуби на помойке, если станет кто крошить хлеб, слетаются грязной, неопрятной сизой тучей и начитают толкаться у ног, — так на скудную благотворительность Галины и Егора слетались отовсюду бродяги и обездоленные.

Словно пожар в степи, неслась весть о приюте для бездомных и безработных. Люди ехали и шли, набивались в тупик, где кончалась железнодорожная ветка, и люди чего-то ждали: найма в батраки, на лесопилку Сеченя, водителем к Сеченю...

Он не был жесток, этот Егор Сечень, но он не мог приютить всех. Его лимиты быстро истекли, кошелек заблестел лысиной внутренней подделки. И Сечень решил, что изгонит этих трех новых прихлебателей, настоит на своем.

— Не нужны мне люди!

— Егор, как ты можешь такое говорить...

— Не нужны! — повышая голос, закричал Сечень по-хозяйски, по-кулацки. — Когда надо кого — сам позову. А вы — проваливайте! Нет у меня найма. И не будет на этой неделе. Нет работы...

— А не боишься, что мы тебя ночью с четырех углов подпалим?! — вдруг взвизгнул плаксивый мужичонка в чужой кепке. Так паршиво взвизгнул, что кроме него самого никто его смелости не испугался.

— Попробуй! — вызверился Сечень и сделал шаг навстречу этой сволочи. — Не ты первый! Поймаю, на вилы подниму, тут я хозяин, искать тебя никто не будет!

— Тут ты хозяин, — вонял мужичонка в чужой кепке, и грязные слезные потоки текли по его бороздцеватому испитому лицу. — А работы нет! Какой же ты хозяин, если работы нет...

— Пошел вон отсюда! — кипел Сечень.

— Другим, главное, есть, а нам нет! — бился в истерике мужичонка. — Подпалю! Своей рукой подпалю тебя, хозяин, побомжуешь ещё, как мы!

Сечень его ударил. Неожиданно для себя, тем более неожиданно для Галины, выкатившей глаза и закрывшей рот ладонью от ужаса. Мужичонка был хлипким и легким, отлетел от удара и упал.

— Вон! — прорычал Сечень, снова наступая, топая своими резиновыми бесформенными сапогами, роднившими его с этой непутевой публикой. — Вон пошли...

— Другим так не говорил! — хищно ворковал центровой с его жестокими, стальными глазами вконец забубенного человека.

— Другие раньше вас пришли! И хозяину не грубили!

Центровой вдруг выхватил из кармана финский нож. Маленький ножик, сувенирный, явно где-то спертый, потому что не мастер был центровой, не из блатных — из мужиков.

Галина истерически закричала и попыталась схватить его за руку выше локтя.

Он оттолкнул монахиню, она отлетела, ударилась головой о плетень и заплакала.

Сечень уже ничего не видел в ярости. Он вырвал из тына кол и ловким фехтовальным движением кольнул этим колом центрового по лицу. Мгновение — но что-то хрустнуло, сломалось в лице бродяги, обильно хлынула кровь, центровой закрылся руками, между пальцами вытекали венозно-бордовые кровяные ручейки, что-то хлюпало и всхлипывало.

— Гад! Гад! — завизжал тенором кастрата мужичонка, уже потерявший чужую кепку, травленный, словно кислотой: под кепкой у него оказались пучки волос и выжженные пустыри кожи. — Так с нами? Так с людьми?! Мы к тебе за помощью шли, а ты убивать?!

— Вы — не люди! — отрезал Сечень, сплевывая через губу. И повернулся, чтобы помочь Галине встать.

Мужичонка без кепки схватил воткнутые в грядку огородные вилы и немело, словно солдат-первогодок на первом занятии штыкового боя, вонзил их Сеченю в бок...

Это случилось очень по-бытовому, лаконично и мгновенно. Был Сечень живой и драчливый — стал Сечень без перехода умирающим и оседающим.

Вилы застряли в боку и торчали оттуда нелепым бивнем единорога. Кровь, ещё обильнее, чем у центрового этой ватаги убийц поневоле, сочилась по ржавым зубьям и черенку сельхозорудия...

— Атас, пацаны! Линяем! Мокруха! — заорал первый из сообразивших новую диспозицию, молодой бомжик, весь разговор напряженно молчавший в стороне. Трудоустраивавшаяся публика вмиг, словно воробьи от ленивой городской кошки, сбрызнули в никуда, и у плетня остались только Галина, Сечень, да окровавленный кол из забора, валявшийся поперек тележной колеи...

— Егор! Егор! — кричала Галина, прижимая к себе обмякающее тело. — Не умирай! Не умирай! Я люблю тебя, слышишь! Я монашество оставлю, я с тобой буду, я твоя буду... Только не умирай... Егорушка, я донесу тебя, там больница, там помогут... Только ты держись... Перевязать бы... Бинты нужны...

Сечень странным образом ощутил вместе со смертью огромное облегчение. Бессмысленная жизнь больше не станет мигать своими рассветами и закатами. Махачин и компания политиков не станут больше доста-

вать со своими аферами и откатами. Ответственность за всех бомжей здешнего монастыря снимается с мертвого по умолчанию — никого кормить не нужно, даже себя.

И Галина любит. Пока живой был, домогался, как мог, не любила, отшивала. Помер — на тебе, люблю, расстригусь из монастыря, твоя буду.. Вот и пойми их, женщин, чего им нужно?

Губы Егора быстро стали сизыми, бескровными, как у его бабушки аккурат перед кончиной. Вышло много крови, белел Егор, как парус одинокий, только не в тумане моря, а на вонючей навозной гряде.

И не хотел он в больницу. Не только потому, что худенькой и хрупкой Галине не по плечу тащить на себе такого кабана. А ещё и потому, что нечего Сеченю на белом свете делать.

Зачем?

Кредиты «Россельхозбанка» воровать? Убыточные пилорамы ставить? Бомжей принимать на работу, а лишним отказывать в приеме? Ходить дураком и кошунником за монашкой, вождедая запретный плод?

Жалко только, — подумал Сечень, — что я так и не дочитал книжку про жизнь горилл.

Любимая пища горилл — дикий сельдерей.

А я тоже попробовал сельдерей — в столовке регионального Заксобрания...

Книжка 1969 года выпуска — английский автор, который вместо спекуляций занимался изучением жизни горилл в Африке. И ему тогда это было интересно. И читателям это тогда было интересно.

А я — последний читатель этого чудика. Книжка осталась на моем полосатом диване в гостиной, раскрытая, корешком вверх, дочитанная до 268 страницы.

Больше её никто читать не будет.

Никто в мире так и не вообразит в своей фантазии те картины, которые описаны дальше 268 страницы книжки про жизнь горилл.

Это была последняя мысль Егора Сеченя перед тем, как в его глазах померкло всё...

**«ПЛЕЩУТ ХОЛОДНЫЕ ВОЛНЫ...»,  
или  
ГДЕ-ТО В СЕРЕДИНЕ ДЕВЯНОСТЫХ**

Шли и шли в устья здешних рек лососи. Покрытые серебристой, легко оползающей чешуей старики рыбьего мира с выпавшими зубами, плоские, как леши, шли умирать и кормить своей плотью весь этот Богом забытый край....

Челюсти рыбо-старцев обросли костяными крюками, искривились, на спине вырос горб, чешуя вращалась в плоть, словно пыталась скрыться обратно в теле. Шли лососи, потерявшие серебристую свою окраску, малиновые, как садовая ягода. Шли, как орда, как речные гунны. Еще первооткрыватель Владимир Атласов сообщал в своей «скаске»: «А рыба в тех реках морская, породой особая... И идет той рыбы из моря по тем рекам гораздо много и назад та рыба в море не возвращается, а помирает в тех реках и в заводах»...

Тут всё просто, без затей: закон — тайга, медведь — прокурор, лосось — красная икра, а красная икра — это мафия.

Нехитрая пищевая цепочка, до прихода плавучих консервных заводов «Роспромсоюза» заканчивавшаяся на местных криминальных «авторитетах». Не то чтобы сжиравших всё — большей частью, всё портящих, но по-таёжному безнаказанных, разнузданных партизан приватизации. Их было некому унять.

Пока ни прибыл из столицы в специальную командировку Валериан Шаров, с погонялом Погон, — сделать так, чтобы консервированию икры никто в здешних краях не мешал...

Здешний представитель холдинга «Роспромсоюз» Алексей Зельба, из бывших советских «молодых специалистов», заведовавший в прошлом отделением института ихтиологии АН СССР, — явно не справлялся. Уголовщина правила бал по всему побережью, разнузданная и дикая, жуткая своей звериной жестокостью и первобытной силой решимости.

Это — Дальний Восток, край муссонов и круглых булыжников пустых побережий. Тут всё свое — даже растения тут не такие, как везде. Пьяный Шаров, почти сошедший с ума от сахалинского ветра, сдувающего с ног и звенящего в винтах, страшно избивал коллегу Зельбу...

— Вы не понимаете... — пытался что-то объяснить обанкротивший промыслы управляющий Зельба. — Я писал... Я просил... Я ихтиолог... Я не могу с этой уголовщиной... Я ихтиолог...

— Вот что, Ихтиандр... — по-доброму советовал Валериан Шаров, кликомый Погоном. — Ты эти совковые свои спецухи и заморочки забудь... Ты пойми, ты должен урок убить... Если ты этого не сделаешь — просто я тебя убью, вот и всё...

— Меня не учили... кадров нет у меня, убивать... Я ихтиолог... Я в Академии наук стажировался...

— Надоел ты мне, Ихтиандр, — поводил головой на бычьей шее в «цепурах» авторитет Погон. И снова внезапным хуком снизу, в подбородок, как-то лихо, по-клоунски, с переворотом, кувыркал кандидата наук Зельбу.

— Не бейте меня! — уже с плаксивой угрозой ныл местный облажавшийся менеджер долбанного холдинга, законопатившего Валеру Шарова в такую жуткую и неудобную даль, на край света. — Вы не имеете права, Валериан Петрович... Какое право вы имеете меня...

— Я не только право... — отвечал Погон, всаживая кулак обухом в живот Зельбе. — Я и обязанность такую имею... От самого председателя совета директоров, если тебе интересно...

Валера Погон врал. Председатель Виталий Совенко был из обоймы ЦК КПСС; интеллигентнейший, суховатый и корректный бюрократ, он не велел своему спецпосланцу избивать Лёшу Зельбу.

Он велел только «разобраться по обстановке», чтобы «морепродукты пошли».

Как это делает Валера Шаров, через сколько трупов? — не вопрос кремлёвского завсегдатая, главы огромного «Роспромсоюза», протянувшего шупальца от среднеазиатских республик до Ухты и от стольного града (где с его благословения гнали водку «Стольная») «до самых до окраин», о серые валуны которых разбиваются волны Тихого океана...

Никому не интересно, что тут, в устье реки Усолени, будет делать Шаров. Если «морепродукты пойдут» — миссию Шарова следует считать успешной. Если не пойдут — тогда неуспешной. И всё. Никаких иных директив или ограничений Валера не дали.

Поэтому Валера и полагал, что вправе колотить, как Арлекин — Пьеро, бедного менеджера промыслов, кандидата биологических наук за его «профнепригодность» — неумение убивать конкурентов.

Немного разбираясь в психологии, бывший студент-историк, а после — немного послуживший в милиции Погон примерно знал, что сейчас будет. Не зря же он выложил свой пистолет «Глок», пушку из особого пластика, заменяющего металл (и потому её легко пронести в самолёт), — на самое видное место. «Глок» был заряжен. Патроны были холостыми. Рано или поздно этот малахольный Ихтиандр должен был схватить пистолет и попытаться пристрелить экзекутора.

И пусть врёт потом, что не умеет убивать людей!

— По-твоему, я тут за тебя должен всё чистить?! — орал Валера страшным голосом. — А, Ихтиандр?! Я, у которого за неделю тут у вас всё тело чирьями пошло?! Да мне легче тебя за жабры взять, чмо опущенное, чем бегать по рыбацким деревушкам, твоих фаршманшиков отыскивать!

Новый удар Погона отбросил Зельбу прямо к журнальному хромированному столику на колёсиках, на котором лежал «Глок». Столик опрокинулся, осыпав неудачника Зельбу несвежими остатками завтрака Валеры, «Глок» попал прямо ему в руки...

— Положи пистолет на место, скотина! — ободряющим голосом посоветовал Валера. — Ещё шмальнёшь по мне, век не отмоешься...

— Прекратите меня избивать! — хныкал этот нытик-ихтиолог, и «Глок» плясал в обеих его руках, направленный на обидчика с крайней неуверенностью. — Не подходите! Не подходите! Я за себя не ручаюсь...

Валера изящным тюремным пируэтом поддел Зельбу носком туфли под ребра и отскочил на шаг. Зельбе было очень больно, и он весь пылал праведным гневом.

— Я сказал! Ещё раз так сделаешь, я стреляю...

— Кишка у тебя тонка, Ихтиандр...

Валера стал зловеще нагибаться, прицеливаясь кулаком прямо в глаз управляющего промыслами.

И тот выстрелил. Как и всякий истерик — не один раз, а целых четыре, со слезами и соплями, смешавшимися с сукровицей разбитого лица...

— Бах! Бах! Бах! Бах! — слушал Шаров, считая выстрелы. — И никогда Бетховен...

В маленькой каюте плавучего консервного завода с игривым именем «Консерватор» всё звенело от выстрелов, но особенно звенело в ушных раковинах. Валере ничего, он привычный, а Зельба, кажется, совсем оглох от дел рук своих...

— Видишь, какой ты молодец! — похвалил Валера, ковыряясь пальцами в звенящих ушах. — А врал — «не могу, не умею»... Всё ты умеешь, «зачёт»... Важный ты барьер сегодня переступил, Ихтиандр, первый раз в человека стрелял, во второй куда проще, братан... Только, ну и помаял же ты меня, фраер... Все костяшки мне отбил, сволочь...

— Так вы что?... — все ещё не верил перемене в шефе ихтиолог Зельба. — Специально всё это, что ли?!

— А ты думаешь, я такую размазню, как ты, впервые учу? — смеялся Шаров-Погон. — Наплодил вас совок, царствие ему небесное, жжено-мужчин, только шокотерапией и лечитесь...

— Как же вы могли... Заранее... А если бы я попал?

— Ты и попал... В меня не мог, патроны я пустышки поставил, стартовые... А попасть — попал... В команду «Роспромсоюза», братан! Круто попал! Теперь только тебе остаётся всего ничего, оправдать высокое доверие...

— Так вы знали, что я схвачу пистолет? Специально выложили? И к нему меня подпинавали, да?

— Ты, братан, пойми, Ихтиандр недоделанный... Не могу я у тебя тут долго на бутербродах твоих с икрой сидеть, тошнит меня уже от одного вида лососины... Сегодня, мать твою, два новых фурункула на спине вылезли, потому что у вас ни воды, ни воздуха, а сплошная воздушно-водяная смесь... Ты чё думал, я с тобой походы пионерские устраивать буду на сопку вулканическую?!

— Зачем же было так бить?

— Да я же вначале лещей сажал по ланитам твоим румяным, бабьим... Ты не заводишься, пришлось посильнее... Да ты не думай, Ихтиандр, я тебя не по-настоящему бил... Мы бы сейчас не разговаривали, если бы я в полную силу... Понимаешь? У меня в РПС только официальная зарплата в месяц — больше, чем у тебя в год... Как думаешь, Ихтиандр, платили бы мне столько у «папы», если бы я таких доходных, как ты, с одного приёма не мочил бы?

— Думаю, нет...

— Вот, видишь, в понятиях-то ты маленько расширился... Не зря я в самолёте сутки пердел, пока в вашем аэропорту сраном не вытряхнули...

— Что же мы теперь будем делать? — осторожно поинтересовался Зельба, возвращая столику прежнее положение и выкладывая хозяйский «Глок» на прежнее место.

— В общем так, Алёша! — гипнотически взглянул на провинциала Зельбу столичный гастролёр. — Я два раза повторять не буду, поэтому слушай внимательно... Поскольку твои местные быки оказались горбатыми зебу и антилопами гну, я тебе привёз своих быков. Будешь с ними посещать местное



великосветское общество... Запомни, Ихтиандр, бык двух вещей не делает: не говорит и не убивает. Понял? Если бык хайло раскроет, то он твой авторитет уронит. Да и мозгов у него нет, базар держать перед братвой... Поэтому даже самый хороший бык — молчит, когда ты говоришь... А ты всегда говоришь, понял? Роль у тебя теперь такая, про академии свои и ихтиологии забудь... Бык не убивает, потому что это будет по беспределу... Драться бык может, но без этого... как его... летального исхода, понял? Ну, а если валить надо — это собственноручно делай. Я понятно объясняю? Когда, Ихтиандр, ты станешь мальком поавторитетнее, заведёшь себе мокротёра. Это я на тот случай, если самому невогугу станет... Счас пока в твоём штатном расписании мокротёра не полагается, не в таком ты весе, Ихтиандр, чтобы чистильщика с собой на поводке водить гулять! Где увидишь говно — там сам и почишишь...

— Но не могу же я... со всеми местными авторитетами...

— Можешь, Ихтиандр, можешь, доказал... Ещё раз тебе подчеркиваю — учти, мля, — быки не мочат, а то все в крови захлебнётся! Бык нужен, чтобы за твоей спиной стоять, пока ты рамсами в людей кидаешься, и всякую шушеру от тебя отгонять... Кулаками там помахать, словам твоим кивнуть — больше они у меня не обучены, и не надо их учить... ихтиологии твоей всякой...

\*\*\*

Плавучий рыбзавод «Консерватор» шёл на средних ходах вдоль прямого, словно резаного, берега океана. Вышел из Пепрмонска и держал курс на Лаперузово. Иначе говоря — из ниоткуда в никуда, из одной дыры в другую.

К великому, плохо скрываемому неудовольствию капитана Серёгина, всё ещё откликающегося только на «товарищ капитан», — Погон развлекался стрельбой по жирным и одурелым с лососины чайкам.

— Примета ему плохая... — ворчал пьяный с утра Валера на капитана. — Чаек стрелять в море... Тут у них уже все плохие приметы на свете сбывались давно...

Повидал Валера Погон Россию — разную, но такой, как в Пепрмонске, поселке устья Усолени, — удивился. Немыслимым было это смешанное русско-корякское убожество, в зыбких туманах с моря, в гнилых, раздутых вечным ветром хибарах. Невыразимо оно было словами, и даже на плоскости фото — таким, как в жизни, страшным не показалось бы...

Не знали эти края ни надежды, ни будущего, ни вообще связной мысли никакой. День прошёл, пропит — и ладно. Лосось пришел — всяк его заготавливает, как умеет, солит, квасит, вялит и снова квасит — и тем живет. Чем тут ещё жить? Чеснок — и тот не растёт...

Валера Шаров тосковал. Ему казалось, что, застряв в этой «командировке в преисподнюю», он или досойдёт с ума (немного уж и осталось), или окончательно сопьётся (тоже уж рукой подать!).

— Дарагие рассияны! — говорил Валера, старательно имитируя грубый и гнусавый голос Ельцина, и с надеждой спрашивал у Зельбы: — Ну как, похоже?

— Похоже! Один в один! — хохотал Алексей, многому научившийся в эти дни. — И не отличишь...

— Опасная роль... — жаловался Погон. — Пока войдёшь в неё — не одну бутылку выпить нужно, а мне здоровье уже не позволяет...

Они не просто баловались с вошедшим в криминальный оркестр ихтио-

логом. В их планах работы с местным «великосветским обществом» голос Ельцина был едва ли не ключевым звеном всего замысла...

Валера Шаров привёз с собой из Москвы целую кипу золотых, без про-света, генеральских погон. К этим погонам прилагалась купленная в московском магазине книга Бориса Ельцина «Вернуть народу». В книге была фотография президента-алкаша, и прямо поперёк неё Валера своим размашистым почерком ставил дарственную надпись — якобы от автора...

Откуда местным икорным царькам, вожакам деревенских банд, знать почерк Ельцина?

Каждый бандит в каждом рыбацком посёлке приглашался на стрелку в местную тошниловку (ибо куда ещё), где-то гордо именовавшуюся рестораном, а где-то остававшуюся рабочей старательской столовой.

Каждому бандиту вручались, якобы с самого верха, генеральские погоны, книга Ельцина с дарственной надписью. После обещания содействия предлагался сеанс спецсвязи с «самим» (на самом деле — ждущим в пьяном виде на судне «Консерватор»). Итогом служило клятвенное обещание «верхов» «прямо-таки из Москвы» поддержать местного авторитета и помочь ему подмять под себя весь край.

— Всё твоё будет... — обещал «Ельцин» по телефону очередному деревенскому гангстеру и добавлял имя-отчество собеседника. — Помоги там моим ребятам разобраться, панимаишь, со всякой мразью, беспредельщиками, и всё в твои руки отдам... Губернатором станешь, вот увидишь, всё в твоих руках будет! Погоны генеральские тебе передали уже? Ну вот, на днях приказ будет опубликован, что ты генерал уже («такой-то такой-тович», естественно), но поработать придётся — расчистить берег... Для себя старайся, не для меня, я далеко, а берег твой будет...

Деревенские бандюки впадали сразу и в прострацию, и в эйфорию. Психолог Шаров знал, что каждый лидер даже самой маленькой бандочки — всегда страдает параноидальной манией величия. Нет такого бандита, а особенно в загопье, которого удивило бы обращение лично к нему президента; наоборот, любой спросит — чего же вы, ваше величество, так поздно меня заменить изволили? Я давно уж, ваше величество, тут царь и бог, и без меня вам этот край не обуздать...

— Ну, давай посмотрим, что у нас на сегодня... — предлагал Погон вечером, доставая из влажного ящика стола такие же влажные бумаги отчетности.

— Михай клюнул и поехал на разборки к Резо, — рапортовал ихтиолог Зельба. — А Резо позавчера ещё клюнул и нагрубил Михею... Они поспорили...

— Кто кого? — лениво закуривал Шаров.

— Михай завалил Резо... А к вечеру Манул уже завалил Михея... К Манулу на разборки едут люди Корня, типа чё за дела...

Шаров, вычеркивая клички из своего машинописного списка, интересовался, как заправский технолог:

— А этого, Корня, мы одарили?

— Ещё нет...

— Ну и хорошо... Корень ни во что не врубается, думает, что у Манула крыша поехала, и решил тот всех убрать, участки делённые переделит, ни с того ни с сего... Манулу звони, говори, что наша бригада его поддержит категорически, и придётся Корешку идти на тот свет без книжки с дарственной президента... бедненький...

В Лаперузово, параллельно тому, как Манул прищучил и доставил оборзевшего Корня, Валериан Шаров слёг. Не оттого, конечно, что жаль ему стало заскорузлого рецидивиста Корня, или стыдно за хитрозадого, пронырливого Манула, сочинского каталу, явно перепутавшего климатические пояса...

Валера Погон умирал. Было смешно при его работе, при его командировках, призванных «повысить квалификацию» бандюков на местах, — умереть в больничной койке, но это становилось, как говорил сам Валера, «объективной реальностью».

Большая икра пошла, как выражались в здешних краях, на материк. Холдинг получил отчётность о 300% прибыли «по сравнению с предыдущим периодом», что записала в отчете шефу супруга Погона, вампириша бухгалтерии РПС Ева Шарова.

«Радует, сучка, — почему-то со злобой думал о жене умиравший Шаров. — Конвертирует весь здешний ад в колонки цифр, в нолики банковских счетов, и ликует...».

Да и неудивительно: икры в этом краю в путину было столько, что большая её часть сгнивала, шла на корм воронам и медведям, отравляла речную экологию вместе с лососиной, устилавшей все берега и вонявшей нестерпимо. Вместе с икрой приходила сюда беспощадная жирующая смерть: отнерестился — сдохни... Пришла она и к Валере.

— Типичный случай! — сказал бригадир Зельбе, бывшему ихтиологу, усталый врач в больнице Лаперузово. — Гнилая лихорадка... У нас не то море, на которое ему следует в отпуска ездить...

Гнилая лихорадка — северная сестра хорошо знакомой экваториальным путешественникам жёлтой лихорадки. Она, если честно, хуже. На юге даже и болезни какие-то красивые, романтические. А здесь, на краю земли и холодного Океана, просто гниешь заживо, и никакой романтики...

Ева из столицы телетайпировала в местную рыбконтору «Роспромсоюза»: *«Огорчена твоей болезнью. Высылаю спецрейсом ящик бештарских лимонов. Но главное лекарство — быстрее заканчивай дело, за которым послали, и домой».*

Легко ей рассуждать ТАМ, в шикарном офисе! ТАМ, где лёгкий шёпот кондиционеров и свежее дыхание ионизаторов воздуха, где даже в туалетах голубая керамика и хромированные полотенцесушители, и пахнет клубникой, потому как — ароматизаторы в унитазах...

А здесь гул ветра, от которого не защищают ушей даже самые толстые стены, вой океанской вечной бури... Кто додумался назвать этот Океан Тихим? Какое издевательство над здравым смыслом!

В здешних сортирах дерьмо откачивают помпой. Поносишь с проклятых морепродуктов на корточках, на белых фаянсовых ступнях, похожих на следы снежного человека... Кафель советский, наивный, как в детском саду, с весёлыми морячками, улыбающимися построению коммунизма, якоря на кафеле — и те несерьёзные... Часть плиток отвалилась, выглядывают квадраты серого цемента... Рыбой воняет беспросветно, так воняет, что, как луковая вонь, этот амбре начинает разъедать глаза...

Рыбконтора — двухэтажный панельный пенал, набитый советской ещё мебелью и разными тематическими мозаиками на стенах: освобожденные рыбаки под красными знамёнами низкохудожественно машут сетями от радости, встречая алое солнце над кромкой Океана... Эх, безвестный худож-

ник и его кремлёвские вдохновители, знали бы вы, какой мразью окажутся «освобождённые рыбаки» — грубое и рваческое браконьерское отродье! Небось, не такие бы мозаики складывали из цветного стекла!

Здесь жить нельзя, — думал Шаров, — только умирать и зашибать бабки... Прочистить каналы для икры, для лосося, и лететь уже транзитом через рай обратно — похмельно блевать в пахнущие клубникой элегантные финские унитазы...

Легко сказать — прочистить...

Местные бандюки не столько даже страшны своей злобой, сколько своей тупостью. Это самые примитивные, первобытные варвары, до начала времен, до возникновения государства. Они враги собственному благополучию, своими браконьерскими кустарными промыслами убивают край и разоряют самих себя. Как им объяснить на понятном им языке, что они не правы?

\* \* \*

Так плохо, как здесь, Погон никогда не выглядел, даже после ранений. Его всё время рвало липкой зелёной рвотой, устойчиво держалась температура 37,8, не сбиваемая никакими лекарствами. Валера постоянно был, словно на морском пирсе, усыпан брызгами: но не морского прибоя, а собственной испарины. Он таял, провисал на костях, гнил изнутри, в голове, казалось, сбрасывали бормотуху. От постоянной потливости волосы легли, словно под бриолином...

Из кабинета директора конторы Зельбы Шаров перебрался вниз, в просторное фойе, приказал там поставить кресло посolidнее, возле которого, скрестив руки, постоянно дежурили два сменных быка — словно дневальные солдаты возле пресловутой казарменной тумбы со знаменем.

Начитанный в детстве Шаров вспомнил, что в сырости джунглей сушат нутро кубинскими сигарами, — и приказал доставить ему коробку. Конечно, Лаперузово расположено далеко не в джунглях, но сигары немного помогали, к тому же — придавали солидности. Курить, как паровоз, Шаров начал именно после этой командировки...

Погон, наверное, удивился бы, если бы узнал, насколько удачным оказались его вынужденные меры. Возник кинематографический образ «крестного отца мафии» — именно такой, каким его и видели жалкие провинциалы.

Только здесь забытая миром деревенщина способна была не заметить в упор, что стальной костюм с искрой, якобы немнущийся (как ввали при покупке в столичном бутике), — весь помялся. Только здесь видели сигару в зубах — и не слышали горло-носовое предсмертное влажное хлюпание, объясняющее сигару, как лекарственное средство. Только здесь видели глаза Валеры Шарова — умные и жестокие, — не замечая, как обвисли его подглазья и какой страдальчески-землистой стала его кожа...

Конечно, в термом Питере или бывалой Одессе такой номер бы не прошёл; но Лаперузово — земля дешёвых эффектов, и позёр Валера Шаров подходил к ней, как ключ к замку...

\* \* \*

В лаборатории закрытого уже института кое-что осталось. Например, белые мыши и белые крысы — их ещё держали в клетках и подкармливали несвежей лосося, хотя никакие опыты давно не проводились...

Погон распорядился забрать самых крупных белых розовоносых крыс,

доверчиво любивших всякого человека и охотно ползавших по рукам и плечам, вынюхивая себе гостинец. С клеткой, полной крыс, он поехал в единственный салон ритуальных услуг «Весна» проклятого городка и заказал его хозяйке большой гроб. Мелочиться не стал, велел оформить самый дорогой — потому что он самый крепкий, с толстыми бортами, а Погону именно такой и был нужен.

— На уровне половых органов, — мрачно сказал Валера хозяйке ритуальных услуг, — пусть ваш столяр просверлит дырку вот такого примерно диаметра... — И показал на пальцах примерный размер.

— Боже! — ужаснулась хозяйка, неожиданно-молодая для здешних краёв и такого бизнеса. — Что вы собираетесь делать с покойником?!

— Жизни учить... — мрачно ответил Валера. — Вам не всё равно? Делайте, как говорят...

Ему снова стало плохо, он торопливо вышел и возле мусорных бачков, привязанных стальным тросом, чтобы их не спарусило сахалинским ветром, долго, истошно блевал. Забрызгал свой бликующий под тусклым солнцем пиджак, в котором казался на этом берегу штормовок и свитеров инопланетянином, изнемог, еле поднялся с колен.

Хозяйка ритуального салона «Весна» (судя по названию, местные очень радовались приходу смерти) стояла рядом. Смотрела недоуменно и сочувственно на странного москвича, который поблевать с похмела — и то с охраной на хвосте ходит...

— Послушайте... — сверкнула золотым передним зубом, придававшим её в целом миловидному личику разбойничье выражение, — для половых игр с покойниками вы слишком слабы... Может, вам предложить что-то более традиционное?

— Как зовут? — утирался Валера тонким платком с монограммами из колледжа супруги Евы.

— Алёна. А вы, наверное, командировошный из «Роспромсоюза»?

— Неужели обо мне так много говорят?

— Нет, просто у нас очень мало приезжих. Чужие тут не ходят. Только если как вы вот, с охраной...

— Валериан, будем знакомы... Болею я тут у вас...

— У нас вначале все болеют.

— А потом?

— Или умирают, или выздоравливают. Привычка — страшное дело, Валериан, — смеялась Алёна, принцесса мертвецов. — Скажите спасибо, что ещё гнуса не сезон... А то у вас была бы малярия в подарок к вашей гнилой лихорадке...

— Ты, Алёнка, наверное, всех местных урок знаешь?

— А куда они мимо меня пройдут, единственный магазин гробов на город, сам подумай... Для блатоты гроб — товар повседневного спроса и первой необходимости...

— Ты им скажи, Алёнка, чтобы все приходили за баблом в контору «Роспромсоюза»... Я ведь всё равно их накормлю, или баблом, или земелькой, так что пусть уж не волындаются... Плохо мне тут, Алёнка... А раз мне плохо, то им будет гораздо хуже!

— Складно заливаешь! — ничуть не испугалась гробовая девка. — Но, столличный кент, здешний «берег слоняющейся кости» кто только учить не брался... монархисты, коммунисты, демократы... Все на кладбище нашем побригадно в линеечку вытянуты...

— Ты мне в гробу дырку пропили, где сказал, а там посмотрим, кого вытянет...

— Очень интересно мне знать, зачем тебе такая дырка?

— Сама-то как думаешь?

— Думаю, что вампир ты московский, в гробу спишь, а х... ночью встаёт, в крышку упирается...

— Бедная у тебя, Алёнка, фантазия, деревенская! Ты, если так уж хочешь знать, приходи в офис «Роспромсоюза», покажу я тебе, для кого такие почести готовлю...

\* \* \*

Бывшего авторитета Корня бригадные качки Баян и Матрас положили в гроб в наручниках, застегнутых за спиной. Корень кривлялся, извивался, пытался вывернуть руки, потому что неудобно положили, что-то мычал маловразумительное: да и что скажешь вразумительного, коли кляпом рот забили?

— У меня всегда в кармане отвёртка лежит! — откровенничал с мычащим молчуном Валера Шаров. — А зачем, как ты думаешь?

Корень не знал, только мучительно косил глазами, вывернув шею, вбок, чтобы видеть Валеру, восседающего в кожаном кресле, самом дорогом на всём Лаперузово. Валера и рад был бы не тянуть, но жёлтый, гнойный, всхлипистый кашель разодрал его, как занавесу в храме.

Шаров трескался в этом кашле, как сухая берёзовая чурка под колуном, и одновременно хлюпал носом. Внутренние ощущения Погона были такими, как будто его вогнали рожей во влажную вонючую болотную тину, и дышать кое-как можно, только очень тяжело: с пузырями через фильтр сапропели дышать-то приходится...

Глядя на быков, традиционно молчаливых, на Баяна и особенно Матраса, — Валера видел, что и они тут не жильцы. Как ни странно, здоровее всех, несмотря на пепельную бледность и богатую мимику, выглядел кочевряжащийся в гробу Корень.

— Сигару! — приказал Погон и вспомнил, что обещал рассказать Корню про отвёртку из кармана: ему же, наверное, интересно узнать, в его-то положении...

Однако не всё сразу, милый друг! Надо сперва карманной гильотинкой срезать толстый кончик сигары (а ты пока подумай, что на его месте мог бы быть твой палец), раскурить как следует от толстой охотничьей спички, сыроватой, как и всё в этом рыбном раю — человечьем аду...

Густой и пряный сигарный дым Доминиканы пошел в носоглотку, с ним стало полегче дышать в промозгло-тухлой атмосфере выстуженной бани — атмосфере тихоокеанского побережья.

— Так вот, отвёртка... — вернулся к начатому Шаров, и заметил, что Матрас сейчас грохнется в обморок. С трудом поднялся из глубокого, цепкого кресла и, попыхивая сигарой, подошёл к Матрасу. Легким жестом, чтобы Корень не видел, указал — «выйди». Матрас уковылял из фойе, сразу же за двойными дверями послышался его натужный хриплый и хлипкий кашель.

— Если кто не сильно виноват, — объяснял Шаров Корню. — То я его этой отвёрткой могу пырнуть... Отвёртка лучше ножа, ты уж мне поверь, Корешок! Она легче на пробой, и никакие мусора не докопаются, как до холодного оружия... Когда нас с пацанами в ресторане «Яр» в Вышневолоцке брали — меня сразу выпустили, за электрика приняли... ха-ха-ха... — Смех перешел

в натужный чахоточный выверт лёгких, и Валера решил поменьше забавлять нового друга воспоминаниями бурной молодости.

— Но тебе, Коря, это не грозит, не думай! — мрачно пообещал Шаров. — Это ведь кто не сильно виноват, а ты сильно... Тебе пузо дырывать — что комара на слона посылать... Таким как ты отвертка моя иначе служит! Я ей шурупы на крышке гроба завинчиваю, понял?!

Бык с погонялом Баян приподнял крышку гроба с одного конца. Поскольку быка Матраса Шаров сам же и отпустил, с другого конца ему пришлось взяться самому. Корень в гробу проявлял крайнее беспокойство и колебал свою усыпальницу, словно взбесившийся тюлень, или рыба, колотящая хвостом в ведре без воды...

Валера закручивал шурупы: сверху, потом снизу. И продолжал предсказание будущего для рыбьего вора:

— Ты, Корень, не бойся, тебя не заживо закопают! Так бы ты часами лежал, задыхался, а я к тебе в дырку крысу специальную спущу, обученную, как у старухи Шапокляк! Она тебя жрать начнёт с пиписки, там мягче, а дальше — где ей вкуснее покажется... Не бойсь, она у меня профессионалка, обглаживает знатно... Так что готовься к последнему минуте в своей сладкой жизни... Следующий будешь делать уже ты, черту в аду...

Новый тяжелый оплыв-отек лёгких. Малодушные мысли о смерти, о нестерпимости этой муки, а ведь мало тут разговоры разговаривать, нужно ещё и дело делать! Работать нужно в состоянии, за которое другим больничный лист дают! Ну, не сука этот Корень, до такого довёл?!

Ему, судя по звукам, тоже там, в темноте не сладко. Крепкий мужик, но на экзотику не развитый, воображение-то сельское, бедное. Шатает гроб так, что, кажется, убежит отсюда прямо в нём: методом кантования ящиков. Мычит таким тоном, словно бы отелиться решил...

Шаров, авторитет Погон, достал из ажурной советской клеточки крысу по имени Матрёшка, добродушную беляну с розовыми хвостом и носиком, доверчивую и дружелюбную. Если бы Корень её видел при свете дня — хрен бы испугался: очень уж она добренькая на вид!

Матрёшка забавно дёргала усиками в руке Шарова, словно маленькая собачка «служила» лапками — надеясь выклянчить кусочек сыру. Менее всего на свете Матрёшка была предназначена кушать человечину. Но Корню во тьме гроба об этом знать необязательно, так ведь?!

Валера запустил лабораторную мученицу науки в пропиленную посреди крышки гроба дыру. Крыска упала на ширинку Корню, и, осваиваясь в темноте, засеменила лапками по телу бывшего «авторитета»: её манил запах сыра, кусочком которого Шаров перед воспитательной беседой потёр кое-где в гробу...

Почувствовав, что специально обученная крыса-каннибал уже спешит на пиршество, урка по кличке «Корень» умудрился выплюнуть надёжно вставленный кляп. Как потом выяснилось, ему для этого потребовалось вывихнуть челюсть, но он это сделал — ради возможности издать звериное и немыслимое по накалу драматизма:

— А-а-а-а-а!!!!

Гроб под тюленьими ударами боков урки заходил ходуном, как в старом фильме ужасов, а потом потерял равновесие на табуретках и упал на мозаично-плиточный пол в фойе. Хотя гроб и был толстостенным, он явно не предназначался для столь активных покойников, и от удара углом раскололся, растопырил доски в разные стороны. Динамичное и визгливое «А-а-а-а-а!!!!»

стало более громким, близким, отчётливым, а оглушенная им крыска Матрёшка выбралась на свет божий и очумело озиралась. В её розовых глазках-бусинках явно читалась обида: мол, пахло сыром, а внутри та-а-а-кое!

— Ты посмотри, какой гад! — пожаловался Валера Баяну. — Ты посмотри, какая мразь... Путину нам срывает, хамит нашим уполномоченным, гроб нам сломал, зверя ученого до нервного срыва довёл! Возьми Матрёну Иванну, Баян, и успокой...

Баян не мог взять Матрёшку: он вдруг совсем позеленел, как давно не чищенный медный памятник, и стал зажимать рот. При этом щёки его надувались, как воздушные шарики на баллоне с гелием.

— Пошёл вон отсюда! — рассердился Погон, недоумевая — что это поблудило вдруг стойкому оловянному солдатику его бригады?

Параллельно из гроба выбирался Корень. Он сломал себе большие пальцы и вытащил за счет этого кисти рук из наручников. Он был весь седой, вырываясь из-под расщепленной лакированной крышки. И, несмотря на то, что остался с врагом один на один — не помышлял о сопротивлении.

— Не надо... Валериан Петрович... Не надо... Я всё понял... Я въехал... Я буду... Я не буду...

Корень обнимал Валере ноги в гладких, с отливом, брюках курортника и думал только об одном: не оказаться снова на процедуре «крысинный минет»...

— Это репетиция была, Корешок! — через тягучие хлысты кашля выдавил Валера Шаров. — Для тебя генеральная, то есть — последняя. Теперь давай хлопнем по стаканчику джина «Сапфир-Бомбей» и поговорим, как мы дальше будем...

Разливать джин боссу — несолидно. Разливать его жертве — дохлый номер, Корня колотило так, что он расплескал бы всю бутылку, стоящую, между прочим, две учительских зарплаты. К счастью для Погона вернулся немного оправившийся Матрас — он и взял на себя миссию разлива «рюмок мира»...

Корень пил, лягая зубами о край стакана так, что Шаров подумал — расколет тару! Приходил в себя долго, нудно клялся в понятливости по поводу икры, лосося, путины и по жизни вообще.

Понимая его состояние, Шаров рискнул предъявить дураку удостоверение генерала ФСК — бывшего КГБ, будущего ФСБ. Удостоверение самому Валере не нравилось: он купил корочки в подземном переходе, где торгуют дипломами и наградными книжками, и они были сделаны топорно. Например, печать не ложилась на угол фотографии Валеры в генеральских погонах (продукт фотошопа). Да и как могло быть иначе, если продавали корочки без фотографии, по принципу клей сам? И другие там были сбои в геральдике.

Однако в состоянии крайнего аффекта у деревенщины с семью классами образования — липа Шарова могла прокатить за натуру. Так и получилось в этот раз — меньше всего после крысы в гробу и грозных слов «генерал федеральной службы...» Корень был склонен рассматривать конфигуристику элементов защиты документа!

— Ты, Кор, пойми! — дружески приобнял уголовника Шаров. — Ты, если с нами будешь работать, встанешь на путь исправления — ты же в три раза больше прежнего иметь будешь! Нам бабки твои не нужны, нам с Борисом Николаевичем бабки на монетном дворе печатают... Ты води себя по-людски, чтобы икра уходила на наши консервные заводы, больше ничего не нужно! Понимаешь, дурачок?! Надо чтобы икра шла — в Москве икру любят,



понимаешь? Опять же, валютно-экспортная статья, понимаешь, во что ты влез и влип? Будешь с нами работать — не обидим! Всё у тебя будет! А поведешь себя, как давеча, наемни-то, хамлом, — не будет у тебя ни х.., Корень, в прямом буквальном смысле! Х.. твой крысам скормлю, ты меня понял?!

\* \* \*

— А, и ты здесь? — недобро зыркнул начальник криминальной милиции городка Лаперузово Игнат Сергеевич на гробовых дел мастерицу Алёну Груздёву. Алёна как раз замеряла ущерб, прикидывая стоимость починки разбитого гроба в рублях. С гиперинфляцией середины 90-х годов это было весьма непросто...

— Чувствую, бурная ночь была у покойника! — смеялась чертовка. — Аж мебели не выдерживают...

— Игнат Сергеевич! — радушно раскинул руки Шаров, вставая навстречу гостю со своего импровизированного трона. — Наконец и вы почтили вниманием... Очень рад, а то волновался: все пришли, а Игната Сергеевича всё нет да нет... Мы ведь предприятие-то градообразующее, Игнат Сергеевич, с нами нужно пообходительнее быть...

— Если бы не это, — мечтательно вздохнул подполковник Игнат, — ноги бы моей в твоём вертепе не было! Выкладывай, Погон, зачем я тебе понадобился, а то дел в конторе много...

— Ну, как это вы так... сразу... Погон... Кому Погон, а вам Валериан Петрович, до решения суда, по крайней мере... Понимать нужно... И зыркать на меня не стоит, одно дело делаем...

— Я с вами, урками, одно дело никогда делать не буду! Я вас, урок, своими руками передавил бы всех, если бы указивка сверху была...

— У-у, какой вы... опасный... Только не учли, Игнат Сергеевич, что и я вас, *урок*, тоже ненавижу! Наш холдинг «Роспромсоюз» был центральным при попытке сохранить СССР, пока такие как вы, конторщики, приказчики в лавках, указивок ждали...

— Да? — удивился подполковник Игнат, явно узнав для себя что-то новое и неожиданное.

— И теперь уж поздно указивок ждать, Игнат Сергеевич, некому и неоткуда их слать... Профукали державу, обосрались, а теперь в чистюль играете?! Не надо со мной в такие игры... Я сюда урок давить прислан! Чтобы был ваш поселок под крылом сильной компании, как раньше, как в Советском Союзе, чтобы все одного работодателя имели и знали, на кого рассчитывать, на кого опереться! Сами-то не устали, с этой семипаханщиной?!

— Устали. О том и говорю. Да ещё и вас восьмого прислали.

— Вот и зря вы сердитесь. Я вам берег почищу. Я же чужак, мне всё бирбар! Я приехал, и я уеду, а вам тут жить... Мне за семью, за родню трястись не надо, прокурорских санкций не нужно, и судебных решений не обязательно... Только вы и я: говорите, кого убрать, я убираю и исчезаю, а вы на чистом берегу живете, и на икре зарабатываете... Люди хоть зарплату получать будут, вы посмотрите, до чего вы их тут довели?

— Я довёл?!

— А кто, я что ли?! — шёл в атаку Шаров. — Вы тут развели этот бардак, да ещё и морщитесь, когда чужие смотрят... Ну, понятно, в наше время благородных мстителей без оплаты не бывает, и вы должны понимать: икра идёт только «Роспромсоюзу» под руководством Виталия Совенко. Нам, чтобы порядок держать — тоже кушать нужно, думаю, осознаёте?

— У меня райотдел милиции полгода без зарплаты сидит! — пожаловался Игнат Сергеевич. — Ребята кто чем промышляют, а я и пресечь не могу: не на что...

— Теперь будет на что, Игнат Сергеевич! С нашим холдингом всё вам будет — но в обмен на икру. Выжить надо, продержаться, а там, глядишь, и времена изменятся... Только, Игнат Сергеевич, без нас-то они не изменятся, чуете? Мы вначале *быть* должны, выжить — а *какими* нам быть — после решим, разберёмся на свежую голову...

— Вы выступали за сохранение СССР? — уточнил подполковник очень важную для него вещь.

— И выступал, и со взрывчаткой стоял, чуть на воздух не взлетел, когда союзный договор готовили... Только, Игнат Сергеевич, я и сейчас выступаю... Вы что, думаете, мне или Совенке икра эта треклятая обожраться нужна? Нам сейчас урок не уничтожить — значит, придётся их возглавлять! Я тут вчера одного вашего в гроб положил...

— Наслышан, наслышан...

— Это вы должны были класть, но вы же полгода без зарплаты, ослабели, видимо... Так что я за вас кладу... На деньги «Роспромсоюза»... Будь моя воля — я бы эту мразь так бы и закопал, чтоб дышалось легче... Но нужен он пока, что поделаешь, нужен... Когда они у нас все в кулаке будут, Игнатий Сергеевич, мы найдём момент шейку-то им переломить, понимаете мою мысль?

— Кажется, начинаю понимать... Вы извините, что так сразу, с ходу, с порога...

— Прекрасно вас понимаю! Но теперь, думаю, мы нашли общий язык! Государство встанет из гроба — когда мы всех этих блатных-поганых через гробы с крысами пропустим, чтобы как шёлковые были! Объясняю политику партии на сегодня: икра — это деньги, деньги — это власть. А власть должна быть в руках нормальных людей, а не этих ваших вчера откинувшихся магаданских да колымских чертей!

Валера, расчувствовавшись, хотел показать своё удостоверение генерала спецслужбы, но передумал: подполковник не Корень с тюремной шконки, то, что в корочках — липа, сразу прочухает... Но и без удостоверения Шаров чувствовал, что нащупал в беседе верный камертон. Валера был социальным полиглотом — он владел языком остатков советской власти не хуже, чем языком уголовников.

Такие задушевные беседы на мокром каменистом берегу Тихого океана Погон вёл уже не в первый раз. Он обещал за содействие восстановление державы и достоинства народа тому, кому этого хотелось...

Обещал — с такой же лёгкостью, с какой он другим обещал милость Ельцина или большое бабло. В холдинге РПС Шаров работал не первый год и овладел — в общих чертах — техникой искушения людей, необходимой, чтобы на них зарабатывать.

Понятно, что его супруга, Ева Алеевна Шарова, некогда затащившая его на этот бизнес-олимп, владела искусством манипулировать куда тоньше, Валера на этот счет не обольщался. Однако для Лаперузово, заштатной дыры, забытой и брошенной, Валериного уровня манипуляций вполне хватало.

Конечно, Валера не был членом советского подполья, как не был он и матерым рецидивистом, крёстным отцом мафии или специалистом по нересту лососевых. Валера был в реальности только тем, кем был: коммерческим «командировочным», которого прислали решать проблемы акционерного предприятия.



Зельба пятерым криминальным авторитетам, снабдив своё обещание погонами из военторга, книгой из «Книгомира», автографом Шарова, выданным за автограф Ельцина, и телефонным разговором с Шаровым, пародирующим голос Ельцина...

В итоге за неделю четыре из пяти авторитетов ушли в мир иной, активно помогая в этом благом деле друг другу. Пятый, который тоже всем коллегам «помог», — узнал, что крысы тоже делают минеты, и с этим знанием сразу дожил до седых волос...

А был и шестой, везунчик, господин Манул, — он-то и выиграл больше всех, потому что в паучьей банке, вдохновлённый посулами лже-Ельцина и поддержкой действующих генералов отменённого КГБ, — уколошил лишних в игре и лёг под «Роспромсоюз».

И уже оценил, что это выгоднее скачек «свободного радикала», в краю, облюбованном откинувшимися с магаданских лагерей...

До приезда Валеры у местного управляющего заготконторой РПС господина Зельбы не было ничего, кроме диплома о степени кандидата наук и кабинета, напоминающего директорские в бедных сельских школах. Теперь в руки «повысившего квалификацию» Алексея Зельбы Шаров вложил колоссальную власть — над администраторами, ментами, ворами в законе и без закона. Местному населению всюду обещались достойные зарплаты и новые рабочие места.

Конечно, это был только трёп. Валера никакого права голоса в кадровых вопросах холдинга не имел, как не имел и понятия о планах по расширению штатов.

Валера и сам был взят сперва только лишь потому, что Еве, тогда ещё не Шаровой нужно было изобразить замужность. И Валера, человек, «по кике» залезший в топ-менеджеры, казалось бы, не имел никаких прав раздавать обещания о новых рабочих местах...

Но на самом деле всё сложнее. Если бы вы спросили господина Совенко (хотя он не стал бы с вами разговаривать) или более коммуникабельную хитрую бестию Еву Шарову — то узнали бы, что у Шарова есть права обещать кому угодно и что угодно...

Обещать — но не давать. Шаров может целому посёлку обещать трудоустройство, но не может принять на работу ни одного, даже самого завалященького, работягу... Такова жизнь, друзья мои, и не только в середине 90-х, а вообще...

Потому что единственная реальная вещь — баночки с икрой. Всё, что вокруг них — галлюцинации, вызванные курением то анаши, то фимиама...

\* \* \*

Москва поздравила «командировошного» с тем, что плавучие консервные заводы холдинга заработали в полную загрузку. Тот тромб — между кобрами типа «Консерватора» и верховьями узких мелких рек — оказался пробит, икра больше не уходила «на сторону»...

Ева Шарова телетайпировала мужу (в заготконтору входящего во вкус Алексея Зельбы), что комиссионный процент с «дела» уже начал поступать на её счет, как законной супруги господина Шарова... Видимо, Ева предлагала порадоваться...

Манул очутился у Зельбы первым замом и теперь интересовался — не убивают ли в Москве наколки с рук, а то неудобно ему вдруг стало...

Чем лучше шли дела у холдинга — тем хуже становились дела Шарова.

Южанин из Бештара, что южнее Дагестана, родившийся и выросший под сенью гранатовых деревьев, кидавший в школе вместо снежков зелёные тугие грецкие орехи, валяющиеся мусором под ногами, — он умирал в тихоокеанском приполярном климате, на зудящем неумолчном ветру, когда-то и самого Беринга сгубившем...

Столичное начальство по этому поводу выражало беспокойство между делом, засыпая инструкциями и формами отчётности. Снова и снова чувствовал Шаров, сколь призрачен он сам, сколь реальны баночки с красной икрой, растворяющие его, как краску — ацетон...

Гнилая лихорадка метастазировала: из дёсен выделялась кровь, много крови, не помогали ни чеснок, ни лимоны, потому что не о цинге речь: омертвление тканей. Суставы локтей и коленей разбухли, ныли, болели...

Эти проблемы смешным образом прибавляли Шарову величия в работе с местным криминалом: болезнь заставляла его вести себя, как босс мафии: меньше двигаться, реже раскрывать рот, хранить загадочное молчание и морщиться непонятным собеседнику мыслям...

А спасительного вызова из столицы — о возврате из длительной командировки — никак не приходило...

\* \* \*

И тогда Шаров решил играть со смертью так же, как он играл с местными авторитетами: на понтах. Алёна Груздева, с которой он сходилась всё ближе и ближе, сверкая своим золотым зубом, тёртая, но ещё молодая, единственная, кто в этих краях мог хотя бы с натяжкой считаться женщиной, а не монстром женского пола, — дразнила его:

— Загнёшься ведь, Погон... Айда, покрещу тебя местным кропилом... Здесь тем, кто из России приезжает, не жить, если их утёс Эддибай не примет... Поплыли со мной, покажу, как местными становятся!

— К тебе в баркас охрана моя не влезет... — отмахивался Шаров, кашляя всё тяжелее и дольше.

— А зачем нам охрана, Погон? Эддибай — необитаемая скала в море, там даже моржей и гагар перебили хапуги, вроде тебя! Там по центру — горячий сернистый источник, искупаешься в нём — всякую хворь как рукой снимет!

— Алёна, а мой «Консерватор» может к Эддибаю пристать?

— Пристать-то к любому можно, только утёс наш большому кораблю сдачи даст... Негде там швартоваться, о камни разобьёт твою корытину! Давай лучше вдвоём, на моем баркасе, как взрослые мальчик и девочка, если тебе мама разрешает...

— Ты, Алёнушка, деваха видная, на всю округу одна такая, спору нет... — почесывал в затылке Шаров. — Но и меня пойми, положение у меня тут такое: нельзя никуда ни шагу без охраны! В должностной инструкции записано: не менее двух телохранителей в людных местах, не менее четырёх — в отдалённых...

— И кто же тебе туда такое написал, Погон?

— Ты будешь смеяться, Алёнка, но жена! Она у нас служебную документацию ведёт по холдингу, вот и приписала ко мне пацанов: Баяна, Матраса, Яшу Бребетова и...

— Ну, понятно... Жена же, знала, что далеко отпускает... Чтобы не шалил! Ладно, раз уж великий и ужасный Погон один на один с бабой остаться боится, не будем набиваться в компанию!

После такой заявы, высказанной к тому же предельно язвительным и

женственным голосом, — Шаров, естественно, поплёлся на Эддибай в баркасе Алёнушки Груздевой...

Понимал, что глупо поступает, но иначе себе бы, как мужику и вроде авторитету, — не простил бы. Взяла хитрая баба на слабо, развела — куда деваться?

Остались быки Яша Бребетов, Крючок, Баян, Матрас в заготконторе в плоские сральники душу со вчерашнего трепанга выворачивать или на палубе «Консерватора» загорать, полузавода-полутакси, учитывая, как его Шаров гонял по своим нуждам...

Эддибай — серый, ушелистый, каменистый, мертвый — был краем края земли. Тут вообще везде всему край, но и у края края бывают, а дальше Эддибая никакой земли уже не было, и говорили — плыви за Эддибай, черту на рога свалишься... Ну, это конечно, которые необразованные — так-то в Америку приплыть можно, если за Эддибай пойдёшь, но не на маленьком баркасе, конечно...

Не соврала Алёнка-гробовщица, негде большому кораблю пристать к окаян-камню. Только с востока у него отмель булыжниковая, и там малюсенькая бухточка, кое-как лодочку втиснуть. Словно бы утёс трап спустил для влюблённых, «принял на борт». Место такое, — озирался Шаров, — словно ты на другой планете, лунный пейзаж, можно сказать, фантазия космической саги.

— Ну, чего мнёшься... Пошли, искупаю тебя в здешней бане вулканической, и сама скупнусь для профилактики, — зазывала Алёна.

Сернистый родник, сын подземной камчатской магмовой жилы, бурлил, как каша в кастрюле. На выходе пар валил, как из котельной, чистый, живой кипяток; струился по камням, между валунов, обретая чашу — остывал там так, что и окунуться в чашу местные могли. Сероводородом за версту несло, словно у целой птицефабрики яйца разом стухли...

Но оно и к лучшему — от такого сильного запаха обоняние через несколько минут отключается, ничего уже не ощущаешь носом.

Шаров разделся до модных синих плавок, эдакий столичный пижон в бассейне, с некоторой задержкой оторвал руку от подмышечной кобуры, от рубленой рукояти верного «Глока». Опасно, конечно, но не с кобурой же купаться?

Залез в каменную чашу, ощутил всё санаторное значение эддибайского ключа: вода жизни! Суставы в тёплой прозрачной жидкости сразу же прошли, отёк в груди отхлынул, нос задышал, лёгкие расправились.

Осторожно, стараясь держаться поближе к кобуре на камнях, Шаров стал плавать взад-вперёд большой естественной ванны. Ноги ощущали шершавое дно, глаза настороженно бегали по окружающим голым скалам. Впрочем, бегай — не бегай, Эддибай весь как на ладони, спрятаться тут врагу некуда!

Алёна Груздева с весёлыми прибаутками разделась и нырнула к Шарову. Купальника у неё не было — плюхнулась в теплоту эликсира в чём мать родила, и не стыдно. Шаров давно уж догадывался, что приглянулся ей, а тут со всей очевидностью всплыло: горит фиксатая, бери готовенькую, вся твоя...

На отмели, в пару и курящих потоках горячего источника, словно в бане, Валериан жадно входил в неё снова и снова, сам удивляясь, откуда у больного человека столько сил может взяться. Конечно, в этой командировке он без женщин давно уже обходился — однако сношать мозги-то было кому и

без них, и никак не предполагал в себе Погон столько мужской силы, сколько выдал. А может, источник Эддибая помог? Был, понимаешь, стручок увядший, а обернулся в сернистом угаре вечной иглой для примуса...

— Ох, хорэ, Погон, не могу больше, — стонала Груздёва, вяло выкручиваясь от него в предельном изнеможении. — Притомил скакать, дай отдышаться...

А Шаров крутил её так и сяк — то с живота на спину, то со спины на живот, и продолжал, будто протез вместо живой плоти обрёл.

«Надо будет рассказать в столице-то про волшебную силу здешней воды, — неслось в голове, — можно будет в бутылки разливать на вес золота...».

Когда, наконец насытившись, Погон отвалился набок — на гробовищцу смотреть было жалко: измочалил так, что мама не горюй!

— Видишь, Погон, — еле-еле пролепетали её губки, — какой ты, оказывается, прирождённый колымлянин...

— Это не я, Алёнка, это водичка волшебная... Тебе как?

— Если считать трёхглавого адского Цербера кобелём, то ты, Погон, вроде него кобель будешь... На несколько лет мне заряд выдал, оптовик...

— Рад стараться, ваше превосходительство! — шутовствовал Погон, у которого впервые за два месяца ничего не болело (а что побаливало между ног — так то приятной лёгкой болью).

В холодном и мёртвом краю был тёплый уголок под открытым небом, каменная чаша с жизнью, парная, в которой можно лежать голышом, как булыжник, и не простынешь...

— Был бы ваш Эддибай поближе к центрам цивилизации, — проснулся в Шарове историк, залопотал привычные мантры, — было бы тут дельфийское, илико фивайдское святилище с пифиями...

Парочка «курортников» блаженно помолчала, слушая отдалённое бульканье вулканического кипятка.

— Забери меня в Москву, Погон... — без особой надежды, но — чтоб потом себя не винить — всё же попросила Алёна.

— Рад бы, да не могу, девочка моя сладкая... — развёл руками Шаров. — Хотя, скажу честно, меня вот так, как ты просишь, — туда однажды и забрали... Было дело... Тоже так вот приехали оттуда, жёнушка моя будущая, сучка, глаз положила свой б...ский, и загремел я под фанфары в столицу нашей Родины... Я, Алёна, врать тебе не буду — потому и не могу забрать, что сам как ты! Никто там и ничто...

— А здесь каким гоголем ходишь... — недоверчиво шурилась Груздева.

— Да хоть Гоголем, хоть Паустовским, не я хожу, девочка, холдинг мой ходит! Понимаешь разницу? Я до твоего Эддибая совсем доходящий был, помер бы от чирьев — на следующий день бы нового Гоголя прислали, снабдив бульдогами по периметру... Там Совенко величина, Суханов тоже, даже жена моя, тварь холодная, кое-чего весит... А я, Алёна, посыльный у них, какие раньше в магазинах были...

— Врёшь ты мне всё, — обиделась Груздёва. — Чтобы отвязаться и в Москву себе упороть без прицепок...

— Если бы, Алёна, если бы...

Эта краеземельная потаскуха, при всей её вульгарности, нравилась Шарову куда больше рафинированных светских дам его основной жизни. Что и говорить, живая душа, вначале отдаётся, потом просит, а те бы наоборот, ясное дело...

...В столицу Шаров вылетел через несколько дней, согласно полученно-

му указанию, и совершенно исцелившийся от гнилой лихорадки, которая, говорят, у большинства людей никогда уже не проходит.

С Алёной попрощались странновато. Девушка призналась, что хотела пристрелить Шарова, пока он плавал в чаше источника, потому что раньше работала в советской экологической службе, старшим научным сотрудником, пока были и служба, и экология, и научные сотрудники.

— Потом, из-за таких, как вы, урок, рвачей, ничего не осталось... Видел, что Эддибай мёртвый стоит — а там когда-то сивучи ревели...

— А чего же передумала? — совершенно серьёзно поинтересовался Шаров. — Ну, стрелять-то?

— А посмотрела, как ты плещешься, — поняла, не могу. Не такой ты, как они... Объяснить не могу — почему не такой, всё вроде при тебе ихнее... А что-то такое в глазах, что ли... Или в голосе... Ты смейся, или не верь — но хороший ты, Шаров, человек... Я не как мужику тебе определение даю — тут ты вообще гигант... Я не об этом... Ты, когда умываешься, глаза не ладонями, а кулаками трёшь... Как у младенцев бывает! Если кому и рассчитывать за сивучей и гагар — то не тебе, Шаров...

— Холдинг займётся экологической политикой на побережье, — привычно наврал Шаров, как всем и каждому — по вкусу и заказу. — Сосредоточив в своих руках всю икру, Алёнка, «Роспромсоюз» возродит зарыбление, речные и морские патрули, лабораторное...

— Ладно, ты хоть мне-то в уши не бзди! — отмахнулась бывшая эколог, а ныне гробовщик Груздева. — Возродите вы, конечно... Таких, как вы, знаешь, уже сколько было? Икру-то вы сосредоточите, не сомневаюсь, а потом бабло за неё тоже сосредоточите — в швейцарских банках! Все вы одним миром мазаны, мародёры рыночные...

И вдруг порывисто обняла Шарова, прижалась к колючей щеке:

— ...Все, кроме тебя, Валерка... Дави их, сук, Шаров, выдавливай, может, хоть у тебя чего выйдет...

\* \* \*

Остро-осунувшийся, загрубевший, загорелый, просолённый океанскими ветрами до кости, Шаров появился в офисе «Роспромсоюза». Появился вслед за большой икрой, которую пригнал боссам, как чабан отару...

Журчало бесценное шампанское, сбегая каскадами по пирамидке из фужеров в умелых руках Пети Багмана, личного помощника главного босса. Красовались на столе пять видов оливок и порядка тридцати сортов сыра.

Сам Виталий Совенко, Зевс-Громовержец, лично пожал загрубевшую, моряцкую руку своему сотруднику, поименовав его «Дежнёвым и Хабаровым, Ермаком и Крузенштерном».

Максим Суханов, второй человек всей системы, признался (правда, не самому Валере, а его супруге):

— Изменил я своё мнение о вьюноше! На такой фронт направили — думал, засыпет мольбами прислать подкрепление! А он ни разу помощи не запросил! В моей практике такое впервые! Разрулил чётко... Такой гадюшник расчистил!

— Ты — муж, которому завидуют все подруги! — созналась Ева Алеевна Шарова, по-свойски обнимая Валеру и бесстрастно целуя в щёку. — Посмотри, как твоими стараниями изменился к лучшему наш семейный банковский счет...



И подсунула — нашла время! — какую-то справку с таблицами на ароматизированной папиросной бумаге...

«Ты другой, ты не такой как они...» — стучало в голове Шарова прощание женщины, оставшейся за тысячи километров на гиблом краю земли. На том самом краю жизни, где люди ходят, страдают, работают, спиваются и режут друг друга — только для пополнения табличек на ароматизированной бумаге банковских справок...

— Я не такой, как они?!

Но пока *они* поднимали тост за Валеру Шарова, которого соизволили принять в свою компашку олимпийских богов, играющих жизнями миллионов на биржевых качелях. И были вполне им довольны.

Возможно, они просто не видели его в каменной чаше родника на утёсе Эддибай, и не знают, что вместо ладоней он трёт глаза кулаками, слово дитя малое...

Потому что — где, собственно, иная-другая разница?



*— Александр Леонидов,  
1991 г.*



*— Во время воинской  
службы, 1997 г.*

## КЕРЕНСКИЙ БУЛЬВАР

### Повесть

*Вовек не забуду бульвар и маяк,  
Огни пароходов живые,  
Скамейку, где мы, дорогая моя,  
В глаза посмотрели впервые!*

Семён Кирсанов  
(из репертуара Утёсова)

### ПРОЛОГ

— ...В Тирасполь он посылает! — привычным для маразматического быта фоном брюзжала под ухом Ивана Имбирёва мать, на уральский манер именуемая им «мамо». Выставила перед ним тарелку с густым, таким, что и ложка колом встанет, кумачовых оттенков, борщом.

— Люди, видишь ли, ему там голодают... У тебя мать голодает! — повышала она тон с вызовом, хотя никто, глядя на эту кубышку, примерно равную в рост и в ширину, — такого предположить бы не рискнул.

— Если женщина утонет в воде, — нравоучительно, в тоне примирительного превосходства, заметил Иван Сергеевич, — то она становится русалкой... А если она утонет в борщах, то становится тобой...

— А какая разница?! — с наступательным задором вопрошала кубическая «мамо».

— Никакой! — паясничал Имбирёв. — И те мужиков на дно тащат, и эти...

А что ещё было ему сказать этой женщине-сквернослову, с высшим образованием, и в прошлом члену коммунистической партии? Имбирёв отвернулся от мамы к окну, и ловил взглядом неровный, ветреный танец снежинок за стеклом...

...Она была чиста, как первый снег... Ну, не «мамо», конечно, погрязшая в ворчливой кулинарии, после пенсии ставшей её последним и единственным уделом. «Она» — это девушка друга, Артёма Трефлонского, позёра смутного времени, который считал себя «князем», возрождал казачество, втянул в это дело всех чудаковатых знакомых, включая Имбирёва, обожавшего по юности игры в войнушку...

Трефлонский — в чём, может быть, его счастье — своей страны не пережил. В сентябре 1991 года его нашли на обочине пригородной трассы с проломленным черепом, что уж там было, зачем и почему — никто не узнал. Город лениво перешагнул через труп, и пошёл дальше, к новым сводкам криминальной хроники, размножавшимся в геометрической прогрессии.

Имбирёв, как и положено доброму другу, побывал на похоронах Артёма, вместе со всей их командой юности. Спросил у заплаканной матери, не нужно ли чем помочь. А у заплаканной Оли Тумановой ничего спрашивать не стал.

И потом уже больше её не видел. Да и с какой бы стати? Детство, проведённое бок о бок, осталось за поворотом. Ивана втягивали чёрной склизкой воронкой взрослые дела... Он был женатым человеком, у него родилась дочь, завелось собственное коммерческое предприятие... Не ахти какое, но силы и время жрало не меньше, чем любое крупное...

И жена у него красива, грех жаловаться... И всё же у каждого мужчины, кроме общих представлений о женской красоте, довольно стандартных, базирующихся обычно на простой утончённости, есть и какая-то своя сумасшедшинка глубоко-личного идеала. Казалось бы — вот супруга: стройная, черты лица правильные, тонкие, резко очерченные, чего ещё надо?

Ничего и не надо... Но иногда — когда вот так меланхолично сыплется с косматого тучами небосвода снежок — Иван Сергеевич, глядя в окно маминной кухни, с ложкой борща в руке, хряпнув рюмку водочки — бесцельно и бессмысленно вспоминает Ольгу Туманову...

\*\*\*

...Совсем в другом мире, в другой вселенной...

— О Господи, ты бесподобна! — охал *там* Артём Трефлонский, хватаясь за сердце под аксельбантским нарядным шнуром своего театрально-реквизитного мундира...

Прямо в серенькие ворота гаражного казачьего кичмана, который власти выделили казакам под их игрища, под своды этого притона, пропахшего нестиранными носками и сивушным перегаром, по-хозяйски вступила Оля Туманова.

Эта своего добра без присмотра не оставит, чего бы там ни было! И откуда что взялось? Казачья папаха, белая бекеша, солдатский ремень с аляпистой советской звездой на пряжке... Была Оля-светлячок, а преобразилась, вышла — казачья Мадонна...

Наверное, если бы речь шла о долгой и позиционной войне, о работе в госпитале, с кровью и гноем, о бессонных ночах с ранеными без рук и ног — всплыли бы наверх легкомысленность, ветреность и непоседливость Олиного характера. Наверное... Хотя точно никто не знает...

Но здесь всё было иначе. Здесь речь шла о советских книжных людях, «за воинственный клич принимавших вой». Здесь речь шла о выступлении стремительном, гарцующем, рисующемся, подёрнутом романтическим флёром... И здесь Оля Туманова, прирожденная опереточная артистка, — была ключиком именно от этого замка...

Это ведь всё игра. Сбор взрослеющих детей, чуть ли не военно-спортивная «Зарница»... Конечно, они предполагают, что куда-то там пойдут и где-то там примут бой, но это когда ещё будет? И будет ли вообще?!

В мужской компании дамы неуместны — и все подруг оставили дома. Имбирёв тоже. Получается — Трефлонский всех надул?

— Оля, в чем дело?! — бормотал Треф, чувствуя себя обманщиком и бегая вокруг своей пассивности. — Зачем ты здесь?! Почему ты не дома?

Оля смерила взволнованных говорунов презрительным взглядом и щёлкнула слегка узорчатой, многоцветного плетения нагайкой по голенищу своего модного дамского ботфорта югославской выделки. Эту нагайку дарил в своё время ей Треф: перед иконостасом с ней стоять?!

— Мальчики... — выдохнула Ольга с невероятным жеманством. — С кем поведёшься, от того и наберёшься... Погуляешь с вами годик — научишься орать всякую дурость...

— Оля-джан! — восхищался «казак» Вазген, вообще равнодушный к светлоглазым блондинкам. — Вай, как хороша! Ангел батальона будешь!

Оля, ещё школьница, совсем по-детски повертелась перед Вазгеном, показав свой наряд с разных сторон. Любой оценил бы её чувство вкуса и композиции, когда она подбирала папаху к бекеше, сапожки к лосинам с декоративными лампасами, ремень к рубашке цвета хаки... Это была именно женская рука, превращающая наряд в искусство, в театральную постановку, в симфонию цветов и материй...

Вся та крутая похлёбка, которую разные лица думали заварить в Куве с казачьим добровольчеством — казалась Тумановой только игрой, вроде «Зарницы», а плотно сидя на Трефе, она давно готовилась быть яркой звёздочкой советской игры. И вот теперь блистала для всех: смотрите, наслаждайтесь, не жалко...

Друг Ивана, Тима Рулько, пожаловался, что Треф нехорошо поступает: Тима всегда искренне считал, что эталон правильного поведения — его девушка, умница и эрудит Ксюша. И, уходя в этот игрушечный поход, он был убеждён, что вся фигура отношений выполнена безукоризненно, от запястья, томно приложенного Ксюшей ко лбу, до жаркого поцелуя. Теперь же сияние Тумановой затмило даже Ксюшину женскую мудрость, и Тиме начало казаться, что некто правильнее его любимой...

В итоге Тима решил, что это Треф его обманул: договорились своих девушек спрятать, Тима спрятал, как умел, а Треф — нет. Поэтому Тима стал дуться на Трефа.

— Ты чё, совсем сдурел?! — ругался Рулько. — У нас же мужской пикник будет! Куда ты её за собой тащишь?! Нам, значит, нельзя, а тебе — пожалуйста?

— Да не тащу я! — оправдывался Артём. Он и вправду растерялся, когда она возникла перед ним, такая органичная в этом пункте сбора, законченный образ...

Нет, он пытался протестовать... Он хватал её за руки и бормотал, что у них тусовка мужская, что женщинам нельзя и с женщинами нельзя...

А она возражала, по-бабьи убийственно и неотразимо:

— А я не женщина, Тёма, я девушка...

Знала, что он совсем не это имел в виду, — игриво наслаждалась его смущением: из них двоих именно он рубинел девичьим нежным румянцем...

— А если тебя там, на природе, к примеру, зашибут, Тёма? Где я себе второго такого дурака найду?! — смеялась она — и, что важнее, особенно смеялись её озорные глаза невозможного голубого горячего льда.

Это была и шутка, и откровенность, и доверие: тому, с кем не срослась окончательно душой, такой фразы девушка не скажет...

— Оля, лучик наш, ты с нами прямо на Москву пойдёшь?! — восхищался Вазген, глядя свои лампасы. И глаза его выражали восторг большого ребёнка.

— Ну, а то... — кокетничала Туманова. — Должна же у вас там, на баррикадах, быть своя Делакруа...

По своей детской наивности Оля думала, что женщину на баррикаде так и зовут — Делакруа. Об этом ей показывали на уроке диафильм, а она слушала, как и всё школьное, в пол-уха...

Просвещённый же «аристократ» Треф семенил за ней сзади, не как парень — как дуэнья старая:

— Делакруа — это художник... который картину... — бормотал совсем сбитый с толку Артём.

— Чё ты там моросишь? — сморщила носик разбитная деваха.

— А я ничё... — он смотрел взглядом восторженного обожателя. — Оля, ты только груди не обнажай, как Делакруа...

— Не по сезону! — явно рисуясь, отчеканила она, чувствуя некоторое удовлетворение его пусть странно выраженной, но ревностью...

\* \* \*

И вот, хоть это и дешёвый, постановочный кадр — но он главный кадр памяти Имбирёва: когда они выходили, как им казалось, на грядущие бои за свою страну (которую развалят потом без них и без боя) из железных ворот своего казачьего гаража-кичмана...

Да, именно на ржаво-скрипучем выходе... Она, совершенно по-детски не понимая, о чем идёт речь, выскочила вперед на гарцующем жеребце Кешке. И прямо с седла задорно прокричала:

— Чего вы там цыпят в штанах греете?! Из всех я одна что ли мушinka?!

Она не очень понимала это новообразованное казачье движение — что, кто, зачем, куда, — но вся её музыкальная, чувственная, ветреная натура впитывала направленные на неё флюиды восхищения и боготворения наивных «книжных детей» XX века.

Она наслаждалась этим вниманием: очень по-женски, гарцуя, и гарцуя не только в седле клубного коня. Ей непонятен был смысл и итог запланированного казаками «ледяного похода» на Москву, «вешать Ельцина»; но ей безумно нравился сам процесс...

Как заправская артистка — раз уж взялась из-за парня своего играть в этом мюзикле, — она прокричала, поднимая узкую ладонь флажком:

— Мы русские! С нами Бог!

Рядом был «князь» Трефлонский — человек, старательно игравший в аристократа, как все в перестройку в кого-то играли... Так и играл, до самой своей непонятной смерти, которая, хоть и настоящей стала, — не исключено, была следствием его упорной игры...

«Князь» Трефлонский всегда знал, что эта вот девушка, его нордическая подруга Ольга, — идеал для воинствующего ботаника. А тут особенно остро это прочувствовал...

Обнял её ногу, уткнувшись носом в юфть изящного ботфорта, и заплакал, как гнилой интеллигент в жилетку друга.

Опереточность и наигранность сцены до него не доходила: он был на вершине экзальтации и готов был немедленно умереть, обнимая её голень, её стремя, — потому что она сумела воплотить разом все его книжные представления о жизненном идеале...

— Да оттащите вы этого слюнтяя! — слегка отпинавала его Оля Туманова. — Вот потому ваш Деникин и проиграл тогда, что вы, ваши благородия, слезницы отпускать любите...

Хохотали казаки, счастливо хихикал, похожий на обкуренного дурью, распираемый изнутри полнотой счастья Треф. И только именовавший себя приват-доцентом интеллектуал Иван Имбирёв, в мешковато сидящем мундире, смотрел без смеха, восхищённо, потерянный в этой массовке...

— Артистка, артистка... — бормотал он тогда.

И сейчас бы повторил...

Казак Лоншаков откуда-то притащил гитару и передал ей снизу вверх, потому что слышан был о её музыкальных талантах. Любоваться ею каждому явно нравилось, как и думать «о возможной скорой смерти» в рамках своих воображаемых баталий «За Бога, царя и Отечество!»...

Приняв гитару, Оля скинула Трефлонскому, не глядя, прямо по мордасам, тонкие фигурные перчатки с печатным тиснёным орнаментом, и провела нежной рукой по струнам:

*Пусть народ пока лишь семки лужает —  
Не обольщайся, враг, идя на рать...  
Мы русские, мы русские, мы русские,  
У нас и мёртвые умеют воевать...*

...Она пела, и лёгкое белое облачко пара вырывалось из её совсем ещё подростковых пухлых нежных губок, и было это облачко морозного дыхания для Трефа фимиамом...

«Я уже прожил дольше самых старых кавказских долгожителей... — загромождено металась «княжеские» мысли. — Мне ли бояться теперь смерти? Я видел её на этом бодрящем морозце, на коне, с гитарой, в смуровой папаше, из-под которой падает волна прямых льняных божественных волос... И после этого вы смеете называть мою жизнь короткой?! Даже если к обеду я буду убит — я прожил больше самых капризных стариков-ипохондриков, потому что время — не математическая величина! Да, время — это не механика циферблата со стрелками... Настоящее время сжимает столетие в минуту, и раскрывает минуту в столетие...».

Но на смену этому кокаиновому (старорежимное слово хорошо приложить к архаичному Трефу) восторгу у «князя» приходила столь же загромождённая, в чём-то бабья заботливость и пугливая озабоченность:

— Оленька, пальчики отморозишь! Холодно сегодня, а ты пальчиками по металлу (струны же металлические — он это имел в виду)...

— Отстань! — капризничала Оля, сверху, с седла красавца-жеребца продолжая упиваться сгустком восторженного внимания. — Не мешай!

— Надень перчатки, пальчики застудишь...

— Отстань, не застужу, — отпихивала Туманова замшевые перчатки. — В них играть не получается... Я медиатор для струн не взяла...

— Будет тебе медиатор! — орал воспалённый восторгом Треф.

Откуда может быть в этом гнезде редко-трезвых холостяков медиатор?! Но что-то подсказало! Треф сунул руку за пазуху, под свой буффонский казачий мундир, — и с силой оторвал с серебряной цепочки нателный крестальный крестик, полученный в возрожденной Симеоновской церкви. Крестик был широким и плоским, литым на иерусалимский манер. С совершенно безумным выражением глаз Треф протянул свой крест Тумановой.

Та хотела было возмутиться кощунству, но глядя в глаза своего парня, осеклась. Это была уже не игра. Это не Артём Трефлонский, потомок князей, оторванный от земли и холёный сын профессора астрономии, подавал ей нателный крестик, а Некто другой управлял его рукой, откликнувшись на его молитву, чтобы она пальчики не застудила...

Она ударила по струнам особым медиатором — и струны особенно зазвучали:

*Едва горит эпохи лампа тусклая —  
Мы в ней огня связующая нить:  
Мы русские, мы русские, мы русские,  
Нас на планете нечем заменить!*

— Не торопись, малышня... — побрякивал приданный молодёжи из военкомата отставник дед Панкрат, любуясь Олей, пряча улыбку в неряшливые дикорастущие усы. Потягивал из самодельной вишневой трубочки ядрёный табак: — Навоюетесь ещё... Войны на ваш век хватит... Чего бы другого — а от войны ещё стошнит...

1.

В подробных сказаниях, которые обычно обречены были слушать жена да мама, о «роли и значении его жизни в истории», у Ивана Имбирёва был обрыв. Доходя до 1991 года, Иван Сергеевич Имбирёв отказывался рассказывать дальше...

Внимательный слушатель (которого, впрочем, у Ивана Сергеевича и не было) заметил бы тут лакуну буквально на полуслове. Но дальше этого полуслова Имбирёв не только не рассказывал, но и не вспоминал. Наверное, по тем же причинам, по которым фронтовики не любят вспоминать и рассказывать о войне. Тот, кто прошёл её по настоящему, — старается о ней умолчать...

Всегда этот стыд перед погибшими... Сам вылез... А их не вытащил... Что и говорить — коли начинался мрак девяностых... Забавы в стиле незабвенной «Зарницы» кончились. И началась настоящая война... Война на уничтожение того народа, к которому принадлежал Иван Имбирёв...

Нет, нельзя сказать, что он просто струсил... Да и вообще нельзя ничего сказать: к чему слова? Историю войны пишут выжившие. А правду о войне хранят погибшие...

Планета смерти, Плутон, восходила над Россией в страшном и гнилом 1992 году. Когда другие тупо ложились и умирали — от истощения, от безысходности, от потерянности и бессмысленности, от невыносимой несправедливости и небывалого унижения, — Имбирёв сумел выкрутиться. Он искал и находил деньги — как бедуин находит воду в песчаной, высохшей до глубин, раскалённой, словно сковорода, пустыне...

\* \* \*

На старой родовой квартире сталинского дома с высокими лепными потолками, в массиве ампирного изящества, у Вани был со школьных лет свой «рабочий кабинет»: эдакий геометрически правильный куб воздуха, ограниченный стенами с полосатыми жёлтыми обоями.

Здесь на огромном столе маленький Ваня когда-то раскладывал школьные учебники. Потом рос — и раскладывал уже университетские конспекты. Отражаясь в черно-полированной глади столешницы, как лодочка в озере, стоял белый угловатый виниловый телефонный аппарат-вертушка, с тусклым медным советским гербом на середине диска: папино наследие! Ну, и конечно печатная машинка «Ятрань» с электроприводом, кормилица Ивана Имбирёва...

Жизнь, жизнь, жизнь... И нет уже ни отца, ни страны, ни гонораров в партийных изданиях, где так неплохо промышлял ещё студентом Имби-



рёв... Ни в «Советской Куве», газете Крайкома, ни в журнальчике с милым названием «Блокнот агитатора»... И партии-то правящей, изблевавшей самоё себя, — тоже нет больше.

Злободневная, проблемная экономическая журналистика — Ванин хлеб, академическая история средневековой философии — пряность к этому «хлебу насущному», всё исчезло в один миг...

На полировке стола перед Иваном — парочка расчерченных непонятными посторонним значками блокнотов, перьевая ручка и несколько фломастеров...

«Мука II сорт. 2 меш. => Серг. Генн. => гуси деревен. 2.

Мамо, Новый год (докуп. яблок, начин.).

Метизы, Клим Георг., => барда в совхоз «Л.П.», масло коробка...».

Сбоку кричащая приписка с красной пухлой подчёркнутостью, буквально крик души:

«КОСТЯ, ДЕНЬГИ!!!».

Такая вот белиберда. В партийные времена Иван Сергеевич мотался с «лейкой и блокнотом» по предприятиям края, порой и в крайкомовских чёрных «Волгах», — писал очерки и репортажи о тружениках-ударниках. Теперь, когда всех тружеников ударило не по-детски, — Иван Сергеевич знал, примерно, у кого чего искать по сусекам, и в каких амбарах на колобок без лишних мук наместить муки...

«Два вагона мыла хоз. (III с.) — в Крыжополь!!! До 27-го!!! Проследить!!!».

Вот как-то так. Некий Орест Чушнин, прозванный за холёную бородку Бэримором, бывший школьный учитель географии у Имбирёва, — ждёт отправки мыла в Крыжополь. За это из Крыжополя должны прийти два вагона упоительно-дешёвого сахара тёмно-свекольных, украинских оттенков...

Про этот сахар хитрая приписка: «Выдав. Как тростн.! — комб. Пит., Лида С., 2 проч.», подчёркнуто волнистой линией бордового маркера...

Сахар уже распродан. Он распродан пациентам госпиталя ветеранов войн, по мешку, по два мешка на руки. И пациентом 2 градской больницы, по палатам которой Имбирёв не поленился пробежаться. И сотрудникам закрывающегося издательства «Кулинария», в котором работала мать Ивана и где Ивана тётки знают с детского сада... Доверяют — и уже деньги за сахар отдали, по три мешка на руки...

А сахар из Крыжополя ещё не пришёл. Потому что в Крыжополь ещё не укатали бурые бруски воняющего, чистотой бедняцкой опрятности хозяйственного мыла...

Мамо ругается: в пустующей задней комнате с балконом, где мамо обычно рассыпала на просушивание картофель и репчатый лук перед отправкой в подвал, выгороженный в бывшем бомбоубежище, стоит гарантийная оргтехника Ореста Чушнина.

Это взятые из его квартиры под залог видеоманитофон, к сожалению, сломанный... А ещё под временным арестом — Орестов телевизор, массивный компьютер с портом для ещё старых, пятидюймовых гибких флоппи-дисков... А ещё похожий на Мойдодыра аудиокомбайн — с радио, кассетным магнитофоном и устройством для прослушивания виниловых пластинок...

Всё это добро вернётся к Чушнину, когда приедет обещанный сахар... А деньги, собранные с покупателей за сахар, уже в значительной степени растрачены...

Странность жизни заключается в том, что дела минутные и проходные порой определяют её всю наперёд, а дела основательные и фундаментальные — оказываются толчеей воды в ступе...

В советское время юный Иван Имбирёв напишет, бывало, статейку о том, о сём, подсунет в одну из бесчисленных в те годы редакций: вот и приличные деньги на руки! В редакциях его любили. В краевых, бывало, даже наливали по 50-100 грамм... И чуть было не споили — но это отдельная история...

Главной целью статей Ивана Имбирёва были гонорары. Но неразлучные со свободой: пришел, отдал, ушёл. И никаких отсидок!

Статьи писались торопливо и бессистемно, только чтобы быстрее от них отвязаться, заработав себе и маме на хлеб насущный... После чего начиналась настоящая работа — Имбирёв писал большое диссертационное исследование про европейских логиков-схоластов XII-XIV веков...

В наше время всё иначе: логики умерли навсегда. А вот одна из статей Имбирёва, которая попала в начале перестройки в партийную, солидную и чопорную «Советскую Куву», — зажила своей судьбой...

Это была статья про необозримые и необъятные кувинские дубовые леса, легшие широким зелёным поясом поперёк Урала. Зачем её писал Имбирёв? Без всяких задних мыслей: пионером он был в юннатах, и знал, что кувинские дубы, по большей части, породы *Quercus robur*. А тут прочитал где-то, то ли в «Науке и жизни», то ли в «Вокруг Света», что рачительные европейцы делают из желудей *Quercus robur* растительное масло. И похоже оно на оливковое, а ценится — не меньше!

Совместив в голове два этих дурацких факта, Имбирёв сделал в духе перестройки вывод — мол, богатство под ногами, да не используем, бесхозяйственность, а надо бы нам прессы-жомы заводить, масло дубовое давить, да по всей необъятной шири советской его развозить...

Когда Имбирёв писал *нам* — он никоим образом не имел в виду себя. Он думал, что это партийное руководство, его читатели займутся новым направлением. А скорее всего — никто не займётся. Ибо европейцы — крохоборы, у них каждый кал переедом славен... А у нас духоборы, душа широкая и земля богатая... Нафиг нужно?

Если бы кто сказал тогда Имбирёву, что его жизнь на руинах великой державы будет зависеть от желудёвых жомов — он бы только посмеялся. Он вообще про эту мега-идею забыл на следующий день, оттарабанил со всей безответственностью перестроечного журналюги, сдал в набор и с плеч долой!

Он уже писал новую статью — про позор спортивной команды, которая попросила разместить её в недорогой гостинице, а её разместили в Доме артистов цирка, уравнив с клоунами...

Но тут ему позвонили из крайкома КПСС, и уговорили прийти, рассказать подробнее — какое такое дубовое масло и с чем его едят (в прямом и переносном смысле). Честно скажем, у Ивана был один существенный недостаток: Иван Сергеевич оказался на поверку весьма честолюбивым и даже тщеславным. Он даже прикидывал места на родной коротенькой улице — где в будущем повесят таблички «ул. Имбирёва», в честь проживавшего на ней исчерпывающего исследователя средневековой философии...

И потому всякий раз, когда звучало магическое слово *крайком*, как и более широкое волшебное слово *начальство*, — Имбирёв отзывался охотно и бодро. В конце концов, это же именно им решение потом принимать и таблички вдоль улицы развешивать!

Используя несколько вырезок и сельскохозяйственный справочник 1968 года выпуска, Иван Сергеевич на партхозактиве убедительно доказал, что выжать из желудей прибыль можно и буквально и аллегорически. После чего партийное начальство затеяло эксперимент в духе времени, а Имбирёв про растительное масло снова забыл.

И пошёл дальше своим путём, а река жизни потекла своим руслом. Кувинские породы дуба давали мягкие орехи, которые до идеи Имбирёва просто гнивали за ненадобностью. Теперь из них получилось изысканное масло. Его отжимали не менее 300 грамм с килограмма желудей, а самих желудей было — как снега зимой, неисчерпаемая, и, что интересно — бесплатная сырьевая база для жомного хозяйства...

Крайкомовцы увлеклись и понаделали из желудей ещё и печёный хлеб, кофейный напиток, какие-то дубильные порошки... «Первый блин крайкомом», — корила их оппозиция. Монтеневы опыты партийцев стали одним из пунктов обвинения коммунистов у реформаторов в 1991 году: мол, пытались народ кормить хуже свиней — дубовое масло, дубовая мука, дубовый кофе, позор, стыд, а как же права человека?!

...К тому моменту, когда изнывавший в хаотичной торговле всякой дрянью Имбирёв вызвался найти пасечнику Василию Лицемерову воскопресс, — положение опытного маслодубового хозяйства было хуже чем плачевным...

— Вот сведёшь с людьми, — ныл Лицемеров, пряча изработанные, в чёрную сетку дублёной кожи, руки. — Я тебе полбарана дам... Денег нет, Иван, а полбарана дам, сам резал, в морозилке лежит в деревне у меня...

— Ну, у меня знакомые-то остались, по журналистской линии, герои репортажей! — объяснял Иван Сергеевич. — Там у них всё это оборудование сейчас пропадает, думаю, легко уступят. И недорого вам обойдётся... Только вы, Василий Самсонович, фамилии поменяйте, нельзя мёдом торговать с фамилией Лицемеров...

— А что не так? — удивлялся наивный Василий.

— Всё не так! Я как текстовик вам говорю, я, бывало, в крайкоме первым лицам речи писал... Нельзя мёдом торговать, чтобы на табличке было «Вэ-Эс-Лицемеров»! Тут надо знаете как? Древнерусов, Сладосветов, Добронравов... На худой конец, Пахмутов... Но никак не Лицемеров...

— Пахмутов мне нравится! — обрадовался Василий Самсонович, обгорелый на солнце пасек своих до полной облезлости. — Пахмутов-Добронравов! Я даже, кажется, где-то слышал такое...

— Ну, как бы да! — развёл руками Имбирёв. И осознал, что одним в этом мире работать руками, а другим головой... И редко кому по совместительству...

За идею с «фамилией» бывший Лицемеров привёз Ивану жирного крола — тушку кролика, выращенного в домашних условиях. А за воскопресс ручной, на домкрате, — половину барана.

На этом история с пасечником кончилась — но через неё завязалась история с ОПХ «Северная Олива», которое при коммунистах пару лет производило, а теперь уже год как не производило дубовые масла.

— Иван Сергеевич, ну с вас же всё началось! — умолял хорошо знающий недолгую историю своего ОПХ директор, пузатый и печальноглазый, вечно растрёпанный и растерянный, многодетный, как потом выяснилось, Клим Лукич Стрешнев. — Ну помогите, если не живыми деньгами — может, хоть по бартеру кого подберёте... Вот вы прислали человека, этого Пахмутова, он

за малый лабораторный пресс полбарана дал, а пресс-то уже в свалке металлолома лежал...

— Так вот куда пошла твоя вторая половина! — подмигнул Имбирёв выглядывавшей в балконную дверь туше.

— Ещё кого-нибудь пришлите... Сами приезжайте, у нас же тут и масло, и мука, и дубители, и кофе... Только их никто не берёт: мол, отрава советская...

Имбирёв пошёл — благо, недалеко, через дорогу, — в типографию краевого министерства образования, к своей знакомой Розе Миннибаевне, тёртой и ушлой полиграфической заведующей.

— Сможете мне напечатать тысячу этикеток «Оливковое масло»?

— В цвете? — тут же напряглась Миннибаевна, чуя поживу и самим вопросом давая понять, что — «не вопрос».

— А то как же! В цвете, ярко, чтобы в глаза бросалось и тянуло купить... Рекламно, как вы умеете, — подольстился Имбирёв.

— А чем платить будешь, Вань? — прищурилась хищница литер- и офсета.

— Да уж понятно, не СКВ<sup>1</sup>... — смеялся знавший её как облупленную и немало делишек с ней провернувший Имбирёв. — Маслом получите на весь коллектив...

— Оливковым? — облизнулась Роза Миннибаевна, у которой в это проклятое время с заказами было не ахти.

— Ну, для какой этикетки печатаем, тем и получите!

— Вань, может, хоть частично... Наличкой... Хотя «фантиков»<sup>2</sup> бы подкинул...

— Я-то бы подкинул... Коли бы мне кто их подкинул! — скалился Имбирёв игриво. — Да не таки в наше время подкидыши...

\* \* \*

Междомовой проезд из двора маминого дома выходил на ничем не примечательную близняшку тысяч и тысяч провинциальных пятиэтажных улочек-коротышек, улицу Керенцева. Керенцев был каким-то местным революционным деятелем, Имбирёву рассказывали про него в школе, но к стыду своему Иван совсем забыл, о чём там речь шла.

Жил, якобы, такой уроженец Кувы марксист Ардальон Керенцев, школьниками, естественно, переименованный сходу в Медальон — как Дидро во всех русских школах переименовывают в Ведро... Этот Ардальон что-то при царе сделал. То ли бомбу в столичного министра бросил, то ли губернатора местного застрелил, то ли напротив — вывел рабочих местного сучильномотального мануфактуриата и грузчиков речного пароходства на первую в Куве маёвку...

С первыми ветрами гнилой перестроечной ростепели улица Керенцева сразу же и прочно стала «бульваром Керенского». Имелся в виду почти одофамилец большевика Керенцева — незадавшийся в 1917 году лидер незадавшейся не только в этом году российской демократии...

Почему бульвар? Очень просто: улица Керенцева утопала в зелени, сирень и акация летом погружали её в изумрудную, почти смыкающуюся над головами прохожих подушку, соловьиную, мягкую, душистую и сонно-уютную. Сочная мякоть листвы и вертикальные спицы солнечного золота со-

<sup>1</sup> СКВ — «свободно конвертируемая валюта», в начале 90-х так называли доллары, дейчмарки и вообще любые деньги западных стран.

<sup>2</sup> Фантики — так называли первые ельцинские деньги.

здавали непередаваемое сочетание пульсирующей благодати — потому, конечно же, бульвар...

Политически-подкованные люди говорили «Бульвар Керенского». Команда КВН юристов КГУ спела однажды песню, после ставшую городской легендой-шлягером:

*Весну правовую встречает народ,  
Он вышел навстречу недаром:  
Свобода весною в наш город идёт —  
Цветущим Керенским бульваром...*

Люди, политически неграмотные, мало понимая подоплёку студенческих маршей с истошными криками «Да здравствует Керенский!» (который к моменту этих маршей лет двадцать уж как помер<sup>3</sup>) — приняли лишь внешнюю форму обновления, и говорили «Керенский бульвар».

Бульвар этот самозванный вспучился горбом, на котором, как на пологой волне, поднимались и опускались согласно рельефу местности пятиэтажные дома в благоухающих мальвами палисадах. Качнув плоскость асфальтным волдырём, Керенский бульвар внезапно надламывался и сбегал к дебаркадерам Кувинского речного порта, к полноводной реке Сарайдели... И обрывался в речных туманах гудками расходящихся между баками теплоходов...

Когда приходила бархатно-пушистая южно-уральская метелистая зима, бульвар утопал в снегах до самых крыш гаражных кооперативов и до верхних ступенек высоких бетонных крылечек здешних подъездов. Постепенно весна обнажала землю — и потоки с кавказским грохотом сбегали вниз, под крутой уклон, в мать-Сарайдель, надувая её, вспучивая городской тухлятиной, как консервную банку...

В числе прочей растительности Керенского бульвара было много лип, зимами пугающе-чёрных, словно бы гнилых, а летом — клейко-липких, сочащихся душистым крапом.

На выезде из двора дома Имбирёвых одна липа в незапамятные времена выросла вкривь и мешала электрическим проводам. Её корнали-корнали, потом у неё сгнило нутро и её расщепило... От греха подальше коммунальщики большое дерево срезали бензопилой... Остался большой круглый шербатый пенёк. Этот пенёк на въезде во двор с улицы и облюбовал Иван Сергеевич Имбирёв для мясницких работ.

Если имеешь в биографии мать, выросшую в послевоенные голодные годы, и далее свихнувшуюся на почве кулинарии, — никуда не денешься: научишься махать мясным топориком! С детских лет знал мальчик Ваня туго — как отделять филей от костреца, огузок от подбедерка и голяшек...

В советские годы редкий выходной обходился у Имбирёва без топорика и этой «липовой, но настоящей» плахи-пня. При реформах, конечно, стало с этим делом посвободнее, повольготнее, жрать стали поменьше. Уже не так радели за столом сектанты обжорства, как в застольные годы...

Пришла она, накликаемая КВН-щиками «свобода» — цветущим Керенским бульваром, снизу, вместе с густыми клубами речного тумана, от которого, казалось, латанный асфальтный волдырь этой улицы обрывается в облаках...

Но хоть и оборвалась твердь мостовой — всё также вслед за зимами прихо-

<sup>3</sup> Александр Фёдорович Керенский скончался 11 июня 1970 в Нью-Йорке.

дили калёные солнечные прожиги, вытапливавшие припасы с городских балконов...

Гонимый весною и мамой, Иван Сергеевич выволок с застеклённой холодной лоджии баранью тушу и, взвалив её на засаленное поколениями её предшественниц плечо выгоревшей в отцовских экспедициях геологической спецовки, — потащил разделявать.

А рубил Имбирёв по-казацки, одним махом, не кроша и не мельтеша, как многие рубщики-любители, без мясной крошки и костяной занозы...

Рубил — и пережевывал обиду на «мамо», которая, ничуть не смущаясь, что он слышит, болтала по телефону подруге:

— Дык, Ванька сейчас разве кормилец?! Вот когда он двести рублёв оклада получал, да сверху гонораров без счёта, по четвертаку за статейку, — вот тогда жизнь была... А сейчас притащит какую-нибудь дрянь по бартеру, а когда следующая будет — никто не знает... То ли будет рупь, то ли нудит вглубь...

— Ещё и эти поговорки её с оренбургским колоритом! — сердился Имбирёв. — Ведь знает, как поддеть... Подаёт, к примеру, кроличье рагу на обед, и начинает нудеть по-бабьи, так что и кусок в горло не лезет:

— От, на базаре всё дорого... Ну ты скажи, сынок, как жить, если пенсии не платят? Что же это за жизнь такая пошла, ты скажи, а?

— Ты меня как кого спрашиваешь? — злился Иван. — Как сына? Как гражданина? Или как экономиста? Ну, могу тебе обсказать, если так надо... Вот жареный кролик, да, мамо? Он дар природы, обработанный трудом...

— Я старалась! — улыбнулась мать.

— ...Так вот, мамо: средства к существованию человека делаются самим человеком из даров природы... Когда они сделаны — их распределяют.

— А чё так несправедливо распределяют-то? — настырничала родительница.

— Понимаешь, мамо, средства к существованию — можно поглотить, а можно монетизировать и вывести. Допустим, кролик стоит доллар...

— Да не столько он стоит! — раскудаhtалась мамо, поневоле начинавшая разбираться и с курсами СКВ. — На базаре-то вон Телищевском я...

— Мам, ну я не про это! — измученно куксился Иван, понимая, что вещает всё зря, но уже не в силах промолчать. — Допустим, говорю... Вот кролик, стоит доллар... Если я съел кролика, то я съел доллар... И кто-то — кого мы не любим — на доллар меньше положил себе в швейцарском банке... А если украсть у меня кролика и продать за доллар, то будет на счете на доллар больше... Поняла?

— А чё ж он доллар, а мы голодные? — недоумевала Имбирёва.

— Я не съел кролика — ему доллар. Ты не съела кролика — ему два доллара. И так далее... В экономике, мамо, это называется «монетизация и вывод средств к существованию с территории». Это я как экономист тебе объяснил. Как сын — я скажу, что я на тебя в обиде: стараюсь ведь, не оставляю тебя, твой топор-мясоед не с росы ржавеет, мамо!

— А я что же? — наивно пятилась мать. — Я ничего... Разе я плохо тябя кормлю?!

— Ну, а как гражданин, тебе скажу: надо этот самый топор ухватить покрепче, да бошки-то и поснести всем этим «монетизаторам» средств к существованию...

— Дык ведь убьют! — потешно, по детски приложила ладошки к шее напуганная мамо.

— Вот оттого и сидим, как в яме... — поучал никчёмной мудростью, словно об стенку горохом, Имбирёв. — Слова уже все давно кончились... Надо уже брать их и бить, а мы не можем... Слабые мы слишком... Духом дистрофики... Нам помереть легче...

— Ну, шо же... — бормотала мамо характерным оренбургским говорком, ничего, естественно, не поняв из сыновьего лектория. — Бог сотворил мир, а нам велел творить хлеб...

И загрузила в хлебопечку «Мулинекс», подарок Ивана на Новый год, пышную, зыбкую опару с укропными стёжками...

А Иван пошёл барана разделявать на пенёк у выезда, к самому тротуару Керенского бульвара, по которому снизу вошла в город неумолимо и неопровержимо первобытно-жестокая свобода без правил...

\* \* \*

Раззудилось в топорище плечо — и на морозном солнышке раннего марта как-то рассеялась муть-тоска... Молнией летал топор — отсекая ровные, стандартные куски мяса — под формат полочки в морозильнике «Саратов»... Так что и редкие прохожие «керенского бульвара» любовались... И всплывали в памяти вместо обид на ворчливую, всегда всем недовольную мать, бессмысленных и безысходных, — светлые строки Есенина:

*...К черту я снимаю свой костюм английский.  
Что же, дайте косу, я вам покажу —  
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,  
Памятью деревни я ль не дорожу?*

И кажется, что под глухой стук топора — весь Керенский бульвар, улыбнувшись оскоромленной улыбкой былого изобилия, снимает к чертям свой английский костюм...

Но, увы, по-прежнему туманна его обрывающаяся в реку перспектива, и нет у него конца в гудящем течении времени подо льдами с рыбацкими лунками, как нет ему и покоя в этой скорбной юдоли по имени жизнь...

— Иди-ка сюда, Егор Тимурович... — бормочет казак Имбирёв, подкладывая под лезвие чрезмерно-длинный обрубок бараньей шеи. — А вот тебе!

И отлетает почти квадратный кусок — прямо в эмалированный таз с кровавыми разводами.

— Анатолий Борисович! — скалится Иван, подкладывая рёбра. — Дозвольте и ваше место указать... Вы меня во всю эту подлость втянули! Я уж вас отблагодарю по-царски: сверху железом, снизу деревом...

...Увлёкшись, Имбирёв и не заметил, что Она стоит рядом, с какой-то стопкой книжек в руках, и любит его справным ремесленничеством. Ольга Туманова — обжигающая голубоглазым льдом Ольга, Ольга — девушка друга, как же давно тебя Иван не видел!

— Привет, Вань! Бог в помощь!

Она в ярком китайском пуховичке, которые зовут одноразовыми, потому что, как за ними ни следи — больше одного сезона они не служат. И в шерстяной вязаной шапочке с помпончиком... А из-под шапочки — две льняных реки вдоль острых скул — её прямых и таких длинных божественных волос...

— Классно у тебя получается, Ваня! — говорит она, что думает. У неё вообще характер открытый и правдивый, не то, что у Ивана, любящего разговаривать со стенами и молчать с людьми.

— Можно я к тебе папу моего на стажировку пришлю? Он у меня «иногородний»<sup>4</sup>: когда мясо разделяет, половину на снегу оставит...

— Да не вопрос, Оленёнок!

— Хотя... — в её взгляде мелькает грустинка, — сейчас нам с папой рубить, в общем-то, и нечего уже стало...

Попрощалась, ладошкой-варежкой помахала и ушла. А Имбирёв стоял столбом, скалился, пытаясь улыбаться, и повторял внутри ненужные слова, которые не успел, да и не считал правильным озвучивать...

И про то, как ей идёт этот помпон... И про то, какая она яркая в китайском ярком пуховичке на однозимье... И про то, что она — его личный эталон красоты...

## 2.

Крупный, хоть и полуразорённый сельский «головастик» — ОПХ «Северная Олива» имел в Куве маленький хвостик. На улице с характерным именем улица Воровского, на первом этаже жилого дома располагалось Представительство, некогда выданное перспективному хозяйству партийными властями.

Не ахти что: небольшая комната с совсем уж тесной передней, увенчанной скромной вывеской, застеленная дешёвеньким линолеумом, содержащая в себе два тёртых кожаных кресла подковками, несколько обычных стульев и два стола, подозрительно напоминавших школьные парты простейшим дизайном...

Большое, трёхсекционное окно Представительства ОПХ «Северная Олива» выходило в кошачье-голубиный двор, и в центре обзора имело помойные контейнеры.

Батарея в комнате жарила невыносимо, дешёвый пластик, которым отделаны были стены, пахивал химией, а на стене — словно символ остановившегося времени, одиноко и сиротливо болтался большой календарь на 1991 год.

Имбирёв, нечаянно и нехотя втянувшийся в вопросы сбыта «Северной Оливы», так же нечаянно и совершенно обыденно стал пользоваться этим осиротевшим после больших сокращений штатов в ОПХ уголком маслоделия.

Отводящий глаза в сторону, так, что казалось — он обманывает и стыдится, — директор ОПХ Клим Лукич привёз между делом, после скромного делового обеда в ещё действующем советском «Кафетерии», Ивана на этот адресок и тут же, показав небогатое хозяйство, выдал ключ от раздолбанного замка.

— Иван, ну кому ещё... Ну ты пойми меня... Ну люди же без зарплаты сидят... Тут, смотри, всё оборудовано, торгуй на здоровье...

Иван хотел было сказать, что ничего как раз не оборудовано для торговли, и даже телефон уже отключен за неуплату, но не стал: пожалел растерянного хозяйственника, которого ценил за деревенскую основательность и такую же дровяную, кондовую наивность...

Убогая комната сельского представительства маслодельческого хозяйства первым делом стала складом. Именно сюда были заброшены угрюмыми грузчиками сахарные мешки из Крыжополя, восхитительно-дешёвые, но при этом вонючие. Пытаясь сэкономить на доставке, контрагент загрузил их в

<sup>4</sup> Иногородний — в казачьей речи обозначает человека «иногo рода», то есть пришлого, не принадлежащего к казачьему сословию.



вагоны, в которых перед этим сгнили похабнейшим образом то ли помидоры, то ли баклажаны, причем несколькими тоннами разом...

Сахар пересевали, проветривали...

— Так неудобно... — бормотал бывший школьный Бэримор — Так неудобно получилось...

— Сахар в вонючем вагоне, — утешил его Имбирёв, — это ничто по сравнению с тем случаем, когда мне пытались впарить гудрон под видом тибетского мумиё...

Когда сахар ушёл, песчаными ручейками рассыпался по рукам сварщиков варений и самогона, начался сбыт постного масла со всеми хитростями «маркетинга» начала 90-х годов...

...Скажем, если купить со всеми сертификатами качества сто бутылей оливкового масла, а продать их тысячу, то проверка может обнаружить на прилавках, например, 38 бутылок оливкового масла... Спросят — откуда? А им ответят: да как же откуда, мы же вот, бумаги, пожалста, 100 купили, и не все ещё продать успели... Потому что кто же их, покупателей, в миллионном городе подсчитает — тысячу они у тебя купили или 62?

Или, скажете, чеки? Но и тут есть свои ходы-выходы... Если чековую ленту вставить в матричный принтер, гудящий, как пилорама, подложив копировальную бумагу синего цвета... то получится точная копия магазинного чека — как из кассового аппарата...

Миннибаевна, за масло печатавшая Имбирёву этикетки на... масло! Так вот, эта самая Миннибаевна однажды спросила, показывая, что всё понимает и только прикидывается дурочкой:

— Ваня, а ты сесть не боишься за пересортицу?

— Боюсь! — честно сознавался старой подруге Имбирёв. — Очень боюсь... Только видите какое дело... Вероятность слечь от бескормицы у меня гораздо выше, чем сесть за пересортицу... Тут уж... — Иван вспоминал мамини оренбургские, казацкие прибаутки: — *Тут ужа съешь ужа!* Или в гроб ложись, или в горб божись... Нужда и врать научит, и правду выудит...

\*\*\*

Косые солнечные лучи падали на убогий в своей дешевизне главный стол руководителя представительства «Северной Оливы». Лучи заигрывали с фантиками ельцинских денег, цветастых, аляповатых, растекавшихся радужными разводами, если их в воду макнуть... При всём уродстве ельцинских денег — их было непростительно мало, обтруханных, мятых, разным номиналом, включая заклеенные белым медицинским пластырем...

— Я думал, больше в этом месяце... — растерянно бормотал Имбирёв, словно картёжник, тасуя колоды разномастных купюрок. — Ну надо же... А куда же?! Ишь ты чё — не выручает выручка-то... Были блины — длинные; до рта нёс — всё растрёс...

За приставным, таким же убогим до школярства, столиком разочарованно сидел тесть Ивана Имбирёва, приехавший из далёкого колхоза на красивую жизнь детей посмотреть... И не увидевший её...

Дочка-то им с матерью в свои «фифины приезды» насвистела, что муж — фирмач и богач. А тут Тимерьян Ахтямович увидел что-то вроде родного сельсовета, только размерами меньше...

— ...Ну, знаешь, Иван... — с деревенской и стариковской прямоотой брюз-

жал он, оглядывая обшарпанные стены прибежища зятевского честолубия. — Такие офисы и в деревне найти недолго...

— Ну а что же вы хотите-то, Тимерьян Ахтямович, чего же ждали-то? Вам Алсушка что рассказала? В деревне такие же люди живут, как и тут, такие же конторки и ставят... Да ведь не красна изба углами, красна бирюками<sup>5</sup>... Была бы выручка, да ведь выручки-то толком нет... А потом я вам скажу простую истину: выручка — не прибыль. Не гляди, сколько в руки взял, гляди, сколько отдашь...

— И запах тут у тебя какой-то... тяжёлый...

— Трубу в подвале опять прорвало! — сетовал Имбирёв, обрадовавшись, что нашлось кому пожаловаться. — Нам-то ладно, у нас представительство, а по соседству в стекляшке — кулинария, «Домовая кухня», — и такая вот вонь с подвывертом, представляете? Ну они разбираются сейчас, слышите, звон по батарее... Значит, сантехник уже в подполье... эта... партизанит...

— И часто он у вас в подполье уходит? — прищурился взыскательный тесть.

— Раз уже третий за этот год... Доконал Водоканал...

— Вот шайтаны! — неискренне посочувствовал сельский гость зятю. Тот же полез в гардероб с перекошенной дверцей. Сдвинул облезлые оптовые масляные кеги<sup>6</sup>, в которых булькнуло жирным плеском... И, осыпаясь ворохом каких-то советских вымпелов, которые Клим Стрешнев умолял не выбрасывать, извлёк из пыльных кумачей бутылку водки.

— Водку в гардеробе держишь... — пенял тесть, — с тряпьем там всяким... Надо сейф покупать, Иван-агай, как у людей положено...

И достал на закуску из большого дорожного портфеля пирожки: с «кыбисты» (капустой), с «картуф» (картофелем) и прочую такую же припась.

Лакая «белую снедь» из гранёных стаканов с белёсыми пятнами канцелярского клея на дне, тесть продолжал ворчать:

— А мы с апой думали, у тебя фирма... А у тебя что же, получается, сельмаг, что ли?

— Безобразие непонятное тут у меня! — кивал Имбирёв виновато. — Зашёл надело, застрял набело: и сидеть тошно, и выйти заперто! Расталкиваю по точкам растительное масло, скидки оптовые выдумываю... Ну и попутно всякой дрянью тоже приторговываю, шеф в курсе... — Иван всё же не удержался, чтобы не похвастаться, как бы нелепо это ни казалось в сложившейся «обстакановке»: — Он мне эту комнату отдал безоговорочно, делай, говорит, что хочешь, только бутылки наши сбывай...

Иван вымахнул сто грамм, и почти слёзно простонал:

— Вы поймите, Тимерьян Ахтямович, я бы отсюда сбежал... Давно бы сбежал... Да некуда мне! Я и здесь-то случайно оказался, совершенно по нелепому стечению... Залез, как таракан в щель, сидеть стыдно, а вылезу на улицу — там и удавят, далеко не оттягивая...

Уходя, грустный тесть посоветовал, как человек мудрый, жизнь долгую проживший:

— А ты, Ваня, общего правила-то не ищи... Нет его больше... Поделили наше общество на живых и мёртвых. Одному деньги дают просто так, другому — со скрипом за труд, а третий, как ни крутись, хоть кол на голове теши — шиш!

<sup>5</sup> Оренбургский казачий вариант поговорки: «бирюк» — матёрый волк, считается, что хозяин с волчьей хваткой наполнит домохозяйство полной чашей.

<sup>6</sup> Кег — крупная металлическая ёмкость, используемая для оптового хранения и транспортировки продуктовых жидкостей.

Оглядываясь вокруг себя — Иван и сам не мог побороть ежедневной нутряной недоуменности: где, мол, я, и как тут очутился? Самая первая по такому случаю отмазка — временное. Правда, всплывает на ум мамина приписка — «ничто не стоит дольше времянок»...

В снах, в богатой фантазии — Иван не раз видел себя среди воображаемых правильных людей, с правильными, пропорциональными и умными лицами, которым он говорит правильные и глубокие вещи.

Например, снилось почему-то про литературную критику... Какие метафизические глубины открыл нам роман? — задаёт Иван вопрос... Ну, неважно чей... Воображаемый такой новый роман... Одни люди соглашались с Иваном... Другие — вежливо и по существу возражают, и всё про метафизическую сущность... И никто не триндит про доставки масла или сахара из Крыжополя...

В другой раз Иван рассказывал воображаемым правильным людям про перспективы человечества. «Преодолевая техникой чёрный труд, мы шагаем в мир, где единственной вакансией останется работа мыслителя...». Бла-бла-бла! Широко шагали, блин, штаны с промежностью порвали!

В третий — он заливал соловьино про средневековую философию Дуранда, давая кручёные латынью ответы на дурацкий вопрос: чем она актуальна в наше время? Но это не смущает воображаемых людей.

Воображаемые люди фантастически подкованы в теме и вдруг задают Ивану про этого самого, никому не известного, и ещё меньше кому нужного Вильгельма Дуранда очень колкие и сложные вопросы, заставлявшие лектора ёжиться... Он ёжится — да радуется, ёжится — да не собачится...

Или вот — грезится старое время, и залитая кумачовыми знамёнами, лозунгами огромная площадь... И все люди в толпе — воображаемо-правильные... Иван стоит на гранитной трибуне на фоне сталинского ампира здания горсовета, и не шутя предлагает товарищам выполнить пятилетку в четыре года... И приводит аргументы — всё по теме, как это хорошо и «зашибись» будет...

А воображаемые правильные люди, затопившие городскую площадь, — внимают, впитывают и готовятся у себя на рабочих местах раскрывать тему. Но это ведь только сладостная бредь...

Вокруг Ивана нет таких правильных людей, рождённых исключительно его воображением: людей с правильными лицами, правильными мыслями, правильными поступками и жизнью. Нет «строевых» — каким лес бывает — человек...

Вокруг Ивана, пошло торгующего растительными маслами, — люди реальные, они же — ущербные, кривые да косые, переломанные, расшатанные умом и телом, неопрятные, полоумные, которые ни про значение инкунабул Дуранда, ни про литературную критику ничего не поймут. Дырки Отечества, одирки<sup>7</sup> жизни...

Они приходят к Ивану разговаривать с ним не про метафизику, не про будущее, не про уроки минувшего, не про глубины мироздания, Вселенной, человеческой мысли и духа.

Они приходят к Ивану, нелепо хмыкая и осклабясь, и сообщают ему совершенно ненужную информацию, что у них...

...Ну, например... типа:

<sup>7</sup> Оренбургское диалектное: «дирки — оставшиеся части овоща после его стачивания на тёрке.

— ... тёща жарит яшницу, а на весь дом как будто рыбой воняет, и нельзя ли чистого масла для сковороды, чтобы не воняло? Или воняло, но хотя бы не рыбой?

Иван считает этих людей — чья борьба с кухонной подсолнечной вонью его и его семью кормит — сумасшедшими. Он не понимает их, и понимает — что никогда не поймёт. Эти люди противны и отвратительны Ивану своим плотским и плоским скудоумием. Но они, во-первых, приносят деньги, а во-вторых, других-то нет!

Ивана, партийного златоуста специализированной прессы, — хорошо знает начальство в Куве, особенно старожилы, из партхозноменклатуры. Хочешь — хоть завтра дадут большой конференц-зал Дворца Профсоюзов... А хочешь — зал Дома Культуры Железнодорожников... Или трибуну в ДК «Девон», выстроенном нефтяниками... Бери, Ваня, вещай...

Но если ты там раскроешь хайло про Космос, новые романы, про философию, про метафизику, про историю — или футурологию, то встанешь перед пустыми креслами!

Другое дело — если ты захочешь рассказать им про растительное масло... Как правильно питаться, чтобы желудок сто лет пережил (мозгов у них всё равно нет, чтобы долгожительство), а ещё лучше — как на маслах зарабатывать... Вот такая информашка может иметь успех...

И главный вопрос: это временно или навсегда?! «Да выйду ли я когда-нибудь из заколдованного круга этого чёртова масла? Или так и буду всю жизнь полудуркам сковороды намазывать?!».

А маслянистые жидкости — они затягивают, как трясина, как зыбкий песок... Постепенно всё возвышенно-человеческое, так волновавшее пылкое воображение образованного и небесталанного юноши, — становится миром, кажется галлюцинацией...

Философия, литература, фундаментальные науки, звёздный зев Космоса, таинства молекулярных глубин, гулкое манящее эхо тысячелетий, зовущее понять и осмыслить свою глубину, — полно, да были ли они? Или лишь порождены бредом сумасшедшего? Как наполеонова идентичность, считающая подушку на голове полководческой треуголкой?

А может, ничего и не было? Как не подумать об этом — когда видишь, что совершенно выпал из человеческого интереса свод человеческих вопросов, осталась жвачка из тусклого и тухлого обсуждения вопросов звериных, зоологических, воняющих требухой и брюшной хирургией...

Иван видел, что всякая красота — во мгле 90-х только мираж, а реально — лишь базедовое уродство вещей и событий. Его до утреннего тремора, который он называл «серой лихорадкой» (острое до дрожи отвращение человека к вынужденному образу жизни), — сводило страхом, как у казаков говорят, «жизнь вохляб<sup>8</sup> проскакать»...

Звучит безобидно: «торгую маслом». Даже по-своему красиво звучит! С замахом на независимость и состоятельность... Но это звук, а не суть. А по сути это...

...Это изнурительный бег без концов и начал по окружности в центре которой — жутко-зияющая черным космическая пустота...

Это бесконечное и самое страшное — бессмысленное, безысходное кружево из бумажек, командировок, встреч и разговоров. И там — противно до

<sup>8</sup> Охлябь у *оренбургских казаков* означает отсутствие сбруи. Например, скакать в охлябь — значит, без седла.

прогорклой слюны, что тебя пытались обмануть, а здесь — что тебе помешали обманывать...

Какая-то взбаламученная ежедневная бурда из обид на людей, стыда перед людьми, отвращения к глупости, чувства извращённости в хитрости...

И постепенно начинаешь ощущать, что по трахее гуляют крупнолистовые осколки стекла, режут ткани тела изнутри, на вдохе, на выдохе, рвут артерии и бронхи, зыбко, изломанно продвигаются в тебе, вспарывая тебя тоской и отвращением, зелено-рвотной гадливостью к твоим обстоятельствам и знакомствам, твоим репликам и твоим поступкам...

Всё вместе называется — «серая лихорадка», болезнь недосыпных будней, дрожь в пальцах и песок в глазах, смешанные с кровохаркающим самоуничтожением в деле нелюбимом, непонятном, но необходимом для выживания... Которое само для чего нужно — тоже неясно...

\* \* \*

— Мышиный гешефт... — оценил доход от своих трудов Имбирёв после очередного подсчёта «фантиков». — Ну, что же... Если гора не идёт к Магомету, то Магомет пойдёт к горе...

И заказал своим знакомым на умирающую полипропиленовую фабрику маленькие бутылочки — чтобы выставить свои масла уже не пищевым продуктом, а лекарством...

Хорошие связи с крупными залами, Домами и Дворцами культуры — помогли Ивану раздобыть лекционные помещения. Падавшие в голодные обмороки полиграфисты — с большой охотой старому знакомцу отпечатали афиши...

Имбирёв собирал на семинары праздных людей (а праздные — хотя бы немного, да и имеют лишних денег: раз праздные) и вдохновенно читал им лекции о чудесных свойствах дубового масла...

После лекций те, кого Имбирёв сумел «зажечь глаголом», — шли и покупали бутылочки с дубовым маслом — для кухонь, для ванн, для бань... А Имбирёв был хороший оратор. Он почти всех умел «зажечь глаголом»...

Была и корчилась убиваемая и расчленяемая страна, а бывший казачий кошевой старшина убрал шашку в оружейный стенной сейф, и в цветастых галстуках барыги вещал про растительные жиры. Это предательство? Или разумный манёвр — чтобы выжить, а значит, продолжить борьбу? Никто не знает. Имбирёв тоже не знал.

Наверное — нужно говорить о постном масле, если это единственный способ сохранить жизнь себе, старухе-матери, дочке, жене Алсу Байгушевой, переписанной в Имбирёву...

И, наверное, подло говорить о постном масле, когда нужно пустить кровь убийцам твоего народа...

Переходя из ДК в ДК со своим жалким балаганом натуральных пищевых и лекарственных продуктов, в этом гастрономическом театре одного актёра, на этом кухонном ристалище-поприще — Имбирёв выживал.

Однажды там, на арене, к Имбирёву после выступления подошел молодой, вороватого вида человек, в таком же шёлковом, разноцветном до ряби галстуке коммивояжера, что и у Ивана Сергеевича.

— Здравствуйте! — представился пронырливый визитер. — Меня зовут Владислав, можно просто Владик... Я торгую льняным маслом, прямые поставки из Белоруссии... Товар редкий, аптечный, конкурентов нет... Мне очень понравилось ваше выступление, Иван Сергеевич, и мне понравилась

идея давить из желудей масло... Я предлагаю объединить наши усилия и создать на паях фирму... Ну, скажем «Сейл»...

«Сейл — это по-английски продавать, — мысленно перевёл Имбирёв. — Нехитро... Большого этот придурок, ясно дело, придумать не сумел... Вот кого, наверное, «серая лихорадка» не плющит...».

— ...Торговля оздоровительными растительными маслами... — соблазнял Владик. — Как вам идеяка?

### 3.

Аккуратно переводя пищевой продукт в разряд лекарственных средств, и неустанно балаболя об этом наивным и себялюбивым согражданам, Имбирёв делал из гастрономической цены аптечную. А высоким аптечным ценам никто не удивляется...

Раз дело пошло — открылась фирма «Масло Жизни» (Имбирёв убедил партнёра, что «Сейл» — совсем уж базедически звучит). Масло уходило «как по маслу» — взамен ему в офис представительства ОПХ входила свежкупленная мягкая мебель, диван да кресла, громоздкие тогдашние компьютеры, круглые настенные кварцевые часы, кофемашина...

За бараклом вошёл и криминал — куда же без него? Опрометчиво нанятая сидеть на заявках и телефоне секретарша оказалась повязанной с какой-то мелкой бандой из микрорайона «Слепаево»... Однажды в ночь офис полностью опустел. И весь престиж исчез неизвестно куда вместе с секретаршей. Правда, секретарша потом нашлась, но мебель и техника — уже нет.

Владик Вещаев предложил изнасиловать бывшую сотрудницу на пару. Имбирёв брезгливо возразил, что это будет ей скорее наградой, чем наказанием. Тогда Вещаев предложил порезать сына бывшей секретарши. Имбирёви это отклонил, и Владику запретил: дети — это святое, несмотря на специфику 90-х годов...

В общем, так ничего и не решили. Списали с баланса кофемашину, прочий багаж респектабельности, и четыре семинара с льняным, а потом ещё один с маслом средиземноморского дуба — пришлось отрабатывать суботниками.

Их отбывали в малом зале Дома Профсоюзов, чтобы компенсировать убытки. Потом снова вышли на прибыль... Имбирёв стал умнее, и решил брать на «ресепшен» только хорошо знакомого человека, которому мог бы доверять...

Таким человечком для фирмы «Масло Жизни» оказалась студентка-заочница Оля Туманова.

\* \* \*

— ...А ты-то когда приедешь? — снова приставала жена к Ивану Сергеевичу со странной женской амнезией. Ведь раза три уже объяснял, что в городе у него дела... И вот опять...

— Не хочу я на дачу! — капризно надула губки Алсу Имбирёва. — Там нет условий... Лялечка серюкается каждые полчаса, а подмывать в тазике...

— Ребёнку нужен свежий воздух! — повторял Имбирёв мамины слова, и ненавидел себя за это. — Тебе мамо поможет...

— Но ты же на выходные к нам приедешь?

Лето, жара, нервы: фирма обобрана, стены голые... Семью на дачу везти — мамо забрала с утра служебную «Волгу» с водителем Стасиком, и нет, и нет — никакого представления у родительницы о времени... Сидят с Алсу

на чемоданах и кульках, на пакетах с мукой и сахаром, ребёнок хнычет, жена капризничает: где мать?!

Мать, радуясь, что заполучила машину сына, да ещё и с водителем, поехала по своим делам, и пока весь город не объехала — успокоиться не смогла. Явилась с опозданием в три часа от намеченного срока, и оказалось, что она уже набила багажник всякой дрянью — теперь кульки и банки с детским питанием придётся класть в салон к пассажирам...

— Мамо, ну ты ставишь меня в неудобное положение... — шипел в прихожей Имбирёв. — Ну что? Ну куда? Зачем тебя туда понесло?!

— Я спрашивала у Стаса, не трудно ли ему, — делала пожилая толстуха наивные глазки детсада. — Он сказал, что совсем нетрудно...

— Мам, ну конечно он сказал, что ему нетрудно... Ты мать его начальни-ка... Что ты ждала услышать? Ты ставишь и его в неловкое положение, и меня в неловкое положение...

— Ты так редко выделяешь матери транспорт! — стыдила его Наталья Степановна. — Я уже не говорю об уважении к той, которая тебя в муках рожала, вас всё поколение такое... Но уж машину, казалось бы, можно было бы...

— Мамо, ты же поможешь Алсушке подмывать Лялечку? — меняет тему разговора проницательный Имбирёв.

— Кстати, об Алсу! — поджигает губы мамо. — Иван, совершенно никакой дистанции... Укачивает внучку и кричит мне: Наталья Степановна, убавьте газ под пирожками...

— Наталья Степановна... — делала обиженно-плаксивую мордашку Алсу. — Ну у меня малышка плакала... Ну, неужели трудно убавить газ...

— Мне не трудно! — бодрится ворчливая мать. — Но почему бы ни сказать: убавьте газ, пожалуйста?!

Была одна радость у Имбирёва: то, что он уже сегодня отвезёт это чокнутое бабье царство в маленький дощаной домик в Лучарёво. В домик, выстроенный покойным отцом в садовом кооперативе геофизиков... С большой, как витрина, верандой для семейных чаепитий, двумя спальнями с пузирями выгоревших, отходивших обоев... И маленьким чердачным помещением с игрушечным круглым слуховым окошечком под самым коньком замшелой от времени, утопающей в тени высоких берёз шиферной крыши...

Эта — в детские годы нелюбимая Иваном за каторгу грядок дачка — представляла из себя музей быта семьи Имбирёвых. Поскольку родители не выбрасывали вообще ничего — отслужившие своё вещи строго и неукоснительно отправлялись из городской квартиры сюда. И здесь можно было развёртывать тематические экспозиции из мебели, одежды, техники — «Семья Имбирёвых в 60-е годы», «Семья Имбирёвых в 70-е годы»...

Помучив Ивана-школьника, дача теперь платила добром: принимала на пол-лета в свои садовые, тенистые, вишнёво-яблочные кущи-объятия бабье царство...

— Ну, я надеюсь, ты хоть в пятницу-то приедешь? — требовательно спрашивала «мамо», и сноха горячо её поддерживала...

Им же на всё наплевать! Им же вынь да положи, чтобы они свои сковородки калили и стиральные машины запускали... У Ивана ограбили офис, фирму раздели ниже белья, а этим двум — только свои бабы заморочки, и дела больше никакого... Ещё и губы вдвоём надуют, если в пятницу к ним не приедешь...

— ...Да мне ту розетку надо было, чтобы пелёнки Лялечке гладить... — серебристым голосом звенит в салоне «Волги» Алсу.

— Гладить ты мужа будешь! — ворчит столь же властная, сколь и непоследовательная Наталья Степановна. — А ткани уютят...

ТЬФУ!

На обратной дороге из Лучарёво, когда в салоне служебной машины стало просторнее и легче дышать, — вдруг выяснилось, что мало бензина...

— Стас, ну я же просил с утра, залей полный бак! — морщится Имбирёв.

— Иван Сергеевич... — шепчет Стасик. — Я с утра и залил... Но ваша мать...

Звучит, как ругательство, хотя формально не придерёшься: действительно мать, и действительно «ваша», то бишь имбирёвская...

Заехали на заправку, пока Стас заливал горячее — Иван Сергеевич отошёл подальше, потому что курить на заправках запрещено. Здесь, среди квадратом расставленных дорожных фур, гремела музыка из переносного «бумбокса», из тех, какие в старых голливудских фильмах негры на плече носят.

Шестеро бедновато, но ярко, вызывающе одетых девок в кольце грузовых кузовов лихо отплясывали лезгинку. Когда одна изображала джигита-черкеса в стиле «асса!» — другая подыгрывала, закрываясь ладошкой в стиле «ханум»... Потом менялись ролями...

— Плечевые... — понял Имбирёв, внутренне холодея.

Плечевые — самый низший разряд проституток, с трассы. Они обслуживают дальнобойщиков, и живут недолго. Ниже этого дна падать уже некуда — и до могилы отсюда полшага...

И вот эти обречённые пигалицы, молодые и наивные, почти школьницы, дурачатся, пляшут, веселятся, ликуют... А через год-два ведь никого из них уже не станет... Но они не думают об этом... Сколько задора и оптимизма в их танце, лихой юной гибкой энергии радости... Лето, солнце... Дальнобойщики деньги в трусы суют... Хоть день, да наш! Молодость радуется там, где оказалась, потому что она — время, когда самой природой велено радоваться... Молодость создана для радости и она залиvisto хохочет даже там, где это немыслимо... Потому что другого времени для радости жизни человеку не отпущено!

И вот девчонки-смертницы, над которыми уже повисло кровавое коромысло приговора судьбы, — пляшут от души, забыв и думать о завтрашнем дне, и смеются беззаботно — как смеются их сверстницы, задувая свечки на именинном торте...

Смех-то один... Смех юности... Судьбы только разные...

Имбирёв любовался живой пластикой, любовался этими молодыми и гибкими девчонками, и почти плакал. И в висок стучало: «это дочери твоего народа, казак! Это твои сёстры... Они могли бы стать матерями — но их выдают, как лимоны, и выбросят истощённые тела на помойку... Это ты поступил так с этими дурами набитыми, которые ничего не понимают: надо было идти на Москву, а у тебя нашлось дельце поинтереснее... Ты маслицем торговал...».

— Шеф, не вздумайте их снимать! — ядовито скалился за плечом подошедший Стасик. — Это плечёвки... У них букет этих... венерических... — потом холуйски прицокнул языком, плотоядно осклабился: — Но как выгибаются, шельмы!

— Жди здесь! — рывкнул на Стаса Имбирёв. Да так неожиданно рывкнул, что шофёр аж отскочил. — Я к реке спущусь...

Там, внизу под обрывом, совсем близко шумела по камням мутная полноводная Сараидель...



— Шеф, а чё один-то? — раболепствовал Стасик. — Мало ли кто, места дикие... Давайте я с вами...

— Я там выпить хочу, Стас... — объяснил Иван Сергеевич. — А тебе пить нельзя, ты за рулём...

«Удивительно сочетание в наше время инфернальности и пошлости!» — думал Иван, продираясь через заросли шиповника к берегу реки. Перед глазами вставали мамины сборы, капризы жены, дачный выезд — и почти без перехода, без интервала — шесть пляшущих лезгинку юных смертниц на грязной трассе...

Никогда ещё в истории Освенцимы и Бухенвальды не были такими пошлыми...

Тлен смерти и мелочные бытовые жиры, мука и мука, мучительное и мучное — и не разберёшь, где кончается одно и начинается другое...

На берегу — где наискосок течению тянулась ребристая кремневая каменная отмель — было тихо, спокойно, дико — и совсем не видно трассы.

И никого, никого не было в этом уголке почти нетронутой уральской природы — кроме совсем сюрреалистически смотревшейся... Ольги Тумановой!

В белых кедах осторожно ступая по кремниевым лезвиям промоин она с мужской ловкостью забрасывала спиннинг на середину мутного сараидельского течения... И казалось Ивану, что это не реальность, а реклама рыбных продуктов...

Оля была в коротких, да ещё и подвёрнутых белых шортиках, в летней блузке с отложным воротничком. Блузка в процессе рыбалки намочила и облепила по «мокрому делу» резко очерченную девичью грудь, обозначила манящие кнопочки, которыми во все времена включаются мужские вдохновение и наслаждение...

...На голове — курортная фуражка, стилизованная под капитанскую... В такт движениям покачиваются светлые роскошные пряди, струящиеся из-под фуражки. А как длинны и стройны загорелые ноги...

— О, привет, Иван! — помахала она рукой, завидев друга детства. — Тоже порыбачить?! Проспал зорьку, казак!

— Я, Оля... — сказал он грустно, грузно усаживаясь на плоский камень у самой воды, — всё в жизни проспал...

Достал герблёную фляжку, стал, как телёнок вымя, сосать горлышко, высоко закинув над лицом перевёрнутый чеканный герб...

Оля взяла своё пластиковое ведро, где, засыпая, поплёскивал хвостами мелкий, но обильный улов. Подошла к Имбирёву, забавно, как балерина, балансируя на резко очерченных лезвенных гранях поровшего брюхо реки кремневого ножа...

— А ты бы не пил, Ваня! — смущённо, но заботливо предложила Оля как бы между делом. — Нельзя тебе, а?

И улыбалась дружелюбно. И зубки её сверкали в лучах щедрого летнего солнца перламутром...

Иван, хоть это и было совершенно безумно, — стал вдруг сбивчиво рассказывать ей про «плечевых», и то, что им радости хочется, как и всем девочкам, и то, что все они обречены, и по сути — лишь тени жизни, и то, что... Нет, о том, как прекрасна Ольга в подвёрнутых до самых бёдер шортиках и с удочкой в руках, он не сказал. Выпускница музыкальной школы и студентка университета, с внешностью княжны или принцессы, с утра наловившая полное ведро бакли и окуньков... Разве такое бывает?

Они сидели бок о бок, перед розовым пластмассовым ведрышком, и глядели на качающуюся в волнах бриллианты солнечных бликов реку.

— Ты уж так не переживай, Вань... — иронично посочувствовала другу детства Туманова. — Ты уж себя побереги, об стену лбом... — забавно морщила брови, играя в лектора, разводила руками: — Ну, что поделаешь — совокуются люди-то... Похотливы... В том числе и водители дальнобойного транспорта... Бог их такими создал... Куда ж от этого уйдёшь?

— Да я же не об этом, Оленёнок! — взвыл быстро опьяневший Иван. — Они же все погибли, эти бабочки-однодневки, я же вижу, чувствую, года не пройдёт — кончит их такая жизнь...

— Ну уж, Вань! — внимательно и с уважением смотрит Ольга, а в голубых глазах — кристаллики смеха. — Прямо так и видишь? Ты Ванга, что ли?

— Да какая я Ванга! — раскрывал душу Иван Сергеевич. Он почувствовал давно забытое сочувствие слушательницы к своим словам и мыслям. Так-то они сыпались в общество, как об стену горох...

— Говно я, как и всё моё поколение, говно... Россия, Оленёнок, это не берёзки... Россия — вон там, на трассе, члены немывтые сосёт... Чё отворачиваешься? Противно сказал? А жить с этим здоровому мужику не противно?!

Имбирёва всё чаще осаждали такие мысли. Он не знал — предаваться ли им или избавляться от них, потому что не ведал — источник ли они внутреннего болеизлияния или наоборот — обезболивающие...

— Вот что! — посерьёзнела Туманова. — Давай, закручивай свою фляжку, и пошли наверх... Я их рыбачить научу!

— Кого? — оторопел Имбирёв.

— Кого-кого... — с живой мимикой передразнила Ольга. — Плечевых этих... Если им не на что жить, так что на трассе стоят, подолы задирают — я их научу рыбу ловить... А если они дуры... Ну тут уж не взыщи, это не лечится...

Когда Иван и Ольга со спиннингом наперевес, напоминавшим казачью пику, вышли в отстойник для грузового транспорта — девки уже не плясали, хотя «бумбокс» продолжал орать. Расселись на старых покрышках и ящиках с пожарным песком, обмахивались с усталости...

— Девчонки! — с ходу предложила Туманова. — Айда я вас рыбачить выучу!

Плечевые посмотрели на странную парочку (Иван пыхтел, тащил ведро с уловом), как на сумасшедших.

— А нахрена? — хрипло и прокуренно спросила самая сообразительная из проституток.

— Ну как, девочки?! — смеялась Ольга, а сама подмигивала Имбирёву. — Удочка — она что? На любую холудину<sup>9</sup> леску привесь... А обед с ней всегда будет...

— Какой обед?

— Рыбный суп! Уха!

— Ухуеть перспектива! — заржали девахи, полные непонятным оптимизмом. — Пока мы там с тобой, подруга, будем рыбачить — у нас всех клиентов на отстойнике отобьют... Конкуренция, йопт, слышала?

— Не надо вам этих клиентов! — щебетала Туманова. — Говорю же, и без них уху себе завсегда сварганите...

— Ну, сегодня уха, а завтра? — вовлекались плечевые в странную игру — им бы лишь побалагурить.

<sup>9</sup>Холудина — *оренбургское диалектное: прут, лозняк, жердь, тонкая палка, хворостина.*

— И завтра уха...

— Ну и чё эта за жизнь такая? — морщила носик жгучая брюнетка лет девятнадцати на вид. — Каждый день уху хлебать?! Или ты на нашу клиентуру свой бл...кий глаз наложила?

— Видишь, Ваня, безнадёжный случай! — повернулась к другу Ольга.

А плечёвки уже окружили его, оценивая его старомодный, но дорогой парусиновый летний костюмчик, цыганисто гоготали:

— Эй, толстый, ты с этой шмарой не водись, она тронутая... Хочешь, обслужим тебя по высшему классу? По тебе видно, что папик ты с лавэ...

— Поехали, Оленёнок... — мрачно предложил Иван. — Я тебя до дому подкину...

— ...Так что ты, Вань, всё на себя-то не бери! — весело советовала Оля по дороге, касаясь плеча сидевшего на переднем сидении Имбирёва. — Не на тебе одном Россия-то держится...

— Понял уже, что на тебе! — буркнул Иван Сергеевич.

— Не на мне... — она залиvisto захохотала. — А на удочке... Хотя и они в чём-то правы, Вань... Когда неделю на ухе сидишь — смотреть на неё уже противно...

— Оля, идём ко мне работать! — неожиданно даже для самого себя выдохнул Имбирёв. И — чтобы она плохого не подумала — в глупых и скомканных выражениях рассказал, как диспетчерша ночью вывезла из офиса мебель, и что без девушки, сидящей на телефоне, нельзя, и доверия никому уже больше нет. — ...Кроме тебя!

Ольга выслушала весь этот сумбур (в зеркало заднего вида Иван видел, как она склонила хорошенькую головушку, вникая в дело), а потом игриво улыбнулась:

— Вань, ты так много говоришь, как будто сам ко мне нанимаешься... Убедил, красноречивый! Хорошее предложение...

\* \* \*

Ничего лучше Ольги Иван придумать не мог. И не только потому, что он вообще ничего лучше Ольги вообразить не умел. А и конкретно для дела тоже...

Во-первых, Имбирёв её давным-давно знает, и пуд соли с ней съел. Во-вторых, живет она рядом, из хорошей семьи, пай-девочка, красавица. Да от одного её вида, пусть и скучающего за громоздким компом, продажи льняного масла сразу выросли! Помогли льняные длинные волосы и васильковые глаза...

Правда, Алсу Имбирёва, побывав как-то в офисе мужа, сразу поняла, что будут на этой почве проблемы. Проблемы и начались, однако совсем не те, о которых думала Алсу...

Все думали, что смазливенькая, разбитная, потерянная в бурных стремнинах кошмарных 90-х секретарша начнёт клеиться к успешному, молодому, набирающему обороты боссу.

На это — чего греха таить — надеялся и сам Иван Сергеевич, у которого с приходом Ольги резко повысился деловой тонус. Человеком он был от природы робким, шуганным, и оттого напрямую не подкатывал — подпускал пыль издалека. В основном, демонстрируя свою «успешность»...

Тоскуя по потерянному миру газет, Иван Сергеевич, у которого, что бы он ни делал — всё равно получалось, «как в редакции», — в итоге запустил на

руинах старого мира нечто небывалое: газету без аналитики и репортеров, сбытовую «портянку».

Называлось это чудо невиданное, конечно же, «Масло Жизни», и содержало в себе множество фотографий бутылочек разных масел, описание всей их невообразимой, как тогда говорили — офигительной пользы, и контакты для покупки по спекулятивной цене...

Газета распространялась бесплатно — но вскоре шустрые мальчишки Кувы стали её продавать, забрав в редакции пару-другую пачек из свежего тиража...

Продажи разных сортов постного масла снова выросли — так что фирма переехала уже в бизнес-центр, отгроханный на месте бывшего завода пишущих машин. А представительство ОПХ стало подсобным помещением, к неудовольствию Клима Лукича, исправно подбрасывавшего маме Ивана Сергеевича на дачу то машину навоза, то сруб для бани...

Несколько ресторанов Кувы дали в газету Имбирёва свою рекламу на боковых колонках, и заплатили щедро. Эти же рестораны стали брать оптовые партии экзотического масла, но платили как за розницу. Для них, при их оборотах, мелочь — для Имбирёва гешефт...

Имбирёв снова напрягал голову, сочиняя. Он прекрасно понимал, что сваленные на Владика Вещаева проблемы экспедиторства, всяких поставок-доставок, отчетности — ничто. Вся прибыль зависит от литературного таланта Имбирёва. Найдёт он настоящие слова для описания товара — купят товар. Провалит миссию — останется на бобах...

Имбирёв искал, как кабан, рыл носом землю. Искал — и находил. Много сидел с тематической литературой, но при этом оживлял волшебством журналистского приёма мертвые технические информашки.

Имбирёв работал; фирма богатела...

Имбирёв слышал восторженные отзывы о себе от смежников, от компаньона, от надоевшей жены — и только от Ольги Тумановой он их не слышал. И расстраивался: как-то не по-книжному, не по шаблону получается...

#### 4.

Ушла из квартиры Имбирёвых старая громоздкая продолговатая «Радуга», телевизор, сидевший в старомодном полированном деревянном корпусе. Вместо неё мерцал недавно купленный престижный импортный телевизор, с квадратным экраном, из черного пластика.

Он выплевывал из себя характерные образы эпохи. В буране из конфетти и блёсток эстрадные звёзды «новой России» демонстрировали новую популярную игру «Война в Заливе». Каждый из эстрадных содомитов, невзирая на пол и возраст, зажимал монетку между ягодиц, и ковылял до серебряного ведра со льдом от шампанского... Целью игры было выпустить монетку из задницы точно в ведро... Всё это щедро сдабривалось белозубым голливудским смехом и гламурным юмором...

Иван Сергеевич смотрел на эти видения заворуженно, как будто (так внешне выглядело) он страстно переживает за бомбардировки «Залива» — шампанного ведра...

«Почему я не убил их? — спрашивал себя Имбирёв. — Почему я не умер?».

Алсу на большом супружеском ложе, в шёлковом розовом кружевном пеньюаре, через который просвечивали соблазнительные, тёмные до шоколадности соски её упругой груди, разгадывала кроссворд из глянцевого журнала мод:

— «Средневековый философ, тёзка отрицательного персонажа из советской детской литературы...». Одиннадцать букв...

— Бонавентура... — машинально, эхом отзывался Имбирёв, не отводя глаз от оскорбляющего и оскотпляющего душу эфира.

Она вписывала одиннадцать букв и по-детски радовалась:

— Подходит! А теперь смотри: «Техническое устройство для ускорения заряженных частиц, излюбленное КВН-щиками для приколов на тему умников...».

— Сколько букв?

— Четырнадцать...

— Синхрофазотрон.

— Подходит. Прямо как мы с тобой друг другу, Иван... Правда ведь?

В её голосе нужно было почувствовать едкую окись сарказма, яд клубящейся в инкубаторе скрытых переживаний ненависти. Но Имбирёв был слишком занят яркими красками импортного кинескопа, несравнимыми с блеклыми пятнами советского декодера.

В телевизоре закончилась «Война в Заливе» и начались новости. Диктор спокойно и буднично рассказывала, как в каком-то совхозе восемь детей школьного возраста с голодухи обожрались комбикормом в коровнике... Комбикорм, как ему свойственно, вздулся и разорвал детям животы... Трагедия, депутатский запрос, создана комиссия, будет проведено расследование, шоу «Наши деды воевали» начнётся в девять часов... Чего?! А это уже другая новость... Лучшие комики страны развеселят вас репризами на тему Второй мировой войны...

Ивану казалось, что телевизор только притворяется телевизором. Он видел — особым своим зрением мыслителя — что этот черный квадрат, купленный за бешеные деньги и вызвавший зависть всех соседей — на самом деле просто бес, забавляющийся с людьми, несущий всякую жуткую околесицу. А главная цель околесицы — чтобы человек убил себя...

Этот бес не дал умять, спрессовать в шутку назревавший конфликт супругов. Он помешал Ивану понять, что Алсу дошла до предела внутреннего накала, и её вот-вот прорвёт протуберанцами долго сдерживавшейся ярости.

— Всё-то ты знаешь, Иван! А вот смотри, сможешь отгадать — слово из шести букв... Деспот и глава военной хунты, для свержения которого без толку отобрали бриллианты у Алсу Имбирёвой...

— Что?! — Иван, наконец, оторвался от телебреда и посмотрел на жену. До него стало доходить, что она издевается, и о кроссворде речи уже не идёт.

— Так я и спрашиваю, шесть букв... Деспот, которому ни жарко, ни холодно, оттого, что у Алсу Имбирёвой муж вынул из ушей собственный подарок! Чего же ты молчишь? Язык проглотил?!

...Это было в начале 1993 года. К Ивану тогда явился комбат Буняков, входивший в группу генерала Ачалова, и попросил помочь защитникам Белого Дома.

Казалось, чудовище, засевшее в Кремле, вот-вот падёт, и восстановится человеческая жизнь... Имбирёв тогда до предела проникся идеей «счастье так возможно, так близко». И он отдал всё: и свои сбережения, и оборотные деньги фирмы (к великому гневу и отчаянию компаньона Владика)... А под занавес — подозвал к себе жену и вынул у неё из ушей крупные бриллиантовые серьги, свой подарок.

— Потом компенсирую, Алсушка... Сейчас все должны выложиться по полной... Скоро всё, всё будет по-другому, понимаешь?

Она не понимала, ни тогда, ни потом. Она отказывалась понимать, почему какой-то неприятный комбат Буняков в мундире цвета хаки должен везти незнакомому генералу-десантнику бриллианты из её ушей... Самые любимые её бриллианты, которыми она, деревенская девчонка, так гордилась, дар любви мужа, которыми она почти каждое утро любовалась у зеркала...

Но она была молодой женой, она была в прошлом — подчинённой сотрудницей мужа, она была восточной женщиной, и она молча, проглотив обиду, стерпела. Промолчала — но не простила...

Зачем дарил — если отобрал?! Лучше бы вообще не дарил... Жила без брюликов в своем зерноводческом колхозе, и дальше бы жила... А он ведь подарил... Такие дорогие, такие сверкающие, такие роскошные — что колхозные папа-механизатор и мама-доярка, когда увидели — плакали от счастья... А теперь брюлики забрал мужлан в одежде хаки, потому что у мужа личная вендетта к Ельцину...

Что сказать, если папа или мама спросят про них? А если бы для победы над Ельциным нужно было бы пустить её, молодую, беременную жену по кругу среди грузчиков — он бы пустил?

Она не спрашивала...

Она знала страшный ответ...

Он забыл, что подарок — не отдарок. Он своими руками вынул! Из ушей! Вынул! И отдал комбату Бунякову — чтобы купить макарон для шараги защитников расстрелянного парламента...

И ведь самое обидное — всё в никуда ушло. Как сидел Ельцин, так и сидит, дерьмо палкой мутит... Ради чего тогда эта жертва? Ради чего все другие жертвы?

Владик Вещаев давно уже протоптал дорожку к Алсу Имбирёвой с жалобами на её мужа. Он надеялся, что Алсу по-женски повлияет на Ивана Сергеевича, постоянно выводившего доходы фирмы на сторону. Ведь это касалось не только 60% семьи Имбирёвых, но и 40% семьи Вещаевых.

Крупные суммы постоянно выпрыгивали из дела, потому что Иван Сергеевич по-прежнему считал себя «кошевым старшиной» казачьего батальона. Хотя батальон давно ушел на Кавказ, а Имбирёв остался в Куве (что его, как понимаете, не красит) — казачий детско-юношеский спортзал, казачий хор, литстудия и тому подобные нелепые (для Владика) начинания висели на бюджете небогатой фирмы со скромными оборотами.

— Ваня? — спросила Алсу, уже выйдя на тропу войны, и не собираясь оставлять отношения невыясненными. — А почему твоя жена и твой ребёнок... Твой, Ваня, ребёнок... У тебя третьими в списке расходов после фонда помощи Приднестровью и Югоосетинскому офицерскому собранию?! Когда ты женился, ты должен был понимать, что это уже не твои личные деньги, а наши общие, семейные деньги... И ты хотя бы для приличия должен посоветоваться со мной, прежде чем на сто тысяч покупать макаронов для Тирасполя... В котором ты, Ваня, ни разу в жизни не был...

— Алсунчик, ты чего?!

Но её уже сорвало с резьбы...

— Не был ты в Тирасполе, Ваня, в жизни ни разу, а во мне бывал много раз, и кое-что во мне оставил... Это твой ребёнок, Ваня, а у тех, в Тирасполе, есть свои отцы... Или я не права?!

Тогда впервые Иван Имбирёв глядел в восточные узкие глаза своей жены, похожие на глаза красивых китайских актрис из боевиков «кунг-фу», вечерами прокручиваемых на видеомagnитофоне... И видел Иван другого чело-

века — не ту покладистую и работающую Алсушку, на которой женился, а хищную пантеру из бамбуковых зарослей... Пантеру, у которой из бархатной лапки показались острые когти...

— Ваня, твой младший компаньон купил своей семье трёхкомнатную квартиру в кирпичном доме... Почему ты, старший компаньон фирмы, купил нам двушку в хрущевском панельном шалмане? Что, младшие компаньоны у вас получают больше, чем старшие?!

— Мне хватает такой, — отрезал Имбирёв, подобравшись для достойного ответа. — Стыдно жить плохо в хорошей стране и стыдно жить хорошо в плохой... Поэтому, заруби себе на носу: мне — хватает...

— Мне, мне, мне... — передразнила она. — Все годы с тобой я только и слышу твоё «Я», а больше для тебя в мире ничего нет... Весь мир, Ваня, для тебя стал эхом твоего эгоизма... Ты самовыражаешься — то в стихах, то в прозе, то в бизнесе, то в меценатстве — и слышишь всегда только самого себя! А если, к примеру, мне не хватает? А если ребёнку твоему, когда он вырастет, не хватит отдельной детской комнаты?! Это как? Несущественные детали?

\* \* \*

Этот выросший из разгадывания кроссворда разговор стал продолжением той ветвившейся трещины, которая пошла от украденных у Алсу бриллиантовых серёжек. Остановить эту трещину, замазать её эпоксидкой или алебастром Имбирёв пытался много раз, но это было уже невозможно. Трещина змеилась по несущей конструкции, шла от самого фундамента отношений.

Пока эстрадный бомонд «новой России» бомбил серебряное ведро для льда монетками из задниц — незаметно для всех, включая чету Имбирёвых, — семья Ивана прекратила, по сути, существовать...

\* \* \*

Пить Иван Сергеевич бросил. Вначале со страху — когда голодная смерть в сполохах гайдаровских реформ маячила перед ним с мамой.

Потом — отпустило, но решил: не до этого. Своё отпил в перестройку. Баловство это всё, баловство благоустроенных, беззаботных людей. Которые размашисто пишут о резервах краевой экономики, а не потеют над убористыми колонками о волшебных свойствах растительного масла...

Но бутылку дорогого коньяка (по новой моде это было уже импортное «бренди» с безвкусно-яркой наклейкой на пузатой бутылки) в своем рабочем кабинете имел. Он наливал это бренди в широкий, раструбом, бокал и макал туда кончик своей толстой, в прожилках, с кубинским звёздным лейблом, сигары.

Очень смешно было смотреть, как он торопливо запихивал эту сигару куда попало, если в офис внезапно являлась его мама, Наталья Степановна: Имбирёв врал маме, что до сих пор не курит, и мама как бы верила, а Иван Сергеевич как бы верил, что мама как бы верит...

Времена были беспокойные, и купил себе Имбирёв антикварный семизарядный «шарп-шутер». Уложил его в верхний, закрывающийся на замок ящик своего рабочего стола. Ему это казалось глупостью, излишним нагнетанием обстановки, но раз так принято...

Казалось бы, кому нужна фирма, работающая «по-белому», торгующая

постным маслом, когда кругом кипят такие дела на миллионы и миллиарды? Ну, пригребает себе кое-чего мелкий делец смутного времени — возиться с ним себе дороже...

Но в корчащейся от боли и ужаса стране уже было по десять ртов на каждую копейку. Потому рэкет, модный в те годы, рэкет в кожаных и спортивных трико, такой наивно-нелепый, из времен первоначального накопления, — явился и к Имбирёву.

Они вломились — совершенно неожиданно — под конец рабочего дня, четверо незнакомых горилл, втолкнув перед собой секретаршу Олю и властным жестом биты усадив вскочившего с кресла Имбирёва обратно на место...

— Поднялся, Иван Сергеевич? Делиться надо... Бог велел делиться...

— Кто вы такие? — проскрипел Имбирёв пересохшим горлом.

— Работаем по участку... Люди в курсе... Ты не об этом думай, а чем платить будешь... Деньгами? Или вот этой девочкой расплатишься? Мы натурой даже и не прочь...

Оля завораживающе, призывно улыбнулась громиле, стиснувшему её в пахнущих кислым потом объятиях, и элегантно жестом, снизу вверх, поставила к его правой ноздре холодный ствол «люгер-бэби»:

— Я тебя не застрелю, мудака! Я тебе нос отстрелю, без носа всю жизнь объяснять будешь, от какой девочки ты сифилис подцепил...

Пользуясь недоуменным смятением людей в кожанках, Иван Сергеевич, наконец, открыл ящик стола бронзовым ключом и достал свой раритетный «шарп-шутер», лязгнув затвором:

— Давайте ребята, отсюда... В гостях хорошо, а дома лучше...

— Ну ты, Иван Сергеевич... — зауважали барыгу начинающие рэкетеры. — Ты это... поосторожнее... Зря ты так... К тебе ведь не мы придём говорить, другие придут...

Помялись, как дураки, — и ушли не солоно хлебавши...

А Иван и Оля остались вдвоём в большом, хорошо обставленном кабинете и оба тряслись мелкой дрожью. Стали истерически хохотать — будто у обоих крыша поехала...

— Оленька, у тебя откуда «люгер»?

Она посерьёзнела разом, собралась:

— От Трефа...

Помолчали. Имбирёв взял посмотреть немецкую игрушку. Так и есть, трофейная! С войны... Точная копия парабеллума, но только очень маленькая, такая немецкая шутка оружейников...

— Оля, давай я тебя до дому подкину...

— Не нужно, Вань... Или сам крутить баранку учишься... А с шофером твоим не поеду!

— Почему?!

— Про меня и так всякое болтают... Ты же ему язык не отрежешь...

Иван Сергеевич подобрался, и на волне пережитого стресса с необычайной для него решительностью выдохнул:

— Для тебя, Оля... Отрежу... Для тебя — всё, что хочешь...

— Ну, я не приму таких жертв... Ты лучше мне зарплату вовремя плати, и лады будут! Я ведь теперь в семье единственная кормилица, что папа, что мама полгода уже без зарплаты сидят...

— Оля... — пошел на попятный Иван Сергеевич. — Ты не думай! Я всей душой... Я просто так... Ну как бы — мы же сто лет знакомы...



— Ваня, я не в претензиях, давай сейчас просто разойдёмся по домам, хватит на сегодня приключений... А?

Она посмотрела на него, склонив личико набок, усмехаясь, надув губки.

— Конечно, конечно...

Первый раунд втайне вождённых Имбирёву «отношений» он вчистую проиграл. Оля ушла — и ушла торопливо. Ивану Сергеевичу показалось, что она боится его больше, чем тех эпизодических горилл, которых грозились заразить сифилисом...

Имбирёв остался один.

Один в большом офисном пространстве, заставленном по последней моде испанской деловой мебелью, подобранной на чугунно-туповатый вкус компаньона Вещаева...

Огромный ореховый, светлой полировки судьбоносный стол директора, раскинувший крылья по сторонам, — профилем напоминал самолёт-биплан. Шкафы, поблескивавшие гранеными стёклами дверок, были ещё пусты: пара папок с текущей документацией, а в остальном — не успели дела заполнить эту новую обстановку...

Стулья, черные кожаные подушки на хромированных стальных опорах, были похожи на преданно ожидающих приказа у ног хозяина собак. В центральной секции открытых полок, прямо за спинкой директорского кресла, Владик Вещаев расположил какие-то неуместные морепродукты — витиеватые кораллы, шипастые крупные лакированные раковины с Красного моря...

Всё здесь, ещё пахнущее свежим деревом и даже магазинной упаковкой, чуть не вчера снятой с мебели, — кричало, что жизнь Ивана Имбирёва удалась. Но на душе у многообещающего маслоторговца было почему-то совсем другое настроение...

Сгушались сумерки в офисе. Иван Сергеевич достал своё сигарное «бренди» и в тоскливом одиночестве, в компании с занюханным плавленым сыром, роняя крошки и капли коньяка на инкрустированную бронзой полировку необъятной столешницы, по старой памяти нажрался.

Ощущение чудовищной раздвоенности владело им. Он находился сразу на двух полюсах — но без всякой середины. Его разорвало, причем не пополам, а как-то дискретно. С одной стороны, на одном полюсе, у него было всё. С другой — и втягивающая, воющая пустота, вакуум души не давал об этом забыть своим пылесосным гулом — у него же, у него — не было ничего!

Патриот, потерявший страну; казак, потерявший свой батальон; публицист, потерявший читателей; консультант, потерявший своих слушателей; мыслитель — разочаровавшийся в мышлении...

Но, подожди — кричала другая половина, — а как же фирма? Как же машина с водителем? Как же растущие обороты?

«Вот тебе и обороты... А она ведь убежала, испуганно, как будто я прокаженный... Так, что только каблучки застучали барабанной дробью... Не нужна ей моя фирма, обороты и машина с водителем...

А мне самому?!

Чем я вообще занят?! Я день и ночь подбираю смачные слова для вовлечения падких на рекламу дураков в масляную торговлю! Я романы писал, стихи, монографии... Я первому секретарю крайкома партии речи писал... А теперь я пишу — теми же самыми буквами! — пишу про какое-то оливковое масло, якобы пища, приготовленная на нём, не воняет постным запахом...».

Ивану снова грезилась в сумерках, за потным испариной осенним окном Ольга Туманова. Как она вздёргивает нос бандюгану маленьким парабеллумом и шипит разъярённой кошкой...

«Я тебе нос отстрелю...».

Ха, мастер слова!

«Алсу бы так не смогла... Она вообще ничего не может... Только «бабки» считать... плесень...» — с неожиданной ненавистью подумал о жене Имбирёв.

Пришла беда — отворяй ворота...

Вслед за оставленным с носом бандитом всплыли из памяти давние (хотя, если подумать, совсем недавние, просто другой эпохи) картины: как Оля в серой смушковой папаше, белом полушубке сидит верхом на коне, и ей подадут гитару...

По фону — вселенной вокруг — сполохи кажущейся неизбежной гражданской войны... А она в седле, в изящных лосинах с имитацией лампасов, и она касается струн...

А Треф, покойничек, царствие небесное, всё приставал к ней, помнишь? Мол, одень варежки, пальчики застудишь... Заботился... А как о такой не заботиться?

«Это же не моя жёнушка с её особым талантом зоологического эгоизма! Не присоска, умудряющаяся 24 часа в сутки думать только о себе да о себе...».

— Ты ведь там был... — говорил себе Имбирёв, и слёзы наворачивались у него на глазах. — Казачья мадонна... «Мы русские, мы русские, мы русские...». Ты там был... Не ври себе, что приснилось... Был! А почему тогда ты здесь? Как это случилось, что ты здесь? Где твои русские? Где ты сам?

Почему льняное масло?! «...Аннушка уже купила масло... и разлила...».

Злой и пьяный хозяин фирмы «Масло Жизни» вытирал руки после сырка экземпляром газеты «Масло Жизни», и шарил покрасневшими глазами по сторонам.

Когда встал — идти домой — на выходе споткнулся о большую напольную вазу, безвкусное детище составленной младшим компаньоном композиции роскоши.

В жалобно звякнувшей китайской вазе колыхнулась разноцветная пышно-султанная цветочная икебана...

\*\*\*

— У тебя опять начинается, Вань?! — зло спросила Алсу Имбирёва, когда водитель Стасик помог Ивану Сергеевичу подняться в его квартиру. — Это бухло, что, никогда не кончится?! Все вот эти кодирования, наркологи... Денег одних сколько переплачено... Что, всё зря было?!

— Отстань! — отбивался Имбирёв, вдоль стены пробираясь в ванную комнату.

— Скажи, ты с этой сучкой забавлялся, крашеной? — шипела Алсу змеёй. — До тебя в твоём казачьем батальоне очередь на неё дошла, наконец? Ты с ней набухался, скотина?!

— Отстань! — Иван Сергеевич как мог, плескался под струёй воды. Получалось не очень. Воду он разбрызгивал повсюду в ванной...

— Ну, правильно! Современно! Жена дома с ребёнком сидит, пелёнки гладит, а он с секретаршами развлекается... Как же иначе-то?

— Отстань...

— Ты хотя бы с ней-то что-нибудь можешь ещё? Или она тебе только массаж делает?

Иван Сергеевич повернулся к жене, изобразил на лице максимальную плаксивость страдания, посылая мысленные флюиды понять его:

— Алсу... Умру я скоро...

Бог его знает, чего он хотел услышать в ответ от жены и матери своего ребёнка. Контекст ситуации был таков, что шансов на понимание у него не было.

— Ага! — саркастически скривилась Имбирёва. — Только завешание сперва напиши... Нас с Лялечкой нищими не оставляй...

— Только это и можешь... — всхлипнул полумертвый владелец фирмы «Масло Жизни». — Нищая, нищая... Сто рублей — нищая... Тысячу рублей — нищая... Миллион принёс в пакете — всё равно нищая... Ты всегда нищая, Алсу, ты по жизни нищая, как бочка без дна...

— Ишь, умничка, циферками играет! — орала Алсу перекошенным ртом. Сравнение с бочкой её задело — она располнела после родов и страдала от этого. — Миллион он принёс в мешочке полиэтиленовом... А ты инфляцию посчитал?! Счетовод е..ный! Твой миллион — как те самые первые сто рублей, не дороже...

Имбирёв не мог в своём теперешнем состоянии спорить аргументированно и развёрнуто. Он ограничился коротким, но ёмким замечанием:

— Тварь!

— От твари слышу!

Где-то в дальней комнате проснулся младенец. Запищал жалобно и тонко, оборвав дискуссию, отозвав мамку на кормёжку, как она сама отзывала мужа на кормление предпринимательскими доходами...

«...Это невозможно, немыслимо — повторял Иван Сергеевич, пытаясь подвести под струю воды прыгавшую с подзабытого хмеля голову. — Это же какой-то ад и содом, и гоморра... Господи, что с нами со всеми стало?! Жалость мира исчерпана, милосердие мира исчерпано, понимание мира исчерпано... Все убивают всех...».

\* \* \*

Утром Иван Сергеевич кое-как привёл себя в порядок и собрался ехать на работу. Вышел в подъезд — и увидел не замеченную с вечера крышку дешёвенького гроба...

«Оба-на! — сказал себе Иван Сергеевич. — Это кто же?! Когда же это?!».

Оказалось, умер сосед напротив, совсем ещё молодой журналист, Митька Паклеев. Имбирёв помнил его по советскому Дому Печати — всегда весёлого, с румянцем во всю щёку, немного застенчивого... И вот тебе номер: повесился!

Имбирёв зашел в квартиру соседей с настежь раскрытой дверью — выразить сочувствие. Матери Паклеева он ничего выразить не смог — она была не в себе, обколотая всякими успокаивающими средствами. Но родственница Паклеева объяснила, что Митя повесился от безнадёжности: газеты и журналы лопались, как грибы, он уже полтора года нигде не мог найти работы, и вот — по пьяной лавочке, в петлю...

— Ну чё он... — запоздало сетовал Имбирёв. — Ко мне зайти что ли, не мог? Чать и соседи, и коллеги... Занять деньжат, на худой конец...

— Он заходил... — мстительно сказала родственница покойного Мити. — Он просил... Три раза ходил...

— Ко мне?!

— Вас никогда дома нет, Иван Сергеевич... У жены у вашей просил, а она не сочла возможным... так сказать... Она вам не говорила, что ли?

— Она? Мне?!

— Видимо, нет... Сочла, поди, недостойным упоминания... Ну, а теперь живи, Иван Сергеевич, коллега Митенькин, живи вместо него...

С ржавой кислой занозой под сердцем Имбирёв приехал на работу. Больше всего на свете — неизвестно почему — он боялся не увидеть на секретарском месте Олю Туманову.

Но она сидела, как положено, отвечала на звонки и что-то шлёпала другой рукой на печатной машинке «Оливетти».

Как ни в чем не бывало! Железо, а не девка!

— Привет, Оля!

— Вань, привет... Тут вот из ДК Железнодорожников звонят, насчет...

— Оля, погоди, сейчас, посижу в кабинете, в себя приду... Сегодня соседи хоронят, а я с ним вместе работал когда-то...

При свете дня офис, обставленный Владиком, уже не казался таким базедически-унылым. Блики утреннего солнца играли на полировке новенькой мебели, на гладком ламинатном полу. Китайская ваза у стены на неудобном месте, про которую Имбирёв думал, что вчера её разбил, — оказалась целехонька.

Огромный стол-аэроплан, на который и лечь с ногами можно, рождал игривые мысли о забавах закрытого толка...

«Надо полки заполнять! — самокритично думал Иван Сергеевич, глядя на пустые шкафы испанской сборки. — Ну, неудобно, как дурак какой-то: приходят люди, партнёры по бизнесу, а полки все пустые, словно я совсем не работаю...».

Иван Сергеевич с глупым видом торжества уселся на своё кресло, ортопедично прогнувшееся под его массивной тушей, поёрзал задницей: ну, прям король на троне!

За этим нелепым занятием, призванным отогнать мрачные мысли банальщиной «а у меня всё хорошо!», его и застала Оля Туманова с подносом.

На подносе — изящный миниатюрный, почти игрушечный фарфор, чашечка ароматного кофе, печенки на блюде, стилизованном под морскую раковину, мельхиоровая сахарница, серебряная ложечка, кокетливо прислонившаяся к блюде.

— Кофейку, Вань? — добродушно поинтересовалась Оля, хотя уже видела, как Имбирёв потирает ладонки от восторга.

— Давай, давай... Сама садись, вместе попьём... Хочешь, французского бренди тебе в чашечку капну?

— Мне нельзя, я на работе! — засмеялась Туманова.

— Ну, тогда без коньяку, просто так садись! На, бери мою чашку, я себе сам налью...

Он достал было грязный, невымытый фаянсовый бокал, но Оля сделала возмущенные глазки и сбегала в приёмную за второй кукольной чашечкой.

С голодухи Иван Сергеевич умял все печенки. Глядя, как он их уплетает, Оля с доброй материнской улыбкой поинтересовалась:

— Чё, опять завтраком не покормили дома?

— Угу... — кивал Имбирёв с набитым ртом.

— Голодный?

— Угу...

— Ну чё тебе, чисто по-босяцки? Лапши китайской заварить? Не оби-дишься на моё пролетарское происхождение?

— Оленёнок, это было бы замечательно, замечательно... — восхищался умилённый Иван Сергеевич. — Ты прямо как мама родная...

— Ну, Вань, с твоей мамой я знакома, она тебя не больно баловала...

— Да, верно! — улыбался Имбирёв во всю круглую свою физиономию. — Ну, значит ты лучше, чем мама!

Он осмелел и погладил Ольгу по руке. Она отдернула ладошку, как от горячего чайника. Посмотрела на него в упор. Он глядел тоже в упор, виновато и жалко. Как у бродячего щенка стояло в глазах — «Пожалей меня!».

И она смягчилась, никак не комментировала. Однако это почти безглаго-вое отдёргивание руки снова ввергло Имбирёва в тоскливую депрессию.

«Зачем всё? — пронеслось в голове вместе с окрепшей жаждой алкоголя. — Для кого всё?! Я никому не нужен, я всем противен... Мать меня всю жизнь на херах растила, жена меня ненавидит, ребёнок... Вырастет — такой же как мать станет... И ЭТА тоже... Играет в сочувствие, в понимание... А на самом деле я ей противен, противен... Чуть коснулся — ишь как дёрнулась... Не-бось, когда Треф, покойничек, гладил — так не дёргалась...».

Глупая и сумасшедшая ревность к покойному школьнику Трефу, так и не успевшему пожить взрослой жизнью, — стала частью этого всеобщего бес-предела, этих адских 90-х годов, в которых визит бандитов — мелкий эпи-зод, забытый на следующий день...

«Ну, правда, почему Трефу можно было брать её во всех позах, а мне нет?! — сходил с ума Имбирёв. — И умереть Трефу можно было, а мне нет?! Чего всё на свете Трефу да Трефу, а мне чего?!».

Что-то было в Имбирёве правильное, прямое и справедливое, и оно отве-тило на этот бред вполне здраво: «Потому что Трефа она любила. А тебя нет... Такое сплошь и рядом бывает... Про любую красавицу алкаши на ла-вочке восхищенно вздыхают — «и ведь е..т же кто-то!». Кто-то, а не ты. Очень просто и совершенно естественно...».

«А смерть? — кривлялся Имбирёв. — Смерть тоже Трефа любила, а меня нет?! Ну, это мы ещё посмотрим...» — отвечал он сам себе.

Бронзовый ключик, маленький врезной замок. Ящик стола, застеленный по-советски газеткой. Конечно же, газеткой «Масло Жизни», главный ре-дактор Имбирёв И.С. Ишь, как Тургенев, «И.С.»! Фирма веников не вяжет... На газетке — антикварный «шарп-шутер», надёжная сволочь времен англо-бурской войны...

Имбирёв достал нигде не учтенную волюну, стал с ней играть: заглядыв-ать к ней в ствол, прикладывать к виску, к заплывшему жиром кадыку...

«Думаешь, Треф, ты один такой хват?! Бац — и в дамки?! Нет, брат, я такой же казак того же батальона, и я...».

— Боже!!! Иван!!!

Туманова вошла с забавной эмалированной, украшенной наивными картинками цветов и овощей кастрюлькой. В кабинете запахло заварной китайской лапшой, многим в 90-е жизнь спасшей своей доступностью и дешевизной...

— Это я так... — отложил волюну смущённый Имбирёв. — Проверял... После вчерашнего, знаешь ли... Ухо надо держать остро...

— Так это ты стволом к уху — вострил его себе? — улыбнулась она, но в васильковых глазах оставались блики тревоги. — Вань, покушай...

— Спасибо, Оленёнок...

— И не дури, Вань... Хватит с нас Трефа одного...

Имбирёву понравилось сравнение с Трефом. Собственно, он всегда хотел быть похожим на Трефа. Во всём. Ему, от природы толстому увальню, нравилась тонкокостная фигура Трефа, и лаконичная четкость слов Трефа, и девушка Трефа, и...

Девушка — это, пожалуй, сейчас самое актуальное! Вот возьмёт она, да и скажет прямо сейчас, пока он жадно хлебает китайское острое химиками варено: «Хватит с нас Трефа одного, Ванечка... Место возле меня освободилось...».

— Оля, если б ты знала, как мне тяжело! — простонал Имбирёв, закрывая глаза ладонью, обваливаясь лицом на руку, вдавив локоть в стол.

— Я знаю, Ваня... Всем тяжело... Время такое... Но у тебя семья, дочка родилась... У тебя коллектив, Ваня, который ты кормишь, так что тебе нельзя так...

— Оля, ты не подумай, что я тебя подкупить хочу или чего там... Просто с утра этот гроб бывшего коллеги... Ну что ему стоило зайти ко мне и попросить помощи? А он в петлю... Я себя виноватым чувствую... Если что-то в жизни — ты мне говори прямо, ладно? Без всяких там... Чтобы так не получилось...

— Обещаю! — смеётся Оля. — Если что-то в жизни... первый узнаешь...

— Я ведь, Оленёнок, не последний человек... Кумекаю маленько... — Имбирёв обвёл базедическую деловую обстановку, призванную изобразить успешную жизнь обладателя. — Я многое могу... Так что, если что... Ты уж мне говори, ладно...

— Смешной ты, Ваня... — наморщила она хорошенький носик. — Не пойму я, к чему ты клонишь...

— Оля, ну чё мы, дети малые, что ли? — бодро начал Иван Сергеевич. Потом скис, растекся в неуверенности: — Пообедай сегодня со мной... — и совсем уж жалко довесил: — Пожалуйста...

— Да какие вопросы?! — пожала она узкими плечиками.

— Давай, в ресторане «Парадиз» (он умышленно выбрал самый дорогой ресторан).

— Нет, Ваня, мне такая кухонька не по карману...

— Я заплачу...

Она уже начала понимать. Она сердилась. Но она старалась удержать всё в рамках простого недоразумения. Тем не менее, говорила совсем уже другим тоном, поджав губы:

— А вот этого, Ваня, я от тебя не приму...

— Тогда где? — попытался он спасти положение покладистостью.

— Кафе «Утро»... Обычная моя ежедневная забегаловка... — она, кажется, отходила, выравнивала ситуацию. — Ну, если конечно, до зарплаты не дотянула и супчик в банке из дому принесла — тогда нет... А так — почти ежедневная...

Она не могла на него сердиться. И думать о нём плохо — тоже не могла. Это же не какой-то там абстрактный босс, это же Ваня, Ванечка Имбирёв, почти родственник, такой нескладный, порой нелепый, очень умный и почти всегда беспомощный...

Он тот, про кого у друзей их двора принято говорить — «на одном унитазах сидели». Он добрый, терпеливый, кажется, несчастный... С его головой и связями он мог бы в лихую годину приватизации воровать миллиардами, хапать нефтепромыслы и бриллиантовые копи...

Но он в лихие годы, когда делаются состояния олигархов, — засел почему-то в маленьком офисе на бывшем «Пишмаше» и продаёт старичью лечебные масла...

Наверное потому, что очень любит редактировать газеты, без газет жить не может... И раз общественно-политические и культурно-литературные издания обанкротились — Ванечка Имбирёв будет верстать рекламную газету... Ему — лишь бы верстать... Какие, я вас умоляю, нефтепромыслы, какие банки и залоговые аукционы, какие авизо?!

Оля Туманова прекрасно знала, чего хочет от неё друг детства Ванюша. И не хотела признаваться себе, что прекрасно это знает. Она скорее готова была себя признать свихнувшейся на теме домогательств, чем Ванюшу представить в образе похотливой свиньи, забавляющейся на стороне, пока жена пеленает его доченьку...

\*\*\*

— ...Слушай, ну чё полки пустые?! — приставал Имбирёв к Владiku Вещаву, младшему компаньону, всегда обидно используемому как завхоз. — Владик, ну ты мне книжки хоть какие принеси, свод законов там... Сижу, людей принимаю, а у меня за спиной пустой шкаф... Подумают, что я бездельничаю на работе...

— И с каких это пор тебя стало волновать? — ощерился волчьей пастью Владик.

— Как с каких?! Как мебель в офис купили, так и...

— Да нет, Иван, не с этих... Чем тебе морепродукты не нравятся?

— Ну, а чё мы в порту, что ли? Рыбой торгуем?! При чем тут морепродукты?

— Прикажешь бутылки с маслом расставить, по профилю?

— Ну и выйдет из офиса продмаг какой-то...

— Кончай пылить, Иван, и сознайся честно! Я же вижу! Не даёт?

— Чего ты такое...

— Да ладно тебе, конспиратор... Мы же свои люди! Секретаршу-то брал без опыта работы, явно за внешность... Мой тебе, Ваня, дружеский совет: ты её уволь... Уволишь — и задумается, а надо ли из такого офиса на холодную-то улочку... И саира...

— Чего?

— Саира... Песенка французских санкюлотов... «Это пойдёт на лад»...

«А ты сложнее, Владик, чем я думал», — пронеслось в голове Имбирёва. Он пошlostей и скабрезностей от Владика ждал, а вот песенки французских санкюлотов... Н-да... Сложнее правил жизнь-то...

— Запомни, Владик! — строго сказал Имбирёв. — И помни до тех пор, пока у меня в деле 60 процентов, а у тебя 40... Я женщин шантажом никогда не брал, не беру и брать не буду!

— Ну, тогда тренируйся перед зеркалом! — заржал Вещав. — Отрабатывай личное обаяние...

...Личного обаяния явно не хватило, когда они сидели за столиком у окна в кафе «Утро» и скромно обедали — каждый за свой счет. Иван Сергеевич очень наивно и по-школьному нес какую-то морось про неслучайность встреч, персты судьбы, радость от общения с близкими людьми, словно ёлку советских времен ватой обкладывал.

Как и у всякого опытного демагога, к каждой конкретной фразе у него нельзя было придаться. Каждая фраза в отдельности была довольно не-

винна, но вместе они сходились к какому-то неприятному Оле и постыдному знаменателю.

Наконец, Оле надоело это мельтешение скверны, к тому же вызывающее жалость своей робостью, и она предложила лаконично, как принято было у Трефа:

— Давай договоримся, Ваня... Или мы с тобой друзья, или я увольняюсь...

— Оленька, почему ты так? — чуть не зарыдал от обиды Имбирёв. — Разве я себе что-то лишнее позволил?! Я что, в твоих глазах зверь какой-то, чудовище?! Чем я заслужил такое отношение к себе?!

— Вань, без обид... Я сказала, ты услышал... Ты классный мужик, Вань, я ничего не говорю... Счас мало таких... Но давай останемся в пределах рабочих отношений...

— Как скажешь... — проглотил он пластилиновый ком обиды. И понёс пургу, которую можно было бы списать на алкогольную деградацию личности, если бы он пил по-прежнему:

— Я, между прочим, не последний человек в городе... Да меня, если хочешь знать, любая рада будет...

Она тоже подобралась, посуровела, стала даже резче обычно мягкими чертами лица:

— Ну и флаг тебе, Ваня, в руки, и барабан на шею... Но, по-моему, ты несколько переоцениваешь привлекательность торговца постным маслом...

— А ты не переоцениваешь привлекательность сотрудницы фирмы, торгующей постным маслом?

Она резко встала, стул на металлических ножках взвизгнул.

— Так, ладно, всё понятно с тобой... Заявление завтра будет у тебя на столе...

Они были в сумрачном и грязном кафе, посреди страны, которая умирала. Они общались посреди страны, которая вешалась, стрелялась, травилась от отчаяния и бросалась с моста от безысходности. Она — единственная добытчица в семье, только что потеряла хорошо оплачиваемую работу. Но почему-то (жизнь сложнее правил) — смертельный страх испытывала не она, а её работодатель...

— Оля, я тебя умоляю... Только не это... Я погорячился... Больше я так не буду, пожалуйста, прости меня... Ну имеет человек право на ошибку?!

Ну и что с ним делать?

— Я вообще тебя не понимаю... — развела она руками.

На них уже оглядывались затрапезные посетители этой забегаловки. Понимали, что девочка ломается, а мужик — лох... Скалились, насмехаясь над ситуацией...

— Оленька, родная моя... Ты последняя, кто говорит мне «ты» и называет меня Ваней... У меня же в жизни больше нет ничего... Меня все только Иван Сергеевич и на «Вы»... Если ты уйдёшь, Оленёнок, я останусь окончательно и совсем... маслоторговцем, и всё... А я не для этого родился... Я не в этой стране родился, и я не хочу в ней умирать...

— А, ну проясняется... — криво усмехнулась-оскалилась она. — Как это поётся... «Кто до седины не предал идеалы вольнолюбивой юности своей»... — Туманова была просто на пределе сарказма. — Ваня, меньше всего я хочу быть экспонатом в музее революции!

Хорошо сказала! И на этой ноте...

...Наверное, для неё было бы правильнее всего развернуться и уйти. Но он пробудил в ней очень женское чувство — чувство жалости.

За оскалом «хозяина жизни», привычного покупать понравившиеся вещи



и людей как вещи, — она разглядела что-то трогательное, беспомощное, беззащитное и тяжелобольное. Он был сыном не этой жестокой эпохи. Его родила совсем-совсем другая эпоха, недавняя, но забытая, словно времена фараона Хеопса.

— Ваня, ты очень хороший человек, и ты мне очень дорог... как друг детства... Ну, в конце концов, перестань ты уже мучить и себя и меня...

— Почему? — тупо поинтересовался он.

— Ты не понимаешь?

— Нет, не понимаю...

— Ну, во-первых, ты женатый мужчина...

— Ах, это... — с видимым облегчением вздохнул Имбирёв, совершенно искренне забывший такой фактик своей биографии. — Ну, так это пара пустяков...

— Чего ты говоришь?! — она смотрела бешено и глаза просто сверкали. — Ты мозги свои пробухал уже при Горбачёве... У вас ребёнку годик, Ваня...

Он не знал, что ответить. Он не хотел казаться циником — но и ответственным тоже не хотел казаться. А говорить — «жизнь сложная штука» слишком уж банально в такой ситуации.

Трудно с теми, кто друг детства... Оля знает всё: и как сходились Иван с Алсушкой, и как женились, и как Имбирёва букет за спину кидала (а Оля ловила), и как Ваня Алсушку по лестнице на руках нёс, и как уточкой ковыляла его супруга, поддерживая беременный живот, и как рожала, порвавшись... Как истекала кровью в реанимации...

Оля искренне радовалась за них, за семью друзей, и хотела, чтобы с Трефом у неё тоже всё так получилось (только, дай Бог, с родами полегче бы). Но не получилось. Трефа закопали, Трефа больше нет — в один год с Советским Союзом...

Но если бы «третье лицо» сказал Оле Тумановой, что этот дурак Иван увидит в смерти лучшего друга Трефа какое-то «лествичное право» и вздумает передвинуть все фишки на одну клетку, — Оля бы в лицо такому плюнула (она девушка экспансивная, не сомневайтесь). Получается, Ваня — шакал или гиена, которые ходят за тигром, вожделя полакомиться его добычей...

Оля не хотела думать, что друг её лучших детских лет Ваня — шакал и гиена. Но это же не третье лицо клеветает на Ванюшу, это он сам себя проявляет во всей красе...

— Если ты уволишься, я застрелюсь! — выдвинул Имбирёв последний аргумент.

Тупой до крайности, и Оля, конечно, не обратила бы на него внимания — если бы по странному совпадению именно сегодня с утра не видела Ивана, «вострившего ухо», засунув туда ствол «шарп-шутера»... А «шарп-шутер» (Оля была когда-то невестой лучшего казака Кувы, и знала об оружии много) — это вам не макаров. У него колониальные патроны с «дум-думом». Из всей головы в самом лучшем случае остаётся только нижняя челюсть...

«И мне же потом оттирать...» — с ненавистью и цинизмом подумала Туманова.

Подумав, Оля отчеканила фразу, ёмкую, как конституция:

— Я останусь у тебя работать, если ты останешься Иваном Имбирёвым. Тем Иваном, которого я знаю со школьной скамьи... С детского сада... Если ты им останешься — тогда и я останусь...

И, успокоив этого суицидального болвана, она повернулась и, не оглядываясь, вышла. Пусть подумает — о жизни, о себе, о том, что значит

быть человеком, и о будущем... Если, конечно, у них, жителей проклятых лет, есть какое-то будущее в этом концлагере по имени «экономические реформы»...

Долго и потрясённо он сидел, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли в пучок. Потом заплатил за себя и за Олю, радуясь, что всё же немецкий принцип каждый платит за себя, хоть и при дурацких обстоятельствах, но сломался.

Однако в офисе его ждал ещё один неприятный сюрприз. На его огромный стол-ероплан Туманова выложила денежки, ровно столько, сколько стоил её обед. Она там каждый день кушает, ей ли цен не знать?

\*\*\*

Он пришел домой поздно вечером, с кипой свежих газет «Масло Жизни», припасенных с тиража на растопку дачного камина. Дочка уже спала в своей детской кроватке. Жена смотрела в черный кубический inferнальный ящик, именуемый телевизором «JVS», на какой-то очередной содомитский фестиваль лютой и тошнотворной похабщины...

— Алсу, есть чего похавать? — примирительно поинтересовался Иван Сергеевич.

— А чего, тебя там не покормили, что ли? — отозвалась эта язва в блёклом домашнем халате. — Не поделились тем, что ты в ротик спустил?!

— Да пошла ты! — взорвался Имбирёв и швырнул свою растопочную газетную кипу со всей силы — да на все стороны.

Ушел на модно отделанную кухню, сверкающую встроенным гарнитуром, и достал из шкафчика под раковиной тяжелый разводной ключ. Поддержал его на весу в руке, несколько раз взмахнул — как когда-то казачьей шашкой...

Простота и будничность этих мыслей маньяка поразили его: он представил, как идёт в зал, как наносит мощный удар прямо по затылку воронова крыла, как иссиня-черные волосы степнянки становятся красными...

От греха подальше Имбирёв убрал разводной ключ поглубже под финскую элитную мойку и вернулся к жене, разоруженный.

— Зачем ты так со мной, Алсушка?! — поинтересовался жалобно, думая разжалобить если не ту, главную, — то хоть эту, запасную...

— Как? — она смотрела со всей жестокостью хищницы, дочери кочевий Дикого Поля, и в её монголоидных глазах жила зыбкая ненависть.

— Вот так...

— А зачем ты Ольку взял в секретарши? — попыталась она вывернуться. — Тебе перед Трефом не стыдно?

— Нет, Алсушка, у нас с тобой давно разладилось, и без всякой Оли... Она тут не при чём, ты её не мешай... И у меня с ней ничего нет... У меня что-то есть с тобой, а чего — я понять не могу...

— А я скажу тебе, что! — Алсу решила, наконец, быть искренней. — Ты весь целиком — это один занудный, ностальгический, тоскливый Упущенный Шанс! — и она стала криком загигать пальцы. — Каждый год! В нашей стране! Люди нашего поколения и твоего образования! Зарабатывают миллиарды! — она ожесточенно рубила воздух смуглой ладонью, с которой материнство состригло маникюр. — Сейчас, в эти несколько лет всё решается на много поколений вперёд! Сейчас в нашей стране такие, как ты, становятся богаче арабских шейхов и султанов Брунея! А ты, господин по имени Упу-

шенная Прибыль, — развёл мелочную бакалею, гастроном развёл для пенсионеров...

— Может быть, эта страна успела стать твоей, но она не моя! — взорвался Имбирёв. — И, может быть, тебе приятно быть женой вора — тогда ищи себе вора... Я им не буду...

— Послушай, Ванечка, честненький мой, беленький и пушистенький, а не ты ли бодяжишь оливковое масло дубовым, потому что они на вкус и цвет похожи? Скажешь, нет? Да я могу тебя хоть завтра в тюрьму упечь, за все твои «технологические тонкости», если нужда будет! Ты такой же вор, Ванечка, как и участники залоговых аукционов, просто ты трус, слабак, у тебя кишка тонка воровать по-настоящему! Ты себе маленько стырил у старичья болезного из пенсии, и думаешь — отсижусь в норке... Авось пронесёт... За масло киллеров не нанимают... Вот что ты думаешь, а не про совесть свою штопаную...

Имбирёв попытался изобразить обиду и ушел. Он устал доказывать жене, что у них «всё есть». Он уже понял, что его босоное понимание «всего» (квартирка, евроремонт, салонная мебель, хорошо покушать и тому подобное) — для оголтелой жёнушки синонимично слову «ничто». Имбирёв никогда не разделял жажды ненасытных, у которых за далью даль, за коттеджем — покупка острова, а за покупкой яхты — покупка всего порта.

В смысле материальном маслоторговец Имбирёв достиг предела своих убогих потребительских фантазий, и вполне искренне не понимал — куда уж лучше-то? Если что-то и мучило, терзало Ивана Сергеевича — то, конечно же, не финансовый вопрос...

Спорить не о чем.

Имбирёв прошёл в спальню, открыл в углу прикрученный к панельной стене оружейный сейф. Охотничьи «тулка» и «моссберг» грянули на него угрюмо в обе маслины чёрных стволов: мол, хочешь стреляться — ступай в офис, бери короткоствол, с нами неудобно ногой курок искать.

На патронташном крючке висела старая боевая подруга — казачья шашка. Имбирёв достал её, лязгнул клинком в ножнах.

— Затупилась, дурочка моя, давно пылишься... — любовно сказал Имбирёв, поигрывая старушкой в пока ещё сильной руке. Пробежал пальцем левой руки по широкому обуху, по долам, поднёс поближе к глазам рукоять без эфеса (чем, собственно, казачья «саш-хо» отличается от драгунской), намотал на запястье темляк...

...И вздрогнул от телефонного звонка. Ещё в ходу были, в основном, городские телефоны, сотовые только-только входили в обиход самых богатых людей, к которым Имбирёв, предприниматель средней руки, пока не относился.

— Здравствуйте! — вежливо сказал зловещий голос с отчетливым кавказским акцентом. — Иван Сергеевич? Меня зовут Гурам. Клыч-Гурам, может быть, слышали?

— А как же... — соврал Имбирёв, который ни про какого Клыч-Гурама не слышал.

— У нас непонятки вышли, Иван Сергеевич! — змеился кольцами, опутывал анакондой голос Гурама. — Мальчики мои невежливо с вами разговаривали, они уже наказаны... Ну, теперь хочу лично сам с вами побеседовать... Не откажете в приёме?

— Где? — улыбнулся Имбирёв. — В пустом и тёмном месте?

— Зачем же так? — искренне удивился Гурам. — Я к вам приеду, в офис, в

гости... Тортик куплю, чаю попью... Я бы и хорошего вина прихватил, но слышал, что вы теперь не пьёте...

— Да, я действительно, бросил...

— Ну и правильно! Здоровье беречь надо! Вы настоящий мужчина, Иван Сергеевич, бывший казачий офицер, с оружием на «ты», и мне кажется, мы поймем друг друга! Только вы уж, пожалуйста, запишите меня на приём официально... А то я слышал, — трубка растрескалась смехом-кашлем, — секретарша у вас больно грозная... С ливольвертом... Как бы меня за незваного гостя не приняла...

\* \* \*

...Оля Туманова внесла на большом подносе чайную пару и дольки лимона, и Гурам Клыч невольно засмотрелся на неё. И, когда она, под перестук тонких каблучков, вышла, поинтересовался доверительно:

— Какая красавица! Дорого она вам обходится, Иван Сергеевич?

Иван зачем-то честно назвал сумму зарплаты. Гурам разочарованно присвистнул:

— Так мало? Это, наверное, без интим-услуг?

— Да, к сожалению, вот так у нас... Не отработан этот вопрос... — смутился Имбирёв.

— Честная жена, значит? — скалил клыки старый уголовник.

— Можно сказать, честная вдова... Ну, типа вдова... Ну, не знаю, как сказать... Не в этом дело... Внимательно я слушаю вас...

— Шкеты мои к вам заходили, Иван Сергеевич...

— Помню, пошумели тут...

— Шумные сейчас шкеты, Иван Сергеевич, не то, что в моё время... Беспределу много стало, кичман от храма отличать перестали... Нехорошо это... Мочить они вас просили, Иван Сергеевич, за ласковую встречу, а секретаршу вашу распялить...

— Это не по-людски, — печально покачал головой Имбирёв. Но особо не проникся...

Выждав паузу и видя, что смертник не хочет пугаться, Гурам продолжил методично, словно учитель в школе:

— Я им вас и бригаду вашу трогать запретил. С этой стороны всё закрыто будет, мы беспредела не пустим... Но денег-то вы, Иван Сергеевич, всё равно должны... Долги отдавать надо...

— Деньгами не богат, самому на жизнь не хватает, — соврал Имбирёв, которому не денег стало жалко, а за державу обидно.

— А и Бог с ними, с деньгами! — неожиданно легко согласился Гурам Клыч. — Лавэ оно что? Папира... А папира — не рапира... Денег я сам себе напечатаю, Иван Сергеевич, а от вас хотел бы малявы иметь...

— Чего?! — растерялся Имбирёв.

— Пошерстил я ваши ходки, Иван Сергеевич, в авторитетах у «красных» ходили, первых бугров консультировали по экономике... Время сейчас такое — не по форточкам пельмени, пардон, тырить! Банки, биржи, чеки, авуары... Мне трудновато, старику... Мне экономист нужен для консультаций, что к чему и почему... А то иной раз молодые базарят всяку феню, а я и не понимаю... Авизо! — Что такое авизо?! Мы когда на кичах чалились — слова такого не слыхивали... Евробонды... Какие такие евробонды?! Раз вы, Иван Сергеевич, на моей территории сели хабарить, извольте старику помочь по-соседски... Да и вам самому дружба со Смотрящим, думаю, пригодится не раз ещё...

— Дак я, Гурам, уважаемый... Всей душой помочь... Какого именно рода требуется консультация?

— Общак я держу, Иван Сергеевич... — пожаловался пего-седой тюремный волк. — А тут инфляция такая... Ну, мы из положения вышли, перевели в валюту... А всё одно мёртвым грузом лежит... Хотелось бы от вас услышать какую-нибудь эту... — Гурам близоруко заглянул в бумажку, поспешно вытащенную из ворсистого кармана — ...консервативную биржевую стратегию... Ну, чтобы лавэ вкалывало, а не под шконкой прело...

— Ну, уважаемый Гурам-Клыч, я это вам к пятнице на бумаге изложу, как положено, а пока самую суть наколю, — предложил Имбирёв, уминая кусок воровского торта. — Значит, смотрите: самые консервативные инструменты: золото, серебро, платина, палладий. Металл основную стоимость всегда сохраняет... Он не как советские рубли присной памяти... В пшик не превратится... Он всегда сбережет то, что в него вложено...

— Сбережет-то да, а вот как бы прибыль с этого... — помялся Смотрящий.

— Значит, так. Существуют колебания цен на драгоценные металлы. Поллара вверх, поллара вниз... Они существуют вокруг осевой линии, понимаете? Она вычисляется за несколько лет, как средняя цена на металл... Теперь мы с вами видим: цена на золото на поллара выше осевой. Что мы делаем?

— Что, в натуре?

— Раз она выше осевой, то мы золото продаём. Мы же знаем, что этот скачок временный, спекулятивный, и золото вернётся к средней цене. Если мы с вами видим, что золото дешевле осевой на поллара, что мы делаем?

— Покупаем...

— С вами легко работать, вы быстро схватываете... Если золото дешевле средней цены за несколько лет, то надо его брать, мы знаем, что оно вскоре своё доберёт. То же самое мы делаем с серебром, палладием, платиной... Если хотите, то и с медью, алюминием, оловом — но это более громоздко... Суть такая: мы знаем среднюю цену за много лет. Цена ниже средней — сигнал покупать. Цена выше средней — сигнал продавать. От каждой сделки остаются дополнительные деньги. Если мы купили золото на поллара дешевле его средней цены, а продали за поллара дороже, то у нас в руках оказалось сколько?

— Доллар? — неуверенно и даже заискивающе крикнул старый уголовник.

— Совершенно верно. Вот, чтобы понятнее было, — впавший в раж Иван, всегда любивший сверкание разума в чистой теории, схватил со стола карандаш. — Карандаш, почтенный Гурам, стоит 2 рубля... Мы можем его сдать в скупку за два рубля. Если мы встретим человека, который продаст нам карандаш за полтора рубля, то мы получим 50 копеек прибыли... И если мы встретим человека, который хочет купить карандаш за 2 рубля 50 копеек — мы тоже получим 50 копеек прибыли! Ведь мы знаем место, где карандаши и берут, и отдают по 2 рубля!

— Занятно... — почесал кудлатый, похожий на грубую овчину затылок Гурам. — Это же прямо какая-то машина для изготовления денег получается!

— Биржа так и работает... — скромно улыбнулся экономист-теоретик.

— А с другими биржевыми товарами так можно?

— Можно, конечно, но более хлопотно. Риска больше. Вы же просили консервативную стратегию, чтобы риски по минимуму...

— А сам чего с такой головой постным маслом торгуешь?

— У меня, почтенный Гурам, стартового капитала нет... Это же большие обороты нужны, чтобы прибыль солидная вышла!

— Нашел бы, занял...

— Есть и ещё один момент... Масляное дело — оно чистое. Без чертовщины всякой. Тихо, спокойно... Вот мы с вами чай с тортиком пьём... А если бы я золотом, нефтью, бриллиантами торговал — мы бы не так сидели, а? Вы бы, поди, для начала разговора, по пояс бы меня в бетон закатали, а?

— Вот человек! — восхитился Гурам Клыч. — Можно сказать, профессор экономики, а и в воровском деле тоже понимает! Уж понятно, с ходок по «рыжью» мы бы не так базарили, не так...

— Вот видите... А тут маслице постненькое, цены низенькие... Чего убогого обижать, правда?

— Твоя правда, торгаш! Только как у тебя с лавэ? Хватает, что ли, с масла-то?

— Да, в общем, не жалуюсь... Не хватит на мяско — картофелинкой перебьюсь, нету молочка — водички попью... Короче, умеючи и на масле прожить можно...

Экономист и Смотрящий хохотали взахлёб, до слёз, как старые друзья.

— Понравился ты мне, Иван Сергеевич! — хлопнул на прощанье по плечу тяжелой, как ковш экскаватора, ладонью Гурам. — Я тебя в обиду не дам... Бумажки готовь свои, а насчет этой... Беленькой, востренькой... Совет... Таких не люби, если на лавэ не азартен... Тут одно без другого, сам понимаешь, не канает... Ты себе тётку возьми, с райкомовским стажем, вы вместе картошечку-то без мяска наворачивать будете...

— Да кто его знает? — полушуткой-полувсерьёз помечтал Имбирёв. — Может, и в моём убогом положении чего обломится?

— Тогда это... — Гурам поднял кривой татуированный перстнями палец. — На гранат налегай! Свежие, спелые гранаты покупай, лучше всего из Баку, и угощай её почаще... Дело молодое, как перевозбудится — глядишь, и на тебя обзарится...

Гурам ушел, а Имбирёв всё стоял с улыбкой у выхода, глядя ему вслед через застеклённые прорези в двери. В приёмной старик о чём-то пошутил с Тумановой, так, что та вся зашлась от смеха и даже за платочком полезла — утереть невольные слёзки...

«Попался бы ты мне раньше, упырь, — думал Имбирёв, а радушная улыбка всё висела забытой на его лице, — на пути у моего батальона... Порубил бы я тебя в капусту, какую ты любишь, зелёную, американскую...».

\*\*\*

— Она приходящая была... Без оформления трудового соглашения... — заявил Владик-хорёк по поводу странных претензий женщины из райсобеса помочь в похоронах уборщицы бабы Клавы.

У бабы Клавы никого не осталось на свете — только райсобес и фирма «Масло Жизни», в которой она ранним утром подрабатывала, моя полы...

— Ты, Владик, ерунды не говори... — покачал головой Имбирёв. — Поможем, конечно, чем сможем...

— Так она не одна! — бунтовал Владик. — Их там четыре жмура... Ты вот не знаешь, Иван, а говоришь... Она вначале трёх своих внуков топором зарубила, а потом сама таблеток нажралась... Это даже чисто гробы покупать — четыре гроба нужно...

— Она что, с ума сошла? — дрогнул голос Имбирёва, прекрасно помнившего молчаливую, мрачную старуху, таскавшуюся мимо него с ведром и шваброй.

— Можно и так сказать... — развела руками женщина из райсобеса. — В основном, нищета, конечно, довела... У её внуков родители погибли, она их

пыталась одна поднимать... Ну и в какой-то момент решила — к папе с мамой их отправить, чтобы они так не мучились... Подобралась к спящим, и головы поотрубала... А потом уж замыкающей пошла, так сказать...

— Вань, это не наше дело! — тянул Имбирёва за рукав компаньон. — Ну, «закипел разум возмущённый», всё понятно... Ку-ку бабулька... Давай, у нас дел с тобой сегодня... Айда!..

Но Имбирёв не торопился с делами Владика. Из всего множества кошмаров, творившихся вокруг него — слева, справа, сверху, снизу, — этот отдельный случай с бабой Клавой и её внуками как-то особенно врезался в память и совесть. Не то, чтобы история была небывальщиной — такое в 90-е творилось сплошь и рядом...

Но помочь всем Имбирёв не может — он не солнце, чтобы всех согреть... А тут речь идёт о человеке, работавшем у него, мывшем полы в его кабинете... Если Имбирёв приходил слишком рано на работу — баба Клава просила его поднять ноги, и шуровала под его сидением шваброй...

— А почему она мне ничего не сказала? — снова задал Имбирёв дурацкий вопрос — как перед гробом соседа-коллеги.

— А что она могла вам сказать? — недоумевала женщина из райсобеса. — Вы — директор фирмы, она — приходящая на два часа уборщица... Всё, что вы ей обещали, вы ей вовремя выплачивали... А о чём больше ей с вами говорить?!

— Ну, я наверное чем-то мог бы помочь сверх штатного расписания...

— Видимо, такая мысль Клаве в голову не приходила... — горько усмехнулась посланница соцобеспечения. — Она вас очень боялась, Иван Сергеевич...

— Меня?! — глаза Имбирёва стали плошками от изумления.

— Она мне несколько раз рассказывала, как она у вас какой-то блок питания нечаянно из сети выдернула, когда вы с утра на компьютере работали...

— Ну, я помню, ну и чего такого?

— Вам ничего, а она неделю спать не могла: выгонит, говорит, меня Иван Сергеевич, такой урон ему нанесла, не потерпит... А больше куда идти? Некуда идти...

— Чёрт! — ругался Имбирёв, увлекаемый компаньоном по делам фирмы. — Да что же это такое творится-то?! Это же ни дна, ни крыши... Неужели всё, конец истории, финита ля комедия... Так и передумим друг друга?!

\*\*\*

Оля пришла на работу, как всегда, раньше всех (прежде только покойная уборщица Клава её опережала) — чтобы в тишине и без лишних глаз поработать часок над институтским дипломным проектом. Тут-то она и застала Ивана Сергеевича, спавшего в офисе...

Он спал на полу, а чтобы не было холодно — надел зимнее, на вате, старое пальто, застегнулся на все пуговицы. Голову расположил даже с некоторым комфортом: положил навзничь один из стульев, спинкой к полу, так что мягкая кожаная подушка спинки пришлась как раз под затылок... Почти кровать получилась, только очень жёсткая: «таркет» пола, хоть и на пробковой подложке, пружинистый, но для сна VIP-персон явно не предназначен.

— Хоро-о-ш! — прошептала Туманова, стоя в дверном проёме и не зная, смеяться или плакать. — Был бы на свете конкурс мудаков — гран-при бы взял...

Почувствовав чужое сочувственное и одновременно насмешливое внимание, Иван Сергеевич заворочался и открыл изнеможенные, красные, кровью налитые глаза. Некоторое время бессмысленно пялился на Ольгу, по-

том стал костяшками пальцев простукивать ламинатные доски: якобы она сейчас поверит (держи карман шире), что он тут качество ремонта проверяет...

— Там цементную стяжку плохо сделали, Оля... — пробормотал Иван Сергеевич. — Я вот проверил — там это... пустоты...

— Конечно! — согласилась она, издевательски кивая. — Это ведь только в пальто и делают... Причем только в наглухо застёгнутом...

— Я это... — перебрался Имбирёв на запасную линию обороны, вставая с пола на корточки. — Оля... Ты должна меня понять... Перебрал вчера, сорвался, выпил вот... Тут уснул...

— Вань, ты лечи командировочных... Меня не надо... Я тебя много лет знаю, Ваня, когда ты бухаешь, перегаром — вон через мою приёмную до самого коридора шибает...

Иван Имбирёв был очень усталым, спать на жёстком он не привык, всё тело затекло и болело, но он действительно был трезв, как стёклышко.

— Ладно, давай рассказывай, чего у вас там стряслось... Выгнала, что ли, Алсушка тебя?

— Я сам ушел, Оля... Я не могу с ней больше...

— Да? — Туманова саркастически скривила забавную рожицу. — И сколько раз, по-твоему, в жизни настоящий мужик должен произносить эти слова?

— Я их произнёс в первый раз, Оля...

— Ну, Вань, это не предел, — качала она хорошенькой, как с литографии лермонтовских времен, головушкой. — Это — лиха беда начало... Текст заучишь, от зубов отлетать будет...

— Нет, ты не шути... Тут не до смеха... Я ей начал про бабушку Клавку рассказывать, про внуков её без голов, про топор, который она аккуратно помыла от крови, прежде чем травиться идти... А она мне про похоронный бизнес — раз, мол, у меня такой интерес могилки копать, то надо открывать агентство ритуальных услуг, сейчас это самое прибыльное шмалево...

— А ты, Вань, сам виноват...

— Я виноват?! — от такой несправедливости он, казалось, прямо с пола до конца не вставши, разрыдается.

— Да, ты виноват... Как ты себя с бабой держишь? Ты мужик или кто? Директор фирмы, тебя люди до смерти боятся, а ты — заяц! Стукнул бы кулаком по столу... В глаз бы ей дал, наконец... Иногда женщинам это нужно, уж открою секрет... Когда бабе шлея под хвост попадёт, она удила закусит, и сама уже не рада тому, куда её несёт...

— Да не хочу я её воспитывать, Оленёнок... Она не человек, она животное...

— Знаешь что, зоофил мой разлюбезный... — обиделась Оля за девушку, которую когда-то почти сестрой считала. — Была бы животным, от тебя бы не родила! Межвидовой половой контакт плодов не имеет... Так что ты не гони, Ваня, чего не знаешь... Я вообще удивляюсь, как такая размазня, как ты, в бизнесе ещё держится?!

— Я тоже об этом думал, — обрадовался Иван Сергеевич переключению темы. — Знаешь, как? За счет уникальных комбинаций, не имеющих конкуренции... Если придёт жёсткий конкурент — то тогда хана мне, ты права... Но обычно то, что я делаю, никому больше в голову не приходит...

— Да уж ясен перец! Оригиналы! Секретаршу домогаться — этого до тебя никому из боссов в голову не приходило...

— Оля, не говори об этом так грубо... Ты всё, что у меня есть в жизни... Знаешь, почему я, когда от жены ушел, к матери не пошел?

— Ну и почему?



— А потому что у матери «тех же щей пожиже влей»... Меня никто никогда в этой жизни не любил... Меня все только использовали...

— Вань, ну как тебе не стыдно?! — искренне возмутилась Туманова. — Ну тебе-то жаловаться... Это вот бабу Клаву никто не любил, это её все только использовали... Ну а ты-то, Вань... Скажи, что такое есть в жизни, чего у тебя нет?

— Тебя! — быстро ответил он.

— Слушай! — скусилась, словно ложку уксуса выпила, Ольга. — Я спецом пораньше пришла... Хотела часик дипломом позаниматься... Вместо этого я стою и веду бессмысленный разговор с бомжом... И я чувствую — всё, плакал мой дипломчик... Сорок минут до начала рабочего дня, а тебя ещё надо умыть, побрить, костюмчик отутюжить... Так я и останусь при чужом муже душой без диплома...

— Я тебе куплю диплом... — тут же, с прытью торговца, пообещал Имбирёв.

Оля ничего не ответила — только выразительно закатила глаза и выдала тяжёлый вздох.

— Значит так, босс! — распоряжалась она, видя, как быстро утекает время. — Пиджак мне свой снимай, у меня тут к счастью есть портативный утюг... Бриться иди в туалет, бритву взял?

— Нет, конечно...

— Ой-йё... С кем связалась... Значит так, босс, вот тебе мой розовый бритвенный станочек для твоей щетины! И на завтрак у нас будет, мальчик мой, опять китайская заварная лапша... Будем ближе к народу, Иван: в офисе с одним электрочайником всё равно хрен чего другое приготовишь...

— Оля... — выдохнул он, совсем умиротворённый и даже опять на что-то надеющийся. — Если бы тебя не было — меня бы тоже уже не было...

— Вань, ты когда трезвый — ещё глупее вещи говоришь, чем когда пьяный...

\* \* \*

Плохо выспавшийся в пальто на полу, Иван Сергеевич очень напоминал похмельного колдыря, что весьма подняло его котировки в глазах нового делового партнёра, сибиряка, поставщика кедрового масла.

«А братан-то наш, нашего роду-племени...» — подумал сибиряк Миша Скобарёв, который прежде общался с Владиком Вещаевым и оставил у себя от того неприятный осадок.

Имбирёв казался Мише совсем другим тестом, сибирским, пельменным...

— ...У нас есть ещё в линейке экстракт хвойной лапки, выжимка прополиса, облепиховое масло... — гундел Миша Скобарёв по бумажке.

— Может быть, по сигаре? — предложил красноглазый Иван Сергеевич, уставший от жирных и сальных слов поставщика. — У меня гаванские сигары... Как в Советском Союзе...

— Как в Советском Союзе?! — обрадовался Миша. — И такое возможно?

— Обижаешь, Мишаня! В лучших традициях нашей с тобой Родины, кубинские, 100 процентов... Я люблю, чтобы всё, как тогда...

— Как тогда?! — масляными стали уже не только коммерческие предложения, но и всё лицо Скобарёва.

...Через некоторое время из кабинета директора неслось дружеское, нестройное, но очень одушевлённое:

*...Под крылом самолёта о чём-то поёт  
Зелёное море тайги...*

— Мразь совковая... — скрипел в приемной Владик Вещаев. — Счас напоят нашего генерального, и будем опять неделю без газеты сидеть, пока он в запое... Всяко, Оля, он с такими песнями кодировку генеральному сорвёт...

Оля неприязненно относилась к лоснящемуся (что не удивительно при торговле маслами) заму гендиректора, слишком уж подчеркнуто европейничающему, но в данном случае вынуждена была согласиться. Её друг детства Ваня Имбирёв находился в группе риска, и сподручить его не труднее, чем курсистке соблазнить проезжего гусара...

Заносил в кабинет генеральному чай с бальзамом сибирских трав, Туманова сочла необходимым тихо, но твёрдо сообщить на ухо Михаилу:

— Имейте, пожалуйста, в виду, наш шеф непьющий... Он закодирован, так что прошу не предлагать...

Скобарёв, как настоящий чалдон (а они все гоношливые), не захотел сохранить дело в тайне, и громко спросил:

— Кто эта девушка, Ваня, и почему она указывает, что нам с тобой делать?!

— Не касайся её... — попросил Имбирёв и добавил совсем уж сумасшедшую фразу. — Она святая...

«Ни фиги себе, как он обо мне думает», — внутренне охнула Туманова, чуть не выронив узорный мельхиоровый сверкающий поднос.

Имбирёву в тот день везло. Вместо того чтобы посчитать его сумасшедшим, как и следовало бы, Миша-сибиряк посчитал его допившимся, и ещё сильнее зауважал: «Братуха, в натуре, видать, из долгого запоя откинулся... Ладно, и правда, не буду ему доливать, видать, и у наших людей своя норма-тура имеется...».

В итоге уход Миши-сибиряка ознаменовался очень и очень приличной скидкой кувинскому партнёру.

— Не знаю, как ты его выпроводила, — шепнул Владик на ухо Тумановой. — Но ты *гения*...

Иван Сергеевич вдохновенно перевёрстывал газету, отыскивая в колонках место для новых продуктов, чтобы уместить их там с фото, контактами и текстами. Место отыскать было нетрудно; а вот тексты предстояло подготовить.

Никто, кроме волхва словесности Ивана Имбирёва, не смог бы это сделать так, чтобы сторублёвая бутылка ушла бы за двести рублей...

Хотя по сути своей эта работа хитро-подлая и барышническая, Имбирёв её любил. Он доставал старые справочники сельхозработника и энциклопедические соответствующие тома, листал, высунув язык, что-то напевал.

— Кедровое масло, кедровое масло... Напишем так — дар Бога... Нет, это верующим соблазн, атеистам же безумие... Не дар Бога, а вот так: «Кедровое масло — дар богов»! Антично, поэтично и всем понятно...

Имбирёв любил писать, любил буквы, каждую букву.

Рекламная дурь в его исполнении всё равно дотягивала до шедевра. Собственно, весь доход «Масла Жизни» висел именно на этих маленьких шедеврах: а поскольку доход рос, следовательно, и мастерство их автора росло!

Дело, конечно, не в том, как может сначала показаться, что Имбирёв «загонялся» по пищевому маслу, увлекался растительными жирами и с детства мечтал ими торговать.

Нет, конечно, масла были продуктом, холодно и расчетливо выбранным после долгих раздумий, как самый оптимальный продукт для относительно-честного обогащения.

Не только потребители «Масла Жизни», но даже и сотрудники фирмы

удивились бы, если бы узнали, что Имбирёв на самом деле совершенно равнодушен к постному маслу, а все его поэтические обороты и «виньетки ложной сути» — лишь ухищрения журналиста-профессионала, умеющего с душой писать о предметах незнакомых, непонятных и лично ему совершенно чужих.

Нет, не о масле обожал писать-сочинять и верстать Имбирёв; он обожал просто о чём-нибудь писать и что-нибудь верстать.

На месте постных масел могли бы оказаться собранные у потребкооперации шкуры крупного рогатого скота, или присадки для автомобильных двигателей, или скобяной артельный товар. Всё, что угодно, могло бы оказаться на месте постных масел — если бы экономист Имбирёв рассчитал оптимальную прибыль «толчка» этого предмета через газету-торговку.

Но каким бы мелким, нелепым, даже безумным делом ни казалась работа по воспеванию облепихового масла — Имбирёв занимался ей с явным удовольствием. Это спокойное, в обнимку со справочной литературой, кропотливое и виртуозное занятие, сходное с ювелирным мастерством, — напоминало Ивану Сергеевичу о счастливых годах, о минувшей жизни, в которой он так же (только совершенно бесплатно) разбирал тонкости средневековой философии и эпосов прикаспийских народов...

К обеду, довольный собой, Имбирёв вышел к Оле с какой-то узкой бумажкой, похожей на корешок квитанции.

— Ваня, это ещё что такое?

— Сегодня ты спасла меня от пьянки, это доход примерно с одного номера газеты, он перед тобой, считай это чеком, и этим чеком ты можешь расплатиться *сама за себя*, пообедав со мной в «Парадизе»...

— Как я понимаю, не один раз, Ваня?

— А это смотря что мы там закажем...

И оба друга детства расхохотались над взаимной пугливой чопорностью.

— Обещай мне две вещи! — смеялась Оля. — Что ты там не будешь напиваться, и не будешь баранки по залу раскидывать, как Киса Воробьянинов...

...Хихикая над взаимными колкостями, Иван и Ольга ещё не знали, что именно в ресторане «Парадиз» за их обедом раскалённо смотрят злые глаза Алсу Имбирёвой. Той самой, которую снабжал информацией Владик Вещаев...

\* \* \*

Собственно говоря, как это часто бывает у любящих людей, диалог начался за здоровье, а кончился за упокой. Никто не хотел ссориться — но само собой получилось, слово за слово.

Чтобы не спать больше на полу в пальто, Иван Сергеевич задумал купить к себе в кабинет диван. Наученный горьким опытом, он понимал, что внос дивана без согласования с Олей вызовет у неё нехорошие подозрения, и пошел согласовывать...

— Оля, я хочу в кабинет к себе диван поставить... — начал он, запинаясь, явно с каким-то двойным дном.

— Ну и что? — рассердилась она. — Я тут причем?!

— Чтобы ты не обижалась, я тебя заранее предупреждаю... Это такой будет спальный диван...

— А меня это каким боком касается? — злилась Ольга. — Я на твоём диване сидеть не собираюсь... Или, — ядовитая догадка озарила её лицо, — ты хочешь, чтобы я прилегла на него?!

— Не то, чтобы я этого не хочу... — сбился на лучших чувствах Иван Серге-

евич, пытаюсь объяснить, что Оля свободна и от равнодушия, и от принуждения. — Но не в этот раз... Боже, что я говорю?! Я имею в виду — не сейчас... Пока просто диван везут... Ты не против?

— Господи, Имбирёв, как ты мне надоел... Ну ты же умный человек — ну почему ты такой дурак?! Ну если жена тебе не даёт — ну закажи ты себе эскорт! Баб тебе, что ли мало?!

— Мне — мало! — сжал он зубы, сам начиная злиться. Ведь совсем не о том он начинал разговор. Он хотел предупредить Ольгу, мол, оборудую себе спальное место, чтобы она не пугалась. В итоге — так искорёжил мысль, что наоборот, напугал Туманову и к тому же сам себя чувствовал оскорблённым.

«В конце концов, что она себе позволяет? — пылало в голове. — Кто здесь хозяин?! Почему я с секретаршей должен согласовывать расстановку мебели в офисе?!».

Как бывает у людей с воспалённым чувством, Имбирёв забыл, что сам решил согласовывать диван с Ольгой, и вздумал считать, будто это она потребовала с него отчета.

«Да и потом не буду я скрывать, что я её хочу! — дергался чёртик в Иване Сергеевиче. — Я её не принуждаю — да, но над моими чувствами она не властна! Я могу по её просьбе её не трогать... Но не могу я по её приказу перестать её хотеть...».

Ольга тоже полыхала. Она не хотела увольняться. Ей некуда было идти работать. С деньгами в семье Тумановых было очень трудно. Но теперь, похоже, он всё же выдавит её своими тупыми и пошлыми намёками, дальше так не может продолжаться...

И Ольгу уже несло, что называется, напропалую, чувствуя себя уволенной, она уже язычка не прикусывала и в словах себя не ограничивала:

— Или ты, человек в футляре, стесняешься позвонить девушкам по вызову?! Или это ниже твоего достоинства?!

— Я не об этом хотел поговорить... — кипел Имбирёв.

— А о чем?! Хочешь, я сама позвоню и тебе вызову?! — напирала Туманова. — Вот, смотри... — она веером выложила визитки, которые постоянно раскладывали в 90-е годы на подоконниках и журнальных столиках в фойе бизнес-центров. — Как тебе, босс? «Лицей, горячие студентки»... Не нравится? Тогда вот — «Клубничка, сладкие девочки»... Звоню на правах твоего секретаря, и они сюда шеренгой приезжают... Вот тебе и выход из положения...

— А мне ты нужна! — капризничал Имбирёв.

— О-о, Господи! — чуть не плакала Ольга. — Какой же ты занудный... Не могу я, Ваня, как они, у меня только по любви бывает...

— Вот ты меня сейчас оскорбляешь совершенно ни за что, без всякой причины... — бормотал Имбирёв, и в глазах его играли искорки безумия.

— Чем, скажи на милость?

— И подталкиваешь меня к самоубийству...

— Час от часу не легче! И чем же?!

— А ты утверждаешь, что меня в принципе полюбить нельзя, даже в будущем, даже при других обстоятельствах...

— Ну чего ты себе придумал? Ничего такого я не утверждаю.

— Нет, утверждаешь! А сама при этом меня постоянно заводишь... Зачем ты стринги носишь?

Оля аж поперхнулась от такой интимной детали.

— Откуда ты знаешь, что я ношу?!

— Оля, юбка тонкая... Видно...

— Бл-я-а-а...

Она была в такой ярости, в какой Имбирёв никого ещё не видел. Она смотрела на него, как на редкостную гадину, выползшую из отхожего места мразь. Она и прежде знала, что Имбирёв — мужик со странностями, но такого она от него не ожидала...

И так — буднично, посреди дня, по ничтожнейшему поводу — случилось то, что на их натянутых нервах давно можно было предсказать: Ольга Туманова покинула офис фирмы «Масло Жизни», пообещав никогда больше сюда не возвращаться.

— Ноги моей, Ваня, возле тебя больше не будет! Привет Алсу! Поцелуй от меня в лобик свою малютку!

После её ухода как-то разом постаревший и сгорбившийся Имбирёв уполз к себе в кабинет и достал из сейфа пузатое «бренди»: явно не с намерением макать туда сигару. Первой мыслью было — нажраться, чтобы забыть обо всём...

«Сучка! — думал он оскорблено. — Знает ведь, что если уйдёт — я себя убью... Но для неё это не аргумент... Эгоистичная дрянь... Пусть Ваня, друг детства, умирает, ей и дела нет никакого... Здесь будет другая, покруче неё, расфуфыренная, наманикюренная... И тоже блондинка, и модельного роста...».

Отходняк эмоций — и протрезвление в мозгах:

«И будет она меня звать «Вы, Иван Сергеевич»... «Ты, Ваня» — как на школьном дворе — никто уже не скажет... Никогда... Боже, никогда... Только «Вы», и только «Иван Сергеевич» — ведь хозяин, блин... И я захлебнусь в этом всеобщем раболепном страхе, в этой поганой услужливости, при которой что мужик, что баба ноги расставят по первому требованию...».

Иван Сергеевич собрался с силами и отставил свой коньяк. Бросил пить — значит бросил. Надо думать и решать. Так нельзя. Говорить «Вы, Иван Сергеевич» — человеку, которому ещё и тридцати нет, — никуда не годится! И ведь ничего плохого он Тумановой не предлагал... Она сама за него чего-то навывдумывала...

Стоп! Значит, она об этом думала! У неё мысль сразу об одном! С полуоборота! Она инфицирована Имбирёвым, факт! Организм, понятное дело, борется, иммунитет сильный, но... Инфекция внутри... Нет, ничего ещё не потеряно!

\* \* \*

...Он стоял на пороге её квартиры с виноватой улыбкой, в отсыревшем на гнилой кувинской оттепели кашемировом пальто. И словно декларацию о добрых намерениях, держал перед собой пакет покупных пельменей и баночку с томатным соусом, очевидно, к пельменям...

Он мог бы явиться таким же образом с пачками денег, с ювелирными украшениями, с роскошным букетом роз или с орхидеями — и был бы беспощадно развёрнут...

Но он явился с пельменями, и в этом был прежний, дорогой памяти Тумановой Ваня Имбирёв, и, как ни странно, именно и только с дурацкими пельменями она не могла его прогнать...

Ну как, скажите, на такого можно обижаться?

— Оль... — заискивающе глумился он. — Свари мне их, пожалуйста... Понимаешь, кроме тебя больше некому, а я так пельмешков хочу...

Она покачала головой с беспомощной укоризной и пустила его в прихожую.

Тут же показались Олины родители, папа и мама, со смесью тревоги и любопытства на лицах. Это были побитые постсоветской жизнью работяги, давно не получавшие на своих работах зарплат, и потому весьма покладистые...

— Мама, папа, — это Ваня Имбирёв, если помните... — устало выдохнула Ольга.

— Конечно, помним... — полез ручкаться папа.

— ...Владелец и гендиректор фирмы, в которой я работаю...

Папа смутился и убрал протянутую было руку.

Мамины глаза плотоядно заблестели: гендиректор фирмы... пришел к дочке... варить пельмени... как у Льюиса Кэрролла, «всё чудесатее и чудесатее»... Чтобы малость охладить мамин энтузиазм, Ольга добавила отчетливо, с подчеркнутым значением:

— Женат на Алсушке, вы её помните, у них недавно ребёнок родился...

Мамины глаза заметно погрустнели, но не потухли. Мама складывала нехитрые комбинации: ну женат, ну ребёнок... Однако же пельмени сюда пришел варить... Значит, не всё ещё потеряно!

— Оля всё время шутит, — затараторил Иван Сергеевич, очень стараясь в новом статусе понравиться давно знакомым родителям Тумановой. — Прямо скажет, прямо скажет... Я простой советский человек, по диплому я экономист... И работаю я тоже в «Масле Жизни» экономистом... А по совместительству верстальщиком...

— Врёт он всё! — сверкнула глазами Ольга. — Он генеральный директор и основной акционер...

— Оля! — дружно, пуча глаза, пшикнули на дочь мама и папа.

— Ну, одно другому не мешает, — сдал на попятную Имбирёв. — По профессии-то я экономист... И по диплому...

Ивану Сергеевичу в четыре руки — правда, без Олиного участия — помогли снять и повесить его набухшее гнилыми парами ростепельной Кувы пальтецо.

Пригласили в гостиную. Пельмени его Олина мама незамедлительно потащила на кухню, где вскоре весело зашумел бурный пылающий газ под кастрюлькой. А томатный соус Иван пугливо продолжал держать в руке, словно бы надеясь им защититься при внезапном нападении...

Он был в очень дорогом приталенном двубортном костюме с золочеными, поблескивавшими клубно-гербовыми пуговицами. Пиджак из атласной, гладкой, как стекло, ткани «с искрой» так и манил Олиного отца потрогать модно простёганные одинарной стёжкой лацканы руками. Но папа сдержался...

— Чё ты цирк-то устраиваешь, Вань?! — стыдила гостя Ольга Туманова. — Пельмени сам себе сварить не можешь?!

— Оля! Как можно! — ужаснулся папа грубейшему нарушению субординации в присутствии работодателя.

— Оля, я не вру... Я купил... правда... дома, там ваще... А я к матери пошел... А мать мне примерно вот как ты сейчас сказала, забрала с меня сто долларов сыновьего долга и выставила вон, потому как ей картоху в подвале перебивать нужно...

Он тараторил, глотая окончания, опасаясь, что она его прервёт, но она не перебивала, со скептической улыбкой слушая этот бред и потешаясь им.

— И ты вспомнил дуру, которая всегда готова пельмешки сварить?

— Оля!!! — папе казалось, что он ослышался, настолько дикими были речи неразумной дщери...

— Я не про себя, пап, я про жену твою, мою мамочку, которая уже кастрюлками гремит, одержима холопским недугом...

— Иван, заходите, пожалуйста, — взял папа дело в свои руки, — садитесь к столу... Сейчас перекусим, чем Бог послал, по рюмашке, по старой памяти... Помните, как мы с вами в девяносто первом, когда...

— Ему нельзя пить! — вмешалась Оля с прежней бестактностью. — Папа, Иван в завязке, и ему даже видеть отравы этой нельзя... Да и тебе, кстати, тоже...

— Она деспотичная... — пожаловался Иван Сергеевич папе на его дочь. Тот с готовностью закивал...

— Прямо и не знаю, чего на неё сегодня нашло!

— ...Я каким был, таким и остался, — уверял Имбирёв всех за тумановским столом в гостиной. — И мне будет очень приятно, если вы по-старому будете звать меня на «ты», потому как я ведь не такой ещё и старый, правда...

— Ну, Иван, noblesse oblige, что значит «положение обязывает».... — попросил о понимании Олин папа.

Ивану было очень хорошо, тепло и душевно сидеть у Тумановых. Здесь с советских времен ничего не изменилось: те же наивные обои «в цветочек», советский ещё телевизор, советский сервант, советские книги на громоздящихся до потолка книжных полках... Это была потерявшая достаток, но помнившая достаток семья советских интеллигентов, товарищей (а не господ) Тумановых, а ничего дороже и прекраснее Имбирёв себе представить не мог.

Больше всего Иван боялся сойти в этой обстановке за чужака. Поэтому он снял барыжный пиджак бизнесмена, выкинул его подальше на тумановский, шахматной расцветки, диванчик. Остался в белой, тонкого шёлка сорочке и цветастом галстуке...

Папа Ольги понял, что у него появился шанс всё-таки потрогать эту уповательно-дорогую пиджачную ткань на ощупь, и под каким-то надуманным предлогом отошёл к окну.

Подкалывая, или, как модно сейчас говорить, тролля мамочку, Оля отвешивала булыжниками эпитеты в адрес Имбирёва:

— Он у нас стал миллионером...

Мама уморительно охала и прижимала ладошки к впалой груди...

— Ольга, ну зачем так шутить... — протестовал Иван с набитым ртом. — Подумают, что правда...

— Да, мам, миллионером стал, и можно сказать, олигархом... В лимузине с шофером ездит...

— Оль, ну ты сгущаешь краски, мне неудобно... Машина — она не моя, она фирмы, и это простая «Волга»...

— Ну я и говорю, что ты простой олигарх! — хохотала Ольга, наслаждаясь его детским смущением.

— Нина Павловна, — умолял Имбирёв, делая по-собачьи умильные глаза, — вы её не слушайте, я экономистом по образованию работаю... Ну, ещё рекламную газету верстаю...

— А газета-то, мама... — комично закатывала глазки ершистая дочь. — Что не номер, то мильон доходу!

— Ну какой уж там мильон, два раза только и вышли на такую планку...

Отговорки Ивана, как он ни старался, не могли разрушить стену предубеждений Нины Павловны, и наоборот, только укрепляли её.

Закивай он Оле в тон — Нина Павловна, как битая жизнью женщина, подумала бы — «э, нет, хвастаете, ребята, форсу напускаете!». А вот с оговорка-

ми Имбирёва выходила сладкая правда: не каждый номер миллион, но иной раз бывает и до «ляма»! Подумать страшно!

Если Олиного папу пленил двубортный пиджак доченькиного работодателя, то маму — более тонкая вещь, рубашка. Мама, как женщина, лучше отца разбиралась в тканях, и оттого даже неброскую тряпочку могла оценить... И оценила...

Тем паче, что у Имбирёва на взмокшей от пота сорочке — нагрудный карман, как положено, а в кармане — через ткань просвечивает — какая-то немалого номинала валюта...

— Кушай, кушай Ваня... — щебетала мама, благодаря судьбу за то, что этот крутышка вырос на её глазах в их дворике. — Там ещё осталось, если не наешься, доварю... Вот, капустки попробуй, мы с Оленькой сами делали...

— Мама делала, а я на неё ругалась, что она хернёй занимается... — сардонически пояснила Ольга.

«Не просто же так он пришел к Оле пельмени варить! — стучало гулко материнское сердце, измученное страхами за будущее дочери. — Не бывает, чтобы просто так... Тут большой смысл...».

— А вот огурчики попробуй, помидорчики... моего соления... Как тебе?

— Великолепно, Нина Павловна! — искренне и преданно смотрел на Олину мать молодой «олигарх».

— Может, Иван, сходим, покурим? — предложил отец, уже успевший воровским манером помазать пиджачок гостя.

Иван осоловело с пельменей, грузно поднялся, пошел к своему небрежно брошенному пиджаку и достал из внутреннего кармана кожаный сигарный патронташ. Такой Тумановы только в кино про итальянскую мафию видели...

— Кубинские! — снова хвастался поставками Имбирёв. — Как в Советском Союзе! Помните, по 20 копеек штука лежали?

— Как не вспомнить! — ностальгически улыбнулся папа. — А нынче они почём?

Имбирёв назвал цену. Лицо у Туманова непроизвольно вытянулось...

Он увёл гостя на кухню, где в секретном шкапчике у него с советских времён пряталось спиртное, и — конспиративно оглядевшись по сторонам — предложил заветную флажку Имбирёву, пыхтевшему сигарой.

— А Ольга не увидит? — испуганно спросил Иван.

— Нет, они там с матерью... в зале... Они табачный дым не любят...

— Это очень правильно...

Два мужика, искренне симпатизируя друг другу, с побряком выпили и глубоко затянулись карибским угаром...

— Анатолий Эдуардович! — расчувствовался Имбирёв с быстро опьяневших глаз. — Я безотцовщиной рос, я вам как отцу родному скажу...

— Да, Иван! — приосанился Олин папа.

— Я вам клянусь Родиной, хлебом, матерью, всем святым, что только есть у человека, — я Олю никогда не обижу! Я ей какой-то там подлости, пакости — не сделаю... Я лучше на куски себя порежу, чем ей плохо сделаю...

Слушая такие слова, папа сначала заметно обалдел — а потом у него в глазах заблестел бисер слезинок.

— Иван, я всегда знал... ты рос хорошим мальчиком в хорошей семье...

— Анатолий Эдуардович, вот как Бог свят! — размашисто перекрестился Имбирёв, сверкнув темными от пота подмышками сорочки. — Я в этой новой жизни ни хрена не понимаю... Вы думаете, мне этот бизнес нужен, что ли?! Да если бы мне показали, как в СССР обратно дойти, — я бы как сектант



Порфирий Иванов, тёзка мой пофамильный, в трусах бы босиком по снегу пошёл бы... Но не дойти нам, Анатолий Эдуардович, не дойти... Ваша Оленька для меня — это всё! Вы не подумайте в плохом смысле...

— Да я и не думаю, Ваня...

— Нет, вы в плохом смысле не думайте, я в высоком смысле! Я для неё в лепёшку расшибусь... Она моя звёздочка, и в жизни у меня кроме неё ничего больше нет...

В захмелевшем сознании папы-Туманова мелькнули смутно слова «жена, ребёнок», сказанные про Имбирёва, но он прогнал это наваждение. Говорит человек — «больше ничего нет», значит, так и есть! Надо верить людям...

Оля тихо, по-кошачьи пробралась к мужчинам и, застыв в дверном проёме кухни, слушала Ванины излияния. Если её отца они убаюкивали, то её, наоборот, приводили в бешенство...

— А ведь ты Алсушке то же самое говорил, Иван! — внезапно вклинилась Ольга в мужской разговор ушатом холодной воды. — На сколько у вас, кобелей, батареек хватает? На год? Или на один раз — ствол разрядить?

Собственно, Ольга пошла на кухню с заботой об Имбирёве, посмотреть, не напоит ли его там папа секретными запасами алкоголя... Но, наслушавшись Ваниных бредней, забыла о благородной цели защитить друга детства от зелёного змия в папином лице.

— Оля... — Иван побледнел. — Я просто говорил твоему отцу...

— Да слышала я, чего ты ему тут заливал!

— Оля, подслушивать нехорошо! — совсем уж не к месту сморализировал Анатолий Эдуардович.

— А женатым мужикам ходить с пельмешками по бабам хорошо? — бесилась Ольга. — Всё, Ваня, слушала я тебя, слушала, однако всему есть предел... Пожрал свои пельмени, давай, вали!

— Оля!!!

— Вали, я сказала, нечего мне отца спаивать, ему ещё завтра на собеседование идти по поводу трудоустройства!

— Я не могу уйти... — пробормотал Имбирёв.

— Что, ноги с пьянки отнялись?! — шипела яростной пумой Туманова.

— Оля, я заболел... У меня сильный жар и озноб... Я никуда от тебя не дойду...

\*\*\*

Градусник показал «38,9». Пылающего Имбирёва положили на мягком раскладном диване в той же самой зале, предварительно сложив там стол. Он постоянно бормотал про «доставленные неудобства», «неловкость», а ему отвечали, что «это ничего» и «здоровье прежде всего».

Втайне папа и мама Тумановы, запуганные новой концлагерной жизнью в новой России, даже радовались, что всё так получилось: богатенький буратинка покушал у них пельмешков, солёной капусты, маринадов, попил водочки, а теперь лежит, укутанный пледами, на их диван-кровати, натужно кашляет и уходить не в силах. А может, оно и к лучшему?!

С утра сухой и трескучий кашель Имбирёва разбудил Тумановых раньше будильника. Оба родителя поинтересовались у дочери: не лучше ли им остаться? Маме идти на работу, на которой всё равно семь месяцев зарплату не платят... Папе — на собеседование, итог которого вилами по воде писан... Может, остаться с «олигархом»? Чего поднести-подать...

— Идите, я сама справлюсь! — выгоняла их дочь. И они синхронно поду-

мали: наверное, и так тоже лучше. Дело молодое, пусть вдвоём побудут... Зачем им старики в доме? Пусть поговорят, сблизятся...

И ушли.

С их уходом Имбирёву сразу стало заметно лучше.

— Дай, я тебе температуру померяю! — предложила Оля.

— Не надо, нет у меня температуры... — хорохорился он.

— А вчера была под 39!

— И вчера не было... Чё ты в школе не училась, что ли?! Очень просто, если на уроки не хочешь, берёшь градусник и головкой его по ткани быстро-быстро трёшь... Так не только жар, так «охонь» добыть можно!

— Да ты чё, симулировал, что ли?! — никак не могла поверить его очередному коварству Туманова. — Ты, подлец, всю ночь кашлял, спать мне не давал...

— А кашель — это завсегда, если кубинскую большую сигару на гильотинке не резать, а целиком высосать... Крепка советка власть!

— А ты всё-таки больной, Иван! — скрестила Ольга тонкие руки на груди. — Только не простудой, а на голову...

— Есть васейко... — хихикнул он, и ей стало страшно быть с ним один на один в замкнутом пространстве.

— Чего ты добиваешься, Вань?

— Вернись ко мне!

— А если нет?

— Тогда я прямо тут у тебя на диванчике окочурюсь... Если я умею симулировать температуру и кашель, то и смерть изображу лучше Станиславского...

Она заплакала.

Он был неумолим.

— Господи! — кричала она пожелтевшему, давно не беленому потолку родительской квартиры. — Ну что у меня за судьба такая?! Рок это мой, что ли, психов любить?! Треф, покойничек, на всю голову отмороженный был, теперь эта вот гиена...

«Мнимый больной» резво вскочил и забегал по комнате, явно подтверждая любительский Олин диагноз. Глаза его сверкали, как будто туда стоваттные лампочки вставили:

— Что ты сейчас сказала?! Повтори!!!

— Что слышал, то и сказала... Что ты гиена, которая за тигром подьедает траченное...

— Геенну огненную я переживу, мы все в ней живем! — ликовал придурок-маслоторговец. — Ты повтори, что ты октавой раньше сказала!

— Не обязана я тебе повторы крутить! — злилась Туманова, закусив губу. Черт, сорвётся же такое с языка... Потому что шакал этот довёл, себя уже не контролирует...

— Так что, белый флаг выбрасывать?

— Мне ночью, — уже спокойнее сказала Ольга, — пока ты там своим никотином громко харкал, Треф приснился... Страшный такой, в земле весь вымазанный, висок проломлен и в крови... И говорит мне: «Будь, Оленёнок, с Иваном». Я его спрашиваю: «А ты, Тёма, меня больше не любишь?». Он отвечает: «Потому и говорю так, что люблю... Мне там у вас на Земле тебя больше некому доверить... А Ваня он наш, он надёжный, и он тебя вперёд себя пожалеет...».

— Спасибо, Артём! — очень искренне и серьёзно поднял глаза к потолку Имбирёв.

— Сговорились, сволочь казачья?! — почти с ненавистью довесила Туманова. — Я вам предмет, что ли, по наследству передавать?! Тёлка я вам яловая, чтобы завещания на меня писать?!

\* \* \*

Землекопа можно заставить работать из-под палки. Но если на тебя работает умник, творческая личность, сочинитель уникальных комбинаций — то под палкой его работа будет некачественной. Гурам-Клыч, проживший полвека очень непростой и жестокой жизни, хлебнувший мудрости и в тюрьме и на воле, — хорошо это понимал.

Гурам-Клыч выиграл очень много и очень крупно. То ли Бог благоволил к Имбирёву, компенсируя всеобщую нелюбовь людей к этому несчастному, то ли ещё что — но колебания золота и серебра были в «отчетный период» необычайно сильными.

Машина, придуманная Иваном для обогащения биржевого игрока, работала с перегрузом, прибыль черпала, что называется, экскаваторным ковшом...

Гурам-Клыч ничего не обещал маслоторговцу, и тот ничего у Смотрящего не кланчил. Они разошлись вполне довольные друг другом. И потому Гурам-Клыч мог вообще ничего не платить Имбирёву.

Но тогда — без премиальных — умник не напрягал бы мозгов, а Смотрящий хотел, чтобы мозги карманного финансиста работали на полную.

Поэтому в его полуседой голове матерого волка родился другой план: заплатить Имбирёву по совести. Выделить стандартный комиссионный процент, и заплатить.

Но Гурам-Клыч и этот вариант отверг. Он придумал заплатить умнику-консультанту авансом, так, чтобы тот землю рыл и копытами бил в следующий раз, когда Смотрящий придёт проконсультироваться.

«Если он без интересу такой план смастрячил, — думал Гурам, — то какой же он, интерес почуя, смастрячит?!».

В ходе этих непростых и диалектических раздумий появился на свет чемоданчик типа кейс-дипломат, с суммой, значительно превышающей даже щедрое комиссионное вознаграждение.

Его повёз в офис к Имбирёву сам Гурам-Клыч в сопровождении трёх совершенно inferнального вида отмороzków...

Это заставило Ольгу Туманову поволноваться. Дело в том, что Клыч был записан на приём заранее, но один. А вошли к Ивану Сергеевичу четверо синих от наколок особей бесовского пола...

Оля, пропустив их и закрыв за ними дверь, ходила по приёмной взволнованно, прикинула ушком к косяку, пыталась услышать, что там? Было вроде бы тихо... А если они Ване рот скотчем заклеили?! Не тем скотчем (виски), которым он в былые года сам себе рот клеил, а липкой лентой... И бьют его там, незнамо за какие проколидзе?!

Два раза поглубже вдохнув в себя офисный пыльный воздух, решительно откинув спадавшие на лицо пряди прямых светлых волос, Ольга легким пинком модельной туфельки откинула дверь и вошла в кабинет босса.

— Иван, всё в порядке? Моя помощь не требуется?!

У бедра её смотрел на гостей единственной черной глазницей всё тот же трофейный «люгер-бэби»...

Пять пар изумленных зрачков разного цвета обернулись на Туманову. Они сидели мирком да ладком и на приставном столике пересчитывали толстые пачки американских баксов.

— Олечка, спасибо! — первым нашелся Имбирёв. — Ты пока вскипяти нам чайку... Очень будет кстати...

— Блюдет тебя твоя овчарка... — похвалил впечатлённый Гурам-Клыч. — У такой на дороге не стой... В моей бригаде бычара один — раньше погоняли Лютером, а после твоей блондиочки прилипло к нему Сифилитик и не отмоешь... Это тот, которому она нос отстрелить грозила...

Имбирёв нервно рассмеялся.

— Вот в этих пачулях и лавэндах, Иван Сергеевич, твоя доля от машины денег... Заточковал ты штабеля, что надо, а у Гурама как? Гурам своих не обижает! Пока не предали... Если ты Клычу-Гураму сделал доброе дело — оно тебе хоть по воде, а вернётся... Короче, Жмыхарь, тут лям баксоты, прими их от благодарной братвы вместе с погонялом своим новым...

— Жмыхарь? — улыбнулся Имбирёв.

— Ну, прилипло так, ты же маслом торгуешь, братва — она в корень смотрит... Если услышишь в приличном лагерном обществе, что черти про Жмыхаря трут, — так знай: это про тебя! И радуйся, что не Сифилитик, — уры погоняла не смываются даже с мылом...

Дальше после этого — если честно — странноватого разговора они пили внесённый Ольгой чай, как ни в чем не бывало. И Гурам-Клыч что-то опять выяснял, про банковские переводы РЕПО и про облигации ГКО...

\*\*\*

Перед окончанием рабочего дня Имбирёв нагло подошел к Ольгиному столу и положил на него пухлую пачку стодолларовых купюр из подарка Гурама-Клыча.

— Вань, надоел! Убери!

— Это не подачка! — говорил он тоном, которым уже научился бороться с её своеволием. — Ты работала. Ты рисковала. Ты очень вовремя с «бэбиком» у бедра появилась... В общем, если не хочешь делать меня вором, — прими без всяких отмазок!

— Я чего-то не знаю?! — поинтересовался толкшийся тут же, поблизости, с непонятной целью Владик Вещаев.

— Не знаешь, — криво ухмыльнулся Имбирёв. Ольга уже приложила к губам палец, глазами умоляя не болтать, но Иван от природы, от рождения, всем существом своим — был, увы, болтун и хвастун.

— Да, Владик, да... Есть такой Гурам-Клыч, если ты в курсах деловой среды... Я его консультирую, а он мне комиссионных ажник лимон баксов притаранил...

«Вот трепло, — тоскливо подумала Туманова. — Ну кто его за язык тянул?».

— Это прекрасно, Иван... — в Вещаеве боролись изумление и деловая хватка. — Так, значит, моих четыреста тысяч?!

— С какой это стати? — нахмурился Имбирёв.

— Да вот с такой, что я компаньон, что у меня 40% в деле и в прибыли фирмы... Если помнишь, мы на мои сбережения всё мутить тут начинали...

— Ну, дело в том, Владик, что к фирме «Масло Жизни» эти деньги отношения не имеют... Это мои личные деньги, ну и вот ещё Ольги Анатольевны, которая дважды очень эффектно проявила себя в этом деле...

— Но они принесены на фирму, переданы в кабинете генерального директора фирмы... — пошел похожими на трупные пятнами Владик. — В офисе, который был снят и отремонтирован на мои деньги!

— Если ты хочешь, Владик, чтобы я выкупил у тебя твою долю, то я как

раз сейчас располагаю для этого хорошими деньгами... Ты только скажи, Владик... В себе не держи... У меня на роль компаньона кандидатура имеется...

Иван томно посмотрел на Олю, а она показала ему язык.

Вещаев стоял, как оплётанный, леопардовый от пунцовых и бледно-зелёных пятен на физиономии. Но он был деловым человеком и нашел в себе силы кое-как соорудить улыбку. Будто ничего и не бывало!

— Иван, всё путём... Я спросил — ты разъяснил... Ты же меня знаешь, я правильный пацан, на чужой каравай рот не разеваю...

— Забыли! — легкомысленно махнул рукой Имбирёв.

А Вещаев, конечно же, ничего не забыл...

\* \* \*

Девяностые — есть девяностые. В них нет ничего устойчивого. Единожды начавшись, поток инвалюты от Гурама-Клыча так же и прервался — по вполне уважительной причине. Гурама завалили. И снова — как в случае с кооператорами Чахладзе — не последним аргументом для заказчиков киллера были резко возросшие доходы авторитета.

Имбирёв не зря сторонился больших шальных денег, пути к которым открывал желающим на своих консультациях. Он, как экономист, хорошо понимал: существует определённый порог доходов, после которого начинаются проблемы летального свойства...

Мочить торговца постным маслом — много ему чести. А мочилово владельца биржевой машины денег — почти неизбежность...

\* \* \*

— ...Красивая игрушка! — сказал Владик, не удержавшись, чтобы оставить казачью шашку Имбирёва в ножнах. Стал неумело вытаскивать, порезался о лезвие и чертыхнулся...

— Алсунчик, у тебя пластырь есть?

— Давай я сначала так... — предложила Алсу Имбирёва, медленно и чувственно облизывая его палец...

— Не заводь меня! — приобнял её Вещаев. — Дело делать пришли... Где у него черная бухгалтерия?

— В пистолетном отсеке сейфа...

И компаньон, и супруга слишком хорошо знали подноготную Ивана Сергеевича Имбирёва, чтобы нанести ему смертельный удар. Их знания — на фирме и дома — складывались, как пазлы. Вещаев знал, что Имбирёв ведёт двойную бухгалтерию и с её помощью выводит с фирмы «налик» — прибыль наличными. На этом держалось всё разветвлённое меценатство кошевого старшины исчезнувшего, ушедшего в небо, как табор, казачьего батальона...

Естественно, на фирме бумаги этой темы держать нельзя: внезапная проверка, и всё такое...

Имбирёв держал двойную бухгалтерию в домашнем сейфе. Но дома была Алсу Имбирёва, знавшая, где дубликаты ключей...

Стандартный вариант чёрной обналички — чаще всего, перекрёстное одалживание. Ты покупаешь у кого-нибудь шило за сто рублей, а он продаёт тебе мыло за сто рублей. По бумагам, вы оба потратили сто рублей, но в жизни — каждый остался при своём. А сумма-то выведена...

План Вещаева и Имбирёвой был прост, как всё гениальное. Это был план униженных и оскорблённых людей.

Нужно взять долговые бумаги Имбирёва, уничтожив при этом их про-

тивовесы, и опротестовать в суде. Суд будет вызывать на заседания Имбирёва — но повестки в суд будет дома получать жена Имбирёва («пока он с сучкой крашеной развлекается» — мстительно добавляла в этом месте Алсу).

Суд, после двух неявок Имбирёва, примет обыденное в таких случаях решение: слушать дело без ответчика. На фирму Имбирёва наложат взыскание. Дальше Вещаев и Имбирёва явятся в офис с судебными исполнителями, участковым милиционером и сотрудниками ЧОПа, возьмут все помещения под свой контроль, а Имбирёва («и блондинку разье..ную» — добавляла в этом месте Алсу) попросту выгонят вон. Внезапность — залог успеха. В сейфе Ивана Сергеевича — чемоданчик с миллионом долларов. Чемоданчик, подло сокрытый от жены, с суммой, которой он низко отказался поделиться с компаньоном....

Если Имбирёв не отдаст ключей от сейфа — в присутствии судебных приставов и участкового можно будет вскрыть сейф дрелью. Это займет от силы полчаса...

Главная задача — добраться до гурамовского кейса. Даже если потом Имбирёв каким-то образом опротестует судебное решение, повернёт вспять рейдерский захват — на это у него уйдёт несколько дней. Или даже месяцев... А дрянной сейфик в кабинете директора вскрывается за полчаса...

\* \* \*

...Поняв, что перед ним не бандиты, а самые, что ни на есть, полномочные представители закона, Имбирёв смирился с неизбежным и отдал участковому свой «шарп-шутер».

— Откуда у вас ствол, Иван Сергеевич? — поинтересовался участковый. — Незарегистрированный...

— Нашел на улице. Собирался отнести в милицию сдать, — мрачно отвился Имбирёв.

— Да? Правда?!

— Правда. В моём портфеле, вместе со стволом — заявление в участок...

Участковый проверил: действительно, в портфеле лежало заявление, напечатанное на матричном принтере, по всей форме: «Я, Имбирёв Иван Сергеевич, довожу до вашего сведения, что нашёл огнестрельное оружие, выброшенное, очевидно, криминальным элементом, на углу улиц...» и так далее.

Участковый хотел придаться к дате заявления. Но дата была сегодняшней. Имбирёв был осторожным. Он каждый вечер перепечатывал заявление, прилагаемое к пистолету, и каждый вечер проставлял новую дату...

— Нам необходимо вскрыть сейф директора... По требованию новых правообладателей... — сообщил скучным канцелярским голосом судебный исполнитель. — Ключи дадите? Или скажете, что потеряли...

Дрель уже была у Владика Вещаева наготове...

— Зачем мне их терять? — удивился Имбирёв. Вынул из кармана связку ключей на брелоке в виде советского герба, отстегнул нужный ключ.

Сейф открыли. В сейфе лежало много разных бумаг и черный кейс-дипломат. В присутствии представителей власти чемоданчик открыли — и на людей глянули плотные пачки американской зелени...

— Ты смотри, какое богатство! — присвистнул судебный исполнитель. — А копеечных долгов заплатить не хотели, Иван Сергеевич! Вот не были бы вы таким жадиной — не случилась бы с вами такая беда...

— Жадность — отвратительный порок! — с готовностью согласился Имбирёв.

— У фирмы, согласно решению суда, новые владельцы... — огласил судебный исполнитель ожидаемый вердикт. — Что делать с имуществом фирмы — им решать... Вас же, Иван Сергеевич, прошу покинуть помещение... Впрочем, если апелляционный суд сочтет, что вы вправе вернуться, я вас сам под ручку сюда введу...

— А смысл?! — улыбался Имбирёв растерянной улыбкой идиота. — Думаете, тут что-нибудь из мебели останется, когда вы меня под ручку введёте?

— Если очень поторопитесь, Иван Сергеевич, и судья покладистый попадётся, — возможно, останется ламинат на полу и электропроводка...

— Молодчина! — похлопал Имбирёв по плечу человека в чёрной форме. — Люблю людей с чувством юмора...

Алсу не присутствовала при этой драматической сцене. Отчасти потому, что ей было немного стыдно смотреть в глаза мужу, отчасти же потому, что она наслаждалась расправой над удачливой соперницей:

— Ровно час тебе на сборы, шлюха! — рычала азиатская пантера. — И чтобы духу твоего тут не было! Ручную кладь покажешь охраннику, чтобы лишнего с собой не прихватила...

— Алсу, а ты сильно изменилась... — усмехнулась Туманова.

— Я для тебя, сучка, Алсу Тимерьяновна, и то пока ты вон не вышла... А потом забудь моё имя, как страшный сон...

— Знаете, Алсу Тимерьяновна, — не удержалась Оля, чтобы не схулиганничать. — А ведь не зря я тогда ваш свадебный букет невесты поймала... Так вот они и переходят из рук в руки...

\* \* \*

Они вышли в подёрнутую морозом туманную дымку.

— Ну и что теперь? — спросила Туманова, уже не боясь, а надеясь, что он начнет приставать.

Она плохо понимала такую вещь, как мужская гордость...

— Я вас больше не задерживаю, Ольга Анатольевна, — сказал он чопорно и официально. — Разбегаемся по домам...

Он на пике своего успеха не добился её любви — и теперь не нуждался в её жалости.

— Да-а... — прошипела она со злости. — А ведь ты, Вань, извращенец! Тебя только секретарши заводят, да? Перестала Алсу быть секретаршей — разонравилась, теперь вот я — то же самое...

— Когда у меня появится место для секретаря, я вам, Ольга Анатольевна, сообщу...

— Да не надо, Иван Сергеевич, до того времени я уж и сама как-нибудь устроюсь...

И они разошлись, по-хозячьи надувшись друг на друга...

«Это не должно так кончиться! — сказала себе Ольга, сидя одна-одинёшенька возле разрисованного кристаллами инея окна. — Конечно, он огрызнулся... Он же не альфонс... Настоящий мужчина... Он всё потерял, а ты не вовремя стала к нему клеиться... Надо просто отыскать его и сказать, что была неправа... Тут ведь явно я сама виновата... Гордыньки поменьше, Ольга Анатольевна, гордыньки, привыкли, что вас мужчины до небес возносят, и возгордились чрезмерно... А если подумать — то и смотреть не на что...».

«Да, — кокетничала она перед зеркалом. — Не на что смотреть...».

И вглядывалась с внутренним торжеством в своё отражение, поправляла длинные прямые пряди то так, то эдак, то за уши, то вперёд, на скулы...

«И чего они только во мне нашли? — лукавила с внутренним замиранием. — Это всё с Трефа, покойничка, началось... А этот за Трефом обезьянничал... А так — самая заурядная внешность среднерусской полосы... Смазливенькая крестьяночка... Ну, конечно, в этом разлёте бровей, в этой тонкой косточке носа что-то можно найти, если присмотреться... Но уж не так, чтобы с ума сходить, как они... Н-да...».

«Ну и потом, — лгала себе Ольга, — Треф заразил меня венерическим путём благородством аристократии... Как я могу бросить Ванечку, который, наверняка, сейчас раскодировался и бухает с горя?! Ведь без меня он из запоя не выйдет...».

В итоге Ольга взяла папину машину и поехала искать Имбирёва...

\* \* \*

...Она опустила окошко папиной старенькой «Нивы» и некоторое время умилённо наблюдала за своим любимым торгашом. Она думала, что Имбирёв сорвётся в запой, и его придётся откачивать реанимационной бригадой...

А он — потерявший и фирму, и деньги, и статус — с присущей ему хитринкой стоял в кружке траченных, бедновато одетых мужиков и втирал, как только он один умеет:

— Ну, мужики, вот это китайские древесные грибы... Они для мужского здоровья лучше чем женьшень... Сегодня у меня берём со скидкой, завтра и без скидки ко мне прибежите...

— А ты вот скажи, оне мужскую силу поднимают? — спрашивал какой-то лысый импотент.

— Естественно! — тут же нашёлся Имбирёв. — А ты чё думаешь, братан, у китайцев такое перенаселение? За миллиард перевалили... Это, знаешь, как мужскую силу поднимает...

— А, была не была, отвесь четыреста грамм на пробу... — махал лысый рукой, изображая снисходительное равнодушие.

Имбирёв орудовал безменом, отвешивал, быстро и умело пересчитывал обтруханные денежные купюры своих неприятельных покупателей.

Ольга вышла из машины, протолкнулась через плотнеющий на глазах кружок покупателей китайских древесных грибов. Что ни говори, дело своё этот пройдоха знает! Он и снег зимой в Антарктиду продаст самовывозом!

— Сам-то свои грибы попробовал, по части мужской силы? — спросила Туманова у Ивана насмешливо.

Он смотрел больными глазами побитой собаки, но отвечал, как и положено продавцу на рынке, бодро, задорно:

— Мне незачем! Мне не на ком проверять!

— Ой ли? — игриво прищурилась Ольга. — Ты, барыга, сегодня где ночуешь?

— Пока выбираю между маминой квартирой и вокзалом, скорее всего, выберу вокзал...

— А у меня не хочешь?

Он поперхнулся, глянул бешено, сразу со всеми оттенками чувств.

— Что?!

— Поехали, говорю, Ваня, ко мне ночевать...



— А с чего это ты так переменяла свои взгляды? — пытался он шутить, но видно было, как задрожали его руки.

— Как же мне, Ванюша, не переменить их? Я ведь девочка практичная... Раньше ты был обременен фирмой, деньгами, кому такой нужен? Зато теперь бомжара — как таким редким случаем не воспользоваться?!

— Нет, ты серьёзно?!

— Ваня, если ты откажешься, ты меня очень огорчишь... Я уже сильно на тебя настроилась...

...Всю дорогу он вёл себя, как буйнопомешанный, открыл на всю ивановскую боковое окно «Нивы», высунулся туда на полкорпуса, выбросил флагом развеваться зажатый в кулаке шарф и орал совершенно несурзные гимны:

*...Судьи будут к нам строги —  
Но в конце концов — поверьте,  
Скажут нам, что мы — боги,  
Скажут — «молодцы, черти!».*

— Это ещё что за гимн приватизаторов? — хохоча за рулем, спрашивала Туманова. Она была благодарна судьбе: уже приготовилась его утешать, сопли ему утирать — вместо этого он её смешил!

*...Мы верим твёрдо в героев спорта,  
Нам победа как воздух нужна!  
Мы хотим всем рекордам —  
Наши звонкие дать имена...*

— Скажи любому нормальному человеку, что это восторг потерявшего крутую фирму человека, — удивится... — пожимала плечами Ольга.

— Пофиг мне на фирму! — ликовал совершенно свихнувшийся Имбирёв.

— Мне, думаешь, фирма нужна? Мне ты, Оленёнок, нужна!!!

Оле было приятно. Никакая женщина не сможет пройти равнодушной мимо такой оценки!

На одной чаше весов — её благосклонность, а на другой — успешная фирма и миллион долларов... Её чаша не просто перевесила: она выбросила содержимое другой чаши так, что оно улетело, словно с катапульты, и куда-то далеко, так, что отсюда уже и не видно...

Конечно, симпатия Тумановой к Ивану росла постепенно, от случая к случаю. Но если брать тот момент, когда она полностью и безоговорочно влюбилась в Имбирёва, — то это момент его нелепой песни, выкрикиваемой из окна «Нивы»...

Теперь они были квиты, теперь «1:1». У него навеки в памяти — она на коне с гитарой, а у неё такой же отпечаток — он, орущий проезжающим встречным водителям марш героев спорта...

\* \* \*

...Дома Оля огорошила совсем оторопевших родителей, подтолкнув к ним Имбирёва вперёд себя. Думала, что Иван что-нибудь скажет. Но Иван ничего не говорил — только лыбился, как наркоман на пике кайфа.

Оле пришлось брать дело в свои руки. Опуская ненужные подробности, она сообщила сухо и казённо самую суть:

— Иван разводится со своей мегерой... Так, Иван?

— А? — улыбался он, оглохнув от переполнявших его чувств. — Что?

— Тебя опять выгнать? — пригрозила она.

— Да, да... — поспешно подтвердил Иван.

— И сделал мне предложение... Так ведь, Иван?

— Какое?

— Ты идиот?!

— Да, сделал... Конечно...

Зависла немая сцена. Никто не знал, что говорить дальше.

— Ну, чего стоим, кого ждём? — рассвирепела Ольга. — Повторного приглашения?!

— А чего делать-то? — недоумевал папа.

— Иди, икону бабушкину неси, благословляйте по обычаю...

Заполошные обалделые родители побежали за старой иконой, приволокли её, попутно отдувая от пыли. В момент благословения Оля просто с достоинством стояла на месте. А Иван бухнулся на колени и попытался поцеловать руку Олиной маме.

«Вот дурак!» — подумала Ольга.

В момент семейного торжества, сопровождавшегося метанием на стол всякой подручной снеди, Оля боялась одного: что болтун Иван раскроет новые обстоятельства, и мнение о нём родителей переменится. Не стоит их осуждать — они ведь в первую очередь думают о счастье дочери.

А тут... Одно дело, выдавать дочь за почти состоявшегося олигарха. И совсем другое — за бомжа, собиравшегося ночевать на вокзале...

...Чего Оля боялась, то и случилось.

Уташив Анатолия Эдуардовича Туманова на перекур, дымя в форточку своей сигарой, Имбирёв радостно, как анекдот, рассказал ему о рейдерском захвате и утрате бренда.

Оля попыталась вмешаться в ситуацию, но было уже слишком поздно. С тоской капризная дочь видела, как меняется лицо отца...

— Они думают, что разорили меня... — хихикал Иван Сергеевич. — Они не понимают, что Ольга для меня дороже ста таких фирмочек, дороже самой жизни!

Лицо старшего Туманова сминалось, как листок бумаги, смятением. На одной половине этого лица было написано отчетливо — «Ничего, как-нибудь выкрутятся, главное, что он её любит». А на другой — «Что же теперь с Оленькой будет?!».

— Ваня, — задушевно спросил Анатолий Эдуардович (до этого рассказа он величал Имбирёва только Иваном, или даже Иваном Сергеевичем), — ну, а как же вы жить-то теперь будете?

«Не на мою ли шею сядете?» — подразумевал тревожный вопрос.

— Видите ли, Анатолий Эдуардович, не стоит преувеличивать моих финансовых потерь... — щебетал Имбирёв. — На самом деле я ничего не потерял... Фирма — она у меня вот здесь, — Иван выразительно постучал себя по лбу. — А что касается сбережений, то они лежат на металлическом депозите в «Сбербанке» в золоте, серебре, палладии и...

Грохот большой фаянсовой супницы с пельменями в бульоне не дал Имбирёву закончить фразу. Ольга, слушавшая его щебет, выронила супницу из рук, по полу кухни растеклось варево, рассыпались серыми мышами пельмешки...

Иван немного насмешливо посмотрел на Туманову, чьё личико отражало сразу все оттенки сильных эмоций.

— Анатолий Эдуардович, ну вы же меня знаете! Как я, казачий кошевой старшина, могу хранить сбережения в долларах, в валюте врага?! Естественно, я перевёл их в драгметаллы и разместил на депозит... И у меня в кармане бумажка, эквивалентная миллиону долларов!

Иван для верности достал из кармана и помахал депозитным договором с банком.

— Ваня, — и растерянно, и угрожающе спросила Ольга. — А что тогда было в чемоданчике в твоём сейфе?

— Ну, натурально... Цветные ксерокопии долларовых купюр... Я ведь не первый день в бизнесе и догадывался, что за таким куском кто-нибудь да явится... Не те, так эти, не эти, так те... Нашлёпал на цветном ксероксе копий, упаковал... Думаю — если явятся, скандалов закатывать не буду, припрут — отдам...

— Умно... — поразился Олин отец.

— Вряд ли, Анатолий Эдуардович, грабитель, угрожающий револьвером, в другой руке будет иметь банковский дефектоскоп для осмотра купюр... Я полагал — хоть я, конечно, и не психолог, что грабитель удовлетворится самым грубым подобием денег в чемоданчике, и снимет ко мне все свои вопросы... Да я и в пиджаке всегда ношу липовый бумажник, набитый зеленью — если на улице гоп-стоп остановит, и им приятно и мне не накладно...

(Здесь нужно бегло, на полях сообщить, что через некоторое время предприниматель Владислав Вещаяев был арестован за попытку сбыть крупную партию поддельной иностранной валюты...)

— То-то я смотрю, ты не особо горем убитый! — сузила голубые глаза Ольга. — А я-то, дура, думала, что... Что я тебе дороже...

— Безусловно, дороже! — испугался Иван её взгляда и тона. — Даже и не думай! Если нужно это доказать, что ты мне важнее всех бумажек, то вот...

С грациозной лёгкостью Иван выбросил в раскрытую форточку депозитный договор...

— Иван!!! — она не знала — то ли броситься к этому идиоту и хорошенько отделать его по щекам, то ли накинуть пуховичок и бежать искать выброшенный, унесенный ветром миллион долларов в золотом эквиваленте...

...В итоге улетевшую бумажку искали всей семьёй. Мама-Туманова в голос плакала, и на чем свет кляла глупость своей дочери:

— Довела человека, дура! До чего довела человека! погоди, если не найдём бумагу — я тебя по старой памяти до крови ремнём излущу!!!

Папа-Туманов по-мужски держался, крепился. Ему в глубине души было всё же приятно, что за его дочь с такой лёгкостью в форточку вылетают миллионы...

— Вы так сильно не переживайте! — улыбнулся Имбирёв, выдержав воспитательную паузу. — В банке отношения по паспорту... А договор этот — уведомительного характера... Типа памятки, чтобы быстрее на счет сослаться... Без паспорта он недействителен... А паспорт без него — действует...

— То есть ты ничего не потерял?!

— Ну, как сказать... Я потерял благосклонность банковского клерка, которому придётся возиться с одним паспортом, без памятки... Но, думаю, это я переживу...

Оля сжала острые маленькие кулачки:

— Вот теперь я начинаю понимать, каково Алсушке было жить с таким... с таким...

Оля налетела на Имбирёва хищной птицей и щедро надавала ему тума-

ков. Они оба упали в сугроб и покатались под откос по белому, свежему куринскому снегу — прямо к детским грибочкам игровой площадки...

Папа с мамой Тумановы, ведомые жизненной опытностью, ретировались, оставив молодых одних.

Тумаки быстро перешли в объятия, горячие поцелуи и страстный шёпот, а такие вещи не любят свидетелей, даже если происходят во дворе жилого дома...

\* \* \*

— Что сказали на УЗИ?

— Что это будет мальчик... Я надеюсь, такой же умный, как ты, Иван...

— А я надеюсь, что такой же красивый, как ты, Оля...

— То есть ты хочешь сказать, что я не умная?

— Ну, ты же намекнула, что я некрасивый...

— Иди-ка сюда, извращенец, и я покажу тебе всё, что думаю о твоей внешности...

— Оля, беременным нельзя!

— Когда мы с тобой следовали правилам, напомним?

## ЭПИЛОГ

В новой квартире новой семьи Имбирёвых ремонт шёл ни шатко, ни валко. Иван Сергеевич был туговат на личные расходы, и ничего уж тут не попишешь: таков характер...

Спали Иван с Ольгой на временном раскладном диване, посреди строительного инвентаря и приспособлений малой механизации, типа грубо сколоченных малярных козел...

Правда всё чаще бывало так: спит одна Ольга, а муж — смотрит в потолок остекленевшими глазами, постоянно прокручивая что-то в воспоминаниях...

Однажды Ольге Имбирёвой это надоело. Она подала к завтраку, кроме яичницы, заряженный под завязку «люгер-беби» и мрачновато предложила:

— Вань, если ты спать не будешь, ты ноги протянешь... Будь мужиком, иди и сделай, что считаешь долгом... Надо — значит надо... Иди к ней и всё реши для себя... Мне надоели твои сопли... Определись уже однажды — ты приват-доцент или казак...

Он начал, как обычно юлить и отпираться, но Ольга — не Алсу. Она его насквозь видела, как рентген.

— Хватит врать! Бери ствол и дуй к ней! Прямо сегодня...

Имбирёв взял маленький, казавшийся сувенирной зажигалкой «люгер», и пошел к Алсу Имбирёвой.

Застал её во двореике, среди мальв и акаций, на скамеечке — а вокруг бегала дочка, Лилия Ивановна Имбирёва... «Как подросла!» — невольно содрогнулся Иван Сергеевич.

Алсу, увидев бывшего мужа, сжалась и побледнела. Она решила, что он убивать её пришел. Тем более, когда он достал «люгер» и... вручил его прямо в руку оторопевшей Алсу.

Потом присел рядом с ней на краешек скамейки и достал сложенный вчетверо лист офисной бумаги. От руки: «Я, Иван Сергеевич Имбирёв, ухо-

жу из жизни добровольно, в смерти моей прошу никого не винить...» и т.п.

Мысли смешались и спутались в голове у Алсу. Но возобладала почему-то нелепейшая ревнивая мыслишка — мол, это её воляна, её...

— Мы решим всё сегодня и навсегда, Алсу! — железным голосом сказал Имбирёв, казак, а не приват-доцент. — Или ты выстрелишь мне в голову, за всё то зло, которое я причинил тебе, или ты меня простишь... Третьего не будет, Алсушка... Хочешь карать — карай, это твоё право... Но...

Казак дрогнул, чуть отступил, и вылез торгаш, гешефтмахер:

— ...Но живой я полезнее... У Лялочки отец будет не последний человек... У тебя алименты, и сверх алиментов будет, поверь, я обещаю...

Совершенно потрясённая Алсу осторожно, стволом вниз, вставила «люгер» между брусьев скамейки. Если случайно, не дай Бог, выстрелит — то в землю...

По непонятной причине гнусный цирк, который устроил Имбирёв в это утро на пустынной детской площадке, — снял с её души большой и черный камень. Конечно, ясно же, она не будет в него стрелять. Она же не сумасшедшая, как он... Тем не менее — приятно. «Признал ошибки, разоружился перед партией», как говорили на партсобраниях...

— Я думала, ты меня проклинаешь! — заговорила уже не Алсу, а совесть Алсу. — Я в последний год наворотила такого... Самой страшно... Сотрудники фирмы за глаза зовут меня «чёрной вдовой»... Мужа выперла, любовник сел за сбыт фальшивой валюты... И поди объясни кому, что это ты его подставил, а не я...

— Алсу, даже если ты сделала что-то неправильно — не мне тебя судить. Я — из поколения мужиков, продриставших страну... Мы ничего, кроме расстрельной стенки, не заслужили... Мы и живем-то только потому, что надемся на шанс что-то исправить... Нам ли, дристунам и дезертирам, судить наших женщин, слабый пол?! Да что бы вы ни сделали, мужчины моего поколения уже... достойны, так сказать...

— Ты опять говоришь слова, которых я никогда не понимала...

— И за это прости... Если можешь...

— Ну ладно, а теперь слушай, как это выглядит с моей стороны, — напряглась она, впрягаясь в парад благородств. — Не у тебя одного есть совесть, Иван, хоть ты всегда придерживался противоположного мнения... И очень этим обижал... Но счас не об этом... Вот как смотрится со стороны: ушлая деревенская девчонка, попав в престижный город, захотела в нём остаться навсегда. Для этой цели она нашла себе городского парня, с хорошим жильём, окрутила его, женила на себе, для верности ещё и родив... Когда у неё появилась своя городская квартира — муж стал ей больше не нужен, и она его выперла... И теперь живет в квартире, — Алсу слегка надула губки, вспомнив старую обиду. — Не ахти квартирка, конечно... хрущоба... Но в отдельной городской квартире... Я не говорю, Иван, что всё так было. Но так выглядит — формально, юридически...

— Ты живёшь в России, Алсу, и давно должна бы уже понимать, что здесь никого не интересует закон... формально, юридически... Я же не за согласием на развод к тебе пришел, я любую бумагу себе куплю, а надо будет — сам распечатаю... Весь полиграфкомбинат у меня давно в доле...

— Опять хвастаешься?

— Нет. Я пришел к тебе сказать, что не могу сам распоряжаться своей жизнью, и когда я раньше сам собой распоряжался — был неправ... Ты моя жена и мать моего ребёнка, и только ты можешь меня отпустить. Или при-

стрелить, как бешеную собаку. Это решать только тебе. Она, кстати, в курсе, ты, наверное, поняла, что «машинка» — её...

— Да уж поняла! — Алсу нехорошо, по-волчьи оскалилась. Рука её невольно коснулась ребристой рукояти вставленного между брусками пистолета. «А может и правда? Кончить гада прямо здесь, по законам Степи, и «люгер» ему в руку вложить... Записка-отмазка в кармане имеется... Кончить его — на глазах двухлетней девочки, своей и его дочери?!».

Алсу отдернула руку от «люгера», как от раскалённой кастрюли. Они в России. Здесь нет ни конституций, ни кодексов, ни законов Гор, ни законов Степи... Здесь только один закон — согласие с высшим Духом. А для согласия с высшим Духом, творцом видимого всего и невидимого, нужно признать: ты была плохой женой и плохой домохозяйкой, ты донимала его — и одновременно не умела его понять... Он — тоже, но сейчас не о нём...

Конечно, всё было не так, как выглядит формально, юридически. Хотя был и расчет зависнуть в мегаполисе, и страх возвращения в деревню... Но... Когда ты его встретила — он казался тебе добрым волшебником... Правда, потом он стал казаться злым колдуном, но сперва... Драма несозданности друг для друга — необъяснима и неразрешима: «Небу отмщение и Небо воздаст».

Оба бывших супруга сидели на приколе, словно козочки на веревочке. Вокруг колышка — воткнутого в скамью их подсудимости — «ствола». Ствола миролюбивого, в землю... «Люгера» — той, третьей «лишней»...

Человек — такая сложная штука, и в нём столько всего понамешано... Была алчность? — Была. Был хитрый расчет «выскочить за городского»? — И он был. И подлость была — но где её грань со вполне оправданной и заслуженной ревностью?

Но однако и этот восторженный взгляд молоденькой девчонки на доброго волшебника — тоже был... Потом его пьянки и бл..ство — растоптали, убили её хрупкую первую любовь (а он был у неё первым!), но ведь она была...

— Мне всё время снится одно и то же... — пожаловался Иван, снова требуя его жалеть — как всегда бывало у этого подонка. В его глазах (казак и даже торгош спрятались — вылез приват-доцент) заблестели слезинки: — Помнишь, в наш медовый месяц... На море... Мы ходили на пляж через подземный переход, и там мужик продавал цветы... А когда вечером мы шли обратно, и он почти всё распродал, ты остановилась у букета ромашек... И сказала детским голосом: «Бедные ромашки... их никто не купил, и они завяли»... Цветы пожалела... И тогда я подумал, что ты ангел, и тебя никогда-никогда нельзя обижать...

Алсу склонила голову, словно прислушиваясь... Море, переход, Адлер... Она пыталась вспомнить....

— И вот этой своей клятвы над цветами, которые ты пожалела, я не сдержал, как не сдержал и солдатской присяги... Я кругом виноват... Откуда потом пришло всё остальное — я не знаю, как не знаю, откуда напознала на нас туча ЭрЭфии... Поэтому, Алсушка, моя жизнь — не моя. Решать тебе и только тебе. Мне очень стыдно перед тобой, и поверь...

— Вань... — Алсу заплакала, и дочка испуганно прибежала к ней из песочницы, враждебно глядя на незнакомого дядьку, расстроившего маму. — Ну скажи, чего ты хочешь? Развода — я его тебе дам... Раздела имущества? Давай поделим...

— Я хочу только одного. Чтобы ты меня простила.

— Как это сделать? Бумагу тебе написать?! Кровью подписаться?!

— Очень просто сделать, Алсунчик... Если я уйду сейчас от тебя живым — это будет значить, что всё моё зло, невнимание, вся гнусность моего поведения — будут тобой щедро списаны в архив... И я до конца дней моих буду тебе благодарен за такую щедрость, за подаренную жизнь, и никаких претензий у меня к тебе нет! Но ты, конечно, имеешь право поступить и по-другому. Я к этому готов...

Двухлетняя девочка, вымазанная в песке, обнимавшая материнские колени, с изумлением смотрела, как два взрослых, больших человека плачут навзрыд... Словно маленькие, право слово...

\* \* \*

— Ну, как всё прошло? — спросила Ольга дома, подавая ссутулившемуся, но счастливому Ивану мясную запеканку с обжаренным картофелем. Пожрать он всегда любил — даже в самых драматичных обстоятельствах.

— Полная амнистия! — лыбился Иван, словно идиот. — Даже ромашки прощены...

— Какие ромашки?!

— Увявшие... В Адлере... Неважно...

— А ты ничего не хочешь мне вернуть?

— Чего?

— Ствол мой, «люгер» трэфовский...

— Он так мне понравился... Что ни говори — немецкая техника — это всегда ювелирное произведение!

— И не проси его тебе подарить! — рассердилась Ольга. — Подарок любимого человека передарен быть не может...

— А я... — он уронил вилку, словно впервые понимая что-то. — Тогда... Серёжки из ушей... Все мысли-то были, что сейчас с Ельциным кончим, ничего другое не интересовало... Боже, какая же я свинья...

— Понял, наконец? — улыбнулась Ольга. — Ну, как в народе говорят — лучше поздно, чем никогда... Гони ствол счастливой обладательнице...

Пока он ел — Ольга деловито разобрала маленький парабеллум и снаровисто перезарядила обойму. Вытащила макетные патроны с пробитым капсюлем, и вставила настоящие, боевые.

— Так он что?! Незаряженный что ли был?! — вытянулось лицо Ивана, словно кто-то резиновую маску потянул за макушку и подбородок.

— Конечно... — отмахнулась Ольга Имбирёва. — Мало ли чего этой сучке там бы в голову пришло? Я не могу так рисковать, как ты привык... Хватит с меня одного Трефа...

## ПОСЛЕ НОЛЯ

### Повесть

*...На плече твоём до зари лежать,  
О любви шептать ночью вешнюю,  
Сыновей рожать, дочерей рожать,  
Исполнять своё дело вечное...*

Р.Рождественский, стихи о войне

## САГА О ВТОРОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Намертво вмёрз в эту зиму новорожденный ХХІ век. Ударили на Урале свирепые холода, сковывая ледяными лесками всю зловонную гниль 90-х. Над городом стлалась морозная дымка, припадошный северный ветер рвал макушки сугробов, словно хулиган шапки с прохожих, со злобой и натягом...

Кува замерзала. Более миллиона заложников безумных и чудовищных реформ, сволочённые судьбой в серые панельные коробки новостроек и угрюмые старые сталинки с заиндевевшим, отваливающимся ампиrom лепнин, задыхались от холода и неопределённости...

В квартире семьи Имбирёвых колёсико счётчика электроэнергии крутилось в бешеном темпе, аж повизгивая: возле каждой из прохладных батарей стоял электрообогреватель, и шпарил на полную мощность. Электрическое тепло ложилось на стёкла и откосы окон влажным паром, намораживало мохнатые кристаллы многослойного инея...

Молодая хозяйка этого недавно отремонтированного, а теперь неумолимо разрушающегося под воздействием перепадов тепла и холода жилья, Ольга Анатольевна Имбирёва одной рукой водила из комнаты в комнату только что научившегося ходить сына Олежку, а второй — поддерживала округлившийся в форме яйца живот с новой, пока безымянной девочкой. Переваливалась, как уточка, с ноги на ногу, ощущая в себе беспокойное колыхание новой жизни, и всё время беспокоилась, чтобы первенец, всюду сующий любопытный носик, не обжёгся об тэны...

— Мама, папа... — вынуждена была признать Ольга, несмотря на всю свою любовь к родителю. — Вы засранцы...

Они там сидят у себя дома и «голодуют», не получая ни зарплат, ни пенсий. У папы с советских времён есть машина «Нива», и деньги на бензин ему дочь регулярно выдаёт, подозревая, что папа эти деньги «экономит» — попросту говоря, проедает. Но папа не так уж и стар — мог бы приехать и на трамвае! Он же ездит на трамвае через полгорода в гараж, где у него погреб и залежи по осени-припасихе закупленной картохи! Да и мама — чать, не лежачий больной, а вполне здоровая, хоть, конечно, и пожилая, кто бы спорил, — дама... Они могли бы приехать к дочери, и дочь отдала бы им огромный пакет с продуктами, чтобы они там не околели с голодухи...

Ваня, их зять, — не раз намекал им об этом. А Ольга — так просто открытым текстом говорила! Но упорствуя во грехе чопорной советской скромности,



мама и папа всякий раз выпренно благодарили детей, осыпали их бесконечными благодарностями — непонятно за что, потому что продуктов не брали.

— Мама! — ругалась дочь в телефонную трубку, удерживая первенца на горшке, и мысленно уговаривая Няшку (так она называла плод женского пола у себя в животе) не пинаться. — Я вам мяса дам, сколько скажете, только нужно, чтобы ты или папа приехали за ним!

— Доча, — заводила мама привычную шарманку, — ну, а вы-то с Ваней как?

— Мама, да нормально мы! Сидеть, я сказала (это какунцу, пытающемуся соскользнуть со стульчака на горшке)! Мама, ну у меня целый баран на лоджии заморожен, ну мне куда его?!

— Доча, нам с отцом очень неудобно... Ваня работает, а мы будем таскать, как несуну... Мы уж как-нибудь перебежмся... Ты, главное, сама хорошо кушай, ты теперь за двоих должна кушать...

После долгих уговоров Оля добивалась согласия на «мясную поездку» от матери или отца — но в итоге они всегда... обманывали её! Говорили, что приедут, и не приезжали...

Попросить Ивана отвезти тестю с тещей припасов Ольга стеснялась. И даже не столько того, что продукты утекают из дома, сколько отвлекать его от дел и создавать ему проблемы: ему и без тестя с тещей хлопот хватает!

И вот в итоге беременная женщина с маленьким ребёнком на руках собиралась ехать к родителям с «гуманитарной помощью», хотя труднее всего было это сделать именно ей, в её-то положении...

\*\*\*

Наряду с кусками мороженой баранины в пакет укладывались круглые упаковки деликатесного маргарина «Рама», про который все тогда думали, что он — масло. А Оля думала к тому же, что «Рама» — индийского производства, от имени тамошнего бога, часть продуктовой линейки спредов «Рама, Вишну, Шива»...

Лишь много лет спустя, когда эти банки бесследно пропадут из российской торговли, Ольга узнает, что это — германский маргарин... И что глупое лицо марочной женщины в дурацкой, грибом, шляпе — к Индии не имеет никакого отношения...

Укладывались заботливой дочерью банки свиной тушенки «Великая Китайская стена», которыми ещё доторговывали с 90-х городские гастрономы... Упаковки печенья «Вагон виллз»... Изобилие синтетической и химической дряни, скопившееся в магазинах к 2000-му году — доселе вызывало изумление у людей, привыкших к качественной, полноценной еде былых времен...

— Филе анчоуса? — изумлялась Ольга, глядя на консервную банку. — Господи, да анчоус — это рыбка, величиной с аквариумную... Какое может быть у анчоуса филе?! Скажите ещё — окорок таракана! Не, это на Керенский бульвар, пусть папа с мамой такие деликатесы кушают... Мне нельзя, я беременная...

\*\*\*

По городскому телефону (мобильные только ещё входили в обиход, и единственный мобильник в семье пока был у «делового» мужа) Ольга заказала такси с улицы Воровского на Керенский бульвар.

— Улица Воровская? — без эмоций переспросила диспетчер с замученным голосом.

— Воровского, — поправила Ольга, и про себя подумала, как неудачно

Ваня, с его родом занятий, отоварился жильём именно на такой вот двусмысленной улочке...

Вместо старых добрых жёлтых «Волг» с шашечками вошли в обиход разношерстные личные автомобили: в «такси» нанимали теперь кого попало. К Ольге приехал старичок сомнительного вида на ещё более сомнительных «Жигулях» — «копейке».

Именно тут она, как на грех, задумалась: «А ну, как не доедет?» — и словно бы сглазила старичка-таксиста. Вопреки ожиданиям, его дряхлый драндулет не развалился по дороге; но без приключений не обошлось: на перекрёстке остановившегося на красный свет старичка серьёзно толкнул сумасшедший трамвай, обросший морозной снежной бахромой поверх крошащейся многослойной покраски...

«Ну вот, как знала!» — с досадой подумала Ольга, глядя на сминающееся в бесслёзном плаче лицо старичка. По одним бесцветным глазам таксиста было видно, что жизнь его поломана вместе с задним багажником...

Ольге некогда было жалеть водителя, она прежде всего проверила Олежку: не пострадал ли? Но Олежка, наоборот, был радостен, гугукал и ликовал, показывая кулачками в варежках:

— Бр-р-р-укабам! Бр-р-укабам!

По его сияющей физии было очевидно, что он совсем не прочь повторить приключение...

Не говоря ни слова, Имбирёва вылезла из помятого салона сама, выволокла восторженного Олега, размахивавшего по морозному воздуху руками и ногами от полноты впечатлений. В животе сильно толкнулась Няшка... А ведь есть ещё и тяжеленная сумка с продуктами, которую, к счастью, Ольга отказалась ставить в багажник...

Вокруг места аварии закипала и закручивалась воронка толпы. Таксист кричал со слезой — мол, что же это делается, за рулём спят эти трамвайщики, оставили его без средств к существованию... А пассажиры, высыпавшие из трамвая, успокаивали его сомнительным образом:

— Он не заснул... У него голодный обморок...

Они (среди них были врачи) уже успели обследовать грудью навалившегося на панель управления вагоновожатого. И теперь утешали таксиста, что нанесший ему урон не виноват, не по халатности это сделал...

Над этим парящим дыханьем безумием хлестал бичами морозный вихрь, заставлявший людей вжиматься в воротники и одновременно вдавливать себя в шапки по самые брови. На эдаком ветру тропического бомжа Чебурашку запросто могло бы убить его же собственными ушами...

— Девушка, подождите! — вдруг закричал старик-таксист. Как бывает у людей в шоке, он вдруг поставил второстепенное на место главного. — Я ж вас не довёз! Я ж вам деньги отдать должен...

Имбирёва, тащившая одной рукой кривлявшегося Олежку, другой баул со жратвой, пыталась ещё и поддерживать свой колыхающийся живот, в «запущенной», как говорили подружки, «стадии залёта». Она даже отмахнуться не могла.

— Слушайте... — забормотала она. — Оставьте себе... Я же всё понимаю... Не по вашей вине не доехала...

— Нет, вы возьмите, возьмите, — совал ей, которой и взять-то было нечем, деньги таксист. — Я ж не довёз... Я ж вам должен...

Если бы не эта его истерика гуманизма, то Ольга, наверное, догадалась

бы попросить его, чтобы он по радиации вызвал новую машину из таксопарка. Но, оторопев от его нездорового напора, Ольга повернулась и поскорее ушла во дворы. Она тоже не зверь, чтобы последнюю сотку отбирать у старика, которому свою разбитую колыхагу-кормилицу чинить не на что...

Холодный сиверко свистел, как соловей-разбойник, закручивал полы Олиной лисьей шубы, рвал меховой капор, кусался морозными колючими льдинками на весу...

Ольга прекрасно знала местность, знала, что от этого трамвайного перекрёстка до отчего дома — недалеко... Но недалеко было раньше. То есть — в школьные годы и в ясную погоду...

А теперь беременная женщина тащила тяжёлого первенца и ещё более тяжёлую сумку по 30-градусному ветреному морозу, через город, одновременно родной и неузнаваемый, всюду тронутый серыми пролежнями заплесневелой и замёрзшей так навывлет нищеты...

А с реки, ледяным серпом подсекавшей мегаполис с трёх сторон, рвался, как пёс с цепи ядрёно-дёрганый январский тарап<sup>1</sup>.

— Я похожа на жену удачливого спекулянта в блокадном Ленинграде! — сказала Ольга маленькому сыну. Тот варежками закрывал личико, и всем видом показывал, что ему не нравится такой ветер...

— Ветел ва-а-а! В-а-а! — и варежкой пытался показать пасть монстра.

— Ничего, ничего! — уговаривала его мать. Наполовину он сам шёл, семеня валеночками, наполовину она его волокла. — Ты же мужчина, Имбирёв! Наши люди каждый день так вот ходят, а нам с тобой только один раз до бабы-деды дойти...

Они спешили под проходными арками, мимо пивного ларька, раскрытые ветром отвалы вокруг которого являли отеками самые разные оттенки жёлтого льда... По скользким плитам сложенной из бетонных панелей лестницы на склоне местности, с обжигающе-прилипчивыми поручнями...

Ольга окинула взглядом широко раскрывшуюся с укуса городскую панораму. Серое небо жгло землю космическим холодом, земля отвечала разнокалиберными парами... Далёкая труба «ТЭЦ №3» была наискось корабельным калибром, а домовые вытяжки между панельных лифтовых будок, про которые Ольга в детстве думала, что это домики Карлсонов, — плевались рваными клочьями кухонных уваров...

Дома, дома, дома... Линии одинаковых панельных пешек, а за ними — импозантные линии более сложных фигур — особняков сталинского ампира... Окна, окна, окна... От ветра и холода глаза слезились, длинные и пушистые Олины ресницы грозили примёрзнуть на слёзку... И оттого отчётливо виделось в этой замерзающей каменной дрожи, как чёрными птицами вырываются из окон бесчисленные семейные горести и беды... Они бликовали тёмными оттенками, как чернь бликует на серебре, полужримые, полуматериальные грачи несчастья и скорби потерявших себя людей...

— Какой мрачный пессимист сказал, что «реформы — половина пожара»? — весело поинтересовалась Ольга у первенца, румяного, как ранетка, с длинно свисающей подмёрзшей соплёй. — Посадить его за клевету! Пожар значительно безобиднее...

— Мямя, — мамкал Олежка, семеня. — Зы-зы... Зы-зы...

И жался локотками к пальтишку. Так, на условном детском, он обозначал, что ему стало очень холодно.

<sup>1</sup> Казачье, диалектное — свирепый, ледяной, порывистый ветер в Оренбургских степях.

— Ну, зы-зы так зы-зы... — согласилась покладистая мамаша. — Раз зызы, то давай побежим согреться...

И они побежали — точнее, изобразили что-то вроде спортивного ковыляния, потому что его бегу мешала короткость ног, а её — беременный живот...

На углу, непедagogично, не думая, какой пример он может показать годовалому малышу, и явно не добравшись до дому, зябко мочился алкаш, придерживаясь одной рукой за интимно-пикантную часть своей личности, другой упираясь в стену первого этажа.

Пятерня ублюдка попала в полуторванное, страшное, обведённое в последней надежде фломастерами объявление: «ПОМОГИТЕ НАЙТИ! Без вести пропали две школьницы: 13 и 14 лет...». А этой твари не стыдно тут нужду справлять...

— Да чтоб тебе струёй к земле примёрзнуть! — ругнулась Имбирёва, закрывая Олежке глаза на такое беспардонное безобразие...

Карабкаясь по обледелым узким тропам в проходных дворах, Ольга, пытаясь отвлечься от режущего свиста, обдумывала особенности уральского климата: скажем, по одной тропе идут два человека, навстречу друг другу, и обоим в лицо дует ветер... Просто какой-то бермудский треугольник!

Чувствуя нарастающее беспокойство, Няшка в животе стала крутиться и толкаться пяточками во все стороны...

— Только не сейчас, Няша! — умоляла её Ольга. — Мать у тебя дура, спору нет, но ты пока крепись... Нам ещё много идти...

И сама, взбодрившись, отбросила малодушную мысль выбросить сумку с провиантом: это уж дудки! Донесёт без разговоров!

\*\*\*

Изумлённые дед с бабкой смотрели на две снежных бабы в прихожей: одна побольше, другая поменьше: это и были запорошенные злым снегом Ольга и Олежа.

— Уф-ф, мама, папа, замёрзли мы, как черти, скорее чайник ставьте! Пап, сумку возьми, все руки с ней оборвала... Как жалко, что наши заклятые враги не под Москвой сейчас — такие холода пропадают!

— Да что же, доча? Да как же ты? Да зачем же ты?

— Ох, задубела ваша доча! Только Ивану не проболтайтесь, что я пешком к вам пришла... А то он меня вместо мороза... добьёт! Сегодня такой ветрина, что, думаю, худые люди будут сегодня дома значительно раньше остальных... Вон, в окно посмотрите: ажик голуби жопой вперёд летают!

— Доча... Ну как... На твоём-то месяце по морозу ходить?!

— Да, с животом непросто... — смеялась Ольга и, замёрзнув, через смех выстукивала зубками дробь. — Так вот лучше понимаешь мужа... Мне что, девять месяцев — и отмучилась, а он с большим пузом всю жизнь ходит...

Она скинула свою завидную шубу, с которой во все стороны полетели снежные хлопья и даже целые сосульки, и почувствовала, как холодно в родительской «полнометражке»...

Поглядела на своих стариков попристальнее — и увидела, что отец в валенках, а мать — закуталась в оренбургский пуховый платок, на её озябших плечах совсем не такой романтический, как в известной песне...

— Мам, пап? — спросила Ольга, и дрожь переохлаждения била её тело, включая и большой яйцевидный живот. — А чего это вы тут устроили? Это что за вытрезвитель? Вы почему обогреватели-то выключили?!

— Доча... — сознался отец раскаивающимся голосом. — Они очень счётчик мотают...

А мать уже ушла включать легендарный «Дракон Де Лонги», обогреватель, способный заменить батарею парового отопления, осознав свою неправоту. Ну не мёрзнуть же дочке с внуком и будущей внучкой!

— Что значит, мотает?! — рассердилась Имбирёва. — А вас это каким боком касается?! Мы же договорились, что мы с Ваней вам электричество оплачиваем!

— Э-э-э... — совсем растерялся отец.

— Чё ты мычишь? — приставала дочка. — Язык холодно доставать?

— Доча! — героически созналась мать, Нина Павловна Туманова. — Мы с отцом не можем так вот запросто кидать на ветер деньги молодой семьи, наших детей...

— Не, ну против ветра их тоже бросать не надо! — развела Ольга замёрзшими до красноты руками, еле-еле высвобожденными из перчаток. — Такой дубак в доме устроили, хоть пингвинов разводи! Пап, мам, ну давайте, кончайте уже экономить на здоровье, лекарства всё равно дороже встанут!

— Доча, — наконец, выдавил из себя смущённый отец, — наши счётчики — это наши с мамой проблемы... На электричество, на воду...

— Ладно, если я у вас в туалет схожу — не буду смывать! — успокоила родителей Ольга.

Олег оказался смекалистым мальцом: накинул на быстро вскипающий обогреватель байковое одеяльце и блаженно поверх обнял его, словно плюшевую игрушку...

— Хорошо тебе! — задумчиво позавидовала Оля сынуле. — Вон, животом навалился на тёпленькое... Трудно беременным мёрзнуть: пузом на обогреватель не ляжешь и рюмку коньяка не хряпнешь!

\*\*\*

Благодаря дочкиной сумке с продуктами, легче всех пережившей утомительное путешествие через ледяную пустыню новорожденного XXI века, на кухне у Тумановых закипел пир горой...

Веселила глаз алая банка «Судака в томате» — красна, что этикеткой, что внутри, что на вкус... Заплясала вода в эмалированной кастрюльке, прыгнули в её глубины и уже вынырнули домолепные пельмешки... За низкие хрустальные борта вазочки на высоченной тонкой ножке полилось из трёхлитровки смородиновое варенье...

Олежка игрался с баночкой шпрот. Забирал её со стола и сообщал, заговорщицки улыбаясь:

— Бака ой! (*Банка испугалась!*)

Он тарашил глазёнки и всем шkodным видом показывал страх резко схваченной банки.

Потом прятал за спину, и констатировал:

— Бака ку-ку! (*Спряталась!*)

Потом было ещё и «бака-бака», то есть банка упала: только мать и немного бабушка умели понимать этот диковинный язык...

— Ну, — торжествует ироничный папа, Анатолий Эдуардович, — теперь-то не будем страдать от недосыпания...

— Чего вам не спать? — удивилась Оля. — Всё равно оба пенсионеры...

— Кто сказал «не спать»? Я говорю — от недосыпания: вначале мы с Нинкой сахар не досыпали, потом гречку... А с тобой, Олюшка, всё досыплем!

— Какое-то всё-таки это не настоящее масло! — подозрительно приняухивалась Нина Павловна, измазюкав ломтик хлеба маргаринно-тягучей «Рамой»... И напонила старую карикатуру в «Крокодиле», где пожилой кельнер учит молоденькую официантку философии: «Обрати внимание, бутерброд с маслом всегда падает маргарином вниз»...

— Не настоящее?.. — защищала Ольга свой дар с некоторой внутренней обидой. — Да, вот читай: «деликатесное масло»...

— Деликатесное-то деликатесное... А старое масло мне больше нравилось... — упрячилась мать.

— Старое масло давно прогоркло! — сурово сказала Ольга Имбирёва. — Как и вся старая жизнь...

— Оля... — осторожно интересуется отец, нарезая «Бородинский» хлеб под привезённое нежно-розовое, «рассветное», сальце. — А как у вас дела на Травной? Тут соседи ваши звонили, ругались... Мол, вонища, лягушки и безобразие...

На улице Травной семья Имбирёвых взяла участок под коттеджную застройку, как тогда было модно. Довольно быстро отрыли котлован — после чего дело заглохло. Летом 1999 года котлован залило водой, вода зацвела нестерпимой болотной вонищей, что гармонично дополнили изобильно квакающие в ней рептилии и прочие гады. Отголоски этой экологической катастрофы и дошли соседским злословием до Олиных родителей...

— Теперь гораздо лучше! — утешила папу оптимистка Ольга. — Вода замёрзла, лягушки исчезли, запах пропал... Хоть на коньках кататься...

На улочке Травной росли дома состоятельных горожан. В сомкнутом хищном ряду их челюсти выбитым зубом казалась зиявшая вонючая дыра на участке семьи Имбирёвых... Ольга не знала, у каких дантистов протезировать этот клык — потому что Ивану стало совсем не до коттеджа...

\*\*\*

В декабре 1999 года, вопреки всем прогнозам, победила проправительственная партия «Единство». Конечно, умом Иван Сергеевич Имбирёв понимал, что по-другому и быть не могло, что власть воров приватизации устоялась, взяла в свои руки лживую избирательную машину... И всё же вопреки уму он ждал какого-то чуда... Чуда не случилось. Пропали его щедрые инвестиции в народно-патриотическую оппозицию, пропали и иллюзии на перемены к лучшему.

Победители могли строго спросить с Ивана — почему он раскольниковал и вместо выполнения решений воровского схода подкармливал не тех, кого решили, а тех, кого решили порешить?

Но дело не в этом. Ольга знала мужа лучше других, и поняла, что он во власти одной мысли: «в огне брода нет»... Какая разница, потеряны деньги или не потеряны? Какая разница — предъявят теперь за подогрев «оппов», или не предъявят? Когда теряешь всё сразу — зачем отдельными пунктами перечислять потерянные вещи?

Поздно ночью телевизор стал радостно плевать новостями с избирательных участков Дальнего Востока. Первые же сведения подкосили Имбирёва. Он — вопреки ясному и трезвому уму — ждал чего-то другого...

Он стоял, опираясь рукой на полукресло, и Ольга отчётливо увидела, как подломились его колени, как грузно навалился он на спинку этой мебели...

Повернул голову к ней — лицо посерело, в глазах чернота:

— Это конец, Оленёнок... Они навсегда...

Десять лет он прожил в тревожной надежде каких-то смутных, но желан-

ных перемен. Десять лет ждал какого-то реванша, какого-то опаматования земляков... Наверное, десятилетие — это его критический уровень надежды, после которого кончается всякая вера...

Они навсегда... Какое теперь имел для него значение его бизнес, его котлован на улице Травной? Даже его семья? Раз они навсегда — значит, у них будет вдоволь времени, чтобы разобраться со всеми и каждым...

— Оленёнок... — признался он жене, — то, что я до сих пор не разорён... это не столько моя заслуга, сколько их недоработка...

За окнами выла с разбойничьим присвистом тяжёлая, чёрно-белая уральская метель страшного декабря. Телевизор рапортовал об окончательной и не подлежащей больше апелляциям победе воровской власти.

Он прилёт на их большую двуспальную кровать, а она не знала — выключить ли телевизор или оставить? Продлить его муку репортажами — или riskнуть остановить ему сердце щелчком пульта?

Первый раз она видела его, своего волка, таким маленьким, беспомощным и слабым. Он был умён и силён, но есть на свете вещи, которые не человекам решать... Среди них — вопросы жизни и смерти...

Иван лежал на кровати, поджав ноги, в позе эмбриона. Большой клетчатый плед, отороченный бахромой хвостиков, он сгайбал к себе комом, и теперь прижимал к груди. Ольга не могла избавиться от ощущения, что он пытается остановить невидимое, но сильное кровотоечение из незримой, но глубокой и рваной раны...

Дышал он на втяг, вдох был хорошо и слышен, а выдоха почти не было.

— «Шок — это по-нашему!» — радостно болтала чем-то похожая на Ольгу корреспондентка с экрана. — Так можно было прокомментировать первоначальную реакцию многих столичных политиков на декабрьский успех «Единства». Новорожденное движение, возникшее из ниоткуда и состоящее из «непонятно кого», оказалось одним из победителей выборной гонки, оставив далеко позади таких, казалось бы, очевидных фаворитов... Некоторые мастера российской политической сцены до сих пор не могут оправиться от произошедшего...

«Да... — подумала Ольга ей в ответ. — Например, вот мой...».

— Не только в «Отечестве — Всей России», но и в Кремле, по-видимому, сомневались в перспективности создаваемого движения. Осенью в администрации президента рассчитывали, что «Единство» в лучшем случае наберёт 10-15%, — вещал «чёрный ящик», зафиксировавший все подробности крушения Отчизны.

На экране появилась бандитская рожа одного из вождей списка «Единства», прославленного олимпийского борца, напомнившего Имбирёвой иллюстрации из школьного учебника, изображавшие неандертальцев...

— Думе нужен кнут и покрепче...

— Основой «Единства» стали прагматики, — успокоила телеаудиторию бледная копия Оли с микрофоном в руке. — Люди, для которых реальные интересы выше узких идеологических рамок...

— Ну, это можно выразить и попроще... — криво усмехнулась Имбирёва, переживавшая, конечно же, в первую очередь за контуженного мужа. — Воры...

— В конечном итоге даже лидер думской фракции «Наш Дом Россия» Владимир Рыжков признал, что важнейшим залогом успеха «Единства» стало использование высокого рейтинга главы правительства Владимира Путина...

Ольга вспомнила этого человека, одного звеньшка в долгой цепи ельцинской кадровой чехарды, премьера с лицом подростка и запинаящейся

речью неуверенного, закомплексованного мальчика. Он всё чаще мелькал на экранах...

— У него глубокие глаза, — как-то сказал зятю про Путина Олин папа, ищущий в трясине 90-х хоть какую-то психологическую опору, хоть какую-то надежду. — Глубокие глаза, и на дне их ужас содеянного...

— Может быть, — грустил Иван, тоже не оставлявший в ледяной воде реальности жадного хватания за соломинки. — Но что он может? Внешний враг неодолим, внутреннее ворьё — необозримо... Мы замерзаем и замёрзнем... Конечно, такая огромная туша, как у России, не может замёрзнуть быстро, в глубине ещё долго будут укрываться тающие очаги тепла... Но сердце не мотор: если остановилось, то уже не заведёшь...

Иван в 1999 году всем говорил, что победит «Единство». Он даже спорил на бутылку с двумя или тремя партнёрами по бизнесу, боязливо приглядывавшими за растущими на протяжении всего десятилетия успехами коммунистов...

А «друзья семьи» объясняли Ольге, почему в домах так холодно:

— Вот ты же не станешь топить печку своими шубами? — улыбался странный человек, чьи паспортные данные звучали, как былина, Василий Серафимович Корнеев из Горсовета.

— Нет, — улыбалась она, — меха — это мягкое золото...

— А нефть — чёрное золото... Чем мазут для котельных для неё делать — продают за доллары... Нет у населения долларов — пусть мёрзнет...

\*\*\*

*...От стужи даже птицы не летали,  
А вору стало нечего украсть,  
Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали,  
А я боялся — только б не упасть...*

Владимир Высоцкий

И вот вам парадокс психологии: умный человек, выигравший все пари, узнав о своём выигрыше — лёг на кровать, поджал ноги к животу, шерстяной ком пледа к груди, будто это ватный тампон хирурга, — и дышит рыбой на льду...

Он не просто таскал чемоданами деньги в штабы сопротивления, он на что-то, значит, надеялся... Ольге же говорил с усмешкой — мол, предприятие безнадежно, но долг велит, и всё такое...

Врал, врал, даже проникательную жену смутил своей уверенностью в победе воров — а сам-то, выходит, в глубине души надеялся и ждал...

У Ольги слёзы навернулись на глаза. Чем «красные» лучше или хуже «голубых» она не знала, но мужа было жаль до ужаса!

Она проглядела, почему именно на экране вдруг появился лидер популярной рок-группы из Волгограда и бодро пожаловался, что у него в квартире холодно, постоянно во всех комнатах работают электрические калориферы... Но он (горделивая осанка) — «не бедный человек», и может заплатить за электричество тысяч двенадцать в конце месяца... А потом посетовал, что энергетики не подсвечивают по ночам монумент «Родина-мать» в Волгограде, и это его волнует больше, чем домашнее отопление<sup>2</sup>...

«Ты-то не бедный... — с ненавистью подумала Ольга. — Ты-то можешь... А вот мои старики как будут платить по счётчикам, если я сдохну при родах?!».

<sup>2</sup> Реальный случай.



Осталось верить только в глубокие глаза незнакомого ФСБ-шника, в которых чокнутый батя чего-то такое разглядел, вопреки всякому здравому смыслу...

«Господи... — мысленно обращалась она куда-то в косматую мглу законной пурги, утробно рычавшей и со звоном наждака точившей ветер об углы зданий... — Вразуми ты этого человека... Обрати Савла в Павла, ты же всемогущий, Господи... У нас нет другой надежды, Господи, и мы виноваты, Господи, знаю, виноваты, мы сами сожгли все мосты и обглодали всю собственную плоть в адском причастии приватизационного сатанинского обряда... Смилуйся, Господи, обрати!».

Чёрно-белая метель отвечала беременной женщине визгом, похожим на смех сумасшедшего. Урал, зима и тьма: как трудно тут верить в Пастыря Доброго, и как легко увидеть карающий гневный лик воинственного Господа Саваофа...

\*\*\*

— ...Покойный академик Курчатов... — неожиданно помянул ядерщика губернатор Кувинского края Борис Хайдарович, — в парке при институте запретил асфальтировать дорожки... Подождал, пока сотрудники сами протопчут тропки, и потом велел там класть асфальт... Мне умные люди, Вань, сказали: ты подожди, пока Имбирёв не вложится, он умный, он самое лучшее место подберёт... Для себя...

Губернатор оказал большую честь Ивану Сергеевичу Имбирёву, обедая у того в двухэтажном бильярдном клубе «Аргентум». Иван Сергеевич сразу понял захламленным нутром, что такая честь обойдётся ему недёшево. И теперь, пожирая взглядом губернатора, пожиравшего жареный лагман «Босо», с бараниной и особыми травами, прикидывал: насколько недёшево...

— Вот, Иван — неторопливо, как бы гипнотизируя жутким взглядом, рёк Борис Хайдарович, — не первую уже делегацию к тебе сюда в «Аргентум» привожу... Федералов ли, или даже зарубежных гостей... Думаем, бывало, с помощниками — где их поужинать? И всё время твой «Аргентум» всплывает: место удобное, площади оптимальные, обслуживание первоклассное... Кухня — м-м-м!

Борис Хайдарович толстыми и кривыми пальцами упыря изобразил что-то вроде воздушного поцелуя.

— Я вначале не верил, — снова бурит тяжёлыми свёрлами зрачков большой и хищный зверь. — Но вот который раз убеждаюсь... Логистика у тебя на высоте, Иван... Хорошо ты с «Аргентумом» придумал... Хорошо... Ресторан, бильярдная... И, главное, место самое проточное... Вот перенеси этот комплекс на два квартала выше по Первомайской — и всё! Не то уже получится, подъезд не тот, парковаться неудобно, и всё такое...

— Я стараюсь, Борис Хайдарович... — сухо выдавил из себя Имбирёв.

И почему-то вспомнился ему старый знакомец, бывший владелец «сильно-независимого» радио «Гефест», который заперся в своей студии и из охотничьего ружья отстреливался до последнего патрона от ОМОНа... ОМОНа, посланного этим вот Борисом Хайдаровичем, решившим прибрать строптивую радиостанцию к долгоруким своим конечностям...

— Ну и молодец! — скалит жёлтые клыки губернатор. — У меня вот какая мысль возникла по итогам нашего форума инвесторов... Вот такой клуб, как «Аргентум», надо Краю иметь в краевой собственности... Ну, понимаешь, чтобы без лишних проволочек там... Опять же, прибыль... И

решили мы с министрами предложить тебе, Иван, чтобы ты с клубом своим расстался...

И снова призрак встал перед Имбирёвым. Призрак председателя ЧИФа<sup>3</sup> «Север» Рафисова, к которому «правоохранители» вошли на заседание совета директоров, схватили за руки-за ноги и в таком виде, трепыхавшегося, вытащили на снег... Потому что Дамир Рафисов тогда что-то не то сделал с точки зрения «всенародно-избранного» губернатора...

— Вы хотите купить «Аргентум»? — поинтересовался вежливо Имбирёв, и руки его задрожали. Мысленно он пытался вычислить цену, ниже которой не спустит торги. Напрасно!

— Купить каждый дурак может! — захохотал губернатор. — А вот ты подари! Как патриот и социально-ответственный предприниматель... Возьми да подари! Слабо?!

Иван смотрел в глаза Зверя, чья партия только что вчистую выиграла федеральные выборы, и, леденея, осознавал, что тот не шутит...

Подали чай. Чай с чабрецом, на десерт — удивительная абрикосовая турецкая пахлава... Губернатор с явным удовольствием давил пахлаву ложечкой, и оттуда вытекала аппетитная белая сладкая патока... Ивану же казалось, что это — гной... Его чуть не стошнило от внезапных ассоциаций...

— Тебя, Ваня, валить надо было, как тварь бешеную... — ласково поделился наболевшим губернатор, и манерно отхлёбнул чай с краешка фарфоровой тонкостенной изящной чашки. — Но, понимаешь, какое дело... Если имеешь тонкорунного барана, то глупо его резать... Ты не ерепенься, ты в своё положение войди, Ваня! Ты ведь сейчас для воров крыса, а для прокурора — вор... Краевой «Маяк» блатных что вынес?

— Поддерживаем президентскую партию... — вынужден был признать пошедший нездоровыми пунцовыми пятнами Имбирёв.

— А ты, Ваня, куда бабло таскал, спонсор недоделанный?! Ты пойми, наивный, в моём Крае все работают на меня! И коммуняки местные тоже работают на меня... И они мне докладывают, Ваня, кто их «греет», понимаешь, дурачок?!

Напугав, босс изобразил и улыбчивую милость:

— Формально тебя, конечно, судить не за что, ты бабло отжал — ты и вложил, куда хотел... У нас теперь, Ваня, свобода и демократия... Ты, как частный собственник, можешь жертвовать деньги любой легальной партии, какой захочешь... И ничего тебе за это не будет... Ну, то есть совсем ничего: ни бизнеса, ни активов, ни денег... Понял? Потому что по фактуре ты, Ваня, теперь для авторитетов — крыса!

Губернатор затыкнулся чаем, как коньяком, с послевкусием, помолчал для убедительности, и продолжил учить молодого, приткого не в меру, дурака:

— Теперь, Ваня, давай посмотрим с точки зрения государственного закона... Это для воров ты крыса, а для государства ты — вор... Ты, Ваня, в «Аргентум» вложил около шестиста тыщ баксов... Ты их, Ваня, где взял? Ты в какой юрисдикции с них налоги платил?

Имбирёв задёргался, как будто к нему ток подключили.

— Да ты не рыпайся, я тебе сам скажу: бабосы тебе дал покойный Гурам, Смотрящий по городу... Деньги, Ваня, воровские — почему их Гурам так раскидал, его уже не спросишь... А ты-то жив! Так что ты по прокуратурам не рыпайся... В Краевой мой человек прокурором сидит, сам знаешь, в местном

<sup>3</sup> ЧИФ — чековый инвестиционный фонд, так назывались отстойники приватизации в первой половине 90-х годов.

Управлении милиции тоже мой генеральчик... Ну, а в Москву поедешь, Ваня, тебя же там спросят: на какие-такие средства была приобретена вами отжатая у вас впоследствии собственность? И попросят тебя, Ваня, показать твою кредитную историю, а у тебя там, Ваня, дыры такие, что сам Чубайс — и тот за голову схватится... Достал Ваня из тумбочки 600 тысяч баксов, да и вложился... И где ж такие тумбочки производят — захочет каждый узнать!

— Борис Хайдарович! — подал голосок обиравый Имбирёв, и попытался согреть заledenевшие изнутри пальцы о горячую чашку с чаем. — Я всё понимаю, и я готов служить Краю... И вам лично... Но вы же сами говорили о тонкорунной шерсти... В этот бильярдный клуб вложены почти все мои деньги... Если вы своими руками зарежете тонкорунную овцу, то я уже ничем не смогу быть вам полезен...

— Ладно, Ванёк, не драматизируй! — весело предложил биг-босс. — Не верю я, чтобы такой жук, как ты, последние рубли в бильярд вкладывал... Ты молод, полон сил, а деньги — они то приходят, то уходят! Не жопь, мальчик! Никто тебя не режет — ты просто не видел, как резанные выглядят...

Губернатор крикнул осанисто, утёр сложенным вчетверо платком вспотевший лоб.

— А постричь тебя маленько сам Бог велел! Ты не Стаханов, Ваня, ты свою собственность не кайлом в шахте добыл! Вчера ты отжал, а сегодня у тебя, только и всего... Верю — поднимешься ещё... Прибыль же Ваня, твоя — в том, что ты живой, и не на шконке пердишь, а рядом с женой, на испанской модельной мебели! Вот эту прибыль, Имбирёв, ничто не заменит...

\*\*\*

Пока Иван ведёт такого рода деловые переговоры — в квартире Тумановых продолжается семейная трапеза. Трудно поверить, но у себя на даче отец Ольги умудряется выращивать... виноград! В это и летом-то трудно поверить. А уж тем более в такую вот свинцовую зиму, когда лютное уральское небо давит на землю неумолимым гидравлическим прессом, а степные тарапы конными атаками залетают в междомовые проезды Кувы с плётками рваных снежных постягаев... Ну совсем не верится!

Тем не менее, упорный пенсионер Анатолий Эдуардович окучивает, утепляет навозом, утешает землю, закрывает лозу плёнкой — и каким-то образом умудряется брать с садового участка гроздьё зимостойкого винограда...

А зимами он гонит из собственного, домашнего винограда, как говорят в Оренбуржье, чихирь<sup>4</sup> — который любо-дорого дегустировать под взвизги метельных истеричек-бэньш<sup>5</sup>... Ну, конечно, не беременным...

Пока старики разливают по старинным фужерам славное винцо, Оля глотает слюну и тихо завидует. И не она одна. Девка внутри, тумановская порода, буйно протестует, что маму вкусненьким обделяют: сучит ножонками, крутится так, что у Имбирёвой всё мутится в глазах...

— Няша, — уговаривает Ольга безымянный плод, — ну потерпи, нам с тобой пока нельзя...

Няшка не соглашается, и колобродит пуше прежнего... Выводит мать из себя, и та итогом в сердцах выругалась:

<sup>4</sup> Казачье, диалектное — так в Оренбуржье зовут самогона и домашнее плодое вино.

<sup>5</sup> В ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии — ведьмы, которые, летая, издают пронзительные вопли, в которых будто сливаются крики диких гусей, рыдания ребёнка и волчий вой, оплакивая смерть кого-либо из членов рода.

— Няшка, \*б твою мать!

Папа и мама смотрят на дочку в шоке: от зятя, что ли их девочка-припечка такого набралась?!

А Оля как сказала — так её и осенило:

— Блин! Это ж я — твоя мать!

Вот так, сердясь на собственных отпрысков, и начинаешь понимать собственных родителей, или, к примеру, свекровь... Если подумать — они ведь тоже так вот нас и наших любимых пятками в пупок таскали...

Оле вспоминалась мать Ивана, Наталья Степановна Имбирёва, дама во всех отношениях железная и матёрая. Родилась в 1939 году, видела в жизни всё, выживала при всех — и даже теперь бодря, несмотря на кубические параметры телес...

По-своему Ольга любила свою вторую маму за её непрошибаемую уверенность в своей правоте, базовую основу жизнерадостности. Хотя, конечно, от свекрови доставалось...

Придёт в гости, и первым делом не внука тютюхать, а к мусорному ведру, на кухню:

— У! Развели на базукатух<sup>6</sup>!

И тут же вызывается вынести, как она говорит по станичному, «поганую цыбарку»<sup>7</sup> в мусоропровод. Пока несла — нашла в подъезде безобидное объявление «Ремонт ноутбуков».

Но это же Наталья Степановна Имбирёва! Про только начавшие появляться ноутбуки она и слыхом не слыхивала, а на политике повёрнута так, что становится ясно — откуда у мужа его политические закидоны растут...

Свекровь решила, что это в подъезде приклеили предвыборный плакат, и комично учит сноху политтехнологиям:

— Нашли кого выставить! Кто же будет голосовать за Ремонта Ноутбукова? Это кавказец, наверное... Интересно узнать, а какое у него отчество, по бабушке?!

Ну как на такую сердиться?

Чем крепче мороз — тем веселее свекруха: расчехляет свою, похожую издали на пулемёт «Максим», сумку на колёсиках, готовится к походу на рынок...

— Наталья Степановна, — уговаривает, бывало, Ольга, не без хитринки: хочет оставить со свекровью внука и сбежать по делам, — ну куда сейчас на рынок? Погодите, морозы спадут...

— Ниже морозы — выше цены! — учит её свекровь жизни. — Счас всем по всему в полцены отоварюсь...

— Ну что у них, в морозы поставки дешевле что ли?

— Нет! Оне на открытом рынке мёрзнут быстрее! — бодро рапортует свекровь и укатывает свою пулемётоподобную рыночную снасть... И от предвкушения поживы возле промёрзших открытых лотков напевает под нос свою любимую народную песню:

*Летят утки... Летят утки...*

За глаза язвительная сноха называет это «песней о драке в реанимации»...

Муж Натальи Степановны, отец Ивана, — давно умер. Так что спорить свекрови не с кем. А вот у Тумановых рыночные реформы производят в дому небывалые раньше ссоры...

<sup>6</sup> Казачье, диалектное — «свинарник» (где содержались свиньи).

<sup>7</sup> Казачье, диалектное — «ведро»

— Мы, представляешь, доча, из-за сахара поссорились! — рассказывает отец Ольге. — Правда, потом и посмеялись, но это... осадок остался... Нина просила меня сахар купить по 13 рублей, а магазин другой указала...

— Всё я правильно указала! — встревает Нина Павловна. — Ты сам перепутал...

— Ну, прихожу, а там сахар уже по 15! Я им говорю — почему же он у вас по 15, а мне отвечают — сегодняшняя цена... Я прошу насыпать мне вчерашнего сахара, отказываются...

Дальше диалог в бакалее строился таким образом:

— Только сумасшедшие могут покупать сахар по такой цене, как у вас, — пытался пристыдить продавцов Анатолий Туманов.

— Ну и не берите.

— Так сумасшедшие же всё разберут!

Ну, в итоге Туманов отоварился не там, где по 13, а там, где по 15, думая, что это то место, где было по 13, а дома оказалось, что это другое место было... Через эту путаницу, в которой без бутылки не разберёшься, они поругались с женой, а потом стали безудержно хохотать:

— Поссорится из-за килограмма сахара! Был бы конкурс сквалыжников, заняли бы первое место!

Уводя родителей с этой совсем не сладкой, хоть и сахарной темы, Оля отвлекала их диковинными гостинцами из всё той же продуктовой сумки:

— А это, папа, из восточной кухни, — презентует Ольга залежавшиеся в холодильнике дома на Воровского специи. — Соевый соус...

— Это что такое? Я ни разу не пробовал, — вертит отец в руках цилиндрическую бутылочку...

— Ну, если кратко, — объяснила Имбирёва, поглаживая живот, где снова разыгралась Няшка, — ну... такая полная противоположность сахара... То есть он чёрный, жидкий, и горький...

— А он по 13 или по 15? — интересуется отец, застрявший мыслями на своей обиде.

— Честно говоря, — растерялась Оля на такой неожиданно-меркантильный интерес, — я даже и не знаю... Взяла у нас из холодильника...

— Дорогой наверное, зараза... — потирает загадочную бутылочку отец. — Я попробую с ним выкушать салат из помидорчиков...

— Папа! — моментально реагирует языкастая дочь. — К чему эти извращения?! Кушай с ним салат — из тарелки!

\*\*\*

*...Белый лебедь, ты на небе, ну а я на земле.  
Это письма издалёка прилетели ко мне,  
Это снег идёт из мохнатой тьмы,  
Я не знал, что так далеко до весны...*

«ЛЮБЭ», «Белый лебедь»

Ещё не зная о «чести», оказанной мужу самим «всенародно-избранным» (и крепко державшим лживую избирательную машину в своих руках) губернатором Края, Ольга сразу поняла: случилось с Иваном что-то непоправимое. Он пришёл под вечер, с непривычной для него аккуратностью повесил верхнюю одежду, а потому уселся на кухне в полной прострации, глядя в одну точку над газовой плитой...

И было ясно, что дело хуже, чем даже тогда, когда на границе Края мили-

ция остановила грузовик, перевозивший тираж оппозиционной газеты, отпечатанной на деньги Имбирёва... Водителя — который вообще не знал, что везёт, — посадили, а газету сожгли...

— А ты на что рассчитывал?! — узнав, сверкала глазами Ольга. — Что они на твою газету подписку оформят? Ну, вот — они и оформили под пистолетом... Тяжёлым ботинком... Все участникам... А ты думал — что будет?!

— Думал — из искры возгорится пламя... — с необыкновенным сарказмом сознался в собственной глупости муж.

— Ваня... Говно не горит...

Тогда, с газетой, — пронесло. Участники дела не сдали спонсора. Хотя как знать? Вот он пришёл чернее тучи — не удар ли «под пистолетом» долетел?

В общем-то, если честно, в семейном бизнесе, который Оля формально разделяла, но на деле ни черта в нём не понимала, всё уже шло наперекосяк, предвещая визит губернатора с рейдерской бригадой... И он, всё более загнанный, чужой, пребывает душой не здесь, а где-то далеко...

Видя, что он в упор смотрит и не видит, — Ольга начинала подкалывать в своей манере:

— Вань, а мне звонила корреспондентка из дамского гламурного журнала...

— Ну, отлично, я рад... — бормочет он, прикрывая глаза ладонью и что-то губами пересчитывая...

— Планирует интервью со мной на тему «Как я стала женой миллионера Имбирёва?».

— Ну да, ну да... — он явно витает мыслями где-то далеко-далеко.

— У них там спецномер, посвящённый оральному сексу...

— Ну да, ну... что?! — тут он всё же очнулся и выпучил на неё глаза.

— Ах, наконец-то! — обрадовалась Ольга. — Есть контакт со звёздами! Это я таким способом сказала тебе «Ау!»... Ты дома, Вань, или ещё не дошёл?!

Он раскрылся. Обнял её, тыкаясь носом в выпуклый живот, и начал рассказывать — отчего сразу же на всю кухню понесло жутким мешаным перегаром. Стоило человеку стать искренним — и тут же ясно, что он в дрезину, в дюпель пьяный... А его и Олина девочка в животе, опять не вовремя, тоже стала напоминать о себе.

«Разгорячённая парами алкоголя...» — подумала про неё Имбирёва...

— Коротко подводя итог, — булькал Иван, — наши деньги потеряны...

— Неужели все?

— Ну, допустим, не все... — иного она от хитрого мужа и не ждала. — Но большая их часть...

— А мы, Ваня, большей частью никогда и не пользовались... — попыталась ободрить его Ольга. — Мы как жили с меньшей частью, так и дальше жить будем...

— Да дело же не в этом «Аргентуме», который дёрнул меня чёрт обустроить... — страдал Иван. — Дело в том, что... Ну, вот скажи, зачем вообще работать?! Что-то делать... Ну, осталось у нас процентов 30 прежнего капитала... Ну, вложим мы их опять, и допустим, даже удачнее прежнего, — а у нас опять отожмут... Зачем тогда, а?!

Он поднял измученное лицо, по которому текли кислотные, разъедавшие скулы слёзы. Таким его Ольга никогда ещё не видела, и сердце остро зашло в материнской жалости...

Подружкам на девичниках она говорила: *«Женщина ложится в постель с мужчиной по трём причинам: из жалости, из благодарности и по любви. Конечно, идеальное сочетание — как у меня с Ваней: когда все три причины вместе»...*

Она, и вправду, была влюблена в него, как кошка, и отдавалась просто потому, что очень этого хотела. Но это ничуть не мешало человеческой благодарности: он не просто классный мужик, но ещё и опора, и защита, и кормилец большой семьи... А кроме того у него есть такие слабые места — когда жизнь по ним бьёт, случайно или намеренно, — Ольге жаль его, как было бы жалко собственного плачущего ребёнка...

— Как страшно жить! — патетически закончил свои излияния муж.

И она хотела разреваться вместе с ним. В конце концов, этот кошмар продолжается слишком долго, уже третий президент сел в Москве, а большая мясорубка «рыночных реформ» всё так же механически, ровно и равнодушно перемалывает кости знакомых и незнакомых людей вокруг тебя...

Оля, как женщина, как беременная женщина с младенцем-первенцем на руках, имела даже больше прав плакать, чем он. Но если она разрыдается, то... не такая женщина ему нужна! Она не должна подтверждать, что ей страшно с ним жить. Не сейчас. Наоборот: надо подчеркнуть, что они — «эвакуированные из ада», что у них всё много-много лучше, чем у среднестатистического гражданина...

\*\*\*

На помощь приходит память. Совсем недавно Ольге очень грубо дали понять, насколько им с Иваном повезло...

В университете у неё была, в числе многих прочих, такая подружка по имени Ирина. Ну, потом, естественно, жизненные пути разошлись, Иринка в погоне за женским счастьем пошла вразнос, и очнулась уже в профессиональных проститутках, с изумлением оглядывая собственную потасканность в каждом зеркале...

Несколько раз Иринка приходила к Ольге, всякий раз занять денег, но никогда не возвращала, делая вид, что «по-пьяни забыла». И однажды Ольге пришлось ей сказать, уже не пуская в дом дальше прихожей:

— Пойми, Иринка, это не мои деньги, а деньги мужа... Я, получается, просто ворую их у него для тебя... Пока не отдашь старые долги — за новыми не приходи...

Тяжело было говорить такие слова опустившейся и оплывающей шлюхе, и без того стоящей на грани, но... Это побриушничество всё больше походило на вымогательство, и стало очевидно, что конца этому никогда не будет... Пришлось пресекать...

Тогда эта вот самая Иринка попёрлась к шапочно-знакомому Имбирёву в офис, и, попав на приём, очень долго, смачно живописала ему, сидя в кресле посетителя, напротив тяготившегося ею, делового, но вежливого человека — какая она б...дь, и со сколькими перебивалась, и в каких позах, в каких обстоятельствах её «драли»...

— А знаешь, Иван, зачем я пришла? — спросила под занавес, уставившись бесстыжими и уже безумными глазами, под которыми потекла тушь. — Пока ты тут работаешь, твоя Оля уже несколько раз меня заказывала к себе на дом... И развлекалась со мной, потаскуха... Не веришь?! У неё вот здесь, на лобке, две родинки, — Иринка возбуждённо показывала на себе, выставив «передок» перед Имбирёвым... Вот здесь... Одна вот повыше, а другая у самых губ...

— Она не врала, Оля... — рассказывал потом жене Иван, потирая лоб ладонью в смущении. — Она просто свихнулась, и у неё в голове совместились ты и какая-то другая женщина, к которой её действительно, думаю, вызыва-

ли... И у которой действительно там заметные родинки... Она же это как доказательство мне пыталась предъявить, то есть это не клевета, это уже кактус в голове вырос...

Ни одной из родинок-улик у Ольги и в помине не было. Слушая и офи-гевая, вместе со вполне естественной гадливостью Оля чувствовала бессмысленную бритвенно-порюющую нутро жалость... Иринка была не то чтобы образец нравственности, но вполне себе ничего девчонка... Из памяти всплывала общая тетрадь в клеенчатом переплёте, где эта самая Иринка, ещё студентка, писала стихи и давала Ольге почитать... Стихи, представляете, — и такое...

Как это может совмещаться?! Зачем? Зачем она всё это устроила?!

— Ты удивляешься, — горько усмехнулся Иван, — а мне совершенно всё понятно, как на ладони... Это глупая бабья месть, легшая на глупую бабью зависть... У неё же ничего нет, кроме собачьих случаев в гостиничных номерах... Она ходила, смотрела на тебя, на твою жизнь, новоселье, семью, мужа... А она же похожа — по росту, весу, возрасту, контуру... А у неё — ничего... И вот эта ненависть к тебе наложила у неё на какое-то её б...ское похождение по содомской части... А главная причина: она убеждена, что ты украла её жизнь, ты живёшь вместо неё...

\*\*\*

Всё это вихрем пронеслось в голове Имбирёвой, когда он сказал «как страшно жить!». Пронеслось, и металлом отлилось в единственно-верные сейчас слова:

— Вот видишь, Ваня, — поучительно молвила Ольга, прикусывая губу. — Тебе страшно — а простым людям ещё и трудно!

...Смерть сталинской эпохи была в военной форме. А женщину такая форма красит даже больше, чем мужчину... Нынешняя же Смерть — это идиотка с базедически-выпученными и пустыми глазами, даже не жестокая, а просто слабоумная... Та, из анекдота, которая, поймав золотую рыбку, загадывает свои тупые желания, отрывая рыбке плавники: «Лети-лети лепесток, через запад на восток...».

Ты просыпаешься, и понимаешь, что жить тебе нечем — потому что ничего на Земле для тебя не оставлено... И это не оттого, что кто-то так захотел, подставляя тебя, а просто потому, что всем на тебя наплевать... И твоя смерть становится такой же незамеченной, какой была и твоя жизнь... И нет ничьей злой воли, а просто кругом 100% злого равнодушия...

...Ольга ведь была хоть и взбалмошной, но неглупой женщиной. Она не хуже Ивана понимала, где оказалась по итогам 90-х... А самое страшное — где родились её с Иваном дети: в стране, в которой у одноразового заварочного чайного пакетика, как у кошки, появилось девять жизней... В стране, где из всех культур выгоднее всего разводить в сельском хозяйстве стало вдруг спирт водой... В стране, где к вечнозелёным помидорам и вечноживому Ильичу добавились вечноидущий «переходный период» и даже постоянно действующий(!) «Институт переходного периода»...

И отчётливо, из детства, из музыкального образования пай-девочки дзенькнул гитарными струнами Вертинский, обращаясь прямо, конкретно, непосредственно к ней, Ольге Имбирёвой, в девичестве Тумановой:

*Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная,  
И я знаю, что крикнув, вы можете спрыгнуть с ума.*



*И когда вы умрете на этой скамейке, кошмарная,  
Ваш сиреневый трупик  
окута-а-ает са-а-а-ваном тьма...*

Она не так наивна, как может показаться на первый взгляд... И она знает, может быть, лучше иных-прочих, что в современной России означает оказаться вдруг без денег... Оттого и подтрунивает среди подруг:

— Все девочки вначале думают, что деньги приносит аист или их находят в капусте... И только потом девушка понимает, откуда на самом деле берутся деньги...

Но сейчас, когда муж близок к коме, — ей что, Вертинского ему петь? Про сиреневые трупики? Или собраться в кулак и показать — как встречает беды русский человек?

— Ничего, Ваня! — подбодрила сопливо-слюнявого мужа Оля. — У нас с тобой есть ещё яма на улице Травной... Летом перецелуем там всех лягушек, авось, царевну отыщем... Она и одарит...

— Оленёнок... — он плакал и хрустел зубами, гулял желваками. — Ну что ты такое говоришь?

Она стёрла с лица дурацкую улыбку, явно ставшую фальшивой, под села к любимому под бок, приобняла его за широкие богатырские, вздрагивающие от подавляемых рыданий плечи:

— Ванечка... А ты что думал, я буду орать в свой последний час? «Умираю, но не сдаюсь», что ли?

\*\*\*

В этом и был секрет её оптимизма. Того удивительного оптимизма, когда она с невинным, искусственно-оглуплённым личиком могла сказать гостям:

— Кому «вода из-под крана», а по мне, так это просто хорошо обезжиренное молоко...

Или:

— Женщины сильнее и выносливее: ящеры вымерли, а ящерицы-то...

Она внутренне давно приняла свершившуюся над Россией смерть и, приняв, — перестала бояться. Зачем бояться того, в чём уверена? Оно уже случилось! Оттого Ольга и была такой бесшабашной в любом раскладе, в любой тусовке...

— Наша жизнь — раздолье для оптимистов! — говорила она, находя во всеобщем кошмаре светлые тона. — Здесь они могут упиваться своим умственным превосходством, потому что в целом эта жизнь — окончательный дурдом...

А попробуйте диагностировать иначе, если прямо за окном вашей квартиры, вашего с любовью оборудованного семейного гнёздышка — висит огромный рекламный щит на другой стороне улицы:

«Ботинки мужские, на все сезоны, из Германии»... И даже указан точный адрес обувного салона... Но при этом надпись окружена изображениями аппетитно снятых фиолетовых луковиц, между которыми заботливая рука фото-дизайнера очень вкусно разложила веточки петрушки...

Какой «мессендж» хотел передать таким «перформансом» рекламист — оставалось загадкой, а поскольку плакат был гигантский — то загадка становилась пугающей... И вот каждое утро ты смотришь на этот баннер, на другую сторону улицы, — и наполняешься манией величия единственного здорового человека в сумасшедшем доме...

\*\*\*

— Будем раком жить! — мечтательно заявил пьяный муж, избавляясь от носков с переменным успехом.

— Это как?! — Олины глаза поднатужились выпрыгнуть из орбит.

— Рака будем разводить, раком торговать... Заведём раковарню, с пивком, а излишки в рестораны сбывать станем...

— А-а... Ну так-то ладно... А то я, Вань, решила, совсем у нас плохи дела...

— А ты чё, про болезнь, что ли, подумала?

— Да не-е, Вань, я по своему, по-бабы... Ещё хуже...

\*\*\*

В одной комнате тошнит и рвёт в зюю пьяного мужа... В другой постоянно driщется полуторагодовалый сынишка...

Горшок в доме один на двоих, с ног сбилась таскать его из комнаты в комнату, не успевает... А поместить малыша и мужа в одну комнату непедагогично: нельзя, чтобы сын видел, как блюёт перепивший лишнего отец...

В дополнение разора снизу повадились ходить два брата-акробата, как она их прозвала — довольно похожие своей стандартной серостью хмыря: якобы Имбирёвы им заливают потолок на кухне...

Ольга сходила к ним этажом ниже, посмотреть. Пятно, действительно, было. Как были и нехорошие взгляды этих братьев, которые, хоть и не переросли во что-то худшее, но мнительной беременной женщине очень не понравились...

А теперь они снова настойчиво трезвонят, эти братья Евлампиевы снизу, видимо, снова докучать своим залитым потолком на кухне...

Ольга, чтобы чувствовать себя увереннее, взяла из комнаты тяжёлую, окованную металлом, битую. В прихожей посмотрела на себя в зеркало, и чуть не расхохоталась: рослая голубоглазая блондинка модельной внешности, с большим, вызывающе-выпирающим беременным пузом и с бейсбольной битой в руке...

— Наверное, так и должна выглядеть современная версия плаката «Родина-мать зовёт!», — утешила себя Ольга.

И в таком плакатном виде открыла дверь, в которую:

— Хозяйка... Эта... — по виду двух мрачноватых мужиков сразу видно, что их беспокоит не побелка: у них «шланги горят».

— Ну чего ещё вам надо?! Я вчера вам сказала — принесите счёт за ремонт!

— Хозяйка, ну эта... Опять течёт...

— Включите в счёт! — стояла Ольга на своём.

— Счёт-то счётом, а сейчас не можешь на срочный ремонт пару червонцев, а?

— Слушайте! — перекинула Оля битую из руки в руку. — Я — жена Ивана Имбирёва, более известного как Жмыхарь... И мой муж сегодня дома! Вон в той, дальней, комнате! И если он сейчас выйдет — то счёт вам придётся выписывать уже не для ремонта, а в ритуальном агентстве!

Мужики, приученные к воровскому укладу улицы Воровского, прониклись и попятились. Они достаточно легковёрны: ждут выхода какого-то терминатора...

Впрочем, думает Ольга, если мой муж сейчас выйдет в коридор — то он действительно способен напугать... В его нынешнем состоянии он похож на мертвеца, восставшего из могилы...

Словно услышав её мысли, Иван начинает за межкомнатной тонкой дверью какую-то возню и трепыхание...

— Пошли вон! — рекомендует Ольга гостям снизу. Они ретируются, а Ольга кричит им вслед, и крик повторяет гулкое подъездное эхо: — Счёт составьте и принесите!

Достойный кадр из фильмов про зомби, в дверном проёме дальней комнаты появляется Ваня-Жмыхарь, с оттянутыми коленками трико, с перекошенной и вздувшейся красно-зелёной рожей...

— Оля... Оля... Дай мне мамины маринованные огурчики...

И далее, с неразборчивыми идиомами и междометиями, шепчет про рассол, потому что ему «солённого хочется»...

— Ваня, — даже обиделась Ольга, принося ему чашку с огуречным рассолом. — Вообще-то из нас двоих я беременная... По правилам — дык это я должна солённого просить, нет?

Через некоторое время этот колдырь нашёл в себе силы поесть, но не нашёл сил сдерживать в себе пищу. С очень характерными звуками он обнимает дорогой голубой финский унитаз, всё нутро выворачивая с предельной откровенностью...

Ольга в этот момент переодевает ползунки описавшемуся первенцу, скобоченно сгибаясь из-за мешающего согнуться живота. Олечка прислушивается к звукам из туалета, задумчиво их осмысляет. Потом выдаёт своё детское понимание ситуации:

— Папа ва-а-а! — и разжимает из кулачка маленькую ладошку, как бы раскрывая пасть чудовища. При бедности словарного запаса «ва-а-а» у него обозначает всех крупных хищников с опасными, ручкой изображаемыми, пастями...

— Да, сынок! — с гордостью говорит Ольга младенцу. — Наш папа лев! Царь зверей!

Она ничуть не сердится, потому что вообще-то давно уже привыкла к странностям его любви. Это же Иван Имбирёв! Чего удивляться, что он просит «солённого» у беременной жены, причём лёжа и чтобы она сбегала, принесла? С ним и не такое бывало...

Когда она, не успев ещё доносить в пелёнках первенца, поняла, что снова беременна, она не знала, как сказать об этом мужу, и, откровенно говоря, побаивалась его реакции: дела шли не очень, вдруг он не будет в восторге от такой плотности собственного размножения?

А с другой стороны, как ни крути, проблемы или не проблемы — но ребёнок всегда радость, всегда праздник, не траур же объявлять...

Оттого Ольга избрала тон торжественного оповещения скромный и весёлый, прикрытый немного напуганной улыбкой.

Несколько неуверенным, запинаящимся тоном она начала издалека:

— Дорогой, я хочу тебя обрадовать...

Он резко обернулся на неё, страстно схватил за руку, глаза — плоски бешеные:

— Что, Ельцин умер?!

Ну вот, откуда у человека это в голове? С чего он взял?!

— Вовсе нет! — обиженно отстранилась жена. — Такой глобальной радости я тебе не принесла... Я хотела всего лишь сказать, что ты второй раз становишься отцом...

И поджала губы, в глазах заблестели слезинки: пусть теперь обнимает, целует, прыгает, радуется — Олю не обмануть! Другого события он ждал!

Этот лёд в родном сердечке ему не сразу удалось растопить восторженными и ликующими восклицаниями...

\*\*\*

Не все ещё факультетские подруги Ольги сошли с ума. Некоторые вполне себе милы и дружелюбны, хотя, конечно, ревностью порой покалывают...

Между беременностями Ольга сходила на встречу однокурсниц в кафешку, а там не одна и не две язвочки спросили её:

— Ну, колись! И каково это быть женой миллионера?!

Так достали её, что она попросила передать непременною на таких тусовках гитару, пообещав:

— Я вам сейчас спою про это...

И выдала заполошным, сатирическим голосом, подражая любимому мультфильму детства, про капитана Врунгеля:

*С удовольствием огромным,  
Мы приехали сюда,  
Отпустите нас с Иваном —  
Будем очень благода...*

— Ну, не ври, не ври! — засмеялась стоявшая ближе всего подружка Элинка. — Что за чушь? Хотели бы избавиться от бизнеса — так и избавились бы, нет ничего проще...

— Не, ну погоди, Элин, как? — обиделась Ольга. Ведь она и не думала лукавить или кокетничать! — Просто всё бросить, выйти на улицу и там окопаться?! — возмущалась Оля недоверию. — Чтобы бизнес бросить — другая жизнь нужна, другие отношения... Черепахе тяжело панцирь таскать, а без него совсем расклют...

И снова привычно тронула рукой струны:

*...Все в порядке, как ведется  
У порядочных господ.  
Мистер Мекки деньги тратит...  
Мекки-Нож их достает...*

— А вообще мы с ним иногда мечтаем о другом мире, другой жизни, другом человечестве... — созналась Имбирёва. — Он хотел бы там преподавать в университете курс истории средневековой философии...

— Нету такого курса! — возмутилась очевидной глупости Элинка. — Это в истории философии максимум пару лекций... Один параграф в учебнике...

— Ну, это же у нас воображаемая, сказочная страна! — пожала плечами Ольга. — Там есть... а я бы преподавала детям музыку...

— Ну как ты можешь преподавать музыку?! — удивилась подружка Дина, с которой в детстве вместе ходили в музыкальную школу. — Чего ты сейчас вспомнишь-то из музыкального? Собачий вальс?

— Ну.. — совсем смутилась Имбирёва. — Начала бы преподавать детям, и сама бы, глядишь, что-то вспомнила... Работали бы мы с Иваном часа три, максимум четыре в день, чтобы больше уделять времени друг другу.. Потом бы ехали на дачу, где соловьи, а там чай на веранде, с вареньем, и пожилая домработница Груня... Иван в академической шапочке-ермолке кричал бы: «Груня, подавай!», поправляя на плечах клетчатый плед...

— И на какие шиши вы бы наняли домработницу? — не отставала реалистка-Дина. — На зарплату двух преподав?!  
— Я иногда встречаю наших бывших преподав с универа... — влезла в разговор ещё одна подружка, Алия. — Знаешь, какую фразу я теперь чаще всего им говорю при встрече?

— Ну, и какую? — прищурилась Ольга, чуя подвох.

— «Примите шубу, дайте номерок»... А ты — «дача, варенье, домработница»...

— Ну, девки, вы что — совсем без фантазии?! — смеялась Имбирёва. — Ну я же вам говорю, это сказочная, волшебная страна... Там можно читать курс средневековой философии два часа в день, и денег хватит на домработницу, и даже на дачу... Допустим, скромненькую, но настоящую...

Да что там говорить? Снова серебряный перебор гитарных струн, и песня- мечта:

*...Улов семьи похож на диво,  
Душа спокойствия полна:  
Две-три сосиски! Кружка! Пива!  
О-у! И тишина... И тишина...*

— Жаль только одного, девки, — вздыхает Имбирёва, отводя гриф. — Что сосисками, пивом и тишиной карьеру не начинают, а заканчивают... Ведь, по большому счёту, и начальство и подчиненные не любят друг друга по одной и той же причине: и те, и другие не хотят работать...

Все с завистью вздыхают — представив себе страну мечты Имбирёвых. Тихий ангел пролетел... Потом бойкая Элинка нарушает молчание, и снова пристаёт по поводу имбриёвских дел:

— Кстати, насчёт дачи и тишины... Вы дом-то на Травной достроили? — заинтересованно и немного с завистью спрашивает она... Ведь на улице Травной участки в черте города — оттого чертовски дорогие...

— Нет, у нас там площадка для французского пикника...

— ?!

— Котлован под фундамент водой залило, лягушек летом — хоть обожришь...

Отсмеявшись, Элинка по методу ассоциаций переходит на французскую кухню:

— Никогда не могла себя заставить во французском ресторане съесть лягушатины... Заказывала на пробу, а откусить не смогла...

— Надо тебе было её с зимней окрошкой заказать... Под неё хорошо идёт...

— Какая ещё зимняя окрошка?

— Ну, это когда вместо кваса водку наливаешь...

\*\*\*

В нынешних обстоятельствах, конечно, хоть и зима — ни о какой «зимней окрошке» речи быть не может. Иван едва оклеимался, вручную продрал через склеившиеся веки красные глаза в тревожных прожилках, и жадно, похмельно уплетает солёные огурцы, на вид такие же склизкие, как и он сам, сошедший за утро тремя острыми алкогольными потами...

Узнав о беде в доме детей, приехала помогать свекровь, Наталья Степановна. Помогает она очень оригинальным образом: сидит на кухне за столом, с аппетитом уплетает утку с яблоками, которую Ольга заказала в отделе доставки ресторана, а наврала, будто сама приготовила. Несмотря на завид-

ный аппетит Натальи Степановны — она, жуя нежное утиное мясо, не забывает и о конструктивной критике молодых:

— Рази ж вы умеете готовить утку?! Ой, не смешите меня, вам с Оленькой до утки расти ещё и расти, не в обиду будет сказано! Утка — это же классика, это же Брамс и Гендель перед Чайковским с Бизе! Утку у Имбирёвых в старину как готовили, знаешь?!

— Догадываюсь... Наверное, с использованием огня...

— А-а, болтун! Ты изволь вот что: как выпотрошишь её, стервочку, наспигуй и изжарь на вертеле, с собственным ейным потрохом... На живом огне, на ветье<sup>8</sup> изжарь! А потрошки-то её, тваринушки, изрубь с собственным жиром...

— Это как?! — испугался Иван, к которому постепенно возвращается интерес к жизни. — С *собственным* жиром?!

— Ну, с её собственным, паскудинки, жиром, с внутренним...

— Господи! А я-то уж подумал...

— Индюк тоже думал, да в суп попал... Значит, ты изрубь потрошки с собственным жирком, не твоим, дурья голова, а её, а можешь добавить и свиного... Дед, покойничек, Фрол Имбирёв, весьма любил... И не ленись, положи туда петрушку, лук, помидорку и лаврушку! Это всё у нас оборащивали шпигом, да посыпем её, бывало, голубушку, перчиком, а потом пергаментною бумагою, и только тогда изжарим! Это вот была бы настоящая дичь, утка — а не твоя, *газетная*...

Несмотря на несколько обидные высказывания свекрухи по поводу блюда, якобы Ольгой приготовленного, сердце младшей (пока не родилась Няшка) Имбирёвой полно умиротворения и гордости за свою женскую мудрость. Разрулила!

Вывела Ивана из запоя, отыскав среди миллионов пустых слов единственные, в этой обстановке лично и конкретно для него убедительные:

— Нет, ну а как ты хотел? Ты ведь не родился с этим «Аргентумом»... Я прекрасно помню, что в советские времена там была на первом этаже пельменная, а на втором — «Кафе-мороженое» (кафе она произнесла издевательски, как «кифе»)... Всё это было отстроено на всенародные денежки и относилось к третьему тресту столовых общественного питания... А потом вдруг всё это оказалось в собственности Вани Имбирёва под гордым именем «Аргентум»... Ну, и конечно: пока Ваня это себе захомячил, никакой трагедии не было... А как у Вани забрали — тут трагедии начинаются...

— Ну и что ты предлагаешь? — спросил он, глядя на жену исподлобья, но уже с улыбкой. Убедила, чертовка, убедила, изнутри, через его принципы его же и взяла!

— А вот что... — развела руками Ольга. — Забыть всё, плюнуть и растереть... Бог дал, Бог и взял! И вообще, Вань, мне бы твои проблемы... Мне вот скоро рожать, если бы Бог мужчинам это поручил — род человеческий давно бы вымер... У тебя, в сущности, просто карманник вытащил деньги из кармана, и всё! А я... Ну, как бы мужчине-то объяснить?! Это как если бы ты сперва арбуз проглотил целиком, а потом бы так же целиком его выкакивал...

И тут он впервые за много дней, нервно, но всё же рассмеялся!

И Наталья Степановна, при всех издержках её скверного, склочного характера — нельзя не признать, молодец!

— Ну и что такого?! — поучала она раскисшего сына, уперев руки в бока. —

<sup>8</sup> Казачье, диалектное: сухое топливо отменного качества, хороший хворост для растопки.

Ты что думал, они тебя в покое оставят?! В жизни такого не бывало, чтобы человека с деньгами в покое оставили! Я, Ванюша, в 39-м году родилась, я жизнь знаю!

Она накрывается вперёд на табуретке, внушительно показывая, как много ей ведомо:

— И потому, Ваня, нерушима и непоколебима моя вера в наше правительство! И как бы ни было сегодня погано, гадко, подло — я верю, вопреки всему верю, даже когда трудно надеяться — что завтра эти подонки сделают ещё гаже... Я не могу объяснить, как им это удаётся, но я в это верю. И ни разу они моей веры в них ещё не обманули...

Наталья Степановна Имбирёва — сталинская пионерка, матёрый человек! Пару дней назад, когда она подметала на балконе (зачем подметать на балконе?!) и увидела, что двое злоумышленников пытаются взломать дверь в домовый подвал, где жильцы хранят картошку, варенья да соленья, она снова это доказала.

Она сняла с полки трёхлитровую банку с маринованными патиссонами — и как бомбу, метнула её во врагов. Страшно разорвалась трёхлитровка, полная рассола, при падении с третьего этажа; воры, запаниковав, убежали, и не исключено — что поседели по дороге... Подвал с овощами был спасён, правонарушение предотвращено, а свекровь Олина пошла звонить в милицию.

Подробно рассказала выездной следственной бригаде, как было дело, на месте преступления указала и следы от воровской фомки на двери в подвал, и осколки своего метательного снаряда. Объяснила, что куски патиссонов исчезли не волшебством, а были тут же растащены местными бомжами...

— А от нас-то вы чего хотите? — недоумевали менты.

— Как что?! — сделала Наталья Степановна круглые детские глаза, какие всегда делала, если собиралась стыдить своего сына. — Установите личности... А кто мне будет трёхлитровую банку с заготовками возмещать?!

— А теперь надеюсь только на одно, — возмущалась чёрствости осмеявших её дознавателей бабка, — что наши юные патриоты из школьных поисковых отрядов найдут и торжественно перезахоронят останки без вести пропавшей ихней совести...

Как не любить Оле такую свекровь? Которая, узнав всё, сказала буднично: «Латна, не ссыте, у меня продуктов на два года автономного плавания дома заготовлено... Можем вообще два года из квартиры никуда не выходить...

— А вода? — благодарно заулыбалась Ольга, чувствуя, как отпускает железную сдавленность нервной системы.

— Летом ведро подставь, а зимой — снег на карнизах! — удивлялась свекруха её житейской неопытности. — Я у Вани не зря деньги брала, знала, что этим всё кончится... А он ещё выпендривался, — она очень похоже передразнила сына. — «Да что у тебя, мамо, такие привычки лабазничать?!».

— ...Она права, совершенно права! — капитулировал перед мудростью сватки Олин папа, когда она ему рассказывала про её бурлески. — А я вот заблуждался, увы, многое недопонимал раньше... Когда мне сказали, что начислят пенсию, — я не думал, что это будет выглядеть, как простое начисление долгов по квартплате... На современной пенсии, дочка, даже фальшивые инвалиды, оформившие себе инвалидность за взятку, — становятся настоящими...

Ольга тоже полна решимости «разоружится перед партией» — то есть во

всём слушаться бывшего парторга КПСС издательства «Кулинария» (как ни смешно это звучит — Имбирёва именно такую должность занимала, даже получала за неё в буфете пайком сосиски, сардельки и остродефицитное печенье «Юбилейное»). Ольга теперь слушает её советы внимательно, чуть ли не в блокнот за ней записывает:

— Ты ему сделай домашний майонез, — рада стараться бабулька, которую последние годы мало кто всерьёз слушал. — Покойник-то отец его любил очень с похмельюшка...

«Господи, только в России может быть такое ласковое слово как «похмельюшка...» — думает Ольга восторженно.

— Я его отцу сок туда выжимала из хряпок<sup>9</sup>, для бодрости очень хорошо...

И Ольга с уважением понимает, что при скудости техники свежесок выжимала в майонез кочерыжки(!) вручную(!) — какую силу бабе иметь нужно!

— От, врать не стану, продукты все брала на глаз... В стакан вливала яйцо и сверху масло, примерно с полстаканчика... Я тебе советую, Оленька, дочка, не жалея масла, кады оно есть! И вот туда я наливала сок хряпчатый... Ну и вот венчиком начинала себе взбивать потихоньку... Вот ты смотри: добавь щепотку соли — но только в самом конце! Тут подвох! А масло бери постное, но самое из *йих* сильное...

Оля не знает, как измерить силу масла, но стесняется спрашивать...

— И лучше не храни долго, Олюшок, сделай на раз-два... Оно же очень полезное, без консервантов... Такой вот майонезик, свеженький, лёгонький — для похмельного казака самая невинная радость... Трудно им сразу-то перейти к невинным радостям опосля винных... А ты помоги! Помоги! У нас как в станице говорили: «*кровь да моча — это для врача*»... А мужу повкуснее надо чего-то, поприятнее...

\*\*\*

Тут семейный совет прерывает звонок в дверь. Ольга думает, что это опять явились проклятые, с вечера залитые братья Евлампиевы, и потому, открывая, снова вооружилась битой. В таком грозном виде её испугался курьер из офиса мужа, один из тех, кого Иван Сергеевич ласково звал «топ-топ менеджерами», отправляя сбегать то туда, то сюда...

— Ольга? — спросил он изумлённо, сперва отшатнувшись, а после приглядываясь в тусклом свете подъездной лампочки.

— Мишаня?! — в свою очередь удивилась она.

Вот где, оказывается, один из её однокурсников! В «топ-топ менеджерах» у мужа!

— Ты тут какими судьбами, Мишаня?

— Коллектив послал. Иван Сергеевич пропал, не знаем, что делать... Он нас всех распустил, а мы не расходимся... Мало ли что, может он в сердцах сказал...

— Правильно делаете! — взяла Ольга ситуацию в свои руки. — Иди и всех успокой: нервный срыв у шефа! Бывает... Он же тоже человек... Деньги на зарплату сотрудникам есть, всё в порядке... Ну, а проблемы... Это наши проблемы, Миша, не ваши... Ферштейн?!

— Яволь! — разулыбался Мишаня.

— Представляешь! — щебетала Оля, отправив курьера с радостной вестью. — Оказывается мой одноклассник, Мишка Громов, у тебя работает! Да ещё и курьером... Прямо неудобно, Ваня, у него же «корочки» такие же, как у меня...

<sup>9</sup>Казачье, диалектное — капустные кочерыжки.



— Кое-что другое не как у тебя... — скалился Имбирёв, притягивая её к себе, и довольно чувственно облапив упругую пятую точку.

«Ожил!» — сделала она из этого приятный для себя вывод.

— Ну, всё-таки, Иван! — игриво отбивалась она, делая вид, что собирается вырваться из объятий. — Курьер после вуза... А уборщицы у тебя из академии наук?

— Чего удивляться? — ворчит свекровь, которую нервируют слишком уж откровенные игры детей. — Сейчас простого дурака-то и не встретишь... все с образованием...

И снова, не в бровь, а в глаз попадает 2000-му году её житейская мудрость...

\*\*\*

Однажды, уже осенью, он пришёл к Ольге со взглядом, который она понимала без слов...

— Оленёнок... — начал он, думая идти к сути издалека, но сбился, и сразу выдал всю суть разговора. — Я не могу принимать это решение без тебя... Все наши деньги общие... Мы можем жить дальше, как жили, на скромную жизнь нам хватит...

— Но я так понимаю, — подмигнула жена, — есть альтернатива, да?

— Корнеев... Ну, из мэрии, ты помнишь... Стукнул мне, что в городе работает федеральная спецбригада ФСБ... Этот новенький... Путин который... прислал разбираться с региональными баронами... В общем, есть шанс... Не без риска, но шанс...

— Вернуть «Аргентум»? — без особого энтузиазма спросила Ольга.

— Нет, об этом речи не идёт... Если каждое отжатое здание возвращать — придётся все итоги приватизации пересматривать, они на такое никогда не пойдут... Об «Аргентуме» мы можем с лёгким сердцем забыть!

— Тогда что?

— Можно постараться снять с должности Бориса-свет Хайдаровича, губернатора...

— И что для этого нужно? — сразу собралась она и посерьёзнела.

— Деньги, Оленёнок. Все деньги, которые у нас остались...

Она дрогнула, но только на секунду. Ей простительно: она мать двоих детей, и она имеет стаж жизни в аду с 1991 года... И без остатков когда-то завидного состояния ей оставаться чисто по-человечески страшновато...

Но жить вообще страшно — сказала себе Ольга.

Ни говоря ни слова, она взяла с трюмо шкатулку с его подарками, бриллиантами, — и широким жестом высыпала их на покрывало огромной супружеской кровати. Этого ей показалось мало, и она, раскрыв гардероб, стала кидать туда же, поверх бриллиантов, свои отдающие лавандовой ароматизированной антимолью шубы...

— Бери, Ваня! — прошипела она бешеной пумой сквозь крепко сжатые перламутровые ровные зубки. — Всё бери... Но только гниду эту, которая отца моих детей унизила... Достань его мне, Ваня!

В её глазах зияла нечеловеческая ненависть. В ней, как в собаке, очень долго воспитывали жестокость контактной притравкой — вначале Егор Гайдар, потом Чубайс с Кохом, а потом и прочие, чьих имён она не произнесла бы без плевка... Она, казачка, оренбургская степная волчица, смотрела так, как смотрела булгаковская Маргарита, когда воскликнула перед Воландом:

— В сердце! В сердце!

\*\*\*

...Они сидели в двухспальном гостиничном номере, на своих кроватях, вокруг столика с «Нарзаном» и хрустальными стаканами. Как и положено при их профессии — безликие, мало запоминающиеся...

И, наверное, они хотели его удивить, когда старший из них, с посеребрёнными висками, сказал голосом, начисто лишённым эмоционального выражения:

— Иван Сергеевич, будем начистоту, чтобы не терять времени... Ваша история нам известна, но... Честно скажу: неинтересна! У вас отжали недвижимость, в центре города, потому что она понравилась начальству... Такое сегодня сплошь и рядом, ничего удивительного: вор у вора кошелёк украл! Мы этим не занимаемся, Иван Сергеевич... Мы — спецбригада ФСБ, и мы не можем... а по совести говоря, и не хотим, я вот лично не хочу... быть вышибалами в споре хозяйствующих субъектов. Нас прислали сюда совсем с иной целью...

— А я и не собирался говорить с вами о моей бывшей недвижимости, — улыбнулся Имбирёв, потому что настал его черёд их удивлять. — Что с возу упало, то пропало, о том речи нет... Бог дал, Бог взял...

— Но позвольте... С чем же тогда вы пришли к нам?!

— Рассказать о связях нашего господина губернатора с чеченскими бандформированиями и чеченскими криминальными группировками, зарабатывающими здесь на войну с вами...

— А вы можете это доказать?! — оживились оба командировочных.

— А зачем бы я набивался к вам на встречу, если бы не мог этого доказать...

— Но вы понимаете, что на судьбе вашего бывшего ночного клуба это никак не отразится?

— Я же сказал уже: судьбой бывшей собственности, в отличие от судьбы бывшей жены, не интересуюсь...

— Ну раз так... Давайте посмотрим, что вы нам принесли...

Иван Сергеевич небрежным, но элегантным жестом откинул замки своего кейса... Ему было что показать...

\*\*\*

...Впрочем, это совсем уже другая история...

## САГА О ТРЕТЬЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Как говорят в краю — коли у казака застолье, собаки от радости визжат, а куры с горя плачут... Принимать в праздник в доме войсковую старшину — дело для оренбуржца хлопотное, беспокойное. Оно, конечно, почёт и уважение дому, но с другой стороны — и за нехватку пожурят и за лишнее осудят.

Скажут: «кушаем мы, что Бог послал, но не будьте же атеистами!». А жене при такой мудрости каково? Чтобы без фанатизму — но и не пусто... И где ей быть? Всё накрыть и исчезнуть? Скажут: что же ты женщину свою так унизил? Или сидеть в компании? Скажут: мешает разговору мужскому, навязчива баба...

Жена должна появиться, когда положено, или когда позовут, позаботиться о старшине, и так же тихо исчезнуть-испариться. Чтобы не смущала своим присутствием в мужской беседе, но при этом — не оставляла заботой, не заставляла беспокоиться самим о столе и столовых приборах...

С вечера уже сервируется на разложенном столе типа «Дидона» в самой

большой, овальной, примыкающей к кухне столовой зале дома Имбирёвых грядущий банкет. Тарелочки фарфоровые, ложечки серебряные, черпаки хромированные, в выпуклом боками стекле крюшонницы с лениво плавающими внутри, словно рыбки в аквариуме, грушами, преломляется медовым цветом световой луч... Кушай от души! В хрусталях играют блики «мономаховой» люстры-короны с потолка, прыгают на богемское стекло фужеров...

На большой кухне дома Имбирёвых не то что с вечера — с самого предыдущего утра, всем есть дело. Трудится Ольга Имбирёва, её помощница-младшанка Рада Сырда, трудятся Олины отец с матерью, а всем этим пытается руководить, иногда отвлекаясь на особо сложные рецепты, свекровь, Наталья Степановна Имбирёва.

— Ты тарелы-то пошире расставляй! — советует она с высоты своего большого жизненного опыта.

— А что? — недоумевает Ольга.

— Рыбаки же соберутся! Как начнут руками уловы изображать — фингалов друг другу понаставят...

Всё тут одновременно: и варка, и тушение, и запекание, и жарка во фритюре, и на вертеле, и на решётке, и на сковороде... Доспевают на завтра в разной степени готовности шеренги пирогов, ватрушек, колосничков, калачей, курников, пышек, шанежек, оладий, блинчиков, беляшей с жиром хлоплюющим нутром в «глазке». Особая статья — «колдуны» с рисом и яйцом. Для того отварной рис замаслят одной ложкой сливочного масла, добавят два рубленых яйца, укроп, петрушку — а потом, если языками с аппетита не подавятся, — попробуют, каково это во рту тает...

— Ты *йим* вот так поклонись, — пытается Олина свекровь изобразить какой-то древнерусский поклон, но ей мешает кубатура телес. — Скажи «очень вашим приходом рады» да и выйди... Нечего жене в мужском разговоре уши греть... Тут дело тонкое — вон у полковника Попова, политрука, враля, липовыми медальками себя обвесившего, — жена поклонилась, вышла и стала за дверью... Попов её как ни крикнет — она тут же является...

Ну и судачит старшина — мол, где это видано, чтобы женщины у замочной скважины подслушивали?! Хотел, как лучше, а вышло вона как! Ты отойди в дальние покои, чтобы, когда гостям чего надо, Иван тебя вызванивал, и ты бы не сразу являлась...

\*\*\*

Щи на первое, вместо традиционного «борщча» — были рискованной затеей. Ольга решила делать их по старому казацкому окраинному рецепту, всыпав в супец нехитрый — хитрую приправу мелкой чёрной рыбы: сушеную, смолотую рыбную мучку, что так украшает кислые щи...

Ольга добавляет последний штрих: бульонный кубик. Это видит свекровь, сомневается — и у них получается диалог, который только женщины могут понять:

— Не лишку? А ну как не запоёт супец?

— Запоёт... — хмурится Ольга. — Полвека у Тумановых запевают... С микояновских говяжьих начинали...

— Так то микояновские... А этот-то «Магги»...

— Не «Магги», а «Подравка»...

— Теперь один хрен — НАТО...

— Ну, Наталья Степановна, усилитель вкуса...

— Их вкусы уже намертво сложились, ничего там не поправишь, дочка!

Готовятся запеканки и крупеники, как обычные, так и в сочетании с овощами, молоком, творогом, яйцами. Всякой закуски должно быть вдоволь: и холодной и горячей, и острой, и пресной, и овощной и мясной... Ляжет на стол румяный гусь с противня в «рукаве» и шоколадного пригара утка из жаровни; тушки их обложат яблоками, зеленью...

— Попа приведут, начнут перед едой молиться! — ерничает несколько свободомыслящая в отношении религии с советских времён Наталья Степановна. — Как будто мы прям так плохо готовим, что они «отойти» без покаяния боятся...

Будут и сальник из ливера баранины и сочный бигус из капусты со свиной головизной. Мясо будет за столом крупным куском, а окорок — целиком. Вокруг мясного в чеплашках-малютках салат из редьки с творогом и орехами по-казахчи... А вот и «ушное»: какой же стол без него: репу, брюкву, лук и морковь нарезают дольками, капусту — квадратами...

Надобно подумать и про грибочки. В продолговатой мисе — чёрные грузди, в другой — белые. Чёрные — гулки, белые — хрустки, и те и другие в тягучем рассоле... Рыжиков не забудь, Ольга-свет Анатольевна, для них вазочка на ножке, грибок, предназначена...

— И коньяку возле них поставлю... — бормочет под нос Ольга. — А то боюсь поправиться, боюсь кушать... Алкоголь притупляет чувство страха... Всё-таки потрясающая фигура — это когда есть чем потрясти, а не погреметь!

В блюдечки по обоим краям стола — маслята, не патроны — а грибы хвойного леса. В хрустальной вазочке с воинственным угольчатым краем, — закусить извольте, — боровички.

А на малой декоративной сковородочке — будут жареные моховики со сметаной. Ить, знают оренбуржцы, вкус у моховиков ничуть не хуже, чем у белых грибов! Готовя моховики, Ольга воспользовалась старым тумановским семейным секретом: капнула чайную ложку уксуса в варево, и грибы не почернели...

Рядом, в грибных парах, выпендривалась свекровь. Сын в рамках сыновьяго долга купил Наталье Степановне мобильный телефон, каковых пока ещё маловато в городе. Мода на «сотовые» только входит в дома России. И свекровь откровенно хвастается, демонстрируя всем аппарат, и делая вид, что телефоны родни в память забывает:

— Анатолий Эдуардович, вы мне номер Нины подскажите...

Тумановы скромнее. У Тумановых пока ещё в семье не десять мобильных. У Нины Павловны, в частности, отдельной трубки нет... Но Иванов тесть элегантно выкручивается:

— Вы что, думаете, я падишах, и жены у меня пронумерованы?!

— А вы мой номер запишите! — шпилькой на шпильку фехтовала Оля. — Мой номер восемь...

— В смысле, ты у моего сына восьмая? — недоумевает такой непритязательности свекруха.

— В смысле, когда я ложусь на спину — я для него становлюсь бесконечностью...

Перегнула палку, надо признать, покраснела не только свекровь, но и собственные родители.

— У нас, самое главное, — приходит на помощь молдаванка Рада, снимая неловкость момента, — если, конечно, вы в брюках, — не кладите тут мобильник в задний карман...

— Почему? Стащат? — обрадовалась смене темы Наталья Степановна.

— Воровать у нас тут некому... А вот туалет у нас пока сельского типа, шамбо...

Слова словами, а моховички — моховичками. Крепкими, упругими ку-сочками легли они в постное масло в большую чугунную сковороду, с тол-стыми ретро-стенками. Там и тушились, солёные, до усушки, и выдали сок, похожий на бульон, а Ольга их постоянно помешивала, чтобы они не при-жарились ко дну. И лишь когда стали они выделять на всю кухню незабыва-емый грибной аромат — добавила в моховички сметану... И ещё пять минут тушила, уже со сметаной... Она такая, Ольга!

\*\*\*

Всего должно хватить, чего бы старшина не хватилась: и выпечки, и пива, и квасов разных, тёмных да рыжих, и сыров, и варенья, пастилок, колбас, разной рыбы. «В столе потешением» стали бараньи потроха, с яйцами, мо-локом и мукой, сальники да сычуги, кашей гречневой фаршированные...

— А в Европе гречку считают сорняком! — сетует тесть Ивана Имбирёва, Анатолий Эдуардович Туманов, занятый в процессе фаршировки.

— Боже мой! — Наталья Степановна от возмущения чуть поварёшку из рук не выронила. — И это говорят люди, которые едят лягушек, улиток и заплес-невелый сыр!

Решили на семейном совете: быть архиерейской ухе в трёх водах, в трёх сливах! И студню быть, зыбкому, прозрачному, в жирно-белой слёзке, с же-лобками отражённого рельефа алюминиевых корытцев...

Будут в судах икра красной рыбы, и кабачковая, и баклажанная, про которую повелось в XX веке говорить — «заморская», и грибная икорка. Чёр-ным бисером — сверкнёт с вазочек осетровая...

Подцепив на вилку несколько чёрных икринок, Анатолий Эдуардович грустно сказал своей жене:

— Вот, Нинок, это наша с тобой пенсия!

— Я ваша пенсия! — радушно обняла дочка Ольга родителей.

Порадуют гостей тонкие, как лепестки, ломтики отварного языка на ли-стях салата, на блюде выложат черный ржаной хлеб, и мед, а конвоирами станут по бокам квас и водка...

Разве ж не в Оренбуржье мы? Как при губернаторе Кауфмане, после ко-кандского похода, лягут на блюдца курага, урюк, инжир, изюм, хурма, ли-моны... И самые разные варенья, конфеты многие... И наравне со сладостя-ми, на правах десерта — удивительный, пропитанный гранатовым соком и «соком горы Араратской» (так в семье Имбирёвых называют марочные ко-ньяки), томлёный на малом огне умелой Натальей Степановной целых пять часов, — отборный кусочек свинины... Про такое скажешь-то, слюнки побег-ут, а увидишь — они обратно вернуться...

Не забудут женщины семьи Имбирёвых про свежие шампиньоны: пере-брать их, зачистить ножки, отрезать их, шляпки почистить, снять кожицу... А потом всё промыть в холодной воде, откинуть сито, мелко порезать, отва-рить в молоке и пропустить через мясорубку...

\*\*\*

Хозяин дома, Иван Сергеевич Имбирёв, — приехал «со служб» (у него их много) во второй половине дня, привёз с собой молодого управляющего пель-менным цехом, Витьку Яхрамова. Бодро прошёл вдоль строя кухонной ме-бели и поинтересовался — нужна ли какая помощь?

— Вот, Витёк, понюхай, как семейная жизнь должна пахнуть! — объявил

Иван с широким жестом на стороны, и почему-то пододвинул Яхрамову соус к разварной говядине — хрен со сметаной.

— Ну как заправка? — интересуется босс пищеблока.

— Великолепно, — кивает Яхрамов, и по его каменному лицу не определишь, то ли ему понравилось, то ли иначе нельзя.

— Вот такую к пельмешкам, к хинкали, к равиоли пустить... Кстати, Витюш, эту этикетку на двенадцатом артикле, «Моя семья», смени!

— А что такого? Это ж франшиза...

— Пельмени «Моя семья»? Витюша, нас посадят за каннибализм, ментам отчётность же нужна, а тут улики прямо в руки...

— Ваня! — метнулась к сыну мать, влезая между ним и помощником. — А что если нам на столиках под сливами, в саду накрыть? Если завтра будет жаркий день, в столовой зале душно станет, народу-то много...

И они выходят на террасу через двустворчатые стеклянные двери, смотреть — в каком состоянии садовые столики и лавочки... Надо ли столешни клеёнкой покрывать, или так, в случае знойного дня, оставить?

Дело близко к концу, дело стало за приправами. Рада их подносит, Ольга придирчиво проверяет. Есть, конечно, в банке домашняя «хреновина» — томат с хреном. А есть аналогичный томат, но уже не с хреном, а с красным жгучим перцем — «огонёк». А есть ещё «огонёк» с чесноком... Про него у Тумановых говорят — «чеснок в депрессии» — потому что он подавленный...

И не нужно путать его с аджикой, она идёт отдельно к особым блюдам... Что, в свою очередь, сильно отличается от «томатных сливок» или «леча» — помидоров, переработанных со сладким болгарским перцем.

В нём остроты нет. Зато есть морковь, яблоки, редька, репчатый лук, петрушка, кинза, чуть-чуть чёрного перца, розмарин да базилик...

И дальше пошло на едовую вахту из тумановских и имбирёвских семейных рецептов: солёная капуста в банке, капуста по-дунгански в банке (кто-то из предков ходил в поход на Кульджу через китайскую границу в 1871 году). Маринованная капуста краснокочанная сменяется огурцами, маринованными дольками в горчичном рассоле, а сбоку литровая баночка — облепиховая приправа в собственном соку, и ещё — хрустящие малосольные огурцы, словно живые, играющие натуральными цветами овоща, соус из слив к мясу и острая азиатская морковь соломкой...

— Ну, теперь всё есть! — кивает молодая хозяйка. — Разве что бамбукового соуса нет...

— Жалко, что я свои старые удочки не прихватил — откликается Анатолий Эдуардович — А то бы выжали...

\*\*\*

День отбулькал бульонами и отстучал по разделочным доскам. День смело и смяло, и он садился красным шаром-яблоком за горизонт, а в случае с Ольгой Имибрёвой — за цельно-металлический забор их участка на улочке Травной... Усталая и счастливая жена думала, что в прошедшем мельтешении для праздника животов есть нечто иное, куда более долговременное и важное, чем можно уместить на блюдо или положить на тарелку. Таинственная связь с предками, женщинам, продолжающим роды, особенно понятна... Есть загадка в этих столетних рецептах из замасленных тетрадок с клейками и выпадающими вырезками... Есть загадка в маринованных с укропом и зубчиками чеснока огурцах...

Нет ничего менее значимого, чем они — съели и где? Нет ничего более

вечного, чем они — как птица Феникс, эта бурлящая в кастрюле и шипящая на сковородах суета — каждый вечер умирает — и каждое утро возрождается. Что хранили — истлело. А что скушали тысячу раз, не глядя и не думая, — снова с тобой, как с прадедом твоим, и прадедом твоего прадеда...

Вот нет уже и тебя, и даже памятники твоей эпохи снесли, а чеснок остался чесноком, горчица горчицей, а лечо — лечем, и «лечит» уже совсем других людей, о которых ты, может быть, сейчас и догадаться не сумеешь...

Кто сказал, что счастье нельзя описать, потому что оно лишено интриги? Вот, берите свои мольберты и описывайте с натуры, прямо вот отсюда, с бетонированной дорожки, на которой растворяется в сумерках прощальный летний луч. Редкие прохожие шуршат за воротами: вечер, закат — это на коттеджной улице Травной, в просторечии Травке, увидишь женщину в мехах и парня в майке...

— В семейной жизни, — когда-то учила Олю мать, — важны два правила. Если муж принёс в дом деньги, восхищайся и говори — «ах, как много ты работаешь ради нашего счастья!». А если не принёс — тогда просто молчи. Как бы трудно ни было — молчи. От твоей стервозности денег не прибавится, а вот мужчина — уйдёт... Девчонки, которые этого не знают, — теряют семью на второй год, а какие и в первый же...

Ольга так и делала. От этого, конечно, не всё зависит — но кое-что зависит. Их с Иваном не назвать богачами, потому что слово «достаток» ограничено с обеих сторон, снизу и сверху. Значит, нехваток нет, но и лишнего не водится. Когда нужны были средства — Иван находил их, и так ловко, что порой казался жене волшебником, — но строго по потребности, словно хлеба в столовой брал к обеду...

— Если бы я был поглупее, — как-то сознался он, полушутя-полусерьёз, — то наша с тобой жизнь была гораздо более богатой... И гораздо более короткой...

Счастье заключалось в том, что её это устраивало. Вообще — всё устраивало, она получила дом своей мечты и мужчину своей мечты. Другим, может быть, нужны другие — но это их проблемы...

Хотя не всегда концы сходятся с концами — обделённой она себя совсем не чувствует.

— У тебя нет аллергии на домашних животных? — спрашивает муж, и узнав, что нет, приносит норковую шубу...

— Ваня, ты же только вчера говорил, что у нас нет денег! — ужасается Ольга, вспоминая невольно подслушанный телефонный разговор мужа с кем-то из его деловых партнёров.

— Это не на те деньги, которых у нас нет... — успокаивает её Иван Сергеевич, и ей становится хорошо-хорошо, и даже, верите ли, не из-за новой шубы, а в целом — от воплощения женской мечты...

Она считает себя несерьёзной, легкомысленной и растратчицей. Она неоднократно говорила себе, что нужно быть скромнее, но в этом вопросе себя никогда не слушалась. Потому что, как ни крути, и сколько раз не охай «с милым рай и в шалаше», — но ей чертовски нравится выйти из дома «налегке»... С одной только кредитной карточкой мужа...

Забурится поглубже в торговую толчею, а потом сама над собой прикалываться:

— Девочка из богатой семьи с утра пробежалась по бутикам... И стала девочкой из небогатой семьи...

Ну и ничего. Будет новый день и с ним новые деньги. И, по большому

счёту, всё есть, что нужно для счастья. Женское счастье — это гнездо. Желательно повыше и утеплённое. Такое гнездо Ольга с Иваном и свили из подручных материалов...

Со стороны, в сумерках, — отрадно посмотреть на свой большой дом, новострой, в котором добровольные амбиции семьи боролись с вынужденной экономностью. Как и всякий советский мальчишка, Имбирёв в мечтах хотел бы возвести что-то вроде Баскервиль-холла, из фильма с Ливановым, Соломиным и Михалковым. В итоге по одежке протянул ножки — возвёл прямоугольный пенал из белого, силикатного (подешевле) кирпича, два этажа типовухи, а сбоку — башенка.

Главное, что дом, хоть и неказистый — но большой. Вместительный, что важнее всего для растущей семьи. И окружён садиком, напротив — маленьким. Размеры садика значения не имеют, хотя приветствуется минимализм, чтобы грядок летом меньше окучивать...

Река родовая втекла сюда, как в мельничную запруду, и так хорошо, до карасиков, тут реке показалось, что превратилась в озерцо с лилиями! И не в доме дело, и не в сети кулинарий, и не в пельменном цехе (всё на жену переписано), и не в депутатстве мужа! Есть главная должность у него, с которой не снять. Он — Иван, а оттого на нём вся Россия держится. И он Имбирёв. А это — история живая. Это не кто-то там, родившийся в семьдесят лохматом году, а...

\*\*\*

Дивен человек в роде своём, чудна переходная повадка от прадеда к правнуку. Слушая истории о далёких кокандских походах казаков Имбирёвых — невольно и даже с замиранием сердца узнавала в давних степных бородачах Ольга своего мужа Ивана... За каждой деталью охалось — «и он бы так поступил»...

В пореформенные годы позапрошлого века родились у именовавшего себя, может быть, не без лукавства, «однодворцем»<sup>10</sup> Федоса Имбирёва два мальчика: Зосим и Савватий, крещенные в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Дальше — дело известное: от Зосимы Федосыча происходит Герасим Зосимович, от того — Фрол Герасимович Имбирёв, от Фрола — Сергей, а от Сергея — Иван Сергеевич «Имбирёв-современный».

Но в позапрошлом веке об этом, конечно, никто знать не мог. В положенный срок с голубыми лампасами, снаряжённые целиком за счёт семьи, конно и оружно, ушли братья Зосим и Савватий в Кокандский поход под командой его высокопревосходительства, генерала Кауфмана-Оренбургского. Савватий в битве у Ходжента потерял три пальца — «самые важные, чтобы стопку держать», вернулся на село, сеял на своём наделе «горчицу — барскую еду», выгодно продавал в город Куву, тогда уездный, и стал в итоге тем, кого в наши дни называли бы фермером. Было у Савватия восемь детей, трое умерли в младенчестве, из оставшихся — пошли и инженеры, и гергиевские кавалеры, ну, да не про них речь...

Пращур Ольгиных детей, Зосим Имбирёв, оставался в службе и после Ходжентского дела. Был в жарких делах при Оше, гонял в числе шести казачьих сотен хана Абдурахмана по голодным степям, бился при Мин-Тюбе.

Вместе со славным Скобелевым, получившим приказ о штурме Коканда

<sup>10</sup> Близкое к казачеству, но более высокое сословие служивых людей — дворяне, потерявшие всех крепостных и оставшиеся в одиночестве, но с правами дворянства. Отсюда и «однодворец» — имели лишь один двор, свой собственный, без крестьянских.



с припиской «Миша, не зевай!», — брал крепкий город Коканд, поднимал тут знамя державы Российской, стирая азиатское рабство и азиатские прежние границы. Нет никаких ханств — одна Российская Империя на всё пространство, из края в край земной!

Просто так медаль «За покорение Ханства Кокандского» не дают, а именно с такой медалью явился в родные края Зосим Имбирёв. Из рассказов он представлял перед Ольгой вылитым её Иваном, той гремучей смесью, свойственной русским и только русским: смесью фанатизма, романтизма, и лукавой житейской приспособительной пронырливости, обозначаемой неведомым другим языком словом «смекалка»... Одновременно и храбрец, и делец. И лев и лиса — вроде бы так не бывает, а у русских сплошь и рядом...

Зосим Федосович на земле дале работать не смог или не захотел. Если верить ему самому, то под Кокандом сильно застудил он ноги, отчего при любой непогоде сильно ныли ступные суставы и пальцы на ногах «отымались»...

— В Коканде, братцы, так! — живописал Зосим Имбирёв разинувшим рты «станишникам в коротких штанишках». — Днём там сильно жарит и душно... Нагреешься аж упреешь... А как стемнеет — сильно холодит из пустынь, вода в казанах замерзает... Поставили меня, к примеру, на часы ввечеру — я стою, солнцем залитый, фурага белая с фатой — тьфу, срамота, как невеста, ну да там по другому не походишь... Припекает — хоть загорай... Садится солнце — и что бы будешь делать? Ведь потный весь, а тут как дыхнёт ледянкой!

С тех часов я вернулся на бивуак, стал сапог тягать — их, думаю, портянута забыл намотать! Ан нет! Ковырнул — примёрзла моя портяна изнутри сапога, чистым льдом к стельке приморозилась! Ну, ног совсем не чувю — думаю, медики народ ненадёжный, отымут мне ноги... Но дохтур свой попался, из казаков, он мне водки шкалик выпить велел, порошков каких-то туда всыпал, и под три овчины меня положил спать... Проспался я, робяты, — и как новый стал. Думаю, отпустил меня Коканд... Однако ж не тут-то было: как погодам меняться жребий — так у Зосима Федосыча вашего сильна ломота образуется... Дают о себе знать кокандские ночи...

С больными ногами Зосим оставил пахоту брату с отцом, и малоожиданно для сельчан открыл на тракте Чайную. Царским воям пенсии не полагалось: дали медальки, вот и бренчи ими, у мира кормись... Но Зосим Имбирёв, однодворец он или не однодворец, а всё ж казак, не лапоть... Интересный у него капитал обнаружился после кокандского похода — золото-серебро разного чекану...

— Ну, как вышла энтому Кокандскому ханству полная отставка, — рассказывал охотно держатель Чайной, — нам его высокопревосходительство говорить изволили: всё, молодцы, делу конец, одна теперь есть Российская Держава, а боле ничего! Туркестан мы весь прошли и на Индии всякие вышли! Стало теперь нам, орлы-герои, вместо доблести милость явить! Явить, что царство Русское с врагами строго, а подданному мать с отцом... Всю пленоту — а её много у нас сбилось за редутным дувалом — распускайте по домам, пусть белому падишаху теперь служит, сиречь — государю нашему благоверному!

А в плену-то под моей командой были... Ну, как бы сказать? Ихние вроде как дворяне, беки да байы... А они в Коканде пешком ходить мало обучены: им коня подавай, до дому вертаться... Ну, уж такого поругания казне я не потерпел, пушай, говорю, родня ваша до вас добирается, с конями, а я

вам, по бедности, могу из всего коня одних только шенкелей зарядить по полной, ежли хотите!

Далее вышла штука: приходят родственники за беями и беками, а конвойный старшой в строгость играет: нет бы сразу отпустить, как генерал велел, а он начинает, шутки ради, фамилии выяснять, делает вид, что в бумагу впишет (хотя писать был слаб весьма). Ну а какое у бея кокандского фамилие? Как говорил, скалясь, чайник Зосим Имбирёв — «не понимают оне-с... Азия-с...».

Восточные люди — они приучены дела дарами решать. В итоге они у Имбирёва всех пленных разобрали из-за дувала, кто арабские дирхемы давал, кто перстни с руки снимал, а кто серёжку из ушка своей женщины вынимал. Имбирёв не сразу понял, чего это ему родня пленных суёт... А как понял — разубеждать не стал...

— Конечно, его высокопревосходительство не одобрил бы, — хитро шурился бывший конвойный казака. — Йон-то велел даром всех распустить... Ну, да у его высокопревосходительства дома поместье с форте-пьяным и парсунами родни, а у Зосимы Имбирёва что? Уж коли несёшь с Коканда большие ноги, надо ведь и что-то кроме них принести в родную станицу!

На дирхемы, кокандские «танги», перстни да серьги причудливые, из узелка, что висел на волосатой, уже седеющей груди, приобрёл Зосим Имбирёв большой одноэтажный рубленый дом у самого тракта. Глядят станишники — чрез какое-то время там малёванная вывеска:

ЧАЙНАЯ ИМБИРЕВА.

ЧАЙ РАЗВЕСНОЙ И НА РОЗЛИВЪ. ВСЯКІЯ УГОЩЕНІЯ.

И сам хозяин — пузато-раздобревший, волосы пробором надвое делены, жилетка бархатная, с брегетом в кармашке, кармашек узенький — чтобы брегет выглядывал...

Сапоги хромовые бутылками, деревянным маслицем примазан, борода с рыжиной, а глаза — как и у потомка, Олиного мужа — с хитринкой... Медали на груди приличного городского пиджака, включая кокандскую, картуз с лаковым козырем...

Хорошо у него в Чайной всё было обустроено: прохладно, как в сенях, а запахи манящие — как на кухне. Графинчики с лафитничками подавались такой формы, что после в университеты поступавшая молодёжь дивилась: «да эта ваша колба, химики — словно маленький водочный графин у Зосима Федосыча...».

И поминали в большом, суровом городе — как дома, на станице, брали к чаю у Имбирёва пышно-думяную домашнюю выпечку, жёлтое, мягкое как яичный желток, бабами вручную взбитое масло, крупный кусковой сахар... Не всегда хватало на весомые блюда из мяса и рыбы — а чаю Зосим мог и даром налить. И никогда не прогадывал: человек сегодня масляный хлеб да сахару ком чайком запьёт, а завтра, с ярмарки едучи, — кинет денег втрое, дорогому душе-человеку...

Кипяток гудел только в самоварах. Это в городе тебе принесут полухладный чайник, а на селе строго! Придёшь, спиной в земской поддёвке на бревенчатую стену наляжешь — а тебе самовар песенку споёт, о том, как любит еловые шишки в растопке... Тут и блины особые, и яичня...

Добрый казак и садится на лавку осанисто, и фурагу кладёт ошуюю от себя — степенно. Кушать начинает с молитвы. Постукивая деревянными ложками, зачнёт беседу, а в день праздный — и песню. Одну, выпимши, любил подтянуть, да на второй голос принять и сам Зосим Федосыч:

*В степи широкой под Иканом  
Нас окружил кокандец злой,  
И трое суток с басурманом  
У нас кипел кровавый бой.*

Для Зосима Имбирёва, или брата его Савватия это не «фольклор», а их жизнь, их молодость.

— То, что я горчицу третий год сеял... — скажет Савватий братишке, утирая ложку о рушник, — за то, оказывается, земле нашей цены прибыло... Так мне сам агрономий сказал! Я-то, по правде сказать, сажал её для деньги токмо... А вишь как вышло, Зося: корешки у неё почву жирнят!

— Молодец ты, брат! — восхищается доброжелательный Зосим Федосыч. — Мудр, аки змия, не перестаю на тебя восхищаться! Что агрономию тебя учить — ты сам агрономия научишь! А вот попробуй-ка мой таранчук... Такого таранчука, как у меня, никакая баба тебе не доставит, потому как и я с головой, Саввушка...

Не выдержит, да и сам сядет покушать: Имбирёвы во всех коленах пожрать любят: что в позапрошлом веке, что в нынешнем. А что за еда, чудо, амброзия: малые кусочки мякоти бараньей обжарены в масляном кипелове, сложены в горшочки, залиты овощными отварами, с приправами, с уксусом...

И сама песня льётся про Коканд:

*...И смерть носилась... мы редели;  
Геройски все стоял казак.  
Про плен мы слышать не хотели,  
А этого желал нам враг.*

Пришла в Чайную Имбирёва следующего призыва молодёжь, и добавились к песням про «кокандца злого» песни про Шипку и Плевну, и крепкий город Карс... А со следующего призыва казачки пели уже про «Геок-городок, красные пески» — как на саблю брали с неутомимым Скобелевым Туркмению...

Ну, а если кто схулиганничает, охальный куплет вставит — тому старшина может и ложкой по лбу: в станице всяк старик батька, всяк молодец — сынок...

В большом почете здесь были домашние колбасы, окорок, рулет из брюшины, отварные шкварки, перемолотые с ливером. В дни больших праздников всех звала Чайная на студень и подавали его тут с хреном тёртым или горчицей от Савватия, братушки.

А что за сало было — теперь такого уж нет: нестарое, нежно-розовое и с мясной прослойкой. Солило его бабё имбирёвское всем выводком в осень, ближе к зиме... И в том тоже секрет был, чтобы день знать.

В Оренбуржье тогда росли арбузы — особые, оренбургские, маленькие, с кулак, зелёные без полос, и очень сладкие. Казаки из них делали особый, уральский арбузный мед по прозванию «нардек», или напротив — лишали сладости, засолив, словно это круглые огурцы!

Подавались к столу «круглик» (молотое мясо с рубленным вперемешку на утином жиру в тесте), скобелевский «походный пирог», хлебный квас, смородиновый рассол, солёные грибы, особый, казачий сбитень.

Было всё это в 70-х, а потом 80-х годах XIX века. В большие купцы Зосим

не вышел, поскольку с земляками таких штук, как с кокандцами, не выделял, стыдись греха.

— Да ить и в Коканде... Оне ж богачи все были... Кровопивцы народныя... Кабы наш бедняцкий брат, от мотыжки, рази ж я стал бы куражничать?!

\*\*\*

Обычная казачья мудрость, которую сказал Зосиму Федос, а тому деды дедов: хорошо, когда в миру мир...

Добрая в Оренбуржье земля, жирная, избыточная! По хлебам ли ладонью вежи — тяжелы колосья... Косой ли на заре секи луга пойменные, урочные — сок до неба брызжет, запах, будто чай завариваешь... Ляг в зверобой, в душицу — дыши...

Дубравы такие, что топор от ствола отскакивает, а с желудей особые свиные откармливаются, упругое сало, жилковое!

А рыба? В мелком притоке Толоке в стекле живом водяном травы колыхаются и стерлядки снуют... В большой реке Жёлтой, где вода мутнее — сомы такие, что гуся утащить могут... И плёсо у них жёлтое, как река, знатное, не хуже желудевых окороков свиных!

Хорошо тут рассветы встречать, когда над вечно застывшими волнами степных всхолмий трещат бешено кузнечики... И в жаркий день, когда сухое дерево звенит от зноя, — хорошо стрекот слушать и на стрекоз ручьёвых глазеть... И под вечер, в поволоке и дымках закатных, видеть, как песчинками в водовороте кружит вокруг любой лампадки мошкара, а земля стынет, как пирог на выходе, жар начинный выпускает вместе с ароматом выгретым, летом вытопленным до янтарных смоляных слёз на бревне...

И никуда отсюда идти неохота: ни на Коканд, ни на Хиву с Бухарой, ни на отвесные неприютные скалы Памира карабкаться... Ни к Арарату, белой овчиной вечных льдов крытому, ни к балканским пределам, где злые синие мундиром, сизые бритьём турки в красных конусах фесок, нажравшись дурной смеси, дерутся, как сумасшедшие, ничего не соображая, словно первача четверть перед боем выкушамши...

Неохота отсюда лезть в Мазурские болота или на галицийские поля! Век бы сидел мирный человек, никого не трогая, ивовый прут к водам склонная, сазанчиков озёрных среди камышей да кувшинок сонных дёргая! Сазан супротив карася — всё равно, что лесной кабан супротив борова... С сазаном главная штука, чтобы он тиной донной не пах, а тут уж баба не подведёт: бросит улов в ендову с парным молоком, пушай там поплавают, молочком жабры промоют денёк... А вы говорите — иди в туретчину, в неметчину головы рубить, собственную складывать!

Разве там, в неметчине, есть такие шуки-брусья матичные, чтобы подвесил к притолоке халабая, а она с тебя ростом висит?!

Очень проста и никакой философии не требует эта пахарская очевидность: хорошо тут в Чайной, где заварят плиточного чаю, хорошо ломаные лепехи белой муки макать в медок, чтобы вся борода мёдом взлипла! Хорошо ковшиком окунуть в изюмный квасок, в бражку жбанную, хорошо городской коньяк на рябине настоять... Хорошо, когда лето парит, зелёными венниками хлещет взмокшее тело — а в рубленой избе прохлада...

Хорошо и когда зима завалит все дороги сахарными горами с бриллиантовым крапом, и от лютого сиверки волки воют жалобно, а в рубленой избе трещат дрова в русской толстопятой печи-затейнице...

Калят чугуны, хрустят ветью, щёлкают, как кнутовищем, сучками по-

ленными — и пахнет в доме маслом топлёным, овчиной, разогретой паклей, лампадным нагаром из красного угла...

И без бабы тут хорошо, а с бабой вдвойне хорошо! Бабы оренбургские на хмелю печены, без дрожжей, не пухнут, а упруги, где надо — тонки, а где надо — выпуклы. Эта баба тебя взглядом, как рублём одарит, до отвала накормит, а после приласкает горячо, и лучше не придумаешь, стань хоть вице-губернатором или директором банка городского! И власть у них, и деньги, а лучше такой вот бабы, взором светлой, да коврижки с мёдом пасечным, гречишным, тёмным, и им не выдумать. Оттого и жрут кокаину — упёрлись в потолок, желать боле неча...

А вы говорите — на войну иди! Тут лежишь на печи, снизу греет, в пузе сытом урчит, баба кошечкой мурчит, голова на твоём плече, волосы длинные, пшеничные, в нос лезут, чихнёшь не хуже, чем с жуковского табаку! А тут война! Как можно?!

Но так рассуждает у казаков токмо самый глупый дурак. Слепой христорадничают, а зрячий землю пашет. А когда пашет — видит, какая она и сколько её. И простым, бесхитростным и бескнижным умишком своим постигает — что на такую неохвать земную охотники всегда подберутся! Они ведь тоже не слепые, и в туретчине, и в неметчине, и даже, к примеру сказать, в Хиве... Сколько с ними договоров писано-переписано, одного леса на бумагу Сибирь извели... Толку с бумаги — одно, что подтереться или самокрутку свернуть.

Стоишь на рассвете, под матовым низким солнцем, попил из крынки пахнувшего бурёнкой молочка, раскинешь руки: вот ведь она, земля моя! Там пшеница зреет, там лён доспевает, там пчёлки мёд собрали, тут гуси озерцо в себя перегуливают...

Как раскинешь грабли — так их и сложишь. Не нужно грамоты, чтобы увидеть: не написано на земле, что она твоя! Кто её взял — того она и есть! От стебля ржаного, от корешка злакового вся казацкая философия. Оттого и нет в ней извращённой городской вычурности, декаданса нет. Мол, моя земля, пока саблю мою, в неё воткнутую, другой не выкорчевал...

Хорошо, кады в миру мир, а жить без войны нельзя. Дело простое: зубов не имеючи, куска не схарчишь! Чем пользуешься, то защищай! Раз оно тебе нужно — оно и другим надобно... А если ты бессильный — они нужду свою прямо поверх тебя и справят...

Законы — говорят казаки — ботва: сильный с корнем вырвет, слабый прижмёт-притопчет...

Нашим дедам это их деды передали, а нам внукам передавать: главный крестьянский труд — ратный. Не отстоял земли — не во что плуг погрузить, не над чем серпами жихарить...

Но именно благодаря простой очевидности военной философии ратного сословия — так легко ложится здесь умному мысль и про социализм с коммунизмом. Опять же, без книжек да извратов всяких, без вычурной взволнованной экзальтации...

А по-простому, мозолями сабельными. Как же быть? — говорит покойному батюшке Федосу Зосима Имбирёв, расколов варёное яичко на могилке в родительскую субботу. — Ты, батька, шашкой махал, и мне по молодости досталось в штыковые ходить... А теперя вон чего: пулемёты, удушливы газы, еропланы — сто пудов сплошной брони...

А всё отчего? Оттого, что люди собственности поделить не могут... Что царь, что царевич, что король-королевич, что сапожник, что портной — каж-

дый ищет что посвежее — соседа освежевать. И куды ж энто всё приведёт, ежели механиков не станут жечь на кострах? Такую машину соорудят, что она всех убьёт, включая изобретателя...

Если не связать людей нормой жизни по совести, то изведут они род людской, друг у друга землю и дома отбирая... Будет расплзаться в неопределённости чёрная клякса человеческой жадности — и удушит... Будут люди друг у друга добро тягать, пока не останется ни добра, ни людей... А как иначе? Ежели не ясно, чьё — то дракой решается, чьим будет... Кто бы ни победил — остаётся одним из двух, да и ломаный-раненый...

\*\*\*

После 1917 года старенький Зосим, распихавший детей мужеского полу по фронтам империалистической войны (от хладных финских шхер до «кавказского» направления) всех удивил в очередной раз.

Про то, что Имбирёвы оборотисты, да не жадны — вся волость знала, и пожалуй, что и за ней далеко. Хитёр Имбирёв от природы, смётки в нём много, да не упырь: богатого обдерёт, как липку, да тут же с бедными и поделится...

Однако с приходом советской власти ждали люди, что зажиточный владелец Чайной к дутовцам примкнёт, а он в коммуны записался чуть ли не первым...

Явился в совет поселковой бедноты и брякнул со всем основанием:

— Братия и сестры... Имущество моё не намертво ко мне приросло, и коли новая жизнь — так новая жизнь... Когда было у каждого своё — то и у Имбирёвых ихнее было... А раз решил народ, что всё опчественным будет, то записывай, что имею! Апостолы христовы так жили, и нам велели!

В первой, ещё до подхода белых, коммуне числились драные онучи самой горькой бедноты и здание Чайной со всем инвентарём... Чудно было казакам смотреть на Зосима, а он учил их по-стариковски:

— Я хучь и ног с его высокопревосходительством, генералом Кауфманом лишился, а всё ж счастливее времени нет, чем когда в туркестанском походе состоял... В каждом кишлаке, браты, мы с его высокопревосходительством рабов освобождали, а они всё норовили в ноги нам пасть от счастья... Я вам так скажу: солдатское житьё — коммуна и есть... Ни хлебом, ни табачком, ни пулей мы с казаками не особились! Котёл общий, и жисть одна на всех... Правильное энто дело выдумали большевики, как у апостолов божиих, всяк заходи в мою Чайную, но и со мной, стариком, своим делись! Так и Бог нам жить завещал, а мы что развели?! Моё да твоё, тыфу, стыдоба!

Бабка, жена его, колоритная такая старушенция на редком слепеньком фото сохранённая в одном ракурсе, — пилила его, зудела — мол, дурак ты старый...

— Тебе, Зосим, завтра помирать, тебя на том свете черти с фонарями ищут, конечно, тебе Чайной не жалко... А ну как с фронта наследник вернётся, первенец твой, Герасим Зосимович Имбирёв, он, чать, по плешу тебя, окаянного, — по плешу твоей блестящей-то, за разбазаривание семейных достояний!..

Напрасно волновалась Настасья Агаповна, не торопился с фронта наследник, пошёл он оттуда не в родную станицу, а советскую власть устанавливать в Бухаре... Так сказать, по отможенным стопам отца, в те же края, да ещё и выставив себя перед большевиками наследственным знатоком Туркестана! В марте 1918 года он участвовал в жестокой сече «колесовского похода», имел

фуражку с красной звездой, кожаный реглан, и ни про какие наследования Чайной думать не думал...

Нашло и схлынуло колчаковское половодье. Старика Зосима выгородили земляки: мол, по старости лет полоумен стал, психического что же карать?! Думали дутовцы расстрелять Имбирёва, да передумали: ведь ему в том году страшно сказать, сколько лет стукнуло, библейский патриарх, можно сказать!

Сидел в атаманской холодной, и напевал грустным голосом, с жизнью прощаясь:

*Брали русския бригады  
Туркестанския поля...*

И тем тоже умилил белых. Много ли осталось в живых лампасных носителей медали «За покорение Туркестана»? Старую солдатскую песню давно уж не так пели! После турецкой войны переложили её так:

*Горныя вершины,  
Увижу ль я вас вновь,  
Турецкия долины —  
Кладбища удальцов...*

А потом — уже привязали к галицийской битве, в которой сын Зосима, Герасим, участие принимал:

*Брала русская бригада  
Галицийские поля...*

И припев вышел уже совсем другой:

*Карпатские вершины —  
Далекий край орлов.  
Карпатские долины —  
Могилы удальцов...*

А в основе — вечная солдатская судьба, туркестанские ли поля брали бригады, турецкия или галицийския...

*Я вернусь в село родное,  
Дом срублю на стороне.  
Ветер воет, ноги ноют,  
Будто вновь они при мне.*

Поколения сменяются, а солдатская песня каждому впору оказывается...

Вернулись красные, вернулся с ними и бухарский комиссар Герасим Имбирёв: не пошёл он на Дальний Восток по уважительной причине: отъяли по ранению коновалы ему ногу... Так до конца дней своих Герасим и прыгал на деревяшке, и лишь она одна укрощала его администраторский пыл... А на груди — царские «Георгии» и орден Красного Знамени...

Встретились отец с сыном на родной земле, расцеловались — и были тут же избраны: старик, не взирая на возраст и хвори, заведующим общепитом, а сын — председателем колхоза... Любили их обоих земляки — нельзя сказать

как! Зосиме лет 90, такой старый — что, кажись, не сходя с места рассыплется, а в белом фартуке, среди поварят, с белой кустистой бородой, и каждого колхозника просвещает:

— Должно всё быть... Культура торговли... Культура обслуживания... Вот пришёл ты после тяжёлой работы чаю попить — надобно, чтобы и сушки-баранки были, и колбаска, и сырок, и раки варёные, а скажешь — и пивко... Потому как рабочий человек нынче царь! Так царь небесный завещал, а мы исполнили! Расслабиться нужно трудовому человеку, значимость свою почувствовать, ибо, по-новому говоря, он — «игемон»...

Слова «гегемон» Зосим по старости лет не освоил, и ему простили за дряхлость. Очень нравилось партийному начальству его простое, солдатское учение — что нельзя ни к какой собственности душой прикипать:

— Чайная она или не чайная — а ты должен ею владеть, не она тобой...

Незадолго до смерти старика Зосиму избрали даже в Крайсовет депутатом, и он, как старейший, открывал первое заседание. Он очень волновался, оделся старомодно, но респектабельно, на пиджаке советские награды соседствовали с туркестанскими кауфмановскими и скобелевскими медалями, и всё бормотал что-то про «культуру торговли»...

Герасим Зосимович вывел свой колхоз в миллионеры, наплодил немало детей разного пола, одних мальчиков четыре, и старший, Фрол, как активист и комсомолец, направлен был в «органы»... Участник финской войны 1939 года, он имел за неё медали и орден Красной Звезды, служил там в дивизионной разведки, ходил за линию фронта... Оторвали его с руками товарищи из краевого НКВД — а тут война... Фрол Имбирёв, понятное дело, в первый же день добровольцем — а ему в ответ: у вас договор с «органами», не имеете права на фронт дезертировать... Фрол впал в великую печаль, потому как стыдно в такое время сидеть в Оренбуржье, завалил все инстанции рапортами — что согласен на фронт и с понижением в звании, и хоть в штрафбат... Его уж и ругали, и стыдили, и к ответственности коммуниста зывали — всё бесполезно. Плюнули — и направили в Заполярье. Там он воевал, был ранен, брал норвежский Киркенес, весь был обвешан советскими и норвежскими боевыми наградами, после войны ещё с бандитизмом боролся на бывших оккупированных территориях...

А как вернулся старшим уже офицером в Оренбуржье, так и был назначен начальством над тюрьмами, в ГУИН. И что вы думаете — имбирёвская порода не сказалась?! Как бы ни так! Фрол превратился в матёрого хозяйственника, насочинял для заключённых разных мастерских, каких только дефицитов они у него не производили! Такую торговлю поставил — куда там твоему тресту! Выходит зек после 5 или 10 лет — а ему же все эти годы зарплата шла, и не маленькая! Фрол ему руку пожмёт и много тысяч рублей выдаст: мол, желаю более не встречаться, счастья в новой жизни!

Когда умер Фрол Герасимович — чудны были его похороны. Чуть ли ни весь город пришёл проводить! Ну, начальство крайкомовское, шапки пирожками, погоны блестят — и тут же целая толпа в татуировках, блатных! Что за притча? Вдова попросила: пропустите их, это ведь всё крестники его!

Плакали и менты, и зеки: единодушно присудили, что не будет больше такого мента, не родит таких больше земля, каким был строгий и справедливый Фрол Герасимович! Миллионами ворочал — а копейки к рукам не прилипло... Костюма приличного хоронить — и то нет, да и зачем, когда военная форма имеется, и наград на целую процессию с подушечками бархатными...



\*\*\*

Сергей Фролович Имбирёв, отец Олиного мужа, умер в 45 лет. Умер, оставив Ванюшку, после долгих и неоднозначных перипетий ставшего Иваном Сергеевичем, полусиротой, в страшное время горбачёвщины, но не было в том его вины: небесная повестка призвала, нефрит почек...

Он, Сергей Фролович, как и все Имбирёвы, был шибко башковит, а в особенности — по технической части. Насколько Иван, гуманитарий, криворукий — настолько же отец его был рукастый. Кровь ведь не только переходит, но и преломляется...

Ещё юношей служивший в советской армии Серёжа изобрёл какую-то пружину для испытательного стенда, да такую удобную, что маршалы с полигона на неё посмотреть заворачивали! Спрашивают — как же это раньше инженеры наши не додумались? А ещё спрашивают — кто автор? Автор же перед ними, немного смущённый, в пилотке, в погонах малиновых, меченых солдатской надписью «СА».

Так дальше и пошёл по инженерской части, в закрытое КБ. Как-то раз к нему корреспондент журнала «Техника — молодёжи» приезжал, о чём говорили — малолетний Ваня не понял, но вышло интервью под заголовком «Без него самолёты не взлетят!». Речь там шла о папином авторском свидетельстве, но Иван так понял, что и о папе тоже: без моего, мол, папы, не взлетят самолёты!

Жили они хорошо и складно. Ивана из роддома привезли уже в новую квартиру, в сталинском доме с лепниной карнизов и потолков. Раньше там какой-то профессор жил, но ему дали квартиру побольше, а эту он, как тогда полагалось, сдал в обменный фонд... Квартира просторная, потолки высокие, на полах паркет, балкон с двустворчатыми как ворота, остеклёнными донизу, дверями... Дедушка Фрол, побывав на новоселье, сказал с удовольствием:

— В такой квартире — только детей растить!

Вот Ивана там и вырастили. Хотели больше, но по медицинским показателям у Натальи Степановны не получилось... «Ничего, — думала Ольга. — На ней сузилась река рода Имбирёвых, на мне расширилась»...

Уходит в туманную бесконечность древних времён цепочка поколений. Если вглядываться в неё — то всё более размыты лица, неразборчивы имена... И судьбы всё более расплывчаты... Но все эти люди — часть тебя. Они прошли дорогами тысячелетий, чтобы ты был или была! Они шли в дальние края с одним топориком за поясом, рубили избы за полярным кругом или в дикой степи, они сидели в окопах и редутах под свинцовым градом — чтобы ты был или была! Они голодали, мучились, строили, выживали, они грешили — и спасали души — чтобы в итоге получился ныне живущий человек...

Пришёл Сергей Имбирёв и сделал пружину для неведомого стенда, научил летать новое поколение самолётов, получил от советской власти квартиру улучшенной планировки, повыступал на пленумах да конференциях, поездил в командировки... И нет его... И того технического мира, которому он служил — тоже нет больше, одичали люди...

Тот стенд для испытаний, обретший пружину — он...

Ну словом...

*Забыт давным-давно.  
А был он слаще меда,  
Пьянее, чем вино.*

И так можно сказать:

*В умах его варили, для жизни золотой,  
В «Совете» инженеры, в квартирах, где покой...*

Ну, а дальше строки вы помните, конечно? И кто пришёл, и куда погнал, и как лежали живой на мёртвом и мёртвый на живом...

И даже, спустя годы, было всё согласно старой балладе. Примитивный хан, пирующий среди своих тупоумных кровожадных прихлебателей-мародёров, вдруг всполошился, вспомнил бывшее и вскричал на недобитые остатки технической интеллигенции:

*...Пытка вас, гады, ждёт,  
Если не скажете, черти,  
Как совершали полёт!*

Но не было уже на свете инженера-конструктора Сергея Фроловича, а был только его юный сын, про пружины и аэродинамику ничего не знавший. Он же — нынешний Иван Сергеевич Имибрёв, депутат Горсовета, владелец сети кулинарий и пельменного цеха...

Годы бегут, подмывая века, словно стремнина высокий берег, и падают в мутный поток забвения, в жёлтые от измен воды Леты могучие корабельные фамильные деревья... Но встал однажды против этого сбивающего с ног течения человек. И назвали это «историей» — описания того, когда он встал и как стоял, в битве с беспощадным временем. Вся, вся человеческая история — это битва Памяти с Забвением. Добро сохраняет, Зло низводит в небытие... Кого? Чего? Да всех и всё! Людей ли, вещи ли, события, большое и малое — добро сохраняет, зло низводит в ничто...

А вы говорите, вся история человечества — борьба классов... Вздор, вот на том вы и погорели, хранители земли, аристократы духа! Оттого, что стали видеть в истории не берегоукрепительные работы на реке Лете, а революционную баррикаду...

\*\*\*

Близились ночь, и в сад семьи Имибрёвых пришёл весёлый ливень. Он стучал и барабанил во всё твёрдое и киселил всё мягкое, а уйдя так же быстро, как и налетел, — оставил взамен себя бриллиантовые смешинки в травах и музыкально-тонкую капель с навеса большой веранды, обставленной плетёными креслами...

Свежо и терпко стало на ступенях под навесом, сладким сделался сырой летний воздух пропитанных сиренью сумерек...

— Устала, солнышко? — спросил Иван Сергеевич у жены, ласково оборачивая ей плечи клетчатым пледом с бахромой. — Зря мы, наверное, так упирались с этими угощениями (притом, что он-то совсем не упирался). В сущности, они ведь алкаши старые... Им бы раздать по плавленому сырку «Дружба», и графин водки...

— Скажут, что Имибрёвы живут, как нищие... — передёрнула плечиками озябшая Ольга.

— Ну, смотря какой графин будет... Если это будет большой графин... Я имею в виду — по-настоящему большой...

— Нет уж, Ваня, давай, как от века повелось! На полную казачью выправку и сбрую... Не хочу, чтобы ославили на всю Куву плохой хозяйкой мать троих детей...

Сказала — и посмотрела на него искоса на угол, лукаво. Очень уж забавно было видеть, как он пересчитывает в уме Олежку с Наталкой... До двух считать умеет, сразу видно!

— Мать... троих... — он постепенно догадывается...

— Да, любимый, — она полна грации и величественности, теперь уж она может командовать, в таком положении. — Ты не ослышался. Правда, я пока не знаю — мальчик или девочка, но...

— Господи! — возопил Имбирёв, воздымая взгляд к влажным тучам небесам. — Я не знаю, чем я заслужил... — он размашисто крестится. — Но благословил ты чрево женщины моей! Слава тебе, Господи, благословенны плоды!

— Ты, Ваня... — немного обиделась Ольга, — эта... Имя Божье всеу не поминай! Сам постарался... Рожать-то мне, а не отцу Варсонофию! Хотя я бы охотно уступила ему честь этого... гм... таинства... У него и пузо побольше, и седалище моего пошире...

Иван обнимает Ольгу, бешено целует ей руки, беспорядочными поцелуями осыпает лицо...

— Мужчина, который родил троих детей, — бессмертен! — восторженно ликует муж.

— Ну, Вань, — несколько наигранно пытается она отстраниться, — проверить твою теорию невозможно, потому что ни один мужчина ещё ни разу не родил...

Тут Ивана осеняет, что нужно что-то срочно делать. Он не знает, что — и достаточно наивно говорит об этом с явной надеждой на подсказку:

— Надо ведь что-то делать?

— Да тебе-то нет, Иван, ты-то уже всё сделал... — смеялась Ольга.

— Может, отменить завтрашний банкет?

— Ну зачем отменять завтрашний банкет? — недоумевает Имбирёва. — Я потому и молчала, пока всё не сготовили, что знала: ты меня на кухню непустишь... А твоя мама сказала бы потом, что я ничего не умею, и...

— Господи... третий... третья... — бормочет счастливый муж, как сумасшедший.

Ольга вспомнила уроки домоводства своей матери, и сказала Ивану приятное:

— Я решила рожать (кто бы сомневался!). Потому нас с малышкой есть кому защитить!

Она бы, конечно, родила и так. Но ему же приятно, что о нём такое говорят...

Иван вдруг резким ошеломляющим порывом подхватывает её на руки, и кружит в неслышимом вальсе по веранде, под кастаньеты капель с крыши...

И Ольга снова удовлетворённо чувствует его колоссальную медвежью силу, степную, имбирёвскую, которой только подковы в узлы вязать... На свадьбе он вот так её поднял, как была в белом платье и с фатой, и не отпускал два часа... Нёс по лестнице, нёс по двору, нёс в ЗАГСе, причём с таким видом, как будто она весит не больше эскимо или пирожного...

Есть кому защитить — пожалуй, что не соврала. Малость сподхалимничала, не без этого, женский ум — он по натуре подлиза... Но не соврала же!

\*\*\*

Ночь за окном. Иван спит, разметавшись по большой постели в позе морской звезды и на пухлых, несколько детских его губах, «не реформированных с младенчества», — играет счастливая улыбка. Двоих отпрысков перед

сном в лоб поцеловал, а третьего-третью условно, в мамин пупочек. Ориентировочно — где-то там...

Ольга сидит у стрельчатого высокого окна, попытавшегося своими формами бюджетно изобразить возвышенную готику венецианских палаццо (в итоге её спародировавшего). Смотрит на полусыр жёлтой ноздреватой луны, подкусанный слоевыми облаками. И обдумывает его слова, точнее, слово...

— Аксиома! — сказал Иван, поглаживая её обнажённый живот перед сном, ласково и трепетно. — Всё исходит из тебя... Без этого не было бы не только жизни, но даже и смерти! Аксиома... Остальное — теоремы, теоремки, ребусы, а тут (он поцеловал чуть выше лобка) аксиома...

Где-то внутри Ольги пульсировала маленькая точка новой жизни. Только что обнаруженная и пока бесполоя — она уже властно заявила свои претензии на весь этот мир с его звёздами, лунами и светилами. Ради этой крошечной точки женщина будет корчиться в муках, разрываясь и выворачиваясь, как варежка, наизнанку... Ради этой клеточки мужчина берёт в руки оружие и вступает в смертный бой со всем пожирающим, что только бывает на планете...

Ради спокойного пульса этой маленькой точки по имени Жизнь — Ольга, её мама и свекровь целый день простояли у плиты и разделочных столов, бросая вызов усталости и варикозу...

Аксиома — которую нельзя доказать ничем, но через которую доказывается всё и вся — от бытия Божия до кадастровых прав. Где-то там, внутри прекрасного, нежного, точёного, с резко очерченными гранями совершенных контуров тела Ольги — подмигивала точка-клеточка...

И в ней жили, и через неё оправдывались, и на ней держались — покорители Хивы и Коканда, Бухары и Геок-Тепе в Туркмении, Балкан и Карса, те, кто некогда брал Париж и те, кто некогда брал Берлин... Все, кто работали, сеяли и жали хлеба, кто учил летать самолёты, кто расчерчивал небо на ватмане чертежей, а потом резал небо дюралевыми лезвиями крыл... Победители и творцы, строители и созидатели, романисты и поэты-песенники, философы, физики, лирики — всё это многоклеточное необозримье веков сошлось сегодня в маленькую одноклеточную реальность у Ольги в животе...

И всё, что было у народа, и всё что будет у народа, и сам народ — лежали, будто проглоченные, в животе женщины по имени Ольга Имбирёва, и в ней, в её воле имели высшего судию, у неё, как у самого Бога, — спрашивали разрешения быть...

Первого сына Иван нарёк Олегом — в честь своей жены, в честь её имени. Второго ребёнка, дочку, нарекли Натальей — в честь свекрухи, а то бы она от зависти всех извела, после первого наречения... А третьего... Недаром сегодня вспоминались старые имена давно умерших людей — Зосима, Савватий...

— Если будет мальчик, — решила Оля, — назовём его Саввой... В честь старика Савватия, чей род в Гражданскую войну пресёкся, — пусть будут Саввичи Имбирёвы... А если родится девочка... Впрочем, у меня ещё будет время об этом подумать...

## ВОЛКИ ИЗ ПЕПЛА

### Повесть

#### 1.

— ...Ну как там тортище?! — первым делом (ещё восьми утра не было) — поинтересовалась Варвара Фёдоровна. И в тон ей гнусаво тренькнула капля из бронзового крана, упав в огромный оцинкованный чан промышленной раковины. Варвара Фёдоровна в этом кафельном закулисье считалась главной: заведовала кондитерским цехом при столовой «Былина», принадлежащей разветвлённой в Куве «общепитовской» сети «Имбірный хлеб».

— Да в печи уже доходит! — бойко ответила молодая и разбитная «старший пекарь» Валентина. Над верхней губой у неё — маленькая очаровательная родинка, которую она кокетливо звала «кнопочкой улыбки». — Чего ему сделается? Все коржи ещё со вчера стыковали...

— Ты смотри мне! — поучала заведующая. — Этот торт — знаешь, какой торт?

— Знаю, большой...

— Ничего ты не знаешь! Это же торт на предсвадебный «мальчишник» Олегу, старшему имбирёвскому...

Раньше такого размера коржи делали только на день рождения хозяйки, лет десять подряд.

— Выхухоли на «днюху»! — весело поясняла старший пекарь Валентинка простым пекарям. — И тридцать свечек! *Как обычно!*

Теперь вот и другие поводы для тортового гигантизма проступают через обыденность многолетия...

— Сама лично за ним приедет... — объясняет Варвара Фёдоровна, кисло морщась от почтения.

— Ольга Анатольевна? — удивилась Валя. — А во сколько?

— Ну, грозила в десять... Знаешь этих хозяев: продрыхнет до одиннадцати, а потом будет делать вид, что так и планировала...

Люди, которым повезло в жизни, — не торопятся сюда. Узкие остеклённые дверцы духовых шкафов для выпечки, похожие на секцию спортивной раздевалки, положенную боком, — особенно мрачны по утрам. Здесь неизменный запах корицы и сдобы, пригара и выгоревшего, выдышанного воздуха... Здесь слишком тесно, здесь, как в жгуте, переплелись мучное и мучительное...

— Кому завидую, — упёрла обожженную противнем, но изящную руку в бедро Валентинка, — так это Ольге Анатольевне! Вот следит за собой баба! Я и подумать не могла бы, что у неё уже сын жених!

— Нашла чему удивляться! — расхохоталась Варвара Фёдоровна. — Если бы ты, Валька, спала бы, как она, жрала бы, как она, — тоже на пенсию бы вышла походкой манекенщицы...

Сотрудницы пекарни и кухонные рабочие «трут» — вставляя от каждого свои «три копейки» в наболевшую тему:

— Да какая пенсия, Варвара Фёдоровна?! Пенсию-то отменяют, не слыхали *рази*?!

Это больше заводит пожилых, а те, кто помоложе — о другом:

— Увы, несправедливо, но факт: сладкая жизнь бабе фигуры не портит...

— У неё же, считай, всё время только на себя, все 24 часа в сутках! Приехала, полюбовалась, как мы корячимся с пяти утра, — и на спа! Или спать!

— Или спать, или на спа, как захочется...

— На три вещи можно смотреть бесконечно: огонь, вода и как другие работают. А идеальное сочетание всех трёх — владеть пекарней!

— Выхолил хозяин эту выхухоль! — по-бабьи желчно подвела итог Валентина на правах старшего пекаря.

— Хозяин у нас ничё, прикольный... Я бы с ним замутила! — Валя вертелась перед начальницей то одним, то другим боком. — А чё, Варвара? Смотри, я какая, ни с одного боку не пригоревшая! И хозяин мне очень нравится — особенно в казачьем мундире! Чё-та давно не одевал, а стойка воротничка очень ему шла!

— Растилел, в мундир не влазит! — хмыкнула заведующая. — Мурло разьел на банкетах... Ты, Валька, слов нет, деваха складная, всё при тебе... Только зачем ты хозяину? У него такого добра — только свистни... Говорят, даже иностранки есть...

И не сдержалась, перекинулось на своё, зевотно-производственное:

— Я, Валь, ему давеча говорю: Иван Сергеевич, слоёные конвертики с яблоками убыточные у нас в линейке! А он и усом не повёл, делай, говорит, Варвара, — начальство городское их *чинно-перочинно* любит! Не, ну нормальный человек, а?! — Варвара Фёдоровна закатила добрые коровьи глаза от потешного рабьего негодования. — Ему говорят: убыточный продукт! А он вместо «меры примем» — про начальство своё... А ты говоришь — прикольный! Да я с ним с ума сошла, только по работе общаясь, а если ещё и в постели с таким... Упаси Бог!

\* \* \*

Кондитерский цех «Имбірнаго хлеба» работал в отдельном помещении при старом, советском ещё здании рабочей столовой. Здесь загорался свет и начинались возня, скобяной звон — уже в пять, а иной раз и в три утра, потому что экспедиторы приезжали за готовой выпечкой к семи. Кондитерши-женщины и девушки работали тут посменно, и все поголовно были влюблены в хозяина... Отчего, как нетрудно догадаться, автоматически ненавидели хозяйку...

Отчасти это было связано и с тем, что хозяйка руководила цехом, раздавала штрафы и нагоняи, а хозяин, представительный мужчина, широкой красной «самоварной» рожей подчёркивавшей своё степенство коренного уральского степняка, — появлялся редко, был ласков и кроме комплиментов, ничего работникам не говорил...

Именно он, узнав, что смена начинается так рано, — распорядился сократить рабочий день до четырёх дня. Впрочем, заведующей это не касалось: хвосты она подбивала и после шести, занимаясь с отчётностью. И порой оставаясь в пекарне в полнейшем одиночестве...

Баба болтовня, то пустая, то ядовитая, змеилась между печей, но никому в раскалённом цеху прохладиться не давала: широкой рекой, как в сказке Чуковского, текли по ложу из противней всевозможные пирожки да ватрушки, рулеты и шаньги, кулебяки, беляши, расстегаи, пирожные, торты...

До такого автоматизма набита рука кулинара, что сотрудницы даже зубную пасту на щётку поутру накладывают аккуратными розочками... Они —

девушки, от которых пахнет ванилью и шоколадом, и они оставляют за собой шлейф аромата карамели и горького миндаля... Сладкие женщины с горькой судьбой...

Болтать болтай, хоть про самого Хозяина — прослушки в цеху нет... Да не забывай вертеться: топки огромные, с широко раскрытыми пастями, жрали жизнь работниц день за днём, однообразно выдыхая иссушающий сдобный жар нутра...

Душно тут. Слащавое удушье несостоявшихся судеб. Кирпич и штукатурка глубоко пропитались кондитерским «выхлопом», с раннего утра до позднего вечера в цехе всегда висит коромыслом густой и сытный аромат витиеватой на вид-вкус выпечки.

Ворчливо шкворчит в медных полутазах-полусковородках (специфика такая — тазы раструбом на длинной деревянной рукояти) нежное и янтарное яблочное варенье: для любимых начальством «конвертиков» собственноручно варят у Имбирёвых начинку.

Варят не только из яблок, как сегодня, но ещё иной раз и из слив, абрикосов и вишни. Разговоры пустоваты, но к месту привязаны:

— Вот мы из всех фруктов варим... А бывает варенье из овощей?!

— Да. Называется — борщ...

— А-а...

— Пирожки, Валя, они как мужчины: бывают «с яйцами», бывают «с капустой»...

— А с луком и с яйцами?

— Ну, это уже Купидон какой-то...

Высоким янтарным стеклом из пасечных кег виснет полупрозрачная, клеящая носы цветочными ароматами струя мёда...

В такой сахаристой обстановке — как не помечтать усталым, в однообразии и тоске заскучавшим, «стоптанным» девчонкам в белых кондитерских халатиках — закрутить роман с Самим?

Не то, чтобы это какие-то серьёзные планы, а так, игра воображения, что-то вроде сказки на ночь в душном от печного выгара помещении, где давным-давно смешались день и ночь, тёмное и светлое время суток...

Оттого все девки и даже женщины среднего возраста (у которых хватает силы воли не наедаться собственной выпечкой и держать фигуру) — злорадно смотрят сегодня на часы. Ольга, светловолосая «выхухоль», окрутившая четверть века назад господина Имбирёва — не едет за своим тортом, давно готовым, хотя уже больше одиннадцати утра...

\*\*\*

А помянутый всеу хозяин был совсем рядом, в соседнем крыле кулинарного барака: где пельменный цех. И вертел там в пухлых пальцах визитную карточку особого гостя... А прочитав, задумался совсем не от том, о чём его пекарши и кондитерши...

«Заместитель председателя краевого общества защиты прав потребителей... Тукошанский... Еврей? Да вроде не похож... Из поляков, наверное...».

— Я хотел бы видеть владелицу производства, — обворожительной, выпуклой, как в рекламе зубных паст, улыбкой скалился Тукошанский. Сверился со своей шпаргалкой и довесил фразу огузком: — Ольгу Анатольевну Имбирёву..

— Я за неё... — не вдаваясь в подробности, сообщил Иван.

Тукошанскому это не понравилось: он строил планы на разговор с безза-

щитной бизнес-вумен, к тому же блондинкой... А вместо неё застал в пельменном цеху мрачного толстого дядьку в сиреневой рубаше под ворсистым пиджаком, пегого от проседи и с нехорошим волчьим взглядом. Воротник сиреневой сорочки не сходился на мощной бычьей шее, и встреча была, что называется, «без галстуков»...

За спиной этого дядьки, сложив руки в позе «пенальти», стояли двое дюжих детей в тёмных костюмах, рыжий и русоволосый, похожие на сотрудников похоронного агентства. Эти были в галстуках. Чёрных...

«Врёшь, не возьмёшь... — решил Тукошанский. — Не те времена вам... не 90-е годы...».

И всё же поинтересовался для вежливости:

— А вы владелице кто будете?

— Муж. Иван Сергеевич я, — пояснил Имбирёв. — Фамилия у нас одна. И дело общее. Внимательно вас слушаю, господин Тукошанский...

— Дело в том, — заторопился Тукошанский, которому всё меньше и меньше нравилось в этом цеху, — что при производстве пельменей сорта «Бюджетные» ваша супруга, извиняюсь... использует для начинки субпродукты мясного вкуса...

Тукошанский протянул препарат: половинку пельменя в пластиковом пакете «для улик». Имбирёв посмотрел на вещдок, как «коза ностра» на новые ворота, взвесил в руке...

— Это мне ни о чём не говорит...

— А это не попугай, чтобы с вами разговаривать, это пельмень! — хихикнул Тукошанский. И зачастил, словно на трибуне: — Я вам показываю экспертную закупку, чтобы всё было чисто! На её счёт имеется у меня экспертное заключение нашего Общества защиты прав потребителей! Подлог получается, дорогой Иван Сергеевич... Мы не можем просто так в стороне наблюдать, как наших потребителей...

С достоинством римского сенатора Имбирёв выставил вперёд ладонь:

— Это сорт такой. Утверждено ГОСТом. Вы же знаете — цены разные и рецепты разные! Как у нас шутят: по маминому рецепту килограмма мяса хватит только на пачку пельменей, по ресторанному — на двадцать пачек, а по магазинному — на всю жизнь...

— Хе-хе... — вежливо кашлянул Тукошанский. — Однако мы не на эстраде, а на предприятии пищепрома...

— Вот... — Иван Сергеевич извлёк типовую бирку, которую укладчики, каждый со своим номером, укладывали в пакеты. — Здесь, господин Тукошанский, указано открытым текстом, для всех покупателей: при производстве пельменей «Бюджетные» используют мясную обрезь, мясо с голов, сердце, легкие, рубец, свиной желудок, мясо пищевода и калтыка...

— По этим субпродуктам у нашего Общества потребителей нет никаких претензий! — снова голливудски ослабил собеседник. — Речь идёт о субпродуктах третьей категории. — И зачитал с листа: — Жированное мясо, гематомы, железы, грубая соединительная ткань, кровеносные сосуды, лимфатические узлы, остатки прирезей шкуры, костная мука ниже допустимой по стандарту, из хрящей и мелких косточек...

К радости Тукошанского Имбирёв потерял спокойствие. Глазки забежали, руки потянулись к экспертному акту:

— Что вы говорите? Не может быть?!

— Ну, Иван Сергеевич... документ...

— С этим нужно разобраться! — волновался Имбирёв, словно зверь, попавший в капкан.



— Вот и я так считаю... — подбодрил его Тукощанский, подмигивая. — Можно, конечно, дать всему этому делу законный ход... Но все мы люди, все человеки... Обычно я стараюсь дать предпринимателям шанс... Убить фирму — дело быстрое, а работать кто будет? Так что если бы мы могли, Иван Сергеевич, с вами на месте договориться... В разумных пределах взаимной заинтересованности... Как нормальный человек с нормальным человеком... Это в Китае за мзду должностному лицу расстреливают, их там два миллиарда, могут себе позволить... А мы страна вымирающая...

— Прежде, чем договариваться, нужно разобраться! — упрямо сказал этот неприятный Тукощанскому кабан. — Сейчас пригласим нашего завпроизводством, спросим — как же так могло получиться?

— Да зачем же нам завпроизводством? — недоумевал Тукощанский. И уже немного жалел, что ввязался в это дело. — К чему этот формализм? Мы могли бы договориться по-хорошему, только вы и я...

«В конце концов, — досадливо подумал он, — мы оба крутимся в той среде, в которой фразу «Дай денег, или все будет по закону» злые люди называют вымогательством...».

Тукощанский не имел ни малейшего желания общаться с «королём теста и фарша», который всё равно ничего не решает...

Но один из «гробовщиков» в чёрном галстуке уже вышел за дверь, видимо, пригласить на «тёрку» завпроизводством...

\* \* \*

— Отцовский-то сад у меня в Лучарёво был... — ностальгически улыбнулся Иван Сергеевич, скрашивая Тукощанскому ожидание. — А от деда с бабушкой остался сад в Мятлово. Зачем семье два сада? Да ещё и в начале 90-х? И решил я сад в Мятлово продать... Договорился с покупателем, сад осмотрели, тут же к председателю садоводческого товарищества, книжку садовода переоформили, расписка, деньги... Ну, а рубли тогда вообще ничего не стоили... И я договорился, чтобы долларами мне заплатили. Сумма не маленькая, особенно в моём тогдашнем положении, и на сделку я уговорил таксиста из соседнего двора, по кличке Либа, со мной съездить... Ну, чтобы по автобусам не таскаться с пакетом, полным долларов... Договорились мы с ним за две бутылки, что он будет играть роль моего телохранителя...

— Зачем вы мне всё это рассказываете? — наконец нашёлся совсем потерянный от нелепых разглагольствований вымогатель.

— А ты послушай, послушай, — мрачно посоветовал рыжий помощник за правым плечом Имбирёвав, и внутри у вымогателя похолодело в первый раз...

— Ну, видимо, когда Либа доллары увидел, — у него в голове где-то коротнуло... А может, гад, с самого начала задумал так, не знаю... Но когда он меня с деньгами назад в город повёз — у него якобы машина сломалась... Вышел он, капот открыл и роется там для виду... Темнеет уже, ночь, глухая осень, первый снег пошёл... Я тоже из салона вылез, думаю, — может, чем помочь ему... А он мне в пузо рашпилем... Доллары забрал, а меня самого в овраг скатил, думал, прижмурился я насовсем... Дилетант был Либа, рукопомойник, дело начал, да не сделал... Не проверил толком — по-моему, он смелости своей больше меня испугался... Сбросил в бочаг и быстрее по газам дал, улизнуть...

А я живой остался. Долго ли, коротко, но вылез я из оврага, весь в кровище и глине, как упырь из могилы, замёрз, как во льду... И на всё, чего меня

хватило, — добраться до узкоколейки до Мелькомбината. Она тогда ещё работала... Там дизелёк шёл, и он не должен был останавливаться, у них инструкция такая, запрещено им в любом случае тормозить... Тем более — видит машинист, что я как вурдалак, чёрт его знает что, а не человек... Если бы дядька по инструкции поступил тогда — не беседовали бы мы сейчас с вами... Но он советский был дядька, старорежимный, остановил, в дизель меня поднял на руках, а потом ещё и в больничку сопровождал... И была у этого дядьки фамилия такая редкая, запомнилась: Яхрамов... Прошло несколько лет, «поднялся» я, решил спасателя своего найти, отблагодарить... Ну и выяснилось, что узкоколейку давно закрыли за нерентабельность, сократили его, запил он с горя сильно, предпенсионного возраста был, некуда податься... Ну и с тоски да пьянки удавился... Нашёл я только его осиротевшую семью — жену и сына-школьника... Знаете, где теперь этот мальчик? Вырос, выучился и вот он перед вами...

— Иван Сергеевич мне как отец! — подтвердил суровый Виктор. — Он мне отца заменил, в люди вывел... Мать помог по-человечески похоронить, и отцу памятник справил... Я за него любому горло перегрызу, и глазом не моргну...

И так посмотрел на вымогателя Яхрамов-младший, что снова похолодело внутри у представителя Общества потребителей, и сильнее прежнего.

— Я так и не понял, для чего вы мне всё это рассказываете? — уже без былой уверенности выдавил он вымученную улыбку...

\*\*\*

...Когда большую пельменную цеховую мясорубку включили — Тукощанский удивился, какой у неё неприятный звеняще-скрежещущий звук... А ещё Тукощанский, оглядевшись, убедился, что цех, несмотря на разгар рабочего дня, — совершенно пуст...

И когда явился завпроизводством по фамилии Теляев, прозванный начальством просто Телёнок, — Витёк Яхрамов как-то нехорошо, конвойно, встал у него за спиной, а другой «гробовщик», Зоригин, — перекрыл выход, закрыв спиной двери...

— Значит, ты, Телёнок, решил сэкономить? — начал Имбирёв говорить правильные слова, словно на партсобрании. — Сэкономить на качестве?!

Теляев побледнел. Человек он был простой и мирный, и если бы не ипотека — сроду бы не пустился в аферу с подменной субпродуктов. К тому же представители мясохолдинга очень уж его соблазняли и уговаривали — у них ведь эта дрянь в огромных количествах просто на свалку шла, а тут — обеим сторонам профит...

Глянув на акт, Теляев решил не усугублять свою вину запирательством, и во всём сознался, дополнив чистосердечное признание кляузой на работников мясокомбината, «постоянно рыщущих, как волки поганые, в поисках сбыта своего отходняка»...

— Ты некрасиво поступил, Телёнок... — мрачно покачал головой Иван Сергеевич. Снял свой пиджак и аккуратно повесил его на спинку стула... Потом медленно стал закатывать рукава рубашки...

— Посмотри-ка, Телёнок, как ты запачкал и оцарапал нашу фаршевую машину своим контрафактом... — сетовал Имбирёв почти ласково, а машина по-прежнему противно зудела гигантской комарихой... — Ну, ты подойти, загляни в раструб-то...

— Иван Сергеевич, — совсем позеленел завпроизводством, — бес попутал... Никогда больше...

— Я тебе сказал, подойди и посмотри, как ты обделал внутренний барабан... — хмыкнул Имбирёв. И добавил — в свою очередь подмигнув неутомимому ревизору-общественнику: — В такой раструб можно целого телёнка бросить сразу... Профессиональная мясорубка, для больших объёмов...

Тукошанский молчал. Капелька испарины побежала из-под его модной причёски европеизированного дельца. Тукошанский разом осознал, что все дела пельменной Имбирёвых его перестали интересовать, и ему совсем теперь неважно, чем заправляют закуску для алкашей эти люди... Точнее, ему НЕ ХОЧЕТСЯ этого знать...

Два помощника Имбирёва, Яхрамов и Зоригин, синхронно заломили руки заведующему и подволокли прямо к оцинкованному жерлу бормашиной жужжавшей мясорубки.

Тукошанский думал, что Теляев закричит... Но Теляев, видимо, совсем попутав все нити мыслей, не верещал и не звал на помощь, а только шёпотом приборматывал что-то о понимании, недопущении впредь и тому подобные ответы на руководящий нагоняй...

Зоригин нагнул Телёнка лицом почти к самому режущему, звенящему металлом диску, Яхрамов заломил руку посильнее, чтобы бедняга не вырвался... Голова Теляева почти скрылась за хромированным бортиком агрегата... Его оправдания, плаксивые и на удивление тихие, теперь отдавались металлическим эхом ИЗНУТРИ барабана...

— Качество! — сказал Иван Сергеевич, потирая кулак в ладони. — Запомни, Телёнок, качество, качество и ещё раз качество... Вот о чём должен в первую очередь помнить работник пищевой промышленности... Именно это завещали нам товарищ Микоян и другие наркомы пищевой промышленности... А ты хотел обмануть наших покупателей... И меня заодно...

— Нет, нет, не хотел, — жалким дискантом молила голова из барабана.

— Хотел, Телёнок... А теперь ты сам увидел, в каком состоянии машина, которую ты засорял своим дерьмом... Увидел?

— Д-да... увидел... Я больше не буду..

— Запомни, Альберт Васильевич, вид барабана изнутри, и почаще туда заглядывай! — ласково посоветовал Имбирёв. — Ты заведешь производством... Ты технику свою в цеху должен со всех сторон знать... Договорились?!

Зоригин и Яхрамов, покрасневшие от напряженного сдерживания рвущегося к жизни тела, с видимым удовольствием ослабили хватку. Голова Альберта Васильевича Теляева, выпускника кулинарного техникума, вынырнула из барабана, заплаканная и униженно улыбающаяся... Словно поганые грибы, на роже расцвели зелёные пятна смертельной бледности...

— Будешь помнить о качестве?! — спросил Имбирёв строго, по-отцовски.

— Буду, Иван Сергеевич... Буду... Буду... — лепетал Телёнок, счастливый, что легко отделался.

— Ну, тогда пшёл вон отсюда! — распорядился Имбирёв. — Свободен пока...

\*\*\*

— Так, теперь с вами, Арнольд Станиславович, — повернулся Имбирёв к белому, как простыня, и потному, словно из парилки вышел, Тукошанскому.

— А? Что? — переспросил зампред, словно оглохший.

— С вами, говорю! — усилил громкость Имбирёв, и весёлое эхо запрыгало по стерильным кафельным стенам пельменного цеха. — Я искренне благодарен вам, что вы открыли мне глаза на мои непозволительные упущения... Ваша информация о недопустимо-низком качестве пельменей «Бюджетные» полностью подтвердилась... Вы хотите дать делу официальный ход...

— Я?! — удивился такой нелепости вымогатель. — Ну нет... что вы... зачем же?

— В таком случае, вы, наверное, хотели бы оштрафовать нас, так сказать, на месте... Я полагаю справедливым личную компенсацию для вас, вы так старательно собирали материал... Называйте вашу сумму и мы её обсудим...

— Нет, ну зачем же так? — невольно отступил Тукощанский на шаг. И упёрся спиной в холодную кафельную стену. — Я не имею в этом деле личной заинтересованности... Вы всё правильно поняли, приняли меры... ситуация выправлена... Какой же смысл мне... Думаю, на первый раз вполне можно ограничиться предупреждением...

— ...Которое будет с благодарностью принято и со старанием исполнено! — заверил гостя Имбирёв, приложив к сердцу под сиреновой рубашкой закатанную по локоть волосатую руку...

\* \* \*

В тесном кабинетике завпроизводством, на клеёнке, покрывавшей колченогий стол, Телёнок выставил бутылку и стопочки, нарезал на закуску колбасы.

— Ну, будем! — предложил своим ребятам Имбирёв, замахивая стопарик и занюхивая «Новомосковской». — За то, чтобы ты, Альберт Васильевич, впредь дальновиднее был и смотрел глубже...

— А я что ж?! — недоумённо подхихикивал Теляев.

— Вот ты говорил — убрать из цеха эту мясорубку, мол, старая и много места занимает... — пояснил Имбирёв тонкости маркетинга своему заведующему цехом. — А уже какого по счёту ревизора выставляем не солоно хлебавши, а?!

— Мудрый вы человек, Иван Сергеевич! — сподхалимничала несостоявшаяся жертва. — Как вы человеческую психологию знаете...

— А без психологии, Телёнок, в бизнес нечего и лезть... Это что, ты думал, пельмешки лепить? Пельмешки любой лепить может... Конкуренция задашит... Кстати, фарши ещё раз проверь, и всякой дряни не суй: узнаю ещё такое — хоть ты мне как сын, Телёнок, а видит Бог, уволю... Прямо по статье уволю...

— Ну, бес попутал, Иван Сергеевич... — начал было старую песню цеховик. Однако Имбирёв скептически скривился: мол, не заливай!

И осторожно потрогал рваный шрам под рубашкой, шрам от рапины. В истории про садоводство и таксиста он не соврал ни слова...

## 2.

Много лет он исчезал по утрам незаметно, как призрак, всякий раз подчеркнув свою благодарность судьбе за неё, Ольгу. И потому у неё никак не получалось сказать то, что давно вертелось на языке, и даже иногда репетировалось с отработкой нежности и небрежности перед зеркалом:

— Вань! Перестань класть от моего имени в пельмени всякую херню!

Она ведь знала, что он делает всё — ради неё, чтобы ей было хорошо и безопасно.

Ольга понимала его лучше всех на свете. И то, почему многое ему удаётся легко, и то, как ему в целом бывает трудно. Это приходит само собой, понимание, — когда липкая, как помойный голубь, смерть становится твоим постоянным спутником, приходит особое видение предметов. Весь окружающий мир, и все предметы в нём, даже самые, казалось бы, безобидные, становятся оружием...

Однажды, когда она была первокурсницей, а её Иван ещё жил с первой своей женой, — Ольгу попытались изнасиловать прямо во дворе, за хоккейной коробкой, в тупичке возле полузаброшенных гаражей... На неё навалился амбал, у которого изо рта шёл вызывающий рвотные позывы кислый запах винегрета, повалил на притащенный бомжами в этот укромный закуток с помойки драный диван... А два дружка дебила-наильника одобрительно хохотали...

И тогда, под мускулистой тушей гопника в тренировочных штанах и за-тасканной «олимпийке», у Ольги отключилось обычное цветковое зрение и включилось то, о чём говорит теперь Иван. Ольга не поняла, а именно увидела, что весь мир вокруг — оружие для неё...

И пропали страх, паника, отвращение к дикой и нелепой ситуации, пропала даже тошнота от его потно-винегретного зловония... Появился драйв боя, бодрящее ощущение своего превосходства, о котором пока враг не догадывается...

Ольга расслабилась, обмякла, и даже раздвинула ноги, отчего короткая модная юбка сползла на самые бёдра. Она баюкала его бдительность — а он восторженно взвизгивал:

— Парни, зырьте... Да она сама хочет!

У него, так и оставшегося безымянным, грозившим стать её первым мужчиной, — были выпуклые, как у неандертальца, надбровные дуги. И над ними, словно в издёвку, природа налепила ещё мясистые брови. Эти брови выпирали, чуть не свешиваясь, как нижняя губа шимпанзе...

В своём новом, заторможенно-сверхскоростном состоянии Ольга видела с десяток способов обезвредить злоумышленника. И, как терминатор в фильме, перебрав в «бортовом компьютере» варианты, остановилась на лучшем...

Когда слюняво-улыбчивое лицо дегенерата склонилось к ней совсем низко, в предвкушении соития, Ольга вцепилась зубами в его левую бровь, овчаркой, бульдогом, и совсем по-собачьи стала мотать головой туда-сюда, намереваясь совсем откусить этот волосатый, противный кусок чужой плоти...

Визг насильника был такой, что дружкам показалось: его кастрировали. Плоть поддавалась острым зубкам девчонки, и заливала ей рот, подбородок, но главное — лицо и глаза негодяя кровью...

Конечно, он её отпустил. Конечно, он решил, что ослеп, потому что всю реальность разом вместе с адской болью заволокло кровавой пеленой...

Легко, как куль муки, Ольга свалила его с себя и поднялась во весь свой длинноногий рост «фотомодели». Когда дружки гопника увидели её новый образ — с окровавленной пастью, небрежно сплёвывающей отгрызенный кусок человечины, с бешенством атаки в сапфирах минуту назад невинных глаз, — они... просто убежали. Топоча разбитыми ботинками-говнодавами, в панике... Это было начало 90-х, и наверное им, подросткам, насмотревшимся ужасиков, показалось, что перед ними женщина-оборотень, некая нечисть зазеркалья. Хотя, если подумать, настоящей нечистью были они сами...

Ольга подобрала камень-голыш, какими в её семье томили в эмалированных бачках квашеную капусту, и зарядила по голове своего несостоявшегося «первого мужчины». Он как раз приподнялся на четвереньках, обеими лапищами зажимая, как бы нянькая свои глаза, и бормоча «не вижу, ничего не вижу»...

Ольга ему встать с колен не дала — и потом, когда по телевизору часто звучала фраза «России мешают встать с колен», — лучше других понимала, как это делается «по-натуре».

Она уже настолько преодолела панику, что стала даже холодно рассчитывать в пользу врага, словно бы давая ему фору: била не по виску, чтобы не до смерти...

— Будешь ещё приставать к девочкам? — спросил Ольга строго, как учительница имбецилов в коррекционной школе.

— Не... нет... — хлюпал он, и, кажется, заплакал как маленький.

Ольга хотела добавить нечто нравоучительное, типа «пусть это послужит тебе хорошим уроком», но подумала что это слишком уж книжно. Вместо поучений она снова приглубила голышом купол гопникова черепа... Теперь у того добавилось кровотечение и из ушей — судя по всему, он стал оглушённым...

Словно ни в чём не бывало, Оля, тогда ещё носившая девичью фамилию Туманова, подняла из грязи свою ученическую сумку, сложила разлетевшиеся студенческие конспекты. И неторопливо, зная — преследовать не посмеют, — пошла домой.

Дома мать, увидев дочурку в крови и грязи, словно та из могилы выбралась, заверещала истошно, зажимая руками подбородок и проседая на ослабших поджилках:

— О Боже! Боже! Оля! Тебя... Тебя изнасиловали?!

— Нет, мама! — улыбнулась Туманова губами в запекшейся крови. — В точности наоборот!

Небрежно и даже игриво бросила сумку на полку трюмо в прихожей и пошла, насвистывая опереточную мелодию, в ванную, отмываться от ВСЕЙ ЭТОЙ грязи...

Ну, а потом, годы спустя, в её жизни появился Иван, и вместе с его сильной, квадратной, как железобетонная плита, спиной — появились кокетливые дамские охи и ахи, переживания по поводу сломанного ноготочка. Лишь иногда, да и то ненадолго, выглядывала та закалённая 90-ми овчарка, в хорошем смысле слова сука, для которой слизнуть с вражьего черепа бровь, кожу и мясо до белой кости — только один раз прикусить...

Но то, что этому виду единоборств нельзя научить, — Ольга прекрасно понимала. Тут нет отработанных приёмов. В тот раз у насильника были мясистые, выпуклые брови неандертальца, его надбровные дуги так и просились быть пущенными в оборот. Если бы у него было другое строение черепа — Ольга нашла бы совсем другой способ его обезвредить. Глядя по обстоятельствам — в тюремной драке это самое главное!

Это суровое искусство проходит в колониях, детдомах, на задних дворах забытых Богом трущоб — а иногда этому учат, переступая через трупы «не сдавших зачёта», особо талантливые «реформаторы экономики»...

\*\*\*

Оттого и получалось всё складно в их коттедже на улице Травной, в просторечии городском — «на Травке».

Да, он совсем не похож на сказочного принца. Он земной и терпкий своим знанием жизни, своей тёртостью, своей пегой сединой... Он, в отличие от сказочных эльфов, настоящий. За это она его любит гораздо сильнее, чем любила слащавого гламурного «друга Барби-Кена».

А особенно, когда просыпаясь в свинцово-пасмурное утро (почти под

полдень), она чувствует его ласковый взгляд вместо солнечного луча, ласкающий её раскинувшиеся по шёлку постельного белья длинные светлые волосы...

— Ваня... — шепчет Ольга, не раскрывая глаз. — Ты здесь? Ты уже вернулся?

— Я здесь, солнышко... — говорит он хриплым и солёным голосом, о котором поэт сказал бы: «Капитан, обветренный, как скалы...».

Всякий раз, целуя его шрам от рашпиля, тоже ставшей частью её любви, она думала, что Иван прожил тяжёлую жизнь — не такую, какую хотел, и не такую, какую заслуживал. И она старалась заменить ему все утраты, всю горечь правильного человека в неправильном времени. И ей это удавалось...

— Ваня... — нащупывает она его с закрытыми глазами, воркующим голосом — Там должен был крендель приехать из Общества потребителей...

— Он приезжал, Оленёнок...

— Да? — она открыла огромные васильковые глаза и даже села на хлюпнувшем водяном матрасе от неожиданности. — Приезжал? И что?!

— Уехал, — пожал плечами «капитан, обветренный как скалы». Других подробностей он не посчитал ей нужным раскрывать... — Я ненадолго вернулся... Мэр ждёт в двенадцать... Кстати, тётки «былинные» спрашивали меня: ты про торт не забыла?!

— Вот блин!!!

### 3.

Как только начал вызвавший соратника мэра города-миллионника Кувы со слов: «Давай, Ваня, выручай город...» — так и понял Иван Сергеевич, что это не к добру и большим «геморроем» обернётся... Он парень хваткий, этот мэр: нестандартная личность, которая никак не может нащупать тонкую грань между оригинальностью и долбанутостью...

Первую оперативку с чиновниками после назначения своего начал строгой фразой:

— Распустились! Я вам покажу, как брать взятки!

До сих пор показывает, и всё страшнее и страшнее...

— ...Ну а как же, Вань, ну нельзя же посёлок без торговли оставлять, он же в черте города! Там же живут наши с тобой избиратели...

«Не наши, а ваши», — мысленно поправил Имбирёв, к избирательному округу которого Баклёво относилось не больше Шанхая с Гонконгом. Но вслух тёртый Имбирёв, конечно, ничего такого не сказал...

— Ваня, ну надо же что-то решать! — со слабоумно-восторженной уверенностью напирал мэр Кувы. — Ты человек опытный, не в первый раз родной город выручаешь, давай, бери, так сказать, бразды с ключами... Запусти торговлю, все тебе спасибо скажут! Там годовая чистая прибыль была, я отчёт Горторга смотрел, полтора миллиона...

— Чего? Претензий от покупателей?

— Не, в Бакле покупатели смирные... Рублей... Но эти же сволочи, прежние владельцы, всё просто себе в карман клали! И зарезали курицу, трясущую золотыми... ну, то есть... несущую... Ты понял... Ты за два года все вложения отобьёшь, Вань, и на чистый прибыльняк выйдешь!

\*\*\*

...Старинная отшибная рыбная слобода — Баклёво — стояла на дальних трактовых подступах к Куве. В советское время Баклёво включили в черту столицы края, чтобы догнать число жителей до миллиона и отпартовать о

новом мегаполисе. Но Баклёво, перестав быть селом — и частью города тоже не стало. Так и стояло сбоку от федеральной трассы: с одной стороны — горы и тайга, с другой — песчаный пляж полноводной реки Сараидели, «Жёлтой Реки», по-русски.

Местечко на въезде, пригородное, по-своему, — если считать автомобилистов, дальнотранспортников и дачников, — бойкое. У старого тракта, ставшего современным многополосным шоссе, с незапамятных времён работал магазин «Трастовый», основу которого составляла ещё купеческая лавка царских времён: кирпичный низ, срубный верх — торговали в камне, а жить хотели в дереве...

Служил «Трастовый» купцам второй гильдии Кяхтовыми. После революции отобрали... Потомки Кяхтовых навещались в Кува из Парижа в перестройку, но им ничего не отдали. «Советская торговля» там жила — не тужила: заезжали водители трёхтонок, и «жигулёво-москвичные» дачники, и, конечно же, жители Баклёво, для которых это был, в сущности, единственный, затёртый пузами, прилавок...

У магазина даже отросли крылья — два кирпичных пенала влево и вправо: пекарный цех и кафе для водителей «Гараж». В аду 90-х крылатую лавку приватизировали...

«Трастовый» ни шатко, ни валко, доковылял до наших дней — и обанкротился. Долго длилась его агония, ветшали стены, всё приходило в негодность. Дом торга, в который четверть века ни копейки не вкладывали, — стал словно ночлежка.

Напоследок владельцы спекулировали на «социальной значимости» «Трастового»: мол, единственный магазин в пригородном, спальном посёлке, нельзя же людей без торговли оставлять...

Кува услышала, выделила кредиты. Кредиты, естественно, разворовали и сбежали в неизвестном направлении, повесив на двойные двери «Трастового» массивный, заплывший масляной краской, висячий замок...

Мэрия, выморочившая магазин за долги, — осталась с рассыпавшимся сараем на руках, и не знала, что с ним делать.

Ну, в самом деле, что ж такое: посёлок есть, а продуктового магазина в нём нет! Жители Баклёво, в основном, конечно, работали в Куве. Вечерами они на рейсовых автобусах волокли полные авоськи и клеенчатые сумки, затоварившись в городских гастрономах...

В мэрии и горсовете, понятное дело, снова всплыло имя предпринимателя и депутата, патриота и «социально-ответственного-дальше-некуда» Ивана Имбирёва... Отдать упавшее — пущай поднимает!

\* \* \*

— В Баклёво на трассе торг, конечно, хороший... — шурился Имбирёв, бывалый человек и расчётливый делец. — Но я там бывал, я же знаю о чём речь... Сарай...

— Сарай, Вань, истинно сарай оставили, сволочи...

— Ну вот, считайте: бригаду строителей и отделочников на три месяца... Торговое и холодильное оборудование закупать... Холодильные прилавки отдельно... Продавцам зарплату... Охрану на пульт...

— Ну, Ваня! — обиделся мэр такой корыстности. — Ты же не мне это делать будешь! Себе и заберёшь по итогам! Ну, чё ты телишься-то, давай, решайся, да вперёд... Сеть точек у тебя большая, одной больше, одной меньше... А посёлку торговля будет, люди спасибо скажут...



— Думаю, самым скромняком... — потупил лисьи глаза Иван Сергеевич. — На первое, «лимона» три потребуется, как ни крути...

— Ну, так и вложи... твоё дело — твои инвестиции... Вложи, Вань, будь человеком!

— Свои?! — кажется, даже изумился нескромному предложению Имбирёв.

— Ну, а какие, мои что ли? — обиделся мэр. — Кто у нас предприниматель, Ваня, я или ты?

— Григорий Пантелеевич... — покачал коротко, по-пуритански стриженной головой Иван, — я денег не печатаю, и банка своего у меня нет... Вы думаете, я в кармане ношу три «лимона» на мелкие расходы?!

— Ваня, это не вопрос! — взвеселился мэр. — Сейчас позвоню в Горбанк, и дам тебе кредит, сколько скажешь, и даже ставку субсидирую...

— Дадите-то вы, Григорий Пантелеевич, — улыбнулся Имбирёв ядовито, — а отдавать-то мне... Я уж лучше как-то по своим сусекам... поскребу...

— Наскребёшь? — строго изломил кустистую бровь Григорий Пантелеевич.

В ответ Имбирёв — как иногда у них бывало с мэром в неформальной обстановке — приглушенно пропел хриплым голосом, с ухмылкой:

*...Я умею молотить  
Умею вымолачивать,  
Я умею воротить,  
Карманы выворачивать...*

Пока пел — «коза» из пальцев правой руки нарисовала в воздухе спиральку... Мэру стало жутковато — неужели правду говорят злые языки, что этот Имбирёв сам же и «помог» обанкротить «Тракторный», а теперь ломается, себя просить заставляет?

Имбирёв же, как-то осунувшись от решимости нового проекта, прошёл к себе в кабинет. Задумчиво мурлыкал дальше старую мелодию:

*Ой, лимончики, вы мои лимончики,  
Ой, не растете вы в моём саду!  
Ой, лимончики,  
Вы мои лимончики,  
Ой, не растете вы у Ольги на балкончике...*

— Ничего не понял! — честно сознался простоватый парень, «государственный» (потому что был ещё и «на фирме») водитель Имбирёва Вадик.

— А тебе ничего и не нужно понимать! — змеился ухмылкой Имбирёв. — Слетай-ка прямо сейчас, брат, в «Матрицу», и возьми там крабовые консервы, все, какие найдёшь... Я же пока... хм... поработаю с документами...

\*\*\*

Умирая, магазин «Тракторный» пытался зарабатывать, на чём угодно. Даже место над входом сдавал под рекламу. Последний из баннеров, потрескавшись и кое-где порвавшись на ветру, заставил Имбирёва протереть глаза.

Рекламное изображение содержало дюжего кузнеца с голливудской белозубой улыбкой, с молотом Тора, которым он опирался на тяжёлую огромную наковальню. Под этим, полным оптимизма, видением шла надпись: «Круглосуточная доставка наковален».

— Чего?! — вытаращился Иван Сергеевич.

Плакат заманивал кузнечных дел мастеров разными вкусняшками:

«В черте города доставка бесплатна. Без выходных и праздничных дней».

Имбирёв утёр бисерный пот со лба, как-то слишком живо представив себе ночной рейс, шофёра с экспедитором, которые спешат за черту города к молотобойцам, расхерачившим старую наковальню в лепёху... И бессильным удержаться от молотобойства до утра...

— В жизни есть многое, — утешил себя Имбирёв, — что, будучи описанным в романе, выглядело бы совершенно неправдоподобно!

...Сняли замок, загремел длинный металлический «язык», выходя из уключины, открывая двустворчатый вход в пыльное помещение с застоявшимся, тухловатым воздухом. Вот он, центральный «зал» магазина «Тракторный»...

— И сколько тут метров? — поинтересовался Имбирёв у бывшего товароведа, местной жительницы Алипии Светлановой.

— До закрытия было 250 квадратов... — улыбнулась та, словно бы они могли нарасти или убавиться... — Зал, подсобка, два выхода...

И потом добавила с улыбкой:

— Если выйдете через задний проход, то попадёте в слив...

Иван Сергеевич посмотрел на Светланову обалдело: её утверждение было не то, чтобы спорным — но каким-то неуместным...

— Что, простите? — близоруко прищурился он.

Алипия показала на малоприметную дверь чёрного хода:

— Там прямо за порогом дренажная канава... Удружили шабашники, ханурики... Осторожно, не оскользнитесь...

— А-а! — сделал Имбирёв вид, что сразу понял. И ответил встречной двусмысленностью: — А с газом у вас как?

— Спасибо, не жалуюсь... — смутилась экс-товаровед.

— Я имею в виду, магазин газифицирован?

— Нет...

— Как насчёт воды?

— Носим с колодца, — пожаловалась Светланова инвестору. — А вы пить хотите? — И добавила с обаянием непосредственности, смущённо улыбаясь: — У нас пить здесь...

— Да, у вас действительно «питьздесь»... — мрачно согласился Иван Сергеевич.

— Вот, ведро с крышкой, вода хорошая, колодезная, пейте на здоровье...

— не поняла сельская душа Алипия его горькой городской иронии.

— Про торгово-технологическое и холодильное оборудование даже не спрашиваю... — ушёл Имбирёв от вопроса «где пить».

— Нет, но было...

— И что? Ушло на пенсию?

— Ушло в неизвестном направлении... прежние хозяева ноги приделали ему...

— Своя продукция в Баклёво есть какая-нибудь? На первый случай — прилавки заполнить?

— Ну, мы своим торговали — так-то чем? Эта... хлебобулочные, значит, кондитерские... — Светланова загибала пальцы, вспоминая, закатывала глаза, словно ученик, отвечающий урок у доски. — Ну, тут, в цеху, и пекли... Конечно, Баклёво же рыбная слобода — своя была солёная и копчёная рыба... Колбасы свои были, цеховые, сейчас нет, конечно, уже...

Она смолкла напугано, пытаясь вспомнить — чего забыть могла. Молчал и Имбирёв. Потом, морщась, как будто зуб у него ныл, — вдруг перешёл на другую тему:

— В Баклёво сейчас сколько жителей? — поинтересовался Имбирёв.  
— Осталось около 800... — с готовностью подсказала Светлана.  
— Н-да... — покачал головой Иван Сергеевич. — Порезвились тут реформаторы, нечего сказать...

Когда Баклёво включали в городскую черту «для числа», чтобы в ЦК КПСС похвастаться миллионным городом, Имбирёв учился в школе. И врезалось ему в память, неизвестно зачем, что с присоединением Баклёво появилось в Куве 4600 новых горожан... Такие вот рапорты были в 80-х...

Хвастливые коммунисты их до всех занудно доводили — даже обалдуям средних классов, вроде «пионэра» Вани Имбирёва, хотя непонятно, зачем это Ване Имбирёву знать... Военрук в школе, бывший боевой офицер, сердитый матерщинник, в глубине души очень любивший людей, старался: 4 тысячи 600... Вырос школьник, пока рос — в Баклёво около 800 осталось...

А нужен ли им теперь собственный магазин? Шутка ли дело — вкладываться в «кота в мешке»?! Как говорил всё тот же военрук, всплывший в памяти: «соизмеряйте свои амбиции с возможностями: петарда в заднице ещё не делает вас космонавтом»...

«Пока моя страна шагала в никуда, — грустно думал Имбирёв, — я её кормил по дороге. Собственно, это и продолжается... Ну ладно, газ с кипяточком я сюда подтащу... Морозилками закомплектую... Ну, ясен перец, нужен хотя бы косметический ремонт... Витрины страхолюдные, надо менять евростеклом, 2017 год как-никак на дворе...».

В витрине — выгоревший огромный рекламный плакат, серый от пылевой насади: «Центр «Окулист». Контактные линзы. Самовывоз»... И дальше телефоны, адрес загадочного центра глазников, всё как положено.

— Снова безумие! — зябко поёжился Имбирёв. Попытался выйти из «когнитивного диссонанса» деловитостью. Рассуждал сам с собой: — Накинем стройматериалы, смеси эти, сухие и мокрые... Утеплю гараж, обновлю бойлер... Вот и слизнула корова Баклёвская языком три «лимона» за один раз... Закуплю ассортимент — ещё пол-ляма, если по-боссячки, без фанатизму... ну, а ценники какие рисовать прикажете? Как в Куве? Ну, это уж дудки! Новый, считай, магазин, после долгого перерыва кто ж в него пойдёт?! Снижать ценники нужно, ценами заманивать, наш народ на скидку падок навскидку... Ну, процентов на 10 дешевле ставлю все эти «хлебобулочные», «кисломолочные» и прочие «пищевкусовые»...

— И что же это, товарищи дорогие, у меня получается? — спрашивал Имбирёв ни у кого. — «Один карман пустым застал, в другой из дырки х... попал»...

#### 4.

Сколько бы ни кривлялись мэр и его лизоблюды, лицемерно изображая озабоченность судьбой выселок — по-настоящему этим выселкам сочувствовал только Иван. Ни школы, ни клуба, теперь вот даже и продмага нет... Вымрет это Баклёво подчистую, а про него ещё в грамотах Ивана Грозного писано... Кому скажешь — начнут кошерно пеплом голову посыпать — ах, оно бедное! Ты уж, Ваня, там разберись... Ты уж не оставь их, сырых, пригородных...

«А почему «ты»? — мысленно ярился Имбирёв. — Почему всё время я, и никогда они? Что, все бедные, кроме меня?! Или у меня прииски золотые? Или нефтяные скважины?! Что они мне всё время эту социалку подвешивают?».

В памяти вставали давно прошедшие времена: начало 90-х, молодой, до

смерти напуганный студентик Ванька, как пел Высоцкий — «беспартийный, не еврей»... Обычная жертва стандартного молоха... Много ли у него было тогда шансов выжить — с картонкой диплома и стажем репортёришки местной прессы? Да, практически, не было шансов — такими, как он, новое время себе дорогу устилало...

И вот, тогда... «...Тогда впервые, как в бреду...» — пели барды...

...Он впервые нашёл и нажал дрожавшей рукой «красную кнопку»... И хрипел ещё кассетный магнитофон:

*...Я из повиновения вышел —  
За флажки — жажда жизни сильней!  
Только сзади я радостно слышал  
Удивленные крики людей.*

«Красная кнопка»... Это, конечно, лишь условное выражение. И обозначает оно близкое к чёрной магии волшебство...

Когда Ивану Имбирёву нужно выжить — ему нужны деньги. А когда ему нужны деньги — он нажимает «красную кнопку». Заранее уговаривая себя: пользоваться ею только в самом крайнем, экстренном, исключительном случае...

\* \* \*

...И научить пользоваться подросткового уже старшего сына! Вернувшись из мэрии, Имбирёв посвящал наследника с виду скучноватым таинствам делопроизводства за столиком принадлежащей семье блинной.

Разложил на пластиковом столике в углу бумажки, приготовил калькулятор, и разливался сереньким соловьём...

Персонал привык, что хозяин тут частенько свои делишки «трёт», все спокойно занимались своим делом. Уборщица тётя Паня, как положено, каждый полчаса протирала плиточный керамический пол (причём с особым усердием — шеф видит!), а отец с сыном «меж бумаг счета сверяли»...

— Сынок, Олежек, дело предпринимателя — схоже во многом с работой следователя. Или врача... Сверяешь показания, сводишь данные в папочку с делом... Так и называется «Дело» — что у детективов, что у бизнесменов! Опрашиваешь свидетелей, вычисляешь правду, ловишь их на лжи... Изучаешь «астрологию» — звёзды на погонах твоих следователей...

Дело «Трактового» — у Имбирёва — лишь одно из многих, текущее. Сопоставляя свидетельства, Иван Сергеевич постепенно реконструировал ту пошлую необходимость, мелочную главность быта, без которых не бывает жизни. Без которых село, известное на каменистом уральском тракте со времён Иоанна Грозного, — вымирает и разъезжается... Бытие, и до того не ярко сверкавшее, — совсем угасает... Угасает до рубиновых угольков текущего завершения... И серого археологического пепла неведомого прибаутчного «конца концов»...

— Вот смотри, Олежка... В магазине ООО «Трактовый» до его закрытия работали всего четыре человека...

Прежние собственники сжали штат до минимума, Иван Сергеевич был вынужден признать, что и ему меньше четырёх на работу брать никак не получится... Вот тебе ещё расход — минус четыре зарплаты... Для работника такая зарплата кажется небольшой и незавидной, а для хозяина, лишён-

ного золотых россыпей и битумных озёр, — её ещё предстоит где-то в кармане изыскать...

Бывшая директриса работала с 1986 года, окончив кувинский кооперативный техникум.

— Тот ещё Хогвартс! — хихикает младший Имбирёв.

— Это хорошо, — возражает Иван Сергеевич. — От добра добра не ищут. Пусть и дальше работает.

Когда он принимал дела, и спросил, как можно так дотла разорить торговую точку, директриса с излишней истеричностью повторяла:

— Это всё они, прежние хозяева... Я не виновата, не виновата, не виновата...

Тёртый жизнью Имбирёв, мало кому веривший на слово, посетовал:

— Все так говорят!

— Вот видите! — по-своему поняла «экс-менеджер». — Все подтверждают! Да меня тут все знают... Не я виновата...

Имбирёв только рукой махнул. По нашим временам всякий, кто стыдится своей роли в хищениях, а не гордится ею напоказ, — уже не потерянный для общества человек.

На вопрос, куда девался приписанный к «Тракторному» «УАЗ», Иван Сергеевич получил ожидаемый ответ:

— Прежние владельцы угнали...

— Пропал УАЗик — а совсем без колёс нельзя... — объяснял теперь Имбирёв сыну. — Тем более пекарня сбоку, запустить — так можно возить хлеб, как раньше, в школы, детские сады и леспромхоз...

И вычерчивал на листке бумаги предполагаемые маршруты.

Оборудование пекарни — конечно же — распродано неизвестным лицам, деньги выплачены бывшими собственниками себе в качестве «дивидендов» — сволочи, словечко-то какое нашли! Какие вам дивиденды, псы вы деревенские, беспородные...

— Ещё у нас в руинах кафе «Гараж»? — ворковал Имбирёв. — Так, записано за бывшим поваром Натальей Волковой... У кафе была рация, по которой делали издалека заказ на ужин подъезжавшие дальнобойщики и водители рейсовых автобусов...

— Умно! — вникал, или делает вид, что вникает, будущий владелец.

— Рация сломана, но, говорят, можно починить...

— Пап, что ты это старьё чинить будешь? Я бы на твоём месте, чин чинарём, новую, крутую купил...

— Оно и понятно! У тебя, Олежка, отец миллионер, а я — безотцовщина... Ладно, не дуйся, проехали... Дальше: кафе было на 30 мест, работали в штате повар, три поварёнка и два кухонных работника...

«Мы предлагали» — это, стало быть, они предлагали, Наталья Волкова с командой, — разнообразное меню, упирая на домашнюю кухню... Ну, а что вы в деревне, фуа-гра бы делали, что ли?!

«Лучше всего у нас» — то есть у них — шли блины, пельмени, шашлыки. А вперед всего горячие супы. Наиболее востребованные: солянка, гороховый суп с копчёностями.

— Проблема горошницы в том, что по цвету и виду она напоминает жидкую дрисню... — улыбалась Светланова. — Но если не в меру придирчивый клиент слишком настаивал на этом сходстве, мы говорили ему, что это его отражение...

— Как я понимаю, придирчивых клиентов было немного? — понимающе закивал Имбирёв.

— Немного было, но отвಾದили и их... У нас столовая для рабочих мужиков, дальнобоя, а не для лакомок...

Ежедневно готовили 5-6 видов салатов и собственную выпечку. Спросом пользовался кофе, поэтому в зале была установлена кофемашина...

— Я даже не буду спрашивать, куда она потом делась... — улыбнулся Олег Иванович.

— Умно поступишь! — похвалил отец. И пустился в обычные для него, но изумлявшие порой окружающих философские рассуждения: — Видишь какое дело, Олежка, человек по-разному воспринимает разговор про магазин или столовую... Для обывателя встают перед глазами товары и кружат голову вкусные запахи. Для предпринимателя это — колонки цифр, без цвета и аромата, расходы, балансы... Для патриота — люди. Люди, которые работают, и люди, которых обслуживают. Тут уже и цвета, и запахи другие!

...И тут тётя Паня привычно попросила их ноги поднять — чтобы она шваброй своей под столиком шуранула...

Иван Сергеевич даже глазом не повёл — поднял послушно, а Олег Иванович вспылil. Бог его знает, что на него нашло — может отцу решил свои волевые качества руководителя-наследника показать, но он вдруг рывкнул на уборщицу:

— Не могла другого времени найти? Буду я тебе ноги поднимать — кто ты, и кто я, подумай-ка!

Совершенно к такому обращению у Имбирёвых не привыкшая тётя Паня шарахнулась и побледнела, как от пощёчины. Отец же молча и мрачно встал и попросил у неё швабру...

— Да я что ж... — совсем растерялась тётя Паня. — Да я ж ничего ж... Инструкция, Иван Сергеевич... Санитария того-этого... пищевой объект того-этого...

Имбирёв, страшный в каменном спокойствии, отобрал у уборщицы её орудие труда и резким ударом об колено переломил черенок поближе к влажной насадке. Так у него в руке оказалась довольно длинная палка...

— Кто ты?! — в звенящей напуганной тишине заорал Иван Сергеевич, и врезал сыну этой палкой повыше локтя, пониже плеча. — Я тебе объясню, кто ты такой!!! Ты — засранец, который в своей жизни собственным трудом и на пару штанов ещё не заработал!!!

Обиженный и красный как рак Олежка выскочил из-за стола и убежал на улицу. Персонал «Блинной» старательно отводил глаза — всем видом показывая, что никто ничего не видел...

Иван Сергеевич с палкой в руке степенным шагом вышел за отпрыском...

— Ещё бить будешь?! — набычившись, спросил его Олег, ждавший у дверей.

Иван Сергеевич отбросил палку в сторону, ухватил сына за загривок и максимально притянул к себе, глаза в глаза... Лбы их соприкоснулись, на Олега дыхнуло терпкой мужской смесью одеколона, бренди и сигар...

— Олежка! — тихо-тихо сказал отец сыну. — Ты мой наследник, и я люблю тебя... А кого люблю, того и бью, чтобы умным был... Однажды ты станешь владыкой всех этих людей! И твоё владычество никому не выгодно, кроме тебя! Сделай же так, чтобы оно никогда не стало для них невыносимым! Не зли попусту, не унижай попусту, не подчёркивай попусту свою власть... Ты хозяин, а хозяина любить не будут никогда! Да и за что любить хозяев, сам посуди: за то, что они всё лучшее в жизни к себе пригребли и

все сладости первыми жрут? Но тебя, Олежка, могут уважать! Они видят, что ты забрал себе лучшее место в жизни, — так пусть же увидят в тебе своего защитника... Который не только живёт за их счёт, но и первым бросается за своих в любое сражение!

Это, сынок и называется — «быть аристократом»... Никого вежливее тебя не должно быть в коллективе... Запомни, сынок: чем ниже человек, тем ниже поклонись ему! Его горбом живёшь, его хлеб кушаешь! Если кланяешься ровне — то унижаешься, а если кланяешься уборщице, грузчику, разнорабочему на кухне — то возвышаешь себя! Помни, сын, сколько болванов-королей взошли на эшафот, помни про Ипатьевский дом! Для тех, над кем ты властвуешь, ты должен стать образцом доблести и добродетели! И тем ты дашь им ответ на неизбежный в их положении вопрос: «почему Он хозяин надо мной, а не наоборот?»...

\* \* \*

У мэра был насморк, заложивший нос словно бы кирпичной перегородкой. Мэр говорил гнусаво, и казался ещё более жуликоватым, чем был на самом деле...

Был он толстый и какой-то вертлявый, с внешностью деревенского хитрована, нутром хохотливого и ушлого эгоиста, любящего озадачивать, но не любящего заморачиваться.

— А ты, Вань, шаурму на точках продаёшь?

— Нет...

— И не собираешься?

— Не собираюсь...

— А жаль... Занялся бы, а? В других городах вон киоски с шаурмой появились, сразу же проблема бродячих животных решилась...

— Что?! — ужаснулся Имбирёв.

— Да шучу! — покатывалось со смеха масляное, как колобок, лицо мэра. — Проверял, слушаешь ты меня, или опять в облаках витаешь... — и протянул бумагу: — К нам не относится, за городом... Но я решил всё-таки тебе отписать на усмотрение твоё... Конкурс русской частушки в посёлке Берёзовка... Ну, знаешь, там классика, Александр Сергеевич Пушкин:

*Родила царица в ночь,  
не то сына, не то дочь,  
посмотрела, плюнула  
и обратно сунула!!!*

— По-моему, у Пушкина как-то по-другому было... — засомневался Имбирёв.

— Да, Вань... Слово «плюнула» грубовато для пушкинского века... — согласился мэр, почесав затылок. — Тогда не говорили «открой», вульгарно, а токмо «отвори»... Ну, так ведь на то и частушка... Смотри Вань, как решишь, так и будет... Выделишь им, что они просят, — конкурс продолжится, не выделишь — закроется...

— А город никак помочь не может?! — зарычал Имбирёв, и у него загуляли желваки от плохо скрываемого гнева.

— Вань, ну я же сказал: за пределами городской черты... Мы — никак... Ну, если ты, как спонсор, не хочешь, чтобы жила русская народная частушка...

— Почему я-то не хочу, Григорий Пантелеевич?! — проскрипел через сжатые зубы Имбирёв. — Что, кроме меня, никого больше нет — решать?

— Вань, ну а кто? Как говорят в ВДВ — «никто кроме нас»! Ну, ты сам смотри, я отписал — на усмотрение... Я понимаю, у тебя сейчас расходы большие, новую торговлю запускаешь, а тут частушка эта...

— Я не то чтобы отказываюсь... Но, может быть, кроме меня ещё кто-нибудь поучаствует?

— Нет, Вань, я вопрос вентилировал... Ты же понимаешь, всем на всё наплевать... Ну, что поделаешь, сам знаешь, кризис к нам пришёл...

— А что, — скептически кривился Имбирёв, — он от нас разве куда-то уходил?!

— Вань, да ты что, белены объелся?! — вскинулся мэр. Он не видел ни своей вины, ни причин написанного на лице Ивана страдания: ведь никто же не принуждает, «колхоз — дело добровольное», наплевать тебе на конкурс русской частушки — не оплачивай, да и дело с концом. — Я не понимаю, почему ты говоришь со мной в таком тоне?

— Потому что я хочу жить нормальной, человеческой жизнью! — заорал Имбирёв, треснув рукой по столу. — В которой ничего не горит, ничего не закрывается, никого не сокращают и в бетон не закатывают! В которой заводы, магазины и редакции существуют по сто лет без перерыва! Я этой нормальной, человеческой жизни тридцать лет, как не видел! Мне надоели ваши «экстримы» — тридцать лет то ствол у затылка, то нож у горла, то кулаком в грудь... Тридцать лет у вас то понос, то золотуха, то инфляции, то стагнации, жить человеку когда? И как?!

— Ну чё ты кипятком ссышь?! — укорил, как неразумное дитя, подчинённого мэра. — Нет — так нет, я же сказал — на твоё личное усмотрение...

— Давайте сюда! — сломался Имбирёв, раздавленный бетонной плитой патриотического долга. — Давайте ваш посёлок Берёзовку... Я что ж, не понимаю что ли?! Культура, фольклор... Нужно...

...То, что Имбирёв сдержал в себе при начальстве — выплеснулось на ни в чём не повинного водителя служебного «хундайки»:

— Понимаешь, Вадик... — плаксиво кривил губы Имбирёв, — когда я был школьником, газета «Вечерняя Кува» праздновала своё столетие... Я начал-то журналистом, понимаешь? Сто лет! Туда приходили молодые ребята, и оттуда уходили на пенсию, прожив там целую жизнь... И так три поколения! А когда я начал работать — мы открывали газету на полгода, а закрывали через три месяца... Младенческая смертность трудовых стажей... Ну это же не жизнь, Вадик, это же какой-то ведьмин шабаш, нельзя людям так жить... Но живём... Уклоняясь от обуха судьбы — и в «ответку» нанося удары... 30 лет без права заснуть спокойным сном, без мути и кошмаров...

— Ты же обещал, Иван... — просит Ольга, и губы её чуть заметно дрожат, а в больших васильковых глазах — бисеринки слёз. — Ты же говорил, что больше никогда... Никаких «красных кнопок»...

— Я должен открыть магазин в Баклёво, — смущённо и виновато объясняет Имбирёв. — Мне нужны средства... Без этого посёлок умрёт...

— Ну и пусть он умирает! — хочется закричать Ольге с чисто-бабьим эгоизмом. Но она никогда так не закричит. Потому что если она так скажет — случится то, чего она больше всего в жизни боится: она потеряет его. А поскольку она знает его лучше него самого, то и это понимает лучше, чем он сам...



...Миниатюрная официантка, выглядевшая младше своих паспортных лет, отчего посетителям «Блинной» казалось, что здесь эксплуатируют детский труд, плакала навзрыд. Рыдала — и не могла остановиться. Это кукольное горе в жёлтом коротком фирменном платице и белом передничке недоумённо наблюдал хозяин сети, Иван Сергеевич Имбирёв.

— Что случилось, Варвара?! — спросил, наконец, у заведующей.

— Бой у неё... — отчеканила злая тётка-заведующая. А в «Блинных» бой означает совсем не то, что у обычных людей, здесь он менее драматичен: раскоканная посуда. — Бой у неё, Иван Сергеевич, семь тарелок разом... С подноса... Кривые руки глазам сохнуть не дадут!

И, считая вопрос исчерпанным, Варвара Фёдоровна стала перечислять сложенные хозяину в пакеты для мусора калорийные объедки общепита. Имбирёв ехал с друзьями на рыбалку и заехал сюда за прикормкой, кою заведомо и умело скомплектовала бывалая бабища-заведующая:

— От сдеса пшённых блинов пять кило... Уже покрошенные, Иван Сергеевич. — А сдеса, не спутайте, *начинная просрочка*, ветчина и сыр, три кило...

Миниатюрная официантка продолжала плакать. Имбирёв отстранил заведующую с *просрочкой*, подошёл к девочке, отцовски приобнял и пообещал:

— Давай, Полинка, не реви! Списал я тебе твой бой, не переживай! — и крикнул через плечо: — Варвара, семь её тарелок с меня спиши!

— Хорошенькое дело! — диссидентствовала бабища-заведующая. — Слезу пустила, на 540 рублей заведение опустила... Вы их, Иван Сергеевич, так не балуйте, они все так начнут делать, раскерамят закусочную...

— Не чуди, Варвара, я сказал, значит — отрезал... Полинка маленькая вон какая, ей кушать надо много, чтобы расти, — Имбирёв дружески подмигнул поднявшей на него заплаканное лицо дюймовочке-официантке.

— Чего их кормить?! — играла заведующая «злого следователя» в паре начальства. — Жрут и жрут, трёхразовое питание за счёт столовой, а дома не едят, потому что у них диеты, после шести нельзя... А до шести жрут, потому что Ивана Сергеевича распоряжение...

— Я тебе премию выпишу! — совсем расплылся в гуманизме рыбак с *прикормкой* в правой руке. — Только не плачь!

Полинка расхрабрилась, видя участие в своей судьбе «большого человека» и заглѣбываясь словами, выдохнула на одной ноте:

— Больно ведь щиплется... И не в первый раз уже, у меня попа в синяках...

— Кто?! — оторопел Имбирёв, отстраняя девчушку и глядя ей в глаза — не с ума ли сошла?

— За третьим столиком, очкастый... Специально сюда ходит, меня караулит... Такие гадости говорит мне... Сил моих нет, Иван Сергеевич...

— Ну, ты голову шефу не морочь! — вмешалась Варвара Фёдоровна. — Когда этот очкастый тебе чаевых по «штуке» кладёт, ты, небось, берёшь! У них, Иван Сергеевич, «особые отношения»...

Игнорируя суровое разоблачение от заведующей, Имбирёв оскалился поволчьи и строго спросил Полину:

— Почему молчала? Что, мне не могла сказать?!

— Иван Сергеевич... — залепетала напуганная девчушка. — Я ведь... У нас ведь... Вон табличка над раздаткой — «клиент всегда прав»...

— Клиент! — поучительно сказал бывший интеллигент Имбирёв. — Это прихлебатель патрона в древнем Риме... Чему вас только в школе учили?

— Не учили меня в школе... У нас в Тамаевке школу закрыли, когда мне десять лет было... Мне очень нужно это место, Иван Сергеевич, я боялась, что...

— ...Выгоню?! — хищно ощерился Имбирёв. — Правильно боялась. Но не тебя, а его...

\*\*\*

Два его друга, Лёха и Рустам, устав клаксонить с заднего двора, — пошли проверить на кухню, чего там застрял Ванька-рыболов? Обещал на секундочку заскочить, взять прикормку — нет и нет, только за смертью посылать...

Рустам, который за рулём, особенно сердился: коньяк стынет, а пока до берега не доехали, ему, как водителю, нельзя! Лёха был благосклоннее, потому что к фляжке прикладывался в минуты скуки...

— Ты пойдёшь... — подучил Имбирёв Полину, — и пригласи его в подсобку.. Только ласково, чтобы он ничего не заподозрил...

— Зачем мне звать его в подсобку? — испугалась официантка. — Он и так слюнями на меня изошёлся... А я...

— Ты не дрейфь, в подсобке я его встречу. Поговорить мне нужно, оптику молодому человеку подправить...

— Иван! — возмущённо вторгся в его вендетту Рустик. — Ну чего ты тут?! Ну чё за дела?! Договорились, что едем, и так уже проспали... Прикормка где?

— Вот два пакета, — передал Имбирёв. — Ты иди пока в багажник поставь... А у меня дело срочное образовалось...

— Помочь? — понимающе подмигнул Лёха. И цинично отхлебнул из фляжки у Рустика на глазах...

— Не надо, братья, с глазу на глаз разговор...

\*\*\*

— Ты пойми, мил человек... — воркующе, ласково начал Имбирёв разговор у кафельной стены, где очкарик из зала думал застать явно не его. — У меня ведь девчонки такие... без судьбы... многие — деревенские, беглые... У кого нет отца, а кто отца своего не знает... Так что я им всем вроде как за отца буду...

— Это вас не касается, — борзел слюнявым ртом городской хипстер с провинциальными понтами. — Это между мной и ею... Я ей «зелёную» клал сверх чека, а она только улыбалась... Теперь пусть невинность из себя не строит, а то ишь чего: на жалость разводит...

У Имбирёва на пальце правой руки сидело широкое, с виду обручальное кольцо. Иван Сергеевич пальцами левой руки сместил его дугу — и кольцо на шарнире раскрылось в маленький, но острый крюк...

Мгновенным порывом, так, что «клиент — прихлебатель патрона» ничего сообразить не успел, — Имбирёв припёр его к холодному белому санитарному кафелю, пахнувшему кварцеванием бесчисленных дезинфекций... Коготь, торчащий из кулака, натянул вислую кожу на шее хипстера...

— Я... буду... жаловаться... — неуверенно, и почему-то шёпотом пообещал клиент-шалун.

— Ещё раз сюда придёшь! — мрачно пообещал Имбирёв. — Я тебе кадык вырву!

— Да я... Да я... Да я приведу парочку черножопых, с сиверского рынка, и мы тебя, толстый...

— Приводи, сделай милость! — рычал Иван Сергеевич. — Я тогда вырву три кадыка... Мне субпродукты в морозильнике не помешают... Пошёл вон, и чтобы я тебя возле Полинки не видел! Ты меня понял?..

Крюк на кулаке многообещающе подцепил гулящее яблочко, по стали сбежала бисером капелька крови, какие бывают при порезе бритвой...

— По... по... понял... — незадачливый посетитель, наконец, сообразил, что спорить с хозяином заведения себе дороже, и что правило «клиент всегда прав» тут не действует.

\* \* \*

— Всё, Полинка! — пообещал Имбирёв, выходя на кухню, заплаканной девчухе. — Он больше тебя не побеспокоит...

— Ну, ты эта... — одобрил Лёха, лакая свой коньячок между фраз, — молодец! Чётко разрулил... За что тебя всегда уважал — дык за чуткость к людям...

— Варвара! — щёлкнул пальцами (а крюк на них всё ещё не свернулся обратно в купеческое кольцо, орлино торчал сбоку) хозяин. — Ты мне смотри! Ты за девчонок отвечаешь как мать!

— Они ленивые, только жрут и телек смотрят! — нажаловалась заведующая на свою печаль. — Злоупотребляют!

— Выпивкой? — нахмурил бровь Имбирёв.

— Не выпивкой, массажными креслами... — смутилась Варвара Фёдоровна. — Вы в комнате отдыха персонала поставили два массажных кресла... Ну, там ноги размять, спину... Так они, заразы, часами там сидеть готовы! Уж гоняю, гоняю... Самой туда сесть и то бывает некогда! Если вы их так будете распускать — они совсем работать перестанут...

— Ну, что уж тут сделаешь? — развёл руками Имбирёв. — Люди ведь, не роботы... Понимать надо! Бой с Полинки сними и премию ей выпиши!

Варвара даже задохнулась от такой несправедливости:

— Иван Сергеевич, ну ладно бой... Но премию-то ей за что?! Она свою премию уже от хахалы получила... Меньше бы лыбилась всяким извращенцам — меньше бы ей зад щипали...

— Не чуди, говорю, а выпиши... За моральный ущерб... Девчонка из деревни мёртвой, живёт — комнату снимает... Ей кто, кроме нас с тобой, поможет? Она Полинка-пылинка... Сдунешь — и нет человечка... Да только я тут всяким-то дуть не позволю...

— Иван Сергеевич, — прочувствованно сказала Полина, — вы... вы... У меня никого, кроме вас, в жизни нет...

Имбирёв как-то комично смутился, стал смотреть на носки своих рыбацких ботинок...

— Ты только при Ольге так не скажи, Полинушка... А то может неправильно понять...

— Ну давай ужо! — поторапливал Лёха друга (а Рустам со двора сигнализировал протяжными обиженными гудками). — Робин Гуд ты толстомясыый, пошли, а то и я расплачусь... Сколько уже можно собой гордиться принародно?! Ноги в руки, и на берег!

\* \* \*

В машине Лёха красочно воспевал этот, в общем-то, мелкий бытовой случай, от доброты души приукрашивая благородство Ивана всякими нелепыми подробностями в стиле «Бедной Лизы» Карамзина...

— И вот так... — школьно завернул он под конец (а они дружили с Имби-

рёвым со школы, и при встрече всегда становились школьниками), — порок был наказан, а добродетель восторжествовала...

И выставив бутылку коньяка на манер репортёрского микрофона, поинтересовался у Ивана:

— Ну и что чувствует сейчас народный мститель?!

— Оставь ты свои хаханьки! — сердито сказал Имбирёв, впадающий в обычную для его характера депрессию. — Где ты видел наказанный порок? Где ты видел торжествующую добродетель?! Мы создали мир, в котором такие вот девчонки-недомерки стали заложницами... Без имени, и в общем, без судьбы... А теперь мы стараемся какими-то мелкими, смешными геройствами (это слово он произнёс, как у Салтыкова-Щедрина, «еройствами») что-то поправить?! Мы наказали очкастого извращенца...

— Ты наказал! — сподхалимничал водитель, пытаясь вернуться на воскресный шутиливый тон.

— Мы, Рустик... Мы, вроде бы хорошие парни, хозяева жизни, наказали очкастого извращенца... Но если подумать, то мы же его и создали...

Осмысливая это, богатые ребята-одноклассники перестали быть «весёлыми ребятами». Задумались и погрустнели. Люди не дружат просто так, тем более по тридцать лет неразлучно! Если в такой не-разлей-вода компании у кого-то есть совесть — значит, она есть и у других...

Даже когда их рука тянется к условной «красной кнопке»...

## 5.

В страхе перед проклятием «красной кнопки», хорошо знакомой ей ещё по 90-м годам, Ольга Имбирёва предложила продать пекарню, или какой-нибудь из их магазинов...

— Оленёнок... — мягко уговаривает Имбирёв, — это ведь получится «тришкин кафтан»: чтобы открыть магазин, продаём другой магазин...

Действительно, какой смысл?!

Просто ей страшно. Тень тюремной решётки постоянно разграфляет жуткими квадратами-призраками всякую судьбу, выбившуюся из теснин нищеты. Нервы Ольге в жизни пощекотало многое, очень многое...

И ей хочется, чтобы всегда было, как в этот вечер: за стенами особняка Имбирёвых свистит холодный бич осеннего ветра, оконное стекло плачет дождём... Но в доме полыхает камин, гуляют волны тепла, и ноги вытянуты на пуфике к огню. Выставлены белые, вязанные мамой шерстяные носочки с красным орнаментом: два носочка поменьше, Олины, и два побольше, Ивана. Пары, похожие, как братья-близнецы... И в полумраке — сполохи звонко пощёлкивающих берёзовых поленьев, горячий пряный глинтвейн в богемских бокалах... Объятия и слова, одинаково тёплые...

Наверное, это всё же не мужская, а женская мечта, воплотившаяся во всей красе. Она же чувствует Ивана, и чувствует, что ему нужны не только деньги. «Красная кнопка» взбудрила его, омолодила, мобилизовала в нём дремавший драйв.

С замиранием сердца впрягся он в старые, хорошо знакомые экспедиторские хлопоты, вошёл, как домой, в холодную морось ночного вокзала, в жёлтую зыбь железнодорожных семафорных огней... Лязгающие вагонные задвижки, пломбы, полночная разгрузка, фуры, перегруз, дождь не на стеклах — на скулах, склизкий от влаги пластиковый дождевик с капюшоном...

Длинные бетонные пеналы в сверхурочной типографии, перебой, перепечатка, переклейка... Улыбчивые и понимающие лица старых подель-

ников, с которыми пуд соли съели, да ещё и перцу хватило в самые тяжёлые времена...

Суть этой «красной кнопки», нынешней — проще многих предыдущих. Берутся оптом консервные банки, и переклеиваются на них этикетки.

Вот перед нами банка имитации крабового мяса из сурими<sup>1</sup>: оптом она стоит 34 рубля, как они пишут, «при заказе от 25 штук».

А вот другая банка, почти такого же калибра, хоть в одну пушку их заряжай: «Крабовое мясо замороженное «Краб Крабыч»». Если заказывать «от 12 штук» — то оптовая цена 950 руб. за штуку...

Или вот «мясо краба натуральное (люкс)». В стеклянной банке 230 грамм. Если заказать таких свыше 60 — то обойдётся 750 рублей штучка. Ещё вариант: «Мясо краба «Экстра» 1-ая фаланга». 240 грамм. Производитель с Камчатки.

А банки стандартные, под один калибр. И вот тридцатирублёвая банка сурими лёгким движением волшебства превращается в «Экстру первой фаланги»...

Когда 30-рублёвая банка стала вдруг стоять под тысячу — можно делать самые заманчивые скидки розничным сетям. Там есть у Имбирёва — с кем говорить и с кем тихо повернуть всю операцию «Красная кнопка».

Но как бы ни врос Имбирёв с конца 90-х в городскую деловую среду, как бы ни был прикрыт депутатской неприкосновенностью — определённая доля риска всегда остаётся. Поэтому и кнопка — называется не синей, и не бурой. И, конечно же, лучше этой кнопкой никогда не пользоваться...

Ольга ненавидит эту «красную кнопку». Это единственная женщина на земле, к которой она ревнует. Единственная возможная разлучница. Лучше жить в предельной скромности, чем так подставлять любимого человека...

Но Ольга не только любящая, а ещё и умная женщина. Дурочкой она иной раз прикидывается ради кокетства, по праву «этих наших женских штучек». А так-то знает: дела иначе не делаются. Она достаточно пожила с Иваном, да и без Ивана понимает: чтобы что-то взять — нужно это взять откуда-то и у кого-то. А те деньги, которые на улице валялись, — давно уж подобраны. В том числе и её мужем подобраны, который в перестройку то медные листы, то алюминиевые чушки находил в отвалах...

И если не дурить голову с крабными консервами — тогда придётся выжимать из пекарни, например. Резать зарплаты, сокращать штат, увеличивать нагрузку... Делать как все, а не как Иван Имбирёв, почитаемый собственными рабочими за блаженного дурачка, работающего не столько на прибыль, сколько на поддержание штанов коллектива...

Нет, лучше уж обмануть заносчивых болванов, которые хотят выпендриваться крабами на столе! С каждого сноба скромный взнос — вот и капитал для магазина «Трастовый» в Баклёво...

— Не себе же, людям! — сказал бы муж. И Ольга внутренне ненавидела этих незнакомых людей, из-за которых её любимый влезает в подсудные дела...

Так-то семье Имбирёвых «за глаза» хватает! Ну, там — на «пожить-покупать»... Выражаясь казённо, на текущие бытовые расходы... Ну, конечно, не на инвестиции в новое дело: там расходы на порядок крупнее!

Ольга знала, что не смогла бы с хрустом выжимать деньги из крови и кос-

<sup>1</sup> Сурими — однородная масса из минтая, сельди иваси, скумбрии. Не обладает сильно выраженным запахом и вкусом, и потому часто используется для имитации крабовых консервов.

тей людей, как делают все «нормальные» буржуи. Одно дело — развести лохов, которые никак не пострадают, поскольку сурими ничуть не менее полезно, чем мясо краба. И даже не заметят подмены...

Совсем другое — давить зависимых от тебя, униженно-подчинённых и потому безответных, вышибать из них копейку о плиточный пол частной пекарни, ежедневно и ежечасно пить их соки, истощать их и вводить в отчаяние... Чтобы выжимать, как из губки, из каждого скупые капли их мозолистых грошей и алтынов...

Но почему-то сегодня, думала Ольга, второе, зверское выжимание «баб-ла» из хрящей и суставов — совершенно неподсудно и считается достойным, уважаемым занятием.

А вот за ночную переклейку этикеток на консервах можно сесть, и сесть надолго...

— Весь мир перевернулся с ног на голову! — вздыхала Имбирёва, не в силах этого понять...

\* \* \*

Выбирая сыну с невесткой свадебный подарок, Иван Сергеевич остановился на их любимой маленькой кофейне, где, как он знал, они любили посидеть после университетских занятий. И где познакомились при забавных обстоятельствах...

Юная студентка приятной смуглой внешности, впорхнув сюда однажды со стайкой легкомысленных подруг, увидела за столиком голубоглазого красавца-блондина. И как-то сразу взяла насмешливый тон, чтобы скрыть, что он понравился:

— Молодой человек, а у вас свободно? — улыбнулась с игривым очарованием.

— Да, конечно... — разулыбался будущий жених со всем радушием и подвинулся с излишней готовностью...

— Тогда можно у вас стул забрать?

И демонстративно, с ожидаемым эффектом откинув длинные вороные волосы, уволокла стул с виолончельной спинкой к хихикающим дурочкам своего факультета.

На этом всё бы и кончилось, наверное, но надо отдать юному Имбирёву должное — он не привык, чтобы последнее слово оставалось не за ним. Через какое-то время подошёл уже сам, и лукаво поинтересовался:

— Девушка, а вы не с истфака?

— Да... — расслабилась она, довольная, что зацепила взгляд такого сокола. — А как вы догадались?

— А у вас лицо глупенькое...

Она вспыхнула, в гневе швырнула наглецу первое, что пришло в голову, надёжное детское «сам дурак»:

— Это у тебя лицо глупое!!!

— А я тоже с истфака... — как должное, принял Имбирёв. И на этой точке оба перестали пыжиться, изображать из себя колких ёжиков, расхохотались...

Да, тут им нравилось, наверное ещё и потому место первой встречи овеяно незримым ореолом романтики...

Кофейня была почти игрушечной: комнатка, не больше кухни, и такая же уютная, ловкий бариста за стойкой, игрушечно-круглые столики, дива-

ны подковками, полка с витыми, как музыка, застывшая в красном дереве, стульями перед окном с видом на улицу...

Над головами — рассеянный мягкий свет маленьких светильников, множество звёздочек, гвоздичный и тминный привкус интимного полумрака...

— Подайте нам счёт, только отдельный... — потребовала Айгуль, завершая первое, нечаянное и шуточное свидание с Олегом Имбирёвым.

Он даже вспыхнул от обиды:

— Зачем?! Я заплачу!

— Конечно, заплатишь! — змеино улынулась она. — А как мы мои калории в общем счёте выделим?!

Он не обиделся. Его чувства юмора хватило, чтобы эту шпильку понять. И снова крыл той же картой:

— Девушка, склонная к воздержанию, в наше время настоящая находка!

И потом они целый курс фехтовали тут остротами, вызывая восхищение у её подруг и его друзей, дружно решивших, что перед ними — идеальная пара...

— Вот видите, девушки, — поучал компанию этот блондин, — Айгульченок ждала принца на белом коне, и он пришёл...

— Да! — потупив глазки бестии, покорно соглашается она. — Осталось только дожидаться принца...

А с белёных стен им подмигивало тонко стилизованное молодёжное граффити, для них танцевали светлячки посудных бликов, для них (так им казалось) — лилась лирическая музыка из большой телевизионной панели, подвешенной в углу...

Отличное местечко для хороших людей, особенно когда они влюблены и вместе! Здесь всё располагало побыть подольше, между матовой солидностью барной стойки и прыгающими разноцветными неоновыми огнями витрины.

Что ещё нужно парочке студентов? Камерное местечко, хорошая кухня, толковый бариста, разбирающийся в кофе и подающий разные сорта напитка в чашках соответствующих им форм, как положено... Олег и Айгуль оба были отпрысками богатых семей, и умели это ценить. Как и глинтвейн, если прибежать с дождя и сырой промозглости, вдыхая тепло и ароматы, глинтвейн в «правильном» бокале! Это было едва ли не единственное заведение в миллионной Куве, где с глинтвейном умели обращаться по правилам...

Перед покупкой Имбирёв-старший уточнил, как дела с персоналом. Оказалось, тут всего четыре, через сутки сменяющихся, баристы, один повар и бухгалтер с уборщицей. Управляющим был сам владелец — теперь на его место Иван Сергеевич прочил своего сынулю...

Пригласив «сладкую парочку» в прекрасно знакомое им место, Имбирёв мушино потёр ладони дельца, и поинтересовался тоном бывалого сервератора:

— Ну, мальчики, девочки, чем угостить?

Пережевливав, Айгуль чересчур смущённо озвучила свои вкусы:

— А можно мне кофе-латте?

— Откуда я знаю, что тебе можно, а чего нельзя? — комично округлил глаза старший Имбирёв. И Айгуль поняла, что отец стоит сына...

Когда они выпили кофе и закусили божественными заварными пирожными, Иван Сергеевич удивил сюрпризом, которого они точно не ждали...

- Нравится? — спросил Имбирёв, обводя рукой окружающий уют.
- Очень! — улыбнулась Айгуль. — Тихая гавань усталой мечты...
- Как норка хоббита! — кивнул Олег Иванович.
- Это мой вам свадебный подарок! — порадовал детей Имбирёв-старший. — Кофейня эта записана мной на вас, ребятки, в долях 50 на 50...
- Папа! — восхитился Олег, и в его маминых голубых глазах сверкнула слезинка. — Спасибо, папочка...
- Иван Сергеевич... — смутилась Айгуль. — Ну зачем же так?! Мне неудобно принимать такие щедрые подарки...
- И это очень хорошо! — огорошил её Иван, вместо того, чтобы ободрить.
- Давайте выйдем на пять минут, тут великолепный вид открывается...
- Они вышли из тёплой кофейни в холодный осенний пасмурный день, и забавно расписанные по стеклу прозрачные двери остались за их спиной, как ёлочный разноцветный фонарик.
- Воздух улицы заполнен был не только сырой промозглостью, но и вездесущей окалиной для взгляда, приглушенно-серой «привкусиной» уральского ноября...
- «Великолепный вид» оказался большой стройкой через улицу. Ничего великолепного в нём не было, и даже наоборот... Хорошо было видно, как интернационал каменщиков всех оттенков кожи, с одинаково-серым выражением лица, лёгшим единой тенью, кладёт кирпич. Здесь были таджики, армяне, молдаване, татары и славяне... И огрубевшие руки каждого от тяжёлой работы были красными, как укладываемые ими кирпичи...
- Айгуль с Олежкой недоумённо переглянулись и вопросительно уставились на папу: чего это старик чудит?
- Посмотрите на этих людей и навсегда запомните их! — посоветовал Имбирёв-старший. — Чтобы маленькая уютная кофейня не казалась вам тихой гаванью беззаботного добродушия! Неужели вы, ребятки, думаете, что все они дураки, и никто не хочет владеть маленькой кофейней?! Огорчу вас: это не так. Изнеженное детство рождённых в достатке и окружённых родительским поцелованием может закрыть от вас жизнь, как она есть... Но вот мой вам родительский сказ — на всю оставшуюся жизнь: не смейте быть благодушными и беззаботными! Каждая копейка, — сына, доча, — каждая копейка в нашем кармане отобрана в жестокой и кровавой борьбе с другими людьми! Помните, что на каждую вашу копейку всегда будет по сорок голодных хлебал... И стоит только немного расслабиться — твои современники разорвут тебя в клочья, сожрут, как зомби в кино...
- Папа! — робко протестовал Олег, видя, как загрустила невеста. — Это слишком уж мрачно, особенно после такого замечательно светлого подарка...
- Мрачно, но нужно! — приобнял сына и его избранницу за плечи Иван Сергеевич. — Вон, видите, тащится бомж с кипой картона? Он собирает этот картон, сдаёт его на мясокомбинат, а потом из этого картона варят колбасу... И вся жизнь так вот варится... А вы молоды, обеспечены, и вам очень легко забыть изнанку жизни!
- Деликатно подождав, пока бомж с тележкой, полной спрессованных картонных коробок, прокатит мимо, Иван Сергеевич продолжил:
- Запомни, сын... Айгульчонок, ты стала мне как доча, тоже запомни навсегда: быть владельцем маленькой кофейни — это значит одержать большую победу. Трудную и кровавую. У крупных держав должности полководца и дипломата занимают разные люди... Владельцу маленькой кофейни прихо-



дится совмещать... Быть сразу и хитрым Талейраном, и несокрушимым Тамерланом... Он должен уметь улыбаться и любезничать, танцевать реверансы и политесы... Но при этом должен уметь драться, бить наотмашь и без пощады, когда это нужно!

Если вы, дети, будете только огрызаться, система сочтёт вас слишком агрессивными, и раздавит. Но если вы будете только улыбаться и кланяться — система сочтёт вас слабаками, и тоже раздавит. Нужно постоянно напрягать и изощрять ваш ум, чтобы понимать: в каких случаях нужно поддакивать, а в каких — бросаться хищным зверем и горло грызть... И если не готов — тогда лучше сразу постригись в монахи, тоже достойная судьба...

— Это не жизнь, папа... — возразил Олег. — Это ты капитализм описывал, конкретно взятый... И не все, между прочим, хотят, чтобы жизнь так была устроена...

— Совершенно верно! — закивал Иван Сергеевич. — Я имел честь принадлежать к советскому народу, который хотел, чтобы было не так... Но запомни, сынок: хотеть и сделать — очень-очень разные вещи... Если хочешь летать — то строй самолёт. Рви ногти в тяжёлой работе, слепни над чертежами — и может быть, когда-нибудь полетишь... А если ты хочешь летать и просто прыгнешь с башни вниз головой — то расшибёшься, и всё на этом кончится... Думай, ищи — но умоляю, будь осторожен и не открывайся корпусом! Я, сынок, далеко не фанат той жизни, которую прожил... И я хотел бы, чтобы всё было иначе...

Но я порву глотку всякому, кто покусится на мой кушман! И не потому, что я такой жадный, и мне собственности жалко — вовсе нет! А потому, что ответственный человек может ручаться только за себя! Я знаю, на что я способен, но не знаю, на что способен тот, кто хочет меня выпихнуть. А если я проявлю слабину и дам себя сожрать — то всё, что потом сделает мой победитель, будет на моей совести...

И потому я не то, что не хочу — я права не имею никому уступать своё!

\*\*\*

Настоящие друзья — те, кто могут сказать правду человеку, не позволяя ему оставаться перед миром смешным и жалким. И, например, если ты придумал новый продукт, а он дурацкий — то друзья резанут правду-матку...

Старые товарищи, Лёха и Рустам, ещё с солнечных давних дворов беззаботного советского детства, собирались у Имбирёва на старой квартире, где их неизменно обожала потчевать старушка-мать Ивана, ворчливая Наталья Степановна.

Школьники выросли и становились крупными фигурами, а мать старела, уже не так расторопна была, но стол в отцовской гостиной Имбирёва не менялся, раздвигаясь по тем же самым пазам, как и тридцать лет тому назад... И весь дом дышал солидной, ретроградной старостью. Кто говорит «обветшал» — а они считали — «традиция»!

Традиции застолья у Имбирёвых — значит, всегда несколько холодных закусок и два горячих блюда, а также чай и торт от хозяйки: неизменность, пронесённая сквозь годы, реформы и невзгоды!

Бабка Имбирёва прекрасно готовила оливье, селедку под шубой, салаты с грибами, овощные вариации и прочие советские «реконструкции времени». Иногда мешала стручковую фасоль с курицей, помидоры или ананасы с сыром, лишь чуть-чуть сдобрив это давленным чесночком... Давно сложив-

шаяся аудитория всегда ей аплодировала, видя в сём не скуку, а один из прекрасных казачьих обычаев.

Но особенно друзья детства ждали заварных пирожных Натальи Степановны и жёстких, песочного теста, тартелеток с домашним кремом, со смолодиной по центру, придающей всей композиции кислинку очарования.

С годами бабушке становилось тяжело двигать противни в духовке. И тогда возле неё появилась «старший пекарь», гибкая и сильная, как дикая лесная кошка, Валентина из кулинарного цеха «Былины». Валя возникла однажды на «пробах» (так назывались дегустации нового продукта, из числа в изобилии приобретаемых Иваном), и довольно прозаическим образом. Она привезла для облегчения бабкиного труда заранее заказанные к столу стейки из рыбы, свинины и говядины, гарниры из риса и овощей. С умыслом прихлопнула это всё сама, отказавшись от помощи кухонного рабочего...

На дворе тогда был февраль, и Валентина оделась «валентинкой» — на её форменном фартучке красовался яркий кармашек в виде сердечка, расположенный «от пупка и ниже»...

— Иван Сергеевич! — смутила хозяина наивно-бесстыжими глазами оторвы с окраин. — Вам «валентинка» от коллектива! Все вас очень любят и поскольку февраль — вот вам сердечко!

Она провела сильными, натруженными, но женственно-узкими ладонями по бёдрам в обтягивающих джинсах...

Имбирёв хотел поблагодарить и отправить обратно, но тут в дело вмешалась старуха-мать, потащила Валентинку на кухню, попутно змеясь, что от Ваниной жены помощи сроду не дождёшься...

— Заходи, заходи, дочка! *От*, бери консервный нож и открывай кукурузу с горошком...

Ольга Анатольевна избегала кухонных радений свекрови, справедливо полагая, что если от неё будет за версту нести супами, блинами и котлетами — это уронит её не только в глазах деловых партнёров мужа, но и в глазах самого мужа... Но теперь свекровь нашла, на ком отыграться, тем более, что присланная коллективом «валентинка» была совсем не прочь тут «подзависнуть»...

И вот прижилась: и сегодня расставляла по длинному раздвижному столу фруктовые соки, минералку и газировку, вызывая искренний и неподдельный интерес Лёхи и Рустика...

Очевидно именно мелькание её гибкой спины, повязанной, как подарочная упаковка, ляпочками спецодежды кулинара, породило у Имбирёва длинную порцию очередного словоблудия:

— Очень мало у нас в стране достойных мужчин... И ещё меньше достойной работы достойным мужчинам... Это большая национальная беда, с этим нужно, друзья, что-то делать, — и т.д., и т.п.

— Управляет Вселенной, не привлекая внимания санитаров... — подмигнул Рустик Лёхе.

Они охотно и с аппетитом пробовали новую «линейку»: варенья, смешанные из южных и северных плодов, — замысловатые восьмигранные баночки содержали абрикосы с клюквой, манго с морошкой и тому подобную эклектику. Банки покрупнее, литровые, — наполнены были яркими до ряби в глазах жёлтыми и красными полосами, нарезанными из болгарского перца. В медовой заливке «лечо» от Имбирёвых!

Повсюду новые товары сопровождались религиозной символикой — «По заказу братии Свято-Пантелеймоновского монастыря», «Монастырская

кухня» и всё такое прочее. Чудо русского языка позволило Лёхе сказать интересное выражение: «ты навязчиво связываешь...».

В любом другом языке такое использование однокоренных слов было бы дико; в русском все поняли, о чём речь.

— Ты, Ваня, навязчиво связываешь все свои заготовки с православием... Тут надо меру знать, когда кресты на этикетки лепишь, недалеко и до кощунства...

— У Ивана всегда был какой-то извращённый вкус! — жаловалась мать мужчинам, которых помнила ещё вихрастыми хулиганистыми мальчишками. — Ну как можно, «Лечо» — и на медовой заливке?!

— А получилось вкусно! — примирительно ухмылялся Лёха. — Особенно если монахам в пост трескать, не постящиеся выйдут, а лакомки...

И услужливо поднёс кружевной фарфор блюдечка к Валентинке:

— А вам как, Валя?

— Мне очень нравится всё, что делает Иван Сергеевич! — двусмысленно, с пристальным взглядом-прицелом, улыбалась «старший пекарь».

— Значит, и его друзья? — пристал с другого бока Рустик.

Валя отстранилась — впечатления совсем уж доступной она производить не хотела.

— Ну, Рустам Алиевич, друзей-то ведь не он себе сделал!

— Тут постарались, как у нас, юристов, говорят — третьи люди! — кокетничал Лёха, подавая Валентинке коническую рюмочку и жестами предлагая выбрать водку, коньяк или виски...

Валя выбрала «Рябиновку», на коньяке...

Друзья детства Ивана Имбирёва занимались на таких закрытых пирушках делом, которое показалось бы странным само по себе. Тем более — в этом кругу. У них смолodu был «клуб любителей поэзии». По очереди кто-то из них читал под дегустацию стихи то Байрона, то Гейне, то Бёрнса, то Кедрова...

Теперь была очередь Ивана. Иван зачем-то выбрал Данте, причём подозревая, что очень старые стихи «на душу братве не лягут», начал он не с канцон (тут же переименованных игривыми негодяями в «кальсоны») — а с истории эпохи. Достал из кармана ворсистого пиджака (мать заметно поморщилась — она никогда не одобряла странностей отпрыска) ксерокопии каких-то дореволюционных страниц. Цитировал оттуда, из текста ещё с «ятами» и «фитами», говорил долго, и безуспешно...

Итог оказался предсказуемо-удручающим: друзья угрюмо молчали, мать презрительно фыркнула.

— Не, ерунда... — сознался честный Лёха. — Не цепляет, Сергеич... Вот Бёрнс в прошлый раз, тот да... А это графомания какая-то...

— А тебе как, Валентина? — в отчаянии поинтересовался хозяин у obsługi в нейлоновом синем фартучке с белой оторочкой и почти неприличным карманом спереди...

— Если честно... — созналась Валентинка, склонив голову набок (это была удачная, отработанная у зеркала поза «соблазняющий взгляд», не забудем и очень удачную родинку над губой, «кнопку улыбки»). — Я ничего не поняла...

— Молодец! — похвалил помрачневший Имбирёв — Честные сотрудники для меня важнее лстивых...

И, чтобы скрыть обиду, ушёл «уносить бумаги» в бывший отцовский, а потом долгое время и его собственный «кабинет-библиотеку»...

Мать, Наталья Степановна Имбирёва, охотно уплетала перцовое лечо на медовой заливке, уже забыв, что это «извращённый вкус»...

И с грустью бывшего человека констатировала (она по-прежнему пыталась учить этих мальчишек безотцовщину):

— Варит ананас с голубикой, смешно же... А вкусно выходит...

— Вкусно! — закивал Рустик со ртом, набитым именно ананасом с голубикой. Старая Имбирёва особо уважала его за то, что именно он, в далёком детстве, принёс в их дом «хмели-сунели» и другие восточные пряности. — Но, действительно, смешно...

— Когда Ваня бывает смешным, — продолжала мать, — он оказывается величественным. А когда хочет казаться величественным — то выглядит смешным...

— Аминь! — откусил Лёха половину тарталетки, стремясь докусить сразу до ягодки. — И в этом, можно сказать, его личная драма...

— Можно изображать из себя становление национальной буржуазии, — подтвердил Рустик. — А можно национальной интеллигенции... Но когда это в одном лице — то смешно получается...

Иван вернулся в продолговатую залу, к столу. И продолжил затронутую тему, которая, вообще-то, не для его ушей изрекалась...

Он говорил об этом нечасто. Он не любил эту тему — как фронтовики не любят рассказывать о войне... А если уж доставали, как вот сейчас, после провальной, никому не нужной лекции о Данте, то говорил заносчиво, раздражённо:

— Да бросьте вы! Я ведь знаю, что в ваших глазах интеллигент — это честность, а предприниматель — вор... Но что вы можете знать о воровстве и честности?! Когда издёрганный и замученный, отчаявшийся человек украл под покровом ночи тысячу долларов — он для вас вор... А когда глава большой корпорации ежемесячно получает миллион долларов под видом зарплаты — это считается честным, потому что он через кассу получил и налоги уплатил... Ну, а по сути-то это бред, разве сами не видите?!

— Вот! — развязанный Лёха-юрист бесцеремонно захохотал. — Отличный образец! Ваня, поздравляю, ты рассуждаешь, именно как русский...

— А ты кто?

— *Мордвин!*

— Врёшь!

— Когда покушаешь блинчиков Натальи Степановны, любая *морда* раздвинется... Но я не про это... Я о другом... Дорогой мой человек, Иван Сергеевич, люблю тебя, и потому вижу, как ты мучаешься зазря... С точки зрения действующих законов и формальных институтов, никакой «белый» заработок не является...

— Я русский, и рассуждаю, как русский! — перебил Имбирёв. — То есть, по сути — одному всё. И без проблем! А другому, если возьмёт чуть больше, чем «ничего», — сразу проблемы...

\* \* \*

— Однажды, сынок, ты примешь в руки всё моё дело — так знай же: это вот... — Имбирёв потряс в руке красочными этикетками «Камчатский краб отборный»: — ...Вот это и есть свободные деньги. А других свободных денег у делового человека не бывает...

— Пап! — морщился Олег. — А нельзя как-нибудь по-другому?

— Нельзя! — почти кричал Иван Сергеевич. — В городе более миллиона

дураков, ни один из которых никогда в жизни не отличит поддельного краба от настоящего. Но любой — кого ни спроси — хочет кушать только настоящего краба... Они же себя «не на помойке нашли»! Они же элита, блин! Им можно говно продавать за золото, если написать на говне, что оно «Элитное»... Художники-абстракционисты занимаются этим второй век подряд, и ничего...

Он умолк, и обиженно повисла в комнате тишина. Тикали на стене старомодные ходики — бабушкин подарок... Иван Сергеевич, в общем-то, сказал всё, что нужно. Но не всё, что хотел. Он очень хотел бы оправдаться, если не перед сыном, так перед самим собой:

— Если ты будешь просить у этих обалдуев на хорошее, доброе дело — хотя бы со слезами, хотя бы на коленях, — то даже хрена не допросишься, огородного... Они тебя спросят — «где наш гешефт, в чём наш профит?». Но если ты предложишь им бумажки, напечатанные зелёнкой и йодом, посулив 1000% прибыли, — они их расхватают, как горячие пирожки... А потом, поняв, что обмануты, — ещё и похвалят тебя, как «человека, умеющего жить»... Вот каковы эти люди, сынок... Я живу и работаю с ними много-много лет... В отличие от других коммерсантов я стараюсь не убивать их до смерти... Именно потому я и не стал миллиардером...

## 6.

В декабре 2017, вместе с первым робким и мокрым покровом что-то сломалось в нём, и Иван Сергеевич вдруг, сам для себя неожиданно, слёг... И помирать собрался...

Для родни, впрочем, такое не внове: Ольга Имбирёва боялась уже не так сильно, как в первые разы, привыкнув, что муж помирает с удручающей цикличностью. Постепенно она смирилась с тем, что замужем за «умирающе-воскресающим Адонисом», так что даже врачей поучать стала — что в данном случае лучше предпринять...

Умирание Имбирёва было делом трагикомическим. Комизм заключался в многократности мистерии. Трагизм же был в том, что Иван не притворялся, или, точнее сказать, не совсем притворялся. Его корчило с лицом серым, как пельменное тесто, трясло в жёстком, как американские горки, треморе, зубы стучали друг о друга, так что фарфоровые из их числа, судя по звуку, угрожали расколоться. По лицу текла самогонно-мутная испарина крупными, словно виноградины, каплями...

— Знаете, я затрудняюсь даже диагностировать, что это такое... — смущённо бормотал очередной доктор, вызванный к больному на дом, в коттедж на окраинной, почти загородной улочке Травной.

— Это тундровая лихорадка, — поясняла Ольга Имбирёва на правах бывалой женщины. — Серая северная сестра тропической «жёлтой», пиратской, лихорадки... Моря у нас другие — и лихорадка другая...

— О! — обрадовался вертевшийся рядом младший сын Савва. — Папа старый пират!

И получил от матери воспитательный подзатыльник:

— Как ты можешь так говорить? Какой же наш папа — старый?!

Когда температура «серой лихорадки» поднималась выше 39° — к Ивану Сергеевичу приходили бредовые видения, возвращавшие его то в мрачное прошлое, то в какие-то параллельные реальности.

Давно умершие люди или давно укоренившиеся страхи одолевали его

изнутри. Пока его жена объясняла доктору про тундровую лихорадку — сама эта лихорадка объясняла пациенту про жену...

Возникла перед Иваном очень правдоподобная галлюцинация, в которой его Оля — уходит от него. К кому именно — оставалось за обрезом зыбкого студня галлюцинации, но ясно, что к кому-то.

— Я верну тебе всё... — умоляет Ольга, и, добавляя эротическую нотку, добавляет жалобно. — Я уйду в одном белье...

— Всё наше имущество принадлежит тебе, — спокойно и мрачно объясняет Имбирёв. — По закону мне, как брошенному супругу, полагается половина... Другая-то половина твоя... В любом случае... По закону...

— Я отрекаюсь, отказываюсь, мне не нужно... — испуганно частит воображаемая Ольга. — Я прошу тебя, Ваня,пусти без ничего...

— Почему же ты не хочешь забрать свою долю? — всё так же хладнокровно изумляется Иван.

— Потому что прожила с тобой много лет, и знаю, что с таким кушем ты меня живой не выпустишь...

— А без ничего, думаешь, выпущу? — недоумевает Имбирёв, и на его траурном лице появляется улыбка-оскал, словно бы оборотень начал перерождение...

В дверном проёме появляются эти два «молодца — одинаковых с лица», помощник депутата и помощник по бизнесу, Зоригин и Яхрамов... В руках у них лопаты...

— Давайте, шеф, мы сами... — предлагают они в кладбищенском, зудящем скорбью молчании супругов. — Вам трудно будет...

— Нет, — качает головой Иван со всё более расползающимся по лицу прокуренно-желтозубым оскалом. И достаёт из ножен свинорез. — Есть вещи, которые мужчина должен делать сам...

И плачет... Плача, выныривает в собственной спальне. Жена, которая и не думала никуда уходить, склонилась над ним, протирая уксусом воспалённый лоб.

— Ты никуда от меня не уходишь? — на всякий случай интересуется Иван.

Ольга понимает контекст вопроса — она слышала, что говорил муж в бреду, все его жесты и артикуляцию.

— Вань, ну что ты чушь какую-то порешь?! Куда я от тебя уйду, с тремя детьми и на пятом десятке?! Лежи, успокойся, тебе с такой температурой вредно волноваться...

— А ты знаешь, что если бросишь меня — умрёшь? — уже явно ожидая комплимента, спрашивает Имбирёв, и трагикомизм ситуации вступает в свои права.

— Конечно, знаю! — Ольга морщится, как от кислого.

— И знаешь, что это не шутка? — уточняет супруг, явно не намеренный «отвалить» без желанного комплимента.

— Ваня, верю на все сто, — умасливает ему сердце жена. — С тобой телевизора не надо, на лице видно все серии «Клана Сопрано»<sup>2</sup>.

Теперь Иван получил, чего хотел, и может снова нырнуть в мир видений, пообщаться с мёртвыми и фантомами собственного страха...

Полезно периодически уходить из жизни — и зря, что большинство людей делают это всего лишь один раз. А нужно бы почаще задумываться, что

<sup>2</sup> «Клан Сопрано» — культовый американский криминально-драматический телесериал о жизни мафии. В России сериал показывали телеканалы НТВ и ТВ-3.

Господь может отнять дыхание твоё в любую ночь, от любого, даже смешного недуга... И вспоминать, что...

\* \* \*

...невестка, дочка крупного инвестиционного банкира, с виду избалованная и витающая в облаках, — как ни странно, будущего свёкра лучше всех понимала...

— ...Это Иоанн Мерикурский! — привычно пояснила ей Ольга Анатольевна Имбирёва, следуя за её взглядом, пристально изучавшим маленькую средневековую миниатюру в витой бронзовой рамке.

Иоанн Мерикурский<sup>3</sup> висел слева от каминного зева, чуть ниже мраморной каминной полки, между сувенирной тарелкой из Австрии и ярко-глазированной керамической рыбой из Барселоны... Здесь было много маленьких трофеев из разных счастливых семейных отпусков, много безделиц, складывавшихся в мозаику комфортабельного туризма... Иоанн Мерикурский к ним не принадлежал. Втайне Ольга Имбирёва давно мечтала избавиться от этой миниатюры-шелкографии: чужое неприятное крючковатое лицо во «фригийском колпаке»...

— Ну, не совсем! — белозубо улыбнулась смуглая избранница сына.

— Я имею в виду, миниатюра изображает Иоанна Мери...

— Прижизненных изображений Иоанна Мерикурского не сохранилось! — со всей бездумной жестокостью молодости обозначила свою компетентность Айгуль. — Это портрет неизвестного, который энциклопедисты поставили в гранки статьи об Иоанне... Посчитали, что автобиографическая статья должна содержать изображение, хоть какое-нибудь...

— ...А потом... — эхом под сводами большой каминной залы отозвался голос Имбирёва-старшего: — А потом все, кто хотели верить, стали уговаривать себя, что именно этот неизвестный старик — и есть Иоанн Мерикурский...

Печальный и сторбленный, он вдруг снял шелкографию с затейливого медного крючка, осиротив кусочек отделки дикого камня, в которую крючок был ввинчен... И бросил портрет в жарко полыхавший, развёрсты́й огненным зевом во мраморных губах, камин, за отекающую нагаром чёрно-чужунную решётку...

— Ты совершенно права, Айгульчонок... — бормотал Имбирёв. — Я в глубине души всегда знал, что это не Мерикурский... Обманщики были эти энциклопедисты!

С чисто женской непоследовательностью Ольге стало жаль миниатюры. Сколько раз она сама мечтала её сжечь к чёртовой бабушке — а теперь что-то кольнуло в сердце: мол, стора́ет ещё один кусочек моего Вани...

— Действительно, достоверных портретов Иоанна из Мерикура не существует! — посетовал Иван Сергеевич, вороша кочергой полешки и остатки шёлкового пепла.

— Господи, да на кой он нужен-то?! — чуть было не сказала Ольга Анатольевна, но вовремя себя сдержала. Где-то примерно после сорока она научилась, что называется, «фильтровать базар»...

Иван Сергеевич уселся на своё «спецувальное» кресло возле огня, боль-

<sup>3</sup> Иоанн Мерикурский — малоизвестный средневековый схоласт XIV-го века, номиналист, один из учеников Оккама. Он проповедовал детерминизм и согласно этому утверждал, что даже грех зависит от воли Божией. Больше о нём почти ничего не известно...

шое, на палисандровой раме, с широкими велюровыми заушинами и конвертно, уголком, отведённым клетчатым пледом.

Жена под села к нему на широкий отлапистый валик подлокотника и обвила руками за плечи. Невестка задумчиво рассматривала фарфоровые статуэтки на шлифованном крапчатом мраморе каминного карниза...

— Нравится интерьерчик? — поинтересовался у неё Имбирёв.

— Не в обиду примите, — созналась Айгуль, — у моего отца камин побольше... Но ваш кажется мне изящнее и более стильным...

— ...Всю свою жизнь я зарабатывал на этот камин... Ну, не конкретно этот, фигурально выражаясь...

— Я понимаю... — с лукавой улыбкой кивнула Айгуль, будущая Имбирёва. Иван Сергеевич особенно пронзительно понял: Олег полюбил её за то, за что когда-то мать Олега полюбила будущего мужа... Как причудливы эти пристрастия к исследователям средневековой схоластики!

— ...И потому вся моя жизнь стала отрицанием самого себя, — развёл руками Имбирёв-старший. — При всём хитросплетении деталей суть капитализма очень проста: сожри, или будешь сожран. Весь он делится на торжествующий рёв победителя и истошный вой жертвы... Но в этих чавкающих и рычащих звуках ночных трясин есть особый, не от мира сего... Дело же не в Иоанне Мерикурском... Человек он был вздорный и малоинтересный по части наследия...

— Ну... — по-женски пожалела «безликого» Айгуль. — От него осталось слишком мало текстов, чтобы в полной мере судить...

— Вот! — поднял перст указательный Имбирёв. — Здесь! Человек со сладким замиранием сметает пыль веков, в которых его никогда не было... Человек с волнующей теплотой в груди всматривается через парсеки космических расстояний в галактики, в которых его никогда не будет... Что это? Где этому объяснение в зоологической борьбе за камин и каминные залы?! Человек кладёт целую жизнь, чтобы говорить на мёртвых языках с мертвецами, — и в то же время вкладывает весь жар своей страсти в послания потомкам, для которых будет только мертвецом... Что это? Безумие? Или наоборот — безумием следует считать отказ от этого?

— Отказ! — поделилась своим мнением невестка...

Ольга Анатольевна Имбирёва сразу вспомнила, что в студенческие годы сдавала в универе зачёт по социологии, а препод — как было принято в 90-е — спекулировал, чем мог. В частности, гонял студентов собирать подписи для какого-то жулика, мечтавшего выбиться в депутаты...

Обходили с сокурсником вонючие подъезды панельных многоэтажек, уговаривали, кого как могли, расписаться, а за одной из дверей вдруг не спросили — а довольно приятным мужским тенором пропели:

— Кто-о та-ам?

— Сбор подписей, — как можно радушнее промурлыкала весельчаку Ольга, улыбаясь задверному оптимизму.

А оттуда таким же певучим манером выдали руладой:

— От-ка-а-з...

Такую глупость никакой писатель не напишет, по причине её очевидной нелепости. Такое только в жизни бывает, в жизни, заполненной бессвязными и малопонятными абсурдами...

Явно ведь не такой отказ имела в виду Айгуль, примеряющая на себя, как Ольга когда-то, звучную фамилию Имбирёва...

— Я не могу сказать, — важничает глупая девчонка, — что идеи Иоанна



Мерикурского показались мне интересными или значимыми... Но именно это в чем-то даже большое любопытство — увидеть безликого мыслителя, обращающегося к тебе на мёртвой латыни, — создало род человеческий... Что мог бы создать человек, если бы только пожирал и был пожираем? Забвение коснулось бы всего сущего, замкнув жизнь в неизменный жуткий круг... Но человек рвёт мглу забвения, он ковыряется над руинами погребённых городов и над костями динозавров... Он воскрешает в своём воображении то, что к нему самому не имеет никакого отношения... И только на этом пути он становится человеком, каким знает его история, а не зоологи...

— Беда вся в том, Айгульчонок, — хмыкнул Имбирёв, — что пока он воскрешает чужое — уничтожают его самоё...

— Я дочь банкира, и мне ли не знать, как это верно?! Но не воскрешая далёкого и постороннего — человек самоуничтожится...

\* \* \*

Тот кошмар, который часто мучил его в детстве: когда тебе снится, что ты у себя дома, но что-то со светом: он тускнеет, отступает перед тьмой за окнами, превращается в медную проволоку слабого каления, тонущую в полумраке... И ты знаешь, что к тебе движется по углам и коридорам то-что-боится-света, движется то в форме бесформенной леденящей душу зыби, то в обличье «постен» — теней, живущих в темноте стенного вещества...

Свет — это их страх. Тьма — твой. Вместе с угасающим светом дома, сворачиваясь совсем уж в дежурное мерцание радиолампы, уходит и их страх, они обретают силу и плоть... Стенные тени, теневые стены...

А ты постоянно пытаешься включить свет — найти не перегоревшую лампочку или работающий выключатель, шаря по косякам... И, как бывает в кошмарах, все лампочки не вовремя перегорают, а выключатели не работают...

Ты беззащитен перед *постенами*, на которых нельзя смотреть в упор, только боковым зрением. Они — само воплощение зыбкого ужаса, и если смотреть на них прямо — то сойдёшь с ума...

Да, этот сон очень знаком Имбирёву. Но только теперь, спустя годы, он не пугает его. Имбирёв в своём доме, и свет глохнет, и зыбь, тени, бегущие от плинтусов, приближаются... Но страха нет совсем! Даже странно... Правда, Имбирёв закрывает глаза от вида *постен*, но так же буднично, как это делают сварщики: нельзя — так нельзя, и не буду смотреть, раз негигиенично...

Существам из стен это неприятно и обидно. Они привыкли питаться страхом. Они с укоризной, прямо изнутри головы, спрашивают:

— Почему же ты совсем нас не боишься?

— А чего вы можете мне сделать? Душу отнять — это не ваша компетенция... Будет за что — утащите, но не вам решать... Растерзать тело? Я всегда видел вас только боковым зрением, и не знаю — есть ли у вас клыки и когти... Наверное, с чего иначе вы бы вызывали такой адский страх? Но я вам скажу, как старым знакомым, — я и этого давно перестал бояться... Всё моё тело давно наполнено болью всклень, вся моя плоть — это сгусток боли... У меня распухают суставы, разбухли колени... У меня расстроенный желудок, и часто болит живот, и у меня расширенная печень, даже наощупь можно потрогать её выпирающий бугор... У меня прихватывает сердце, и у меня тяжёлый бронхитный кашель, как будто лёгкие забиты цементной пылью... Далеко не в идеальном состоянии зубы, которые я с детства ненавижу вместе с дантистами... У меня головные боли, у меня глазные боли, у меня бывает

кровь из носа, и звон в ушах случается... Какой орган моего тела ни возьми — он болен... Это тело вы грозитесь растерзать? Дерзайте! Жизнь рвёт меня годами, вы же управитесь за минуту...

— Видишь, — говорит стенокардическое внутристенное друг другу или само себе, — какой храбрый стал мальчик Ванечка... А ведь было, было... Как он трепетал — если свет тускнел перед нашим входом...

— Нет, я вовсе не стал храбрым... — скромничает Имбирёв, лежащий без одеяла, беззащитным, прижмурив глаза. — Просто страхи мои стали другими... Когда я был ребёнком, я мечтал и пытался убежать от вас... Но я давно не дитя, и я стал понимать, что на самом деле убежать невозможно, потому что ни пространства, ни времени на самом деле нет... Вначале в моей жизни появились «видаки» — и я понял, что любую сцену можно перемотать и показывать снова и снова, бесчисленное количество раз... Так я понял условность времени... Потом в мир пришёл интернет, и с человеком из Владивостока можно стало общаться по скайпу, как будто вы с ним за столом сидите... Так я понял, что пространство — условно развёрнутая в систему координат нулевая точка... Куда же я от вас убегу, и когда — если мы с вами в одной точке, соединившей в себе все геометрические фигуры?

— А-а! Так ты не забыл ещё кардинала Николая Кузанского?! — гадко хихикают бесы.

— Еретик еретика видит издалека... — в тон давним знакомым вторит шутливо Иван Сергеевич. Именно Николай Кузанский первым открыл, что в точке изначально скрываются сразу все фигуры геометрии. И каждая площадь — производна от математической точки, не имеющей никакой площади...

— Наверное, поэтому... — изображает бес всезнающего, — ты, развратная и растленная гнилушка, овладел женой своей на пуфике?!

— Это был большой пуф! — нелепо оправдывается Имбирёв. — И потом, она ведь мне жена, не чужой человек...

В каминной зале, аккуратно посреди, на большом ковре советских выгоревших и наивных орнаментов, стоит огромный кубический пуфик, обтянутый тёмной гладкой кожей. Если смотреть сверху — то это чёрный квадрат примерно в полроста взрослому человеку... Но если положить Ольгу по диагонали, из угла в угол пуфа, то она почти умещается, чем в гнусном бесстыдстве похоти пользовался охальник Имбирёв...

И даже, к стыду его сказать, не один раз... Да чего уж греха таить — просто много раз... И ничего в своё оправдание он сказать не сможет, ни перед бесами, ни перед Богом, кроме того, что она его супруга, законная, венчаная, и любит он её без памяти... Казалось бы, какое отношение эти факты имеют к декоративному пуфику в гостиной, который не кровать, и не в спальне, заметим особо?! Только то, что если уж человек погряз в безобразиях, то мест не разбирает.

Это потом стыдно — а сперва так хорошо и сладко, и обычно катается под ногами по ковру бутылка хорошего вина, или сразу две бутылки, падают с ножки на бок бокалы богемского стекла, кружится голова, в носу терпкий запах винной пробки, а в камине, глядящим сзади волнами живого тепла, уютно трещат полешки... Ну, глупо, конечно, по диагонали на пуфике! Но у Имбирёвых, как у скотов завязятых, — где только ни бывало, словно у кота с кошкой... И на ковре тоже бывало — рядом с пуфом, Иван фужер разбил, руку порезал, не заметил, другой пятернёй заехал в мягкие особые конфеты-трюфели... Потом лежали с Ольгой, как умалишённые — дышали загнанны-

ми лошадьми, взмокшие, вымазавшиеся в крови и шоколаде, в давленном винограде, и хоть кол поганцам на голове теши...

На такое даже бесы из стен с уважением смотрят — людям за сорок, а смотри, что вытворяют, просто звери! А вы говорите — на пуфике... Пуф ещё не худшее место, учитывая его размеры, особенно по косой из угла в угол...

— Нет, не убежишь — хмыкает теперь помудревший мальчик Ваня из 80-х годов прошлого века. — Всё в одной точке... Дисплей плоский, а через гугл-карты можно весь мир посмотреть... По любой улочке пройти в режиме реального времени...

— Ну и чего ты теперь боишься, мальчик Иван Имбирёв? Ты скажи, а то нам голодно без твоего страха...

— Раньше я боялся умереть... А теперь боюсь жить... Вы же человекоубийцы от века, к жизни никакого отношения не имеете — чем вы можете меня напугать?! Но на самом деле я очень, очень боюсь... И потому ночами жмусь к жене, как малыш к плюшевому медвежонку... Жизнь зашла в тупик, и я зашёл в тупик, и страна моя, и человечество... Теперь — так мне это ясно... Объяснить это сложно...

— А ты постарайся... Торопиться нам некуда — ты же знаешь, что времени нет... Особенно в бреду и во сне, где секунду внешних часов легко развернуть в годы...

— Ну, попробую... Я родился совсем в другой стране, не в этой, в ином измерении... Красно-сине-белыми там были только треугольные упаковки молока в гастрономах... Я родился, как ёлочная игрушка — уютно укутанный в вату иллюзий... Главным образом, это были иллюзии о человеке, придававшие ему некое ложное значение, некий смысл его существованию... Признаюсь, мне очень не хватает тех иллюзий, с которыми так легко было любить человека... В этой вате — даже пав на бетон — хрупкая ёлочная игрушка оставалась целой! О, человеколюбие моего детства, где ты?

— Это было не настоящее человеколюбие! — ревниво возразил бес, полагая, что рыбка-душа хочет сорваться с крючка былыми заслугами. — Для того, чтобы любить человека по-настоящему, нужно сперва познать и усвоить, и зарубить себе на носу, что он конченная, окончательная и конечная мразь. Вот после того, как ты это о нём твёрдо уяснишь, — попробуй его полюбить уже таким! Что, слабо?! Конечно, это тебе не игрушечных ангелов для ёлки, парчовые и бисерные поделки жены твоей, любить... Тех-то, беленьких всякий полюбит... А ты возьми обоссанный, мочой и блевотой провонявший кусок чёрного антрацита, и полюби!

Нет, так никто из вас, людей, не сможет, только Он! Он и с креста любить умудрялся... А вам, «совкам», вата нужна! Много ваты, в несколько слоёв, чтобы — когда ударит о чугунный борт реальности — фарфоровые лепестки от вас не отлетели резаными ногтями...

— Постепенно я расстался со всеми иллюзиями... — грустно кивал в бредовом сне Имбирёв. — Я разочаровался и в людях, и в самом себе... Моё поколение познало библейскую тайну беззакония и вошло в тёмные воды Леты, оказавшейся мелководным бродом-бредом... Когда я был юн, то я был с Богом и Бог был во мне...

— Демагогия! — рассердился бес.

— Никакая не демагогия... — упорствовал Имбирёв. — Я мистик, как в советские годы говорили — «вконец разложившийся мистик», — отсюда и нескромные кожаные пуфики... гм! Но мне не нужно мистики там, где всё объясняет разум и логика! Быть с Богом — это не субъективное самоощуще-

ние, а объективное состояние! Разум, стремящийся вырваться из оков времени и пространства, выйти из даты и места действия... Когда человек пытается думать обо всём и за всех, как будто бы он Бог... И пытается смотреть на мир глазами Бога — сразу на всё и сразу отовсюду...

— А проще не можешь?

— С Богом тот, кому интересны все, а не только он сам. Тот, кто с трепетом прикасается к археологическим артефактам, взапой читает Гомера и Данте, содрогнётся в предвкушении открытия в мире недостижимых галактик, интересуется расшифровкой майянской письменности и думает о коммунизме через тысячу лет! Такой человек вне себя в плохом смысле — потому что он слаб, уязвим, его постоянно обманывают и подлавливают, и подставляют... Но такой человек вне себя и в хорошем смысле — потому что только он, собственно, и создал человеческую цивилизацию... Разве у крыс бы получилось?!

— Но ведь ты знаешь, что разумны только крысы! — уже сердился бес. — Быть пузырьком в кипящей кастрюле манной каши, пузырьком, вздувшимся на секунду, — и думать за Вечность, за Вселенную, как будто они в твоей досягаемости...

— ...Означает иметь бессмертную богоподобную душу! — легко парировал Имбирёв.

— Вы даже не каша! Вы её бульканье!

— Без души — да, — легко согласился Иван Сергеевич. — Но это, конечно, большой вопрос — душа ли стала иллюзией тела, предохраняющей ватой для хрупкого стекла разума, или, наоборот, тело стало иллюзией души, болезнью её воображения... И что есть тот зыбкий, студенистый ужас, который, словно дрожь воздушных струй от раскалённого асфальта, приближался ко мне в детстве? Станный такой оксюморон — «чистое зло»... Разве зло может быть чистым? Оно ведь, кажется, может быть только в грязном виде отработанных и спутанных явлений? Ужас житейский — происходит ли от ужаса эфирного, или наоборот? Это «чистое», дистиллированное зло — лишь выдумка вроде «условного топлива» у физиков?

Я входил в жизнь из уважаемых, одетых в школьную форму с эмблемой книги и солнца на рукаве, 70-х... Это был мир, веривший в разум, и на моих глазах разуверившийся в разуме! Мой бред о нечисти, выползающей из стен при угасании света, — может быть, лишь психологическое преломление угасающего просвещения...

У меня была сложная и ломаная судьба. Я входил в неё, юдоль свою земную, как в песне поётся:

*...От навших твердынь Порт-Артура,  
С кровавых маньчжурских полей...*

— Мукден, Цусима! — взбодрился бес, тёмной дымкой сидевший на краю Ивановой кровати. — Как вчера помню... Но самый любимый там по нашему ведомству город, конечно же Муданьцзян<sup>4</sup>...

— Судя по названию, этот город — колыбель человечества! — хихикнув, подтвердил пошляк Имбирёв. — Ну, да счас не об этом... Крушение империи, хаос, бандитизм... Концлагерь ельцинских реформ с его газовыми выхлопными камерами-трубами... Холодная, ссыльно-поселенческая

<sup>4</sup> Городской округ в провинции Хэйлунцзян КНР на реке Муданьцзян. Расположен в 381 км от Владивостока.

уральская провинция, оловянное Солнце, зимой больше похожее на Луну... Кварталы бараков между кварталами безвкусных серых панельных многоэтажек... Посреди этой, пропахшей помойками реальности — студентик, безотцовщина, с чокнутой матерью... Говорю не со зла — она больна на голову, я её жалею, и люблю, но помощи от неё в жизни не было и быть не могло... За выживание такой караморы никто в 90-х не дал бы и ломаного пфеннига...

— Ишь ты! — расхохотался бес. — Пфеннига! А может, пиастра?!

— А что такое?!

— Ты остался романтиком, Иван, вопреки всему, остался романтиком... Какие тебе пфенниги?! Да поглядишь-ка ты в зеркало, лапоть уральский! Ты хоть раз в своей жизни пфенниг-то видал?!

— Видал! — досадливо отмахнулся пойманный на нутре Имбирёв. Трудно спорить с бесом — он почти всё про тебя знает, и почти насквозь видит. — В музее! А когда мы с Оленёнком Европу поехали смотреть — уже евро-центы стали... За мою жизнь при моём положении никто не дал бы ломаной пиастрины, дублона, реала, ливра, гроша... И порванной цзяоцзы<sup>5</sup> никто бы не дал! Но я прошёл по телам безымянных парней, множеству тел, которые легли в этих серых бетонных ущельях, прошёл и вышел, и семью на себе выволок... И не спрашивай, бес, как мне это далось: ты и сам всё видел...

— Да я-то видел... — согласился Постен. — Мне интересно знать твоё мнение...

— Моё? Ну, если хочешь знать, что я понял в итоге, сменив десятки самых разных, отчаянных и сумасшедших картин мира... Самых вычурных и экзотичных обвинений и оправданий природе человека... Метаившихся у меня в голове, как сполохи и тени в пылающем пожаре... Капитализм питается тёмной энергией, в каббале именуемой «гаввах».

Это энергия, которую выделяют мучения беззащитных существ... Те, кто напиваются ею, как губки жидкостью, — становятся сильнее и просто весомее других людей... Гаввах — ненасытное чудовище. Иногда оно, наевшись, отдыхает, спит, но только пока не проголодается снова... И тогда ему снова нужны выделения страха, ненависти, боли, унижений... Как волка нельзя накормить мясом навсегда — так и капитализм нельзя накормить деньгами единожды. Усыпить на время — можно, но нужно помнить: он проснётся, и снова голодным...

И в нашем мире давно уже не идёт речи о том, что чего-то не хватает на самом деле, по причине отсутствия... Техника давно уже может всех и каждого накормить, обогреть, одеть и расселить по комфортным квартирам... Но дело не в технике... Для выделения гаввахи нужны боль, страдания, нищета, бездомность, бесплодные мольбы и камень вместо хлеба, и змея вместо рыбы... Иначе не будет обратной стороны унижений — торжества победителей, пира триумфаторов... Этот пир на костях, и он, в сущности, называется «капитализмом» или «рыночной экономикой»...

Ты доволен, бес? Я точно изложил ваше царство? Или имеешь добавить?

— Ну, куда уж мне добавлять — если ты считаешь и дублионы, и реалы, и пиастры своими... — двусмысленно ответил Постен. Уклонился от честного разговора, как чаще всего и бывает с бесами...

— Когда откроешь для себя, что человек — законченная мразь, то оказываешься в мире, в котором в принципе не существует правильных решений...

<sup>5</sup> Первые в мире бумажные деньги, которые появились в Китае при династии Сун.

Этот мир — хищник, и в нём понятия «пища» и «смерть» — синонимы. Как поступить правильно? По совести, по-божески? Не обмануть незнакомца, не обвешивать, не обмеривать? Ты можешь это сделать... Но это не значит, что ты избежишь кровавого жертвоприношения на алтарь кроважадного идола Успеха! Просто на этот залитый кровью алтарь ты положишь своих близких, свою семью... Пожалеешь чужих, незнакомых — и окажешься в нищете своей беспощаден к своим, родным... Или наоборот?! Чем тогда ты отличаешься от трактирщика, который завлекает к себе в трактир одиноких путников, чтобы там убить и ограбить?!

Ты добываешь хлеб насущный — и сеешь человеческие жертвоприношения. Не хочешь в этом участвовать — оставайся без хлеба, без жилья, и гляди в глаза отчаяния своей жены и детей... Пусть твоя лишённая пенсии старая мать ходит по помойкам — ты же честный! Ты же принципиальный! Ты жалеешь тех, кого мог бы обмануть и обобрать, — потому что тебе ни фига не жалко тех, кто неразрывно связан с тобой по жизни...

Вот что такое капитализм, а не всякие «товар-деньги-товар» или складские накладные. Не извлекая гаввахи, ты ничего не купишь и не продашь, хотя бы потому, что слишком много желающих сделать это вместо тебя!

— Ну, ты, Ваня, оказался парень не промах! — гулкой пустотой захохотало невидимое. — Твой камин обложен крапчатым мрамором, а перед ним — плюшевое кресло, которое стоит, как целый автомобиль... а ноги оттуда можно протянуть на пуфик, обтянутый чёрной кожей, заметь, натуральной, как в кожаном салоне рол-с-ройса... Но ты туда не столько ноги, сколько другое место протягивал... И это второй этаж, Ваня, твой второй этаж, а я уж молчу, что на первом...

— Кубические пuffy, пуфические кубы... — презрительно отозвался Имбирёв. — Как охотно я бы отдал всё это за тонкий лучик надежды, которого так боитесь вы, стенная мразота...

— А, ну конечно, ври больше! Ты хотел бы другого огня? Не того, что жарким уютом полыхает в твоём камине, а белого упругого огня ракетного сопла? Лгун, лгун...

Бес издевательски затянул песню из Иванова детства:

*Я верю, друзья, караваны ракет  
Помчат нас вперёд, от звезды до звезды.  
На пыльных тропинках далёких планет  
Останутся наши следы...*

— Ну и чем плоха эта мечта? — мрачно поинтересовался Имбирёв.

— А тем, что этой мечтой циники разводили лохов, да и всё... Поспоришь?

— Нет.

— А чего ж так слабо? Пфенниг ты мой надломленный?

— А то. Эту песню предали все... И все, кто слушал, и все, кто пел... И даже её автор! Вы знаете, кто её автор? Владимир Войнович! Да, да, тот самый солдат Чонкин... Ему, как и всем, — колбасы не хватило... Ска-а-а-тина! — с чувством выдохнул Имбирёв, и в оскале его было видно, как же ненавидит он род человеческий... — Чтобы колбасы там вдоволь нажраться... — тут в Иване Сергеевиче проснулся предприниматель-пищевик, верный микояновец, и он перешёл на состав пищевкусового продукта: — Синтетической... С ГМО-добавками... С вонючим красным красителем «рэд два джи»...

Мерикур — это глухая деревня в провинции Ивелин области Иль-де-Франс. В этом злосчастном Мерикуре нет на 2017 год даже 500 жителей! По нашим меркам — хуторок затрапезный... Здесь, посреди мычания скота и шороха жнивья на покосах, родился Иоанн Мерикурский, или, если точнее Жан де Мерикур в далёком, тёмном и смутном 14 веке...

Потом, как предполагают биографы, он учился, остепенился, постригся — и стал проповедовать номинализм и волюнтаризм. Его за это осудили, наказали, но, кажется, не так, чтобы уж очень сильно, большую часть книг и рукописей сожгли...

Потом река времени предала все эти бурлящие страсти погружению в ил архивов с последующим полным и окончательным забвением и очевидной ненужностью. Ну Иоанн, ну Мерикурский — и что? Поскольку мы знаем о нём очень мало, то даже не можем сказать с уверенностью — не был ли он чернокнижником?!

Каких-то по-настоящему интересных идей или прорывных открытий с Иоанном из Мерикура не связано. Он выскочил из мглы вечного забвения и черноты человеческого беспамятства, кажется, только для одного: сказать несколько стандартных для номиналиста фраз, кивнуть своим единомышленникам по цеху — и вновь провалится в никуда и в ничто.

Но там, во прахе почв, где упокоились безымянные австралопитеки, а потом безымянный изобретатель огня и колеса, безымянные охотники на мамонтов и безымянные художники Каповой пещеры на Урале, безымянные цари громадных и набитых человеческими жертвами в их честь курганов и безымянные народы — именуемые археологами по деревням обнаружения, — что-то пошло не так у чудовища-Хроноса.

Иоанн Мерикурский попал в историю средневековой философии. И хотя ею самой очень мало кто занимается, и при этом на её страницах Иоанн занимает всего одну строку — кислота забвения не растворила его кости до окончательной атомарности...

Из поколения в поколение священное сословие книжных безумцев несло строку о нём в коллективной памяти человечества. Много раз текла кровью родная для Жана Сена, в которой он купался ребёнком, и топили в замках каминные старинными фолиантами, а потом и сами замки ровняли с землёй...

«Революционные матросы» гадили в фарфоровые вазы дворцов, полыхали в кострах фамильные альбомы и родовые «бархатные книги»... Через все эти сполохи биологического безумия и зоологических страстей, актуальных только в момент свершения, ненужного и никчёмного Иоанна Мерикурского несли на руках из эпохи в эпоху... Как и многих других: и тех, кто значимее его для людской памяти, и менее значим...

Никто не знает — зачем? Какой смысл в древних именах для современных разборок и кровавого дележа «матценностей»?

Мы ничего не можем сказать об уме Иоанна Мерикурского, а по отрывистым сведениям о нём можем заключить, что он и характера был вредного, недоброго. Он язвил современников, был склочником и смутьяном, а чего-то по-настоящему интересного не сказал.

О миниатюре, изображающей его лицо, уже века идут споры в узких кругах специалистов: одни убедительно доказывают, что это — подлог эпохи просвещения, неизвестный бюргер, выданный за века назад скончавшегося человека... А другим — «хочется верить»...

Издатель-энциклопедист просто «прикололся», приделав первую попавшуюся в руки картинку к энциклопедической статье, — или же был необыкновенно удачливым архивистом, сумевшим отыскать никому иному не доступное?

Одна из копий этой миниатюры, выполненная на шёлке, сгорела в камине Имбирёвых. Жена Ивана Имбирёва, присев, как на жёрдочку, на широкий подлокотник кресла мужа, испытывала смешанные чувства: она была рада, наконец, избавиться от злого и колючего, цепкого взгляда незнакомца... И в то же время сожалела об этом взгляде, ставшем за много лет просто частью её жизни...

\* \* \*

— Там тайна есть! — со сладким замиранием сказал Имбирёв давно знакомому бесу.. Сказал с закрытыми глазами, по-прежнему не глядя на зыбкий ужас собеседника, чтобы не сойти с ума. — Тайна есть... За всей этой паскудью и квашнёй, именуемой зоологическим месивом, за опарой поднимающихся и лопающихся пузырей — скрывается что-то иное, такое же невидимое, как и ты, бес...

Дело же не только в том, что имя нелепого человечка из 14-го века Иоанна Мерикурского стало для меня и моей невестки паролем, по которому свои опознают своих... Собаки — и те снюхиваются, тут другое... Тайна в том, что сын каким-то образом нашёл девушку, одну из миллионов, которая, как и его отец, знает Иоанна Мерикурского... И раз они перестренулись<sup>6</sup> в этом доме — то, значит, Иван Имбирёв заработал в жизни на что-то ещё, кроме мраморной, как могильный памятник, роскоши семейного камина...

Песню про пыльные тропинки далёких планет студентка исторического факультета с углублённым изучением латыни Айгуль, будущая Имбирёва, не знает: это из другой эпохи.

Но невеста Олега Ивановича, как и мать Олега Ивановича, играет на гитаре, и в этом тоже тайна сплетающихся родов... Это же не может случиться просто так — чтобы молодая избранница могла снять со стены старинный инструмент со старомодным бантом на грифе, и ТОЖЕ сыграть! За этим стоят таинственные и побеждающие теории вероятности силы притяжения...

Это больше крови; тогда как зоологическое месиво — кровь и только кровь...

Не зная песни про пыльные тропинки, Айгуль сыграла для новой родни совсем другую песенку. Средневековую, французскую, в собственном вольном переводе, но сохранившую какие-то черты оригинала:

*Что человек — жестокий зверь  
Про то давно известно,  
И кто открыл познанию дверь —  
Об этом скажет честно...*

*Ланфрен-ланфра, ланта-тита,  
Вся философия пуста,  
Когда кроют себе места  
И множат трупов груды...*

<sup>6</sup> Оренбургское, диалектное, казачье — «встретились». Очевидно от «пересеклись стремениами» во времена всаднические.



*Наука есть, ланфрен-ланфра,  
И разум всем невежам  
Твердят, смеясь, ланфрен-ланфра,  
Что скотство неизбежно...*

*Ланфрен-ланфра, лессе-ласса,  
Но есть и Бог, и чудеса,  
Не разум делает людей —  
А внутреннее чудо...*

\* \* \*

Ольга Анатольевна Имбирёва уже по прошлым случаям «тундровой лихорадки» знала, когда муж идёт на поправку. Обильно потев и отбрасывая душные одеяла, он возвращался из жара к нормальной температуре. Бледно-серый оттенок кожи растворялся пятнами рафинада в более розовом, более живом. Приступ уходил вглубь измученного человеческого существа, и порой надолго, на годы...

— Ну, вот и ладно, Ванюшка... — ласково щебетала жена, с ложечки подкармливая больного диетическим куриным бульоном. — Вот у нас дела и получше, правда? Давай, кушай, поправляйся, ты нам сильный нужен, и здоровый... С кем ты тут разговаривал, пока я бульончик варила?

— С бесом. Я с ним с детства знаком.

— С детства?! — изумилась Ольга.

— А что с бесом — тебя не удивляет?

— Ванюша, мальчик мой, за годы жизни с тобой... Меня бы скорее удивило их отсутствие... Это ещё хорошо, когда они бесплотные, и по холодильникам не лазают... А когда тут твои друзья, вся эта твоя «чапаевская дивизия» в гостиную портянки сушит — позабористее выйдет-то!

— А чё, губернатор платёжку на питание участников окружного казачьего смотра подписал? — вдруг всполошился Имбирёв, будто киношный Иоанн Васильевич, у которого «шведы Кемь взяли».

— О-о! — обрадовалась Ольга. — Я смотрю, ты совсем оклеймался...

— Что, подписал?!

— Нет. Но что тебе это стало интересно — очень лично меня обнадёживает...

— А что Зоригин?

— А что Зоригин? Зоригин взял у меня денег со счёта и ведёт закупы... Не первый ведь окружной смотр, лыжня наезжена...

— А как же губернатор-то не подписал... А он закупы...

— Не подписал, так подпишет! — успокоила Имбирёва своего мужа. — Начальство, Вань, тоже не первый раз замужем...

— А чё, Яхрамов, звонил с металлобазы?!

— Звонил...

— И чё?

— Здоровьем твоим интересовался... Ну, а чего ещё он может обсуждать со мной, пока ты с бесами переговоры ведёшь?

— Сейчас же позвони Зоригину, нужно, чтобы он подписал у губернатора платёжные документы сегодня же до двенадцати...

— А что будет после двенадцати, Ваня?! — посмеивалась привычная к внезапности таких переходов Ольга. — Губернатор превратится в тыкву?

— В тыкву превратится наш семейный бюджет... — пояснил Имбирёв. —

Губернатор узнает, что продукты уже закуплены, и не захочет тратить казённых денежек... Мол, раз Имбирёвы спонсируют — я совсем даже не против...

*...Что человек — жестокий зверь  
Про то давно известно...*

7.

Под самый занавес 2017 года в Куве пошёл... дождь. Декабрьский снег, и без того квёлый, совсем раскис и ноздревато раскомился... Смотр казачьего линейного отдела был под угрозой срыва, чиновники мэрии пребывали в панике, пока ни вышел с больничного Имбирёв. Он быстро (и не без выгоды для своего кармана) закупил пластунам линейного отдела снегоступы вместо предполагавшихся штатных лыж...

В остальном же мягкая погода только облегчила людям долгожданный смотровой ликовальник<sup>7</sup>. Ближе к полудню вышло солнце из-за губчато-вздувшихся влагой туч, и заблестели золотом погоны, аксельбантские лейб-гвардейские шнуры, канты и самоварное золото юбилейных, в основном, медалей...

Ярче всех сиял сын Имбирёва в мундире хорунжего, потому что собирала Олега Ивановича его мать, с детства обладавшая очень хорошим художественным вкусом, к которому после добавились солидные финансовые возможности...

Глядя, какими «особыми» глазами поедает Айгуль своего избранника в этом мундире с воротником-стойкой и сверкающими гербовыми пуговицами, Иван Сергеевич весело, игриво думал: «А всё одно ты баба! Может, ты все книги на свете перечитала, и приданого вагон золота, а баба, как ни крути!».

Тут Имбирёв самодовольно хмыкал своим думам, мол, знай наших!

Ну ведь видно же, не скроешь! Такого красавца, да ещё верхом скачущего — век ты не забудешь! Так и будет перед глазами маячить...

Во всём своём великолепии хорунжий Олег Иванович Имбирёв бросился... в прорубь. Мягкая зима подточила речной лёд Сараидели лужицами наслуды<sup>8</sup>, и при учебной переправе колонны под одним из казаков лёд проломился. Пока остальные бегали вокруг полыньи, охая да ахая, молодой Имбирёв нырнул в чёрную студёную реку, достал обалдуя. Потом неспешно, бравируя, вылез и сам, отекая со всех шлиц и обшлагов парящими на свежем воздухе водами...

Он и сам собой гордился, и все вокруг его укутывали, хлопали по плечам, по спине, восхваляли. Айгуль, подбежав к герою, суежилась больше всех... Мать, Ольга Анатольевна, тоже было метнулась — но муж удержал её со спины за портупейный ремешок.

— Нечего... Там есть кому о нём позаботиться!

— Ваня, он же весь промок... — вырывалась Ольга.

— Промок — высохнет! — шурился на олово солнечной «тусклы» Имбирёв.

— И всё-таки, всё-таки, Оленёнок... — он не скрывал барского самодовольства, — кое-чему в жизни я его научил!

<sup>7</sup> Оренбургское, казачье — неофициальная заключительная часть линейных войсковых смотров.

<sup>8</sup> Оренбургский говор: вода поверх речного льда. В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля находим отпечаток: наслуд, наслуз — «наледь, вода, выступившая по реке сверх льду».

— Ну, ты же вручишь ему медаль за спасение утопающих? — скрывая тревогу, внешне небрежно, поинтересовалась жена.

— Ему? — удивился Иван — Не дам...

— Ваня, я всё понимаю, воспитательный момент, но тут уж перебор... Любой казак, доставший утопавшего из проруби, получил бы медаль за спасение утопающих...

— Любой — да. А он — не любой. У него фамилия — медаль...

В разных сторонах огромной, отсыревшей по буграм поляны казачьего стана батюшки служили благодарственные молебны. Не глядя на пост, в шахматном порядке спозаранку дымили огромные кошевые котлы с жирным уваристым пловом, пекли на походном сковородке лепешки.

— Странствующим, воюющим и болящим пост не в указ... — пояснял сомневавшемуся войсковой священник в нарядной рясе. — А мы на смотру губернаторском, единовременно странствующие и воюющие...

— И ещё болящие... на голову... — тихо хихикала Ольга Имбирёва мужу в ухо. Она знала по многолетнему опыту — лёгкое диссидентство он мог простить... И даже оценить...

Щекотали ноздри ущипливые, цепкие ароматы, особенно мучительные для женщин, которые в этот день берегли руки, а ещё, как всегда — фигуру. Ведь на смотре полевом женщинам готовить не дают, а кушать им всегда талия запрещает... А тут бурлит в казанах шурпа, дышат пылом слоёные пирожки-самсы...

И за этим — века казачьи. Вот так деды и прадеды сиживали в этих краях перед воинскими походами. Здесь метали поэтические молнии певцы и рифмоплёты Оренбуржья... И, усевшись на круглые полеша, веками плели интриги, уединившись на дальнем топчане, офицерство да чиновники. Здесь казаку как дома и даже, пожалуй, лучше... А ещё — полевой стан почти коммунизм: тут не делятся на богатых и бедных, ученых и работяг. Тут все — походники, однокотловники... Если кто и выше других — то только доблестью: как сегодня Олег Иванович Имбирёв, спасший сослуживца из-под льдов...

Слышны гавкающие через зиму команды:

— Чудаевские? Уху, уху берегите, кто ж так котлы подцепляет?! Стерлядка ваша в снег уплывёт...

— Березенские? Вам Родина что поручила?! Блины! Отставить стопочки! Кали сковор до говора, чтобы черти в аду позавидовали...

«Сковор до говора» — не пустые слова. Малиновых оттенков сковорода гудит и гулит, издревле подмечено...

— Астабердинцы? Не подкачайте, соколики! Рассолу огуречного на завтра всем хватать должно!

Казачьим жёнам, сёстрам и подругам интереснее всего, как сильный пол справится с более традиционными блюдами: как изловчатся изготовить борщ, суп с тефтелями, плов, гречку с тушенкой? Это всё древнее, как у дедов на давнишних сходах... От XXI века тут появились разве что только бананы, киви да мандарины...

А как пахнут курящие топазовыми струями, наливаемые из самых разных термосов чай! У каждого казака свои секреты их приготовления... Потому и берут термосы — хотя рядом с пловом всегда пытит на еловых шишках самоварчик, не бездушный, не электрический, а огненно-живой...

Для казачек линейный губернаторский смотр — второе «8 марта». Как говорят мужья — «восемь не обещаем, но два в году будут»... Женщинам тут

всегда рады, но к варке-жарке или тёрке не подпустят. Участники мужских посиделок всегда берутся за дело сами.

Редкий оренбуржец не умеет варить плов или жарить шашлык, в местном диалекте — «саш-лык». Готовятся задолго: большой лампасной компанией казаки идут на базар, там придирчиво выбирают мясо, специи. А ещё рис: чтобы был сухой, крупный, твёрдый ли, твердый. Плов ведь!

И вот, не считая «кило» — рукастые жилистые воины берут на смотр лучшего, как говорят, «ручного» (то есть очищенного дедовскими способами) риса. Торговцы уже знают: много сбудет восточный базар бараньего и говяжьего мяса, с запасом возьмут курдючного сала, моркови, лука, популярной в степях рассыпчатой пряной зиры. Не поскаредничают и с изюмом!

А после — зимняя лесостепь за Сарайделью, и ведь не всегда она мягка, как нынче. Бывает — и до 30 в минус Цельсий уводил, а всё одно: казаки у реки в полыньях по традиции, красными курящими руками перебирают рис, промывают его, прежде чем сложить в тёплую воду котла над костром...

Тут же рядом — мощными кинжалами строгают соломкой морковь, кружочками лук. Гудит весёлый огонь, объедая снега вокруг своего костровища. А командир казачий — отличается в этот день не погонами. У кого в руках половник — тот «руке»<sup>9</sup> полковник!

«Фланговые» разводят огонь. А «половник» строго следит, чтобы женщины не прикасались к полевой кухне. Не дамское это дело. Сегодня...

Мужские сильные руки обрабатывают мясные начинки для пирженства из кускового мяса или фарша, бараньи рёбра, потрошат полюбившиеся местным лет двести назад тыкву, красный ядрёный перец. Где плов — там рядом на пластиковых тарелках и местные, особые, сочные манты, пельмени-переростки, или как их зовут в казачьем кругу — «пельмы».

И казачьи оренбургские лепёшки — они горячие, румяные, пышные — словно солнышко с неба скатили... Ну, при этом, конечно, разные они: со шкварками, с бараниной, говядиной, курятиной, с луком, молочные, со сметаной, с весенними травами...

Кто через это обжорство доберётся до чайных церемоний — в награду за стойкость получит от атамана особые казачьи сладости: обваленные в муке на восточный манер сахарные соломки, шарики сахарного отвара с яичным белком, калёные петушки жжёного сахара...

\* \* \*

Ну, литые петушки и чупа-чупсовые медвежата — для малышни, вроде Саввы Имбирёва. Взрослые воины в тёртых по службам лампасах, говорят, известное дело, «где глотка, там и водка».

— Иван! — встревоженно кричит Ольга Анатольевна, распугивая кружок алчущих мужчин. — Что же ты пьёшь-то?! Что ж ты пьёшь-то... без холодца?! Вот же я целый тазик кому взяла?!

Она как «мать войсковая» — с каждый побалагурит, словом перчёным перекинется, может и сама рюмашку замахнуть. Для мужа она всё такая же возбуждающая горячая штучка, как и тридцать лет назад...

Если что и добавилось к тем, завершавшимся 80-м и начинавшимся 90-м прошлого века, — то только кичливая гордость за детей, неизвестно когда успевших вытянуться в будущее...

<sup>9</sup> «Рука» — казачья столовая единица, пять человек (как пять пальцев руки), обычно на один казан (котёл) полевых станов.

Дочка не только ростом с мать вытянулась! К этому смотрю мама приготовила ей мундир вроде своего — чтобы волосы лились по рукавам бекеши из-под стильной папахи, а ноги обтягивали лампасные лосины... И всё это затянута в волнительную решётку портупейных ремешков... В каком-то смысле маскарад, конечно, театральщина — но ведь и вся наша жизнь тоже маскарад... Мы живём тем, что видим, а видим мы в жизни то, чего хотим...

Когда две блондинки одного роста показались перед едва встававшим с больничного ложа главой семьи — он, хоть и суровый стал дядька, с щетиной не только колючей, но и полуседой, — не удержался, всплакнул доче в сувенирный погончик...

— Господи! Наталка, как же ты похожа на свою мать!!!

И зазвучало в голове переборами:

*...Я помню, как когда-то, похожие ребята  
шагали в девяностом под грохот батарей...*

Ах, ах... Память наша стоит, потоку упирается и даже Иоанна Мерикурского помнит... А токмо река времени течёт себе, и это тоже правда...

*...Они идут, идут плечом к плечу,  
Идут бойцы из века двадцать первого...  
А я сдержать волненья не хочу —  
Я говорю: «Счастливый путь... и верный...».*

Наталка Имбирёва копировала маму невольно, кровь сказывалась. Так в седло вскакивает, что у мужчин от 15 до 60 сердце сладко замирает...

У отца — по-другому, чем у других. Но тоже сладко...

И он рычал, как может рычать только хищный зверь на пике наслаждения:

— Она, она... высший со-р-рт! Тумановская па-р-рода! А я не бракодел, не попо-р-р-тил...

— Занятный у вас пикничок! — пытался иронично улыбаться друг и жених дочери, Вячеслав. — Очень красивый... И такой этнографический...

Да не про пикничок хотел сказать этот сбитый, плотный, со здоровым румянцем зимней бодрости во всю щёку юноша. А про Наталку Имбирёву, которую сегодня впервые увидел в седле орловского, в крупное «яблоко», племенного рысака...

Она не скакала — летела над укусом, и даже было непонятно — что отбрасывает понизу шматы сырого снега, если конь по воздуху скользит... И такие же, как у матери, светлые длинные прямые волосы ветер ангельскими крыльями заводил за худенькие плечики под овчиной перетянутой портупейными ремнями бекеши...

Она держалась в седле игриво, под уклон, с элементом лёгкой кокетливой джигитовки: поводья совсем свободны, левая рука небрежно лежит на высокой луке седла, правая, с ногойкой, — крылом отведена на отлёте...

Понятно, что Вячеслав, друг, волочившийся за этой девчонкой со школы, — в осадок выпал. Имбирёв его как мужчина мужчину понимал: сам тридцать лет назад так же вот сомлел, и в таких же обстоятельствах...

— Ну, сознайся, хор-р-оша? — урчал довольным медведем Имбирёв, заткнув обе ладони за широкий наборный пояс.

— Лучше не придумаешь... — закивал Славик. Нижняя челюсть у востор-

женного парня всё время норовила отпасть, и ему стоило немалых усилий воли, чтобы не стоять как дураку с раскрытым ртом.

— Вот так и я когда-то смотрел на её мать! — приятельски сознался Иван, толкая Славика в бок. — Давно дело было... Но всё равно помню её на коне, в бекеше и папахе каракулевой... И никакому вашему кутюрье красивую блондинку лучше не одеть! Никогда в жизни!

Это казалось рекламным роликом или календарным снимком — пока Савва Имбирёв, которому этой зимой пошёл одиннадцатый годок, не слепил из отсыревшего наста большой снежок... Он, гадёныш, метнул его неожиданно точно, прямо сеструхе в голову... Смушковая папаха слетела, прекрасная всадница качнулась, дёрнула поводья, конь шарахнулся от неожиданного крена и чуть не сбросил её...

— Савва!!! — звонко возопила раскрасневшаяся от гнева девица, поднимая ногой и корпусом разворачивая рысак в атаку. — Ах ты, гадёныш мелкий! Вот я тебе сейчас...

Савва ретировался за широкую спину отца и ещё подгаживал оттуда:

— Ничё, ничё, Натка! Тяжело в ученье, легко в бою! Правда, папа?!

Наталка остановилась, в шаге нависая над масляно-довольным ею отцом, рысак всхраписто вытанцовывал глухую, вязнущую в снегу чечётку, и в глазах белокурой бестии на его спине плясали чёртики...

— Пап! Выдай-ка мне Савву Ивановича, я его проучу!

— Тебе нельзя детей учить! — верещал Савва из-за своего укрытия. — У тебя пока ещё диплома нет!

И доверительно гладил отцовский тулуп:

— Пап, а помнишь, ты говорил, что твоих детей никому нельзя бить, кроме тебя... В силе?!

Имбирёв думал не об этих актуальных проблемах подростковой педагогики, а совсем о другом: что вот, мол, Славик, ухажёр доченькин, пока суть да дело — пошёл за её папахой и принёс с широкой оладьевой улыбкой, старательно отряхнув от снега... И правильно, и сам Имбирёв сделал бы то же самое... Только тридцать лет тому назад...

— Иван! — подходя, пристаёт Ольга в белом полушубке, опутанном целой паутиной «милитари»-ремешков. — Застегни петловицу<sup>10</sup> ... Только поми-рал, лежал, а теперь нате: гуляет нараспашку..

Как же дочь похожа на неё! Как же она похожа на дочь! — восторженно думает Иван Сергеевич, обнимая супругу. Вот если в чём жизнь и удалась — то с ней!

Изловив Савву за ухо, Ольга перекидывается на него:

— Ты зачем, мелочь пузатая, в сестру кидался? А если бы она с коня упала?!

— Она уже с луны свалилась и с дуба рухнула, был бы полный комплект... — отбивается мелкий пакостник, привыкший во всеобщей любви к вседозволенности.

— Да застегни же ты ворот! — лезет Ольга снова к Ивану, и тонкими пальчиками в вязаных перчатках поправляет шарф. — Ну ведь простынешь, опять сляжешь...

— Не-е, Оленёнок! — радостно тискал её муж, ухватив и не давая выскользнуть. — Это лучшее лекарство — свежий воздух и конные прогулки... Да и зима нынче сиротская — около ноля... Тут захочешь — не простынешь...

<sup>10</sup> Петловица, петлявка — верхняя застёжка у бекеша или тулупа, заворачивающая воротник на плечо.

Обновлённый и сверкающий новым оборудованием магазин «Тракторный» на въезде в Куву со стороны Баклёво открывался пышно и музыкально.

Поучаствовали в открытии магазина и творческие коллективы конкурса русских частушек, опекаемые тем же самым спонсором — Имбирёвым. Девчата в ярких нарядах встречали первых гостей магазина весёлыми, задорными куплетами, из которых, правда, спонсор удалил по возможности похабщину...

А разрезать красную ленточку было поручено лучшей из школьных выпускниц Баклёво. Правда, училась она в Куве, поскольку в посёлке собственную школу давно закрыли... Зато жила, безусловно, именно здесь...

Именно для неё и её родителей заполнились здесь прилавки, теснились на них ряды мясных и рыбных полуфабрикатов, молочной продукции...

Завлекал и рекламный плакат: «АКЦИЯ: купившему 1 л водки в подарок 0,5 л томатного сока».

— Ты знаешь, — говорили баклёвские мужья своим жёнам, — невозможно, как сильно томатного сока хочется!

На праздник собралось очень много людей: не только самого воскрешаемого села, но и проезжавших мимо по трассе туристов и водителей — как в старые добрые годы.

Ольга Имбирёва на правах «мамы-хозяйки» лично разливала кофе из термопота по пластиковым стаканчикам.

— Я хотел было отсюда валить! — сознался ей конферансье этой презентации «из местных». — Но теперь, смотрю, магазин открыли, кафе возродили, может, и что другое открывать будут... Я подумал и решил остаться...

— А вы можете повторить это Ивану Сергеевичу? — улыбнулась Имбирёва.

— Зачем ему это? — искренне недоумевал деревенский конферансье, бывший клубный массовик-затейник.

— О! — покачала Ольга головой. — Вы даже не представляете, как для него это важно!

## НОМЕР С ВИДОМ НА ГРОЗУ

### *Повесть*

*Здесь раньше вставала земля на дыбы,  
А ныне гранитные плиты...  
Здесь нет ни одной персональной судьбы,  
Все судьбы в единую слиты...*

Владимир Высоцкий

Докипал с пузырястым шипением на донышке огромного «котла» войны апрель 1945 года. Капитан-артиллерист Егор Туманов в состав 6-ой гвардейской механизированной Волновахской Краснознаменной ордена Суворова бригады поливал осколочными городской парк имени Шиллера в австрийском городке Лаа-ан-дер-Тайя. Немцы и власовцы пытались бежать на ту сторону широкого, отделанного серым замшелым камнем, похожим на бастион городского канала...

Вдоль канала визжали и чиркали шрапнельные дробинки, шербили камень в тёплый весенний денёк; ленивая вода, обычно спокойная и мутная, похожая на кое-где «зацветающее» как сыр-рокфор зеркало, бурлила стальной крупой...

К полудню немцы сбежали, а власовцев бросили: капитан Туманов из своего «флагманского» орудия, утирая казачьей круглой каракулевой сиверкой мокрое и грязное лицо, разбил переправу-временку, сложенную из каких-то тарных ящиков и контейнерных поддонов.

В итоге в парке имени Шиллера, прямо под чугунным памятником поэту, сбилось несколько сотен власовцев. Некоторые пытались преодолеть холодный канал Лаа вплавь, но на открытой воде, даже если тело не скручивало судорогой далеко не купального сезона, — становились отличными мишенями...

Поэтому большинство из «РОА» бесплодно расстреляли все патроны до последнего о равнодушную к стрелковому оружию танковую броню, а в ручкопашную уже переходить не стали: сдались.

Куда девать свыше пятисот пленных передовой ударной группе, у которой острейшая нехватка пехоты? Где взять конвоиров, чтобы отправлять пленных в тыл? В итоге командир принял решение, врезавшееся красавцу-капитану Туманову в память на всю жизнь...

Комбат решил, что возиться с таким количеством пленных, превышающим численность его сильно подтаявшего в боях батальона, — не ко времени. Отобрал около двадцати из набыченной и мрачной толпы с шевронами «РОА», а потом танковыми пулемётами буквально покروшил всех остальных.

«Счастливая двадцатка» сперва не понимала, зачем она комбату. Но вскоре поняла: её сделали грузчиками. Чтобы не рисковать своими людьми под занавес войны, комбат приказал «счастливой двадцатке» таскать мертвецов к каналу и сбрасывать в воду. С той стороны могли шмальнуть немцы, но попади они во власовца — не жалко...



Расстрел пленных — даже власовцев — грозил комбату по меркам 1945 года военным трибуналом. И бывалый хитрец справедливо рассудил, что ленивое течение канала Лаа утащит полтысячи тел чёрт-ти куда, в хозяйство, может быть, даже другого фронта, а там пусть разбираются...

Оно и потащило... Рискую получить под казачью папаху снайперскую пулю, капитан Туманов замороженно, вытянув шею, смотрел, как люди в чёрных мундирах плывут, словно осенние листья по рекам в листопад...

На другой стороне канала в ласковом апреле 1945-го года сидели австрийские мобилизованные. С пруссаками такой номер, конечно бы, не прошёл... Но австрийцы — сыновья вальсов... Увидев ледоход из рваной кровавой плоти, увидев, как сотни тел толкают друг друга в странном смертном нетерпении, — австрияки на том берегу городского канала Лаа, бетонированные берега которого казались крепостной стеной, — выбросили белый флаг.

Так кончилась война в городке Лаа-ан-дер-Тайя... Но ведь мы же знаем, что на самом деле война никогда не заканчивается?

\* \* \*

Ольга Анатольевна Имбирёва, в девичестве Туманова, внучка заслуженного энергетика Кувинского края Егора Туманова, — знала, что мужчинам нравится больше всего. Им больше всего нравится уважение, особенно в форме восхищения. Поэтому когда в венском международном аэропорту её муж, Иван Сергеевич Имбирёв, ловил такси до Лаа-ан-дер-Тайи, она теребила его за локоток и просила ехать на поезде. И не потому, что любила ездить на электричках, даже ухоженных австрийских, а потому, что электричка значительно дешевле. Денег Ольге тоже не было жалко — она расставалась с ними легко, благо, что они легко к ней и приходили.

Смысл в другом: муж должен чувствовать себя очень щедрым и поражающим свою женщину роскошью поступков. Плевать, что такси на час езды в Австрии обходится примерно в 8 тысяч российских рублей — зато сколько гордости у мужа, предложение которого превышает запросы подруги жизни!

Конечно, если бы Ольга прилетела сюда одна или с детьми — она бы тоже, не задумываясь, предпочла такси... Но женские хитрости по формуле «ты такой могущественный» всегда действуют безотказно!

От Вены до Лаа — по прямой линии чуть больше 50 километров. Но, учитывая извивы автобана, дорога составляет около 70 километров на спидометре (или таксисты так накручивают?!).

В обоих случаях, по уральским меркам — пешеходная прогулка, хоть в тапочках иди! Что Ольга и не преминула мудро подчеркнуть:

— Ваня, я другого такого не знаю, кто за пару кварталов езды выложил бы десять «кусков».

Восемь тысяч рублей по евро-курсу волшебным образом превратились уже в десять и, поверьте, не потому, что у Ольги слабо с математикой.

Из Вены в Лаа они оказались за час с небольшим. И то только потому, что таксист, пунктуальный немец, строго соблюдал ограничения скорости по всей дороге. На центральной площади Stadtplatz Иван тыкал в лицо таксисту бумажкой со стилизованно изображённым немецкой фразой Golf Garni, что означало забронированный парочкой отель. Но Ольга уговорила свернуть, глянуть памятный по рассказам деда в детстве городской канал...

Иван согласился, что Golf Garni подождёт, и они с полчаса, под тиканье неумолимого таксосчётчика, пытались с каменного берега вообразить, как плыли тут, толкая друг друга, сотни расстрелянных трупов — опавших листьев большой войны.

Хоть Имбирёвы и напоминали всем видом самых обычных туристов — явились они сюда с «миссией памяти», с целым ворохом заданий от поисковых клубов России. Семье Тумановых писали очень многие — пытаюсь выяснить судьбу тех, кто в разное время служил или ещё как-то пересекался с Егором Тумановым, дошедшим на той войне до Вены...

Но, как ни крути, ехать прямо с самолёта по кладбищам — даже кощунственно. Нужно где-то передохнуть, принять душ и распаковать по-советски пузатые багажные сумки на молниях...

Так Иван и Ольга оказались у ресепшена отеля Golf Garni...

\* \* \*

Как и в войну, пройденную капитаном Егором Тумановым от первого до последнего дня, границ государств тут не было. Часть строений отеля Golf Garni располагалась в Австрии, часть — в Чехии.

Условная граница была одной из достопримечательностей для постояльцев, красовалась поперёк холла с крикливым паясничеством. Не один, и не десять туристов стояли над ней в раскоряку, одной ногой у «фрицев», другой у славян...

Ольга Имбирёва тоже не удержалась от соблазна — благо, ноги длинные и в джинсах: стояла одним каблучком в Моравии, другим в «Остмарке», игриво зачитывала взятую со стойки глянцевую рекламку:

— Представляешь, Ваня, «всего в 17 километрах отсюда находится легендарный гольф-клуб Poysdorf...».

— «Всего»... — передразнивал рекламу Имбирёв, заполняя карту гостя, любезно предложенную на английском языке. — Да у них и Вена с Прагой не дальше... Игрушечная страна, «всего» было бы, если бы он был в 17 сантиметрах... Кстати, чем он «легендарен»?

— Ну, видимо, тем, что оплатил эту рекламу! — хихикала Ольга, расставляя ноги на две страны, как можно шире, отчего рушились и комические и эротические шаблоны восприятия. — Также у них тут возле отеля предлагается бесплатная парковка... Вань, давай разобьём там палатку, и скажем, что мы два транспортных средства, дешевле выйдет...

— Не жадничай! — посоветовал Иван Сергеевич. — Мне этот отель хвалили, говорят, самое место для парочек... Вроде нас... Ты же не хочешь пропустить «роскошный моравский завтрак», на котором будет предложено изысканное местное вино из собственных погребов?

— Завтрак-то я хочу! — созналась Имбирёва. — Мне платить за него не хочется... Погреба-то у них, может, и собственные, а деньги-то европейские, по нынешнему грабительскому курсу... — снова глянула в рекламу и переключилась на другое — Смотри-ка, мы всего за 15 минут можем доехать до средневекового замка... Там тоже дегустация лучших вин Австрии, но уже по вечерам... Не, Вань, тут мы сопьёмся...

— Не успеем... — легкомысленно махнул рукой Имбирёв. — У нас отпуск короткий... Всё, Оленёнок, я закончил бюрократию, пошли номер проверять... Что они там про номера пишут?

— «Уютные и просторные номера для молодожёнов... — старательно ар-

тикулируя, зачитала Ольга, — с кондиционерами, минеральными ваннами и баром, в каждом телевизоры и бесплатный Wi-Fi» и... о, и «собственный бар»! Они, Ваня, справедливо полагают, что лучший клиент — пьяный клиент...

Этот диалог супруги вели в одиночестве. Холл отеля был пуст, на полукруглом, отделанном под мрамор ресепшене — всего одна девушка в форменной одежде, конечно же, не понимающая русского языка, и, судя по каменному равнодушию лица, — явно не стремившаяся его понимать. Немного пугала с дороги своей стерильной безвкусыностью хваленая немецкая чистота.

Приняв формуляры с корявым почерком Ивана Сергеевича, администратор не стала их читать, что было даже обидно: зачем тогда пыхтел, писал? Сунула в виолончельно-изогнутый ящик бюро и передала через зеркальную стойку пластиковую карточку-ключ с надписью «на арабском» (арабскими цифрами): «204».

Иван, поскольку «русские не сдаются», своим плохим английским, парадоксально сочетавшим лапотный акцент и шекспировские закидоны (а чего ещё ждать от выпускника спецшколы с «углублённым изучением» из советской глубинки?), пытал каменноликую шатенку на предмет работы бара и ресторана, по поводу распорядка завтраков и обедов, прочих услугах, полагающихся постояльцам.

Шатенка усталым, и тоже плохим английским разъяснила ему, что в «204» будет тихо, поскольку окна во двор, что кодовый номер к сейфу в номере он волен подобрать сам, в гардеробе их с Олей ждут двенадцать вешалок для одежды, выход на балкончик — «по вкусу», отопление в комнате можно регулировать...

— Какое отопление?! — злился Иван на эту дежурную куклу. — Лето!

А шатенка-администраторша не думала о сезонах, она просто заученно бормотала, что положено. Пояснила, что Имбирёвы вправе не включать отопления (они и не собирались), но рольставни с электроуправлением, а за поломку пульта платится штраф. Видимо, тут пульт от рольставней так часто ломали, что штраф за него стал чуть ли не обязательной доплатой и особой статьёй доходов отеля.

Потом всплыло и кое-что похуже: оказывается, завтрак не входит в стоимость номера! Хитрые владельцы, завлекая «турё», вообще не включили в стоимость номера ничего, кроме самого номера, и завтрак обойдётся в 10 евро. Равно как платный и мини-бар в номере, но там без таксы, уж сколько выпьешь...

Ольга с русской основательностью успокоила готового взорваться мужа: она присмотрела магазинчик SPAR на первом этаже здания, сбоку, и пообещала там купить всё необходимое на обед и ужин. Ей не привыкать, и Ваня будет себя чувствовать, как дома!

Пытаясь исправить впечатление клиента, девушка с ресепшена «порадовала» на чешский манер ломаным английским:

— We can accommodate in the room of pets!

— Спасибо! — сардонически ухмыльнулся Имбирёв. — Всю жизнь мечтал!

— Вань, это они на тот случай, если ты всё-таки напьёшься... — довесила Ольга.

\* \* \*

А следующую фразу произнесла уже в номере, зажигая свет:

— Так вот ты какое, наше австрийское семейное гнёздышко!

Земля умеет затягивать свои раны. Может быть, прямо вот на этом месте,

надрывая жилы, вытаскивали на руках застрявшую пушку артиллеристы капитана Туманова, — а теперь над старым буераком несколько этажей, и номер «204», стильный, задиристо-модернистый, по-немецки угловатый, но роскошный, выдержанный в салатных тонах. Диван и два разлапистых кресла обтянуты светло-зелёной кожей, у стульев светло-зелёный шёлк обивки, портьеры — в салатно-золотую полосу. Даже внутренний подрамник у альпийского пейзажа на стене — тоже в тон общему настроению комнаты.

Четыре стула заговорщицки сгруппировались вокруг круглого стола с буквым тоном отделки, ещё один — караулит у стены туалетный столик с большим зеркалом над ним. Весь пол затянут ковровым покрытием, ласковым, бежевого цвета, разлинованным ромбами: в каждом, с аристократической неброскостью тонов, изображена по ворсу корона кремового цвета...

В целом интерьер немного бездушный, словно в витрине салона элитной мебели, но... разве не таковы все гостиничные номера на свете? Ведь в них так часто меняются хозяева, и так тщательно затирают все следы их пребывания...

Шокируя Ольгу, успешно имитирующую восторг перед щедростью своего мужчины (и тем обеспечивающую ему подлинный восторг), Иван поднял трубку блиновидного телефона на журнальном столике, рядом с вазой для цветов, и заказал ужин в номер:

— Сейчас я покажу тебе, Солнышко, как должны чествовать австрияки внуку своего победителя!

— Да ладно, не напрягай их! — хохотала Ольга. — Тем более что наше крыло — на чешской территории! Да и вообще, обрати внимание, тут весь черно-рабочий персонал — чехи да словаки... У австрийцев, видать, Arbeitstag закончился!

— Ну, тогда мы их завтра наклоним! — пообещал Имибрёв. — А пока пусть пшеки кланяются...

— Так, Вань, вроде как союзники были... — притворно изумилась Оля.

— Тебе... — подчеркнул Иван слово «тебе», — заставлю кланяться всех!

Умилившись его неугасимой (хоть и «готической» на привкус) любви, Ольга пошла разведать санузел. Как и следовало ожидать — оказалась в безупречно чистой, очень просторной, сверкающей хромом и кафелем от десятка потолочных светильников, элегантной ванной комнате. Унитаз, как почему-то всюду у австрийцев, вырос из стены, полочкой, и вызывал обманчивое опасение обвала — если на такой сядет по-медвежьему массивный Иван Сергеевич. Но Ольга уже встречала такие унитазы-полочки в венских отелях, и теперь боялась за них (и Ваню) меньше...

Гостя Golf Garni распаковала рекламную пластиковую упаковку-корзину, и стала выставлять рядами на белое трюмо многочисленные «мыльно-рыльные» принадлежности: зубная щетка, мыло, гель, бальзам, фен... Тут, как в музее будущего, был полный набор средств для душа и гигиены «начала XXI века», обнаружилось три комплекта полотенец, и вдогонку — особое полотенце для ног.

В боковом шкафчике висели халаты с логотипом Golf Garni, а под ними, как маленькие пушистые собачки, — две пары тапочек с таким же лейблом... В этот быт проваливаешься, как в огромное плюшевое кресло, мягкое и тёплое, удобное и мирное, навевающее сон сытости. Проваливаешься с ногами, и забываешь, что была война, и то, что война никогда не заканчивается...

Рольставни подняли без приключений, хотя Ольга и подозревала, что они — ловушка для выкачки денег из ломающих их туристов. Выглянув на небольшой балкон, подмигивающий бликами на никелированных перилах, остолбенели оба...

Окна номера «выходили во двор» только в том смысле, что не выходили на фасадную сторону огромного строения. Никакого двора не было: прямо за перилами начинался склон, заросший бересклетом, буколические фермерские домики-игрушки, а вдаль, насколько хватало глаз — знаменитые австрийские «голубые холмы», усеянные разноцветными звёздочками электрических огней, кое-где сливавшимися в пульсирующие полосы.

Миром, покоем, уютом и обустроенностью смотрела мириадами световых зрачков Австрия на Имбирёвых. Это те самые «голубые холмы», о которых рассказывал Ольге дедушка (особенно когда подвыпьёт), — но они неузнаваемы. Война-обманщица притворилась законченной. Она ушла в археологические слои, она пыталась всей роскошью опрокинутого на землю звёздного моря огней доказать, что её больше нет...

— Земля — это мясной пирог с человечиною, залитый сверху глазурью гламура... — высказался глубоко вдохавший вечернюю свежесть Имбирёв. Видимо, его обуревали чувства, похожие на Ольгины.

Печальные раздумья пресёк еле слышный с балкона деликатный стук в дверь: обслуживание в номерах, заказ von Herrn Imbirev!

В этом отеле не было круглосуточной подачи блюд и напитков постояльцам, но по вечерам, до известного времени, они работали.

В номер, сразу же оживив его, въехала сверкающая хромированная тележка, скрывавшая под блестящими металлическими и стеклянными колпаками напитки, закуски, ведерки для льда, фигурные бокалы богемского стекла и разнообразные фрукты, казавшиеся музейными экспонатами под стеклянным куполом. Горячие блюда заказа прятались, как тут принято, в одноразовых термобоксах. Скатерть, салфетки и прочее «столовое бельё» были безукоризненно белыми, и, казалось, светились отражённым светом.

Подбор блюд, сделанный на скорую руку, сразу же показывал в Иване Сергеевиче опытного сервитора: радовали глаз и греческая тарамасалата из икры, и тосканский паштет из гусиной печени. Манили скромным обаянием закуски на рыбной тарелке — малосольная сёмга и более круто посоленная форель, разделённые фаршированными шампиньончиками.

Две порции основного блюда: традиционная австрийская сладкая свиная грудинка в медовой глазури, обложенная ананасами в сиропе, сорбетом из клубники, с маскарпоне и мороженым, дополнялась широкими коническими вазонами, в которых плескались груши в красном вине.

Между дразнящей вкусоутицей стояли хромированные до зеркальности, причудливо отражавшие лица гостей, приборы со специями, похожая на серебряную мыльницу маслёнка, хлебница и ведёрко со льдом для шампанского.

— Добрый вечер, герр Имбирёв, фрау Имбирёва! — презентовал всю эту чуть дребезжащую на ковролине роскошь вислоусый чех-стюарт. — Куда прикажете поставить тележку?

— К дивану! — быстро сообразила Ольга.

Вислоусый славянин в малиновой жилетке с золотыми пуговицами и неприменными логотипами отеля во всех мыслимых и немыслимых местах,

откатил ужин к левому подлокотнику большого дивана модернистско-салатной вызывающей кожи, и попросил минутку внимания:

— Герр Имбирёв, фрау Имбирёва, у вас большой заказ, он размещён на трёх уровнях Servierung... Прошу обратить внимание, что у разных блюд заложен разный температурный режим, поэтому используются разные подогреватели для тарелок! На верхнем уровне — настольные подогреватели-свечи, на среднем — клоши, а внизу — шафиндиши. Прошу учесть, господа, что подогреватель и кофейник сейчас очень горячие... В сервировке на двоих есть свеча, зажечь её вам, или вы сами?

— Сами, сами... — выпроваживал чеха Имбирёв.

— Не желаете ли чего-то ещё? — приставал прилипчивый стюарт.

— Пока нет...

— Fraulein Имбирёва разобралась с паролем от «вай-фая»? — повернулся служитель к Ольге.

— Знаете, даже не пыталась... — смущённо созналась Имбирёва, как будто тест провалила.

Но служитель, наоборот, зауважал её:

— Приятно слышать! А то, знаете, мечта современных молодых — чтобы их посадили в тюрьму с «вай-фаем», и родственников на свидания не пускали...

Ольга очень молодо выглядела. Очевидно, чех-стюарт принял её за дочь пего-седого Ивана Сергеевича. Самым приятным в его комплименте для Ольги были слова «современных молодых». Но чех тут же подгорчил пилюлю, довесив уже не от души, но по службе:

— Ещё, простите, моя обязанность... Кто из вас, господа, подпишет счёт?

Ольга схватила жёлтый квиток счёта, лежавший на передвижном столике рядом с ламинированным красочным меню отеля, заглянула туда и изобразила ужас на лице:

— Ваня, это невысказано...

— Дай сюда! — Имбирёв, полный самодовольства, продолжал шокировать жену щедростью. Не глядя, расчеркнулся в узенькой бумажке.

— Господа, — склонился стюарт в полупоклоне, отчего стала видна его кругленькая, капуцинская лысинка. — Когда тележка вам больше будет не нужна — просто выставите её за дверь, в коридор...

И после вежливой церемонии прощания покинул, наконец, номер...

Да, несомненно, он чех из соседнего Микулова! Может быть, внук или родственник того чеха, которого...

\*\*\*

...Которого встретил дождливым утром последнего фашистского контр-трудара капитан Егор Туманов именно в этих, но тогда совсем других краях... Нацистов уже оставалось мало — но оставшиеся дрались упорно: нечего терять! В основном это был смешанный сброд из эсэсовцев, карателей, идейного фольксштурма, пехотинцев и танкистов из отдельных разрозненных частей.

Был у них и вполне себе яркий идеологический мотив — не пустить русских в Остмарк. Дрались как черти, и даже умудрились устроить наступление, продвинуться на четыре километра в Чехию...

Советские ударные части были обескровлены, отступали, чтобы не загромождать в позорный к концу войны «мешок», — и батарея Туманова поневоле из тыловой полосы выдвинулась на передовую: прикрывать отход.

— Где-то вот здесь, именно здесь... — указывала Ольга на синие горы за перилами балкона, смакуя шампанское и закусывая тосканским гусиным паштетом на хрустящем тосте. — Между Лаа и Микуловым...

...Шёл стеной и потоком, словно бы прикрывая Австрию, ледяной собачий ливень. Артиллеристы Туманова, проклиная всё на свете, вымокли до самых костей. Из штаба поступали путанные команды — то туда шарахнуть, то сюда, то влево, то вправо, и в итоге, конечно, немцы засекли батарею, врезали контрбатарейным огнём. А делать они это умели!

Один вражеский снаряд, к счастью бронебойный (видимо, других у нацистов не оставалось — иначе с чего бы им палить бронебойными по пихтовой опушке?), упал совсем рядом с капитаном Тумановым, глубоко ввинтившись в землю, словно буровой снаряд... Был бы осколочным — не прийти бы Туманову домой с войны!

Егора сразу и оглушило и завалило сырой вонючей глинистой землёй, кислой с ливня, с щелочным привкусом. Одно из орудий взрывной волной завалило поверху, чуть не похоронило...

Вылез Туманов из своей могилки живой и злой, весь грязный, глиной, как калом, облепленный, и обругал смеющихся подчинённых:

— Мне-то не до смеха, дураки!

Им тоже было не до смеха. Они ржали истерически, потому что чудесное спасение уже занесённого в поминание отца-командира — не слезами же встречать, право слово!

Немцы и вправду поверили, что ещё могут наступать, и самые отчаянные из них показались метрах в двухстах, срезанные автоматными очередями дивизиона.

Примерно через час за спину к Туманову прошагали последние рваные части ударной группы: между щитками орудий и немцами не осталось ни одного советского воина...

И тогда, пока орудийные команды заряжали стволы «ружейным пулемётом» (так они звали осколочные), — к Туманову и привели этого злосчастного чеха.

— Подпиши, командир! — сунули мятую бумажку. — Шёл к немцам, в плен сдаваться, гад! Еле догнали! Быстро бегают, и всё на Запад бежит...

— Какого ещё чёрта?! — взорвался капитан, глядя на чеха в форме чешского добровольческого легиона. Не верил он, что в апреле 1945 года кто-то будет бежать немцам сдаваться: куда? У них, считай, и земли-то никакой не осталось, кроме как для могил...

— Не тяни, капитан! — просили патрульные под жаркое шкворчание артиллерийской дуэли. — По законам военного времени!

— Погодите, разобраться надо! — сказал рассудительный Олин дедушка. — Ты кто такой? Куда шёл?

Оказалось, что чех — наводчик соседней миномётной бригады, при отступлении оставил «под ёлкой» свой прицел. Командир, видимо, самодур какой-то, приказал дураку «вернуть инвентарь любой ценой». И пояснил, что «без прицела миномёт — как слепой».

— Ну и куда ты пошёл? — недоумевал Туманов. — Там же немцы уже...

— А мне прицел... Любой ценой...

У чеха нашли трофейный пистолет и две гранаты в карманах. Ходят ли так сдаваться?

— Под какой ёлкой ты прицел забыл? — напустил строгости Егор.

— Вон под той... — лепетал чех. — Я ж свой, товарищ капитан... Я местный, я наводчик вашей батареи 281 миномётного полка «Валгинский»... Вон под той ёлкой... Сплоховал: ночь, дождь, положил и забыл... Ну, когда внезапно команда на отход — забыл. Мне бы только забрать...

— Как ты заберёшь, баранья голова, там уже немцы под твоей ёлкой!

— Да я бы бочком, бочком... Они и не заметят... Он в хвое лежит, прикрытый, они его не найдут, если не присматриваться... Да какой — темень вон, дождь как из ведра, не найдут!

— Ну, так и молись, чтобы не нашли... Пока поступаешь под арест на нашу вахту! Выбьем немцев, если прицел найдётся — пойдёшь к своим... Не найдётся — значит, не твоё счастье...

— Да там он, там... Хвоей же... Не найдут! Как им найти в такую погоду?

Немцам явно было не до миномётных прицелов 281 миномётного, орден Александра Невского, полка «Валгинский»... Через день прицел был найден под слоем сырой хвои, именно там, где чех и предсказал его наличие...

— И чех, забыл, как его звали, остался жив, — рассказывал маленькой внучке деда Егор. — И, кажется, даже орден потом получил! А если бы ёлки перепутал — к стенке... Но он местный был, он не мог перепутать, все ёлки знал в лицо...

— Давай за них! — поднял витой бокал Иван, обнимая Ольгу свободной рукой, и притягивая её гибкое жаркое тело к себе поплотнее. — За тех, кто пришёл, и тех, кто остался в этих вот синих холмах...

Она тоже обняла мужа левой рукой, долгий и страстный поцелуй со вкусом шампанского на губах обжёг обоих неугасимой страстью. Тихая-тихая местность шептала цикадами об отпуске и лете, о том, что стоит забыть о смерти и думать только о любви...

Война очень хотела, чтобы влюблённые друг в друга Имбирёвы думали, будто она однажды закончилась...

\* \* \*

На следующее утро, пробудившись, по привычке делового человека рано, Иван Имбирёв не хотел открывать глаз: так тепло, мягко и уютно ему было на большой двуспальной кровати. Ольга бочком прилежала на нём, из всего оставив на себе только свою особенную, «гранёную» особо чёткими линиями классического силуэта, женскую красоту: головушка на широком плече мужа, льняные роскошные волосы щекочут нос...

Уже потом Имбирёв узнал, что педантичная чета немецких пенсионеров снизу подала на них жалобу, уверяя, что в номере 204 «всю ночь дрались» — тогда как, конечно же, речь шла о противоположном драке и вражде действий.

Но зазвонил блинообразный, как пластиковая лепёшка, телефон, и пришлось аккуратно высвободить правую руку из сладкого плена своей половинки...

— Du wirst aus der Stadt gerufen... — заяляла баклажанных форм трубка, словно в фильмах про войну. — ...Bezahlen Sie den Anruf auf eigene Kosten...

— Ершиссен! — ответил баклажану в руке Имбирёв. Это единственное вспомнившееся ему немецкое слово он употребил из хулиганских побуждений. И добился своего. Портье на линии, пытавшийся развести клиента на оплату звонка по городской линии, через мини-АТС Golf Garni, растерялся, кашлянул, охнул и щёлкнул переключателем. В традиционном советском



жанре «кино и немцы» слово «ершиссен» звучало перед расстрелами. Что оно означало и как понял его утренний портье — Имбирёву узнать было так и не суждено...

— Здравствуйте! — вклинился городской абонент на ломаном, но хорошем русском языке. — Меня зовут Вальтер Тизлер, я договаривался о встрече с вашей женой!

— Почему я об этом ничего не знаю? — взревновал спросонья Иван.

— Наверное, потому, что я сорок первого года рождения, и давным-давно на пенсии! — показал незнакомец покладистое чувство юмора. — Я председатель попечительного совета русского кладбища в Лаа, на общественных началах... Но, несмотря на возраст, друзья зовут меня просто Вальти, я, как говорят в России, «свой парень», he-he-he...

— Это Тизлер? — обворожительно сонно вынырнула из объятий морфея Ольга, пока лишь наполовину.

— Да, Оль...

— Он председатель...

— Я знаю. Уже.

Иван, комично играя бровями в подозрительного ревнивца, — передал трубку. Из всего разговора Ольги свет Анатольевны, в девичестве Тумановой, он слышал, по большей части, отрывистые «да» и «да-да», разбавляемые иной раз «это было бы замечательно».

Когда трубка легла обратно в лепёшку корпуса с кнопками, выяснилось, что герр Тизлер до пенсии лет сорок работал в газовой промышленности, закрывал подряды советским газовикам на австрийском узле, много раз бывал в СССР, прекрасно владеет русским языком (это Иван и так уже понял). А теперь, поскольку ему, видимо, делать нечего, заботится о советских могилах родного городишки Лаа. Далее: герр Тизлер сейчас не занят (кто бы сомневался!) и лично отвезёт чету Имбирёвых на военное кладбище, охотно ответит на все вопросы, которые Ольге передали поисковые клубы и безутешные родственники павших. Дочь герра Тизлера, Грета, владеет небольшой компанией перевозок, и готова за скромную сумму предоставить легковушку на всё время пребывания Имбирёвых в Остмарке.

Всё это было правдой, за исключением, пожалуй, «скромности суммы» фрахта. Впрочем, у европейцев свои понятия о дешевизне и дороговизне... Оказавшись в «оппеле» удлинённой модели, Иван гадал, почему за рулём сама фрау Грета: то ли от большого уважения, то ли потому что транспортная компания очень уж «небольшая»?

Но спрашивать не стал: и невежливо, и общество ещё одной симпатичной блондинки отнюдь не претило взыскательному вкусу уральского кулинару...

— В Лаа живёт небольшая, но дружная русская община, — рассказывал разговорчивый старик Тизлер. — Мы вместе занимаемся памятью, есть очень интересные люди! Один много лет провёл в Африке, теперь купил «плюшевый дом» возле Pfarrkirche St-Vitus, у него частный музей африканских редкостей. Если желаете, могу познакомить...

Имбирёв промолчал. Он не хотел знакомиться с эмигрантами, весьма эмоционально и неразборчиво считая их всех предателями.

У Ольги на этот счёт была совсем другая точка зрения, ей очень хотелось бы пообщаться с соплеменниками за тридевять земель, — но Ольга молчала, как всегда в случаях, когда есть риск задеть болезненные струны супруга.

На этот случай была «женская школа» семьи Тумановых. Как говорила мать Ольге, а потом сама Ольга — подросток дочери:

— Если ты хочешь удержать себя, тогда делай то, что нужно тебе; но если ты хочешь удержать своего мужчину — делай то, что нужно твоему мужчине!

Зерно женского ума падало на подготовленную почву. Даже маленькая Оля уже знала, что вокруг есть много дур, обставивших отношения тысячью самолюбивых детских условий — и добившихся только одного: остались за бортом никому не нужными...

— Ты же всегда помни, что жизнь — война, на которой трудно выиграть и очень легко проиграть! Если твой мужчина пьёт кофе, а ты чай, то в доме может не быть чая, но кофе должен быть. Если ты пьёшь чай с лимоном, а он с сахаром — можно забыть купить лимоны, но нельзя забывать купить сахар...

И Оля никогда не забывала: кофе, так кофе; сахар, так сахар; сигары, так сигары; предатели Родины — так предатели Родины... Оля гордилась, что в поговорке мужа «все женщины — агенты мирового империализма» имела почётный статус исключения из правил. Конечно, и она, со своей томной ленью, страстью к шопингу, нарядам, светской тусовке и жеманству, — тоже была немножко «агентом мирового империализма». Но десятилетиями умело скрывала это от Ивана. Те, кто знали его бдительность — понимали, насколько это трудно...

\* \* \*

— Ну, раз уж вы у нас, — подмигнул седовласый и местами сморщенный старик Вальти при личной встрече, — наверное, одним кладбищем дело не ограничится? Предлагаю такую программу, Kameraden: завтракаем все вместе, здесь, в подвальчике отеля, тут средневековые своды из дикого камня и вместо стульев бочки, очень экзотично! Не забывайте, вы в самом сердце винного региона Вайнфриттель, такое нельзя пропустить мимо уст... Потом разбираемся с захоронениями, вы... — он игриво, не постариковски посмотрел на Ольгу, — как договаривались, записываете и фотографируете, что хотели!

Вздыхнув грустно — видимо, самокритично осознав, что не по возрасту уже такая игривость глаз, продолжил:

— Обедаем у нас, мой дом недалеко от Neues Rathaus, обещаю приготовить русские блюда! Поговорим, поближе познакомимся, а потом мы с Гретой отвезём вас посмотреть главную достопримечательность, Therme Laa! Знаете, уникальные термальные источники, минеральные воды, просто уникальные, со всей Европы едут, даже из Китая, и такие римские... как бы сказать... римские термы, комплекс довольно недорогой, если сравнивать с другими!

«Знаем мы ваше «недорогой!»» — подумал Имбирёв.

Но вслух не сказал: уральская суровая мама научила его быть вежливым мальчиком; причём учила далеко не самыми вежливыми способами.

Завтрак в отеле не понравился Ивану Сергеевичу, и не только потому, что он выложил за завтрак сложившейся четвёрки сорок евро. Основу составляли йогурты и всякие мюсли, баночки, как на аэрорейсе, и чувствовал себя Имбирёв, словно в «Макдональдсе». После вечернего пиршества от «сервиса обслуживания номеров» это казалось особенно странным и нелепым, хотя объяснялось европейскими «законами» насчёт здорового и лёгкого питания...

Кладбище советских воинов в Лаа понравилось гораздо больше, если, конечно, о кладбище можно сказать «понравилось». Далеко от города, затерянное в буколке тисовых перелесков, тихое и безлюдное, оно было неожиданно ухоженным. Большинство могил родственники не посещали ни разу с самого 45-го года. Тем не менее, с немецкой педантичностью кладбище чистили и озеленяли, однообразные ряды белых обелисков под красными звёздами регулярно подкрашивали и реставрировали.

Пока Ольга, сверяясь с растрёпанным блокнотом, на котором красовался герб и логотип семейного бизнеса, «Имбирный хлеб», фотографировала на телефон и оправляла на ей одной известные номера «вацапа» таблички с фамилиями, Вальти и Иван прогуливались по кленовой аллее посреди кладбища, разговаривали на темы, навеянные вечностью.

— Живу здесь всю жизнь! — сознался старенький Тизлер в рубашке-поло, из нагрудного кармашка которой вместо платочка выглядывал сотовый телефон. — Но так и не могу поверить, что здесь... вот здесь, в Лаа! такое творилось... Война ужасна, Иван Сергеевич, немыслима, и самое страшное: когда она кончается, никто потом не верит в её возможность! Я ребёнок войны, герр Имбирёв, и самые мои ранние воспоминания — самые тёмные. Я сознательно пошёл и выбрал в 60-е годы работу с советскими компаньонами: бороться с военной угрозой, чтобы наши народы лучше понимали друг друга! Может, это прозвучит напыщенно, но я искренне хотел бы, чтобы больше никогда не было войны...

— Не могу разделить вашего оптимизма... — грустно сознался Иван Сергеевич, вышагивая аистом, по-хозяйски, заложив руки за спину. — Война омерзительна, согласен, но что мы можем поделать? Пока богатые в этом мире стремятся отобрать у бедных последнее... Пока бедные, наоборот, стремятся стать богатыми — войны неизбежны. Поверьте, самой войны никто никогда не хочет, даже Гитлер её не хотел! Просто все хотят хапнуть побольше, и когда это получается без войны — все просто счастливы. Беда в том, что если всё время хапать и хапать — непременно «прилетит ответочка»...

— Такая, как «Крым-наш»? — остановился Тизлер, пристально вглядываясь в глаза нового знакомого из таинственной российской глубины.

— Да, например, такая, — выдержал Имбирёв этот испытующий взгляд. — Ну, и много ещё каких... Жертва не может согласиться, чтобы её скушали до костей без всякого сопротивления... После нескольких укусов даже тупая и покорная корова начинает брыкаться...

— Очень жаль, очень жаль...

— И мне, поверьте...

— Тогда, герр Имбирёв... — заговорщицки понизил голос старина Вальти, — может, сузим задачу? Если войн нельзя избежать совсем — тогда пусть их хотя бы не будет между нашими великими народами?

— Вот за это, — засмеялся Иван, — я охотно подниму тост на любой дегустации вин в вашем «сердце винного района Вайнфритель», или как он там называется! Русско-немецкая вражда противоестественна, это, может быть, самая большая проблема человеческой цивилизации, отдающая ключи от планеты торгашам и атлантическим подонкам... И теперь нам легче понять друг друга — двум побеждённым, двум разорённым и расчленённым странам...

— Золотые слова! — вдохновился Вальти. — На такой тост, бронирую, вино — за мой счёт!

— Нет уж позвольте за мой! — не уступал Иван.

— Хорошо, пусть будет два тоста на общий счёт! — рассмеялся Тизлер, Имбирёв подхватил, а белокурые женщины, Ольга и Грета, укоризненно обернулись на них: не стыдно ли, ржать жеребцами на кладбище, средиobeliskов?!

\* \* \*

Но первый тост в ресторане аквапарка Therme Laa Вальти Тизлер поднял вовсе не за геополитику. Он поднял бокал мозельского за «прекрасную идею прекрасной женщины», имея в виду кокетливо склонившую голову Ольгу.

— Сейчас много русских влюбляется в нашу Австрию! — сказал Вальти, покачивая хрусталь в руке. — Но в основном едут сюда просто туристами, банально отдохнуть... Это не плохо и не предосудительно, но... То, что придумала Ольга Анатольевна Имбирёва, — лучше во сто крат! Совместить отпуск семьи с важным и священным делом...

— Извините, но меня много лет пилят семьи сослуживцев деда! — шутили-во созналась Оля, подняв два пальца, как на суде. — Вначале письма писали на бумаге, а как появились интернеты всякие — у меня уж и выбора не осталось! Дедушка Егор — который «из-за леса, из-за гор» — нанчил меня всё моё детство, не отходя ни на шаг, и передал одну важную вещь: живые ветераны в долгу перед теми, кто не вернулся...

Да, как вспомнишь: он всю жизнь считал себя виноватым, бедный Ольгин дедушка Егор! И всё только потому, что вернулся живым! Он прошёл всю войну от Бреста до Вены, а когда жаркими летними сезонами, которыми врезались в память 80-е, купал Олечку в Сараидели или в Бире — шрамы на его торсе казались девочке замысловатой пиратской картой сокровищ! Он погибал раз десять, если не больше, и как не погиб — сам не знал.

Но ему до самой смерти писали и звонили: «где такой-то и такой-то, вы ведь там рядом проходили, может быть, краем уха слышали?»... В большой и продолговатой комнате деда, наполненной витиеватой старинной мебелью из цельного дерева, разрывался угловатый чёрный виниловый аппарат — который Оля с детским испугом звала «рогатый телефон». Он и вправду имел форму «рогоносца», выпирая углами, а трубка соединялась с корпусом прямым шнуром, без привычных советским пионерам пружиннок-завитушек телефонного провода...

А когда дедушка умер, оплаканный всем городом, но особенно — энергетиками, как-то само собой так получилось, что последнее земное дело Егора Туманова легло на Ольгу Туманову.. В тёмном гардеробе с зеркалами упокоился дедушкин тяжёлый от наград выходной пиджак, а письма и звонки принимала уже внучка без орденов и медалей...

— Я бесконечно уважаю мотив вашего приезда, фрау Ольга! — закончил тост Тизлер и одним махом выпил свой бокал. Все поддержали его.

Ресторан Therme Laa замечателен тем, что расположен под крышей, но на берегу рукотворных озёр огромного зала аквапарка. Тизлеры уже с утра предупредили Имбирёвых, чтобы брали с собой на ужин купальные костюмы: отсюда, из-под стилизованной тростниковой кровли бара, можно с разбегу прыгнуть в термальный бассейн, хочешь, с пузырьками, как в джакузи, хочешь — без...

Дальше, под общими кондиционируемыми сводами — расположились многочисленные горячие и холодные, соляные и массажные бассейны. Есть

просто купальная зона, она частично выходит на открытый воздух, сбоку от неё — детская водная игровая зона с горками и бассейном.

Из колоссальной гидрозалы — много дверей, ведущих в разные стороны: одна в барную тропическую оранжерею-бар «Джунгли Лаа», другие — в сауны и парные, устройство которых позаимствовано у разных народов мира.

Таблички на немецком продублированы и по-английски. Читать — и то душа радуется: «Ледяной домик», «Соляная комната-парная», «Травяные отвары, фитобаня». Кроме разнообразных водных процедур Имбирёвым наперебой предлагали специальные спа-услуги, массаж, обертывания, фитнес-зал и бассейн с инструктором аква-аэробики. Сулили за скромную плату «восточные методики восстановления работы мышц и организма», «акупунктуру» — как обещали рекламные щиты, «вплоть до полной релаксации».

— И представляете! — восхищался добровольный гид, герр Тизлер. — Всё это построено совсем недавно! Я тут живу всю жизнь, и всегда тут был сельский район, этнотуризм помаленьку... А примерно с 2005 года началось: вспомнили вдруг, что тут быют горячие ключи, что местные бауэры славятся здоровьем и долголетием...

— ...И началось! — подхватила Грета, обнаружив отцовскую способность к языкам. — Один комплекс, другой, со счёта сбились! И солярий, и ледяные иглы, и соляные и минеральные, и винные, и сырные подвалы... Народу значительно прибавилось! Но, в основном, отдыхающие бездельники, таких, как вы, — мало, очень мало... Люди совсем потеряли память...

— А когда люди теряют память, — нравоучительно вставил старый австрияк, — следом они теряют и совесть...

\* \* \*

Накупавшись вдоволь, дождавшись, пока в бассейне дадут «морскую волну» (её включали с немецкой педантичностью каждые полчаса), следопыты-любители взгромоздились на табуретки бара, стилизованные под первобытность грубо сколоченные седалища. Мужчины в плавках, женщины — в купальниках, мокрые и довольные.

Изрядно выпили — и продолжили сокровенный разговор, начатый ещё уobeliskов советского кладбища.

— Я понимаю одно! — настаивал Тизлер, которому, по старости лет, и нескольких бокалов лёгкого вина хватило, чтобы пустить голову по кругу. — Наши великие нации должны править миром! Жизнь всё расставляет на свои места, Ivan! Что мы видим сегодня, вот хотя бы на австрийских и чешских курортах? Много появилось русских хозяев, скупающих целые кварталы... Русский господин, немец господин. А все поляки и чехи, и прочее славянство, кроме руссов, — там, где оно и должно быть: на подхвате. Обратил внимание, кто вас в отеле обслуживает? Ни одного немца! Русская нация должна понимать своё предназначение! Трагедия — когда рус идёт на германца! Это трагедия! А когда рус берёт Крым — он берёт своё... Это я понимаю! Польшу тоже делить... ик... надо...

— Господин Тизлер, закусывайте «Тильзитером», — играла Ольга созвучиями, подсовывая старине Вальти сыр-тёзку. — Вы не Рибентроп, да и мой муж не Молотов... — подумала, и добавила, как мама учила: — Помасштабнее будет!

Имбирёв разулыбался: стрела Купидона снова в цель! Ольге казалось странным, что на её глазах уже много раз представители самых разных наро-

дов, подвыпив, предлагали Ивану делить землю именно с их этносом — «и больше ни с чьим». Ведь для жены, знавшей Ивана лучше всех, лучше даже, чем родная мать, — Имбирёв был живым символом миролюбия и отвращения ко всякому насилию. Может быть, пьяненьких геополитиков обманывала идущая от него медвежья, основательная и кряжистая, не вполне понятная, но осязаемая сила?

— Я всегда старался жёстко отделять разумное стремление к миру от слабоумного пацифизма, — сознался Тизлеру Иван. — Тем не менее, ваши слова представляются мне в этой обстановке несколько странными, Вальти!

— По-другому думать человек моей судьбы и не может! — рассмеялся Вальтер Тизлер, понимая, что перегнул, и несколько сдав назад. — Мой папаша Франк Гюнтер Тизлер стрелял в меня из «люгера», когда мне было три годика, но рука отцовская дрогнула, слеза глаза ему замутила, не добил...

— Как такое может быть?! — изломил бровь углом изумлённый Имбирёв.

— Моя история необычная... — с готовностью закивал старый Вальти. — Франк Гюнтер Тизлер был убеждённый «наци», служил в войсках SS с самого их основания. Другие сделали карьеру, а он был честный, до самого конца ходил в малом чине... В апреле 1945-го он пришёл с фронта сюда, домой... Точнее сказать, пришёл сюда вместе с фронтом, русские пушки вовсю уже били по Лаа, когда он, в совершенно невменяемом состоянии, появился у нас на подворье...

У гауптштурмфюрера Тизлера была арийская жена, похожая на вас, — Вальт скосил масляный глаз на Ольгу, думая, что делает ей комплимент. — И четверо ребятишек... Самый младший из них — я. Мы прятались от русских снарядов в Keller'ах... Ну, это такая обычная деталь немецкого фольварка, закопанный в землю сарай...

— По-нашему — погреб, — расширила собеседника в понятиях Ольга Имбирёва.

— Нет, погреб я знаю! У погреба есть Luke... Люк, сверху.. А у Keller'ов дверь сбоку! Только у нашего Keller двери уже не было. От взрыва рядом её сорвало с петель. Прямо у входа стоял горящий русский танк, поодаль я запомнил другие подбитые танки... Мы, обнимаясь с мамой, впервые услышали русское «хурра!», весь наш Майерхоф пылал. Громче русских ревели только наши коровы — они горели заживо, пятьдесят коров, целое стадо, — некому было выпустить их из Viehstall'a... Вы не поверите, что трёхлетний мальчик может запомнить столько деталей, но... Поймите, важно — каковы детали! Есть такое, чего не забудет даже младенец!

— У меня есть одно воспоминание с трёхлетнего возраста, — почему-то смущённо сознался Иван Сергеевич. — Помню утро, нашу кухню, солнце играет с белым кафелем, и бабка мне печёное яблоко сделала... Такое сладкое, а в самой сердцевинке — тёмный густой сироп...

— Такое воспоминание делает честь вашей памяти! — совершенно серьёзно сказал Тизлер. — Мои же воспоминания детства чести не делают — не запомнить, как папа убивает всю семью, просто невозможно...

\* \* \*

Простой и бесхитростный гауптштурмфюрер Франк Гюнтер Тизлер явился к жене Эльзе, когда бои в районе Майерхофа, пригорода Лаа, немного стихли, ближе к вечеру. Маленький Вальти запомнил его в красивой чёрной форме SS, потрёпанной и пыльной.

Вот он целует мать. Целует белоголовых ребятишек. Он явно не в себе. Может быть, под воздействием наркотиков, потому что резкого шнапсового духа нет и в помине...

Франк Тизлер плачет. У Франка Тизлера дрожат веснушчатые, с рыжеватым пушком, широкие гроссбауэровы руки.

— Всё кончено! — констатирует он, и золотой значок НСДАП хищно поскрипывает с лацкана траченного окопами мундира. — Всё кончено, Эльза... Русские идут...

А это и без него ясно, русские уже заняли половину Майерхофа, танки бьют в район костёла прямой наводкой. Жирный запах пригоревшего мяса, коровьего, свиного и человеческого, коптит лёгкие даже в укрытии.

— Русские идут... — расстёгивает кобуру гауптштурмфюрер Тизлер, и слёзы прокладывают светлые тропки через грязные скулы. — Если они будут делать здесь то, что мы делали у них... Эльза, Эльза... Уж лучше я сам... Лучше я сам...

И потом, очень быстро, как и всё в жизни, не облагороженной приёмами кинематографа, случается последний акт его жизненной драмы, драмы очень послушного и усидчивого ученика, всегда честно и бездумно выполнявшего всё, чему учили. Это, может быть, единственное, что гауптштурмфюрер Тизлер придумал сам, без подсказки старших партайгеноссе...

Он хотел застрелить первой старшую дочь, Луизу. Но мать бросилась наперерез, и первая пуля из «парабеллума» вошла между роскошных грудей фрау Тизлер... Луиза умерла второй. Вальти, младшенький, трёхлетка, — должен был умереть последним, но от выстрела к выстрелу, оглушавшим в замкнутом пространстве погребка с домашними заготовками, стрелок становился всё более зыбким, невменяемым, слепым...

Самый маленький из Тизлеров был тяжело ранен (пуля прошла насквозь, над сердцем, но пониже ключицы) — от болевого шока и ужаса потерял сознание, так, что и покойная мать не отличила бы его от мёртвого...

А уж тем более «съехавший с катушек» отец, мало что соображающий в дымной от пороховой гари полутьме импровизированного «бомбоубежища»...

Последнее, что запомнил маленький Вальти, — угловатую крестьянскую спину папы, растворяющуюся в ярком квадрате дверного проёма. Гауптштурмфюрер Франк Гюнтер Тизлер поспешил, скрипя хромовыми сапогами, на свой последний бой. Много позже соседи рассказали подростку Вальти, что Франк широко мерил шагами центральную улицу, прямой, как аршин проглотивший, и стрелял перед собой в никуда. В этот момент русская полевая батарея дала залп осколочными, и неведомый русский артиллерист, словно бритвой, разорвал Франка Гюнтера на несколько ассиметричных кровавых кусков.

— Я, конечно, не знаю имени этого офицера, — сознавался Имибрёвым Вальти. — Но до сих пор благодарен ему. Он нанёс то, что у рыцарей называется *coup de grace*, «удар милости» — удар, которым рыцари пресекают мучения поверженного противника...

— Могу подсказать вам имя командира батареи! — задумчиво сказала Ольга. — Судя по описанному вами расположению, сомнений быть не может: это был мой дед, капитан, а после заслуженный энергетик Кувинского края, Егор Туманов! Дедушка умер не так давно, и рассказывал мне эту же историю, но «с другой стороны»...

— Жаль, что я так поздно узнал! — огорчился Вальти и покачал брыльями

старческих обвислых щёк. — Я хотел бы пожать руку этого мужественного и благородного воина... Но позвольте мне поцеловать изящные пальчики его очаровательной Enkelin...

Исполнив ритуал не без присущей старым европейцам грации, Вальти закрутил свою обыденную семейную историю:

— В Лаа и окрестностях все зовут меня Russewalther... — он дробно, дряхло рассмеялся-раскашлялся. — И неспроста! Ваши солдаты, может быть, даже ваш дедушка Jegor, — нашли мою расстрелянную семью в погребке и как-то опознали во мне ещё живого... Может быть, я напомнил вашему полковому хирургу его собственного мальчонку, но ваш военврач Kamerad Родословлев совершил чудо! В полевых условиях мне перелили кровь русского донора, кого — не знаю до сих пор, безымянного советского солдата... Она и теперь в моих жилах... Так я выжил, и стал «Russewalther'ом»...

Ну, а потом я много лет, до самого выхода на пенсию работал на советско-австрийском газовом хабе, почему и могу разговаривать с вами по-русски... Это мощнейший газовый хаб в Европе, скажу не без гордости, он связал наши народы — как связала их и кровь, бегущая в моих жилах! На пенсию у нас выходят поздно, увы, это не ваша Россия... Завидовал, конечно: все мои советские коллеги, с которыми монтировали хаб, — уже вышли на пенсию, а я всё работал... Но, наконец, списали и меня в утиль! Появилось время, и я стал искать доктора Родословлева. Нашёл его бедствующим, на грани голода, в маленьком городке Тутаеве... Это были 90-е годы...

— Наш несмываемый позор! — помрачнел Иван Имбирёв и хрустнул сжатыми в бессильной ярости зубами.

— Я разными способами пытался помочь ветерану, предлагал валюту, но он отказался... Он был гордый человек, Gott Schutze seine Seele. Он считал, что победитель не может принять денег от побеждённого! Вы, русские, всегда остаётесь для меня загадкой: в Европе только для того и побеждают, чтобы потом брать деньги от побеждённых!

\* \* \*

Все сидели молча — «тихий ангел пролетел».

— Ну... Что мы всё, обо мне да обо мне? — спохватился радушный Вальти Тизлер. — Расскажите что-нибудь о себе...

— Обо мне чего говорить? — всполошился, и нахохлился, как воробей, Иван. — Я был юношей, подававшим надежды... На этом всё и кончилось! Жизнь не удалась, и теперь я леплю пельмени... Смешно и трагично, правда: свести человека к пельменю...

— Ну, я надеюсь, это profitabel... прибыльно?

— Как вам сказать... — откровенничал Имбирёв. — Было бы убыточно, до Австрии бы не долетел... Но дело это тоскливое, сами понимаете... Цеха, как застенки... Воруют... Я ловлю... Если по мелочи, то прощаю! А если... ну, тогда приходится карать... Думаете, это приятно? Думаете, мне нравится наказывать нищих бедолаг, для которых полкило фарша в штанах — серьёзный приработок? Такой, что ради него рискуют... Думаете, мне в удовольствие их карать? А иначе нельзя, герр Тизлер: вынесут всё! Наждачного камня, нож подточить, и того не оставят...

Герр Тизлер рассказал в ответ поучительную историю о поволжском немец-фольксдойче, который в 90-е вырвался на «историческую родину» по тогдашним законам ФРГ.



— Этот немец устроился в пекарню... Хорошую пекарню, с именем, наверное, такую же, как у вас, герр Имбирёв! А поскольку за плечами у него был опыт — он стал там воровать изюм и муку... И никто не замечал — потому что у нас преступники грабят банки, а не банку с мукой... Потом фольксдойче замучила совесть, и он от чистого сердца пошёл к своему хозяину, учить того жить по-рыночному. Дал хозяину две булочки, и попросил найти разницу. Хозяин разницы не нашёл. Торжествуя, репатриант воскликнул: «Вот видите! В одну я положил изюм по вашей норме, в другую — поменьше... Никто не заметит, говорю я вам! Экономика должна быть экономной!». Ну, и в итоге репатрианта выгнали с позором... Так сказать, — гоготал герр Тизлер, — пострадал человек за правду! Хотел хозяину помочь — а вон как обернулось!

— Вот, Вальги, мы говорили с вами о войне, — начал задетый за живое пекарь Имбирёв, владелец целой сети пекарен. — Война отсюда и начинается, дружище... У меня тоже воруют, всё время, но когда понемногу — я терплю. Знаю — и терплю... Только не наглей, такой принцип... И вот какая штука: не воровать им нельзя! Концы с концами не сведут, зарплата такая...

Имбирёв охватил ладонью шею, как будто его что-то душило. Так он обозначил капкан, рыночный капкан «хищник или жертва», в который угодил ещё смолоду. Парадокс заключался в том, что Олин муж воплощал тот строй, который сам же от всей души ненавидел. А был ли у него выбор? Став вместо хищника жертвой, чего бы он добился? Обелиска и по-немецки пунктуального ухода за могилой? И то сомнительно, не говоря уж о большем...

— И не потому, — почти закричал Иван, — что я не хочу платить нормальную зарплату! Я просто не могу, понимаешь, Вальги? Никакой капиталист не выдержит, если будет платить больше, чем у конкурентов, ферштейн? Когда сложилась система узаконенной нищеты — всё, аллес капут! Я не могу за государство сделать его работу. Скажу, как экономист, Вальги: поднимать зарплату можно только всем сразу — или никому...

— А почему у нас не так? — скромно, боясь ранить, поинтересовался Тизлер.

— А потому что вы победили в 90-е! — развёл руками экономист Имбирёв, видевший траекторию каждой копейки, словно беркут мышей из поднебесья. — Не вы, конкретно, Австрия, а коллективный Запад. И вы сделали такие правила игры, в которых хорошо вам, и только вам... И это можно называть капитализмом, а можно — началом, прологом войны.

Ольга вспомнила Вену, летнюю Вену, камень которой вальсирует в зное, Вену, которая кажется то одним большим музеем, то одним большим торговым центром. Вену, в которой Ольга кружилась в ритме «культурного досуга», убеждая мужа, что венская опера — «слишком дорого», окрыляя его своими скромными запросами... А на самом деле технично уклоняясь от скучного занятия прослушивания опер, которого ей за глаза хватило в музыкальной школе.

Вена, в которой так легко забыть о вечности войны человеческой — когда карман набит фиолетовыми купюрами... Зачем война, когда всё так хорошо, светло и ярко вокруг?

А ведь хорошо-то, светло и ярко только у тебя! Кто бы спорил: сорить валютой по европейским кабакам — хорошо. Весело. Комфортно. Беда в том, что большинство тех, кто сорят, не задумываются — откуда взялись их евро, из чьего пота, крови, костной муки слепились в «счастливый пельмень», уложенный, по-булгаковски, «непосредственно в карман»...

Что ты можешь думать о миролюбии, о блаженстве мирной жизни под соляным куполом термальных аквапарков с фужером экзотического коктейля в руке, ты, девочка-удача, одна из тысяч землячек, вытащившая длинный жребий?

Девочка-удача, мчащаяся в серебристом вагоне-ресторане по рельсам жизни, мимо тысяч и тысяч проржавевших судеб-тупиков, обрывающих рваные рельсы в жухлом бурьяне? Помогает мёртвым и родственникам мёртвых — а кто и как поможет живым?

\*\*\*

В свой отель Иван и Ольга вернулись далеко за полночь, выслушав претензии от соседей снизу на «подозрительные шумы», и не слишком успешно попытавшись быть в этот раз потише.

Пока они шатались по геотермальному аквапарку, плескаясь в минеральных водах, в номере невидимые горничные аккуратно перестелили кровать, заменили все использованные и разбросанные в порыве страсти как попало полотенца, добавили средств для душа, аккуратнейшим образом вынесли весь обильный после «романтического вечера» мусор.

А утром — снова разноцветные, похожие на детское питание баночки с йогуртами и джемами, кладбищенские работы, часок в городском архиве — для установки утраченных имён, и винный погреб «большой дегустации» — со множеством вин, перебиваемых кусочками сыра на шпажках.

— Если у бутылки вина пластиковая крышка, — пояснял сомелье, — то такое вино ненастоящее... Только пробковое дерево, друзья, только пробковое дерево — или перед вами винный напиток...

В городке Лаа проживает всего 6 тысяч жителей, Иван сказал Ольге, что городок размером с их приусадебный участок, где тесть с тёщей с бессмысленным упорством разводят огурцы с помидорами и луком. Обойти Лаа — всё равно, что сторожу гаражного кооператива обойти охраняемый объект!

Правда, исторических памятников в Лаа Оля обнаружила несколько больше, чем на примыкающем к их коттеджу на кувинской улице Травной огороде. На огороде, строго говоря, было только три «исторических памятника», с гордостью демонстрируемых гостям дома, когда их выводили через двойные двери на внутреннюю террасу, под сливовые деревья. Первый — это бюст Ленина, который где-то выбросили и который Иван, одержимый ностальгическим недугом, притащил к себе на участок вместе с постаментом. Он додумался поставить Ильича с помойки прямо под сдвоенные стрельчатые готические окна супружеской спальни, откуда Ольга любила смотреть на Луну и звёзды, предаваясь романтическим мечтам. Плохо, видимо, для колхоза, отлитый Ленин смотрелся среди романтических грёз утончённой и чувственной белокурой голубоглазой красавицы — как «Доширак», заваренный посреди банкетного стола...

Ольга очень тяжело переживала соседство с Лениным, и даже собиралась устроить истерику, чего с ней никогда не бывало. Но потом, взяв себя в тонкие холёные руки музыкантши, решила, что навидалась с раннего детства немало Ильичей, и ни один из них не кусался. В конце концов, говорила она себе, есть ведь и это окно — две узкие, разделённые маленькой, но изящной колонной витражные арки... И есть эта спальня, большая-пребольшая, больше всей квартиры, в которой она родилась... Не говоря уже о двухэтажном доме с мраморным камином, смотровой башенкой, прислугой и двумя, из-

виняюсь, санузлами... А кроме того — есть семья, трое детей, и это — главное! А Ленин, словно бы задумавший спеть серенаду под окном здешней принцессы, — ну.. как бы помягче... Не нравится — не смотри...

Вторым историческим памятником прилегающего к коттеджу на Травной «оазиса плодородия» была уродливая, но огромная теплица из поликарбоната, которую купила (точнее, уговорила купить сына) свекровь. Теплицу тоже демонстрировали всякому, кто заглянет на огонёк к Имбирёвым, хотя она явно не блистала ни формами, ни агрономическими результатами.

Третьим историческим памятником при коттедже Ольга считала своих «предков» и свекруху, сведя их в один жужжащий, докучливый, и по своему милый, жалище-медоносный комплекс, оберегаемый со всем реставраторским пылом-жаром.

Что касается австрийского Лаа, с которым палисадник Имбирёвых опрометчиво вступил в конкуренцию по части культурного наследия, — то тут было на что посмотреть!

У города имеются сразу две ратуши — Старая и Новая. При этом новая старше большинства зданий в Куве, потому что построена в 1898 году; а про старую и говорить страшно!

По поводу каждой чумы суеверные предки лаандертальцев ставили чумные столбы, которые теперь напоминают о мрачном прошлом городка, пугая гулким чёрным колодцем дат, вроде «1680» — и тому подобные глубины времён.

А церковь Святого Вита вообще стоит на земле с 1240 года, и ничего её не берёт, даже Вторая мировая война!

— Какие прекрасные фрески! — сказала Ольга из вежливости, очутившись в нижней подклети собора.

— Пройдёмте дальше, — смутился гид, — это от сырости...

От неё два шага (как от чугунного Ильича к поликарбонатной колбе теплицы) — и туристы оказываются у стен крепости Лаа. Это такая раковина, сложенная из серых и выщербленных временем больших камней, в самом центре которой — центральный Донжон, формами напоминающий кадку, в которой Олина свекровь (да чего греха таить, и мать порой) квасит капусту на зиму...

Крепость, — выкупленная горсоветом у владельцев, — сегодня главный символ города. Под защитой её мощных рвов и бойниц — первый австрийский музей пива.

— Вообще-то пиво не герой нашего романа... — смущённо сознавались Имбирёвым Тизлеры. — Это северяне нас портят! Когда тут проходит пивной фестиваль — стыдно сказать, сборы от био-туалетов как от Венской оперы!

— А за... — начал было Имбирёв, но Тизлер, десятилетиями общаясь с советскими людьми, телепатически прочитал его мысль:

— Предупреждая вопрос всех русских: «просто за угол» мы не можем! Мы всё-таки немцы! Но мы южные немцы, австрийцы. У нас и диалект свой, и вино раньше нам пиво заменяло... А пиво было уделом пруссаков, швабов...

— А вы не швабы? — иронично осведомился Иван.

— Мы — остмарк!

— С ума сойдёшь, различая ваши сорта немчуры! — сознался Имбирёв чистосердечно. — То ли дело у нас: русские от Ключевской сопки до могилы Канта! Есть, правда, хохлы — но это не «другие русские», это испорченные русские... Ну, вроде как бывает колбаса, а бывает подтухшая колбаса...

— Хорошо вам!

— Да не жалуемся...

Компашка заглянула в музей пива, продегустировала основанное в 1454 году пиво Hubertus Brau, под аккомпанемент разговоров, что Австрия — это всё-таки больше вино... Правда, выпили Тизлеры в два раза больше Имбирёвых...

От пивной цитадели — вслед за гидом гости нырнули в тоннель через «зеленый дом», весь укутанный плющом, и оттуда вышли к игрушечной водяной мельнице. Здесь одетая в средневековое платье и чепец миловидная женщина продавала билеты городской «водяной лотереи».

— Дамы, купите наши благотворительные билеты! — предложила она с фальшивой маркетинговой улыбкой (а Грета переводила Ольге). — Если выиграете, то купите себе новую шубку!

— А если не выиграю? — усомнилась Ольга со столь красивой её наивностью.

— Тогда я тебе её куплю! — утешил муж. И продолжил мрачной философской сентенцией: — Бывают в жизни состояния безнадёжности, когда уже неважно — выиграл или проиграл твой лотерейный билетик....

В парке Шиллера Ольга зябко передёрнула плечами, несмотря на жару: дедушкино место, призраками проступают лужи крови из его рассказов за семейным столом...

Утешила экскурсия на самое большое предприятие в мире по производству лимонной кислоты, фирму Jungbunzlauer. Оттуда двинулись посмотреть руины городской стены на северо-западе города — точнее, неуклюжую имитацию руин, слишком уж упорядоченную и чистенькую для настоящей разрухи. В «Вытянутой башне» Имбирёвым показали «шведское ядро», якобы со времен шведской осады. На Ольгу оно не произвело особого впечатления, ядро как ядро, такое же чугунное, как бюст Ленина под её спальным окном...

Поинтереснее глянулись на женский взгляд колонна Роланда напротив Старой ратуши, позорный столб 1575 года, и место паломничества туристов — музей карет...

\* \* \*

Когда ноги уже побаливают от бесчисленных шагов, а глаза — от бесчисленных экспонатов, уютная австрийская кофейня, в которой тихо плывёт над столиками музыка, — это молчаливое «сердечное согласие». Никто и не спрашивает друг друга — присесть ли на увитую лозами террасу, а спрашивают, что за произведение звучит?

— «Кофейная кантата» Баха... — без промедления, устыдив гидов, сообщает Ольга Имбирёва. У неё с детства абсолютный музыкальный слух и советское, качественное музыкальное образование.

— Чтобы попробовать Австрию на вкус, — с ложной многозначительностью сообщает герр Тизлер (а глаза смеются), — нужно попробовать кофе по-венски...

И получается как в сказке про «три корочки хлеба»: продолговатые кофейные чашки белого фарфора отнюдь не одиноки на столе. «Австрию пробуют» сразу со всех сторон, и хозяева — с аппетитом не худшим, чем их гости.

Появляются порции венского шницеля — в золотящейся панировке, по легенде, заменившей на этом королевском блюде изначальную золотую пуд-

ру. Дополняет его нежный «тапельшпиц», отварная телятина с пышной сви- той гарниров, радуют глаз драгоценные бутылки местных сортов: Хадрес, Маутерн, Гамлитц с розовой, бежевой, зелёной наклейками.

— Ну что? — возглашает Тизлер, разливая по бокалам-флюте, с молнией изогнутыми ножками, традиционную для вина «Гамлитц» шутку. — Быть или не быть? Вот в чём вопрос!

Только культурные люди поймут, какая связь между маркой винных погребов «Гамлитц» и шекспировским вопросом; Имбирёвы сдержанно улыбнулись.

— Мой «Хадрес» не дом и не улица, мой «Хадрес» Советский Союз! — парировал Иван Сергеевич, но Вальти с дочерью игры слов не распознали. Всё же их знание русского языка имело свои, вполне понятные, пределы.

А где вино — там и сырная тарелка, верный, проверенный веками альянс! Но тут подавали даже не тарелку, а большое изящное блюдо сыра: чеддер из козьего молока, подкопченная гауда, овечий сыр, гран падано, фьоре сардо, пекорино, манчего, ночерино, бри, каламбер... Имена сыров тают во рту, как и их волнисто нарезанные ломтики! Вся Европа сошлась в одну серви- ровку, как в наполеоновской армии...

Поскольку Имбирёвы и Тизлеры общаются уже несколько дней — Иван Сергеевич стал более откровенным, больше рассказывал о себе — вопреки первоначальному «чего обо мне говорить?».

— Я подавал такие большие надежды... — хвастливо ностальгирует он, попивая явно сверх нормы свой крепкий, насыщенный, сельской домаш- ней выдержки «Хедрес-Советский Союз».

Дальше душевные, обрусевшие много лет назад иностранцы с изумлени- ем слушают хорошо знакомые Ольге пьяные излияния про университет и средневековых схоластов, большинство которых — немцы (а в России вооб- ще «немец» — любой, кто не говорит по-русски, от слова «немой»).

— ... Но меня подводила латынь! Латынь у меня была слабоватая... Ну, Кувинский университет, какие там преподаватели латыни?! — откровенни- чал Имбирёв. — Но я знал нечто большее! Я их душу понял, философию их языка... Я открыл семантические созвучия... Ну, знаете, как русское «мыш- ление — мышь», латинское «rat» — «рациональность»... Вы можете, конечно, подумать, что это бред! — подозрительно покосился Имбирёв, будто он, пекарь и пельменный лепщик, снова подаёт надежды в высоком смысле. Тизлеры заверили его, что и предполагать не смели, но несколько поспеш- но, на Олин взгляд...

— ...Но лучший в России специалист по средневековому номинализму, профессор ЛГУ Мавританов, сказал о моей рукописи: «Новое слово»...

Ольга Анатольевна, у которой и сын уже жених, и дочка на выданье, дав- но уже не удивлялась присутствию в их счастливой семейной жизни тени загадочного профессора Мавританова. Профессор Мавританов из Ленин- градского государственного университета был такой же неотъемлемой час- тью причудливого ландшафта Иванова мышления, как «синие холмы» — австрийского вечернего пейзажа.

За давностью лет и нелепостью предмета Ольге трудно было определить, что в завиральных историях об отправке рукописи в Ленинград правда, а в чём Имбирёв, по свойственной ему манере, приукрашивает события.

Хотя профессор Мавританов давно стал частью её семейной жизни, и семейного хмелька, но Ольга понятия не имела — кто он такой. Даже Гугл с

Яндексом в определении подозрительной личности не помогали. Видимо, профессор жил в эпоху до интернета, а после смерти уже никого не интересовал, в силу причудливой узости научных интересов. В это «хотелось верить», как Малдеру и Скали, потому что иначе пришлось бы признать, что Иван просто выдумал «лучшего специалиста по средневековому номинализму»!

В силу очевидной нелепости фамилии Мавританов рисовался озорному воображению Оли персонажем мистерии-буфф, «Бани» и «Клопа».

— Мне была открыта дорога в аспирантуру ЛГУ, и профессор Мавританов... — восклицал Имбирёв, словно бы государственную тайну раскрывал, и дальше следовал набор малопонятных терминов истории философии.

Немцы, скорее всего, из вежливости и европейского такта слишком активно поддакивали Ивану, и это сыграло с ними дурную шутку. Иван решил, что наконец-то история о его переписке с Мавритановым кому-то интересна, и по мере того, как раз за разом пустел его волнистый бокал-флюте, распалялся с азартом. Перешёл от личных неудач и сломанной карьеры учёного ко вселенской скорби:

— Боже мой, я родился в стране, где человек мог заниматься тем, чем ему хочется... Можно было писать статьи в газеты, я за это получал отличные гонорары! А можно было издавать томики стихов! Можно было поехать с археологами, а можно было, как я и делал, отправить свои соображения о семантической философии средневековой латыни номиналистов профессору Мавританову... И быть уверенным, что профессор Мавританов тебе ответит!

— И быть уверенным, что планету эту примут по учебнику... — вспомнила Ольга Анатольевна прикол своих студенческих лет, когда они с подружками, хохоча, гоняли пластинку-приложение к «Медицинской энциклопедии» на квартире Элинки, дочки профессора хирургии. На пластинке были записаны речи психбольных, одна смешнее другой. Был там и некий бывший экономист, который собирался стать «воздушной планетой», и довольно основательно доказывал лечащему врачу неизбежный, как коммунизм, приём «по учебнику» этой планеты...

Однако Имбирёв — жена всегда восхищалась им, хоть и подсмеивалась, — был чертовски убедителен.

— А теперь, чёрт побери, — что теперь? — хватил он могучей, как медвежья лапа, ладонью по столешнице так, что тарелки запрыгали, а австрийцы за соседними столиками всполошились. — Ты хватаешься за то, что в руку даётся, не глядя, что это, — лишь бы тянуло тебя из трясины... Кулинария какая-то, пельмени какие-то, Господи! Меня хоть раз, хоть кто-нибудь, хоть из простой вежливости спросил — а хочу ли я открывать пельменные?! «Они приносят деньги» — вот и весь аргумент. И крыть нечем. Не нравится — добро пожаловать в бомжи...

«В сущности, он прав... — думала Оля. — Просто не ко времени шарманку свою завёл... Тут, понимаешь, красное, белое, пармезан, бри — а он со своим Мавритановым...».

Новых знакомых, Тизлеров, градус эмоциональности Имбирёва тоже распалил, лишний раз доказывая, что это — заразно...

— Поверьте, в 46-м нам было хуже, чем вам в 92-м! — почти прокричал проникнувшийся малопонятными смыслами тёмных Ивановых речей старина Вальти. — Нас объединяет позор поражения!

И он сумбурно рассказывал про 1946 год, жизнь в приюте, про первое послевоенное правительство с его «альпийским долларом» и килограммом эрзац-хлеба на четверых в неделю.

И о том, как выделили бочку чечевицы, а там оказались черви, освоившие чечевицу раньше сирот. И о том, как они догадались «замочить» конкурентов-червяков, опустив крупу в воду на целую ночь — а «потом она уже была чистой».

По плану Маршалла австрийцам поставляли американские консервные банки с надписью «только для собак», но и этих собачьих консервов отчаянно не хватало... Девушки продавали себя, чтобы кормить семьи: за пудинговый порошок, за упаковку сухого молока, за шоколадки.

— Похожие внешне на вас, Ольга... Старшие девушки, рослые блондинки... Делились с нами, малышами, тем, чем им платили союзники...

Тут уже не трагедией непопадания в аспирантуру ЛГУ пахло, держи выше: с третьей бутылки Имбирёва потянуло в геополитику.

— Господи, как глупо человечество! — кивал Тизлер морщинистым подбородком. — Мы едим оленину с ризотто, и при этом снова сползаем в окопы, как будто нельзя без войны...

— Счас начнётся! — понимающе цокнула языком Ольга.

Иван стянул волоком по лбу свою белую бейсболку с красным двуглавым орлом и не менее кумачовой надписью «СОЧИ», уткнулся ей в ничку, как делают спортсмены, утирая пот.

А когда отнял её — немцы со страхом увидели неподдельно-плачущее лицо, искажённое судорогой страдания:

— Всё мне это знакомо... А я вот не вытащил страну... Хотя меня, по сути, именно этому учили... А я плохой ученик оказался, страну не вытащил... Себя вот вытащил, а на большее меня не хватило...

Ольга, уже привыкшая к таким внезапным переходам за много лет совместной жизни с Иваном, реагировала гораздо спокойнее, чем немцы. Она, сама университетская выпускница, убей — не могла представить, как выглядел предмет «Спасение Отечества» на экономическом факультете заштатного и не особо престижного Кувинского госуниверситета. И кто должен был читать такой предмет курсу Ивана Имбирёва — Козьма Минин? Князь Пожарский? Как звали князя Пожарского, Оля не помнила, да и сомневалась, что преподавательские ставки в КГУ устроили бы князя-рюриковича...

Иван, собрав на себя замороженное внимание даже соседних столиков, изумлённые бюргерские взгляды, — понёс какую-то околесицу про «Фуд-Корт», принадлежавший ему ресторанный этаж в торговом центре, подкову из множества кулинарных марок, которую он замкнул фанерной сценой «Приют клоунов». Городские клоуны туда приходили, развлекали кушавшую за столиками публику, и никто не спрашивал у них диплома...

«Господи, какой диплом можно спросить у клоуна?!» — лихорадочно соображала Оля, пытаясь угадать по приметам мимики, куда кривая вынесет эту забористую аллегию супруга.

— Любой клоун может там развлекать гостей торгового центра, показывать свои репризы, сцена, кулисы, всё что есть... Потому что я и сам в определённом смысле клоун... — вывернул Иван Сергеевич, продолжая пьяно

плакать, и объяснив, наконец, свою отеческую заботливость к городским лицедеям — профессионалам и любителям.

Фуд-Корт существовал в «торгушнике» уже несколько лет, был записан на Ольгу, и номинальная владелица всегда считала, что площадка аниматоров перед ним — одно из средств привлечения клиентов. Никогда ей и близко не подходило к голове, что Иван каким-то образом связывает эту площадку детских праздников с собой и собственным статусом...

\* \* \*

Посреди душной ночи на самой макушке лета Ольга проснулась в номере «204» от болезненного, словно бы раненого медвежьего урчания под самым боком. То ли с похмелья, то ли от полноты чувств Ивана Сергеевича Имбирёва мучили кошмары.

В них не было мохнатых лап или кровавых клыков, трупного движения или русалочьего плеска: только нелепость, сильнее всего пугающая нелепость...

В этих снах, скомканных простынями невыносимой духоты, он почему-то должен был убивать таких понятливых и радушных, таких свойских и приветливых Тизлеров — отца и дочь... Тех самых Тизлеров, с которыми успел подружиться, ощущая самую искреннюю симпатию и родство душ, так, что даже свою тайну насчёт профессора Мавританова успел им разболтать. А он чужим и посторонним про Мавританова никогда не рассказывает...

Более того, и Тизлеры, отец и дочь, должны были почему-то убить Ивана Имбирёва, а им не хотелось, как «рабам лампы» в отношении Алладина, они хотели бы улизнуть от такой неприятной миссии. Но что-то во сне, могущественнее их всех, — не давало им отвертеться, толкало к убийству человека, к которому они не чувствовали никакой неприязни...

Ольга немного отстранилась от жаркого большого тела мужа и, приподняв голову от подушки, разведала обстановку. В темноте болотными призраками зеленовато и гнилостно мерцали кнопки пульта от кондиционера. Оля нажала на пусковую — холодный ветер мёртвого воздуха освежил взмокшее тело, устремившись из продолговатого белого ящика «LG» под самым тяжёлым потолком...

В полумраке буквы «LG», такие знакомые, подмигивающие смайликом товарного знака, — мистически преломлялись в «SS», а озорной смайлик — в череп и кости.

— Надо закрыть балкон! — сказала сама себе Ольга. — Кондиционер бесполезен, когда помещение раскрыто...

Подошла к пластиковой балконной раме — и остолбенела: над синими горками, типичным австрийским горизонтом, разливалась густая атмосферная краснота, пульсирующая облачным строем на всю необозримость видимого небосвода...

Где-то с сухим треском расколовшегося столпа мира ударило предгрозовым разрядом. Шла гроза, шла издалека — и потому залегли в окопы и ветерок и цикады — ни звука, ни дуновения, только ржавой охрой вымазанное небо, куда хватает глаз, и дальше...

Что-то неумолимое и нечеловеческое надвигалось на муравьиный уют человеческих жилищ и торжищ, на все геотермальные аквапарки и музейные пыльные стёкла, на застольную роскошь, трепещущую перед нисходя-



щим ужасом атласными скатертями и салфетками, на птичьи трели и насекомый треск...

— Ничего, это только гроза! — постаралась успокоить себя Ольга. — Перед грозой всегда невыносимая духота и звон в ушах... Это только приближение грозового фронта, суть — атмосферного электричества, и боле ничего...

И вспомнились слова старой песни, знакомой по дедовским посиделкам с ветеранами:

*...Просыпаемся мы, и грохочет над полночью,  
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны...*

Да полно, прошедшей ли? Разве всё поделено навсегда? Пусть не думает Иван, сейчас разметающийся стонущим раненым зверем по большой кровати, что Оля — захребетник, который сел на шею ему, и ничего не понимает...

Она-то понимает, и получше других. И Ивана, и вообще...

Лакомо лопать — это приятно и совсем нетрудно. А вот отвоевать себе право так лопать у всего движимого и недвижимого мира, который не прочь всё сладкое схарчить ВМЕСТО тебя, — другое дело.

И те, кто остались за гранью, — однажды непременно попытаются прийти. Война — мохнатый чёрный каннибал-морлок, который приходит снизу, из машинного ада, за кровавой данью к блаженствующим элоям...

Заклинанием от этого ночного упыря всех эпох служит только память — трезвая, крепкая и долгая память.



— Александр Леонидов в нулевые.

— Казачьи сборы.



## «РУССКИЙ» MARSCH: КАББАЛА ДЛЯ БЫДЛА

Многолетняя деградация идеи и практики «Русского Марша» 4 ноября 2017 года завершилась в полной мере перерождением мероприятия в законченное *тупоскотство*. Термин «тупоскотство» — означает поведение, нравственно ущербное и лично-невыгодное. То есть зомби-существо управляется лозунгом, который аморален в целом, и при этом лично для него смертоносен.

Про такое и говорят поговоркой — «таскать чужим каштаны из огня»<sup>1</sup>.

Сама по себе идея русского марша — всегда была «калькой» с немецкого национал-социализма. Слово «марш» не просто нерусское, оно очень ярко заряжено германской националистической энергетикой. «Русский Марш» — пародия на «Немецкий Марш»<sup>2</sup>.

Если бы русские националисты не копировали слепо немецких националистов начала XX века, то они придумали бы более русское имя: например, «Русский Ход» (традиция Крестных Ходов у русских многовековая) или «Русская Правда».

А так получился вторичный, очевидно-заимствованный формат мероприятия. Из года в год «Марш» деградировал, всё больше каббалистически картавя, всё больше превращаясь в «г'усскийма-аш». Постепенно отрываясь от русского национализма, задумка, вначале включавшая *всяких* (включая и достойных людей) — очищалась от адекватности, отсеивала «случайных» представителей здорового русского национализма.

Этот «г'усскийма-аш» вначале стал нерусским, а потом и попросту *антирусским*, выродившись в полную противоположность изначально заявленному, объединив в своих рядах полоумных маргиналов и прикормленных проходимцев.

Ибо всякому очевидно, что русский национализм (если без кавычек) — это забота о материальном и духовном благополучии русского

<sup>1</sup> Смысл поговорки: *трудиться ради другого, не получая за свой труд ничего, кроме неприятностей. Источником выражения стала басня Лафонтена «Обезьяна и кот». Обезьяна увидела каштаны, которые пеклись в камине в горячей золе, и попросила приятеля добыть немного каштанов. Пока кот, обжигая лапы, таскал каштаны из огня, обезьяна быстро съела добытое. А кота, захваченному на месте преступления, ещё и влетело за воровство.*

<sup>2</sup> Марш — в немецком обозначает «силу, мощь» и одновременно «власть, господство». Философски очень важна неразделимость этих понятий: ведь русское слово «власть» (владеть) — означает «вводить в лад», т.е. создавать гармонию управляющего с управляемым. Немецкое «Marsch» — походное управление, опирающееся только и исключительно на силу. Это, говоря церковным языком, «безблагодатное владычество», насилие без правды, имеющее в русском языке аналог «Мощь».

«Мощь» — сила, не имеющая никакой нравственной окраски, и потому хотя власть в русской философии и обязана обладать мощью, быть могущественной, но не имеет права этим исчерпываться.

народа. Просто по определению не может называться «русским националистом» тот, кто призывает к обнищанию и территориальному сокращению русского мира, выступает против русского языка и культуры, способствует бесправию и подавлению русских людей.

Однако к 2017 году «г'усскийма-аш», как губка, впитал в себя все русофобские лозунги и *потерял всякое отличие* от антирусского марша, если бы таковой проводился. Это странно звучит, но не осталось ничего, отделяющего участников «г'усскогома-аша» от самых записных и отъявленных ненавистников русского народа...

4 ноября в Люблино «г'усскийма-аш» дружно (к счастью, немногочисленно) скандировал: «Нет войне с Украиной», «Слава России — героям слава», «Демарш, люстрация, десоветизация». Нетрудно заметить, что это лишь для вида переодетая в лапти «а ля рус» бандеровщина.

Заимствования буквальны: пресловутый «СУГС!», под который русских людей убивали и сегодня убивают самыми зверскими, изощрёнными способами, попытка поддерживать Украину — орудие убийства русских и сокращения России.

Требование «люстрации» — характерно для всех восточноевропейских фашистов, направлено всегда против пророссийских лиц и партий. «Десоветизация» — лозунг антицивилизационных дегенератов, которые собственными руками лишают прав и будущего себя и своих детей, проталкивая самые архаичные формы кастового строя.

Нетрудно понять и то, что если социализм уже сто лет является проводником русского влияния, как бы визитной карточкой русской нации всюду на планете (где социализм, там и русское влияние усиливается), — то десоветизация есть визитная карточка русофобов. Они не только лишают людей светлого будущего в целом, но и, в частности, лишают русский мир влияния в «десоветизированном» регионе. Именно русские являются признанным мировым «брендом» социализма и, так сказать, «патентообладателями», поставившими русский «копирайт» на этом прогрессивном преобразовании общественных отношений. Следовательно, социализм и русский национализм сегодня неразделимы, ведь нельзя же любить народ — и ненавидеть всемирно-признанную миссию этого народа. Как это — любить нацию и ненавидеть её основное дело?

Если бандеровцы обезьянничают с немецкого фашизма, то ущербный «г'усскийнацбализм» обезьянничает уже за обезьяной. И солидаризуется с прямыми, откровенными и ничего не скрывающими УБИЙЦАМИ РУССКОГО НАРОДА — украинскими нацистами-террористами.

В чём же тогда отличие «г'усскогома-аша» от шестивь оголтелых либералов-русофобов, выходящих с теми же самыми мечтами на транспарантах?

В заявленный проект логично вписываются требования «ма-аша» о сокращении, раздроблении централизованного государства российского. Таков, например, лозунг «Путин вор». Что может украсть самодержавный правитель, и у кого? У самого себя? Как вы, находясь в собственном доме, в окружении собственных вещей можете что-то украсть?!

Носители этого лозунга — тупые, и не в состоянии понять, что «вор» — всегда противодействующее власти лицо, и не может быть властью (став властью, он перестаёт посягать на чужое и запрещённое, потому что запрещает теперь он сам, и сам всем владеет). Но смысл лозунга — в подрыве и недоверии к центральной власти, то есть в разрушении цен-

трализованного государства на радость врагам России. И это — кричит «Русский Марш»?!

Таков же лозунг «армия с народом, не служи уродам», повторяющий приём большевиков-ленинцев, вроде бы ненавистным организаторам «ма-аша». Его цель незамысловата и очевидна: разложить армию. Стало быть, подорвать централизованное государство, столкнуть русских в смертоносный хаос безвластия.

А как можно оценивать популярный на «ма-аше» лозунг «Свободу политзаключенным»? Что, любим?! Радикальным изломистам, сторонникам «Изломского Государства» тоже?! Вы бы как-нибудь обозначили круг «политзаключённых» — конкретно своих, «наших». А то получился призыв распахнуть двери тюрьмы для любой нечисти... И, думаю, не случайно: ведь цель маршевиков не благо русской нации, а хаос и развал России.

Надо отметить, что перечисленный бандеровский шабаш был ещё не самым радикальным: 500 допущенных участников извлекли на свет «разрешённые» лозунги, а каковы же были не допущенные?! Как пишут СМИ, «некоторых не допустили до участия, так как лозунги на их транспарантах не входили в число согласованных».

В общем и целом очевидна попытка ненавидящих русский народ организаторов, опираясь на тупое быдло, неспособное даже к простейшим умозаключениям, протащить точное подобие украинского Майдана-2014.

Недвусмысленна в «г'усскомма-аше» этого года поддержка киевской хунты, очевиден яростный антисоветизм, который характерен для прибалтийских, румынских неофашистов, бандеровцев. Видна поддержка современной политики, нацеленной на *геноцид русских* украинской хунты.

Отсюда и вытекает диагноз «тупоскотство», к которому свелось некогда не столь однозначное дело «Русского Марша». В конечном итоге он отфильтровал через своё сито озверелых ненавистников России и зомбированное быдло, которому нетрудно выдать уничтожение русского мира за «любовь к нации». К какой нации? Ясно ведь, что не русской!

Понятно, кто, зачем и для чего хочет выстроить антисоветский «г'усский» псевдонационализм. Не менее понятно, что реального национализма на таком пути не выстроить. Нельзя перевести подавляющее большинство трёх поколений нации в «отщепенцы», а три поколения отщепенцев провозгласить нацией. В лучшем случае получится ещё один «малый народ» (описанный Игорем Шафаревичем), но скорее всего, ничего не получится.

Десоветизация от лица русского человека предполагает, что десоветизатор считает себя генетическим отребьем: получается, что его прадед, дед и отец занимались три жизни подряд делами преступными, глупыми и бессмысленными. Но продукт трёх поколений дегенератов — генетический отброс, каковым русский десоветизатор себя и признаёт, обзывая собственных дедушек «преступными палачами».

<sup>3</sup> К.Собчак открыто заявила, что „1917 и 1937 годы выбили всю интеллигенцию, страна превратилась в сброд и отребье, я бы эту страну запретила...”. Справедливости ради отметим, что к вырождакам Собчак отнесла и саму себя, то есть это не только осуждение, но и самоосуждение. Но то, что сказала Собчак (в том числе и о самой себе), — это же не истерический выкрик, а логичный вывод из всей существующей в её голове картины мира.

Нация, которая с огромным воодушевлением три поколения подряд занималась никому не нужным и чудовищно-жестоким делом — это нация вырождаков, что и подразумевают (а иногда открыто озвучивают<sup>3</sup>) десоветизаторы. Можно ли видеть «националиста» в том, кто свою нацию считает ущербной? Такой человек кто угодно (бывают и коммунисты такие) — но только не националист.

Плевков в прошлое, на отцов и дедов, от которых ты происходишь в самом прямом смысле слова, — это ещё и *хамово проклятие*. И этот «г'усский» псевдонационализм — Хам, надругавшийся над наготой отца своего. Понятно, что людей, отягощённых хамовым проклятием и эдиповым комплексом никто не будет ни уважать, ни принимать. Это отбросы человечества, и генетически, и нравственно.

Если считать, что Советский Союз нёс народам мира «не свет, но тьму» — тогда придётся сворачивать всё то, что он развернул. Надо уходить отовсюду, виновато опуская глаза — от Кубы и Вьетнама до Крыма и Днестра. Каяться перед теми, кто убивал и убивает русских людей, видеть в этих упырях и гитлеровских недобитках «освободителей», а в своих отцах и дедках — «карателей и палачей». Для русского народа это означает почитание собственных убийц и ненавистников, предательство на всех континентах всех, кто сочувствовал русским и был им союзником. То есть — этническое самоубийство.

Десоветизатор неизбежно превращает в «героев» всех, кто боролся с русскими в XX веке, — ибо они отражали «преступный коммунизм». Для русских это означало бы апологетику врагов и убийц нашего народа — в которых вдруг начинают видеть «борцов за цивилизацию».

На самом деле очевидно, что десоветизаторы всех времён — враждебны общей логике и строю человеческой цивилизации. Они выступают за архаичные, дикие формы человеческих взаимоотношений, как лютые враги цивилизации и культуры.

Тысячелетиями длится великая борьба Человека (как такового) со слепыми стихиями. В укрощении стихий, в замене случайности на плановые результаты заключается вся суть и всё содержание цивилизации. Если мы вырвем из цивилизации борьбу человека со стихией (в том числе и рыночной непредсказуемой стихией), борьбу планирующего Разума с лотерейной неопределённостью и непредсказуемостью, — то от цивилизации ничего не останется. А культура станет не нужна, сожмётся до декадентского «искусство ради искусства».

И вот тут мы говорим уже не как русские, а просто как представители человеческого вида, от лица всего человечества: поддерживать слепую непредсказуемость стихий против планирующего разума может только дегенерат и умственно-отсталый, нравственно-ущербный человек. Такой человек (десоветизатор) — предатель цивилизации в самых общих её чертах. Он враг культуры в самом широком смысле слова «культура»<sup>4</sup>.

И вот тут возникает полное недоумение: нам предлагают считать наших отцов и дедов сбродом и отребьем, принять на себя хамово проклятие — ради чего?! Ради торжества звериного начала над всей логикой цивилизации, сформированной тысячами единой в своих гуманистических идеалах человеческой культуры?

<sup>4</sup> Ведь «культура» — это культивирование, преодоление естества чем-то искусственным. Зверю, опирающемуся на полноту зоологического естества, не нужна, чужда и кажется нелепой любая культура.

Нам предлагают погубить наш народ, свернуть повсюду его присутствие и влияние, превратить его в плательщика репараций и униженного каяльщика — чего ради?! Чтобы в итоге затоптать горящий тысячелетиями светильник культуры и цивилизации, вернуться вместе с бандеровцами и «лесными братьями» Прибалтики в доисторическое звериное состояние? Вот уж воистину — и цель поганая, и средства для неё поганые...

Поэтому неудивительно, что «г'усскийма-аш» год от года, избавляясь от случайно, по недоразумению, примкнувших, становится всё меньше и глупее. Эта нелепая манифестация (поход из ниоткуда в никуда, но ежегодный) — в сущности, лишь каббалистика, адаптированная для быдла в простейших проявлениях. Прививка шприцем прямо в голову, через глаза и уши, суицидального безумия, комплекса смерти той нации, к которой дебил принадлежит.

А что, на украинцах испробовали — и прокатило! Вдруг и на русских прокатит? Чем за ними бегать по лесам, отстреливать — ведь дешевле и безопаснее, если бы они убили себя сами. Как укры...

## ИДЕИ ТРЕБУЮТ НОСИТЕЛЕЙ!

*Отзыв на статью Александра Токарева «Что делать?»*

В статье Александра Токарева (см. майский сайт «ДЛ») «Что делать?» много горькой правды, много очевидных истин, и всё же, на мой взгляд, в ней допущена одна системная ошибка, которая может привести как автора, так и людей, думающих ему в унисон, к большим разочарованиям в грядущем. Что же это за распространённая ошибка патриотической публицистики, как мне кажется? Кратко выражаясь, авторы очень часто спутывают *идеальный конструкт* и *объективную реальность*.

Существует некое идеальное состояние системы, которое, теоретически, может быть достигнуто когда-нибудь. Но то, что оно теоретически возможно, — не означает, что его можно сделать прямо сейчас.

Приведу простейший пример.

Предположим, что мы с Александром Токаревым поехали в Ташкент на ишаке. Это долго и неудобно. А на самолёте было бы и удобнее и гораздо быстрее. Теоретически — это не вопрос, выбор очевиден. А вот практически — всё зависит от ситуации: можем ли именно мы, именно сейчас пересечь с ишака на самолёт? То, что хотим, это понятно. То, что теоретически такое возможно — тоже понятно... Но доступно ли это нам в объективной реальности?

А если у нас с Токаревым совершенно нет денег ни на самолёт, ни на автобус? И взять неоткуда? Или авиацию вообще ещё не изобрели (допустим, мы едем на ишаке в XIX веке, мечтая, что когда-нибудь люди научатся летать)?

Была такая обидная лесть у редакторов провинциальных газет в былые годы: «ваши стихи, товарищ автор, выше уровня нашей газеты». Ты, натурально, клянёшься, что «готов снизойти». Но тебе отвечают — мол, не нужно, не для нашей газеты ваши стихи, сами по себе прекрасные...

Не знаю, обидится ли на меня Александр Токарев, но его статья выше уровня текущей объективной реальности. А именно: Токарев считает простыми и понятными вещи, которые большинству тёмного и одичалого населения страны совершенно непонятны и в голову не приходят.

То есть: существует некая идеальная модель, к которой мы когда-нибудь можем прийти. И существует текущая реальность, имеющая свою (удручающе низкую) планку. Проживая среди дебилов, придётся отказаться от профессии преподавателя высшей математики и искать профессию попроще. Не потому, что высшая математика плоха — она напротив, очень хороша сама по себе. Но она не для дебилов...

Мой ответ на вопросы Токарева таков: Путин не хороший и не плохой. Он — практичный политик, поймавший камертон объективной реальности, объективного (плачевного) состояния мозгов у масс. Путин делает именно то, что с этой массой в её нынешнем состоянии можно сделать. Хуже с ней сделать можно, лучше — сомневаюсь.

Грудинин и Токарев (объединю их авторской волей) — люди, которые выше средней массы. Они не попадают в камертон и не могут быть поняты.



Они слишком сложны, чтобы масса в нынешнем её состоянии их понимала и принимала.

Для того, чтобы объяснить этот парадокс, я прибегаю к теории «шкалы цивилизованности». В каком случае плохой будет лучше хорошего? В том, если плохой — реалист, а хороший — фантазёр и мечтатель, оторвавшийся от текущего момента. Каждый человек находится на определённом уровне шкалы цивилизованности: один выше, другой ниже, третий между ними, и т.п.

Человеку на низшем уровне абсолютно непонятны вещи, которые абсолютно понятны человеку на высшем уровне, и немножко понятны на среднем. Если идея абсолютно истинна, но при этом до неё духовно не доросли слушатели, то её озвучивание — пустое дело. Она ничего не даст на практике и будет сразу же забыта — несмотря на то, что совершенно истинна.

Об этом Евангелие говорит устами Христа: «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить»<sup>1</sup>.

Даже Бог считает напрасным говорить те истины, которые *пока* не могут быть поняты аудиторией. А смысл в том, что если общество находится на низком уровне шкалы цивилизации, если все мотивации большинства его членов — зверины, то просвещённый правитель в таком обществе великое бедствие, а не благо. Нужен тот, который соответствует уровню и может обуздать эту стихию. Только такой принесёт благо, остановив распад и погромы, зверства и окончательное угасание социума.

Вы хотите, чтобы за социализм проголосовали; бумажку в урну бросили — и получили его? Это наивно. Социализм, как и иное другое благо для широких масс, — нужно заслужить всем образом жизни, духовным обликом среднестатистического человека.

Вы думаете, что власть меняет людей? Нет, это люди меняют власть в лучшую или худшую сторону, потому что власть — всего лишь среднестатистический вывод из массовых настроений. Если вы посадите гения над дебилами — дебилы его незамедлительно свергнут, и найдут похожего на себя дебила, которому и покорятся со всей охотой понимания: кто он, зачем и чем руководствуется...

По-вашему, святой сможет удержать власть над воровской «малиной»? Получится ли из преподавателя вуза хороший воспитатель для ясельной группы детского сада?

Цивилизационный уровень власти и народа должны совпасть на шкале цивилизованности, и лишь в этом случае мы получим устойчивую власть. Люди не потерпят власти умнее или глупее, добрее или злее, чем они сами.

Если вы хотите социализма, то берите фонарь и ступайте «днём с огнём» искать человека на улицах. И пока вы не найдёте человека под социализм — никакие технологические ухищрения не помогут создать справедливый строй. Если нет человека, духовно доросшего до общественной справедливости, то и общественная справедливость может существовать только как карикатура.

\*\*\*

Вы спросите меня: «что есть объективная реальность»? Я отвечу вам так: счётчик заходов на вашу статью в «Дне Литературы». Я не хочу вас обидеть, у моих статей счётчик такой же малый...

<sup>1</sup> Евангелие от Иоанна, Глава 16

И вот тут-то ключевой момент обретения объективной истины, понимаете? Если бы у «Дня Литературы» были миллионы просмотров, как у дебильных клипов тупоумных поп-мартышек, как у песни про лабутены, — тогда мы с вами уже жили бы в ином, гораздо более светлом и справедливом обществе. Мы ещё и не начали писать — а уже есть те, кто готовы нас читать... Они же не в том смысле готовы, что грамоте обучены! Они готовы к пониманию сложных абстракций и обобщённых построений мысли...

Когда миллионы голов одновременно занимаются сложными обобщениями в мыслях — социализм не нужно строить, он уже построен. Но мы имеем, что имеем: мы говорим с глухими, мы рисуем для слепых...

Ну, «не имеют они сейчас вместить»... И кто виноват? Может быть, это «преступный режим» закрыл доступ на сайт ДЛ? Может, это «кровавая гэбня» препятствует чтению масс? Я проверял с разных компьютеров, с разных мобильных устройств — с любой точки местности на вашу статью легко попасть. Было бы желание! То есть дело совсем не в режиме, а в добровольных предпочтениях «широкой публики», увязшей в бездумном, бытовом либерализме гораздо глубже, чем нам с вами кажется...

\*\*\*

Кто знает, власть может быть и рада была бы перейти к более высокому уровню на шкале цивилизованности? Но она просто не может этого сделать сама по себе, без народа. Правитель, который оторвался от народа, — теряет власть, и только.

Теоретически любой из нас может стать правителем прямо сегодня. Как? — спросите вы. Вообразите, что вы стали писать указы, и вдруг люди этим указам стали подчиняться, их стали выполнять. Вы говорите — люди делают. Вы снова говорите — люди снова делают. Вы — власть. Вы — царь. Может быть, вас ещё не успел помазать священник в соборе, но вы уже царь — только лишь потому, что вас слушаются окружающие!

На каких выборах победил Ленин? Он просто вышел и стал отдавать команды — а большинству эти команды показались разумными, справедливыми. Обратный пример — царь Николай. Он ещё никакого отречения не подписал, формально ещё самодержец всероссийский, однако все вокруг стали плевать на его команды. И всё...

Правитель — всего лишь автор текста, который людьми принимается как закон. Любая газета может моментально превратиться в правительство — если её публикации будут восприниматься как приказы. Совсем кратко: если то, что вы говорите, — делают, то вы власть. Никакой другой формулы власти не существует.

Лучшая доля может прийти к человеку только тогда, когда человек готов её принять. Она, может быть, давно уж стоит за дверью — но человек никак не удосужится дверь открыть. Как можно отнять культуру у тех, кто убеждён, что им нужна культура? И как можно насадить культуру у тех, кто убеждён, что культура им не нужна?

\*\*\*

Мы должны понимать современность не в идиотском примитиве либерального взгляда, как продукт выборов-перевыборов, митингов и их разгонов. Мы должны видеть в современности общий итог духовной жизни и духовного состояния всех наших современников.

В библейской традиции это описывается так: пророк Иона получил от Бога повеление идти в Ниневию с проповедью покаяния и предсказанием гибели города за нечестивость его жителей, если они не раскаются. Он очень сильно не хотел и долго избегал поручения этого (оставим в стороне перипетии) — но в итоге всё же выполнил волю Творца.

В Ниневии Иона стал расхаживать по городу и проповедовать, что город будет разрушен через 40 дней. Эта проповедь поразила ужасом сердца ниневийского царя и народа; они раскаялись в своей нечестивости, объявили 40-дневный пост.

В итоге пророчество оказалось ложным, за что Иона попенял Богу, выставившему его на посмешище. Тогда Господь сказал ему: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого...».

И гибель народа и спасение его — в руках самого народа. Библейский пророк оказался бесполезен, он не более чем почтовый голубь. Весь вопрос в том, готов или не готов народ узнать в пророке пророка!

Способен ли народ отречься от скверны прошлого — или не способен? Это решать не мне и не вам, и не всей газете «День Литературы», вместе взятой! Мы — почтовые голуби, доносящие весточку, прочитать которую способны лишь грамотные.

Это решать только самому народу, и не на выборах, а покаянием всей жизни. Чтобы воровская обида обывателя — «вы в приватизацию наворовали, а мне наворовать не дали» — сменилась бы на: «отрекаюсь «перестройки» и всей мерзости ея»...

\*\*\*

Возвращаясь от библейского к научному языку: массы, которые находятся на низком уровне цивилизованности, не могут получить организацию высокого уровня цивилизованности.

То есть небоскрёб нельзя выстроить из саманных кирпичей. Так-то, в принципе, можно, и чертежи проверенные есть, и умелые строители, но подайте подходящий стройматериал!

Если же вопреки сопромату вы начнёте строить небоскрёб из саманного кирпича — то он рухнет, и скорее всего, вас погребёт под своими обломками.

Мы упрекаем Путина за то, что он строит какие-то халупы вместо небоскрёба космической эры, но у наших упрёков по 140 просмотров в совершенно свободном доступе! А это значит, что среди залежей прессованного навоза имеется 140 пригодных для большой стройки кирпичиков... Ну, добавим не нашедших материал — 300... Добавим не успевших в силу занятости открыть — пусть даже 600... Да хоть 1000! Что можно построить из 1000 кирпичей, «Москва-сити»? Этого даже на одноэтажку мало!

Конечно, приятно думать о себе, что мой уровень мысли выше современности. Но на практике что выше, что ниже — всё равно происходит выбраковка. Если базовая точка «Ноль» то «+1» по своей неадекватности реальности равна «-1». Потому что они на равном удалении от базовой точки!

\*\*\*

Необходимо искать способы доходить до людей. И не в том смысле, что «давайте Путина уберём» — это на руку только либеральной сволочи, которая

хочет уронить общество ещё на ступень ниже нынешнего. Ну, убрали укропаты Януковича — и что, счастье обрели? Или же очевидно другое: что они по шкале цивилизованности съехали существенно ниже собственного 12-го года?

И мы туда же съедем, можете не сомневаться, если поставим целью устроить политическую нестабильность, а не стабилизацию мышления в нестабильных, очень неблагополучных и сумрачных, умах масс.

Понятно, что погромщику и вору любая революция в радость, потому что ему громить можно и воровать легче. Но если наша цель — совершенствование и созидание, то мы не облегчать вору с погромщиком задачу должны, а придумать, как подниматься по шкале «всем миром, всем народом, всей землёй»...

Нужно прийти к обывателю не с дурацким «долой Путина!», что на руку только осаждающим страну хищникам. А с лозунгом «долой вас прежних!», с лозунгом преображения человека, без чего не бывает преображения массы людей. Общество — всего-навсего среднестатистическое лицо своих членов, усреднённо-обобщённое. И ничего больше! Не может быть разумно устроенного общества у людей сумасшедших, как украинствующие: ведь среднее выражения множества безумств может быть только безумием.

\*\*\*

Нельзя победить тьму сгущением тьмы (как Кудрин пытается «победить» бедность, наращивая её же). Если мы хотим светлой власти — нужно сделать так, чтобы человек был светлым. А чтобы быть светлым — ему нужно захотеть быть светлым. Ну а как его принудительно сделаешь светлым, коли он сам не созрел до такого желания?!

Предлагая лететь в Ташкент на самолёте, которого нет, — вы только мучаете собеседника своей очевидной, и при этом бесплодной правотой. Решение, не созревшее от возможности — не решение, а блажь.

До тех пор, пока на всем открытый и бесплатный сайт типа «Дня Литературы» ни будет заходить по несколько миллионов читателей, — существующая власть адекватна объективной реальности. Это как сообщающиеся сосуды: в один долили, в другом повысился уровень.

Если людям ничего не надо — то им ничего и не дают. Если им всё пофиг — то и на них всем пофиг. Если у них мышление на уровне животного — то к ним и относятся, как к животным. А попробуй иначе относиться к животному — оно тебе руку откусит! Советской власти уже откусило, непосредственно на моих глазах, я до сих пор в шоке от этой картины...

Но теперь-то я не мальчик 17 лет, я понимаю причину: цивилизационный уровень власти в 1989 году стал критически превышать цивилизационный уровень населения. Образовался разрыв — в которой полезла всякая дрянь и грязь, началось общее заражение системы взаимным непониманием...

А когда появилась привычная для животных палка и зуботычина, когда танками стали горожан расстреливать — животное всё поняло и в норку спряталось...

Теперь вы предлагаете взамен палки и зуботычины вернуть щебечущий и ласковый гуманизм (высокий цивилизационный уровень отношений) 1989 года; но ведь в итоге то же самое и получится! Вы им сво-

боду — они вам погром. Вы их в кабинете примете — они вас из окна кабинета выбросят<sup>2</sup>.

Для разных типов людей «демократия» оборачивается совершенно разными сторонами. Для людей с высоким правовым сознанием она — власть закона, а для дикарей — власть их произвола, право силы на любые зверства.

То есть дело не в чертеже системы на бумаге (где можно нарисовать прекрасную систему в 100 раз лучше действующей), а в людях. А людям, конкретно-историческим, нужна не идеальная система, а такая, которая им бы подходила по шкале цивилизованности. При этом перемены в верхушке (то, что мы называем политикой) происходят мгновенно, а перемены в массе (невидимые глазу социопсихические сдвиги) — долго и трудно.

Нужно обожение<sup>3</sup> человека. Нужно принести людям Истину — и так принести, чтобы люди поверили (мученики Истину кровью свидетельствовали). Иначе мы с вами, и с нашими чертежами «прекрасного завтра» окажемся там, где мы сейчас и пребываем:

— в социальном пространстве, гноящемся отовсюду чёрным глумом и мертвечиной игнора,

— в социальном пространстве, где все поступки и мотивации зверины, а люди, даже изображающие из себя образованных, — стоят на самой низшей ступени духовного развития.

Делать добро нераскаянным и гордящимся грехами — означает делать зло и себе, и им. Историческая заслуга Путина в том, что он остановил падение, остановил распад и зафиксировал общество на определённой метке шкалы цивилизованности. Оказалось — очень низко. Ну, что заслужили...

Для того чтобы победил Грудинин — нужно, чтобы уровень цивилизованности общества стал выше уровня цивилизованности власти. То есть (как в 1917 году) — народ читает и понимает вещи, которые туповатой власти непонятны, выше уровня её понимания. Тогда и возникнет восходящий поток истории, который будет собственным напором подыскивать себе «человекоорудие».

То есть: того человека, который скажет желанное слово, слово, для которого толпа уже созрела внутренне. Появись такой человек до срока — его слова будут восприниматься как бред, как пустые колебания воздуха, как лекция по квантовой физике в детском саду...

\*\*\*

Главная моя мысль: я не вижу такого восходящего потока истории в современном быту. Я в упор не вижу настроений массы, которые были бы цивилизационно выше, чем представления Путина о государственном устройстве.

<sup>2</sup> Именно так погиб отзывчивых к людям мэр Грозного Юрий Куценко. Чеченские «демократизаторы», пришедшие к нему с митинга, выбросили его из окна третьего этажа. А поставил бы пару пулемётов на входе — лучше было бы и ему самому, и чеченским демократизаторам...

<sup>3</sup> Обожение, или теозис-христианское учение о соединении человека с Богом, приобщении тварного человека к нетварной божественной жизни через действие божественной благодати. Коротко смысл обожения выражен в высказывании Афанасия Великого: «Бог воочеловечился, чтобы человек обожился» — что обозначает потенциальную возможность для каждого человека и историческую необходимость для человека вообще обрести нечеловеческое могущество в обладании самим собой и природным миром вокруг себя в органическом единстве с Богом.

Иное вижу я (Украина подсказывает): дикарь и зверь рвутся из клетки казённой скуки вовсе не на добрые дела. Ох, не ваши труды, товарищ Токарев, рвутся читать эти дикарь и зверюга! Хотели бы — читали, ДЛ не заблокирован и вполне всем доступен...

Отворите эту клетку «зуботычины урядников» — и сами ужаснётесь тому, что пойдёт. Потому что XX век повсюду в мире провалил просвЕщение как просвЯщение. А просвЕщать не просвЯщая — значит, растлевать.

Вылезет монстр украинского типа — и заявит, что именно он — народная, уличная демократия.

\*\*\*

Я знаю, что вы скажете. Мол, вначале придёт хорошая власть (условный Грудинин — мир ему!) и начнёт насаждать хорошую культуру, и люди исправятся... Возражу.

Для кого хороша хорошая культура? Для тех, кому её прививают насильно, в кого её впикивают принудительно? Это будет заговор обречённых. Ничего, кроме отвращения масс, оскомины принудилровка их духовного возвышения не породит. Человек должен захотеть, и обратиться за светом по собственному желанию. Сам, без принудилровки, принять решение, что не хочет больше жить, как свинья, а хочет жить как человек... Из такого желания в итоге и вырастет «хорошая власть». Иначе она будет «хороша» только сама для себя, в собственных глазах.

Вопреки сложившемуся мнению — культурой не заканчивается, а начинается процесс просвЯщения. А политикой — наоборот, завершается, как бы подводя итоги. Политический выбор — это экзамен на зрелость после окончания культурологического курса.

А у нас что, сегодня, народ к культуре более расположен и развёрнут, чем правящая вороватая бюрократия? Можно подумать — народ бросился спасать литературные журналы и союзы писателей, которые рыночная власть за борт кинула...

А вот рестораны ведь не разорились без госучастия! Наоборот, в рестораны народ ломится, потому что скотине жратва понятна, как и стадион вполне понятен. Мы, деятели культуры, канючим копеечки у власти, считая само собой разумеющимся, что на народную копейку культуре не выжить; а если бы так вёл себя ресторан — было бы просто странно!

\*\*\*

Мы живём не в умозрительном обществе теоретического совершенства, а в нашем времени, не с абстрактными, а с непосредственно-данными в ощущениях людьми. Люди эти — по большей части дарвинисты, они не верят ни в Бога, ни в чёрта, а следовательно — не склонны верить ни во что высокое. Да и само понятие «высокое» — религиозно! Оно апеллирует к Небу, потому что там Бог.

А если предположить, что нет — то во все стороны дурная бесконечность, Вселенная, как пифагоровы штаны — во все стороны равны. Где тут верх, а где низ? То, что у нас выше головы, у австралийцев — под ногами! Какие могут быть высокие и низкие чувства в такой картине мира, если сами понятия «вверх» и «вниз» стали чистой условностью?

Это общество сложилось не вчера. Оно формировалось не одно столетие. Оно избавилось от цивилизационно-высоких уровней организации не с помощью злобных инопланетян, а само, собственными силами. Оно

сошло в этот мрачный подвал «Сегодня» вполне добровольно. Оно, конечно, ворчит на неудобства и дискомфорт звериных отношений, но палец о палец не ударит, чтобы их изменить, не пожертвует ничем своим, чтобы сделать мир лучше.

Родились целые поколения, настроенные не строить, а пристроиться, не служить, а попользоваться.

\*\*\*

В такой ситуации государственная власть, даже низкого уровня по шкале цивилизованности, не враг нам, а союзник. Убеждён, что государство, как институт, даже в древние эпохи УЖЕ было зародышем социализма. Потому что оно не может существовать без обобщения идей, практик и обобществления хотя бы части имуществ.

Развитие государственности и государственничества — делает человека с кнутом из насильника педагогом. Государство даёт то, что от него ждут массы — и немножко больше по «факультативной программе».

Если государственные структуры отстают от масс по уровню развития — то случаются революции, силовой слом дикости силами прогресса.

Если наоборот — то случается майданная некролюция, силовой слом прогресса силами дикости.

Какой вариант вероятнее сейчас, как вы думаете? (Подсказка — счётчик посещений вашей и моей страничек-публикаций...)

\*\*\*

Наша власть сегодня — почти зверь. Но менять её совсем на зверя, как сделали украинцы, — я не хочу. И вам не советую. Сожрёт...

## **ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!**

*Дорогие авторы и читатели!*

*Наше издание объявляет подписку на журнальное приложение к газете «День литературы» с редакционной рассылкой по России.*

*Для жителей Москвы и Подмосковья возможна подписка по минимальной цене с получением журнала напрямую в редакции.*

*В том и другом случае нужна ваша Заявка.*

**Форма Заявки:**

- 1. Фамилия, имя, отчество;**
- 2. Адрес проживания (с индексом);**
- 3. Ваш телефон или электронный адрес;**
- 4. Указание вида подписки: получение через редакцию напрямую или рассылка по почте.**

**Стоимость журнала в редакции — 100 рублей).**

**Объём журнала — до 400 страниц, выпуск — ежеквартальный.**

**Наш электронный адрес: [denlitera@yandex.ru](mailto:denlitera@yandex.ru)**

**Телефон для справок: 8 916 015 80 69 (пн.- чт., с 12 до 17 ч.).**

**РЕДАКЦИЯ ДЛ**

# «День литературы»

№ 1 (7), 2019 г.

*Журнал русских писателей*

Технический редактор Е.И. Косырева

Подписано в печать 16.02.2019 г. Формат 84x108  $\frac{1}{16}$   
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.  
Печать офсетная. Печ. л.: 22,5  
Тираж 500 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом  
«Российский писатель»  
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13  
Тел. 8-962-965-51-64  
sp@rospisatel.ru  
www.rospisatel.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»  
Филиал «Чеховский Печатный Двор»  
142300, Московская область,  
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1  
Сайт: [www.chpd.ru](http://www.chpd.ru), E-mail: [sales@chpd.ru](mailto:sales@chpd.ru), тел. 8(499)270-73-59